

Антология Сатиры и Юмора России



Антология Сатиры и Юмора России XX века

Владимир Войнович

Антология Сатиры и Юмора России

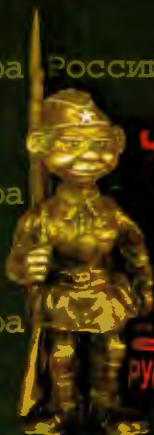
Антология Сатиры и Юмора России XX века



Антология Сатиры и Юмора

Антология Сатиры и Юмора

Антология Сатиры и Юмора России XX века



ЧОНКИН



РУССКАЯ ВОДКА

Генерал! На самият знак него
уговор. негов, а не мисло.

и един, който е пръв, на
всичко и след, на пръв и след,



мисло и пръв
знак.

3658
4220
14

170 сд

92

Капитан и
своя а дна

10000 рубли
на три



Кебан
набави
своята
оръжия

набави
своята
оръжия
набави
своята
оръжия

набави
своята
оръжия
набави
своята
оръжия

Москва
Роза
Дружок
Борис
Венерка



Роза
 Борис
 Дружок
 Венерка
 Денис
 Денис
 Денис

Денис

Денис
Денис



Денис

Учительница - совет
 Заведующая о муже похотел
 Денис Работает у нас
 Денис

Вспомогательная Кухня
Смешанная кухня и мой двор
Тепло и свет для меня
Она соединяет все воедино
И делает ее уютной
Свой уют и тепло
Вместе с вами, вместе с нами
А вы, мои друзья, помогите

Она должна быть уютной
Своей и чужой
Иметь свой уют и тепло
И уют для всех
Решите, друзья, помогите

Она должна быть уютной и теплой
Моя кухня и мой двор
Тепло и свет для меня
Она соединяет все воедино
И делает ее уютной
Свой уют и тепло
Вместе с вами, вместе с нами
А вы, мои друзья, помогите

Решите, друзья, помогите
Она должна быть уютной
Своей и чужой
Иметь свой уют и тепло
И уют для всех
Решите, друзья, помогите



Антология Сатиры и Юмора России XX века



В. Бернштерн

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Владимир Войнович

«ЭКСМО-Пресс» 2000

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
В 61

АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА
Войнович Владимир Николаевич

Серия основана в 2000 году

Редколлегия:

Аркадий Арканов, Никита Богословский, Игорь Иртеньев,
проф., доктор филолог. наук Владимир Новиков,
Лев Новоженев, Александр Ткаченко,
академик Вилен Федоров, Леонид Шкурович

Главный редактор, автор проекта
Юрий Кушак

Автор серийного оформления
Евгений Поликашин

Оформление тома — Евгений Поликашин, Лев Яковлев

Фотография на фронтисписе Вадима Крохина

На обложке автопортрет Владимира Войновича

Фотоальбом — из личного архива автора

Подготовка макета — творческое объединение
«Черная курица» при Фонде Ролана Быкова.

Войнович В. Н.

В 61 **Антология Сатиры и Юмора России XX века. Том 7. —**
М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. — 704 с.

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 5-04-005424-6 (Т. 7)
ISBN 5-04-003950-6

© В.Н. Войнович, 2000
© Н.Б. Иванова, вступ. статья, 2000
© Е.А. Поликашин, Л. Г. Яковлев,
оформление, 2000
© Ю. Н. Кушак, составление,
примечания, 2000

Содержание

Наталья Иванова	
Смех и слезы Владимира Войновича	7
Полный автобиографический очерк	11
Ж изнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина	
Книга первая. Лицо неприкосновенное	15
Книга вторая. Претендент на престол	247
Ф иктивный брак	
Водевиль в одном действии	553
Ш апка	571
С тихи на полях прозы	
От автора	671
«Был вечер. Падал мокрый снег...»	672
«Все, что было молодым, стареет...»	673
Золотце	674
Бараны	675
Элегия	677
Чудо	678
Баллада о холодильнике	683
«Жизнь повсюду меня мотала...»	684
«Облокотясь о пьедестал...»	685
Философическое	686

Курфюрстендамм	688
«По тропинке, по проселку...»	691
Кое-что о радостях людских	692
Бабушкин обед	693
П римечания	695

Смех и слезы Владимира Войновича

0 — — — — —
дин мой знакомый университетский профессор

из Великобритании читал Владимира Войновича по-английски. Читал перевод «Чонкина», когда ехал в общественном лондонском транспорте, в знаменитом двухэтажном красном автобусе. И хохотал до слез — чопорные англичане подумали, что пассажир сошел с ума не выходя из автобуса.

А ведь начинал свою литературную карьеру Владимир Войнович как серьезный человек и писатель, хотя и был очень молодым и по всем меркам вроде бы незрелым.

Он родился в одном из тех советских городов, что носили имя вождя — Сталинабаде (теперь столице независимого Таджикистана городе Душанбе). Предполагаю, что такое обязывающее название должно было травмировать раннюю душу молодого организма — когда Войновичу было двадцать четыре года и он после армии доучивался в вечерней школе в Керчи, учась в педагогическом, по Сталину проехался Н.С. Хрущев. Как утверждают психоаналитики, психотравмы сообщают таланту определенное направление. Так что антисталинизм Войновича (да и другие его «анти»), можно сказать, были заложены местом рождения. Представьте себе — во всех анкетах писать имя Сталина! Тень вождя до сих пор не дает покоя и нашей надолго неблагополучной стране, и лично Владимиру Войновичу: в последнем по времени крупном сочинении, вышедшем из-под его пера, романе «Монументальная пропаганда» не сам вождь, но памятник ему продолжает работу уничтожения: убивает-таки ярую сталинистку Аглаю Ревкину, спасшую и приютившую чужинную статую у себя дома.

Но мы слишком далеко забежали, вернемся к началу. А начал Войнович как романтик-поэт, написавший слова песни, полюбившейся космонавтам, и как, повторяю, серьезный писатель, прозаик, чей рассказ «Хочу быть честным» напечатал в 1962 году Твардовский в знаменитом тогда журнале «Новый мир».

В рассказе было то, что отличало настоящие новомирские тексты: стремление установить правила честной игры при советской власти. Жить по законам, по конституции, следовать моральным нормам порядочного человека.

Войновича поняли, и приняли, и полюбили такие же, как и он, чистые и открытые. Но в довольно скором времени молодой автор убедился, что прямой и серьезный диалог с властью невозможен; то, что он принимал за правила, нормы и мораль, было ложью и обманом. Это поставило крест на карьере сугубо серьезного писателя. Но это же потрясение произвело на свет нового писателя, обладающего многими качествами, но прежде всего — редким даром прирожденной смеховой культуры.

Вот говорят: Войнович — сатирик.

Определение узковатое.

Войнович стал писателем, у которого смех рождает и сатиру, и гротеск, и юмор, даже черный. Смех Войновича убийственен, когда он «серьезно» описывает приключения своего героя, Ивана Чонкина, в армии. Этот смех убийственен для армейской администрации, для начальства, для советской власти, для номенклатуры. Ни о каком прохождении через советскую цензуру тогда у Войновича и речи не было — «Чонкин» распространялся в сам- и тамиздате, и только после перестройки появился легально. Недаром в период первой публикации романа в журнале «Юность» так всполошились советские тогда еще генералы, что чуть ли не к ответу (в смысле — уголовной ответственности) потребовали автора.

Роман о Чонкине хорош, и смех необычен тем, что не только убивает гадкую нечисть, но и постоянно возрождает смеющегося и нелепого героя — из всех перипетий он выйдет живым и почти невредимым. Настоящий народный герой — из русского фольклора, из русской литературной традиции (вспомним Василия Теркина — «рифма» Войновича не случайна).

Поэтому, когда английский профессор читал книгу Войновича, он хохотал до слез, и настроение у него стало прекрасным. Есть такое эстетическое понятие — катарсис, изменение к лучшему в душе человека в результате прикосновения к предмету искусства.

Войнович умеет сам смеяться и знает, как заставить нас смеяться над миром и над самими собой. Но в его смехе никогда не присутствует агрессия насмешки и унижения. Войнович не диктует, как должны себя вести и как жить люди, он лишь показывает, как ужасен порядок, к которому мы притерпелись, как мы забавны и как это печально, если мы сами этого не ви-

дим. Он не учитель и не пророк, он радуется вместе с читателем, он — друг читателя, но он не развлекает, а увлекает своим смехом с горькой подкладкой.

Из Войновича вообще-то вполне мог выработаться благополучно либеральный советский писатель. Но этого в стратегии жизни Войновичу было мало. Из него мог выработаться и узкий самиздатчик, писатель просто антисоветский. Но и в таком варианте жизнь показалась бы Войновичу тесноватой. Смеяться нельзя «в тряпочку», «в тряпочку» можно молчать.

Войновичу пришлось эмигрировать, но сначала эмигрировали его романы. А еще он помог эмигрировать рукописям, приговоренным к казни — «Жизни и судьбе» Василия Гроссмана. За что ему отдельное спасибо.

У Войновича — горячий общественный темперамент, и каждая его вещь есть на самом деле модель общества: будь то масштабный «Чонкин» или камерная вроде бы «Шапка». Но и «Шапка» ведь — также про механизм устройства советской жизни, эдакая смеховая аналитика: маленький советский литератор из незначительных (ЛПЦНП — литературное творчество ценности не представляет) осознает то унижение, которому он подвергся в Союзе писателей, и заболевает, и по-своему восстает, и погибает...

«Шапка» — это наш ответ гоголевской «Шинели». Достоевский говорил о том, что «все мы» (русская литература) вышли из «Шинели», так вот Войнович актуализировал вечный гоголевский сюжет, погрузив его в советские реалии. Помните, у Гоголя Акакий Акакиевич Башмачкин, мечтающий еще о шинели, прикидывал в уме, что поставить на воротник — куницу или, может быть, «кошку лучшую»? Так вот у Войновича бедный литератор (у Гоголя — каллиграф, он обожал буквы, свое дело, переписывание бумаг) восстает против того, что ему «положен» по чиновничье-литературному малому его рангу только самый дешевый мех.

Владимир Войнович — и смеховых дел мастер, и мастер прямого, разящего, отточенного слова, которым он сражался напрямую с советской номенклатурой тогда, когда она была в опасной силе. Он многое умеет делать своими руками — недаром в молодости работал плотником, ездил поднимать целину, а совсем недавно стал еще и рисовать, и писать темперой и маслом, в Москве прошли несколько его выставок. Но главным его делом остается, конечно же, словесность.

Возьмем ту же «Шапку». Если бы Войнович был автором узкой идейной направленности, в данном конкретном случае —

антисоветской, он и написал бы героя, которого затравила совписноменклатура.

Но он пишет качественно иной текст.

Его персонаж, Ефим Рахлин, — и жертва, и порождение, «плоть» и фундамент этой самой совписноменклатуры.

В небольшой повести Войнович описал «табель о рангах» в так называемой творческой организации. «Табель о рангах», структуру и состав, соответствующие строению, устройству и составу всего советского общества. Во главе союза писателей стоит генерал (к которому Рахлин приходит с униженной просьбой, как и Акакий Акакиевич к своему генералу), и не просто генерал, а генерал КГБ, от КГБ в свое время и пострадавший, и отсидевший, и все равно ревностно (и органично) органам преданный, и по-своему артистичный — он тоже, замечает насмешливый автор, мог бы стать настоящим советским писателем. Секретарь Союза, одновременно депутат, одновременно редактор и т.д. Поэт-антисемит. Мрачный юморист. Детский писатель (сочинитель сказок). Поэтесса-общественница. И среди них Рахлин — свой, на своем месте, в своем ряду. Он унижен тем, что его с этого места сдвинули, больше ничем: не ту шапку распределили! И в то же время Рахлин — как бы «диссидент в тайне души», постоянно слушает Би-би-си, «Голос Америки», ночь напролет будет упиваться чтением запрещенной литературы — а сам сочинять книги (печь одну за другой) про героических советских людей. Искренне псевдолиберальное двоедушие советской интеллигенции — вот что блестяще и воздушно, смешно и драматично запечатлено Войновичем.

Если настоящие советские писатели, живые благодаря перу нашего автора, всерьез создавали мертвечину в соцреалистическом ключе, то Войнович играючи пишет энциклопедию поздней советской цивилизации, запечатлевая ее в ее нелепых персонажах и абсурдных перипетиях. Для этих персонажей семантика, знак (например, шапка той или иной «степени», место в ряду, в президиуме, орден, марка автомобиля, размер квартиры и т.д.) важнее самой жизни.

А разве это присуще только жизни советской?

Читайте и думайте.

Наталья Иванова

Полный автобиографический очерк

Р — — — — —

одился 26 сентября 1932 года в городе

Сталинабаде, бывшем Дюшамбе, будущем Душанбе.

Отец журналист, мать еврейка.

Жил в трех странах будущего СНГ и в нескольких за пределах.

Будущему писателю не исполнилось еще и четырех лет, когда арестовали и посадили его отца. После чего наступило счастливое детство, за которое спасибо товарищу Сталину.

Благодаря дальнейшим заботам партии и правительства и в порядке приобретения жизненного опыта работал пастухом, столяром, слесарем, авиамехаником, железнодорожным рабочим, инструктором сельского райисполкома, редактором радио, профессором Принстонского университета.

Из десяти классов средней школы окончил пять: первый, четвертый, шестой, седьмой и десятый. Полтора года учился в Московском областном педагогическом институте (МОПИ) им. Н.К. Крупской, о чем воспоминание содержится в давнем стихотворении, посвященном поэту Олегу Чухонцеву, который тоже, как ни странно, учился там же:

Сперва учились вместе в МОПИ,

Теперь сидим обое в жо...

Прости, чего-то я не допил,

Допью и допишу ужо.

Служил в Советской Армии, где за четыре года прошел славный путь от рядового до рядового.

В армии, до и после нее из всех видов поощрений получал только одно: снятие предыдущих взысканий.

Писать начал поздно, имея от роду двадцать лет, и за прошедшие с тех пор еще два раза по столько извел на сноп выдумки немало чернил и бумаги.

За усилия на данном поприще был избран в Баварскую академию изящных искусств, Сербскую академию наук и искусств, Французский Пен-клуб, американское общество Марка Твена, исключен из Союза писателей СССР, изгнан из Советского Союза и лишен советского гражданства (спустя много лет все эти взыскания были по традиции и постепенно сняты).

В течение жизни кое-что написал, кое-что напечатал и на что-то еще надеется.

Владимир Войнович

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Черты биографии автора этого тома значительно дополнены фотоальбомом из семейного архива Владимира Войновича, любезно предоставленным автором по нашей просьбе.

По нашей же просьбе Владимир Войнович сделал подписи к этому фотоальбому. Скажем откровенно, нам было жаль переводить живые строки писателя в стандартный типографский шрифт, и мы решили дать эти тексты в факсимильном воспроизведении.

**Жизнь
и необычайные
приключения
солдата
Ивана Чонкина**





Ч★НКИН

40%

0,5 л

охлаждать перед употреблением

РУССКАЯ ВОДКА

Книга первая

Лицо неприкосновенное

Часть первая

1

Б — — — — —
было это или не было, теперь уж точно сказать

нельзя, потому что случай, с которого началась (и тянется почти что до наших дней) вся история, произошел в деревне Красное так давно, что и очевидцев с тех пор почти не осталось. Те, что остались, рассказывают по-разному, а некоторые и вовсе не помнят. Да, по правде сказать, и не такой это случай, чтоб держать его в памяти столько времени. Что касается меня, то я собрал в кучу все, что слышал по данному поводу, и прибавил кое-что от себя, прибавил, может быть, даже больше, чем слышал. В конце концов история эта показалась мне настолько занятной, что я решил изложить ее в письменном виде, а если вам она покажется неинтересной, скучной или даже глупой, так плюньте и считайте, что я ничего не рассказывал.

Произошло это вроде бы перед самой войной, не то в конце мая, не то в начале июня 1941 года — в этих примерно пределах.

Стоял обыкновенный, жаркий, как бывает в это время года, день. Все колхозники были заняты на полевых работах, а Нюра Беляшова, которая служила на почте, прямого отношения к колхозу не имела и была в тот день выходная, копалась на своем огороде — окучивала картошку.

Было так жарко, что, пройдя три ряда из конца в конец огорода, Нюра совсем уморилась. Платье на спине и под мышками взмокло и, подсыхая, становилось белым и жестким от соли. Пот затекал в глаза. Нюра остановилась, чтобы поправить выбившиеся из-под косынки волосы и посмотреть на солнце — скоро ли там обед.

Солнца она не увидела. Большая железная птица с перекосенным клювом, заслонив собой солнце и вообще все небо, падала прямо на Нюру.

— Ай! — в ужасе вскрикнула Нюра и, закрыв лицо руками, замертво повалилась в борозду.

Кабан Борька, рывший землю возле крыльца, отскочил в сторону, но, увидев, что ему ничто не угрожает, вернулся на прежнее место.

Прошло сколько-то времени. Нюра очнулась. Солнце жгло спину. Пахло сухой землей и навозом. Где-то чирикали воробьи и кудахтали куры. Жизнь продолжалась. Нюра открыла глаза и увидела под собой комковатую землю.

«Что ж это я лежу?» — подумала она недоуменно и тут же вспомнила про железную птицу.

Нюра была девушка грамотная. Она иногда читала «Блокнот агитатора», который регулярно выписывал парторг Килин. В «Блокноте» недвусмысленно говорилось, что всяческие суеверия достались нам в наследство от темного прошлого и их надо решительно искоренять. Эта мысль казалась Нюре вполне справедливой. Нюра повернула голову вправо и увидела свое крыльцо и кабана Борьку, который по-прежнему рыл землю. В этом не было ничего сверхъестественного. Борька всегда рыл землю, если находил для этого подходящее место. А если находил неподходящее, тоже рыл. Нюра повернула голову дальше и увидела чистое голубое небо и желтое слепящее солнце.

Осмелев, Нюра повернула голову влево и снова упала ничком. Страшная птица существовала реально. Она стояла недалеко от Нюриного огорода, широко растопырив большие зеленые крылья.

«Сгинь!» — мысленно приказала Нюра и хотела осенить себя крестным знамением, но креститься, лежа на животе, было неудобно, а подниматься она боялась.

И вдруг ее словно током пронзило: «Так это же аэроплан!» И в самом деле. За железную птицу Нюра приняла обыкновенный самолет У-2, а перекошенным клювом показался ей неподвижно застывший воздушный винт.

Едва перевалив через Нюрину крышу, самолет опустился, пробежал по траве и остановился возле Федьки Решетова, чуть не сбив его правым крылом.

Федька, рыжий мордатый верзила, известный больше под прозвищем Плечевой, косил здесь траву.

Летчик, увидев Плечевого, расстегнул ремни, высунулся из кабины и крикнул:

— Эй, мужик, это что за деревня?

Плечевой несколько не удивился, не испугался и, приблизившись к самолету, охотно объяснил, что деревня называется Красное, а сперва называлась Грязное, а еще в их колхоз входят Клюквино и Ново-Клюквино, но они на той стороне реки, а Старо-Клюквино, хотя и на этой, относится к другому колхозу. Здешний колхоз называется «Красный колос», а тот — имени Ворошилова. В «Ворошилове» за последние два года сменилось три председателя: одного посадили за воровство, другого за растление малолетних, а третий, которого прислали для укрепления, сперва немного поукреплял, а потом как запил, так и пил до тех пор, пока не пропилил личные вещи и колхозную кассу, и допился до того, что в припадке белой горячки повесился у себя в кабинете, оставив записку, в которой было одно только слово «Эх» с тремя восклицательными знаками. А что это «Эх!!!» могло значить, так никто и не понял. Что касается здешнего председателя, то он, хотя тоже пьет без всякого удержу, однако на что-то еще надеется.

Плечевой хотел сообщить летчику еще ряд сведений из жизни окрестных селений, но тут набежал народ.

Первыми подоспели, как водится, пацаны. За ними спешили бабы, которые с детишками, которые беременные, а многие и с детишками и беременные одновременно. Были и такие, у которых один ребеночек за подол цепится, другой за руку, вторая рука держит грудного, а еще один в животе поспевает. К слову сказать, в Красном (да только ли в Красном?) бабы рожали охотно и много и всегда были либо беременные, либо только что после родов, а иногда и вроде только что после родов, а уже и опять беременные.

За бабами шкандыбали старики и старухи, а с дальних полей, побросав работу, бежали и остальные колхозники с косами, граблями и тяпками, что придавало этому зрелищу явное сходство с картиной «Восстание крестьян», висевшей в районном клубе.

Нюра, которая все еще лежала у себя в огороде, снова открыла глаза и приподнялась на локте.

«Господи, — сверкнула в мозгу ее тревожная мысль, — я здесь лежу, а люди давно уж глядят».

Спохватившись на свои еще не окрепшие от испуга ноги, она проворно пролезла между жердями в заборе и кинулась к постепенно густевшей толпе. Сзади стояли бабы. Нюра, расталкивая их локтями, стонала:

— Ой, бабы, пустите!

И бабы расступались, потому что по голосу Нюры понимали, что ей крайне надо пробиться вперед.

Потом пошел слой мужиков. Нюра растолкала и их, говоря:

— Ой, мужики, пустите!

И наконец очутилась в первом ряду. Она увидела совсем близко самолет с широкой масляной полосой по всему фюзеляжу и летчика в коричневой кожаной куртке, который, прислонившись к крылу, растерянно глядел на подступавший народ и вертел на пальце потертый шлем с дымчатыми очками.

Рядом с Нюрой стоял Плечевой. Он посмотрел на нее сверху вниз, засмеялся и сказал ласково:

— Ты гляди, Нюрка, живая. А я думал, тебе уже все. Я ведь эроплан первый заметил, да. Я тут у бутра сено косил, когда гляжу: летит. И в аккурат, Нюрка, на твою крышу, на трубу прямо, да. Ну, думаю, сейчас он ее счесет.

— Бреешь ты все, — сказал Николай Курзов, стоявший от Плечевого справа.

Плечевой споткнулся на полуслове, посмотрел на Николая тоже сверху вниз, поскольку был выше на целую голову, и, подумав, сказал:

— Брешет собака. А я говорю. А ты свою варешку закрой, да, и не раскрывай, пока я тебе не дам разрешения. Понял? Не то я тебе на язык наступлю.

После этого он поглядел на народ, подмигнул летчику и, оставшись доволен произведенным впечатлением, продолжал дальше:

— Эроплан, Нюрка, от твоей трубы прошел вот на вершок максима. А минима и того менее. А если б он твою трубу зацепил, так мы бы тебя завтра уже обмывали, да. Я бы не пошел, а Колька Курзов пошел бы. Он до женского тела любопытный. Его прошлый год в Долгове в мили-

ции три дня продержали за то, что он в женскую баню залез и под лавкой сидел, да.

Все засмеялись, хотя знали, что это неправда, что Плечевой это придумал сейчас. А когда перестали смеяться, Степан Луков спросил:

— Плечевой, а Плечевой, а ты когда увидал, что эроплан за трубу зацепится, испужался ай нет?

Плечевой презрительно сморщился, хотел сплюнуть, да некуда было — всюду народ. Он проглотил слюну и сказал:

— А чего мне пужаться? Эроплан не мой, и труба не моя. Кабы моя была, может, спужался б.

В это время один из мальчишек, крутившихся тут же под ногами у взрослых, изловчился и шарахнул по крылу палкой, отчего крыло загудело, как барабан.

— Ты что делаешь? — заорал на мальчишку летчик.

Мальчишка испуганно юркнул в толпу, но потом снова вылез. Палку, однако, выбросил.

Плечевой, послушав, какой звук издало крыло, покачал головой и спросил у летчика со скрытым ехидством:

— Свиной кожей обтянуто?

Летчик ответил:

— Перкалью.

— А чего это?

— Такая вещь, — объяснил летчик. — Материя.

— Чудно, — сказал Плечевой. — А я думал, он весь из железа.

— Кабы из железа, — влез опять Курзов, — его бы мотор в высоту не поднял.

— В высоту поднимает не мотор, а подъемная сила, — сказал известный своей ученостью кладовщик Гладышев.

За образованность Гладышева все уважали, однако в этих его словах усомнились.

Бабы этих разговоров не слушали, у них была своя тема. Они разглядывали летчика в упор, не стесняясь его присутствием, словно он был неодушевленным предметом, и вслух обсуждали достоинства его туалета.

— Кожанка, бабы, — чистый хром, — утверждала Тайка Горшкова. — Да еще со складками. Для их, видать, хрома не жалеют.

Нинка Курзова возразила:

— Это не хром, а шевро.

— Ой, не могу! — возмутилась Тайка. — Какое ж шевро? Шевро-то с пупырышками.

— И это с пупырышками.

— А где ж тут пупырышки?

— А ты пощупай — увидишь, — сказала Нинка.

Тайка с сомнением посмотрела на летчика и сказала:

— Я бы пощупала, да он, наверно, щекотки боится.

Летчик смутился и покраснел, потому что не знал, как на это все реагировать.

Его спас председатель Голубев, который подъехал к месту происшествия на двуколке.

Само происшествие застало Голубева в тот момент, когда он вместе с одноруким счетоводом Волковым проверял бабу Дуню на предмет самогонварения. Результаты проверки были налицо: председатель слезал с двуколки с особой осторожностью, он долго нащупывал носком сапога железную скобу, подвешенную на проволоке вместо подножки.

В последнее время пил председатель часто и много, не хуже того, что повесился в Старо-Клюквине. Одни считали, что он пил, потому что пьяница, другие находили, что по семейным причинам. Семья у председателя была большая: жена, постоянно страдавшая почками, и шестеро детей, которые вечно ходили грязные, вечно дрались между собой и много ели.

Все это было бы еще не так страшно, но, как на грех, дела в колхозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать — хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже.

Поначалу, когда от каждой избы все стаскивали в одну кучу, оно выглядело внушительно и хозяйствовать над этим было приятно, а потом кое-кто спохватился и пошел тащить обратно, хотя обратно-то не давали. И председатель себя чувствовал вроде той бабы, которую посадили на кучу барахла — сторожить. Окружили ее с разных сторон, в разные стороны тащат. Одного за руку схватит, другой в это время из-под нее еще что-нибудь высмыкнет, она к тому, этот убежал. Что ты будешь делать?

Председатель тяжело переживал создавшееся положение, не понимая, что не он один виноват в этом.

Он все время ждал, что вот приедет какая-нибудь инспекция и ревизия и тогда он получит за все и сполна. Но пока что все обходилось. Из района наезжали иногда разные ревизоры, инспекторы и инструкторы, пили вместе с ним водку, закусывали салом и яйцами, подписывали командировочные удостоверения и уезжали подбрюшью. Председатель даже перестал их бояться, но, будучи человеком от природы неглупым, понимал, что вечно так продолжаться не может и что нагрянет когда-нибудь Высшая Наименее Ответственная Инспекция и скажет свое последнее слово.

Поэтому, узнав, что за околицей, возле дома Нюры Беляшовой, приземлился самолет, Голубев ничуть не удивился. Он понял, что час расплаты настал, и приготовился встретить его мужественно и достойно. Счетоводу Волкову он приказал собрать членов правления, а сам, пожевав чаю, чтобы хоть чуть-чуть убить запах, сел в двуколку и поехал к месту посадки самолета, поехал на встречу своей судьбе.

При его появлении толпа расступилась, образовав между ним и летчиком живой коридор. По этому коридору председатель довольно твердой походкой прошел к летчику и издали протянул ему руку.

— Голубев Иван Тимофеевич, председатель колхоза, — четко назвал он себя, стараясь дышать на всякий случай в сторону.

— Лейтенант Мелешко, — представился летчик.

Председателя несколько смутило, что представитель Высшей Инспекции такой молодой и в таком скромном чине, но он виду не подал и сказал:

— Очень приятно. Чем могу служить?

— Да я и сам не знаю, — сказал летчик. — У меня маслопровод лопнул и мотор заклинило. Пришлось вот сесть на вынужденную.

— По заданию? — уточнил председатель.

— Какое задание? — сказал летчик. — Я вам говорю — на вынужденную. Мотор заклинило.

«Давай, давай, заливай больше», — подумал про себя Иван Тимофеевич, а вслух сказал:

— Если чего с мотором, так это можно помочь. Степан, — обратился он к Лукову, — ты бы пошуровал, чего там такое. Он у нас на тракторе работает, — объяснил он летчику. — Любую машину разберет и опять соберет.

— Ломать — не строить, — подтвердил Луков и, достав из бокового кармана своей промасленной куртки разводной гаечный ключ, решительно двинулся к самолету.

— Э-э, не надо, — поспешно остановил его летчик. — Это не трактор, а летательный аппарат.

— Разницы нет, — все еще надеялся Луков. — Что там гайки, что здесь. В одну сторону крутишь — закручиваешь, в другую сторону крутишь — откручиваешь.

— Вам надо было не здесь садиться, — сказал председатель, — а возле Старо-Клюквина. Там и МТС и МТМ — враз бы все починили.

— Когда садишься на вынужденную, — терпеливо объяснил летчик, — выбирать не приходится. Увидел — поле не засеяно, и прижался.

— Травопольной системы придерживаемся, потому и не засеяно, — сказал председатель, оправдываясь. — Может, хотите осмотреть поля или проверить документацию? Прошу в контору.

— Да зачем мне ваша контора! — рассердился летчик, видя, что председатель к чему-то клонит, а к чему — непонятно. — Хотя подождите. В конторе телефон есть? Мне позвонить надо.

— Чего ж сразу звонить? — обиделся Голубев. — Вы бы сперва посмотрели, что к чему, с народом бы поговорили.

— Послушайте, — взмолился летчик, — что вы мне голову морочите? Зачем мне говорить с народом? Мне с начальством поговорить надо.

«Во какой разговор пошел, — отметил про себя Голубев. — На «вы» и без матюгов. И с народом говорить не хочет, а прямо с начальством».

— Дело ваше, — сказал он обреченно. — Только я думаю, с народом поговорить никогда не мешает. Народ, он все видит и все знает. Кто сюда приезжал, и кто чего говорил, и кто кулаком стучал по столу. А чего там говорить! — Он махнул рукой и пригласил к себе в двуколку. — Садитесь, отвезу. Звоните, сколько хотите.

Колхозники снова расступились. Голубев услужливо подсадил летчика в двуколку, потом взгромоздился сам. При этом рессора с его стороны до отказа прогнулась.

2

Дежурный по части капитан Завгородний, в расстегнутой гимнастерке и давно не чищенных, покрывшихся толстым слоем пыли сапогах, изнывая от жары, сидел на крыльце штаба и наблюдал за тем, что происходило перед входом в казарму, где размещалась комендантская рота.

А происходило там вот что. Красноармеец последнего года службы Иван Чонкин, маленький, кривоногий, в сбившейся под ремнем гимнастерке, в пилотке, надвинутой на большие красные уши, и в сползающих обмотках, стоял навтыжку перед старшиной роты Песковым и испуганно глядел на него воспаленными от солнца глазами.

Старшина, упитанный розовощекий блондин, сидел, развалясь, на скамеечке из некрашенных досок и, положив ногу на ногу, покуривал папироску.

— Ложись! — негромко, словно бы нехотя скомандовал старшина, и Чонкин послушно рухнул на землю.

— Отставить! (Чонкин вскочил на ноги.) Ложись! Отставить! Ложись! Товарищ капитан, — крикнул старшина Завгороднему. — Вы не скажете, сколько там на ваших золотых?

Капитан посмотрел на свои большие часы Кировского завода (не золотые, конечно, старшина пошутил) и лениво ответил:

— Половина одиннадцатого.

— Такая рань, — посетовал старшина, — а жара уже, хоть помирай. — Он повернулся к Чонкину: — Отставить! Ложись! Отставить!

На крыльцо вышел дневальный Алимов.

— Товарищ старшина, — закричал он, — вас к телефону!

— Кто? — спросил старшина, недовольно оглядываясь.

— Не знаю, товарищ старшина. Голос такой хриплый, будто простуженный.

— Спроси — кто?

Дневальный скрылся в дверях, старшина повернулся к Чонкину:

— Ложись! Отставить! Ложись!

Дневальный вернулся, подошел к скамейке и, с участием глядя на распластанного в пыли Чонкина, доложил:

— Товарищ старшина, из бани звонят. Спрашивают: мыло сами будете получать или пришлете кого?

— Ты же видишь, я занят, — сдерживаясь, сказал старшина. — Скажи Трофимовичу — пусть получит. — И снова к Чонкину: — Отставить! Ложись! Отставить! Ложись! Отставить!

— Слышь, старшина, — полубопытствовал Завгородний. — А за что ты его?

— Да он, товарищ капитан, разгильдяй, — охотно объяснил старшина и снова положил Чонкина. — Ложись! Службу уже кончает, а приветствовать не научился. Отставить! Вместо того, чтоб как положено честь отдавать, пальцы растопыренные к уху приставит и идет не строевым шагом, а как на прогулочке. Ложись! — Старшина достал из кармана платок и вытер вспотевшую шею. — Устанешь с ними, товарищ капитан. Возишься, воспитываешь, нервы тратишь, а толку чуть. Отставить!

— А ты его мимо столба погоняй, — предложил капитан. — Пусть пройдет десять раз строевым шагом туда и обратно и поприветствует.

— Это можно, — сказал старшина и заплевал папироску. — Это вы правильно, товарищ капитан, говорите. Чонкин, ты слышал, что сказал капитан?

Чонкин стоял перед ним, тяжело дыша, и ничего не отвечал.

— А вид какой! Весь в пыли, лицо грязное, не боец, а одно недоразумение. Десять раз туда и сюда, равнение на столб, шагом... — старшина выдержал паузу, — марш!

— Вот так, — оживился капитан. — Старшина, прикажи: пусть носок тянет получше, сорок сантиметров от земли. Эх, разгильдяй!

А старшина, ободренный поддержкой капитана, командовал:

— Выше ногу. Руку согнуть в локте, пальцы к виску. Я тебя научу приветствовать командиров. Кругом... марш!

В это время в коридоре штаба зазвонил телефон. Завгородний покосился на него, но не встал, уходить не хотелось.

Он закричал:

— Старшина, ты посмотри, у него обмотка размоталась. Он же сейчас запутается и упадет. Прямо со смеху умрешь. И зачем только такое чучело в армию берут, а, старшина?

А телефон в коридоре звонил все настойчивей и громче. Завгородний неохотно поднялся и вошел в штаб.

— Слушаю, капитан Завгородний, — вяло сказал он в трубку.

Расстояние между деревней Красное и местом расположения части составляло километров сто двадцать, а может быть, больше, слышимость была отвратительная, голос лейтенанта Мелешко забивали какой-то треск, музыки, и капитан Завгородний с трудом понял, в чем дело. Сначала он даже не придал сообщению лейтенанта должного значения и вознамерился вернуться к прерванному зрелищу, но по дороге от телефона к дверям до него дошел смысл того, что он только что услышал. И, осознав случившееся, он застегнул ворот гимнастерки, отер сапог о сапог и пошел докладывать начальнику штаба.

Постучав кулаком в дверь (начальник штаба был несколько глуховат), Завгородний, не дожидаясь ответа, приоткрыл ее и, переступив порог, закричал:

— Разрешите войти, товарищ майор?

— Не разрешаю, — тихо сказал майор, не поднимая головы от своих бумажек.

Но Завгородний не обратил на его слова никакого внимания, он не помнил случая, чтобы начальник штаба кому-либо что-либо разрешил.

— Разрешите доложить, товарищ майор?

— Не разрешаю. — Майор поднял голову от бумаг. — Что это у вас за вид, капитан? Небриты, пуговицы и сапоги не чищены.

— Пошел ты... — вполголоса сказал капитан и весело поглядел майору в глаза.

По губам капитана начштаба понял примерный смысл сказанного, но не был уверен в этом, поскольку вообще не мог себе представить, чтобы младший по званию дерзил старшему. Поэтому он сделал вид, что не понял капитана, и продолжал свое:

— Если вам не на что купить крем в военторге, я вам могу подарить баночку.

— Спасибо, товарищ майор, — вежливо сказал Завгородний. — Разрешите доложить: у лейтенанта Мелешко отказал мотор и он сел на вынужденную.

— Куда сел? — не понял начштаба.

— На землю.

— Перестаньте острить. Я вас спрашиваю, где именно приземлился Мелешко.

— Возле деревни Красное.

Начштаба подошел к висевшей на стене карте, отыскал на ней Красное.

— Что же делать? — Он растерянно посмотрел на Завгороднего.

Тот пожал плечами.

— Вы начальник, вам виднее. По-моему, надо доложить командиру полка.

Начальник штаба и раньше не отличался большой смелостью по отношению к вышестоящим командирам, но теперь, по причине глухоты, боялся их еще больше, помня, что его в любое время могут уволить в запас.

— Командир сейчас занят, — сказал он, — руководит полетами.

— Вынужденная посадка — летное происшествие, — напомнил Завгородний. — Командир должен знать.

— Значит, вы думаете, удобно отрывать командира для этого дела?

Завгородний промолчал.

— А может, Мелешко сам как-нибудь справится с этим?

Завгородний посмотрел на него с сочувствием. Начштаба перевелся сюда из пехоты и мало понимал в летном деле.

— Разрешите отлучиться из части, товарищ майор. Я сам доложу командиру.

— Вот правильно, — обрадовался майор. — Вы сами идите и доложите ему от своего имени. Вы — дежурный по части и имеете право. Постойте, Завгородний. Как же вы уйдете? А вдруг в части что-нибудь случится.

Но Завгородний уже не слышал его, он вышел и плотно закрыл за собой дверь.

Примерно через час он вернулся в штаб с командиром полка подполковником Опаликовым и с инженером полка Кудлаем. В штабе к тому времени оказался еще подполковник Пахомов, командир батальона аэродромного обслуживания. Он выяснял с начальником штаба какие-то свои дела и при появлении Опаликова хотел уйти, но тот его задержал. Стали обсуждать, что делать. Кудлай сказал, что на складе запасных моторов нет, а из дивизии раньше чем через неделю не получишь. Завгородний предложил отстыковать крылья, погрузить самолет на автомобиль и привезти сюда. Начальник штаба предложил тащить самолет на буксире, чем вызвал презрительную ухмылку Завгороднего. Подполковник Пахомов молчал и что-то отмечал в своем блокнотике, проявляя усердие в службе.

Опаликов слушал говоривших насмешливо. Потом встал, прошел из угла в угол.

— Заслушав и обсудив всю ту хреновину, которую каждый из вас нес здесь в меру своих способностей, я пришел к выводу, что самолет мы оставим на месте до прибытия мотора. Если тащить его сто двадцать километров на автомобиле, от него останутся только дрова. А пока там надо поставить караул, хотя бы от пацанов, чтобы не растащили приборную доску. Это тебя касается. — Он махнул рукой в сторону Пахомова.

Подполковник Пахомов положил блокнот на подоконник и встал.

— Извините, ничего не получится, — робко сказал он. Хотя он был чином равен Опаликову, возрастом — старше и непосредственно ему не подчинялся, Пахомов чувствовал превосходство Опаликова над собой, знал, что тот ближе к начальству, раньше его станет полковником, и поэтому обращался к нему на «вы».

— Это почему еще не получится? — нетерпеливо спросил Опаликов.

Он не любил никаких возражений.

— Вся комендантская рота вторую неделю в карауле, и сменить некем. — Пахомов взял блокнот и заглянул в него. — Семь человек в лазарете, двенадцать на лесозаготовках, один в отпуске. Все.

— Ну хоть одного можно найти? Хоть завалящего какого-нибудь. Пусть он там поспит возле машины, лишь бы было с кого спросить.

— Ни одного, товарищ подполковник. — При этом Пахомов сделал такое жалкое лицо, что не поверить ему было никак невозможно.

— Да, дело плохо, — задумался Опаликов и тут же вскрикнул: — Ура! Нашел! Послушай, пошли-ка ты этого... как его... боец у тебя есть такой зачуханный, на лошади ездит.

— Чонкин, что ли? — не поверил Пахомов.

— Конечно, Чонкин. До чего же я все-таки умный человек! — удивился Опаликов и хлопнул себя по лбу ладонью.

— Так он же... — попробовал возразить Пахомов.

— Что он?

— На кухню дрова некому будет возить.

— Незаменимых людей у нас нет, — сказал командир полка.

Этот тезис был апробирован. Подполковник Пахомов не посмел ничего возразить.

3

Дорогой читатель! Вы уже, конечно, обратили внимание на то, что боец последнего года службы Иван Чонкин был маленького роста, кривоногий да еще и с красными ушами. «И что это за нелепая фигура! — скажете вы возмущенно. — Где тут пример для подрастающего поколения? И где автор увидел такого в кавычках героя?» И я, автор, прижатый к стенке и пойманный, что называется, с поличным, должен буду признаться, что нигде я его не видел, выдумал из своей головы и вовсе не для примера, а просто от нечего делать. «Допустим, это так, — скажете вы недоверчиво, — но зачем же выдумывать? Неужели автор не мог взять из жизни настоящего воина-богатыря, высокого, стройного, дисциплинированного,

отличника учебно-боевой и политической подготовки? Мог бы, конечно, да не успел. Всех отличников расхватали, и мне вот достался Чонкин. Я сперва огорчился, потом смирился. Ведь герой книги, он как ребенок — какой получился, такой и есть, за окошко не выбросишь. У других, может, дети и лучше, и поумнее, а свой все равно всех дороже, потому что свой.

В предыдущей биографии Чонкина не было слишком уж ярких страниц, на которых стоило бы задерживать ваше внимание, но хотя бы в двух словах рассказать, откуда он родом, как жил и чем занимался раньше, вроде бы надо.

Итак, в одной приволжской деревне жила в свое время некая Марьяна Чонкина, обыкновенная деревенская женщина, вдова. Ее муж Василий Чонкин погиб в четырнадцатом году во время империалистической войны, которая, как известно, потом перешла в гражданскую и продолжалась очень долго. В то время, когда шли бои за Царицын, деревня, где жила Марьяна, оказалась на скрещении военных дорог, через нее проходили то красные, то белые, просторный и пустой дом Марьяны нравился и тем и другим. Однажды в доме Марьяны целую неделю квартировал некто прапорщик Голицын, имеющий какое-то, весьма неясное, отношение к знаменитому роду русских князей. Потом он уехал из этой деревни и, должно быть, о ней позабыл, но деревня о нем не забыла. И когда через год, а может, и больше (никто не считал), у Марьяны родился сын, в деревне стали посмеиваться, говоря, что тут дело не обошлось без участия князя. Правда, еще подозревали в этом местного пастуха Серегу, но Серега решительно отпирался.

Сына Марьяна назвала Иваном, а отчество ему дала по погибшему мужу — Васильевич.

Первые шесть лет, о которых у Ивана не осталось никаких воспоминаний, он прожил в бедности. Мать его была слаба здоровьем, хозяйство совсем запустила, жила кое-как, перебиваясь с хлеба на воду, пока не утонула однажды в реке. Пошла в начале зимы полоскать на Волге белье и провалилась. Именно к этому времени и относятся первые воспоминания Чонкина о себе и окружающем мире.

Иван не остался один, его приютили бездетные соседи и однофамильцы, а может быть, даже родственники, — Чонкины. У них не было детей много лет, они даже подумывали, не взять ли кого из приюта, а тут подвернулся такой вот случай. Чонкина одели, обули, а когда он малость подрос, стали приучать понемногу к хозяйству. То сено пошлют ворошить, то картошку в погребе перебирать, то еще чего по хозяйству. За это и поплатились.

В известное время стали искать в деревне кулаков, да ни одного не могли найти. А приказано было найти обязательно, хотя бы для примера. Тогда нашли Чонкиных, которые эксплуатировали чужой, да к тому же еще и детский, труд. Чонкиных сослали, а Иван попал в детский дом, где его больше двух лет почем зря мучили арифметикой. Сначала он все это покорно переносил, но, когда дело дошло до деления целых чисел с остатком, не выдержал и дал деру в свою родную деревню.

К тому времени он уже немного подрос и у него доставало сил, чтобы затянуть супонь. Ему дали лошадь и послали работать на молочно-товарную ферму. И, не забывая о высоком происхождении Чонкина, говорили:

— Князь, запряжешь Чалого, поедешь навоз возить.

В армии его так не звали, потому что не знали этого прозвища, а в облике его ничего княжеского не было. Командир батальона Пахомов, встретив Чонкина в первый раз, сказал не задумываясь:

— На конюшню.

Сказал как приклеил. На конюшне Чонкину было самое место. С тех пор он и ездил все время на лошади — возил на кухню дрова и картошку. Со службой своей он освоился быстро и быстро усвоил ее основные законы, как, например:

«Боец спит — служба идет», «Не спеши исполнять приказание, его могут и отменить» и т. д. и т. п.

И хотя за всю службу он не стал, подобно своим сверстникам, ни механиком, ни мотористом, жизнью своей, если бы не старшина, Чонкин был бы доволен вполне. Его не посылали в наряды, не заставляли мыть в казарме полы, освобождали от строевой подготовки. Он даже в казарме почти не бывал, зимой спал обычно на кухне, а летом — в конюшне на сене. Имея прямое отношение

к кухне, питался по норме № 5, то есть по летной норме. Только от одной всеобщей обязанности он не был освобожден — от политзанятий.

4

Летом, в хорошую погоду, политзанятия проходили обычно не в помещении, а на опушке небольшой рощицы, в стороне от городка. Чонкин, как всегда, опоздал, но на этот раз не по своей вине. Сперва его воспитывал старшина, потом повар Шурка в самый последний момент послал его на склад за крупой. Кладовщика на складе не оказалось, пришлось бегать по всему городку разыскивать. Когда Чонкин приехал наконец на лошади в рощу, все были уже в сборе. При появлении Чонкина руководитель занятий старший политрук Ярцев весьма тонко съязвил в том духе, что, мол, раз Чонкин явился, значит, теперь все в порядке — можно и начинать.

Бойцы расположились на небольшой лужайке вокруг широкого пня, на котором сидел старший политрук Ярцев.

Чонкин разнуздал лошадь и привязал ее неподалеку к дереву, чтобы она могла щипать траву, а сам себе выбрал место впереди бойцов, подальше от руководителя занятий. Он сел, поджав под себя ноги, и только после этого огляделся. И тут же понял, что место выбрал самое неудачное. Рядом с ним, глядя на него насмешливыми голубыми глазами, сидел его заклятый враг Самушкин. Этот Самушкин никогда не упускал случая, чтобы устроить Чонкину какую-нибудь пакость: в столовой смешивал сахар с солью, в казарме ночью (в тех редких случаях, когда Чонкину все же приходилось там спать) связывал вместе брюки и гимнастерку, и Чонкин из-за этого опаздывал на построение. А однажды Самушкин устроил Чонкину «велосипед» — вложил спящему между пальцев ног клочки бумаги и поджег. За это он получил два наряда вне очереди, а Чонкин трое суток хромал.

Увидев Самушкина, Чонкин понял, что лучше бы он сел в муравейник, потому что по игривому настроению Самушкина сразу понял, что добра от него ждать нечего.

Проходили тему «Моральный облик бойца Красной Армии». Старший политрук Ярцев достал из лежавшего на коленях большого желтого портфеля конспект, поли-

стал его, вкратце напомнил бойцам то, что проходили на прошлых занятиях, и спросил:

— Кто желает выступить? Чонкин? — удивился он, заметив, что Чонкин дернул рукой.

Чонкин встал, оправил под ремнем гимнастерку и, переминаясь с ноги на ногу, уставился Ярцеву прямо в глаза. Так они смотрели друг на друга довольно долго.

— Ну что же вы не отвечаете? — не выдержал Ярцев.

— Не готов, товарищ старший политрук, — нерешительно пробормотал Чонкин, опуская глаза.

— Зачем же вы тогда поднимали руку?

— Я не поднимал, товарищ старший политрук, я жука доставал. Мне Самушкин бросил за шею жука.

— Жука? — зловецким голосом переспросил Ярцев. — Вы что, товарищ Чонкин, пришли сюда заниматься или жуков ловить?

Чонкин молчал. Старший политрук встал и в волнении заходил по лужайке.

— Мы с вами, — начал он, медленно подбирая слова, — изучаем очень важную тему: «Моральный облик бойца Красной Армии». Вы, товарищ Чонкин, по политподготовке отстаєте от большинства других бойцов, которые на политзанятиях внимательно слушают руководителя. А ведь не за горами инспекторская поверка. С чем вы к ней придете? Поэтому, между прочим, и дисциплина у вас хромает. Прошлый раз, когда я был дежурным по части, вы не вышли на физзарядку. Вот вам конкретный пример того, как слабая политическая подготовка ведет к прямому нарушению воинской дисциплины. Садитесь, товарищ Чонкин. Кто желает выступить?

Поднял руку командир отделения Балашов.

— Вот, — сказал Ярцев, — почему-то товарищ Балашов всегда первым поднимает руку. И его всегда приятно слушать. Вы конспект приготовили, товарищ Балашов?

— Приготовил, — скромно, но с достоинством сказал Балашов.

— Я знаю, что приготовили, — сказал Ярцев, глядя на Балашова с нескрываемой любовью. — Отвечайте.

Старший политрук снова сел на пень и, чтобы показать заранее, какое истинное наслаждение доставит ему четкий и правильный ответ Балашова, закрыл глаза.

Балашов развернул общую тетрадь в картонном переплете и начал читать громко, с выражением, не вставляя ни единого своего слова.

Пока он читал, бойцы занимались кто чем. Один, спрятавшись за спиной другого, увлекся «Мадам Бовари», двое играли в «морской бой», Чонкин предавался своим мыслям. Мысли у него были разные. Внимательно наблюдая жизнь, постигая ее законы, он понял, что летом обычно бывает тепло, а зимой — холодно. «А вот если бы было наоборот, — думал он, — летом холодно, а зимою тепло, то тогда бы лето называлось — зима, а зима называлась бы — лето». Потом ему пришла в голову другая мысль, еще более важная и интересная, но он тут же забыл, какая именно, и никак не мог вспомнить. И мысль об утерянной мысли была мучительна. В это время его толкнули в бок. Чонкин оглянулся и увидел Самушкина, про которого совсем позабыл. Самушкин поманил его пальцем, показывая, чтобы Чонкин наклонился, он, Самушкин, ему что-то скажет. Чонкин заколебался. Самушкин опять что-то придумал. Крикнуть в ухо, пожалуй, побоится, старший политрук здесь, а плюнуть может.

— Чего тебе? — шепотом спросил Чонкин.

— Да ты не бойся, — прошептал Самушкин и сам наклонился к чонкинскому уху. — Ты знаешь, что у Сталина было две жены?

— Да ну тебя, — отмахнулся Чонкин.

— Верно тебе говорю. Две жены.

— Хватит болтать, — сказал Чонкин.

— Не веришь — спроси у старшего политрука.

— Да зачем мне это нужно? — упрямился Чонкин.

— Спроси, будь другом. Я спросил бы, но мне неудобно, я прошлый раз задавал много вопросов.

По лицу Самушкина было видно, что ему очень важно, чтобы Чонкин оказал ему эту пустяковую, в сущности, услугу. И Чонкин, будучи человеком добрым, не умеющим никому и ни в чем отказывать, сдался.

Балашов все еще читал свой конспект. Старший политрук его слушал рассеянно, зная, что Балашов — боец аккуратный, наверняка переписал в конспект все слово в слово из учебника и никаких неожиданностей

в его ответе быть не может. Но времени оставалось мало, надо было спросить других, и Ярцев прервал Балашова.

— Спасибо, товарищ Балашов, — сказал он. — У меня к вам еще вопрос: почему наша армия считается народной?

— Потому что она служит народу, — ответил Балашов не задумываясь.

— Правильно. А кому служат армии капиталистических стран?

— Кучке капиталистов.

— Правильно. — Ярцев был очень доволен. — Я с удовольствием прослушал ваш ответ. Вы правильно мыслите, делаете из пройденного материала верные выводы. Я ставлю вам «отлично» и буду просить командира батальона объявить вам благодарность с занесением в личное дело.

— Служу трудовому народу, — тихо сказал Балашов.

— Садитесь, товарищ Балашов. — И своими узкими пронизательными глазами старший политрук осмотрел сидевших перед ним бойцов. — Кто хочет дальше развить мысль предыдущего оратора?

Чонкин дернул рукой. Ярцев заметил:

— Товарищ Чонкин, как прикажете истолковать ваш выразительный жест? Может быть, вы опять боретесь с жуком?

Чонкин встал:

— Вопрос, товарищ старший политрук.

— Пожалуйста. — Политрук расплылся в широкой улыбке, всем своим видом показывая, что, конечно, Чонкин может задать только очень простой вопрос и, может быть, даже глупый, но он, Ярцев, обязан снижаться до уровня каждого бойца и разъяснить непонятное. И он ошибся. Вопрос, может быть, был глупый, но не такой простой.

— А правда, — спросил Чонкин, — что у товарища Сталина было две жены?

Ярцев вскочил на ноги с такой поспешностью, как будто ему в одно место воткнули шило.

— Что?! — закричал он, трясаясь от ярости и испуга. — Вы что говорите? Вы меня в это дело не впутывайте. —

Он тут же спохватился, что сказал что-то не то, и остановился.

Чонкин растерянно хлопал глазами. Он никак не мог понять, чем вызвана такая ярость старшего политрука. Он пытался объяснить свое поведение.

— Я, товарищ старший политрук, ничего, — сказал он. — Я только хотел спросить... Мне говорили, что у товарища Сталина...

— Кто вам говорил? — закричал Ярцев не своим голосом. — Кто, я вас спрашиваю? С чужого голоса поете, Чонкин!

Чонкин беспомощно оглянулся на Самушкина, тот спокойно перелистывал «Краткий курс истории ВКП(б)», словно все происходившее не имело к нему никакого абсолютно отношения. Чонкин понял, что, если сослаться на Самушкина, тот откажется не моргнув глазом. И хотя Чонкин никак не мог взять в толк, чем именно вызван такой невероятный гнев старшего политрука, ему было ясно, что Самушкин его опять подвел, может быть, даже больше, чем в тот раз, когда устроил «велосипед».

А старший политрук, начав кричать, никак не мог остановиться, он крестил Чонкина почем зря, говоря, что вот, мол, к чему приводит политическая незрелость и потеря бдительности, что такие, как Чонкин, очень ценная находка для наших врагов, которые только и ищут малейшую щель, куда, не гнушаясь никакими средствами, можно пролезть со своими происками, что такие, как Чонкин, позорят не только свое подразделение и свою часть, но и всю Красную Армию в целом.

Трудно сказать, чем кончился бы монолог Ярцева, если бы его не прервал дневальный Алимов. Видно, Алимов бежал от самого городка, потому что долго не мог перевести дух и, приложив руку к pilotке, тяжело дышал, молча глядя на Ярцева. Его появление сбило Ярцева с мысли, и он спросил раздраженно:

— Что вам?

— Товарищ старший политрук, разрешите обратиться. — Алимов кое-как отдышался.

— Обращайтесь, — устало сказал Ярцев, опускаясь на пень.

— Рядового Чонкина по приказанию командира батальона вызывают в казарму.

Этому обстоятельству были рады и Чонкин и Ярцев. Отвязывая лошадь, Чонкин ругал себя, что черт дернул его за язык, может быть, первый раз за всю службу задал вопрос, и на тебе — такая неприятность. И он твердо решил, что теперь никогда в жизни не будет задавать никаких вопросов, а то еще влипнешь в такую историю, что не выпутаешься.

5

Старшина Песков сидел у себя в каптерке и суровой ниткой резал мыло, готовясь к предстоящему его роте банному дню. В это время его позвали к телефону, и комбат Пахомов приказал немедленно разыскать Чонкина, выдать ему оружие, продпаяк на неделю и подготовить к длительному несению караульной службы.

Какой именно службы и почему длительной, старшина не понял, но сказал «есть!», потому что привык выполнять приказания беспрекословно, согласно уставу. Каптенармуса Трофимовича, который помогал ему резать мыло, он послал на продклад, а дневального Алимова отправил разыскивать Чонкина. После этого нарезал остальное мыло, вытер руки о полотенце и сел писать письмо своей невесте, которая жила в городе Котласе.

После срочной службы старшина прослужил еще два года, теперь хотел опять продлить срок, но невеста этого не одобряла. Она считала, что женатому человеку лучше работать где-нибудь на заводе, чем служить в армии. Старшина Песков с этим был не согласен, он писал: «А еще, Люба, вы пишете, что гражданская жизнь лучше, чем военная, вы, Люба, имеете об этом неправильное понятие, потому что для каждого воина Красной Армии есть главное переносить все тяготы и лишения воинской службы. А также воспитание подчиненных. Вы знаете, что наша страна со всех четырех сторон находится в капиталистическом окружении и враги только и метят на то, чтобы задушить советскую страну, а наших жен и детей угнать в рабство. Поэтому в Красную Армию ежегодно призываются на военную службу молодые воины, дети рабочих и трудового крестьянства. И мы, закаленные

воины, должны передавать им свой боевой опыт и воинское мастерство в деле воспитания молодого поколения. Но вопрос этот очень серьезный, к людям надо проявлять ежедневную строгость, потому что ты с ними будешь по-хорошему, а они к тебе обернутся свиньей. Возьмем, к примеру, простую семью. Если не будешь воспитывать ребенка в строгости, с ремешком, то он вырастет жулик или хулиган, а дети, Люба, цель нашей жизни. А если не иметь цели, то можно повеситься или застрелиться (вот вам пример: Маяковский, Есенин)».

Старшина поставил точку, обмакнул перо в чернила и стал обдумывать следующую фразу. Он хотел как-то связать воедино вопросы семьи и брака и обороноспособности государства, но как именно сделать это, еще не знал, и тут его сбили с толку — кто-то постучался в дверь.

— Войдите, — разрешил старшина.

Вошел Чонкин. Он был так огорчен своей оплошностью на политзанятиях, что даже забыл, что нужно о своем прибытии доложить по-уставному, и спросил просто:

— Звали, товарищ старшина?

— Не звал, а приказал явиться, — поправил старшина. — Выйдите и доложите, как положено.

Чонкин повернулся к дверям.

— Отставить! — сказал старшина. — Как нужно поворачиваться кругом?

Чонкин постарался сделать все как надо, но опять перепутал и повернулся через правое плечо. Только с третьего раза у него получился поворот более или менее гладко, после чего старшина наконец снизошел к нему, разрешил выйти и, вернувшись, доложить о прибытии. Потом сунул ему в руки устав караульной и гарнизонной службы и отправил в казарму учить обязанности часового. А сам остался дописывать письмо, наполняя его новыми, возникшими в результате общения с Чонкиным, мыслями:

«Вот, Люба, к примеру, у вас на заводе работает инженер с высшим образованием и имеет в своем подчинении 10—12 чел. Он может приказать им что-нибудь только по работе, а после работы или во время выходного дня они ему уже не подчиняются и могут делать что хотят, как говорится, ты сам по себе, а я сам по себе. У нас такого по-

ложения быть не может. У меня в роте 97 красноармейцев и младшего комсостава. Я могу им в любое время отдать любое приказание, и они выполняют его беспрекословно, точно и в срок, согласно Уставу и воинской дисциплине, хотя я имею образование 5 кл.».

На этом месте его опять оборвали. Дверь отворилась, в каптерку кто-то вошел. Думая, что это Чонкин, старшина, не повернув головы, сказал:

— Выйди, постучись и войди снова.

Ему ответили:

— Я тебе постучусь.

Старшина волчком развернулся на табурете, одновременно вытягиваясь, потому что увидел перед собой подполковника Пахомова.

— Товарищ подполковник, за время вашего отсутствия в роте никаких происшествий... — начал было он, приложив руку к пилотке, но подполковник его перебил:

— Где Чонкин?

— Отправлен для изучения устава караульной и гарнизонной службы, — четко отрапортовал старшина,

— Куда отправлен? — не понял Пахомов.

— В казарму, товарищ подполковник, — отчеканил Песков.

— Ты что — сумасшедший? — заорал на него подполковник. — Его самолет ждет, а ты тут будешь с ним уставами заниматься. Я тебе по телефону что говорил? Немедленно позвать Чонкина и подготовить к отправке.

— Есть, товарищ подполковник! — Старшина кинулся к дверям.

— Погоди. Сухой паек получили?

— Трофимович пошел и все нету. Может, с кладовщиком разговаривает.

— Я вот ему поразговариваю. Тащить его сюда вместе с продуктами!

— Сейчас я пошлю дневального, — сказал старшина.

— Отставить дневального! — сказал Пахомов. — Не дневального, а сам, и бегом! Погоди. Даю тебе пять минут. За каждую лишнюю минуту — сутки ареста. Понял? Бегом!

Со старшиной подполковник разговаривал совсем не так, как час назад с командиром полка. Но и разговор

старшины с Чонкиным был мало похож на его разговор с подполковником. Что касается Чонкина, то он мог в таком духе разговаривать разве что с лошадьё, потому что она по своему положению была еще ниже его. А уже ниже лошади никого не было.

Выскочив на улицу, старшина поглядел на свои карманные часы, засек время и пошел было шагом, но потом, оглянувшись и увидев, что подполковник Пахомов следит за ним в окно, побежал.

Бежать надо было метров четыреста — в противоположный конец городка. На этом пути не было ни одного строения, за которым можно было бы укрыться и тайком от комбата передохнуть, и старшина Песков чувствовал себя как на пристрелянной местности. Ему было двадцать пять лет, но за два года сверхсрочной службы он бегал только один раз, и то по тревоге, когда уклониться от беганья не было никакой возможности. Отвычка от этого занятия давала себя знать, да и жара, надо сказать, стояла немалая.

На продуктовом складе было, как всегда, полутемно и прохладно. Редкие солнечные лучи, пробиваясь сквозь дыры в стене и в крыше, пронизывали помещение, вырывая из полутьмы какие-то ящики, бочки, мешки и говяжьи туши, подвешенные к перекладине поперек склада. У полуоткрытых дверей сидел кладовщик Дудник и, подперев подбородок рукой, дремал, разомлев от жары. Стоило ему заснуть, как подбородок соскальзывал с потной ладони. Дудник ударялся подбородком об стол, открывал глаза, смотрел на стол подозрительно и враждебно, но, не в силах устоять перед соблазном, снова подводил руку под подбородок.

Высунув язык, влетел на склад старшина Песков. Он опустился рядом с Дудником на ящик из-под крупы и спросил:

— Ты Трофимовича не видел?

Дудник снова трахнулся об стол и осоловело посмотрел на Пескова.

— Чего?

Старшина посмотрел с уважением на подбородок Дудника, который выдерживает такие удары.

— Зубы целы? — спросил он.

— Зубы-то ничего, — сказал Дудник, встряхивая головой и зевая. — Я вот боюсь — стол придется в ремонт отдавать. Кого ты спрашивал?

— Трофимович здесь был?

— А-а, Трофимович. Трофимович был, — сказал Дудник, закрывая глаза и снова подставляя руку под подбородок.

— погоди ты спать. — Старшина потряс его за плечо. — Куда он пошел?

Не открывая глаз, Дудник махнул свободной рукой в сторону дверей:

— Туда.

Поняв, что толку от Дудника не добиться, старшина вышел наружу и остановился в раздумье. Куда идти? Он перебрал в уме все места, где мог бы быть Трофимович, но тот мог быть где угодно, и придумать сейчас что-нибудь более или менее вероятное старшине было не так-то просто. Он вынул карманные часы и посмотрел на них. С момента получения им приказа шла шестая минута. Старшина вздохнул. Он знал, что подполковник Пахомов слов на ветер никогда не бросает. И Песков вдруг только сейчас понял, что происходит, вероятно, что-то сверхважное, раз Чонкина отправляют куда-то на самолете. Может быть, сам Чонкин вдруг стал очень важным? Его, старшину Пескова, ни разу не возили на самолете. Мысль о важности происходящего заставила его мозг работать продуктивней, старшина еще раз прикинул, где именно мог прятаться Трофимович, и, уже не колеблясь, бросился к военторговскому магазину.

Песков не ошибся. Трофимович стоял в пустом магазине рядом с продавщицей Гусей и рассказывал ей содержание фильма «Сердца четырех». На полу у его ног лежал вещмешок с сухим пайком для Чонкина.

Через минуту после этого подполковник Пахомов, взглянув в окно, увидел такую картину: по тропинке в сторону казармы, с вещмешком на плече, мелко подпрыгивал Трофимович; сзади, подталкивая его кулаком в спину, бежал старшина Песков.

К вечеру того же дня, сидя в отдельной камере батальонной гауптвахты, старшина Песков продолжал письмо своей невесте из города Котласа.

«А вообще, Люба, — писал он, — жизнь армейская, конечно, не сахар. Это же есть такие люди, которые пользуются своим положением не для укрепления воинской дисциплины, а совсем обратное, с целью, чтобы издеваться над своим подчиненным. И конечно, в гражданской жизни такого положения не бывает, потому что там каждый человек отработал свои восемь часов на производстве, считает себя уже свободным, и если какой инженер или мастер прикажет ему что-нибудь, так он может послать его куда подальше, и правильно сделает».

6

Вот уж правда, жизнь человека полна неожиданностей. Если бы в этот день все текло по намеченному плану, то Чонкин после политзанятий должен был привезти на кухню дрова, потом — обед, потом — сон, после сна — баня. В бане обещали выдать новое обмундирование. (Чонкин уже рассчитывал отложить это обмундирование и две пары новых портянок на случай предстоящей демобилизации.) После бани — опять на конюшню, на склад за продуктами для ужина, потом вечером на открытой площадке — концерт художественной самодеятельности.

И вдруг — трах-бах — вызвали в казарму, выдали винтовку, скатку, вещмешок, усадили в самолет, и через каких-нибудь полтора часа Чонкин был уже черт-те где, в какой-то деревне, о которой он до этого никогда не слышал и не подозревал, что она существует на свете.

Его еще мучило от только что перенесенного первый раз в жизни полета, а летчики (тот, который его сюда привез, и другой, который был здесь) захеслили логманнй самолет, привязали его к земле, сели в исправный и улетели, как будто их здесь и не было, а Чонкин остался лицом к лицу с самолетом и толпой, окружавшей его. Но и толпа постепенно рассосалась, предоставив Чонкина самому себе.

Оставшись один, он обошел вокруг самолета, подергал элероны и руль поворота, ударил ногой по колесу. И сплюнул. Зачем его охранять, от кого охранять и сколько времени — неизвестно. Подполковник Пахомов сказал — может, неделю, а может, и больше. За неделю

можно с тоски подохнуть. Раньше, бывало, хоть с лошадей поговоришь, и то дело. Он вообще любил разговаривать с лошадей, больше даже, чем с людьми, потому что человеку скажешь что-нибудь, да не то, еще и неприятностей наберешь на свою шею, а лошадь, ей чего ни скажи, все принимает. Чонкин с ней беседовал, советовался, рассказывал про свою жизнь, про старшину, жаловался на Самушкина и на повара Шурку, лошадь понимала чего или не понимала, а махала хвостом, кивала головой — реагировала. А с этим драндулетом разве поговоришь? Он же неодушевленный. Чонкин еще раз сплюнул и прошел от носа к хвосту и от хвоста опять к носу. Огляделся.

Здесьняя природа не нравилась ему совершенно. В трех сотнях шагов от него сквозь кусты ивняка свинцово блестящая речка со странным названием Тёпа. Чонкин не знал, что она так называется, но все равно было противно. Чахлый лесок, который тянулся ниже по течению Тёпы, Чонкину не нравился еще больше, а уж обо всем остальном пространстве и говорить нечего. Земля была голая, бутристая и с камнями, деревня бедная. Два дома обиты тесом, остальные — из потемневших бревен, наполовину вросшие в землю, крытые какой — дранью, какой — соломой.

Пусто в деревне. Сколько ни смотри, не увидишь человека живого. И ничего удивительного в этом нет — все на работе. А кто не на работе, прячутся от жары по избам. Только пегий теленок, видно, отбил от стада, лежит посреди дороги, высунув язык от жары.

Какой-то человек проехал на велосипеде по берегу речки с граблями, привязанными за спиной.

— Эг-ге-эй! — прокричал ему Чонкин, но тот не остановился, не обернулся, видать, не слышал.

Иван пристроил вещмешок на крыле самолета, развязал посмотреть, что там ему положили. В мешке лежали две буханки хлеба, банка мясных консервов, банка рыбных, банка концентратов, кусок колбасы, твердой, как дерево, и несколько кусков сахара, завернутых в газету. На неделю, конечно, негусто. Знать бы заранее, спер бы чего-нибудь в летной столовой, а теперь что ж...

Прошел Чонкин опять вдоль самолета. Несколько шагов туда, несколько шагов обратно. Вообще, конечно,

есть в его положении и приятное. Сейчас он не просто Чонкин, к которому можно запросто подойти, хлопнуть по плечу, сказать: «Эй, ты, Чонкин» — или, например, плюнуть в ухо. Сейчас он часовой — лицо неприкосновенное. И прежде чем плюнуть в ухо, пожалуй, подумашь. Чуть что — «Стой! Кто идет?», «Стой! Стрелять буду!». Дело серьезное.

Но если посмотреть на это дело с другой стороны...

Чонкин остановился и, прислонившись к крылу, задумался. Оставили его здесь одного на неделю без всякой подмены. А дальше что? По уставу часовому запрещается есть, пить, курить, смеяться, петь, разговаривать, отпирать естественные надобности. Но ведь стоять-то неделю! За неделю этот устав хочешь не хочешь — нарушишь! Придя к такой мысли, он отошел к хвосту самолета и тут же нарушил. Оглянулся вокруг — ничего.

Запел песню:

Скакал казак через долину,
Через кавказские края...

Это была единственная песня, которую он знал до конца. Песня была простая. Каждые две строчки повторялись:

Скакал он садиком зеленым,
Кольцо блестело на руке...
Скакал он садиком зеленым,
Кольцо блестело на руке...

Чонкин помолчал и прислушался. Опять ничего! Хоть пой, хоть тресни, никому ты не нужен. Ему вдруг стало тоскливей прежнего, и он ощутил настоящую потребность поговорить хоть с кем-нибудь хоть о чем-нибудь.

Оглядевшись, он увидел телегу, которая пылила по дороге в сторону деревни. Чонкин приставил ладонь козырьком, взгляделся: в телеге баб человек десять, сидят, свесив ноги за борт, а одна, в красном платье, стоя, лошадами правит. Увидя это, Чонкин пришел в неопишное волнение, которое становилось тем больше, чем больше приближалась телега. Когда она совсем приблизилась, Чонкин и вовсе засуетился, застегнул воротник и рванул к дороге.

— Эй, девки! — закричал он. — Давай сюда!

Девки зашумели, засмеялись, а та, которая правила лошадьми, прокричала в ответ:

— Всем сразу или через одну?

— Вали кулем, потом разберем! — махнул рукой Чонкин.

Девки зашумели еще больше и замахали руками, вроде бы приглашая Чонкина к себе в телегу, а та, что стояла, крикнула такое, что Чонкин даже оторопел.

— И-их, бабоньки-и! — от избытка чувств взвизгнул он, но его уже никто не мог слышать. Въехав в деревню, телега скрылась за поворотом, и только белая пыль долго еще висела в нагретом воздухе.

Все это подействовало на Чонкина самым приятным образом. Он оперся на винтовку, и вовсе не дозволенные уставом мысли насчет женского пола начали овладевать им. Он по-прежнему все поглядывал вокруг себя, но теперь уже не просто так, не совсем без смысла, теперь он искал нечто совершенно определенное.

И нашел.

В ближайшем от себя огороде он увидел Нюру Беляшову, которая после дневного отдыха снова вышла окучивать картошку. Она мерно махала тяпкой и поворачивалась к Чонкину разными сторонами. Он пригляделся и по достоинству оценил ее крупные формы.

Чонкина сразу к ней потянуло, но он посмотрел на самолет и только вздохнул. И снова стал ходить вдоль самолета. Несколько шагов туда, несколько шагов обратно. Но «туда» шагов почему-то получалось все больше, а обратно все меньше, и в конце концов он уткнулся грудью в забор из длинных кривых жердей. Это произошло для него самого настолько неожиданно, что, встретившись с вопрошающим Нюриным взглядом, Чонкин понял, что должен объяснить как-то свой поступок, и объяснил его так:

— Попить охота, — сказал он и для убедительности ткнул себя пальцем в живот.

— Это можно, — сказала Нюра, — только вода у меня теплая.

— Хоть какая, — согласился Чонкин.

Нюра положила тяпку в борозду, пошла в дом и тут же вернулась с ковшиком из черного железа. Вода была,

правда, теплая, невкусная, она пахла деревянной бочкой. Чонкин отпил немного, а остаток, нагнувшись, выплеснул себе на голову.

— И-эх, хорошо! — сказал он с преувеличенной бодростью. — Верно я говорю?

— Ковшик на сучок повесьте, — ответила Нюра, снова берясь за тяпку.

Встреча с Чонкиным ее тоже взволновала, но она не подала виду и стала работать, ожидая, что он уйдет. А ему уходить не хотелось. Он постоял еще, помолчал и задал вопрос сразу по существу:

— Одна живете или с мужем?

— А вам зачем знать? — спросила Нюра.

— Из интересу, — ответил Чонкин.

— Одна или не одна, вас это не касается.

Этот ответ удовлетворил Чонкина. Он означал, что Нюра живет одна, но девичья гордость не позволяет ей отвечать прямо на такие вопросы.

— Может, помочь? — предложил Иван.

— Не надо, — сказала Нюра, — я уж сама.

Но Чонкин уже перекинул через забор винтовку и сам пролез между жердями. Нюра сперва поотнекивалась для приличия, а потом отдала Чонкину свою тяпку, а себе принесла из хлева другую. Вдвоем дело пошло веселее. Чонкин работал легко и быстро, чувствовалось, что не первый раз занимается он этим делом. Нюра сперва пыталась за ним утнаться, но потом, поняв, что попытка эта несостоятельна, безнадежно отстала. Когда они остановились для перекура, она заметила ему с любопытством:

— Сами, видать, деревенские.

— Неужто заметно? — удивился Чонкин.

— Как не заметить, — сказала Нюра, смущенно потупясь. — У нас тут городские были, помогать приезжали. Так иной раз стыдно смотреть. Тяпку в руках держать не умеют. Интересно, чему их там в городах учат?

— Известно чему, — сообразил Чонкин. — Сало деревенское жрать.

— То-то и есть, — согласилась Нюра.

Чонкин поплевал на ладони и принялся опять за работу. Нюра, идя следом, нет-нет да и поглядывала украд-

кой на нового своего знакомого. Она, конечно, сразу заметила, что и ростом он не очень-то вышел, и лицом не из самых красавцев, но ей при ее затянувшемся одиночестве и такой был хорош. А Чонкин, она приглядела, парень сноровистый и с ухваткой, для хозяйства, сразу видно, полезный. И он нравился ей все больше и больше, и в душе ее даже затеплилось что-то похожее на надежду.

7

Нюра была совсем одинока. Более одинокой женщины не было во всей деревне, не считая бабы Дуни, но у той жизнь уже подходила к концу, а Нюре едва исполнилось двадцать четыре года. Жизнь в самом расцвете, но для замужества возраст, пожалуй, уже и великоват. Другие, кто порасторопней, постарались выскочить до двадцати да уже и детей понарожали (у Нюриной ровесницы Тайки Горшковой зимой пятый мальчишка родился). И не обидно, была бы хуже других, а то ведь нет. Ни лицом, ни фигурой Бог не обидел, красавицей, может, и не была, но и уродиной никто не считал. Уж на что Нинка Курзова от рождения недостаток имела — пятно в пол-лица, а и та нашла свое счастье, вышла замуж за Кольку и сейчас ходила на четвертом или на пятом месяце.

Не одна Нюра, конечно, в девках сидела, но у других хоть были либо родители, либо братья и сестры, либо еще кто, а у нее — никого. Были два брата старших — она их не помнила. Один трех лет от роду во время пожара сгорел, другой, побольше, от сыпного тифа помер.

Мать Нюры померла четыре года назад. До этого два года жаловалась на поясницу — все ее что-то ломало да горбило, от застуды ли, от тяжелой ли работы — кто его знает. Может, ей полежать надо было, отдохнуть, да как полежишь, когда бригадир каждое утро чуть не силком на улицу выволакивает — надо работать. И свое хозяйство тоже — большое ли, малое, а дело всегда найдется. К фельдшеру сходить, а он за семь верст, в Долгове. Семь верст туда да семь обратно. А лечение у него одно: на ночь ноги в горячей воде попарь и под ватное одеяло. К утру, мол, пройдет. Освобождения, если жару нет, не добьешься. Если, мол, всем освобождение давать, кто тогда будет работать?

Когда матери совсем худо стало и она начала криком кричать, отец пошел к председателю (тогда еще другой был, не Голубев) лошадь просить, а тот говорит: «Специально дать не могу, а как будет попутная — пожалуйста». Когда попутная оказалась, она уж была ни к чему. Кладбище Красновское было рядом, за огородами, и покойницу отнесли туда на руках.

Отец Нюры пожил еще год в Красном, а потом, дуриком получив паспорт, подался в город на заработки. Работал там разнорабочим на строительстве электростанции, потом перешел в милицию, и односельчане, возившие продавать колхозные овощи, много раз видели его на рынке — ходил в форме и с револьвером, гонял спекулянтов. Сперва он Нюре хоть изредка писал письма, а потом женился, у него родился ребенок, писал он все реже, а потом и совсем перестал, только изредка передавал приветы через знакомых.

С замужеством у нее ничего не вышло, может быть, еще и потому, что была от рождения робкого характера, не могла собою увлечь, что ли, и один ухажер бросил ее за то, что была молчалива, мол, не о чем даже поговорить; другой добивался от нее, чтобы согласилась на то, чего он хотел, до замужества, и обиделся, что она ему не верит; третьему поверила, но он тоже бросил — за то, что слишком легко согласилась. А женихов-то и сразу было немного, а чем дальше, тем меньше их становилось, таяли, как снег на ладони. Кто женился, кто ушел в армию и не вернулся, а для тех, которые подрастали, своих девчонок хватало. Так вот и получилось, что Нюра осталась одна.

Одиночество наложило особый отпечаток на ее жизнь. Взять хотя бы ее отношения со скотиной. У других, скажем, корова — это корова. Ее кормят, доят, выгоняют в стадо, и все. А Нюра за своей коровой ухаживала, чистила ее, выбирала из шкуры колючки. И разговаривала с ней ласково, как с человеком, и делилась, если было что-нибудь вкусное (когда кусок сахара даст, когда пирожок), потому и корова к ней относилась тоже как человек к человеку. Стадо в деревню пригонят, она от стада оторвется и бежит со всех ног бегом к дому — соскучилась, значит. И играет с хозяйкой. Так ее рогом подденет,

будто всерьез, а на самом деле легонько, шутя. Но если заметит, что кто-нибудь хочет Нюру обидеть, то тут уже не играет, а глаза кровью нальет, голову опустит и идет на обидчика — берегись!

А кабан Борька, тот и вовсе бегал за Нюрой, как собака. Нюра около двух лет назад взяла его в колхозе маленьким трехдневным поросенком, рассчитывая со временем зарезать. А поросенок попался чахленький, много болел. Нюра за ним тоже ухаживала, как за ребеночком. Кормила из соски молоком, клала на живот грелку, купала в корыте с мылом, повязывала платочком и укладывала с собой в постель. Выходила, а когда он подрос, не решилась зарезать. Так он и жил у нее вместо собаки, худой, грязный, носился по двору, гонял кур, провожал Нюру, когда она шла на почту, и встречал, когда возвращалась. А уж визгу-то было и радости, когда она возвращалась, на всю деревню.

Даже куры были у нее не такие, как у других. Сядет Нюра на крылечке, а они уже тут как тут. Которая на плечо заберется, которая — на голову, и сидят, как на насесте, не шелохнутся. И Нюра не шевелится, боится спугнуть. В деревне из-за этого над Нюрой многие посмеивались, а она и не обижалась, но думала, что попади ей какой-нибудь человек, пусть хоть некрасивый и не очень умный, лишь бы хороший и к ней бы хорошо относился, а уж она тоже не осталась бы в долгу, раскрылась бы перед ним всей душой. И вот сейчас впереди нее шел по борозде, взмахивая тяпкой, маленького роста человек в военной форме, с красными ушами, торчащими из-под пилотки. Кто он, этот человек, чего хочет? Может, только время провести от скуки, а может, и нет, кто его знает. Сразу не угадаешь.

Летний день, какой ни длинный, а и он подошел к концу. Заметно стало движение воздуха, потянуло от речки Тёпы прохладой, большое красное солнце, перерезанное надвое перистым облачком, коснулось краем дымного горизонта. Замычала на другом конце деревни скотина, и Нюра, оставив Чонкина на огороде, побежала встречать свою Красавку. По дороге сошлась с Нинкой Курзовой, она шла с длинным прутом, тоже встречала корову. Они пошли рядом.

— Ну как, картошку окучила? — спросила Нинка явно с ехидцей, уж вся деревня, конечно, обратила внимание, что Нюра на огороде работала не одна.

— Еще немного осталось, — сказала Нюра.

— Теперь-то с помощником легче, — подмигнула Нинка.

— Да уж, конечно, в четыре-то руки, — сказала Нюра и покраснела.

— Парень хоть хороший? — деловито осведомилась Нинка.

— Да кто его знает. — Нюра пожала плечами. — С первого разу нешто разберешь. Росточку маленького, но так, видать, работающий. Как пошел с тяпкой вдоль борозды, так я за ним угнаться никак не могу.

— Ну-ну, — одобрила Нинка, — а звать-то как?

— Иваном, — гордо поведала Нюра, как будто имя было особенное.

— Холостой?

— А я и не спросила.

— Зря. Сразу спрашивать надо.

— Да вроде неудобно сразу-то.

— Напрямки неудобно, — убежденно ответила Нинка, — а так, вроде к слову, можно. Хотя все равно соврет.

— А на что ему врать?

— Как не врать, — сказала Нинка. — Вся наша жизнь состоит из того, что мужики врут, а бабы верят. А этот еще и военный. Ему лишь бы время провести, да и все. А ты его так попытай, а еще постарайся и в документ заглянуть, хотя в ихних документах тож ничего может не быть, это не паспорт.

— Выходит, безвыходное положение? — спросила Нюра.

— Выходит, так.

— А я ему почему-то верю, — сказала Нюра. — Непохоже, чтоб врал.

— Если веришь, дело твое, — равнодушно сказала Нинка, — но я б на твоём месте его раньше время до себя не допускала.

— А кто ж допускает? — смутилась Нюра.

— А я не говорю, что допускаешь, а можешь допустить. А они, мужики, да еще военные, у их привычка такая — свое дело справит, а потом над тобой же и посмеется.

Тут Нинка отскочила к забору, потому что на дороге показалась Красавка, которая галопом неслась по деревне, а за ней, не отставая, бежала маленькая собачонка и отчаянно тявкала. Красавка неслась прямо на Нюру с такой скоростью, что казалось, никакая сила ее теперь не остановит, но перед самой Нюрой остановилась как вкопанная.

— Вот сатана какая, — испуганно сказала Нинка. — Гляди, Нюрка, кабы не вздела она тебя на рога.

— Ничего, меня не взденет, — сказала Нюра уверенно и почесала Красавке лоб между рогами. Та запыхалась от быстрого бега и дышала шумно, широко раздувая ноздри.

— А моей заразы что-то не видать, — сказала Нинка. — Побегу, как бы в огород к кому не залезла. Заходи болтаться, — как всегда, пригласила она. — Песни попоем, посмеемся.

И пошла дальше, помахивая хворостиной.

На обратном пути Нюра забежала к бабе Дуне и купила у нее поллитровочку самогону. Она боялась, что баба Дуня начнет расспрашивать, для чего самогон, и придумала сказать, что будто должен приехать отец. Но баба Дуня сама уже напробовалась своего зелья до того, что ей все было неинтересно.

Когда Нюра подоила корову и вышла на крыльцо, Чонкин закончил уже последнюю грядку и сидел на траве, курил.

— Устали? — спросила Нюра.

— Плевать, — сказал Чонкин. — Мне эта работа только для развлечения.

— Я там на стол собрала, — преодолев в себе робость, сказала Нюра.

— На стол? — У Чонкина загорелись глаза, но он тут же вспомнил о своем положении и только вздохнул. — Нельзя мне. С сожалением бы, но нельзя. У меня вон стоит. — С досадой он махнул рукой в сторону самолета.

— Да, Господи, кто его тронет! — горячо сказала Нюра. — У нас тут такой народ живет — избы не запирают.

— Неужто не запирают? — спросил Чонкин с надеждой. — И что ж, ни разу не бывало таких случаев, чтобы кто-нибудь чего-нибудь?..

— Да что вы, — сказала Нюра. — Я вот за всю жизнь и не припомню такого. Это вот еще когда я совсем маленькая была, еще до колхоза, у Степана Лукова, вон он там живет, за конторой, лошадь пропала, так и то думали — цыгане, а потом нашли ее, переплыла на тот берег.

— Ну, а если пацаны там захотят чего отвернуть? — постепенно сдавался Чонкин.

— Пацаны уже спать полегли, — сказала Нюра.

— Ну ладно, — решил Иван, — минут на десять, пожалуйста, зайду.

Он взял свою винтовку, Нюра собрала тяпки. В первой половине избы чисто убрано. На широком столе стояла бутылка, заткнутая тряпицей, два стакана и две тарелки — одна с вареной картошкой, другая с огурцами. Чонкин сразу оценил, что не хватает мясного, и, оставив винтовку в избе, сбегал к самолету за вещмешком. Колбасу Нюра тут же крупно порезала, а консервы вскрывать не стали, не хотелось возиться.

Чонкина Нюра усадила на лавку к стене, а сама села напротив на табуретку. Чонкин разлил самогон — себе полный стакан, Нюре — половину, больше она не разрешила. Чонкин поднял свой стакан и произнес тост:

— Со встречей!

После второго стакана Чонкина развезло. Он расстегнул гимнастерку, снял ремень и сидел, привалившись спиной к стене, и о самолете больше не думал. В наступивших сумерках, как в тумане, перед ним плавало лицо Нюры, то раздваиваясь, то вновь собираясь в единое целое. Чонкин чувствовал себя весело, легко и свободно, и непослушным движением пальца он поманил к себе Нюру и сказал ей:

— Поди сюда.

— А зачем? — спросила Нюра.

— Просто так.

— Просто так можно и через стол говорить, — сопротивлялась она.

— Ну иди, — жалобно сказал он, — я ж тебя не укушу.

— Ни к чему все это, — сказала Нюра и, обойдя стол, села слева от Чонкина на некотором расстоянии.

Они помолчали. На противоположной стене громко стучали старые ходики, но их в темноте не было видно.

Время шло к ночи. Чонкин глубоко вздохнул и придвинулся к Нюре. Нюра вздохнула еще глубже и отодвинулась. Чонкин снова вздохнул и придвинулся. Нюра снова вздохнула и отодвинулась. Скоро она очутилась на самом краю лавки. Двигаться дальше было опасно.

— Чтой-то холодно стало, — сказал Чонкин, кладя левую руку ей на плечо.

— Да не так уж и холодно, — возразила Нюра, пытаясь сбросить его руку с плеча.

— Чтой-то руки замерзли, — сказал он и правой полез к Нюре за пазуху.

— А вы вообще-то всегда на эроплане летаете? — спросила она, предпринимая последнюю отчаянную попытку освободиться.

— Всегда, — сказал он, просовывая руку у нее под мышкой за спину, чтобы расстегнуть лифчик.

8

Был не то день, не то вечер, не то свет, не то сумерки. Чонкин проснулся оттого, что почувствовал — кто-то угоняет его самолет. Он вскочил с постели, на которой рядом с ним никого не было, и выбежал на крыльцо. Тут он увидел Самушкина, который торопливо запрягал в самолет белую лошадь, похожую на Чалого. «Ты что делаешь?» — закричал Чонкин, но Самушкин, ничего не ответив, быстро вскочил в кабину и хлестнул лошадь концами вожжей. Лошадь подпрыгнула и, перебирая ногами, легко полетела над самой землей, а за ней над самой землей полетел самолет. На нижнем крыле, свесив ноги, сидели те самые девки, которые днем проезжали мимо Чонкина в телеге, среди них сидела и Нюра, она махала ему тяпкой, чтобы он догонял. Чонкин побежал за самолетом, и казалось, вот-вот догонит, но самолет ускользал от него, а бежать было все труднее, мешали перекинутая через плечо скатка и винтовка, которую он держал в руке. Он подумал, что винтовка ему совершенно не нужна, потому что старшина забыл выдать патроны, и, бросив винтовку, побежал гораздо быстрее. Вот он уже почти настиг самолет и хотел ухватиться за протянутую Нюрой тяпку, как вдруг вырос перед ним старшина и грозно спросил: «Ты почему не приветствуешь?» Он на минутку

остановился перед старшиной, не зная, то ли отвечать ему, то ли дальше гнаться за самолетом, а старшина опять закричал: «А ну-ка пройди мимо столба и десять раз поприветствуй его!» Чонкин стал торопливо озираться, чтобы побыстрее выполнить приказание старшины, пока самолет еще не улетел далеко, но столба нигде не было видно.

«Значит, ты не видишь этот столб! — закричал старшина. — А вот я тебе глаз сейчас выну, тогда ты у меня все увидишь, что нужно!» С этими словами старшина подошел к нему, вынул правый глаз, протянул вперед, в пространство, и этим вынутым глазом Чонкин действительно увидел перед собой растресканный столб, на котором горела лампочка. Он еще подумал — зачем она, интересно, горит, если и без нее свету достаточно? Он взял у старшины собственный глаз и пошел по направлению к столбу, но вспомнил про самолет и оглянулся.

Самолет был тут же, за его спиной. Он неподвижно парил в воздухе над самой землей, а лошадь беспомощно перебирала ногами, но не могла сдвинуться с места. «Надо бы ее подковать», — подумал он и увидел старшего политрука Ярцева, который вышел из-за горы и манил его пальцем. Чонкин оглянулся на старшину, чтобы спросить у него разрешение, но старшина был уже занят другим: он скакал верхом на каптенармусе Трофимовиче по какому-то укатанному круту, а посреди круга стоял подполковник Пахомов и стегал длинным бичом то одного, то другого.

Когда Чонкин подошел к Ярцеву, тот наклонился к самому его уху, а Чонкин испугался и закрыл ухо ладонью. «Не бойся, не плюнет», — сказал сзади Самушкин. Иван убрал руку. Ярцев тут же превратился в жука и залез к нему в ухо. Чонкину стало щекотно, он хотел вытряхнуть Ярцева, но тот тихо сказал: «Не волнуйтесь, товарищ Чонкин, вы — лицо неприкосновенное, и я вам сделать ничего не могу. Мне поручено сообщить вам, что у товарища Сталина никаких жен не было, потому что он сам — женщина».

Сказав это, Ярцев опять превратился в человека, спрыгнул на землю и ушел за гору.

Тут с неба медленно опустился товарищ Сталин. Он был в женском платье, с усами и с трубкой в зубах. В руках он держал винтовку.

— Это твоя винтовка? — строго спросил он с легким грузинским акцентом.

— Моя, — пробормотал Чонкин заплетающимся языком и протянул руку к винтовке, но товарищ Сталин отстранился и сказал:

— А где старшина?

Подлетел старшина верхом на Трофимовиче. Трофимович нетерпеливо рыл землю копытом, пытаясь сбросить с себя старшину, но тот крепко держал его за уши.

— Товарищ старшина, — сказал Сталин, — рядовой Чонкин покинул свой пост, потеряв при этом боевое оружие. Нашей Красной Армии такие бойцы не нужны. Я советую расстрелять товарища Чонкина.

Старшина медленно слез с Трофимовича, взял у товарища Сталина винтовку и приказал Чонкину:

— Ложись!

Чонкин лег. Под ним была пыль, топкая пыль, которая его засасывала, лезла в рот, в уши, в глаза. Он пытался разгрести пыль руками, ждал команды «отставить», но команды не было, и он проваливался все глубже и глубже. Тут его затылка коснулось что-то холодное, он понял, что это ствол винтовки, что сейчас грянет выстрел...

...Он проснулся в холодном поту. Рядом с ним, прислонившись к его плечу, спала какая-то женщина, он не сразу вспомнил, кто эта женщина и как они очутились в одной постели. Только увидев свою винтовку, спокойно висевшую на вешалке для верхней одежды, все вспомнил, соскочил на холодный пол и, наступая на завязки кальсон, кинулся к окну. За окном светало. Самолет стоял на прежнем месте, его большие нелепые крылья резко чернели на фоне просветлевшего неба. Чонкин облегченно вздохнул и, оглянувшись, встретился с Нюриным взглядом. Нюра хотела закрыть глаза, но не успела, теперь не смотреть было глупо, а смотреть — стыдно. И стыдно было, что рука ее, пухлая, белая, голая до плеча, лежит поверх одеяла. Нюра медленно потянула руку вбок, чтобы спрятать, и при этом улыбнулась смущенно. Чонкин тоже смутился, но, не желая этого показывать и не зная,

что делать, шагнул к Нюре, взял ее руку в свою, потряс легонько и сказал:

— Здравствуйте.

В то утро бабы, выгонявшие в поле скотину, видели, как из дома Нюры босой и без гимнастерки вышел Чонкин. Подойдя к самолету, он долго отвязывал его, потом разобрал часть забора, вкатил самолет в огород, а забор снова заложил жердями.

9

Отличительной чертой председателя Голубева была неодолимая склонность к сомнениям. Когда жена утром спрашивала его: «Что будешь есть — яичницу или картошку?» — он отвечал:

— Давай картошку.

Она доставала из печи чугунок с картошкой, и в эту секунду он знал совершенно определенно, что хочет яичницу. Жена запихивала чугунок обратно и шла в сени за яйцами.

Возвращаясь, встречалась с виноватым взглядом мужа — он снова хотел картошку.

Иногда он даже сердился:

— Давай что-нибудь одно, не заставляй меня думать про глупости.

Право на выбор его всегда тяготило. Он невыносимо мучился, когда раздумывал, какую сегодня надеть рубашку — зеленую или синюю, какие сапоги — старые или новые. Правда, за последние двадцать с лишним лет в стране было много сделано для того, чтобы Голубев не сомневался, но какие-то сомнения у него все-таки оставались и распространялись порой даже на такие вещи, в которых вообще сомневаться в то время было не принято. И не зря второй секретарь райкома Борисов говорил иногда Голубеву:

— Ты эти свои сомнения брось. Сейчас надо работать, а не сомневаться. — И еще он говорил: — Помни, за тобой ведется пристальное наблюдение.

Впрочем, он говорил это не только Голубеву, но и многим другим. Какое наблюдение и как именно оно ведется, Борисов не говорил, может, и сам не знал.

Однажды Борисов проводил в райкоме совещание председателей колхозов по вопросам повышения удожно-

сти за текущий квартал. Колхоз Голубева занимал среднее положение по показателям, его не хвалили и не ругали, он сидел и разглядывал новый гипсовый бюст Сталина, стоявший возле окна на коричневом подцветочнике. Когда совещание кончилось и все стали расходиться, Борисов задержал Голубева. Остановившись возле бюста вождя и машинально погладив его по голове, секретарь сказал:

— Вот что, Иван Тимофеич, парторг твой Килин говорит, что ты мало внимания уделяешь наглядной агитации. В частности, не дал денег на диаграмму роста промышленного производства.

— Не дал и не дам, — твердо сказал Голубев. — Мне коровник не на что строить, а ему только диаграммы свои рисовать, трынтькать колхозные деньги.

— Что значит трынтькать? — сказал секретарь. — Что значит трынтькать? Ты понимаешь, что ты говоришь?

— Я понимаю, — сказал Иван Тимофеевич. — Я все понимаю. Только жалко мне этих денег. Их в колхозе и так не хватает, не знаешь, как дыры заткнуть. А ведь вы потом сами с меня три шкуры сдерете, потому что я — председатель.

— Ты в первую очередь коммунист, а потом уже председатель. А диаграмма — это дело большой политической важности. И мне странно видеть коммуниста, который этого недооценивает. И я еще не знаю, то, что ты говоришь, ошибка или твердое убеждение, и, если будешь дальше держаться той же позиции, мы тебя еще проверим, мы в самую душу к тебе заглянем, черт тебя подери! — Рассердившись, Борисов хлопнул Сталина по голове и затряс рукой от боли, но тут же выражение боли на его лице сменилось выражением смертельного страха.

У него сразу пересохло во рту. Он раскрыл рот и смотрел на Голубева не отрываясь, словно загипнотизированный. А тот и сам до смерти перепугался. Он хотел бы не видеть этого, но ведь видел же, видел! И что теперь делать? Сделать вид, что не заметил? А вдруг Борисов побегит каяться, тогда он-то выкрутится, а ему, Голубеву, достанется за то, что не заявил. А если заявить, так ведь тоже за милую душу посадят, хотя бы за то, что видел.

У обоих была на памяти история, когда школьник стрелял в учительницу из рогатки, а попал в портрет и разбил стекло. Если бы он выбил учительнице глаз, его бы, возможно, простили по несовершеннолетию, но он ведь попал не в глаз, а в портрет, а это уже покушение, ни больше, ни меньше. И где теперь этот школьник, никто не знал.

Первым из положения вышел Борисов. Он суетливо вытащил из кармана металлический портсигар и, раскрыв его, сунул Голубеву. Тот заколебался — брать или не брать. Потом все же решился — взял.

— Да, так о чем мы с тобой говорили? — спросил Борисов как ни в чем не бывало, но на всякий случай отходя от бюста подальше.

— О наглядной агитации, — услужливо напомнил Голубев, приходя понемногу в себя.

— Так вот я говорю, — сказал Борисов уже другим тоном, — нельзя, Иван Тимофеевич, недооценивать политическое значение наглядной агитации, и прошу тебя по-дружески, ты уж об этом позаботься, пожалуйста.

— Ладно уж, позабочусь, — хмуро сказал Иван Тимофеевич, торопясь уйти.

— Вот и договорились, — обрадовался Борисов, он взял Голубева под руку и, провожая до дверей, сказал, понижая голос: — И еще, Ванюша, хочу тебя как товарищ предупредить, учти — за тобой ведется пристальное наблюдение.

Голубев вышел на улицу. Стоял по-прежнему сухой и солнечный день. Председатель отметил это с неудовольствием, пора бы уже быть и дождю. Его лошадь, привязанная к железной ограде, тянулась к кусту крапивы, но не могла дотянуться. Голубев взобрался в двуколку, отпустил вожжи. Лошадь прошла один квартал и сама, без всякого приказанья, а по привычке остановилась напротив деревянного дома с вывеской «Чайная». Возле чайной стояла подвода с бидонами из-под молока, председатель сразу определил, что подвода из его колхоза. Лошадь была привязана к столбу. Голубев привязал к этому же столбу и свою лошадь, поднялся по шатким ступеням крыльца и открыл дверь. В чайной пахло пивом и кислыми щами.

Женщина, скучавшая за стойкой, сразу обратила внимание на вошедшего.

— Здравствуйте, Иван Тимофеевич.

— Здорово, Анюта, — ответил председатель, кидая взгляд в угол.

Там Плечевой допивал свое пиво. При появлении председателя он встал.

— Ничего, сиди, — махнул ему Голубев и подождал, пока Анюта нальет ему обычную порцию — сто пятьдесят водки и кружку пива.

Водку, как всегда, вылил в пиво и пошел в угол к Плечевому. Тот опять попытался встать, но Голубев придержал его за плечо.

— Молоко сдавал? — спросил председатель, отхлебывая из кружки.

— Сдавал, — сказал Плечевой, — Жирность, говорят, маловата.

— Перебьются, — махнул рукой Голубев. — А чего сидишь?

— А я тут Нюрку встрел, почтальоншу, да и обещался ее подвезти, — объяснил Плечевой. — Вот дожидая.

— Что, живет она со своим красноармейцем? — поинтересовался Иван Тимофеевич.

— А чего ж ей не жить, — сказал Плечевой. — Он у ней заместо домохозяйки, да. Она на почту, а он воду наносит, дрова наколет и щи варит. Передник Нюркин надеет и ходит, как баба, занимается по хозяйству, да. Я-то сам не видел, а народ болтает, будто он и салфетки еще крестом вышивает. — Плечевой засмеялся. — Ей-богу, вот сколь живу, а такого, чтоб мужик в бабском переднике ходил да еще вышивал бы, не видел. И ведь вот что интересно: прислали его будто бы на неделю, полторы прошло, а он и не чухается, да. Я вот, Иван Тимофеевич, не знаю, может, это все от темноты, но народ думку такую имеет, что не зря он, этот армеец, сидит тут, а некоторые прямо считают — в виде следствия.

— Какого следствия? — насторожился председатель.

Плечевой знал о мнительности Голубева и сейчас нарочно его подзуживал и с удовольствием замечал, что слова его производят должный эффект.

— А кто его знает, какого, — сказал он. — Только понятно, что зазря его здесь держать не будут, да. Если эроплан сломатый, значит, его надо чинить. А если он в таком состоянии, что и чинить нельзя, значит, надо выбросить. Чего ж даром человека держать. Вот потому-то народ, Иван Тимофеич, и сомневается. Слух есть, — Плечевой понизил голос и приблизился к председателю, — что колхозы распускать будут обратно.

— Ну это ты брось, — сердито сказал председатель. — Не будет этого никогда, и не надейся. Работать надо, а не слухи собирать.

Он допил свой «ерш» и поднялся.

— Ты, Плечевой, вот что, — сказал он напоследок, — если Беляшовой долго не будет, не жди, нечего. И своим ходом дойдет, не велика барыня.

Попрощавшись с Анютой, он вышел, сел на двуколку и поехал домой. Но сказанное Плечевым запало ему в душу и соединилось со словами Борисова о том, что за ним, Голубевым, ведется пристальное наблюдение. Какое же наблюдение и как оно ведется? Уж не через этого ли красноармейца? Не специально ли его подослали? Правда, на вид он вроде бы и не похож на такого, которого можно подослать. Но ведь те, кто подсылает, тоже не дураки, они такого и не пошлют, чтобы сразу было видно, что он подослан. Если бы знать это точно! Но как узнаешь? И тут у Голубева родилась дерзкая мысль: «А что, если подойти к этому красноармейцу, стукнуть кулаком по столу, говори, мол, по какому заданию ты здесь сидишь и кто тебя на это направил?» А если даже за это и будет чего, так уж лучше сразу, чем так-то вот ждать неизвестно какой опасности.

10

Итак, полторы недели прошло с тех пор, как Чонкин попал в Красное и поселился у Нюры. Он здесь уже прижился, со всеми перезнакомился, стал своим человеком, и не было никаких намеков на то, что его отсюда когда-нибудь заберут. Нельзя сказать, чтобы Чонкину жизнь такая не нравилась. Наоборот, ни подъема, ни отбоя, не говоря уже о физзарядке или политзанятиях. Хотя и в армии в смысле еды он неплохо устроился, но здесь-

то хлеб, молоко, яички, все свежее, лучок прямо с грядки, да еще баба под боком — чем не жизнь? Да на месте Чонкина любой согласился бы стоять на таком посту до самой демобилизации, а еще годок-другой прихватил бы сверхсрочно. И все-таки в положении Чонкина было что-то такое, что не давало ему жить спокойно, а именно то, что оставили его здесь вроде бы на неделю, но неделя эта прошла, а из части ни слуху ни духу, никаких дальнейших распоряжений. Если решили задержать, то надо сообщить как-нибудь, да и сухой паек не мешало б пополнить. Это хорошо, что он здесь так вот пристроился, а то давно бы уже зубы на полку.

Последние дни, каждый раз выходя на улицу, Чонкин задирал голову и глядел в небо, не появится ли там медленно растущая точка, и прикладывал к уху ладонь, не послышится ли приближающийся рокот мотора. Да нет, ничего не было видно, ничего не было слышно.

Не зная, что предпринять, и отчаявшись, Чонкин решил обратиться за советом к умному человеку. Таким человеком оказался сосед Нюры — Кузьма Матвеевич Гладышев.

Кузьму Гладышева не только в Красном, но и во всей округе знали как человека ученого. Об учености Гладышева говорил хотя бы тот факт, что на деревянной уборной, стоявшей у него в огороде, большими черными буквами было написано «Water closet».

Занимая неприметную и низкооплачиваемую должность колхозного кладовщика, Гладышев зато имел много свободного времени для пополнения знаний и держал в своей маленькой голове столько различных сведений из различных областей, что люди, знакомые с ним, только вздыхали завистливо и уважительно — вот это, мол, да! Многие утверждали, что, разбуди Гладышева в двенадцать часов ночи и задай ему любой вопрос, он, не задумываясь, даст на него самый обстоятельный ответ и любое явление природы объяснит с точки зрения современной науки без участия потусторонних божественных сил.

Всех этих знаний Гладышев добился исключительно путем самообразования, ибо смешно было бы приписывать тут какую-нибудь заслугу церковно-приходской

школе, где он окончил всего лишь два класса. Знания, накопленные Гладышевым, может, и пролежали бы в его голове без всякого толку, если бы не Октябрьская революция, которая освободила народ от всевозможного рабства и любому гражданину позволила карабкаться к сияющим и каменистым вершинам науки. Надо еще отметить, что в освобожденном уме Гладышева и раньше возникало много оригинальных научных идей. Каждый жизненный факт не проходил мимо него незамеченным, а наталкивал его на различные мысли. Увидит, скажем, Кузьма на печи тараканов и думает: а нельзя ли, мол, их связать между собой и направить всех в одну сторону? Это ж такая сила получится, что ее можно с выгодой использовать в сельском хозяйстве. Посмотрит на облачко и думает: а нельзя ли замкнуть его в оболочку для использования в качестве аэростата? Говорят (теперь это трудно проверить), что именно Гладышев первым, задолго до профессора Шкловского, высказал предположение об искусственном происхождении спутников Марса.

Но, помимо всех этих попутных идей, была у Гладышева еще и такая, которой решил он посвятить всю свою жизнь и посредством ее обессмертить свое имя в науке, а именно, вдохновленный прогрессивным учением Мичурина и Лысенко, надумал он создать гибрид картофеля с помидором, т. е. такое растение, у которого внизу росли бы клубни картофеля, а наверху одновременно вызревали бы помидоры. Будущий свой гибрид Гладышев назвал в духе того великого времени «Путь к социализму», или сокращенно «ПУКС», и намерен был распространить свои опыты на всю территорию родного колхоза, но ему этого не позволили, пришлось ограничиться пределами собственного огорода. Вот почему ему приходилось покупать и картошку и помидоры у соседей.

Опыты эти пока что реальных результатов не давали, хотя некоторые характерные признаки пукса стали уже проявляться: листья и стебли на нем были вроде картофельные, зато корни — точь-в-точь помидорные. Но, несмотря на многочисленные неудачи, Гладышев не унывал, понимая, что настоящее научное открытие требует труда и немалых жертв. Люди, знающие об этих опытах,

относились к ним с недоверием, однако кто-то Гладышева заметил и поддержал, чего не могло быть в проклятое царское время.

Однажды в районной газете «Большевистские темпы» был напечатан о Гладышеве большой, в два подвала, очерк под рубрикой «Люди новой деревни», который назывался «Селекционер-самородок». Тут же была помещена и фотография самородка, склонившегося над кустом своего гибрида, как бы рассматривая сквозь него зримые черты прекрасного будущего нашей планеты. После районной газеты откликнулась и областная, напечатав небольшую заметку, а потом уже и всесоюзная в проблемной статье «Научное творчество масс» упомянула фамилию Гладышева в общем списке. В своих изысканиях и в борьбе с рутинной Гладышев опирался еще на отзыв одного сельхозакадемика, хотя отзыв был отрицательный. На письмо, направленное ему лично, академик ответил, что опыты, проводимые Гладышевым, антинаучны и бесперспективны. Тем не менее он советовал Гладышеву не падать духом и, ссылаясь на пример древних алхимиков, утверждал, что в науке никакой труд не бывает напрасным, можно искать одно, а найти другое. И письмо это, несмотря на его смысл, произвело на адресата сильное впечатление, тем более что напечатано было на официальном бланке солидного учреждения, где Гладышева называли «уважаемый товарищ Гладышев» и где академик собственноручно поставил подпись. И на всех, кто читал письмо, это тоже производило известное впечатление. Но когда самородок — в который-то раз — начинал с кем-нибудь обсуждать перспективы, которые откроются перед миром после внедрения пукса, люди скучнели, отходили в сторону, и Гладышев, подобно многим научным гениям, испытывал состояние полного одиночества, пока не подвернулся под руку Чонкин.

Гладышев любил рассказывать о своем деле, а Чонкин от скуки был не прочь и послушать. Это их сблизило, и они подружились. Бывало, Чонкин выберется на улицу по делу или так просто, а Гладышев уже копается в своем огороде — окучивает, пропальывает, поливает. И всегда в одном и том же костюме: кавалерийские галифе, за-

правленные в потертые яловые сапоги, старая драная майка и широкополая соломенная шляпа в виде сомбре-ро (где он только нашел ее, непонятно).

Чонкин помашет селекционеру рукой:

— Слышь, сосед, здорово!

— Желаю здравствовать, — вежливо ответит сосед.

— Как жизнь? — поинтересуется Чонкин.

— Тружусь, — последует скромный ответ. Так слово за слово и течет разговор, плавный, непринужденный.

— Ну когда ж у тебя картошка-то с помидором вырастет?

— Погоди, еще рано. Всему, как говорится, свой срок. Сперва еще отцвести должно.

— Ну, а если и в этом году опять не получится, чего будешь делать? — любопытствует Чонкин.

— В этом должно получиться, — с надеждой вздыхает Гладышев. — Да ты сам посмотри. Стебель получается вроде картофельный, а на листе нарежь, как на томате. Видишь?

— Да кто его знает, — сомневается Чонкин, — сейчас пока вроде не разберешь.

— Ну как же не разберешь? — обижается Гладышев. — Ты погляди, кусты-то какие пышные.

— Насчет пышности — это да, — соглашается Чонкин. И лицо его оживляется. У него тоже возникла идея. — Слышь, а так не может получиться, чтобы помидоры были внизу, а картошка наверху?

— Нет, так не может, — терпеливо объясняет Гладышев. — Это противоречило бы законам природы, потому что картофель есть часть корневой системы, а томаты — наружный плод.

— А вообще-то было бы интересно, — не сдается Чонкин.

Для Гладышева вопросы Чонкина, может, и кажутся глупыми, но чем глупее вопрос, тем умнее можно на него ответить, поэтому оба вели эти разговоры с большим удовольствием. С каждым днем дружба их крепла. Они уже договаривались, чтобы встретиться по-семейному: Чонкин с Нюрой, а Гладышев со своей женой Афродитой (так звал ее Гладышев, а за ним стали звать и другие, хотя от рождения она числилась Ефросиньей).

В этот день Чонкин успел переделать кучу дел. Натаскал воду, наколот дрова, накормил отрубями кабана Борьку и сварил обед для себя и для Нюры. После этого он обычно, как был в Нюрином переднике, садился к окошку и, подперев голову рукой, поджидал Нюру. А другой раз, чтобы время быстрее текло, садился к окну с вышиванием. Посмотреть на солдата, который сидит в женском переднике у окна да еще занимается вышиванием, — смех, но что делать, если Чонкину нравилось вышивать? Интересно ему было, когда из разноцветных крестиков складывалось изображение петуха, или розы, или еще чего-нибудь.

Сейчас он тоже начал вышивать, но работа не клеилась, мысли о неопределенности его положения отвлекали. Несколько раз он выходил на крыльцо поговорить с Гладышевым, но того не было, а зайти к нему домой, беспокоить Чонкин стеснялся, тем более что до этого ни разу не заходил.

Чтобы как-то убить время, занялся более тупой, чем вышиванье, работой — вымыл полы. Грязную воду вынес за калитку и выплеснул на дорогу.

Девочка лет пяти в цветастом ситцевом платье играла возле забора с кабаном Борькой: сняла с головы шелковый бантик и повязала Борьке на шею. Борька вертел шеей, пытаясь разглядеть бантик, но это ему не удавалось. Увидев Чонкина, девочка поспешно сняла бантик с Борьки и зажала в руке.

— Ты чья будешь, девочка? — спросил Иван.

— Я-то Килина, а ты чей?

— А я сам свой, — усмехнулся Иван.

— А я папина и мамина, — похвасталась девочка.

— А кого ты больше любишь — папу или маму?

— Сталина, — сказала девочка и, смутившись, убежала.

— Ишь ты, Сталина. — Лядя ей вслед, Чонкин покачал головой.

Впрочем, Сталина он по-своему тоже любил. Помахивая пустым ведром, направился он назад к дому, и в это время на свое крыльцо вылез Гладышев, взлохмаченный, с красными полосами по щеке.

— Слышь, сосед! — обрадовался Чонкин. — А я тебя тут дожидаю уже более часу, куда это, слышь, думаю, запропал?

— Соснул я малость, — смущенно сказал Гладышев, потягиваясь и зевая. — После обеда книжку прилег почитать по части селекции растений, а оно, вишь, разморило. Жара-то какая стоит, прямо наказание. Не будет дождя, так все чисто попалит.

— Слышь, сосед, — сказал Чонкин, — хошь табачку? У меня самосад крепкий, аж в горле дерет. Нюрка вчера на рынке в Долгове купила.

Он отогнул передник, достал из кармана масленку изпод ружейного масла, набитую табаком, и газету, сложенную книжечкой.

— Табак для здоровья — вреднейшее дело, — изрек Гладышев, подходя к жердевому забору, разделявшему два огорода. — Ученые подсчитали, что капля никотина убивает лошадь.

Однако от угощения отказываться он не стал. Закурил, закашлялся.

— Да уж, табачок-крепачок, — одобрил он.

— Табачок — самсон, молодых — на это дело, стариков — на сон, — поддержал Чонкин. — А у меня к тебе, слышь, сосед, дело есть небольшое.

— Какое ж дело? — скосил на него глаза Гладышев.

— Да дело-то зряшное, ерунда совсем.

— Ну, а все-таки?

— Да так, не стоит даже и говорить.

— Ну, а не стоит — не говори, — рассудил Гладышев.

— Это, конечно, правильно, — согласился Чонкин. — Но, с другой стороны, как же не говорить? Прислали меня сюда на неделю, и сухой паек на неделю, а прошло уже полторы, а меня не берут. И опять же насчет сухого пайка никакого известия. Значит, я что же, выходит, должен жить за счет бабы?

— Да, это нехорошо, — сказал Гладышев. — Ты теперь называешься — Альфонс.

— Ну это ты брось, — не согласился Чонкин. — Ты, слышь, жену свою как хошь называй, хоть горшком, а меня зови по-прежнему, Ваней. Так вот я тебе к чему говорю. Письмишко надо составить к моему командиру,

что я есть и как мне быть дальше. Ты-то человек грамотный, а я вообще-то буквы понимаю, а пишу плохо. В школе еще кой-как кумекал, а потом в колхозе и в армии все на лошади да на лошади — знай тяни вожжу то вправо, то влево, а грамоты там никакой и не нужно.

— А расписываться умеешь? — спросил Гладышев.

— Нет, это-то я могу. И читать и расписываться. Я, слышь, знаешь, как расписываюсь? Сперва пишу «И», потом «Ч», потом кружочек, и дальше все буква к букве, и в конце такую это черточку с вывертом, и на всю страницу от края до края. Понял?

— Понял, — сказал Гладышев. — А бумага, чернила у тебя есть?

— А как же, — сказал Иван. — Нюрка-то, она почтальоншей работает. Тоже работа, тебе скажу, не для каждого Голову надо большую иметь.

— Ну ладно, — наконец согласился Гладышев, — пошли к тебе, а то у меня там баба с дитем, будут мешать. А это дело серьезное, тут надо писать политически выдержанно.

Через час политически выдержанный документ был составлен. Выглядел он так:

Командиру батальона тов. Пахомову от рядового красноармейца тов. Чонкина Ивана

РАПОРТ

Разрешите доложить, что за время Вашего отсутствия и моего присутствия на посту, а именно по охране боевой техники самолета, никаких происшествий не случилось, о чем сообщаю в письменном виде. А также разрешите доложить, что, воспитанный в духе беззаветной преданности нашей Партии, Народу и лично Великому Генюю тов. Сталину И. В., я готов и в дальнейшем беспрекословно служить по защите нашей Социалистической Родины и охране ее Границ, для чего прошу выдать мне сухой паек на неопределенное время, а также недополученный мною комплект обмундирования.

В моей просьбе прошу не отказать.

К сему остаюсь...

— Складно, — одобрил Чонкин сочинение Гладышева и поставил свою подпись, как обещал, через всю страницу.

Гладышев написал еще и адрес на приготовленном Чонкиным конверте без марки и ушел довольный.

Чонкин положил конверт на стол, взял растянутую на пальцах салфетку и сел к окошку. За окном было уже не так жарко, солнце клонилось к закату. Скоро должна была прийти Нюра, кабан Борька поджидал ее уже на бутре за деревней.

12

Привязав лошадь к Нюриной калитке, председатель Голубев поднялся на крыльцо. Нельзя сказать, чтобы он при этом сохранял полное присутствие духа, скорее наоборот, он входил в Нюрин дом, испытывая примерно такое волнение, как входя к первому секретарю райкома. Но он еще по дороге решил, что войдет, и сейчас не хотел отступать от этого своего решения.

Постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, открыл ее. Чонкин при его появлении испуганно и растерянно шарил глазами по комнате, ища, куда бы сунуть пальцы.

— Рукоделием занимаетесь? — спросил председатель вежливо, но подозрительно.

— Чем бы ни заниматься, лишь бы не заниматься, — сказал Чонкин и бросил пальцы на лавку.

— Это верно, — сказал председатель, топчась у дверей и не зная, как продолжить разговор. — Так, так, — сказал он.

— Так, не так, перетакивать не будем, — пошутил в ответ Чонкин.

«Все вокруг да около, уводит в сторону», — отметил про себя председатель и решил пощупать собеседника с другого конца, затронуть вопросы внешней политики.

— В газетах пишут, — осторожно сказал он, подходя ближе к столу, — немцы обратно Лондон бомбили.

— В газетах чего не напишут, — уклонился Чонкин от прямого ответа.

— Как же так, — схитрил Голубев. — В наших газетах чего зря не напишут.

— А вы по какому делу? — спросил Чонкин, чувствуя какой-то подвох.

— А ни по какому, — беспечно сказал председатель. — Просто зашел посмотреть, как живете. Донесение пишите, — спросил он, заметив на столе конверт с воинским адресом.

— Да так, пишу что ни попадя.

«До чего же умный человек! — мысленно восхитился председатель. — И с этой стороны к нему подойдешь, и с другой, а он все равно ответит так, что ничего не поймешь. Небось высшее образование имеет. А может, и по-французски понимает».

— Кес кесе, — сказал он неожиданно для самого себя единственные французские слова, которые были ему известны.

— Чего? — Чонкин вскинул на него испуганные глаза и замигал покрасневшими веками.

— Кес кесе, — упрямо повторил председатель.

— Ты чего это, чего? Чего говоришь-то? — забеспокоился Чонкин и в волнении заходил по комнате. — Ты, слышь, это брось такие слова говорить. Ты говори, чего надо, а так нечего. Я тебе тут тоже не с бухты-барухты.

— Я и вижу, не с бухты-барухты, — решил наступать председатель. — Установили тут наблюдение. Дураки-то, думаете, не поймут. А дураки нынче тоже умные стали. Мы все понимаем. Может, у нас чего и не так, да не хуже, чем у других. Возьмите хоть «Ворошилова», хоть «Заветы Ильича» — везде одна и та же картина. А то, что прошлый год сеяли по мерзлой земле, так это ж по приказу. Сверху приказывают, а колхозник за все отдувается. Не говоря уже о председателе. А вы тут на самолетах летаете, пишете! — кричал он, распаляясь все больше и больше. — Ну и пишите чего хотите. Напишите, что председатель колхоз развалил, напишите, что пьяница. Я сегодня вот выпил, и от меня пахнет. — Он наклонился к Чонкину и дыхнул ему прямо в нос. Чонкин отшатнулся.

— Да я-то чего, — сказал он, оправдываясь. — Я ведь тоже не так просто, а по приказу.

— Так бы сразу и сказал — по приказу, — даже как бы обрадовался председатель. — А то сидит тут, как мышь, бабой замаскировался. А какой приказ-то? Партбилет положить? Положу. В тюрьму? Пожалуйста, пойду. Луч-

ше уж тюрьма, чем такая жизнь. Детишек у меня шестеро, каждому по сумке и — побираться по деревням. Как-нибудь прокормятся. Пиши! — Напоследок он хлопнул дверью и вышел.

Только на улице он понял все, что натворил, понял, что теперь-то ему уж точно несдобровать.

«Ну и пусть, — думал он зло, отвязывая лошадь, — лучше уж сразу, чем каждый день ждать и дрожать от страха. Пусть будет что будет».

В правлении его ожидал счетовод Волков с финансовым отчетом. Председатель подписал этот отчет не глядя, испытывая мстительное наслаждение: пусть там даже напутано что-нибудь — теперь все равно. После этого он распорядился, чтобы Волков подготовил денежный документ на краски и кисти для диаграммы, о которой говорил ему Борисов, и отпустил счетовода.

Оставшись один, он немного пришел в себя и стал раскладывать лежавшую на столе грудку бумаг. Здесь не было никакого порядка, и теперь председатель решил разложить бумаги в отдельные кучки в зависимости от их назначения. Он разложил входящие в одну кучу, а исходящие (которые, однако, не были отправлены) — в другую. Отдельно сложил финансовые документы, отдельно — заявления колхозников. В это время внимание его привлек разговор, который он услышал за перегородкой, отделявшей его кабинет от коридора.

— Когда первый раз в камеруходишь, тебе под ноги кладут чистое полотенце.

— Зачем?

— А затем. Если ты первый раз, ты через то полотенце переступишь. А если ты вор в законе, то вытрешь об него ноги и — в парашу.

— Так ведь жалко полотенца.

— Себя жалче. Если ты через полотенце переступишь, тут тебе начнут делать... забыл, как называется слово... во, вспомнил: посвящение.

— Это еще чего?

— Для начала пошлют искать пятый угол. Это тебе понятно?

— Это понятно.

— Потом парашютный десант.

— Какой там в камере парашютный?

— Ты слушай...

Голубева этот разговор страшно заинтересовал. И он принял его близко к сердцу. Он даже подумал, что, может быть, не зря это подслушал. Может быть, в скором времени ему эти сведения пригодятся. Голоса ему были знакомы. Голос того, кто спрашивал, принадлежал Николаю Курзову. Голос отвечавшего был тоже знаком, но чей он, Голубев не мог вспомнить, как ни старался.

— Парашютный десант делается так. Тебя берут за руки, за ноги и спиной об пол бросают три раза.

— Так ведь больно, — сказал Курзов.

— Там тебе не санаторий, — пояснил рассказчик. — Ну, а потом ты уж вроде как свой и вместе с другими участвуешь в выборах.

— Разве и там бывают выборы?

— Выборы бывают даже на воле. Там выбирают старосту. Один между коленок зажимает билетик с фамилией. Другие по очереди с завязанными глазами и руками подходят и вытаскивают билетик зубами...

— Ну это можно, — довольно сказал Курзов. — Ничего страшного.

— Страшного, конечно, ничего. Только, когда твоя очередь подходит, тебе вместо коленок голый зад подставляют.

Председатель был человек брезгливый, и он поморщился. Ему захотелось узнать, кто же это все так интересно рассказывает, и он вышел в коридор, вроде бы для того, чтобы заглянуть в бригадирскую.

На длинной скамейке под стенгазетой сидели Николай Курзов и Леша Жаров, которого три года назад посадили на восемь лет за то, что он украл на мельнице мешок муки. Увидев председателя, Леша поспешно поднялся и стащил с головы картуз с оторванным козырьком, обнажив стриженую с начавшими отрастать волосами голову.

— Здравсьте, Иван Тимофеевич, — сказал он таким тоном, каким говорят обычно люди после долгой разлуки.

— Здравствуй, — хмуро сказал председатель, как будто видел Лешу только вчера. — Освободился?

— Выскочил досрочно, — сказал Леша. — По зачетам.

— Ко мне, что ли?

— До вас, — согласился Леша.

— Ну заходи.

Леша пошел за председателем в кабинет, ступая осторожно своими потертыми ботсами, как будто боялся кого-нибудь разбудить. Он подождал, пока председатель сядет на свое место, и только после этого сам сел на краешек табуретки по другую сторону стола.

— Ну, что скажешь? — помолчав, хмуро спросил председатель.

— На работу до вас проситься пришел, Иван Тимофеевич, — почтительно сказал Жаров, в волнении растягивая картуз на колене.

Председатель задумался.

— На работу, значит? — сказал он. — А какую я тебе могу дать работу? Ты, Жаров, зарекомендовал себя не с хорошей стороны. Вот мне на МТФ человек нужен. Я бы тебя послал, так ведь ты молоко воровать будешь.

— Не буду, Иван Тимофеевич, — пообещал Леша. — Вот чтоб мне провалиться на этом месте — не буду.

— Не зарекайся, — махнул рукой Голубев. — Тебе божиться — что дурному с горы катиться. Прошлый раз сколько я тебе говорил: «Смотри, Жаров, нехорошо себя ведешь. Доиграешься». Говорил я тебе или нет?

— Говорили, — подтвердил Жаров.

— Вот — «говорили». А ты мне что говорил? Ничего, мол, переживем. Вот тебе и ничего.

— Напрасно вы старое поминаете, Иван Тимофеич, — проникновенно сказал Леша и вздохнул глубоко. — Я ваши слова в лагере вспоминал часто. Помню, сидели мы раз за обедом, и как раз дали нам компот..

— Неужто и компот дают? — заинтересованно спросил председатель.

— Это где какой начальник. Один голодом морит, а другой, если хочет, чтобы план выполняли, и накормит тебя, и оденет потеплее, только работай на совесть.

— Есть, значит, и хорошие начальники? — с надеждой переспросил председатель и подвинул к Жарову пачку папирос «Дели». — Кури. Ну, а как там в смысле массовых мероприятий?

— Этого сколько хочешь, — сказал Леша. — Кино, самодеятельность, баня раз в десять дней. Самодеятель-

ность получше, чем у нас в городе. Там у нас был один народный артист, два заслуженных, а простых я и не считал. Вообще народу грамотного сидит... — Леша понизил голос, — бесшумно. Был у нас один академик. Десятку дали. Хотел испортить кремлевские куранты, чтоб они на всю страну неправильно время показывали.

— Да ну? — Председатель недоверчиво посмотрел на Лешу.

— Вот те и ну. Вредительства, скажу тебе, Иван Тимофеевич, у нас полно. Вот, к примеру, ты куришь папироски, вот эти «Дели», а в них тоже вредительство.

— Да брось ты, — сказал председатель, но папироску изо рта вынул и посмотрел на нее с подозрением. — Какое же здесь может быть вредительство? Отравлены, что ль?

— Хуже, — убежденно сказал Леша. — Вот можешь ты мне расшифровать слово «Дели»?

— Чего его расшифровывать? «Дели» значит Дели. Город есть такой в Индии.

— Эх, — вздохнул Леша, — а еще грамотный. Да если хочешь знать, по буквам «Дели» это значит — Долой Единный Ленинский Интернационал.

— Тише ты, — сказал председатель и посмотрел на дверь. — Это, знаешь, нас с тобой не касается. Ты мне лучше насчет бытовых условий объясни.

Потом в кабинет, не дождавшись своей очереди, вошел Николай Курзов. Утром ему надо было ехать на лесозаготовки, и он просил председателя выписать ему два килограмма мяса с собой.

— Завтра придешь, — сказал председатель.

— Как же завтра, — сказал Николай. — Завтра мне уже чуть свет отправляться надо на поезд.

— Ничего, отправишься послезавтра. Я справку дам, что задержал тебя.

Он подождал, пока дверь за Николаем закрылась, и нетерпеливо повернулся к Леше:

— Давай рассказывай дальше.

Баба Дуня, которая отрабатывала минимум трудовой, дежуря у продуктового склада, видела, что в председательском окне свет не гас до часу ночи.

Председатель все расспрашивал Лешу насчет условий жизни в лагере, и по Лешиному рассказу выходило, что жизнь там не такая уж страшная. Работают по девять часов, а здесь ему приходится крутиться от зари до зари, кормят три раза в день, а здесь не каждый день и два раза успеешь поесть. Кино здесь он уже с полгода не видел.

Расставаясь, он пообещал Леше приличную работу.

— Пойдешь пока пастухом, — сказал он. — Будешь пастить общественный скот. Оплата, сам знаешь, пятнадцать рублей с хозяина и от колхоза пятьдесят соток в день. Кормежка — по домам. Неделю у одних, неделю у других. Поработаешь пастухом, пообсмотришься, потом, может, подыщем что попримечнее.

В этот день председатель вернулся домой в хорошем настроении. Он погладил по головкам спящих детей и даже сказал что-то нежное жене, отчего та, не привыкшая к мужниным ласкам, вышла в сени и всплакнула немного.

Утерев слезы, она принесла из погреба кринку холодного молока. Иван Тимофеевич выпил почти всю кринку, разделся и лег. Но ему долго еще не спалось. Он вздыхал и ворочался, вспоминая до мельчайших деталей рассказ Леши Жарова. Но потом усталость взяла свое, и он прикрыл отяжелевшие веки. «И там люди живут», — думал он, засыпая.

13

— Земля имеет форму шара, — объяснил как-то Чонкину Гладышев. — Она постоянно вращается вокруг Солнца и вокруг собственной оси. Мы не чувствуем этого вращения, потому что сами вращаемся вместе с Землей.

О том, что Земля вращается, Чонкин слышал и раньше. Не помнил, от кого именно, но от кого-то слышал. Он только не мог понять, как на ней держатся люди и почему не выливается вода.

Шла третья неделя пребывания Чонкина в Красном, а из части, где он служил, не было ни слуху ни духу. У него уже прохудился ботинок, а никто не ехал, никто не летел, никто не давал указаний, как быть дальше. Чонкин, конечно, не знал, что письмо в часть, которое он отдал Нюре, она не отправила. Надеясь, что начальство забы-

ло о существовании Чонкина, и не желая напоминать о нем даже ценою сухого пайка, она несколько дней носила это письмо в своей брезентовой сумке, а потом тайком от Ивана сожгла.

Тем временем в мире происходили события, которые непосредственного отношения ни к Нюре, ни к Чонкину пока не имели.

14 июня в ставке Гитлера состоялось совещание по окончательному уточнению последних деталей плана «Барбаросса».

Ни Чонкин, ни Нюра никакого представления об этом плане не имели. У них были свои заботы, которые им казались важнее. Нюра, например, за последние дни совсем с лица спала, облезла, как кошка, и еле ноги таскала. Хотя ложились они рано, Чонкин ей спать не давал, будил по несколько раз за ночь для своего удовольствия, да еще и днем, только она, уставшая, через порог переступит, он накидывался на нее, как голодный зверь, и тащил к постели, не давая сумку сбросить с плеча. Уж она другой раз пряталась от него на сеновале либо в курятнике, но он и там ее настигал, и не было никакого спасу. Она и Нинке Курзовой жаловалась, а та над ней только смеялась, втайне завидуя, потому что ее Николая и раз в неделю подбить на это было не так-то просто.

Но в тот самый день, когда уточнялся план «Барбаросса», между Нюрой и Чонкиным произошло недоразумение, да такое, что и сказать неудобно.

Дело было к вечеру. Нюра, вернувшись из района, разнеся почту и уступивши Чонкину дважды, занималась в избе приборкой, а он, чтобы ей не мешать, вышел с топориком на улицу и взялся править забор.

Поправит столбик, отойдет с прищуренным глазом, посмотрит и радуется сам на себя: вот, дескать, какой я мастер — за что ни возьмусь, все в руках горит.

А Нюра ненароком глянет в окошко и тоже довольна.

С тех пор как появился Иван, хозяйство стало приходить постепенно в порядок. И печь не дымит, и дверь закрывается, и коса отбита да наточена. Взять даже такую ерунду, как железка, чтобы ноги от грязи очищать, а и та появилась бы разве без мужика?

Хороший мужик, плохой ли, надолго ли, ненадолго, а все-таки свой. И приятно не только то, что он тебе по хозяйству поможет, а потом спать с тобой ляжет, приятно само сознание того, что он есть, приятно сказать подруге или соседке при случае: «Мой вчера крышу перестилал, да ветром его прохватило, простыл малость, пришлось молоком горячим отпаивать». Или даже и так: «Мой-то как zenки зальет, так сразу за ухват либо за ко чергу и давай крушить что ни попадя, тарелки в доме целой уж не осталось». Вот вроде бы жалоба, а на самом деле — нет; хвастовство. Ведь не скажешь про него, что паровоз изобрел или атомное ядро расщепил, а хоть что-нибудь сделал, проявил себя, и за то спасибо. Мой! Другой раз попадется такой, что и смотреть не на что: кривой, горбатый, деньги пропивает, жену и детей бьет до полусмерти. Казалось бы, зачем он ей такой нужен? Бросила бы его, да и все, а вот не бросает. Мой! Хороший ли, плохой ли, но все же не твой, не ее. Мой!

Плянет Нюра в окошко, задумается. Долго ли они живут вместе, а она к нему уже привязалась, сердцем присохла. А стоило ли? Не придется ли вскорости по живому-то отрывать? Неужели снова время придет такое — придешь домой, а дома четыре стены. Хоть с той говори, хоть с этой — она тебе не ответит.

Чонкин подровнял последний угловой столбик, отступил с топором на два шага. Хорошо вроде, ровно. Всадил в столбик топор, достал из кармана масленку с махоркой, газетку, закурил, постучал в окошко:

— Слышь, Нюрка, ты давай прибирай скорее, щас приду, поваляемся.

— Иди, черт чудной, — с ласковой грубостью отозвалась Нюра. — Сколь можно?

— А сколь хошь, — объяснил Чонкин. — Кабы ты не сердилась, так я хоть бы целые сутки.

Нюра только рукой махнула. Иван отошел от окна, задумался о своей будущей жизни, а когда услышал рядом с собой чей-то голос, даже испугался, вздрогнул от неожиданности.

— Слышь, армеец, закурить не найдешь ли?

Он поднял глаза и увидел рядом с собой Плечевого. Плечевой возвращался с рыбалки. В одной руке он дер-

жал удочку, в другой прутик с нанизанными на него мелкими рыбешками. Рыбешек было штук десять. Чонкин снова достал махорку с газеткой и, протянув Плечевому, спросил:

— Ну как, рыбка ловится?

Плечевой прислонил удочку к забору, зажал прут с рыбой под мышкой и, свертывая самокрутку, сказал неохотно:

— Какая там ноне ловитьба! Это несчастье одно, а не рыба. Кошке отдам, пушай жрет. Раньше, бывало, щуки на блесну ловились во какие. — Он прикурил от Ивановой сигарки и, коснувшись правой рукой левого плеча, вытянул левую руку, показывая, какие именно были щуки. — А сейчас щуку здесь днем с огнем не найдешь. Караси их, что ли, пожрали. А ты что ж, с Нюркой живешь? — переменял он ни с того ни с сего разговор.

— Ага, с Нюркой, — согласился Иван.

— И после службы думаешь с ней оставаться? — допытывался Плечевой.

— Не решил еще, — задумчиво сказал Иван, не зная, стоит ли доверять свои сомнения малознакомому человеку. — Вообще, конечно, Нюрка — баба справная и видная из себя, но и я ведь тоже еще молодой, обсмотреться надо сперва что к чему, а потом уж и обзаводиться по закону в смысле семейной жизни.

— А на что тебе обсматриваться? — сказал Плечевой. — Женись, да и все. У Нюрки все ж таки своя изба и своя корова. Да где ж ты еще такое найдешь?

— Вообще-то верно...

— Вот я тебе и говорю — женись. Нюрка — баба очень хорошая, да, тебе про нее никто плохого не скажет. Она вот, сколь ни жила одна, никогда ни с кем не путалась, и мужика у ей отродясь никакого не было. Только с Борькой одним и жила, да.

— С каким Борькой? — насторожился Иван.

— С каким Борькой? А с кабаном ейным, — охотно объяснил Плечевой.

Чонкин от неожиданности подавился дымом, закашлялся, бросил сигарку на землю и раздавил ее каблуком.

— Брось чудить, — сказал он сердито. — Какого еще такого кабана выдумал?

Плечевой посмотрел на него голубыми глазами.

— А чего я тебе сказал? Тут ничего такого и нет. Известно, женщина одинокая, а ей тоже требуется, да. И сам посуды — ему уж в обед сто лет, а она его резать не хочет, а почему? Да как же его зарежешь, если, бывало, она в постелю, а он до ее. Накроются одеялом и лежат, как муж и жена. А так кого хошь на деревне спроси, и тебе каждый скажет: лучше Нюрки никого не найти.

Довольный произведенным впечатлением, Плечевой взял удочку и не спеша пошел дальше, попыхивая сигаркой, а Чонкин долго еще стоял с отвалившейся нижней челюстью, провожая Плечевого растерянным взглядом и не зная, как относиться к только что услышанной новости.

Нюра, подоткнув юбку, мыла в избе полы. Распахнулась дверь, на пороге появился Чонкин.

— погоди, протру пол, — сказала Нюра, не заметив его возбужденного состояния.

— Нечего мне годить, — сказал он и прошел в грязных ботинках к вешалке, где висела винтовка. Нюра хотела заругаться, но поняла, что Чонкин чем-то расстроен.

— Ты чего? — спросила она.

— Ничего. — Он сорвал винтовку и вскрыл затвор, чтобы проверить патроны. Нюра с тряпкой стала в дверях.

— Пусти! — Он подошел с винтовкой в руках и попытался отодвинуть ее прикладом, словно веслом.

— Ты чего это надумал? — закричала она, заглядывая ему в глаза. — На что ты ружье берешь?

— Пусти, сказано тебе. — Он двинул ее плечом.

— Скажи — зачем? — стояла на своем Нюра.

— Ну ладно. — Чонкин поставил винтовку к ноге и посмотрел Нюре в глаза. — Чего у тебя было с Борькой?

— Да ты что? С каким Борькой?

— Известно, с каким. С кабаном. Ты с им давно живешь?

Нюра попыталась улыбнуться.

— Ваня, ты это шутейно, да?

Этот вопрос почему-то совершенно вывел его из равновесия.

— Я вот тебе дам шутейно! — Он замахнулся прикладом. — Говори, стерва, когда ты с им снюхалась?

Нюра посмотрела на него ошалелым взглядом, как бы пытаясь понять, не сошел ли он с ума. А если нет, значит, она сумасшедшая, потому что ее бедный рассудок не мог охватить смысла того, что было здесь сказано.

— Господи, что же это такое творится! — простонала Нюра.

Она выпустила из рук тряпку и, обхватив голову мокрыми руками, отошла к окну. Села на лавку и заплакала тихо, беспомощно, как плачут больные дети, у которых не хватает сил плакать громко.

Такой реакции на свои слова Чонкин не ожидал. Он растерялся и, топчась у открытых дверей, не знал, как ему поступить. Потом прислонил винтовку к стене и подошел к Нюре.

— Слышь, Нюрка, — сказал он, помолчав, — ну, если чего и было, я ж ничего. Я его шамальну, и все, и дело с концом. По крайности, хоть мясо будет, какое там никакое. А то бегают по двору, как собака, только хлеб зазря переводит.

Нюра все так же плакала, и Чонкин не понял, слышала она его или нет. Он провел своей шершавой ладонью по ее волосам и, подумав, сказал иначе:

— Ну, а если не было ничего, так ты мне, Нюрка, скажи. Я ведь не со зла, а сдуру. Мне Плечевой бухнул, а я, не подумавши, тоже. Народ ведь у нас, Нюрка, злой, нехороший, и когда женщина или девушка живет по отдельности, про нее чего только не скажут.

Слова его, однако, успокоения не внесли, а произвели совершенно обратное действие. Нюра закричала дурным голосом, упала на лавку, обхватила ее руками и стала давиться в рыданиях, вздрагивая всем телом.

Чонкин в отчаянии забежал перед ней, засуетился, потом упал на колени и, отрывая Нюру от лавки, закричал ей в самое ухо:

— Слышь, Нюрка, да ты что? Да это я так просто. Да мне никто ничего не говорил, я сам все выдумал просто для шутки. Дурак я, слышь, Нюрка, дурак. Ну хочешь, ударь меня по голове вот хоть утюгом, только не плачь.

Он и правда схватил стоявший под лавкой утюг и вложил его в Нюрину руку. Нюра утюг отшвырнула, и Чон-

кин инстинктивно отскочил, иначе ему бы отшибло ноги. Как ни странно, но, бросив утюг, Нюра начала успокаиваться и затихла, только плечи ее продолжали вздрагивать. Чонкин побежал в сени и принес ковшик воды. Стуча зубами о железо, Нюра отхлебнула глоток и поставила ковшик на лавку перед собой. Потом села, утерла слезы воротником платья и спросила почти спокойно:

— Исть будешь?

— Не мешало бы, — радостно согласился Иван, довольный, что все обошлось. Ему уже самому казались смешными его сомнения. Это же надо было поверить в такую глупость. И кому? Плечевому, который только и знает, что языком трепать.

Иван побежал на улицу, внес топор в сени, но, когда проходил мимо двери, ведущей из избы в хлев, услышал приглушенное хрюканье Борьки, и темное сомнение опять шевельнулось в его душе, он хотел, но не смог его подавить.

Нюра поставила на стол две кружки парного, еще пахнущего коровой молока и теперь гремела в печи ухватом, пытаясь извлечь чугунок с картошкой. Чонкин ей помог, уселся за стол.

— Слышь, Нюрка, — сказал он, придвигая к себе молоко, — ты все же сердись не сердись, а Борьку я завтра шамальну.

— За что? — спросила она.

— Да при чем тут — за что, ни за что. Раз болтовня такая в народе пошла, значит, надо шамальнуть, и чтоб не было никаких разговоров.

Он смотрел на нее настороженно, но она на этот раз плакать не стала. Она разложила картошку по тарелкам, подвинула одну Чонкину, другую себе и сказала с горечью:

— А если ты его убьешь, значит, думаешь, народ сразу перестанет болтать? Эх, не знаешь ты, Ваня, наших людей. Да они ж все от радости взвоют. А разговоров пойдет... «Чего это он, мол, кабана вдруг стрелил?» — «Понятно чего. С им же Нюрка жила». А дальше — больше. Один слово скажет, другой два прибавит. И уж так разрисуют, не хуже, чем в книге. «Пошла это Нюрка ввечеру корову доить, а Иван дома остался. Ждет-пождет — нету Нюрки.

Дай, думает, погляжу, не заснула ли. Заходит он это в хлев, а Нюрка...

— Цыц, ты! — заорал неожиданно Чонкин и двинул от себя кружку, расплескав по столу молоко.

Картина, представленная Нюрой, подействовала на него так сильно, как будто он сам все это увидел, и, вопреки доводам, которыми она хотела его убедить, он опять взбеленился и, опрокинув скамейку, кинулся к винтовке, стоявшей возле дверей. Но Нюра опередила его. Она встала в дверях, как памятник, и сдвинуть Чонкину было ее не под силу. Давешняя история повторилась. Чонкин толкал Нюру плечом и говорил:

— Пусти!

А она отвечала ему:

— Не пущу!

А он настаивал на своем:

— Пусти!

А она отстаивала свое:

— Не пущу!

Потом Чонкин уморился, отошел и сел на лавку, зажав винтовку в коленях.

— Видать, Нюрка, правду брешет про тебя Плечевой, — зло сказал он. — Кабы у тебя с Борькой не было ничего, ты бы за него держаться не стала. Ему уж в обед сто лет, давно на сало пора, а ты его все бережешь. А коли так, видно, нам с тобой вместе не жить. И вопрос, Нюрка, в настоящий периуд стоит либо так, либо эдак, либо я, либо кабан, даю тебе на размышление пять с лишним минут, а затем собираю свои манатки — и извини-подвинься.

Он посмотрел на ходики, висевшие против окна, засек время и, подперев голову рукой, отвернулся от Нюры, ожидая ее решения. Она придвинула к себе табуретку и села возле дверей. Оба сидели и молчали, как на вокзале, когда все заготовленные слова уже сказаны, осталось только поцеловаться, а тут сообщили, что поезд опаздывает на два часа.

Прошло пять минут, пять минут с лишним, прошло шесть минут. Чонкин повернулся к Нюре и спросил:

— Ну, что ты надумала?

— А что мне думать, — сказала она печально. — Ты, Ваня, сам все решил, сам поступай как знаешь. А Борьку

я убивать не дам. С тобой я знакома без году неделю, а он у меня живет, почитай, уже два года. Я его маленьким в колхозе взяла, когда ему было всего три денечка. И молоком из бутылки через соску поила, и в корыте купала, и грелку на живот положила, когда он болел. И он мне теперь, хоть смейся, хоть нет, вроде сына. И для него дороже меня никого нет, почему он меня провожает на работу и встречает, когда обратно иду. И какая б ни была погода, а только на пригорок взойду, а он навстречь мне несется, хоть по снегу, хоть по грязюке. И так у меня, Ваня, в иной момент сердце сжимается, что присяду я над этим Борькой и плачу, как дура, сама не знаю, от радости или от горя, а скорее от того и другого. К тебе, Ваня, я хоть и привыкла и полюбила тебя, как мужа родного, но ты сегодня здесь, завтра там, найдешь себе другую, получше да покрасивше, а для Борьки лучше меня никого нет. И когда я буду одна, он подойдет, ухом об ногу потрется, и уже веселее, все же живая душа.

Ее слова тронули Чонкина, но отступать он не стал, потому что имел о женщинах твердое представление — раз отступишь, поддашься, потом на голову сядут...

— Ну а что же делать, Нюрка? Ведь это же такое говорят, да ведь это же стыд просто.

— Смотри, Ваня, дело твое.

— Ну ладно. — Он собрал в охапку винтовку, скатку и вещмешок и подошел к Нюре. — Я ведь, Нюрка, ухожу.

— Иди. — Она отрешенно глядела в угол.

— Ну и оставайся, — сказал он и вышел на улицу.

Вечерело. На небе проступили первые звездочки. На столбе возле конторы играло радио. Передавали песни Дунаевского на слова Лебедева-Кумача.

Чонкин свалил свое имущество возле самолета, сел на крыло и задумался над зыбкостью счастья. Еще недавно, не больше часа назад, был он вполне благополучным человеком, хотя и временным, но хозяином дома, главой семьи, и вдруг все рухнуло, разлетелось, и он опять оказался одиноким, бездомным, привязанным к этому полуманному самолету, как собака к будке. Но собака, которая привязана к будке, находится даже в более выгодном положении, ее хотя бы кормят только за то, что она соба-

ка, а его, Ивана, оставили на произвол судьбы, и неизвестно, собираются забрать или нет.

Сидеть на наклонном крыле было неудобно, да и холодно становилось. Чонкин пошел к стогу, стоявшему в огороде, натаскал несколько охапок сена и стал устраиваться на ночлег. Сам лег на сено, а сверху укрылся шинелью.

Ему здесь было не так уж и плохо, во всяком случае привычно, и он подумал, что вот сейчас выйдет Нюра и станет извиняться и просить его вернуться обратно, а он скажет: «Нет, ни за что. Ты сама так хотела, и пущай так и будет». И это ж надо такое! Вот уж никогда не думал, что придется бабу ревновать, и к кому! До него донеслось из хлева Борькино хрюканье, Чонкин вдруг представил себе зрительно, как именно могла быть Нюра с кабаном, и его даже передернуло от омерзения. Надо бы его все-таки пристрелить. Так он подумал, но на то, чтобы пойти и сделать это сейчас, у него почему-то не хватало ни зла, ни желания.

После песен Дунаевского передали последние известия, а следом за ними сообщение ТАСС.

«Может, насчет билизации», — подумал Чонкин, которому слово «демобилизация» или даже «мобилизация» произнести было не под силу хотя бы и мысленно. Говорили совсем о другом: «...Германия, — отчетливо выговаривал диктор, — так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерениях Германии порвать пакт и предпринять нападение на Советский Союз лишены всякой почвы...»

«Почва, — подумал Чонкин, — смотря какая. Если, к примеру, суглинок, так это гроб, а если сухая с песком, для картошки лучше не надо. Хотя тоже не сравнить с черноземом. И для хлеба хорош, и для всего...»

Подумал он о хлебе, и сразу засосало под ложечкой.

Вообще, конечно, он тоже зря в бутылку полез. Плечевой чего ни ляпнет, только слушай, а он уши распустил как дурак. А теперь что ж. Теперь надо стоять на своем, хотя вроде бы и ни к чему, и есть — ой как охота.

Тем временем уже совсем стемнело. Звезды были теперь рассыпаны по всему небу, и одна из них, самая яр-

кая, желтая, висела низко над горизонтом, казалось, пройди немного и протяни руку — достанешь. Гладышев говорил, что все небесные тела вращаются и движутся в пространстве. Но эта звезда не вращалась. Она висела на одном месте, и сколько Чонкин ни щурился, никакого движения не замечал.

Радио, начавшее передавать концерт легкой музыки, вдруг захрипело и смолкло, но тут же на смену ему заиграла гармошка, и кто-то пока еще не установившимся басом заорал на всю деревню:

А хулиганом мать родила,
А хулиганом назвала,
А финку-ножик наточила,
А хулигану подала.

И тут же откуда-то женский высокий голос:

— Катька, сука несчастная, ты пойдешь домой али нет?

Потом гармонист заиграл «Раскинулось море широко», бессовестно перевирая мелодию, наверное, оттого, что в темноте не мог попасть пальцами в нужные кнопки.

Потом гармошка смолкла, и стали слышны другие звуки, до этого неразличимые. Пищала полевая мышь, трещал сверчок, хрустела сеном корова, и где-то возились и в сонной тревоге перекудахтывались куры.

Потом заскрипела дверь. Чонкин насторожился. Но это была не Нюрина дверь, а соседская. Гладышев вышел на крыльцо, постоял, повздыхал, может быть привыкая к темноте, потом направился к ватерклозету, спотыкаясь между грядок и попыхивая сигаркой. Потом еще постоял на крыльце, покашлял, заплевал сигарку и вернулся в избу. Вскоре после него выскочила Афродита и торопливо помочилась возле крыльца. Потом Чонкин слышал, как она, закрывая за собой дверь, долго гремела засовом. Нюра не выходила, не просила прощения и, кажется, не собиралась.

14

Кто-то тронул его за локоть. Он посмотрел и увидел перед собой синее в ночном полусвете лицо Плечевого.

— Пошли, — тихо сказал Плечевой и протянул Чонкину руку.

— Куда? — удивился Чонкин.

— Куда надо, — последовал ответ.

Не хотелось Чонкину подниматься и переть на ночь глядя неизвестно куда и зачем, но, когда ему говорили «надо», он отказываться не умел.

Они шли, пробираясь между высоких деревьев со стволами белыми, как у берез, но это были совсем не березы, а какие-то другие деревья, густо покрытые инеем. Трава была тоже покрыта инеем, имевшим весьма странные свойства — на нем не оставалось никаких следов. Чонкин заметил это, хотя и торопился, боясь упустить из виду Плечевого, спина которого то исчезала, то вновь появлялась перед глазами. Одно было непонятно Чонкину: как можно ориентироваться в этом странном лесу, где нет даже мало-заметной тропинки; он только хотел спросить об этом Плечевого, но как раз в этот момент перед ними возник высокий глухой забор с узкой калиткой, в которую Чонкин с трудом протиснулся следом за своим провожатым. За забором оказалась изба, ее Чонкин сразу признал, хотя и не ожидал здесь увидеть — это была изба Нюры.

Возле крыльца кучками и поодиночке стояли какие-то неизвестные Чонкину люди в одинаковых темных пиджаках нараспашку. Люди эти курили и разговаривали между собой — это было видно по тому, как они раскрывали и закрывали рты, но не издавали при этом ни единого звука. Не было слышно и звуков гармошки, которую, сидя на крыльце, лениво растягивал парень в высоких хромовых сапогах. А другой парень в сандалиях плясал перед гармонистом вприсядку, но в таком замедленном ритме, словно медленно плавал в воде. И тоже совершенно беззвучно. Даже когда хлопал себя по коленям, ничего не было слышно.

— Чего это они тут делают? — спросил Иван Плечевого и был очень удивлен, не услышав собственного голоса.

— Не болтай! — строго оборвал его Плечевой, чем окончательно поразил Чонкина, до которого слова эти дошли, но дошли не посредством звуковых колебаний, не через ухо, а каким-то другим путем.

Гармонист с безразличным видом отодвинулся, уступая дорогу, и Чонкин следом за Плечевым медленно поднялся на крыльцо. Плечевой толкнул ногой дверь

и пропустил Ивана вперед. За дверь оказались не сени, которые ожидал увидеть Чонкин, а какой-то длинный коридор со стенами, выложенными белыми блестящими плитками, и растянута на полу красной ковровой дорожкой. Чонкин и Плечевой пошли по этой дорожке, и через каждые несколько шагов перед ними возникали безмолвные фигуры людей, они появлялись — один из правой стены, другой из левой, пристально вглядывались в лица идущих и, отступая, снова растворялись в стене. Потом появлялись другие, похожие на первых, а может, и те же самые (Чонкин не успел заметить их лица), они опять пристально вглядывались и опять растворялись. И так продолжалось бесчисленное количество раз, и коридор казался длинным до бесконечности, но вот Плечевой остановил Чонкина и показал направо:

— Сюда!

Чонкин растерянно топтался на месте: перед ним была все та же стена, выложенная белыми блестящими плитами, в этих плитах отражались фигуры Чонкина и Плечевого, но никакой двери, никакого намека на дверь не было и в помине.

— Чего ж ты стоишь? Иди, — нетерпеливо сказал Плечевой.

— Куда? — спросил Чонкин.

— Прямо иди, не бойся.

Плечевой подтолкнул его вперед, и Чонкин неожиданно для себя прошел сквозь стену, ничего не затронув, не зацепив, словно она была соткана из тумана.

И тут ему открылся просторный зал, ярко освещенный голубоватым, исходящим непонятно откуда светом. Большой продолговатый стол, стоявший посреди зала, был щедро уставлен выпивкой и закуской и был облеплен гостями, как мухами.

По тому гулу, который шел за столом, по настроению гостей и по всей обстановке Чонкин сразу сообразил, что здесь происходит чья-то свадьба. И, посмотрев во главу стола, тотчас убедился, что был совершенно прав.

Во главе стола в белом подвенечном платье сидела Нюра, и лицо ее светилось от счастья. Рядом с ней, как

положено, восседал на высоком стуле жених, бойкий таковой парнишка в коричневой вельветовой куртке со значком «Ворошиловский стрелок» на правой стороне груди. Жених этот, усиленно размахивая короткими руками, весело и быстро говорил что-то Нюре и при этом зыркал озорными глазами то туда, то сюда, обратил внимание и на Чонкина и кивнул ему просто, по-дружески. Чонкин пригляделся к парнишке — вроде бы не из местных и не из армейских, и в то же время было такое ощущение, словно раньше где-то встречались, то ли выпивали, то ли еще чего, в общем — знакомы.

Нюра, увидев Чонкина, смешалась и опустила глаза, но потом, поняв, что так вести себя глупо, подняла их, теперь уже с вызовом, в котором было одновременно и желание оправдаться. Глаза ее как бы говорили: «Ты же мне ничего такого не предлагал, просто жил, и все, а мне чего ждать и на что надеяться? Ведь время идет, и здесь ничего не будет, и там не ухватишь. Вот поэтому оно так все и получилось».

Чонкину от всего этого стало как-то не по себе. Не то чтобы он ревновал (хотя было, конечно, и это), самое главное чувство, которое он испытывал в эту минуту, была обида. Ведь могла же сказать ему прямо, так, мол, и так, а он бы еще подумал, может быть, и женился. Но ведь ничего не сказала, а уж если не сказала, то зачем же на свадьбу звать? Разве что для насмешки.

Однако ничего этого он сейчас вслух не выразил и не показал даже виду, а поклонился, как положено, жениху и невесте и сказал вежливо:

— Здравствуйте.

А потом сделал поклон для всех остальных и им сказал общее:

— Здравствуйте.

На это ему никто не ответил, а Плечевой подтолкнул в спину к столу, там как раз стояла свободная табуретка. Чонкин устроился на этой табуретке и огляделся.

Слева от него сидел пожилой упитанный мужчина в вышитой украинской рубашке, подпоясанный шелковым крученым пояском. У него было круглое лицо с маленьким толстым носом и нависающими на глаза густыми выцветшими бровями. Голова была по темени лысая

от природы, а по краям выбритая до блеска, с небольшим, заживающим уже порезом возле правого уха. На темени было несколько черных пятен, словно кто-то гасил об него окурки. Мужчина добродушно смотрел на нового соседа маленькими, заплывшими жиром глазками и приветливо улыбался.

Соседство справа было для Чонкина более приятным, здесь сидела молоденькая, лет семнадцати, девица с едва развившейся грудью и с двумя хвостиками косичек с бантиками на концах. Девица эта без всякой ложки, а прямо ртом ела размазанную по тарелке манную кашу с маслом и поглядывала украдкой на Чонкина любопытно и озорно. И тут только Чонкин заметил, что все сидящие за столом, как и его соседка, тычутся ртами в тарелки, и никаких вилок или хотя бы ложек перед ними нет и вроде бы ни к чему. «Никак, чучмеки», — подумал Чонкин и вопросительно глянул на Плечевого, устроившегося напротив, на той стороне стола. Плечевой кивнул ему, чтобы он не волновался, дескать, все идет как надо, а сидевшая рядом с ним краснолицая женщина в крепдешиновом сарафане стала как-то странно подмигивать и строить разные рожи, отчего Чонкин смутился, покраснел и перевел взгляд на соседа, а тот улыбнулся ему и сказал:

— Ты, милоч, не робей, здесь все свои, и никто тебя не обидит.

— А я и не робею, — храбрясь, сказал Чонкин.

— Робеешь, — не поверил сосед. — Ты только делаешь вид, что не робеешь, а на самом-то деле еще ух как робеешь. Тебя как звать-то?

— Чонкин я, Ваня.

— А по отчеству?

— Васильевич, — охотно сообщил Чонкин.

— Это хорошо, — одобрил сосед. — Царь был когда-то Иван Васильевич Грозный. Слыхал небось?

— Вообще чего-то слыхал, — подтвердил Чонкин.

— Хороший был человек, душевный, — с чувством сказал сосед. Пододвинул к Чонкину стакан с водкой, а другой взял себе. — Давай, Ваня, выпьем.

Чонкин собрался весь, задержал дыхание, как всегда, когда пил водку, — чтобы пошла, а она оказалась без вку-

са, без запаха, — просто вода. Однако в голове зашумело и настроение поднялось сразу, стал себя чувствовать Чонкин свободнее.

Подвинул к нему сосед тарелку с закуской — огурчики соленые, картошечка жареная. Поискал Чонкин глазами вилку, не нашел, хотел есть руками, сосед снова вмешался:

— А ты, Ваня, ротом прямо. Ротом-то оно способнее.

Послушался Чонкин, попробовал — и правда, приятнее и вкуснее. И на что люди вилки разные да ложки придумали? Мыть их надо. Морока одна. А сосед все смотрел на него добродушно, улыбался. Да и спросил:

— А ты, Ваня, я на петлицы гляжу, летчиком, что ли, служишь?

Иван только хотел ответить как-то уклончиво, а тут соседка справа вмешалась.

— Нет, — писклявым сказала она голоском, — он на лошади ездит.

Удивился Чонкин: такая молодая, а все знает. Откуда бы?

— Неужто на лошади? — обрадовался сосед. — Это хорошо. Лошадь — это самое милое дело. Она тебе не гудит, не урчит, и бензином от ей не пахнет. И сколько ж у вас лошадей, интересно, в части?

— Четыре, — пропищала девица.

— А вот и не четыре, — сказал Чонкин, — а три. Кобыла была пегая, ногу сломила. Ее на бойню отправили.

— Пегую отправили, а гнедая родила жеребеночка, — доказывала свое девица.

— Ты с ей не спорь, она знает, — сказал сосед. — Ты мне лучше вот что выскажи — эроплан быстрее бежит, чем лошадь, или же лошадь быстрее?

— Глупый вопрос, — сказал Чонкин. — Да он когда низко летит, так вот так прямо — вжжик! — и нету его, а когда высоко заберется, тогда медленно.

— Ты скажи! — Сосед качнул головой изумленно и начал задавать Чонкину другие вопросы — сколько ему лет, да давно ли в армии, как там кормят, как одевают и на сколько дают портянки. И Чонкин отвечал ему охотно и обстоятельно, пока не спохватился, что выбалтывает первому встречному совершенно секретную Военную Тайну. И как это его угораздило! Ведь сколько раз говори-

ли, сколько предупреждали: не болтай! Болтун — находка для врага!

А враг в вышитой рубашке уже совсем обнаглел и, не таясь, бегал карандашиком по разложенному на колене блокноту.

— Ты слышь, ты чего это? — мотнулся Чонкин к соседу и потянул руки к блокноту. — Отдай сюда!

— Да ты что, что кричишь-то? — засуетился сосед, свертывая блокнот в трубочку. — Чего кричишь? Люди вокруг чего подумают.

— А ты зачем пишешь? — не унимался Чонкин. — То же мне писатель нашелся. Отдай, говорят.

Он кинулся на своего противника и уже чуть было не ухватил блокнот, но сосед неожиданно быстрым движением сунул его в рот и в один миг проглотил вместе с карандашом.

— Нету, — сказал он, злорадно улыбаясь и разводя пустыми руками.

— Я тебе дам «нету»! — зарычал Чонкин, кидаясь на него с кулаками. — Я у тебя из глотки выдеру!

И хотел действительно выдрать, но сосед увернулся и вдруг заорал не своим голосом:

— Горько!

Чонкин вспомнил, что находится на свадьбе, и, хватая соседа за горло, тоже для приличия прокричал: «Горько!» И все остальные следом за ним подхватили и со всех концов стола закричали:

— Горько! Горько!

А сосед между тем начинал уже малость похрипывать, и из горла его показался уже кончик блокнота. Чонкин хотел прихватить его еще и другой рукой и покосился на жениха и невесту — не смотрят ли. Но то, что он увидел, лишило его сразу всех сил и желания бороться за этот дурацкий блокнот.

Жених и невеста чинно поднялись, как и положено, когда кричат «горько», посмотрели на гостей, как бы спрашивая глазами, всерьез они или просто от нечего делать, потом, преодолев смущение, жених сделал руку крючком, притянул к себе резким движением Нюрину голову и впился своими губами в ее побледневшие губы. И Чонкин похолодел, сразу вспомнив, где, когда и при ка-

ких обстоятельствах он с ним встречался. И еще бы ему было не вспомнить, если жених был не кто иной, как кабан Борька, хотя и в вельветовой куртке и со значком и с виду похожий на человека, а все же кабан.

Чонкин хотел закричать людям, чтобы они обратили внимание на то, что здесь происходит, на то, что кабан целует человеческую девушку, но кричать было напрасный труд, потому что вокруг стоял такой шум, отовсюду слышалось: «Горько! Горько!», и даже не «горько», а другое какое-то слово, тоже знакомое Чонкину. Он повел глазами вокруг и только сейчас осознал со всей ясностью, что здесь происходит, осознал, что за столом сплошь сидят никакие не люди, а обыкновенные свиньи, стучат копытами по столу и хрюкают, как и положено свиньям.

Чонкин закрыл лицо ладонями и опустил на табуретку. Господи, и что ж это такое происходит, и куда он попал. В жизни не поминал Бога ни разу, а вот пришлось.

Очнулся он от тишины. Отвел от лица ладони. Свиньи со всех сторон молча смотрели ему в лицо. Они словно ждали от него какого-то действия. Ему стало нехорошо. Его съезжило под этими взглядами. Потом взорвало.

— Ну чего смотрите? Чего смотрите? — закричал он отчаянно, скользя глазами по этим рылам.

Но слова его не нашли никакого ответа и словно проваливались в глубокий колодец.

Чонкин перекинул взгляд на соседа. Толстый пятнистый боров в вышитой украинской рубашке не мигая смотрел на него заплывшими жиром тупыми глазами.

— Ты, старый кабан, — закричал Чонкин, хватая соседа за плечи и встряхивая, — ты чего на меня уставился? Что?

Сосед ничего не ответил. Он только усмехнулся и сильными передними лапами молча оторвал руки Чонкина от своих плеч. Чонкин понял, что силой тут никого не возьмешь, и опустил голову.

И тут раздался громкий среди тишины голос кабана Плечевого:

— Чонкин, а ты почему же не хрюкал?

Чонкин вскинул голову на Плечевого — о чем это он?

— Ты не хрюкал, Чонкин, — стоял на своем Плечевой.

— Да, он не хрюкал, — солидно, словно желая только установить истину, подтвердил сосед Чонкина.

— Не хрюкал! Не хрюкал! — на весь зал пропищала молоденькая свинка, соседка с бантиком возле ушей.

Чонкин, ища спасения, глянул в сторону Нюры, которая одна среди всех сохраняла в себе еще что-то человеческое. Нюра смущенно опустила глаза и тихо сказала:

— Да, Ваня, по-моему, ты не хрюкал.

— Интересно, — весело поблескивая глазами, сказал жених Борька. — Все хрюкают, а он нет. Может, тебе не нравится хрюкать?

У Чонкина пересохло во рту.

— Да и это...

— Что — «это»?

— Не знаю, — проямлил, потупившись, Чонкин.

— Он не знает, — весело пискнула молоденькая свинка.

— Да, он не знает, — с горечью подтвердил боров в украинской рубашке.

— Не понимаю, — развел лапами Борька. — Хрюкать — это же так приятно. Это такое для каждого удовольствие. Хрюкни, пожалуйста.

— Хрюкни, хрюкни, — зашептала молоденькая свинка, подталкивая Чонкина локтем.

— Ваня, — сказала ласково Нюра, — хрюкни, ну что тебе стоит. Я раньше тоже не умела, а теперь научилась, и ничего. Скажи «хрю-хрю», и все.

— На что вам всем это нужно, — застонал Чонкин, — ну на что? Я же вам ничего не говорю, хрюкайте, если нравится, только я-то при чем? Я же все-таки не свинья, а человек.

— Он человек, — пропищала молоденькая свинка.

— Говорит — человек, — удивленно подтвердил боров в рубашке.

— Человек? — переспросил Борька.

Это утверждение Чонкина показалось настолько смешным, что все свиньи, дружно ударив копытами в стол, захрюкали от удовольствия, а сосед в вышитой рубашке ткнулся мокрым рылом в ухо Ивана. Тот схватился за ухо, но его уже не было — сосед, отвернувшись,

спокойно его пережевывал, словно это было не ухо, а, скажем, какой-нибудь капустный лист.

Молоденькая свинка, высунувшись из-за Чонкина, с любопытством спросила:

— Вкусно?

— Дрянь, — поморщился тот, проглатывая пережеванное.

— Почему ж это дрянь? — обиделся Чонкин. — У тебя разве лучше?

— У меня свиное, — с превосходством ответил сосед. — Для холодца незаменимая вещь. Ты, чем болтать, хрюкай давай.

— Хрюкай, хрюкай, — зашептала соседка.

— Хрюкай, тебе говорят, — сказал Плечевой.

Чонкин рассердился.

— Хрю-хрю-хрю, — сказал он, передразнивая свиней. — Довольны?

— Нет, — поморщился Плечевой, — не довольны. Ты хрюкаешь так, как будто тебя заставляют. А ты должен хрюкать весело и от всей души, чтоб тебе самому это нравилось. Ну давай, хрюкай еще.

— Давай, — подтолкнула локтем свинка.

— Хрю-хрю! — закричал Чонкин, изображая на лице своем чрезвычайный восторг.

— погоди, — оборвал Плечевой. — Ты только делаешь вид, что тебе нравится, а на самом деле ты недоволен. Но мы не хотим, чтобы ты делал это против воли, мы хотим, чтоб тебе это нравилось по-настоящему. Ну-ка, давай-ка вместе. Хрю-хрю!

Он хрюкал сперва неохотно, но потом постепенно заразился восторгом Плечевого и сам уже хрюкал с тем же восторгом, от всей души, и на глазах его появились слезы радости и умиления. И все свиньи, которым передавалась его радость, захрюкали тоже и застучали копытами, и краснорожая свинья в крепдешиновом сарафане лезла к нему через стол целоваться.

А кабан Борька вдруг выскочил из своей вельветовой куртки и, став уже совершенной свиньей, рванул по столу галопом, пронесся из конца в конец, вернулся обратно и снова впрыгнул в свою одежду. И тут с дальнего конца стола появились золотые подносы, свиньи подхватывали

их и передавали дальше с копыт на копыта. «Неужто свинина?» — содрогнулся Чонкин, но тут же пришел в еще больший ужас, увидев, что это совсем не свинина, а даже наоборот — человечина.

На первом подносе в голом виде и совершенно готовый к употреблению, посыпанный луком и зеленым горошком, лежал старшина Песков, за ним с тем же гарниром шли каптенармус Трофимович и рядовой Самушкин. «Это я их всех предал», — осознал Чонкин, чувствуя, как волосы на его голове становятся дыбом.

— Да, товарищ Чонкин, вы выдали Военную Тайну и предали всех, — подтвердил старший лейтенант Ярцев, покачиваясь на очередном подносе и играя посиневшим от холода телом. — Вы предали своих товарищей, Родину, народ и лично товарища Сталина.

И тут появился поднос лично с товарищем Сталиным. В свисавшей с подноса руке он держал свою знаменитую трубку и лукаво усмехался в усы.

Обуянный невыразимым ужасом, Чонкин опрокинул табуретку и кинулся к выходу, но споткнулся и упал. Схватился за порог пальцами и, обламывая ногти, хотел уползти, но не мог. Кто-то крепко держал его за ноги. Тогда он собрал все свои силы и, сделав невероятный рывок, больно ударился головой о крыло самолета.

...Стоял яркий солнечный день. Чонкин сидел на сене под самолетом и, потирая ушиб на голове, все еще никак не мог понять, что происходит. Кто-то продолжал его дергать за ногу. Чонкин посмотрел и увидел кабана Борьку, не того, который сидел за столом в вельветовой куртке, а обыкновенного грязного (видно, только что вылез из лужи) кабана, который, ухватив зубами размотавшуюся на ноге Чонкина обмотку, тащил ее к себе, упираясь в землю короткими передними лапами и похрюкивая от удовольствия.

— Уйди, гад, зараза! — не своим голосом заорал Чонкин, едва ли не теряя сознание.

Борька, услышав голос хозяина и поняв его как призыв, с радостным визгом кинулся к Чонкину, чтобы по-

приветствовать, а если удастся, и лизнуть в ухо, но тут же получил страшной силы встречный удар каблуком в рыло. Не ожидавший такой встречи, он жалобно завизжал, отскочил в сторону и, припав к пыльной земле тем местом, которое у людей называется подбородок, вытянул вперед лапы, смотрел на Чонкина своими маленькими глазами и тихо, как собака, скулил.

— Я вот тебе поскулю, — остывая и приходя в себя, пригрозил Чонкин и огляделся. На траве рядом с ним лежало старое байковое одеяло, которое он, видимо, сбросил с себя во сне. Тут же была и примятая камнем записка.

Нюра писала, опуская, как всегда, гласные буквы, а если и ставила их, то чаще не те, что нужно: «Я ушла на рботу, клич пыд плувицей, шчи в пчке, кушай н здравье, с прветам Нюра». За тем, что было написано, стоял, конечно, намек на то, что Нюра зла не помнит и готова примириться, если Иван не будет упрячиться.

— Как бы не так, — вслух сказал он и хотел разорвать записку, но потом передумал и, сложив ее вчетверо, сунул в карман гимнастерки. Но при упоминании о щак сразу засосало под ложечкой, и он вспомнил, что со вчерашнего обеда ничего не ел.

Борька, который до этого успокоился и замолчал, опять заскулил, как бы призывая обратить внимание на него, побитого и несчастного. Иван строго покосился на кабана, но у того действительно вид был настолько жалкий и обиженный, что Чонкин не выдержал и, хлопнув себя по ноге ниже колена, позвал:

— Иди сюда!

Надо было видеть, с какой готовностью забыл Борька незаслуженную обиду и кинулся к хозяину, как радостно он визжал и хрюкал, тыча рылом Чонкина в бок, всем своим видом как бы говоря: «Я не знаю, в чем я перед тобой виноват, но я виноват, если ты так считаешь. Побей меня за это, убей, если хочешь, только прости».

— Ну ладно, ладно, — проворчал Чонкин и стал чесать Борьку за ухом, отчего тот сразу повалился в траву, сперва на бок, потом перевернулся на спину и долго лежал так, закрыв от блаженства глаза и вытянув вверх сведенные вместе свои короткие худые лапы.

Наконец Чонкину это надоело, он ткнул Борьку кулаком в бок и сказал:

— Пошел вон!

Борька мигом вскочил на ноги, отбежал, посмотрел на Чонкина настороженно, но, не увидев в глазах его злобы, успокоился и погнался за пробегавшей мимо курицей.

Чонкин встал, отряхнул сено с одежды, замотал обмотку, поднял с земли винтовку и огляделся. На соседнем огороде, привычная уже как часть пейзажа, маячила сутулая фигура Гладышева. Он ходил между грядками, нагибаясь над каждым кустом пукса и что-то над ним колдуя. Жена его Афродита, грязная баба с заспанным лицом и нечесаными волосами, сидела на крыльце, держа на коленях годовалого сына Геракла (тоже жертва гладышевской эрудиции), и глядела на мужа с нескрываемым отвращением.

Чтобы читателю были понятны в дальнейшем отношения между селекционером и его женой, надо остановиться хотя бы вкратце на поучительной истории этого неравного брака.

Гладышев женился на Афродите года за два до описываемого здесь периода, когда ему было уже сильно под сорок. Пять лет до этого (после смерти матери) жил в одиночестве, справедливо полагая, что семейная жизнь мало способствует научному творчеству. Ну а к сорока годам (то ли природа стала брать свое, то ли одиночество утомило) решил он все же жениться, хотя это оказалось делом нелегким, при всем том, что невест в деревне было в избытке. Его разговоры насчет замечательного гибрида невесты еще терпели и соглашались даже на то, чтобы вдвоем, рука об руку, нести сквозь жизнь бремя научного подвига, надеясь, впрочем, что дурь эта у Гладышева со временем пройдет сама по себе. Но когда дело было уже на мази и невеста перешагивала порог будущего своего дома, редкая выдерживала хотя бы четверть часа. Одна, говорят, бухнулась в обморок уже на второй минуте. И вот почему. Удобрения для своих селекционных опытов Гладышев держал на дому в специальных горшочках. Это были и торфоперегнойные горшочки, и горшочки с коровьим и конским навозом, и горшочки с куриным

пометом. А удобрениям Гладышев придавал большое значение. Он их смешивал в разных пропорциях, выдерживал на печке, на подоконнике, при определенной температуре, давал перебродить. И не только летом, но и зимой — при закрытых-то окнах!

И лишь будущая Афродита, которая никаких иллюзий насчет своих чар не имела, вынесла все до конца. Очень хотелось замуж.

Гладышев, когда понял, что у него другого выбора нет, решил было навсегда оставить мечту о женитьбе, но потом рассудил иначе. Насчет Ефросиньи было у него такое соображение, что если он ее, никому не нужную, подберет, уж она потом за такое его благородство заплатит полной преданностью и ему, и его науке.

Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Ефросинья сперва и правда платила, но, родивши Геракла, стала вести с этими горшочками войну под предлогом вредности для ребенка. Сначала намеками и уговорами, потом скандалами. Выносила горшки в сени. Гладышев вносил их обратно. Пробовала бить эти горшки, Гладышев бил ее, хотя вообще насилия не одобрял. Несколько раз уходила она с ребенком к родителям, жившим на другом конце деревни, но каждый раз мать прогоняла ее обратно.

В конце концов смирилась она со всем, на все махнула рукой и за собой перестала следить. И раньше красавицей не слыла, а сейчас и вовсе бог знает на что стала похожа.

Вот, собственно, и вся эта история вкратце.

А теперь вернемся к тому, с чего начали мы свой рассказ. Итак, Чонкин стоял возле своего самолета, Гладышев копался на огороде, а Афродита с ребенком на руках сидела на крыльце и смотрела на мужа с нескрываемым отвращением.

— Слышь, сосед, здорово! — закричал Чонкин Гладышеву.

Тот разогнулся над очередным кустом пукса, двумя пальцами приподнял шляпу и чинно ответил:

— Желаю здравствовать.

Чонкин, прислонив винтовку к самолету, оставил ее и подошел к забору, разделявшему два огорода.



VOYNOVICH

Герб одной из ветвей рода
Войновичей. У всего рода
было несколько гербов, из
которых я знаю два.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

ИМПЕРАТРИЦА И САМ

и прочая, и и



Извѣстно и вѣдомо да будетъ каждому, что М
Большомъ флотѣ Капитаномъ шестого ранга
приблизился, но оный же флотъ въ Капи
пожалованъ и учрѣданъ; яко же Мы снѣ жалуетъ и
Войновича, Капитаномъ шестого ранга, надлежащимъ обра
что онъ въ снѣ ему отъ НАСЪ Всемилостивѣйше пожалов
денъ, какъ по вѣрному и доброму Офицеру
подписали, и Государственнымъ печатью укрѣпиши послѣ

Указъ Екатерины Второй
о присвоении Марку Ивановичу
Войновичу звания капитана
первого ранга. В 1783 году
он командовал первым на Черном
морелинейным кораблем

ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ, ИМПАТРИЦА ВСЕРОССИЙСКАЯ, и прочая.

Марка Войновича, который въ НАШЕМЪ морскомъ кораблѣ, для сего оказанной къ службѣ НАШЕЙ ренкинии и поощреннаго ранна, 1783 года, Мая 1 дня, Императорскимъ указомъ, повелевая жь въ НАШЕМЪ, помянушаго Марка приобщать и почитать, наипротивъ чего и МЫ надѣемся, собою оному чинѣ, шакъ въру и прилѣжно поступать буди. Свидѣтельство того МЫ съ собственною НАШЕЮ рукою

Екатерини

"Слава Екатерини". Этот корабль стал основой Российскаго Черноморскаго флота, первымъ командующимъ котораго и стал Марко Войновичъ уже въ чинѣ адмирала.



Прабабушка Анна,
урожденная Комнениц
(известный сербский род).



Прадед Николай Спиридонович.
Он и его пять братьев - все
капитаны дальнего плавания -
в конце прошлого века привели
свои корабли в Россию и
принесли российское подданство.



Дедушка Павел Николаевич,
железнодорожник на станции
Новозыбков.



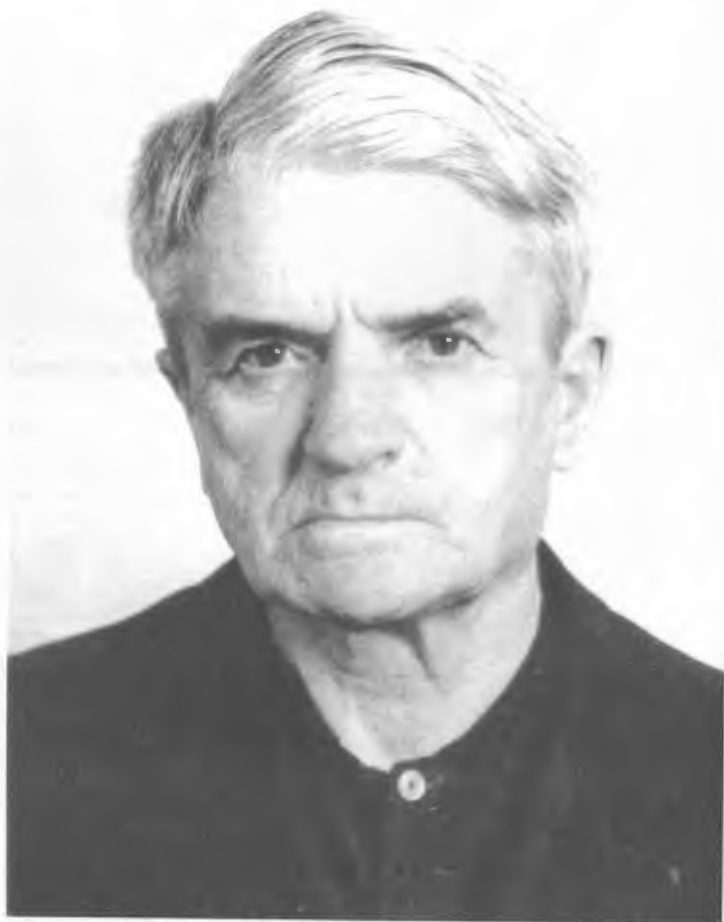
Бабушка Евгения Петровка,
догь полицмейстера города
Тирасполь (Бессарабия),
каменная учительница,
жила 97 лет.



Дедушка и бабушка с маминиот
сторона. Ни едни из сестрини манасти-
не ѝ.



Обе бабунки с внуцима



Отец Николай Павлович,
журналист, поэт, переводчик
сербского эпоса. Был крайним
аскетом. Пилалес исключительно
скудно, и меня побуждал
к тому же, утверждая, что
"Хлеб да вода - молодецкая еда".



Мама Розалия Климентьевна,
урожденная Гейхман. Окончила
с отличием институт. Препо-
давала математику и была
в нашей семье самым задуши-
стым книголюбом.



Ойцу в мае 1941-го.
Вскоре после выхода
из лагеря и незадолго
до ухода на фронт.

Сестра отца Анна
Павловна. Во
время войны тетя Анн
на два года заменила
мне мать.





1935. Вова Ржинецкий
на балконе редакции
"Коммунист Таджикистана".
Ждет, когда вылетит
птичка.



Ремесленное училище № 8
города Запорожье. Самый
маленький (второй слева внизу) — я.



1948. Три представителя
рабочего класса и городской
шпаны. Самый маленький — я.

Трудовая книжка

Фамилия Войнович

Имя Владимир

Отчество Николаевич

Год рождения 1932

Образование: начальное, среднее, высшее
(Подчеркнуть)

Профессия Столяр - красильщик

Подпись владельца Трудовой книжки

Антон

Дата заполнения Трудовой книжки

28/IV 19 52

Выдана в 1950 году,
но в ней уже 4 года
стала. Уровень образования
поддерживался по мере
достижения очередной
вершины. Высшая осталась
недостигнутой.



18 лет. Перед записью
в солдаты.

— Что-то ты, сосед, я гляжу, возишься на этом огороде, возишься. Не надоело?

— Да ведь как сказать, — со сдержанным достоинством ответил Гладышев. — Я ведь не для себя, не в виде личной наживы, а ради научного интереса. А ты, никак, сегодня под эропланом ночевал?

— А нам, татарам, один черт, где ночевать, — пошутил Чонкин. — Сейчас время теплое — не зима.

— А я утром вышел, гляжу — чьи-то ноги из-под эроплана торчат. Неужто, думаю, Ваня нынче на улице ночевал? Еще и Афродите говорю: «Погляди, мол, кажись, Ванины ноги из-под эроплана торчат». Слышь, Афродита, — закричал он жене, призывая ее в свидетели, — помнишь, утром я тебе говорил: «Погляди, мол, кажись, Ванины ноги из-под эроплана торчат».

Афродита смотрела на него все с тем же выражением лица, не меняя его и никак не реагируя на обращенные к ней слова.

Чонкин посмотрел на Гладышева, вздохнул и неожиданно для самого себя вдруг сказал:

— А я, слышь, с бабой своей поругался, ушел я от ней, понял? Потому на улице нынче и ночевал.

— А что так? — обеспокоился Гладышев.

— Да так, слышь, — уклонился от прямого ответа Иван. — Я ей, слышь, одно, она мне, слышь, другое, словом по слову, носом по столу, так все и пошло. Я, слышь, плюнул, взял шинелку, винтовку, мешок — а что у меня еще? — и на двор.

— Вон оно как повернулось, — удивленно покачал головой Гладышев. — То-то я сегодня утром вышел и гляжу, уж не твои ли ноги из-под эроплана торчат? Значит, ты с ней поругался?

— Да вот поругался, — погрустнел еще больше Иван.

— А может, и правильно сделал, — предположил Гладышев. Он с опаской поглядел на жену и перешел на шепот: — Если хочешь знать, я тебе вот что скажу: не связывайся ты, Ваня, с этими бабами. Беги от них, пока молодой. Ведь они... ты посмотри хотя б на мою. Вон она сидит, змея гремучая, у ней язык, Ваня, ты, когда поближе разговаривать будешь, обрати внимание — раздвоенный. Ну чисто змеиное жало. А сколько я от нее, Ваня, го-

ря натерпелся, это ни в сказке сказать, ни пером описать. Да разве ж только я? Все мужчины от ихнего пола страдают неимоверно, возьми хоть современную эпоху развития, хоть факты из исторического прошлого. — Покосившись на жену, он зашептал еще тише, словно сообщал сверхсекретную новость: — Когда царь Николай Первый сослал декабристов у Сибирь, черт-те куда, так ихни жены на этом не успокоились, а свои шмотки собрали и поперли туды за ими, несмотря что железной дороги в те поры не было. И лошадей позагоняли, и ямщиков перемучили, и сами чуть не подохли, а все же добрались, вот ведь какое дело. Я, Ваня, про Нюрку худого ничего не скажу — она женщина образованная и с понятием, а все же беги ты от ней, покуда не поздно.

— Я бы побег, — сказал Чонкин, — да этот вот драндулет не пускает. — Он кивнул в сторону самолета и, подумав, добавил печально: — Да и исть охота. Кишка кишке бьет по башке.

— Исть хочешь? — удивился Гладышев. — Господи, да чего ж ты раньше не сказал. Да пошли ко мне. Сейчас примус разожжем, яишню с салом сготовим. Самогоночки маленько, — он подмигнул Чонкину, — есть. Пошли. Поглядишь заодно, как живу.

Чонкин не заставил себя упрашивать, спрятал винтовку под сено, перелез через забор и, осторожно ступая меж грядок, пошел за хозяином, который независимой походкой шагал впереди. Взошли на крыльцо. Афродита болезненно поморщилась и отвернулась.

— Хоть бы клеенку под дите подстелила, — проворчал на ходу Гладышев, — а то ведь напрудит — весь подол провоняет.

Афродита равнодушно подняла глаза, равнодушно сказала:

— Ты лучше в избе понюхай. И дай гостю понюхать.

Сказала и отвернулась.

Гладышев открыл дверь, пропустил Чонкина в сени.

— Слышал, как она со мной разговаривает? — сказал он Ивану. — И вот так каждый день. Дура грязная. У меня-то вонища с научной целью, а у нее в виде неряшества.

За сениями было темно. Гладышев зажег спичку, осветившую узкий коридор и дверь, обитую изодранной мешковиной. Гладышев растворил эту дверь, и оттуда сразушибануло таким запахом, что Чонкина зашатало от неожиданности, так что если бы он сразу не зажал нос двумя пальцами, то, может быть, и упал бы. С зажатым носом он и вошел в избу вслед за хозяином. Тот обернулся к нему и сказал ободряюще:

— Спервоначалу оно, конечно, малость шибает, а я вот уже привык, и мне ничего. Ты одну ноздрю приоткрой, а когда пообыкнешь, принюхаешься, открой и вторую. Запах как будто противный, а на самом деле здоровый и для организма полезительный, имеет различные ценные свойства. К примеру, французская фирма «Коти» из дерьма изготовляет духи тончайшего аромата. Ну ты тут пока погляди, как живу, а я мигом сварганю яишню, и мы с тобой подзакусим, а то я что-то тоже исть захотел.

И пока он в горнице накачивал и разжигал примус, гость его остался в передней и, привыкая к запаху, открывал по совету хозяина то одну ноздрю, то другую и разглядывал комнату, в которой было на что поглядеть.

Первое — это сами горшочки. Их было великое множество, и стояли они не только на печке и подоконнике, но и на лавке возле окна, и под лавкой, и за спинкой железной кровати с неубранной постелью и разбросанными как попало подушками.

Над кроватью, как положено, висели стеклянные рамочки с цветочками и голубями по углам, в рамочки были вделаны фотографии хозяина дома с младенческих лет до последнего времени, фотографии жены его Афродиты и многочисленных ближайших родственников с обеих сторон. Над этим иконостасом был укреплен общий портрет супругов Гладышевых, выполненный на заказ из разных карточек и так старательно раскрашенный неизвестным исполнителем, что лица, изображенные на портрете, не имели решительно никакого сходства с оригиналами.

Другая стена против окна была музейная, на ней в таких же стеклянных рамочках были помещены уже упоминавшиеся нами печатные отклики на научные изыскания Гладышева, и в отдельной рамочке хранилось то самое

письмо от известного сельхозакадемика, о котором мы также упоминали.

На стене между окнами висело одноствольное ружье шестнадцатого калибра, которое, как догадывается, конечно, читатель, должно когда-нибудь выстрелить, впрочем, еще неизвестно, выстрелит оно или даст осечку, это будет видно по обстоятельствам.

Чонкин еще не успел как следует рассмотреть все, что было в этой комнате, как яичница была готова и Гладышев позвал его к столу.

Здесь было тоже не ахти как убрано, но все же почище, чем в передней, здесь стояла горка с посудой, была подвешена к потолку люлька — ложе Геракла, и стоял старый сундук без крышки, заваленный растрепанными книгами преимущественно научного содержания (как, например, «Мифы Древней Греции» или популярная брошюра «Муха — активный разносчик заразы»), а также неполной подшивкой журнала «Нива» за 1912 год. Сундук этот был основным источником, из которого Гладышев черпал свою эрудицию.

На большом столе, покрытом клеенкой с коричневыми кругами от горячей посуды, шипела в сковородке яичница с салом, и как Чонкина ни мучило от запаха (хотя он к нему и правда немного привык), а от голода мучило сильнее, и он не заставил повторять приглашение, а без лишних церемоний уселся за стол.

Гладышев достал из ящика стола две вилки, вытер об майку, одну положил перед гостем, а другую, со сломанным зубом, взял себе. Чонкин хотел сразу ткнуть вилкой в яичницу, но хозяин его остановил:

— Погоди.

Достал с горки два пропыленных стакана, посмотрел на свет, поплевал в них, протер тоже майкой, поставил на стол. Сбегал в сени, принес неполную бутылку, заткнутую скрученной в жгут газетой, налил полстакана гостю и полстакана себе.

— Вот, Ваня, — сказал он, придвинув к себе табуретку и продолжая начатый разговор, — мы привыкли относиться к дерьму с этакой брезгливостью, как будто это что-то плохое. А ведь если разобраться, так это, может быть, самое ценное на земле вещество, потому что вся

наша жизнь происходит из дерьма и в дерьмо опять же уходит.

— Это в каком же смысле? — вежливо спросил Чонкин, поглядывая голодными глазами на остывающую яичницу, но не решаясь приступить к ней раньше хозяина.

— А в каком хошь, — развивал свою мысль Гладышев, не замечая нетерпения гостя. — Посуди сам. Для хорошего урожая надо удобрить землю дерьмом. Из дерьма произрастают травы, злаки и овощи, которые едим мы и животные. Животные дают нам молоко, мясо, шерсть и все прочее. Мы все это потребляем и переводим опять на дерьмо. Вот и происходит, как бы это сказать, круговорот дерьма в природе. И, скажем, зачем же нам потреблять это дерьмо в виде мяса, молока или хотя бы вот хлеба, то есть в переработанном виде? Встает законный вопрос: не лучше ли, отбросив предубеждение и ложную брезгливость, потреблять его в чистом виде как замечательный витамин? Для начала, конечно, — поправился он, заметив, что Чонкина передернуло, — можно удалить естественный запах, а потом, когда человек привыкнет, оставить все как есть. Но это, Ваня, дело далекого будущего и успешных дерзаний науки. И я предлагаю, Ваня, выпить за успехи нашей науки, за нашу советскую власть и лично за гения в мировом масштабе товарища Сталина.

— Со встречей, — поспешно поддержал его Чонкин. Ударилось стекло о стекло. Иван опрокинул содержимое своего стакана и чуть не свалился со стула. У него сразу отшибло дыхание, словно кто-то двинул под ложечку кулаком. Ничего не видя перед собой, он ткнул вилкой наугад в сковороду, оторвал кусок яичницы и, помогая другой рукой, запихал ее в рот, проглотил, обжигаясь, и только после этого выдохнул расправивший легкие воздух.

Гладышев, опорожнивший свой стакан без труда, смотрел на Ивана с лукавой усмешкой.

— Ну как, Ваня, самогончика?

— Первачок что надо, — похвалил Чонкин, вытирая ладонью проступившие слезы. — Аж дух зашибает.

Гладышев все с той же усмешкой придвинул к себе плоскую консервную банку, бывшую у него вместо пе-

пельницы, плеснул в нее самогон и зажег спичку. Самогон вспыхнул синим неярким пламенем.

— Видал?

— Из хлеба или из свеклы? — поинтересовался Чонкин.

— Из дерьма, Ваня, — со сдержанной гордостью сказал Пладышев. Иван поперхнулся.

— Это как же? — спросил он, отодвигаясь от стола.

— Рецепт, Ваня, очень простой, — охотно пояснил Пладышев. — Берешь на кило дерьма кило сахару...

Опрокинув табуретку, Чонкин бросился к выходу. На крыльце он едва не сшиб Афродиту с ребенком и в двух шагах от крыльца уперся лбом в бревенчатую стену избы. Его рвало и выворачивало наизнанку.

Следом за ним выбежал растерянный хозяин. Громко топая сапогами, сбежал он с крыльца.

— Ваня, ты что? — участливо спросил он, трогая Чонкина за плечо. — Это же чистый самогон, Ваня. Ты же сам видел, как он горит.

Иван что-то хотел ответить, но при упоминании о самогоне новые спазмы схватили желудок, и он едва успел расставить ноги пошире, чтобы не забрызгать ботинки.

— О Господи! — с беспросветной тоской высказалась вдруг Афродита. — Еще одного дерьмом напоил, ирод проклятый, погибели на тебя нету. Тьфу на тебя! — Она смачно плюнула в сторону мужа.

Он не обиделся.

— Ты, чем плевать, яблочка моченого из погреба принесла бы. Плохо, вишь, человеку.

— Да какие там яблочки! — застонала Афродита. — Те яблочки тоже наскрозь пропахли дерьмом. По всей избе одно сплошное дерьмо, чтоб тебе провалиться, чтоб тебе в нем утопнуть, идиот несчастный. Уйду я от тебя, идола, побираться буду с дитем, чем в дерьме погибать.

И, не откладывая дела в долгий ящик, она подхватила с Гераклом и кинулась вон за калитку. Пладышев, оставив Чонкина, побежал за женой.

— Куды ты бежишь, Афродита! — закричал он ей вслед. — Вернись, тебе говорят! Не выставляй перед народом и себя и меня на позорище. Эй, Афродита!

Афродита остановилась, обернулась и зло закричала ему в лицо:

— Да какая ж я тебе Афродита? Фроська я, понял, обормот вислоухий, Фроська!

Повернулась и, высоко держа на растопыренных руках перепуганного насмерть ребенка, побежала по деревне дальше, подпрыгивая и спотыкаясь.

— Фроська я, слышите, люди, я — Фроська! — выкрикивала она с таким остервенелым наслаждением, как будто после долгой немоты вновь обрела вдруг дар речи.

16

21 июня послу Германии в СССР Шуленбургу было передано заявление, в котором говорилось, что, по полученным сведениям, германские войска скапливаются у западных границ Советского Союза. Советское правительство просило правительство Германии дать разъяснения по этому поводу. Это заявление было передано Гитлеру, когда до начала войны оставались минуты.

В это время Чонкин, накануне помирившийся с Ньюрой, еще спал. Потом почувствовал малую нужду и проснулся. Некоторое время он лежал, не решаясь выбраться из-под теплого одеяла и втайне надеясь, что его желание пройдет само по себе. Но желание не проходило. Он дождался того момента, когда нельзя было терять уже ни секунды. Сунув ноги в ботинки и накинув на голые плечи шинель, он выскочил на крыльцо, а дальше не побежал, было некогда.

Утро было ясное, свежее. На траве, на листьях деревьев, на плоскостях самолета лежала густая роса. Солнце уже оторвалось от горизонта и на глазах сужалось. Красные отблески его лежали на стеклах домов. Стояла полная тишина, нарушаемая время от времени тихим и сонным мычаньем коров. Чонкин хотел было разбудить Ньюру, чтобы она подоила и выгнала в стадо Красавку, но потом передумал и решил сделать все сам. Правда, когда он брал подойник, Ньюра проснулась и хотела подняться, но он ей сказал:

— Ладно, спи дальше.

И пошел в хлев.

Подоив Красавку, он открыл ей одну половинку ворот, но корова не выходила, она привыкла, что перед ней раскрывают ворота настежь. «Вот скотина», — подумал Чонкин и хотел протянуть ее вдоль спины засовом, но пожалел.

— Давай выметайся, — миролюбиво проворчал он, открывая вторую половинку ворот.

Красавка, презрительно покосившись в сторону Чонкина, прошла мимо и, торжественно покачивая головой, увенчанной короткими рогами, направилась к выходу из двора.

Тут подоспело и стадо.

Коровы разбрелись по всей широкой улице и, на ходу припнувшись к столбам и заборам, сонно вздыхали.

Позади стада, раскачиваясь на лошади, ехал новый пастух Леша Жаров. Вместо седла под ним была старая телогрейка. Ее рваные рукава висели и, как маятники, раскачивались в такт ходу лошади.

Увидев пастуха, Чонкин захотел поговорить с ним и, подойдя к калитке, крикнул:

— Эй, слышь ты! Как вообще жизнь-то?

Леша потянул на себя уздечку, остановил лошадь и с любопытством посмотрел на Чонкина, которого видел впервые.

— Жизнь вообще-то ничего, — сказал он, подумав. — Подходящая жизнь.

Помолчали. Потом Чонкин посмотрел на ясное небо и сказал:

— Сегодня, видать по всему, будет ведро.

— Будет ведро, если не будет дождя, — сказал Леша.

— Без туч дождя не бывает, — заметил Чонкин.

— Без туч не бывает.

— А бывает так, что и тучи есть, а дождя все равно нету.

— Бывает и так, — согласился Леша.

На этом они расстались. Жаров поехал догонять стадо, а Чонкин вернулся в избу. Нюра спала, раскинувшись по всей кровати, будить ее было жалко. Чонкин походил немного по избе, но, не найдя себе никакого занятия, все-таки подошел к Нюре.

— Слышь ты, подвинься, — сказал он, тронув ее за плечо.

Солнце уже светило прямо в окно, пыльный луч его упирался в противоположную стену, на которой висели ходики с покореженным циферблатом. Ходики были старые, механизм пропылился, в нем что-то шуршало и щелкало. Стрелки показывали четыре часа — в это время немцы бомбили Киев.

Часть вторая

1

Известие о начале войны свалилось точно снег на голову, потому что никто не думал, не предполагал. Правда, недели за полторы до этого баба Дуня широко распространила свой сон, будто ее курица Клашка родила козла с четырьмя рогами, однако знатоки толковали данное видение как безобидное; в худшем случае, рассуждали, — к дождю.

Теперь все приобрело иное значение. Чонкин о случившемся узнал не сразу, потому что сидел в уборной и никуда не спешил. Его время было не считано. Оно было отпущено ему не для чего-то высшего, а просто так. Чтобы созерцать протекавшую жизнь, не делая выводов. Чтобы есть, пить, спать и отправлять свои естественные надобности не только в моменты, определенные уставом караульной и гарнизонной службы, а по мере возникновения.

Летняя уборная стояла на огороде. Солнечные лучи протыкали насквозь это хилое сооружение. Жужжали зеленые мухи, и паук из угла спускался на паутинке, словно на парашюте.

На стене справа, наколотые на гвоздик, висели квадратные куски газет. Чонкин срывал их по очереди и прочитывал, получая при этом немало отрывочных сведений по самым разнообразным вопросам. Ознакомился с некоторыми заголовками:

**АЛСЯ ЛЕЧЕБНЫЙ СЕЗОН НА ВОЛОГОДСКИХ
КУРОРТАХ**

ЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СИР

ЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТ

ОБЕЛЕН «ЛЕНИН И СТАЛИН В ОКТЯ

Заметку «ГЕРМАНСКИЙ ПРОТЕСТ США» прочел полностью:

Берлин, 18 июня (ТАСС). По сообщению Германского информационного бюро в посольстве США в ночь от 6 июня требовало от германского поверенного в делах в Вашингтоне, чтобы сотрудники германской информационной библиотеки в Нью-Йорке, агентства Трансоцеанского железнодорожного общества покинули территорию Соединенных Штатов. Требуем, чтобы сотрудники затаивались, якобы недопустимой деятельностью Германское правительство отклонения как необоснованные и за что протест против действий США, порочащих договор.

Не успел Чонкин задуматься о действиях США, как до слуха его донесся отдаленный Нюрин призыв:

— Ва-аня!

Чонкин насторожился.

— Ваня! Игде ты?

Ему было неудобно отзываться, и он молчал.

— Вот леший тебя побери, и куды подевался! — шумела Нюра, приближаясь кругами. Выхода не было, пришлось откликаться.

— Ну чего шумишь? — подал он голос, невольно смущаясь. — Издесь я.

Нюра была уже совсем рядом. Сквозь вылетевший суточок он увидел ее лицо, красное от возбуждения.

— Выходи быстрее! — сказала Нюра. — Война!

— Еще чего не хватало! — не то чтобы удивился, но опечалился Чонкин. — Неужто с Америкой?

— С Германией!

Чонкин озадаченно присвистнул и стал застегивать пуговицы. Ему что-то не верилось, и, выйдя наружу, он спросил у Нюры, кто ей такую глупость сморозил.

— По радио передавали.

— Может, брешут? — понадеялся он.

— Не похоже, — сказала Нюра. — Все до конторы побегли на митинг. Пойдем?

Он призадумался и склонил голову набок.

— Раз уж такое дело, мне, пожалуй что, не до митинга. Вот он мой митинг, чтоб он сторел, — сказал Чонкин и злобно плюнул в сторону самолета.

— Брось, — возразила Нюра. — Кому он нужен?

— Был не нужен, теперь — пригодится. Поди послушай, чего говорят, а я постою погляжу, как бы не налетели.

Минуту спустя с винтовкой через плечо он ходил вокруг самолета и вертел головой, ожидая нападения либо Германии, либо начальства. У него уже болела шея и рябило в глазах, когда обостренным слухом уловил он нарастающий звук «зы-зы-зы».

«Летит!» — встрепенулся Чонкин и вытянул шею. Перед глазами мелькнула точка. Сейчас она увеличится, постепенно принимая растущие очертания самолета... Но точка вдруг вовсе пропала, и звук прекратился. Тут же что-то кольнуло Чонкина, он хлопнул себя по лбу и убил комара. «Это не самолет», — сказал он себе самому и отер комара о штаны.

То ли от хлопка по лбу, то ли по причине немеханической в мозгу Чонкина что-то сдвинулось, и от сдвига родилась тревожная мысль, что он зря здесь проводит время, что никому он не нужен и никого за ним не пришлют. Он и раньше не думал о каком-то особом своем предназначении, но все же не сомневался, что когда-то его о чем-то попросят. Пусть не о многом попросят, хотя бы об ерунде, хотя бы о том, чтобы жизнь свою отдал безвозмездно ради чего-нибудь подходящего. По всему выходило, что и жизнь его не нужна никому. (Конечно, может быть, с точки зрения великих свершений такое скромное явление природы, как жизнь Чонкина, стоило самую малость, но у него не было ничего более ценного, чем он мог бы поделиться с родным отечеством.)

В печальном сознании своей бесполезности Чонкин покинул объект охраны и двинулся к конторе, вблизи которой собрался и ждал разъяснений народ.

Широким полукругом люди стояли перед высоким крыльцом, обнесенным перилами. Все терпеливо смотрели на обитую драным войлоком дверь, надеясь, что выйдет начальство и добавит подробностей. Мужики хмуро дымили сигарками, бабы тихонько плакали, дети растерянно поглядывали на родителей, не понимая наступившей печали, потому что для детского воображения на свете нет ничего веселее войны.

Была середина дня, палило солнце, время стояло на месте, начальство не появлялось. От нечего делать люди, слово по слову, разговаривались. Плечевой, оказавшийся, как всегда, в центре внимания, утешал сограждан, что война эта продлится не дольше чем до ближайшего дождя, когда вся германская техника непременно потопнет на наших дорогах. Курзов с ним соглашался, но предлагал взять во внимание факт, что немец, вскормленный на концентрате, может выдюжить многое. Между собравшимися потерянню толокся дед Шапкин, несмотря на свои девяносто лет, угасающий рассудок и полную глухоту. Шапкин пытался выяснить, ради чего такое собрание, но никто не хотел ему отвечать. Наконец Плечевой сжалился и, сделав вид, будто держится за ручки станкового пулемета, неслышными деду звуками изобразил длинную очередь:

— Ды-ды-ды-ды! — а затем, словно подскакивая на лихом скакуне, стал размахивать над головой воображаемой саблей.

Дед принял это как должное, однако заметил, что в старые времена хлеб сеяли, а потом убирали, прежде чем молотить.

Постепенно толпа расплзлась на отдельные кучки, в каждой из которых шел свой разговор, не имевший отношения к тому, что случилось. Степан Луков спорил со Степаном Фроловым, что если сцепить слона с паровозом, то слон перетянет. Плечевой, набравшись нахальства, утверждал, что по клеточкам может срисовать любого вождя или животное.

В другое время Чонкин подивился бы незаурядному дарованию Плечевого, но теперь было не до того. Занятый своими печальными мыслями, он отошел за угол, где находился разрушенный штабель сосновых бревен.

Иван выбрал себе бревно несмолистое, сел и положил на колени винтовку. Не успел достать масленку с махоркой — подоспел Гладышев.

— Сосед, не дашь ли газетки угоститься твоей махорочкой, а то спички дома забыл.

— На, — сказал Чонкин, не глядя. Уже и махорка кончалась. Гладышев закурил, затянулся, сплюнул крошку, попавшую на язык, и шумно вздохнул:

— Эхе-хе!

Чонкин молчал, глядя прямо перед собой.

— Эхе-хе! — еще шумнее вздохнул Гладышев, пытаясь обратить на себя внимание Чонкина. Чонкин молчал.

— Не могу! — всплеснул руками Гладышев. — Разум отказывается воспринимать. Это ж надо совесть какую иметь — кушали наше сало и масло, а теперь подносят свинью в виде вероломного нападения.

Чонкин и на это ничего не ответил.

— Нет, ты подумай только, — горячился Гладышев. — Ведь просто, Ваня, обидно до слез. Люди, Ваня, должны не воевать, а трудиться на благо будущих поколений, потому что именно труд превратил обезьяну в современного человека.

Гладышев посмотрел на собеседника и вдруг сообразил:

— А ведь ты, Ваня, небось и не знаешь, что человек произошел от обезьяны,

— По мне — хоть от коровы, — сказал Чонкин.

— От коровы человек произойти не мог, — убежденно возразил Гладышев. — Ты спросишь — почему?

— Не спрошу, — сказал Чонкин.

— Ну, можешь спросить. — Гладышев пытался втянуть его в спор, чтобы доказать свою образованность. — А я тебе скажу: корова не работает, а обезьяна работала.

— Где? — неожиданно спросил Чонкин и в упор посмотрел на Гладышева.

— Что — где? — опешил Гладышев.

— Я тебя пытаю: где твоя обезьяна работала? — сказал Чонкин, раздражаясь все больше. — На заводе, в колхозе, на фабрике — где?

— Вот дурила! — заволновался Гладышев. — Да какие ж заводы, колхозы и прочее, когда всюду была непрерыв-

ная дикость. Ты что, паря, не при своих? Это ж надо такое ляпнуть! В джунглях она работала, вот где! Сперва на деревья лазила за бананами, потом палкой их стала шибать, а уж опосля и камень в руки взяла...

Не давая Чонкину опомниться, Пладышев начал бегло излагать теорию эволюции, объяснил исчезновение хвоста и шерсти, но довести свою лекцию до конца не успел — возле конторы наметилось шевеление, народ зашумел, сгрудился перед крыльцом. На крыльце стоял парторг Килин.

3

— По какому случаю собрались?

Свободно облокотясь на перила, Килин переводил взгляд своих маленьких рыжих глаз с одного лица на другое, ожидая, пока все утомонятся и стихнут. Люди переглянулись, не зная, как объяснить очевидное.

— Ну? — Килин остановил взгляд на бригадире полевых. — Ты что скажешь, Шикалов?

Шикалов смутился, попятился, наступил на ногу Плечевому, получил подзатыльник и остановился с раскрытым ртом.

— Я жду, Шикалов, — напомнил Килин.

— Да ведь я... Да ведь мы... Так сообщение ж было, — обрел наконец голос Шикалов.

— Какое сообщение?

— Вот тебе раз! — удивился Шикалов, озираясь как бы в поисках свидетелей. — Чего дурочку валяешь? Не слыхал, что ли? Было сообщение.

— Что ты говоришь! — Килин всплеснул руками. — Неужто было сообщение? И что ж, в этом сообщении говорилось, что больше никому работать не надо, а надо собираться в кучу и создавать толпу?

Шикалов молча поник головой.

— И что за люди! — с высоты своего положения сетовал Килин. — Никакой тебе сознательности. Вам, я вижу, хотя б и война, только бы не работать. Всем разойтись, и чтоб через пять минут я здесь не видел ни одного человека. Ясно? Ответственность возлагаю на бригадиров Шикалова и Талдыкина.

— Так бы сразу и сказал! — обрадовался Шикалов привычному делу и повернулся лицом к толпе. — А ну ра-

зойдись! Эй, мужики, бабы, поглотили, что ль? Кому говорят! Ты что стоишь, хлебальник раззявила! — Шикалов, выставив вперед волосатые руки, пихнул бабу с ребенком. Баба заорала. Закричал и ребенок.

— Ты чего толкаиси? — попытался вступить за бабу Курзов. — Она же с дитем.

— Иди, иди! — двинул его плечом Шикалов. — С дитем, не с дитем, каждый будет тут еще рассуждать.

Подлетел и маленький Талдыкин, набросился на Курзова, уперся ему в живот маленькими ручонками.

— Ладно, ладно, милый, — затараторил он скороговоркой. — Нечего зря шуметь, нервы тратить, пойдی домой, отдохни, попей винца...

— А ты не толкайся! — все еще противился Курзов. — Нет такого закону, чтобы толкаться.

— А никто и не толкается, — ворковал Талдыкин. — Я только так щечечуся.

— И щечкотаться закону нету, — упорствовал Курзов.

— Вот тебе закон! — заключил Шикалов, поднеся к носу Николая огромный свой кулачище.

А Талдыкин мелкой шавкой носился уже среди прочего населения, то выныривая, то пропадая.

— Расходись, народ, расходись! — повизгивал он тонким своим, ласковым своим голоском. — Чего вытаращились? Здеся вам не зверинец. В городе охайте, там зверинец. А ты, дедушка, — схватил он Шапкина за рукав, — заснул, что ли? Топай отседова, ничего тут для тебя интересного нет. Твой интерес на погосте, понял? На погосте, говорю! — кричал Талдыкин в заросшие седым пухом дедовы уши. — Три дня, говорю, лишнего уже живешь! Топай, дедушка, переставляй свои ножки. Вот так! Вот так!

Постепенно Шикалов и Талдыкин одержали полную победу над своими односельчанами. Площадь перед конторой временно опустела.

4

Указание парторга некоторых удивило. Оно удивило бы и его самого, если бы не... Впрочем, все по порядку.

Около трех часов до того Килин и Голубев «сидели на телефоне», по очереди крутили ручку полевого аппарата.

Председатель сменял парторга, парторг председателя, и все без толку. В железной трубке что-то шуршало, трещало, щелкало, играла музыка, голос диктора повторял сообщение о начале войны, и какая-то женщина проклинала какого-то Митю, пропившего самовар и ватное одеяло. Однажды ворвался сердитый мужской голос и потребовал Соколова.

— Какого Соколова? — спросил Голубев.

— Сам знаешь, — ответил голос. — Передай ему, если не явится завтра к восьми ноль-ноль, будет отвечать по законам военного времени.

Председатель только хотел объяснить, что никакого Соколова здесь нет, но сердитый голос пропал, и неведомый Соколов, может быть, сам того не подозревая, уже готовил себя к трибуналу.

Уступив место парторгу, Голубев отошел в угол, открыл металлический сейф для секретных и денежных документов, сунул в него голову и стал похож на фотографа, который сейчас скажет: «Спокойно, снимаю». Однако ничего подобного он не сказал. В сейфе послышалось негромкое бульканье, после чего Иван Тимофеевич вынул голову и обтер рукавом губы. Встретив осуждающий взгляд парторга, он достал из сейфа амбарную книгу с какими-то записями, полистал без интереса и положил на место. «Плевать, — подумал он равнодушно, — теперь все равно. Война все спишет. Только бы скорее на фронт, а там — грудь в крестах, голова в кустах — все по-честному». Правда, по причине плоскостопия Иван Тимофеевич к военной службе был непригоден, но недостаток этот он надеялся скрыть от комиссии.

Пока Голубев строил планы на будущее, Килин продолжал упорно крутить ручку телефонного аппарата. В трубке было слышно все что угодно, кроме того, что было нужно.

— Алло, алло! — кричал он время от времени.

Кто-то сказал ему: «Съешь дерьма кило», но он не обиделся.

— Брось, — посоветовал Иван Тимофеевич. — Митинг проведем, протокол составим, и ладно.

Килин посмотрел на него долгим взглядом и с еще большим остервенением набросился на аппарат. И вдруг

в трубке самым волшебным образом возник бархатный голос телефонистки:

— Станция!

Килин от неожиданности так растерялся, что слова не мог вымолвить, только сопел в мокрую от потных рук трубку.

— Станция! — повторила телефонистка таким тоном, словно на своем коммутаторе только и дожидалась, чтобы ей позвонили из Красного.

— Девушка! — очнулся и закричал Килин, боясь, как бы она не исчезла. — Миленькая, будь добра.. со вчерашнего звоню... Борисова... срочно нужен...

— Соединяю, — просто сказала девушка, и в трубке так же волшебным образом возник мужской голос:

— Борисов слушает.

— Сергей Никанорыч, — заторопился парторг. — Килин беспокоит, из Красного. Мы тебе с Голубевым звоним, связи нет, народ ждет, работа стоит, время горячее, не знаем, что делать.

— Недопонял, — удивился Борисов. — Недопонял, чего не знаете. Митинг провели?

— Да нет же.

— Почему?

— Почему? — переспросил Килин. — Не знали, как быть. Дело, сам понимаешь, ответственное, а указания нет...

— Теперь допонял. — Голос Борисова иронически завибрировал. — А ты, если по малой нужде идешь, ширинку сам расстегиваешь или тоже указания дожидаясь?

Борисов обрушил на плешистую голову Килина весь запас своего сарказма, как будто сам минуту назад не звонил по всем телефонам в надежде на то же спасительное указание.

— Ну ладно, — сменил он наконец гнев на милость. — Надо провести стихийный митинг в свете выступления товарища Молотова, и как можно быстрее. Собери народ...

— Народ давно собрался, — радостно доложил Килин и подмигнул председателю.

— Ну вот и хорошо, — замурылкал Борисов. — Хорошо... — повторил он уже не столь уверенно. И спохватился: — Недопонял!

— Чего недопонял? — удивился Килин.

— Недопонял, как собрался народ, какой народ, кто собирал.

— Никто не собирал, — сообщил Килин. — Сами собрались. Поверишь? Как услышали радио, так тут же сбежались: мужики, старики, бабы с ребятишками...

Говоря это, Килин почувствовал, что Борисову чем-то не нравится его сообщение (оно и самому Килину уже чем-то не нравилось), и, не закончив своей торжественной фразы, он вдруг умолк.

— Так, — произнес Борисов раздумчиво. — Так-так. Сами, значит, услышали, сами сбежались... Вот что, милый, ты подожди меня и трубочку пока не бросай...

Опять в трубке послышались шорохи, треск, музыка и прочие ясные и неясные звуки.

— Ну что? — шепотом спросил председатель.

— Пошел к Ревкину согласовывать, — прикрыв трубку ладонью, высказал догадку парторг. Он несколько раз менялся в лице, краснел, бледнел и грязным платком промокал угловатую плешь.

Два раза врывалась телефонистка:

— Говорите?

— Говорим, говорим, — поспешно отвечал Килин. Наконец в трубке что-то отдаленно грюкнуло, пошлепало, и снова влез вкрадчивый голос Борисова:

— Послушай, друг ситцевый, у тебя партбилет с собой?

— А как же, Сергей Никанорыч, — заверил Килин. — Завсегда, как положено, в левом кармане.

— Вот и ладно, — одобрил Борисов. — Садись на лошадку и дуй торопливо в райком. И билет захвати.

— Зачем? — не понял Килин.

— На стол положишь.

Такого оборота Килин все-таки не ожидал. Он посмотрел на председателя, который как раз в этот момент, пользуясь важностью разговора, двинулся к сейфу, но остановился на полдороге и фальшиво ответил взглядом на взгляд, как бы проявляя должную заинтересованность.

— За что же, Сергей Никанорыч? — спросил Килин упавшим голосом. — Да чего ж я такого наделал?

— Анархию развел, вот чего ты наделал! — Борисов ронял слова, как свинцовые капли. — Да где же это вида-

но, чтобы народ сам по себе собирался без всякого контроля со стороны руководства?

У Килина внутри все остыло.

— Так ведь, Сергей Никанорыч, ты ж сам... вы ж сами говорили: стихийный митинг...

— Стихийей, товарищ Килин, нужно управлять! — отчеканил Борисов.

В трубке что-то щелкнуло. Опять заиграла музыка, и неизвестная женщина сказала неизвестному Мите, что одеяло она ему прощает, а самовар пусть достает где хочет.

— Алло, алло! — закричал Килин, думая, что прервали. Но телефонистка вежливо объяснила, что товарищ Борисов свой разговор закончил. Килин медленно положил на рычаг скользкую трубку и перевел дыхание. «Это ж надо, — думал он сокрушенно, — вроде все делал как надо, а чуть не вляпался в политическую ошибку. А ведь все так просто и понятно. Мог и сам своим умом догадаться: стихией нужно управлять. Если даже она сама движется в желательном направлении, ее надо возглавить, иначе она может решить, что она вообще может двигаться сама по себе. Вот он в чем корень! Это еще хорошо, что Борисов сказал «товарищ». А мог бы сказать «гражданин». Политическую ошибку допустить легко. Исправить трудно. Как говорится, для исправления таких ошибок у нас есть исправительные лагеря».

— Ну что он сказал? — дошел до Килина вопрос председателя.

— Кто? — спросил Килин.

— Борисов, кто ж еще. Указание дал?

— Указание? — переспросил иронически Килин. — А ты, когда по малой нужде идешь, тоже указания спрашиваешь? Действовать надо, вот и все указания.

С этими словами Килин и вышел тогда на крыльцо. А председатель, пользуясь случаем и не дожидаясь никаких указаний, снова нырнул головой в сейф и долго из него не выныривал.

5

Управлять стихией — дело, конечно, трудное, но для многих привычное.

После того как толпа, хотя и с видимой неохотой, но все-таки рассосалась, бригадиры Шикалов и Талдыкин вернулись к конторе и сидели на завалинке, ожидая дальнейших распоряжений начальства.

— И что это за народ такой! — еще не остыв от недавних усилий, удивился Талдыкин. — Ты его гонишь, а он не идет! Каждый упирается как баран, и ни с места! Ведь, я так понимаю, если начальство говорит «разойдись» — разойдись. Начальство лучше знает, что делать, с нашими головами туды не посодют. Так нет ведь, каждый еще норовит свой гонор показать, и каждый из себе прынца строит.

— Что да, то да, — рассудительно согласился Шикалов. — Вот раньше, когда я еще молодой был, мы таких-то гоняли винтовками. — Он задумался и усмехнулся, вспомнив отдаленный момент своей биографии. — Помню, еще в шашнадцатом годе служил я в Петербурде хельдхебелем. А народ там проживал такой, что работать не хотят, а с утра пораньше берут тряпочки разные, на их фулюганские слова пищут, потом на палки нацепют и идут на улицу — грамотность свою показать. И вот, бывало, отберешь у его эту тряпку да еще скажешь в сердцах: «Ах ты, фулюган эдакий, да и что же ты такое делаешь?» А ён говорит: «Это не я, говорит, фулюган, а ты, говорит, фулюган, это не я, говорит, у тебе тряпку цапаю, а ты у мене цапашь». А я говорю: «Это не я, говорю, фулюган, а ты, говорю, фулюган, потому что я, говорю, с ружом, а ты без».

— И какие ж они слова на тех тряпках писали? — заинтересовался Талдыкин, надеясь, что матерные.

— Слова-то? — переспросил Шикалов. — Я ж тебе говорю: фулюганские. Ну там «долой Ленина», «долой Сталина» и протчие.

Тут Талдыкин засомневался.

— Погодь, — остановил он Шикалова. — Чтой-то ты не то говоришь. В шашнадцатом годе Ленина и Сталина еще и не было вовсе. То есть они-то, конечно, были, но государством рабочих и крестьян покуда не управляли.

— Да? — спросил Шикалов.

— Да, — ответил Талдыкин.

— Выходит дело, Ленина не было, Сталина не было. А кто ж тогда был?

— Известно кто, — сказал Талдыкин уверенно. — В шашнадцатом годе был царь Николай Александрович, император и самодержец.

— Глупой ты, Талдыка, — посочувствовал Шикалов. — Не зря у тебя такая фамилия. Бригадир, а калганом своим сообразить не можешь, что Николай, он был опосля. А до его еще был Керенский.

— Даже противно слушать, — выходил из себя Талдыкин. — Керенский разве ж царь был?

— А кто ж?

— Пример-министр.

— Путаешь, — вздохнул Шикалов. — Все на свете перепутал. Как Керенского звали?

— Александр Федорович.

— Во. А царь был Николай Александрович. Стало быть, евоный сын.

У Талдыкина кругом пошла голова. Хотел возразить, да не знал что.

— Ну хорошо, — сказал он. — А когда же, по-твоему, была революция?

— Кака революция?

— Октябрьская. — Талдыкин напирал на то, что было ему известно доподлинно. — Она была в семнадцатом годе.

— Это я не знаю, — решительно мотнул головой Шикалов. — Я в семнадцатом тож в Петербурде служил.

— Так она ж в Петербурде и была, — обрадовался Талдыкин.

— Нет, — убежденно сказал Шикалов. — Может, где в другом месте и была, а в Петербурде не было.

Последнее сообщение окончательно сбило с толку Талдыкина. До сих пор считал он себя знакомым с историей вопроса, знал, что, где и в какой последовательности происходило, но Шикалов осветил все настолько по-новому, что Талдыкин подумал, подумал и, сводя все на нет, сказал неуверенно:

— А сейчас, я слышал, эти самые демонстрации вовсе и не разгоняют. Племяш мой прошлый год в Москву попал на Первое мая, и вот, говорит, идет через площадь народу целая масса, кричат «ура», а Сталин стоит на Мамзолее и ручкой помахивает.

Из окна высунулся Килин и велел Шикалову подняться в контору. Шикалов поднялся. В председательском кабинете кипела работа. От табачного дыма было темно, как в бане. Примостившись на краешке письменного стола, парторг карандашом писал, кому за кем выступать, сразу определяя, где, какие (бурные, продолжительные или простые) должны быть аплодисменты. Написанное подвигал председателю, а тот, хотя и одним пальцем, но довольно бойко перестукивал все на машинке.

— Ну, что скажешь, Шикалов? — спросил Килин, не отрываясь от своего сочинения.

— Да вот. — Шикалов подошел к столу. — Все, стало быть, сделано, как велели.

— Значит, всех разогнали?

— Всех, — подтвердил бригадир.

— Всех до одного?

— До одного. Талдыка один остался. Прогнать?

— Пока не надо. Возьми его в помощь, и чтоб через полчаса все, как один человек, снова были перед конторой. Кто не придет — перепишешь. — Парторг, подняв голову, посмотрел в глаза бригадира. — А кто откажется, будет сваливать на хворость или еще чего — двадцать пять трудодней штрафа, и ни грамма меньше. Ты меня понял, Шикалов?

— Угу, — мрачно кивнул Шикалов. — Можно сполнять?

— Валяй, — разрешил парторг, снова утыкаясь в письмо.

Шикалов вышел. Талдыкин сидел на крылечке, курил.

— Пошли, — на ходу коротко бросил Шикалов.

Талдыкин встал и пошел рядом. Пройдя шагов пятьдесят, догадался спросить:

— Куды идем?

— Народ обратно сгонять.

Нельзя сказать, чтобы Талдыкин прямо рот раскрыл от удивления или еще чего-нибудь, но все же любопытствовал:

— А почто ж разгоняли?

Тут Шикалов остановился и посмотрел на Талдыкина. Там в конторе он несколько не удивился, ибо вообще не умел удивляться. Сказано разогнать — разо-

гнал. Приказано согнать обратно — пожалуйста. Вопрос товарища заставил его задуматься, может быть, первый раз в жизни. Действительно, а зачем же тогда разгоняли? Почесал Шикалов в затылке, подумал и догадался:

— А я понял почто. Чтоб место освободить.

— Для кого?

— Как для кого? Для народа. Чтоб было куда сгонять.

Тут уж Талдыкин не выдержал и возмутился.

— Во, — покрутил у виска пальцем. — Я, может, и глупой, но у тебя-то калган и вовсе не варит.

— А у тебе варит?

— А у мене варит.

— Ладно, пушай, — согласился Шикалов. — Пушай у тебе варит. Тогда ты мне разобъясни, для чего народ разгоняли?

— Для удовольствия, — сказал Талдыкин уверенно.

— Ну и ляпнул! — покрутил головой Шикалов. — Для кого же здесь удовольствие?

— Для начальства, — сказал Талдыкин. — Для него народ вроде бабы. Ежли ты ее попросил, а она тут же тебе согласилась, то интересу никакого в ней нет. А вот ежли она сперва попротивилась, побрыкалась, а уж после ты ее взял, то в этом и есть самое удовольствие.

— Это ты правильно говоришь, — оживился Шикалов. — Помню, в Петербурде у меня была одна дамочка...

Что за дамочка была у Шикалова и какая между ними приключилась история, автор, за давностью лет, признать, не помнит, но что известно доподлинно, кворум возле крыльца конторы через некоторое время был восстановлен. И действительно (Талдыкин был прав), народ в этот раз понемногу сопротивлялся, и приходилось на каждого воздействовать по отдельности (кому в шею, кому под зад). Но ведь так и должно быть (и в этом прав был Талдыкин): без сопротивления у победителя нет удовольствия от победы.

6

Митинг — это такое мероприятие, когда собирается много народу и одни говорят то, что не думают, а другие думают то, что не говорят.

Вышли на крыльцо председатель с парторгом, и началась обычная процедура. Парторг объявил митинг открытым и предоставил слово председателю. Председатель предложил выбрать почетный президиум и предоставил слово парторгу. Так они несколько раз поменялись местами, и, когда один говорил, другой хлопал в ладоши, призывая к тому же и остальных. Остальные хлопали вежливо, но торопливо, надеясь, что дальше им скажут что-нибудь по существу.

— Товарищи! — начал парторг свою речь и услышал рыдания. Он недовольно глянул вниз, кто, мол, там нарушает, и увидел лица людей.

— Товарищи! — повторил он и почувствовал, что не может сказать дальше ни слова. Только сейчас до него дошло со всей очевидностью, что именно произошло, какое горе свалилось на всех и на него в том числе. И на фоне этого горя все его недавние страхи и хитрости показались ему ничтожными. И ничтожным, пустым и глупым казался ему сейчас текст, написанный у него на бумажке. Что он может сказать этим людям, которые от него сейчас ждут таких слов, которых он даже не знает? Еще минуту назад он сам казался не таким, как другие, представителем некой высшей силы, которая знает и понимает, куда, что и как должно двигаться. Сейчас он не знал ничего.

— Товарищи! — начал еще раз и беспомощно посмотрел на председателя.

Председатель кинулся в контору за водой. Графина в конторе не было, но был бачок с краном и кружкой на цепочке. Председатель наступил на цепочку ногой и оторвал кружку с половиной цепочки. Когда кружка оказалась перед Килиным, он ухватился за нее двумя руками и, пытаясь прийти в себя, долго пил маленькими глотками.

— Товарищи! — начал он в четвертый раз. — Вероломное нападение фашистской Германии...

Произнеся первую фразу, он почувствовал облегчение. Постепенно он овладевал текстом, и текст овладевал им. Привычные словосочетания притупляли ощущение горя, уводили сознание в сторону, и вскоре язык Килина болтал уже что-то сам по себе, как отдельный и не-

зависимый член организма. Отстоим... ответим ударом на удар... встретим героическим трудом...

Плач в толпе прекратился. Произносимые Килиным слова колебали барабанные перепонки, но в души не проникали. Мысли людей возвращались к обычным заботам. Из толпы выделялся только один Гладышев, который стоял у самого крыльца и, широко разведя руки для предстоящих аплодисментов, внимательно следил за развитием мысли оратора.

— Правильно! — убежденно восклицал он в нужных местах и кивал головой в широкополой соломенной шляпе.

Чонкин стоял позади всех и, положив подбородок на ствол винтовки, пытался вникнуть в суть речи Килина, который, пересказав выступление Молотова, перешел от общего к частному — к конкретным делам родного колхоза. За последнее время колхоз достиг новых небывалых успехов. В сжатые сроки, с применением передовых методов агротехники был произведен сев зерновых и бобовых культур. Парторг сообщил, сколько чего посеяно и на какой площади, сколько посажено картофеля и других овощей, сколько вывезено на поля навоза и химических удобрений. Заглядывая в свою бумажку, он сыпал цифрами, как арифмометр.

Чонкин ел парторга глазами, но какая-то неясная мысль мешала ему сосредоточиться и сопоставить все эти цифры. Он беспомощно поднял голову, оглянулся и вдруг увидел: вдалеке, по нижней дороге вдоль речки гнедая лошадь устало тащила телегу, в которой поверх товара сидела Раиса, продавщица из магазина сельпо. И, увидев эту отдаленную картину, Иван вдруг понял, что то, чего он никак не мог вспомнить, каким-то образом связано не то с Раисой, не то с телегой, не то с лошады. Осененный пробуждающимся воспоминанием, стал он сквозь толпу продираться к своему соседу и другу, который с широко разведенными для аплодисментов руками стоял впереди всех, на самом виду.

— Слышь, что ли, сосед, — добравшись до Гладышева, Чонкин толкнул его под локоть, — я вот тебя спытать хочу, а как же лошадь?

— Какая лошадь? — недоуменно повернулся Гладышев.

— Ну, лошадь, лошадь, — сердился Чонкин на непонятливость Гладышева. — Скотина на четырех ногах. Она ж работает. А почему ж в человека не превращается?

— Тьфу ты, мать твою за ногу! — Гладышев даже плюнул в досаде и как раз не вовремя, потому что раздались общие аплодисменты. Спохватившись, селекционер быстро заплескал ладонями, преданно глядя на оратора, чтобы плевков его не отнесли к тому, что говорилось с трибуны.

Тем временем оратор закончил положительную часть своего выступления и перешел к критической части.

— Но, товарищи, — сказал он, — наряду с большими успехами в деле повышения урожайности, есть у нас и отдельные недостатки, которые, если их собрать вместе, выглядят довольно, я бы сказал, зловеще. Например, Горшкова Евдокия постоянно задерживает уплату подоходного налога и налога по самообложению. Решетов Федор допустил потраву личной скотиной колхозных угодий, за что был оштрафован правлением на сорок трудодней. Стыдно, товарищи, стыдно. Уж куда далеко ходить, когда даже наш бригадир товарищ Талдыкин проявил нетоварищеское отношение к женщине, а именно на Иванов день, находясь в нетрезвом состоянии, ударил жену оглоблей. Талдыкин, было такое дело или не было? Стыдно. И нам за тебя стыдно. Ну, провинилась перед тобой жена, пошлепай ее по заднице (Оживление. Смех.), ну ремешок употреби, никто ничего не скажет. А оглобля — вещь довольно тяжелая.

Теперь, товарищи, перехожу к следующему вопросу. Этот вопрос для нас больной, очень больной. Я имею в виду невыработку минимума трудодней. По этому вопросу у нас сложилась такая картина, что хоть хватайся за голову и кричи не своим голосом. У нас, к сожалению, есть еще отдельные люди, которые разделяют: это мое, а это колхозное, и не хотят работать, выставляя напоказ свои старости и болезни. И тут первое место сзади занимает товарищ Жикин Илья. Он установил по этому делу, можно сказать, своеобразный рекорд, выработав с начала года и до сего дня ноль целых и семьдесят пять сотых одного трудодня. (Оживление. Смех. Возглас Гладышева: «Позор!») Я, конечно, понимаю, что Жикин Илья являет-

ся инвалидом Гражданской войны, не имея двух ног. Но теперь он этими своими ногами спекулирует. Руководство колхоза и партийная организация состоит не из зверей, и мы можем войти в положение. Никто, товарищи, Жикина не заставляет работать кулером либо на сенокосе. Но на прополке вполне можно работать. Сел в борозду и потихоньку ползай от кусточка к кусточку, выдирая травку и выполняя минимум трудодней. И нечего совать нам в лицо свои ноги, которых нет. (Возглас Гладышева: «Правильно!»)

Оратор помолчал, оценивая впечатление, произведенное на участников митинга, и не спеша продолжал:

— Вот, товарищи, прочитал я недавно книгу Николая Островского «Как закалялась сталь». Это очень хорошая книга, и я советую каждому ее прочитать, кто грамотный. Там рассказывается о человеке, который, пройдя сквозь огни и воды революции и Гражданской войны, остался не то что без ног и без рук, но еще и ослеп на оба глаза и, прикованный к постели болезненными цепями, нашел в себе силу и мужество служить своему народу и написал книгу. От вас никто этого не требует. Вы книгу не напишете. Но почитать советую. И в частности, вам, товарищ Жикин, лично. Здесь он или нет? (Голос Шикалова: «Нет».) Вот видите, не уважил, не пришел даже по такому случаю. Вы скажете, он без ног. Я и сам это знаю. Но когда ему нужно, он ездит на своих колесиках не хуже, чем другие на велосипеде. Вот Иван Тимофеевич не даст соврать, мы однажды за Жикиным бежмя бежали, а догнать не сумели. Так можно было сюда приехать на колесиках? Можно. Человек он, конечно, заслуженный, и никто этих заслуг у него не отнимает. Но прошлые заслуги никому не дают права потчевать на лаврах, хотя и без ног. (Возглас Гладышева: «Правильно!»)

Закончив критику недостатков, парторг снова уткнулся в бумагу, потому что дальше следовала торжественная заключительная часть, в которой не стоило делать ошибок.

Чем дольше парторг говорил, тем большее беспокойство отражалось на лице председателя. Толпа, стоявшая перед ним, заметно редела. Сперва скрылась за углом конторы баба Дуня. За ней через некоторое время ушла и

пропала Нинка Курзова. Это не укрылось от глаз Тайки Горшковой, которая, толкнув локтем своего мужа Мишку, показала ему глазами на Нинку. Аплодируя очередной фразе оратора, Тайка с Мишкой стали передвигаться к углу конторы. Когда в том же направлении двинулся Степан Луков, председатель молча показал ему кулак. Луков остановился. Но стоило Ивану Тимофеевичу на миг обернуться, как среди участников митинга не осталось ни Лукова, ни Фролова, и его, Голубева, жена тоже испарилась. Председатель поманил пальцем беспокойно озиравшегося Шикалова, тот на цыпочках поднялся на крыльцо, выслушав отданное шепотом приказание, покивал головой, исчез и больше не появлялся.

Всего этого не замечал парторг Килин, читая заключительную часть своей речи. Но когда, дойдя до конца, он поднял голову навстречу ожидаемым аплодисментам, то увидел только спины своих слушателей, дружно удалявшихся в неизвестном направлении. На пыльной площади перед конторой стоял один только Чонкин. Опершись подбородком на ствол винтовки, он предавался печальным мыслям о происхождении человека.

7

Продавщица Раиса сидела у себя в магазине, размышляя над непонятным. Вчера она получила в райпотребсоюзе партию товара и, решив использовать лошадь, поехала сразу не домой, а совсем в другую сторону, к золовке, жившей за двенадцать километров от Долгова.

У золовки она выпила красного вина, послушала патефон, сама попела, легла поздно и поздно встала. Потом, пока позавтракала (опять с красным вином), пока запрягла, часу в двенадцатом только выехала. В пути пробыла долго, никого не встретив. И наконец прибыла в деревню, ничего не ведая относительно происходящих в мире событий. Правда, при въезде в деревню она видела большую толпу возле конторы, но не придавала увиденному значения, подумав: «Может, просто так».

Подъехав к магазину, Раиса разгрузила товар и стала раскладывать по полкам. Вот тут-то и появилась перед ней баба Дуня. И попросила продать ей пятьдесят кусков мыла.

— Сколько? — оторопела Раиса.

— Пятьдесят.

— Да куды ж тебе столько? — недоумевала Раиса.

— Да ведь, Раюшка, когда такие дела творятся, — заискивающе сказала бабка, — надо ж и запастись.

— Да какие ж такие дела?

— Да ведь... — Баба Дуня хотела сослаться на вероломное нападение, но, вовремя сообразив, что Раиса не имеет об этом понятия, стала бормотать что-то насчет прибывающих к ней гостей. Раисе такое объяснение не показалось удовлетворительным.

— На что ж гостям столько мыла? — не могла она дойти своим умом до сути. — Ну два куска, ну три, ну десять. Но полсотни на что ж?

— Мало ли, — уклончиво покачала головой баба Дуня, но отступить вовсе не собиралась.

— Коли уж тебе так надо, бери, — сдалась Раиса. Она вытащила из угла распечатанный ящик с мылом, в нем оказалось всего тридцать восемь кусков, из них два Раиса взяла себе.

— А мешочка не дашь? — спросила баба Дуня, проводя отложенные два куска сожаляющим взглядом.

— А возвернешь? — спросила Раиса.

— Как же не возвернуть! — Баба Дуня даже обиделась. — Мне, Раюшка, чужого не надо, чай, не воровка.

Раиса помогла уложить купленное в грязный мешок и выбросила на прилавок.

— Еще чего?

— Сольцы бы, — помявшись, вздохнула бабка.

— Сколько?

— Да пудика полтора.

— Ты что, бабка, одурела, что ль? Что ты с ей будешь делать-то, с солью?

— Капустки засолить надо, огурцов, помидоров.

— Какие ж сейчас огурцы да помидоры? Может, ботву засолишь?

— Можно и ботву, — согласилась баба Дуня. — А потом, оно ж знаешь как бывает. Нынче соль есть, а завтра нету, либо соль есть — денег нет. Так что ты уж не серчай, а отпусти мне сольцы-то.

— Ну ладно, — сдалась Раиса. — Пуд дам, а больше и не проси.

— Ну давай хоть пуд, — уступила и старуха, предвидя, что время ее на исходе.

Сыпать соль было некуда. Пришлось выложить мыло, насыпать соль, потом переложить газетами и сверху набросать мыло.

— Все, что ли? — с надеждой спросила Раиса.

Старуха помялась и нерешительно попросила:

— Спичек бы мне еще.

— Сколько? — тоскливо спросила Раиса. — Тыщу коробков?

— Да ты что, тыщу, — благородно вознегодовала старуха. — Коробков сто, боле не надо.

— Десять дам, — сказала Раиса.

Сошлись на двадцати. Бабка больше спорить не стала, покидала спички в мешок. Раиса, прикинув на счетах, назвала сумму. Баба Дуня запустила руку под трикотажные рейтузы, долго шарила, затем вытащила узелок из грязной цветастой тряпицы, набитый сложенными один к одному рублями. Старуха была не шибко грамотна, но деньги считать умела. Несмотря на это, она выкладывала свои рубли по одному, каждый раз останавливаясь и глядя на Раису в мистической надежде, что та скажет «хватит». Раиса была терпелива и дождалась, пока бабка выложит все, что нужно. На оставшиеся деньги старуха купила два килограмма сухих дрожжей, шесть пачек грузинского чая, две пачки зубного порошка «Утро» и для племянницы маленькую куклу в картонной коробке, на которой было написано: «Кукла Таня № 5 в шляпе».

После этого старуха не стала терять время даром и взвалила мешок на плечо.

— Гляди, бабка, как бы пупок не развязался! — крикнула ей вдогонку Раиса.

— Не бойсь, — ответила бабка и скрылась за дверь.

Не успела Раиса обдумать странное поведение бабы Дуни, как дверь распахнулась, в магазин вбежала Нинка Курзова. Косынка сбилась набок, волосы распатланы, лицо красное. Не поздоровавшись, стала шарить воспаленными глазами по полкам.

— Тебе чего, Нинок? — доброжелательно спросила Раиса.

— Чего? — Нинка стала лихорадочно соображать, что именно ей нужно, но то, что помнилось по дороге, теперь вдруг вылетело из головы.

— Ну а все ж таки?

— Мыло есть? — вспомнила Нинка, чего хотела.

— А много тебе? — осторожно спросила Раиса, покосившись на те два куска, которые оставила для себя.

— Сто кусков, — ляпнула Нинка.

— Да вы посбесились, что ли? — не выдержала Раиса.

— Ну, девяносто, — сбавила Нинка.

— А сто девяносто не хочешь?

— Давай сколько есть, только быстрее, — согласилась Нинка.

— Да где ж я тебе возьму, когда баба Дуня только что все забрала.

— А, баба Дуня!

Нинка кинулась к дверям, но Раиса поспела раньше и загородила собой проход.

— Пусти, — ткнулась в нее Нинка.

— погоди! Нинок, скажи мне, что это вы все за мылом бегете? Чего случилось-то?

На какой-то миг Нинка оторопела и удивленно уставилась на Раису.

— А ты не знаешь, что случилось?

— Не.

— Ну и дура! — сказала Нинка и, оттолкнув Раису, выскочила наружу.

8

Баба Дуня тащила свою добычу. Ноша была не легкая. Одной соли пуд да мыла тридцать шесть кусков по четыре-ста граммов каждый. Плюс к тому два килограмма дрожжей, зубной порошок, кукла Таня № 5 (да еще в шляпе) и на мешок килограмм надо накинуть. Что ни говори, тяжесть получилась порядочная. Чем дальше, тем чаще старуха отдыхала, прикладываясь мешком к близлежащим заборам. Однако ж, говорят, своя ноша не тянет. И сознание удачного приобретения прибавляло сил. И вот, когда, отдохнув последний раз, баба Дуня была уже рядом со своей избой, когда осталось ей шагов, может быть, десять, от силы пятнадцать, кто-то сзади резко дернул мешок.

Баба Дуня обернулась и увидела Нинку Курзову.

— Бабка, скидавай мешок, будем делиться, — быстро сказала Нинка.

— Ась? — В моменты личных катаклизмов баба Дуня сразу гложла на оба уха.

— Давай делиться, — повторила Нинка.

— А кто ж у меня будет, Нинушка, телиться? — посетовала старуха. — Я корову свою еще запрошлый год продала. Мне ее не прокормить. А коза зимой окотилась, а весной околела. — Бабка сокрушенно качнула головой и улыбнулась.

— Ты мне, бабка, своей козой голову не дури, а давай мыло, — сказала Нинка.

— Нет, — отказалась бабка, — полы не мыла. Не успела.

— Бабка, — устало сощурилась Курзова. — Давай делиться по-хорошему. Не то все отберу. Поняла?

— Не подняла, — вздохнула бабка. — Нешто с моими силами...

— Бабка! — начиная выходить из себя, Нинка отпустила мешок, ухватила старуху за грудки и закричала ей в самое ухо: — Ты, бабка, болтай что хошь, а мыло давай. Что же тебе все одной? У меня тоже семья и дети... скоро будут. Скидавай мешок, не тяни.

— А, ты насчет мыла! — против желания догадалась старуха. — А ты поди к Раисе, у ней есть.

— Врешь! — крикнула Нинка.

— Ты не кричи, — обиделась бабка, — я, чать, не глухая. Надо тебе, попроси — дам. А как же. Все ж таки соседи. Ежли мы друг дружке помогать не будем, то кто ж?

Бабка опустила мешок на землю и, испытывая Нинкино терпение, долго его развязывала непослушными пальцами. Потом запустила внутрь руку и стала шарить, ощупывая куски. Ей хотелось выбрать кусок поменьше, но каждый следующий казался ей больше предыдущего. Наконец она вздохнула, вытащила один кусок и положила его перед собой на траву. И посмотрела печальным взглядом. Конечно, это был слишком большой кусок, и старуха мысленно резала его пополам, но воображение Нинки рисовало совсем иную картину. Баба Дуня еще раз вздохнула и стала завязывать мешок.

— Погоди, бабка! — Нинка опять ухватила за мешок. — Ты это брось, давай дели по-честному. — Сколько там есть, половину тебе, половину мне. Не то все отберу.

— Нинок, ты что? — всерьез забеспокоилась бабка. — Обижаешь старуху. Я ведь тебя еще маленькую в коляске качала. Ты уж лучше пусти, не то закричу.

— Кричи, кричи! — сказала Нинка и толкнула старуху в грудь.

— Батюшки! — всхлипнула баба Дуня, валясь на спину. Не обращая на нее никакого внимания, Нинка схватила мешок и кинулась прочь. Пробежав несколько шагов, остановилась, вернулась, подцепила с земли тот кусок мыла, который выкладывала баба Дуня, и побежала обратно. Но тут кто-то схватил сзади мешок.

— Ух ты, вражина! — замахнулась Нинка, думая, что это баба Дуня. Но, обернувшись, увидела перед собой Мишку Горшкова, за которым стояла Тайка.

— Не спеши, — улыбнулся Мишка. — Давай поровну.

— Щас поровняю, — сказала Нинка, дергая мешок к себе. — Спешу, аж падаю.

— И-ии! — завизжала Тайка и вцепилась в Нинкины волосы.

— Грабют! — вскрикнула Нинка и двинула Тайке ногой в живот. А из-за огорода Степана Фролова уже надвигалась огромная толпа, во главе ее стремился Плечевой и размахивал над головой колом, выдернутым из чьего-то забора.

9

Когда председатель Голубев, парторг Килин, а за ними и Чонкин прибыли к месту происшествия, глазам их предстало неповторимое зрелище. Участники митинга, сбившись в один клубок, представляли собой многоголовую, многорукую и многоногую гидру, которая гудела, дышала и шевелила всеми своими головами и конечностями, как бы пытаясь вырвать что-то из собственного нутра. Отдельные люди были заметны частично и лишь в перепутанном виде. У председателя колыхнулись на голове редкие волосы, когда он увидел у вылезавшего из кучи Степана Фролова женские груди, которые при дальнейшем рассмотрении оказались принадлежащими Тай-

ке Горшковой. Две разведенные в стороны ноги в парусиновых сапогах стремились втянуться обратно, а третья, с задранной штаниной, босая, торчала вертикально в виде антенны и на ней от щиколотки до колена синела размытая временем бледная татуировка: «правая нога».

Грустная эта картина дополнялась собаками, которые, сбежавшись со всей деревни, носились вокруг общей неразберихи и отчаянно лаяли. Среди них Чонкин, к удивлению своему, заметил и кабана Борьку, который бегал, хрюкал и визжал больше всех, словно пытался показать себя самой главной собакой.

Друга своего и соседа Пладышева Чонкин нашел неподалеку, стоящим над схваткой. Заложив руки за спину, с болью за своих односельчан наблюдал Кузьма Матвеевич вскипевшие страсти.

— Вот, Ваня, тебе наглядное доказательство, от кого произошло это животное, которое горделиво называет себя человеком.

Пладышев посмотрел на Чонкина и грустно покачал головой. Тут гидра выплонула к ногам селекционера полураздавленный кусок мыла.

— Вот из-за чего люди теряют свой облик, — указал Пладышев на предмет всех несчастий и брезгливо поддел его носком сапога.

И пошел прочь, подталкивая объект своего презрения ногами, как бы в научной рассеянности. Но не прошел он и пяти шагов, как сбоку вывернулся какой-то мальчишка, подхватил на бегу этот жалкий кусок и, уклонившись от жестокой руки селекционера, кинулся наутек.

— Вот она, наша молодежь, — сообщил Пладышев, вернувшись к Чонкину, — наша смена и наша надежда. За что боролись, на то и напоролись. На страну нападает коварный враг, люди гибнут за родину, а этот шкет последний кусок рвет у старого человека.

Пладышев тяжело вздохнул и надвинул шляпу на лоб, напрасно ожидая от судьбы очередного подарка.

После минутной растерянности Килин и Голубев вступили в неравный бой с несознательной массой. Посоветовав парторгу зайти с другой стороны, председатель

очертя голову ринулся в свалку и через некоторое время выволоч наружу Николая Курзова в изорванной рубаше с прилипшим к плечу ошметком мыла и головой, убеленной зубным порошком.

— Стой здесь! — приказал ему Иван Тимофеевич и нырнул опять в кучу, но, добравшись до самого дна, нашел там все того же Курзова уже не только в разорванной рубаше, но с расквашенным носом и четким отпечатком чьего-то сапога на правой щеке.

Несмотря на обычную мягкость характера, Голубев рассвирепел. Вынырнув с Курзовым на поверхность, он подвел его к Чонкину и попросил:

— Ваня, будь друг, посторожи. Если что, сразу стреляй, я отвечаю.

Председатель третий раз кинулся к гидре, и она его поглотила.

Курзов, поставленный под охрану, сразу же успокоился, никуда больше не рвался, стоял, тяжело дыша и трогая пальцем распухший нос.

А Чонкин искал глазами Нюру, которая была где-то там, в этой свалке, и нервничал, боясь, что ее задавят. И когда перед ним мелькнуло знакомое платье, Чонкин не выдержал.

— На, поддержи. — Он сунул винтовку Курзову и подбежал к свалке, надеясь, что ему удастся схватить и вытащить Нюру. Тут кто-то сильно толкнул его в бок. Чонкин пошатнулся и оторвал от земли одну ногу, пытаясь восстановить равновесие, но его дернули за другую ногу, и он повалился в общую кучу. Его крутило, как щепку в водовороте. То он оказывался в самом низу, то выплывал наверх, то опять попадал в середину между телами, пахнущими потом и керосином. И кто-то хватал его за горло, кто-то кусал и царапал, и он тоже кусал и царапал кого-то.

Когда он очутился на самом дне и его проволокли затылком по земле и рот засыпали пылью, а глаза зубным порошком, и он, кашляя, чихая, отплеываясь, рванулся обратно, в этот самый момент лицо его утонуло в чем-то мягком, теплом, родном.

— Никак, Нюрка! — всхлипнул он сдавленно.

— Ваня! — обрадовалась Нюра, отпихиваясь от кого-то ногами.

Говорить оба были не в состоянии и лежали, уткнувшись друг в друга, на дне бушевавшей стихии, пока кто-то не заехал Чонкину каблуком в подбородок. Он понял, что пора выбираться, и попятился назад, подтаскивая Ньюру за ноги.

11

— Ну вот, — сказал парторг Килин, держа в руках мешок с остатками ширпотреба. — Теперича дело другое. Теперича вы обратно сберетесь возле конторы, и митинг мы все же закончим. А кто думает не так, тот из этого мешка ничего не получит. Пойдем, Иван Тимофеевич.

Килин перекинул сильно полегчавший мешок через плечо и двинулся первым.

На месте бывшего побоища, сидя в пыли, плакала баба Дуня. Она плакала, обхватив голову черными, кривыми от подагры ладонями. Чуть в стороне лежала растерзанная картонная коробка и отдельно от нее кукла Таня № 5 без шляпы и с надорванной головой.

Плечевой взял старуху под локотки, помог подняться.

— Пойдем, бабка, — сказал он. — Нечего плакать, пойдем похлопаем.

12

Не успели сбиться на прежнем месте, за околицей возник столб пыли и стал быстро передвигаться к конторе. Народ шарахнулся. Столб покружился возле конторы и опал. Из пыли возникла «эмка». Народ удивился, начальство забеспокоилось. Раз «эмка», то не иначе как кто-то из области. В районе даже первый секретарь товарищ Ревкин передвигался исключительно на «козле».

Из «эмки» высыпали какие-то люди с блокнотами и фотоаппаратами. Один подбежал к задней дверце, распахнул ее. Из дверцы выдвинулся сначала огромный зад, обтянутый синим, а затем показалась и вся обладательница зада, крупная женщина в бостоновом костюме, белой блузке и с орденом на левой груди.

— Люшка, Люшка, — сухим листом зашелестело в толпе.

— Здорово, землячки! — громко сказала приезжая и сквозь почтительно расступившуюся публику направилась к крыльцу.

По дороге отдельно кивнула Плечевому, который смотрел на нее иронически:

— Здравствуй, брат!

— Здорово, коли не шутишь, — ответил Плечевой. Тут женщина заметила хилого мужичонку Егора Мякишева, жавшегося в толпе.

— Егор! — Она метнулась в толпу и вытащила Егора на середину. — Что ж ты супругу свою любимую не встречаешь? Аль не рад?

— Да ну, — смутившись, пробормотал Мякишев и потупился.

— А ты не нукай, — сказала Люшка. — Целуй жену, давно не виделись. Только губы сперва оботри, а то опять, я вижу, яйца сырые лопал.

Она наклонилась к Мякишеву и подставила ему сперва одну щеку, потом другую. Мякишев обтер губы грязным рукавом и приложился куда было указано. Люшка поморщилась:

— Табачищем несет, не дай бог. Ну ничего, табачный дух мужеский заменяет. А уж я-то по тебе как скучала, передать не могу. Как-то там, думаю, супруг мой законный поживает? Не скучно ли ему одному в холодной постеле? А может, кого уже приволок, а?

Мякишев, оробев, смотрел на жену не мигая.

— Да на кой ему кого-то волочь, — громко сказал Плечевой. — Когда он с лошадем живет на конюшне.

В толпе кто-то хмыкнул, остальные притихли. Приехавшие с блокнотами переглянулись между собой. Люшка остановилась и уставила на Плечевого тяжелый взгляд.

— Все озоруеть, брат? — спросила она со скрытой угрозой.

— Озорую, — охотно согласился Плечевой.

— Ну-ну, — сказала Люшка. — Пляди, доозоруеться. И, медленно поднявшись по ступеням крыльца, скрылась за распахнутой Килиным дверью.

В кабинете от приезжих гостей стало тесно. Люшка сразу уселась за председательский стол, Килин примос-

тился сбоку, корреспонденты расселись вдоль стен, Голубев встал у сейфа, прижав плечом дверцу.

— Ну что, начальники? — бодрым голосом спросила Люшка. — Как живете?

— Да как живем, — развел руками парторг. — По-простому живем, по-деревенски. С народом вот понемножку воюем.

— А в чем дело? — поинтересовалась Люшка.

— Да так, — уклонился Килин. — Ты про себя расскажи. Все ведь в столице время проводишь. Небось со Сталиным каждый день чай распиваешь?

— Ну, каждый не каждый, а бывает, встречаемся.

— Ну и какой он из себя? — живо спросил Голубев.

— Как тебе сказать... — задумалась Люшка. — Очень простой человек, — сказала она, покосившись на корреспондентов, — и очень скромный. Как прием в Кремле, так обязательно к себе подзовет, поздоровается за ручку:

«Здравствуйте, Люша. Как живете? Как здоровье?» Очень отзывчивый человек.

— Отзывчивый? — живо спросил председатель. — Ну, а как он вообще выглядит?

— Хорошо выглядит, — сказала Люшка и вдруг заплакала. — Трудно ему сейчас. Один за всех за нас думает.

13

Люшка родилась и выросла в бедной крестьянской семье. Летом батрачила, зиму проводила безвылазно на печи, не имея ни валенок, ни штанов. До коллективизации она не могла стать знаменитой дояркой, поскольку полудохлая коровенка, бывшая в хозяйстве, рекордных надоев не давала. Когда же коровенка в результате скудного питания стала и вовсе дохлой, от нее прекратилась всякая польза. К тому же печальному результату могла подойти и Люшкина жизнь, но тут подоспели благодатные перемены. В колхоз Люшка записалась одной из первых. Потом дали ей бывших кулацких коров. Правда, тех надоев, что раньше, коровы уже не давали, но по инерции продолжали доиться обильно. Постепенно Люшка становилась на ноги. Приобулась, приоделась, вышла замуж за Егора, вступила в партию. Вскоре повсюду стали выдвигать передовиков и ударников,

и Люшка по всем данным подошла под эту категорию. В местной и центральной печати появились первые заметки о Люшкиных достижениях. Но настоящий взлет ее начался, когда какой-то корреспондент с ее слов (а может, и сам выдумал) тиснул в газете сенсационное сообщение, что Люшка порывает с дедовским методом доения коров и отныне берется дергать коров за четыре соска одновременно — по два в каждую руку. Тут-то все и началось. Выступая в Кремле на съезде колхозников, Люшка заверила собравшихся и лично товарища Сталина, что с отсталой прежней технологией покончено отныне и навсегда. А на реплику товарища Сталина: «Кадры! Кадры!» — обязалась обучить своему методу всех доярок своего колхоза. «А получится ли у всех?» — лукаво спросил товарищ Сталин. «Да ведь у каждой доярки, товарищ Сталин, по две руки», — бойко сказала Люшка и выставила вперед собственные ладони. «Правильно», — улыбнулся товарищ Сталин и кивнул головой. С тех пор уже и вовсе не видели Люшку в родном колхозе. То она заседает в Верховном Совете, то присутствует на совещании, то принимает английских докеров, то беседует с писателем Лионом Фейхтвангером, то получает орден в Кремле. Пришла к Люшке большая слава. Газеты пишут про Люшку. Радио говорит про Люшку. Кинохроникеры снимают фильмы про Люшку. Журнал «Огонек» на обложке печатает Люшкин портрет. Красноармейцы пишут, хотят жениться.

Совсем замоталась Люшка. Прискачет на день-другой в родную деревню, подергает корову за соски перед фотоаппаратом — и дальше. Сессия в Сельхозакадемии, встреча с писателями, выступление перед ветеранами революции. И от журналистов никакого спасенья. Куда Люшка, туда и они. Для них уже сама Люшка стала не хуже дойной коровы. Строчат про нее статьи, очерки, песни слагают. Да и сама она, совсем ошалев, поверила уже, что все журналисты только для того и созданы, чтобы готовить ей доклады, описывать ее жизнь и фотографировать.

Возникло и ширилось так называемое мякишевское движение. Мякишевки (появилось такое название) брали обязательства, заполонили верховные органы, дели-

лись опытом через газеты и красовались на киноэкранах. Коров доить совсем стало некому.

14

— Ну что с вами делаты! — с досадой обратился к народу парторг. — Вот вы собрались и стоите. И думаете, что организованно стоите. А я отселя, сверху, что-то никакой организованности не замечаю. Я замечаю только, что каждый норовит стать взад, чтобы потом первым бечь к магазину. И вам никому не стыдно. Хоть бы землячку свою постеснялись. Ведь она у нас легендарная. Лично с товарищем Сталиным неоднократно встречалась. А с ней корреспонденты. Они ведь могут про все написать. Я вас, товарищ корреспондент, — обратился он к одному из приехавших, — лично прошу: пропишите и пропечатайте на весь Советский Союз. Пропишите, что в нашем колхозе народ несознательный. Везде сознательный, а здесь нет. Пускай станет им стыдно. Разбредились, растянулись, как стадо, честное слово. А ну-ка, давайте все в кучу, да потеснее. И ежели вы не умеете сами по себе стоять как положено, то я вам скажу так: мужики все возьмитесь за руки, а бабы в середку. Вот и стойте. Хотя так тоже плохо. А хлопать кто будет? Под руки беритесь. Теперь дело другое.

Наведя таким образом порядок, Килин предоставил слово Люшке. Люшка вышла вперед, помолчала немного и начала тихо и по-домашнему.

— Бабы и мужики! — сказала она. — Тяжелое горе обрушилось на нас с вами. Коварный враг напал на нашу страну без объявления войны. А ведь еще недавно притворялись друзьями. Будучи в Москве два года назад, мне довелось видеть ихнего Риббентропа. Правду скажу, не произвел он на меня впечатления. Мужичонка невидный, ну навроде нашего, допустим... — она поискала глазами, с кем бы сравнить, хотя сравнение заготовила загодя, — ...да навроде Степки Фролова, ну, конечно, побашковитей. Улыбается, все на своем шпрехен зи дейч тосты провозглашает, однако и тогда еще мне Климент Ефремович Ворошилов сказал на ухо: «Ты, Люша, не смотри, что он такой приветливый, на самом деле камень за пазухой ох какой держит». И теперь часто вспоминаю

я слова Климента Ефремовича и думаю: да, действительно, камень, булыжник держали эти господа за пазухой. Бабы и мужики! Теперь, когда случилось такое несчастье, нам больше и делать ничего не остается, как сплотиться вокруг нашей родной партии, вокруг лично товарища Сталина. Вот буду в Москве, увижу его, родного, разрешите сказать от вашего имени, что все труженики нашего хозяйства все свои силы отдадут... да не лезь ты в глаза со своим аппаратом, — неожиданно и ко всеобщему удовольствию повернулась она к корреспонденту, снимавшему ее, висая на перилах, — сбоку сымай... все силы отдадут делу повышения урожайности. Все для фронта, все для победы! — Она помолчала, помедлила, собираясь с мыслями. И тихо продолжила: — К вам, бабы, обращение особое. Не сегодня-завтра мужики наши, наши отцы, наши мужья, наши братья уйдут защищать свободу. Война есть война, может, и не каждому удастся вернуться. Но пока они будут там, мы здесь одни останемся. Трудно придется. И робята малые, и в избе надо прибрать, и сготовить, и постирать, и за своим огородом приглядеть, и о колхозном деле не забывать. Хотим мы того или нет, а теперича каждой за двоих, за троих придется работать. И за себя, и за мужиков. И мы это должны выдюжить и выдюжим. Мужики! Идите на фронт, выполняйте свой мужеский долг, защищайте нашу родину от супостатов до последнего. А насчет нас не беспокойтесь. Мы вас заменим...

Люшка говорила просто, доходчиво, и стоявшие внизу то плакали, то улыбались сквозь слезы. Да и сама Люшка несколько раз приложила платочек к глазам. А потом вместе со всеми своими корреспондентами села в «эмку» и, подняв пыль столбом, укатила в свои высокие сферы.

После митинга, как было обещано, поделили соль, спички и мыло. Своя доля досталась и Нюре: полкуска мыла, кулек соли да спичек два коробка. Домой она вернулась — уже вечерело. Чонкин сидел у окна и при помощи шила и суровой нитки (дратвы не было) пытался привести в порядок ботинки.

— Вот. — Нюра выложила на стол свою добычу. — Дали. Чонкин глянул без интереса.

— Может, завтра все же приедут, — сказал он со вздохом.

— Кто? — спросила Нюра.

— Кто, кто! — рассердился Чонкин. — Война идет, а я тут...

Нюра ничего не сказала. Достала из печки гороховый суп, донесла до стола и расплакалась.

— Ты чего? — удивился Чонкин.

— Что ж это ты так на войну-то рвешься? — сквозь слезы сказала Нюра. — Да неужто ж тебе там будет лучше, чем у меня?

15

Гладышеву не спалось. Он тарасил во тьму глаза, вздыхал, охал и ловил на себе клопов. Но не клопы ему спать мешали, а мысли. Они вертелись вокруг одного. Своим глупым вопросом на митинге Чонкин смутил его душу, пошатнул его, казалось бы, незыблемую веру в науку и научные авторитеты. «Почему лошадь не становится человеком?» А в самом деле, почему?

Прижатый Афродитой к стене, он лежал, думал. Действительно, каждая лошадь работает много, побольше любой обезьяны. На ней ездят верхом, на ней пашут, возят всевозможные грузы. Лошадь работает летом и зимой по многу часов, не зная ни выходных, ни отпусков. Животное, конечно, не самое глупое, но все же ни одна из всех лошадей, которых знал Гладышев, не стала еще человеком. Не находя сколько-нибудь удобного объяснения такой загадке природы, Гладышев шумно вздохнул.

— Ты не спишь? — громким шепотом спросила Афродита.

— Сплю, — сердито ответил Гладышев и отвернулся к стене.

Только стал одолевать его сон, как проснулся и заплакал Геракл.

— Ш-ш-ш-шшш-шш, — зашикала на него Афродита и, не вставая, стала качать с грохотом люльку. Геракл не унимался. Афродита спустила ноги с кровати, вынула Геракла из люльки и дала ему грудь. Ребенок успокоился и зачмокал губами. Кормя его, Афродита одной рукой во-

зилась в люльке, должно быть, меняла пеленки. Но когда она опять положила его в люльку, Геракл снова заплакал. Афродита трясла люльку и напевала:

Баю-баюшки-баю
Спи, Геруша, на краю...

Дальше слов она не знала и до бесконечности повторяла одно и то же:

Баю-баюшки-баю
Спи, Геруша, на краю...

...Наконец ребенок уснул. Затихла Афродита, стал засыпать и хозяин дома. Но только он закрыл глаза, как совершенно явственно услышал, что открылась наружная дверь. Гладышев удивился. Неужто он, ложась спать, не запер ее? А если даже и так, то кто бы это мог в столь поздний час, видя, что в окнах нет света, беспокоить людей? Гладышев насторожился.

Может, померещилось? Нет. Кто-то прошел через сени, теперь впотьмах шарил по коридору. Шаги приближались, и вот уже со скрипом растворилась и дверь в комнату. Гладышев приподнялся на локте, напряженно вглядываясь в темноту, и, к своему великому удивлению, узнал в вошедшем мерина по кличке Осоавиахим. Гладышев потряс головой, чтобы прийти в себя и убедиться, что все это ему не чудится, но все было действительно так, и Осоавиахим, который был хорошо знаком Гладышеву, ибо именно на нем Кузьма Матвеевич обычно возил на склад продукты, собственной персоной стоял посреди комнаты и шумно дышал.

— Здравствуй, Кузьма Матвейч, — неожиданно сказал он человеческим голосом.

— Здравствуй, здравствуй, — сознавая странность происходящего, сдержанно ответил Гладышев.

— Вот пришел к тебе, Кузьма Матвейч, сообщить, что теперь стал я уже человеком и продукты более возить не буду.

Мерин почему-то вздохнул и, переступая с ноги на ногу, стукнул копытом в пол.

— Тише, тише, — зашикал Гладышев, — ребенка разбудишь.

Пододвинув слегка Афродиту, он сел на кровати и, чувствуя необыкновенную радость оттого, что ему, может быть, первому из людей пришлось стать свидетелем такого замечательного феномена, нетерпеливо спросил:

— Как же тебе удалось-то стать человеком, Ося?

— Да оно вишь как получилось, — задумчиво сказал Осоавиахим, — я в последнее время много работал. Сам знаешь, и продукты возил со склада, и навозом не брезговал, и пахать приходилось — ни от чего не отказывался, и вот в результате кропотливого труда превратился я наконец в человека.

— Интересно, — сказал Гладышев, — это очень интересно, только на ком я теперь буду продукты возить?

— Ну уж это дело твое, Кузьма Матвеич, — покачал головой мерин, — придется подыскать замену. Возьми хотя б Тюльпана, он еще человеком не скоро станет.

— Почему ж так? — удивился Гладышев.

— Ленивый потому что, все норовит из-под палки. Пока его не ударишь, с места не стронется. А чтоб человеком стать, надо бегать знаешь как? Ого-го-го! — Он вдруг заржал, но тут же спохватился: — Извини, Кузьма Матвеич, дают себе знать лошадиные пережитки.

— Ничего, бывает, — простил Кузьма Матвеевич. — Ну, а интересно мне знать, что ты теперь предполагаешь делать? В колхозе останешься или как?

— Наверяд, — вздохнул Осоавиахим. — Мне тут теперь с моим талантом делать нечего. Подамся, пожалуй, в Москву, профессорам покажусь. Может, с лекциями буду выступать. Эх, Кузьма Матвеич, жизнь для меня теперь только лишь начинается, женился бы, детишек нарожал для дальнейшего прогресса науки, а вот не могу.

— Почему же?

— Еще спрашиваешь, — горько усмехнулся Осоавиахим. — Ты же сам восемь лет назад мне чего сделал? Лишил необходимых для продолжения рода частей организма.

Неудобно стало Гладышеву. Он смутился и даже как будто бы покраснел, хорошо, что темно и не видно.

— Извини, друг Ося, — сказал он искренне. — Если б же ж я знал, что ты человеком станешь, да нешто я бы

позволил. Я-то думал, конь он и есть конь. А кабы ж я знал...

— Кабы знал, — передразнил Осоавиахим. — А конь-то что? Разве ж не живое существо? Разве ж у него можно отнимать последнюю радость? Мы ж в кино не ходим, книжек не читаем, только одно и остается, а ты ножом...

Насторожился Гладышев. Что-то не то говорит этот Осоавиахим. Еще не успел человеком стать, а уже критикует. Достижение, конечно, значительное с биологической точки зрения, но если придать этому делу политическую окраску, то превратиться лошади в человека еще полдела. Главное, в какого человека — нашего или не нашего. И, проявив вовремя должную бдительность, задал Гладышев мерину вопрос, что называется, «на засыпку»:

— А вот ты мне скажи, Ося, ежели тебя, к примеру, на фронт возьмут, ты за кого воевать будешь — за наших или за немцев?

Посмотрел на него мерин с сочувствием, помотал головой: глупый, мол, человек.

— Мне, Кузьма Матвеич, на фронт идтить никак невозможно.

— Почему же это тебе невозможно? — вкрадчиво спросил Гладышев.

— А потому, — рассердился мерин, — что мне на спусковой крючок нажимать нечем. У меня пальцев нет.

— Вот оно что! — хлопнул себя по лбу Гладышев и проснулся.

Открыл глаза, никак не может понять, куда же девался мерин. Обстановка в комнате прежняя, и он, Гладышев, лежит в своей кровати на пуховой перине, прижатый Афродитой к самой стене. Навалилась она на него всей своей тяжестью, причмокивает, посвистывает во сне, да с таким аппетитом, что даже противно. Жарко, душно. Гладышев двинул жену плечом — не сдвинул. Двинул второй раз — с тем же успехом. Рассердился, уперся в стену руками и ногами и как толкнул Афродиту задом, так она чуть с кровати не свалилась, вскочила.

— А? Что? — ничего не может понять

— Слышь, Афродита, — шепотом спросил Гладышев, — а куды мерин-то подевался?

— Какой мерин? — Афродита трясла головой, пытаясь прийти в себя.

— Да мерин же, Осоавиахим, — досадовал Гладышев на непонятливость супруги.

— О господи! — пробормотала Афродита. — Болтает бог знает что. Мерина какого-то надумал. Спи себе.

Она перевернулась на живот, уткнулась в подушку и тут же уснула снова.

Гладышев лежал, тараща глаза в потолок. Сознание постепенно возвращалось к нему, и наконец он понял, что мерин приходил к нему во сне. Гладышев был грамотным человеком. Он читал книгу «Сон и сновидения», которая помогла ему дать его сегодняшнему сну правильную оценку. «Вчера наслушался от Чонкина глупостей, вот и приснилось», — думал он про себя. Но какая-то странная мысль, не выражавшаяся словами, сверлила его и мучила, он никак не мог понять, что это значит. Заснуть больше не мог. Лежал, ворочался, а как только за окном едва забрезжило, перелез через Афродиту и задумчиво стал натягивать на себя кавалерийские галифе.

В это утро Нюра проснулась раньше Ивана, еще затемно. Поворочалась, поворочалась, делать нечего, решила встать. Корову доить было рано, надумала до свету сходиться на речку за водой. Взяла в сенях ведра и коромысло, открыла дверь и обмерла — на крыльце кто-то сидит.

— Кто это? — спросила она с испугом и дверь на всякий случай притянула к себе.

— Не бойся, Анна, это я, Гладышев.

Нюра удивилась, приоткрыла дверь снова:

— Чего это ты сидишь тут?

— Да так, — неопределенно ответил Гладышев. — Твой еще не проснулся?

— Куды там, — засмеялась Нюра, — спит как сурок. А чего?

— Дела есть. — Гладышев уклонился от прямого ответа.

— Может, разбудить? — Нюра уважала соседа как ученого человека и считала, что он по зряшному делу беспокоить не станет.

— Да нет, не стоит.

— А чего ж не стоит? Я разбужу. Пушай встает. А то как ночь, так на войну рвется, а как утро, так не добудишься.

Гладышев особо не возражал, потому что соображение, которое хотел он сообщить своему другу, хотя и не носило важного характера, однако было таким, которое трудно держать при себе.

Через минуту на крыльцо вышел Чонкин в одних кальсонах.

— Звал, что ли? — спросил он, почесываясь и зевая.

Гладышев медлил. Он подождал, пока Нюра возьмет ведра и отойдет на приличное расстояние, и только после этого, смущаясь, что поднял человека из-за такой малости, неуверенно заговорил:

— Вот ты вчера насчет лошади спрашивал.

— Насчет какой лошади? — не понял Иван.

— Ну вообще, почему, мол, она человеком не стала.

— А-а... — Иван вспомнил, что в самом деле вчера был какой-то такой разговор.

— Так вот, — с гордостью сообщил Гладышев. — Я понял, почему лошадь не становится человеком. Она не становится человеком, потому что у ней пальцев нет.

— Эка, удивил, — сказал Чонкин. — Это я с малых лет знаю, что у лошади нет пальцев.

— Да я тебе не о том. Я говорю не то, что у ней нет пальцев, а то, что она не становится человеком, потому что у нее нет пальцев.

— А я тебе говорю — это всем известно, что у лошади нет пальцев.

Тут они заспорили, как часто люди спорят между собой, доказывая один одно, а другой другое, не пытаясь понять собеседника, и чуть было даже не разругались, но на крыльцо своей избы вышла в нижнем белье Афродита и позвала мужа завтракать. Не доспорив, Кузьма Матвеевич пошел домой. На столе стояла шипящая, еще только с жару, яичница с салом. Гладышев придвинул к себе сковородку, сел на лавку и тут же почувствовал под задом что-то не то чтобы острое, но твердое и неровное. Он вскочил и обернулся. На лавке лежала лошадиная подкова.

— Что это? — строго спросил он, показывая подкову жене.

— А откуда мне знать? — Она пожала плечами. — Вон у порога валялась. Я сперва хотела выбросить, а потом подумала, может, нужна...

Договорить ей не удалось. Гладышев схватил подкову, выскочил из-за стола и как был в расхристанной рубашке кинулся вон из дома.

Еще издалека заметил он возле конюшни скопление народа, здесь в числе прочих были председатель Голубев, парторг Килин, оба бригадира и конюх Егор Мякишев.

— Что это тут происходит? — поинтересовался Гладышев.

— Лошадь убегла, — пояснил Мякишев.

— Какая лошадь? — похолодел в догадке Гладышев.

— Осоавиахим. — Конюх досадливо сплюнул. — Мы тут наметили, каких лошадей в армию сдавать, и его тоже, а он ночью сломал загородку и ушел. А может, цыгане украли.

— Может быть, — поспешил согласиться Гладышев.

16

Подполковник Опаликов стоял, разведя в стороны руки и ноги, в ожидании, пока инженер полка Кудлай и два старших техника наденут на него парашют. Опаликов хмурился. Через несколько минут ему предстоит поднять полк в воздух и направить в район Тирасполя согласно приказу. Маршрут выверен, вычерчен, инструктаж с летным составом проведен. Командиры эскадрилий доложили о готовности к взлету. Тирасполь так Тирасполь, думал Опаликов. Какая разница, где тебя собьют? А ведь собьют, никуда не денешься. Не нашим «ишакам» с «мессерами» тягаться. Ладно, говорил он самому себе, дело не в этом. Тридцать четыре года прожил, и хватит. Некоторым и столько не удастся. Кое-что повидал. Но Надька, Надька... При мысли о жене настроение еще больше испортилось. «Я тебя буду ждать», — сказала она. Как бы не так. Будет ждать в чужой постели. Сука! Другие бабы, когда слышали о войне, рыдали. А она хоть бы одну слезинку из себя выдавила. Хоть бы для виду. Смоковница бесплодная. Небось даже рада. Муж на фронт, ей — полная свобода. Да у нее и раньше этой свободы хватало. Перетаскала на себя всех, кого только могла. Другой раз

идешь по городку и стыдно. Кажется, все на тебя пальцем указывают. Вот он идет. Командир полка. Взялся полком командовать, а со своей собственной женой не может управиться. В армии все на виду. Хуже, чем в деревне. Все всё про всех знают. И про тот случай, когда она с интендантом на складе вещевого снабжения, на старых шинелях... До чего опуститься! Ведь хотел ее тогда застрелить, пистолет из кобуры вынул... Рука не послушалась. Хотя, конечно, сам во всем виноват. Как говорит Кудлай, «бачилы очи, шо купувалы»... Видно, уж такая у нее натура. Ненасытная тварь. Ну и задерись она в доску, думал подполковник Опаликов, когда в мотоциклетной коляске подъехал Пахомов.

— Товарищ подполковник... — Пахомов, выскочив из коляски, кинул руку к виску.

— Ну что у тебя? — перебил Опаликов, приподымая ногу, чтобы Кудлаю было удобнее продеть и обернуть лямку парашюта.

— Погрузка аэродромного оборудования в эшелон закончена, — доложил Пахомов. — Дня через четыре, думаю, и мы до Тирасполя доберемся.

— Ну-ну, — сказал Опаликов и, подсаживаемый инженером, полез на крыло. — Так мы тебя там и будем дожидаться в Тирасполе.

Он сел в кабину, поерзал, устраиваясь поудобней. Положил планшет на колени, еще раз мысленно прошел первую часть маршрута. Взлет. Сбор в зоне ожидания. Затем курс двести пятьдесят семь и четыре градуса поправки на ветер. После прохождения контрольного пункта на двенадцать градусов доворот влево. Все нормально, все правильно, только вот Надька... Опаликов поднял голову.

Пахомов все еще стоял возле самолета, переминался с ноги на ногу.

— Ну что еще, Пахомов? — обратил на него внимание командир полка.

— Да вот не знаю, как с Чонкиным быть, — неуверенно сказал комбат.

— С каким еще Чонкиным? — недоуменно поднял брови Опаликов.

— С красноармейцем, который у аварийной машины.

— А-а... — Опаликов поставил ноги на педали, проверил легкость хода рулей и элеронов, включил тумблер зажигания. — Его разве до сих пор не сменили?

— Да нет же, — сказал Пахомов. — И машина там.

— Это не машина, — махнул рукой Опаликов, — это гроб. А Чонкин этот что там делает?

— Стоит, — пожал плечами Пахомов. — Говорят, вроде даже женился.

Он улыбнулся, не зная, как выразить свое отношение к поступку бойца.

— Женился? — ахнул Опаликов. Это в мозгу его никак не укладывалось. Жениться в такое время! Зачем? Тут с женой, которая есть, не знаешь что делать. — Ну, раз женился, пусть живет, — решил он. — Не до него. Кудлай! — закричал он инженеру. — Передай по полку, чтоб запускали моторы.

Судьба Чонкина была решена.

17

— Я щи поставлю варить, а ты поди пригони корову. — Сунув голову в печь, Нюра шумно раздувала огонь.

— Сейчас. — Чонкин драил зубным порошком пуговицы на гимнастерке, и идти ему никуда не хотелось.

— Русский час — шестьдесят минут, — заметила Нюра. — Пуговицы можно опосля почистить.

Она только что с полной сумкой притащилась из Долгова, разнесла почту, устала и теперь была недовольна тем, что Чонкин не приготовил обед.

Чонкин отложил в сторону гимнастерку и щетку, подошел к Нюре сзади и ухватился за нее сразу двумя руками.

— Иди, иди. — Нюра недовольно вильнула задом. Некоторое время попрепирались. Чонкин ссылался на раннее время, на боль в пояснице, ничего ему не помогло — пришлось в конце концов уступить.

Во дворе он поиграл с Борькой, на улице поговорил с бабой Дуней, затем с сидевшим на завалинке дедом Шапкиным и наконец дошел до конторы, где увидел большую толпу, состоявшую в основном из баб. Мужиков было всего-то Плечевой, счетовод Волков и еще один, Чонкину не знакомый. Другие — на фронте. В первую же неделю войны чуть не всех загребли подчистую. Сбрав-

шиеся молча смотрели на громкоговоритель, в котором что-то потрескивало.

— Чего стоите? — спросил Иван Нинку Курзову.

Но Нинка ничего не ответила, только приложила палец к губам. И тут же в динамике кто-то покашлял, и голос с заметным грузинским акцентом тихо сказал: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!»

Чонкин вздохнул и замер, не спуская с динамика глаз.

Динамик снова покашлял, потом в нем что-то забулькало, как будто тот, кто стоял где-то у микрофона, лил воду или давился в рыданиях. Это бульканье длилось долго и произвело на слушателей гнетущее впечатление. Но вот оно кончилось, и тот же голос с акцентом негромко и рассудительно продолжал: «Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей Родиной нависла серьезная опасность...»

Баба Дуня, стоявшая позади Чонкина, всхлипнула. Задергала губами Нинка Курзова, несколько дней назад отправившая мужа на фронт. Зашевелились, зашмыгали носами и остальные.

Чонкин слушал слова, произносимые с заметным грузинским акцентом, глубоко верил в них, но не все мог понять. Если лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации разбиты и нашли себе могилу, то стоит ли так беспокоиться? Худшие части и дивизии разбить еще легче. Кроме того, непонятно было выражение «нашли себе могилу на полях сражений». Почему они не искали ее в другом месте? И кто эту могилу для них вырыл? И Чонкину представилось огромное количество

людей, которые в поисках могилы ходят по неизвестным полям. Ему на какое-то мгновение даже стало жалко этих людей, хотя он хорошо знал, что жалеть их нельзя. Размышляя таким образом, пропустил он многое из того, что говорил оратор, и теперь поднял голову, чтобы уловить нить.

«Красная Армия, Красный Флот и все граждане Советского Союза должны отстаивать каждую пядь советской земли, драться до последней капли крови за наши города и села, проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему народу...»

Все слушали, качали головами, и Чонкин тоже качал. Он готов был драться, но не знал, с кем и как. Когда забирали на фронт мужиков, военкоматский капитан сидел на крыльце конторы и разговаривал с председателем. Чонкин подошел к нему, обратился по всей форме, так, мол, и так, а тот не дослушал толком да как гаркнет: «Вы на посту стоите? А кто давал вам право покидать пост? Кругом! На пост бегом марш!» Вот и весь разговор. А Сталин, он бы так не сказал, он умный, может понять и войти в положение. Не зря народ его любит. И поет хорошо. «Валенки, валенки». Только почему женским голосом? Песня кончилась, раздались аплодисменты.

— Вот здорово! — услышал Чонкин сзади. Он вздрогнул и обернулся. Тайка Горшкова, поигрывая бичом и раскрыв рот, смотрела на радио. Теперь она была пастухом, после того, как Лешу Жарова забрали на фронт.

Чонкин осмотрелся и, не увидев больше никого, снова уставился на Тайку.

— Здорово, говорю, Русланова поет, — повторила Тайка.

— Ты что, коров уже пригнала? — удивился Чонкин.

— Давно уж. А чего?

— Да так, ничего.

Удивляясь тому, как это он прозевал момент, когда пригнали коров, Чонкин пошел к дому. Корова, конечно, пришла домой своим ходом, уж чего-чего, а дорогу знает. Но все же чудно так получилось, что он задумался и не заметил, как разошлись люди. Впрочем, они даже как будто и не разошлись, а вон все стоят в том же составе. Только почему-то в другом месте. Как будто возле избы Гладышева. Да, точно, так и есть.

— Чего стоите? — спросил Чонкин опять же у Нинки Курзовой.

Нинка обернулась и посмотрела на Чонкина как-то странно, так странно, как будто с ним что-то случилось. А вслед за Нинкой и все остальные стали воротить головы в сторону Чонкина и смотреть на него с ожиданием чего-то. Чонкин смешался, не понимая в чем дело, стал сам себя оглядывать, не вымазался ли. Тут из толпы вынырнул Плечевой и пошел на Чонкина с распростертыми объятиями.

— Ваня, друг, что же ты тут стоишь? — закричал он. — Иди быстрее, чего покажу. Тут такое кино получается! — Он взял Чонкина за руку и повел сквозь толпу, которая охотно расступалась. Наконец, достигнув соседского забора, Чонкин посмотрел и глазам своим не поверил. Замечательный огород, созданный каждодневным трудом и гением Гладышева, являл собой картину страшного опустошения. Он был изрыт и истоптан с такой тщательностью, как будто через него прошло стадо слонов. Только кое-где торчали из земли истерзанные охвостья бывшего пукса и один-единственный, чудом сохранившийся куст пышно зеленел на фоне всеобщего разрушения.

Виновница всего происшедшего корова Красавка, должно быть, оставила этот куст на закуску и сейчас, стоя посреди огорода, тянулась к нему и должна была б дотянуться, но хозяин огорода держал ее за рога, исполненный отчаяния, слепой злобы и решимости спасти хотя бы этот жалкий остаток созданного им чуда.

Словно тореадор, стоял Гладышев перед коровой, широко расставив ноги в пыльных брезентовых сапогах. Пытаясь побороть этого рогатого варвара, он напрягал окаменевшие мышцы.

Тут же, хватая Гладышева за рукав, безутешно рыдала Нюра.

— Матвейч, — заливалась она слезами, — отдай корову. Ну, пожалуйста. Ну что ты с ней будешь делать?

— Зарежу! — мрачно сказал Гладышев.

— Ой господи! — причитала Нюра. — Она же у меня одна, Матвейч. Отдай!

— Зарежу! — твердил свое Гладышев и тащил корову в сарай. Корова упиралась и тянулась к оставшемуся ку-

сту пукса. На крыльце, равнодушная ко всему, Афродита кормила грудью Геракла. Чонкин, не зная что делать, растерянно оглянулся.

— Ну что ж ты, Ваня, стоишь? — ободряюще улыбнулся ему Плечевой. — Спасай скотину. Ведь зарежет. Чиканет ножом, и привет.

Плечевой подмигнул стоявшему рядом счетоводу Волкову. Не хотелось Чонкину ввязываться в это дело. Но Гладышев уперся, а Нюрка плачет. Иван нехотя просунул голову между жердями в заборе.

— Ой! — взвизгнул тонкий женский голос. Это была Зинаида Волкова, жена счетовода. — Ой, бабы, сейчас будет убийство!

Увидев Чонкина, Нюра осмелела и перешла к активным действиям.

— Ирод проклятый! — закричала она и вцепилась своему врагу в красное правое ухо.

— Ах, так! — возмутился Гладышев и толкнул Нюру ногой в живот.

Нюра упала в борозду и завывала в голос. Чонкин подошел к Нюре, наклонился и увидел, что ничего страшного не случилось, Нюра живая и даже не раненая.

— Чего реवेशь? — рассудительно сказал он, помогая Нюре подняться и отряхивая на ней платье. — Никто тебе ничего не сделал. Ну толкнул Кузьма Матвейч маленько, так его тоже можно понять. Любому было бы обидно. Старался человек все лето, поливал, ухаживал как за родным дитем, а тут звон какое дело. Уж ты, Кузьма Матвейч, — повернулся он к соседу, — извини за-ради бога, корова, сам понимаешь, не человек, у ней нет в голове соображения, что это твое, а это чужое, как увидит чего зеленое, так и жрет. Нюрка позавчера повесила на забор зеленую кофту, так она и ее слопала, один только левый рукав остался. Ух ты, вражина! — замахнулся он кулаком на корову. — Пусти-ко, сосед, я ее сейчас так накажу, что больше в чужой огород не полезет.

С этими словами Чонкин положил руки поверх гладышевских на рога Красавки.

— Отойди, — сказал Гладышев и пихнул Чонкина плечом.

— Да нет уж, не отойду, — сказал Чонкин и толкнул соседа ответно. — Уж ты, Кузьма Матвеевич, корову-то отдай, а мы с Нюркой тебе за огород чего-нито да заплатим.

— Дурак! — сказал Ладышев со слезами на глазах. — Чем можешь ты оплатить научный подвиг? Я же хотел вырастить гибрид мирового значения — картофель с помидором.

— Отдадим, — заверял Чонкин, — ей-богу, отдадим. И картошку отдадим, и помидоры. Какая тебе разница, вместе оно выросло или не вместе?

Он продолжал теснить упрямого соседа плечом и уже полностью овладел одним рогом. Теперь они тащили корову в разные стороны, что ей было легче перенести в результате равнодействия сил.

Надвигалась решающая минута. Чонкин пихал Ладышева левым плечом, Ладышев отвечал ему правым.

Толпа, налегая на забор, затаила дыхание. Афродита, переменив грудь, продолжала кормить Геракла. Было тихо. Только слышалось тяжелое сопенье воющих сторон и равнодушные вздохи коровы, которой по-прежнему хотелось откусить этот симпатичный куст неразвившегося гибрида.

В толпе молчали, напряженно ожидая дальнейшего развития событий.

— Слышь, армеец, а ты ему в глаз, — неожиданно громко посоветовал Плечевой. Кто-то хихикнул, но тут же смолк.

— Ой, бабы, закрывай глаза, сейчас будет убийство! — пронзительно закричала Зинаида Волкова.

Ее муж, стоявший неподалеку, начал сквозь толпу пробираться к жене.

— Будет убийство, будет убийство, будет убийство, — лихорадочно, словно твердя заклинания, бормотала она.

Наконец счетовод добрался до жены, отодвинул, освобождая себе пространство, Нинку Курзову, не торопясь, обстоятельно размахнулся и единственной своей рукой врезал Зинаиде такую оплеуху, что без посторонней поддержки она вряд ли удержалась бы на ногах. Зинаида, молча схватившись обеими руками за щеку, стала вылезать из толпы, а счетовод, повернувшись к Плечевому, спокойно объяснил свой поступок:

— Сколько раз говорил ей: «Не лезь, куды не просят». Вот ведь когда Колька Курзов с клоквинским Степкой подрались, тоже так смотрела да ахала, а ее в свидетели записали. Так судья когда вызвал ее к столу, она сразу в обморок, и насилушки откачали.

— А ты ее совсем пришиби, — весело посоветовал Плечевой. — Чтоб и в суд звать некого было.

— Убили! — выбравшись наконец из толпы, не своим голосом завопила Зинаида и, по-прежнему двумя руками держась за щеку, рванула вдоль по деревне.

Обернувшись на ее крик, Чонкин и Гладышев одновременно ослабили пальцы. Корова это почувствовала, мотнула головой, и противники, не ожидавшие такого коварства, повалились в разные стороны.

Не дожидаясь другого случая, корова мимолетным движением смахнула под самый корень последний куст необыкновенного гибрида и не спеша задвигала челюстями.

Гладышев, поднявшись на четвереньки, как замороженный следил за коровой.

— Матушка! — страстно простер он к ней руки и на коленях пошел вперед. — Солнышко, отдай, пожалуйста!

Причмокивая, вздыхая и настороженно глядя на Гладышева, корова отступила назад.

— Отдай! — Гладышев, не вставая с колен, тянулся к коровьей морде. В какой-то момент из раскрывшейся пасти мелькнул на мгновение измочаленный хвостик пукса, Гладышев рванулся к нему, но корова в этот же самый момент сделала глубокое глотательное движение, и последний куст замечательного гибрида навсегда исчез в ее бездонном желудке. Поборов секундное оцепенение, Гладышев вскочил на ноги и с диким воем кинулся к себе в избу.

Тут поднялся с земли и Чонкин. Ни на кого не глядя, отряхнул он от пыли брюки, одной рукой взялся за рог, а другую сжал в кулак и изо всей силы ударил корову по морде. Корова дернула головой, но особо не сопротивлялась, и Чонкин потащил ее в сарай, крикнув Нюре, чтобы побежала вперед открыть ворота.

— И это все, — с сожалением сказал Плечевой, но ошибся.

В это время на крыльцо, встрепанный, с безумными глазами, выскочил Гладышев. В руках он держал берданку шестнадцатого калибра. В толпе ахнули.

— Я говорила, будет убийство, — послышался голос вернувшейся вовремя Зинаиды.

Гладышев вскинул берданку к плечу и навел на Чонкина.

— Ваня! — отчаянно вскрикнула Нюра. Чонкин обернулся. Он стоял, вцепившись пальцами в коровьи рога, и смотрел прямо в наведенный на него ствол берданки. Он словно оцепенел, не в силах двинуться с места. «Попить бы», — мелькнула глупая мысль. Чонкин облизнул губы.

Сухо щелкнул курок, словно сломали ветку. «Все», — подумал Чонкин. Но почему ему не больно? Почему он не падает? Почему Гладышев снова взводит курок? Снова щелчок. И вдруг раздался громкий, трезвый и рассудительный голос Афродиты:

— Дурачок ты, дурачок! Куды стреляешь? И чем стреляешь? Ты же весь порох давно извел на удобрение.

По толпе прошел шум. Гладышев еще раз взвел курок, заглянул в ствол и, убедившись, что там пусто, грохнул ружье о землю, сел на крыльцо и, обхватив голову руками, горько заплакал.

Чонкин все еще стоял, вцепившись пальцами в рога, словно приклеился. Подошла Нюра, положила руку ему на плечо.

— Пойдем, Ваня, — сказала она ласково.

Он отрешенно смотрел на Нюру, не понимая, чего она хочет.

— Домой, говорю, пойдем! — крикнула Нюра словно глухому.

— А, домой... — Он помотал головой, возвращаясь к осознанию происходящего. Они взялись, он за один рог, Нюра — за другой, и потащили прочь корову, которая, насытаясь, вполне присмирела.

А на крыльце плакал Гладышев. Он плакал громко, в голос, и, оголив покрытый белесой шерстью живот, утирался подолом изодранной майки.

Чонкин не выдержал и, бросив корову и Нюру, вернулся к поверженному врагу.

— Слышь, что ли, сосед, — сказал он, дотронувшись носком своего ботинка до сапога Гладышева. — Ты это... ничего, ты больно не переживай. Я это... война кончится, на тот год билизуюсь, и тогда пухсом этим и твой огород засодим, и Нюркин.

В знак примирения он дотронулся до плеча Гладышева. Гладышев дернулся, зарычал, схватил протянутую руку и хотел укусить, но Чонкин вовремя вырвался и отскочил. Стоя в отдалении, он смотрел на селекционера с опаской и жалостью, не зная, как дальше быть.

Подошла и накинута на Чонкина Нюра:

— Ах ты, горе луковое, да кого ж ты уговариваешь и кого жалеешь? Он тебя жалел, когда из ружья целил? Он тебя убить хотел!

— Ну так что ж, что хотел, — сказал Чонкин. — Вишь, человек в расстройстве каком. Ты уж, Матвейч, не это самое... — Он переступал с ноги на ногу, но приблизиться не решился.

18

В воскресенье на колхозном рынке города Долгова был задержан пожилой человек в длинном брезентовом плаще и в облезлом танкистском шлеме. Танкистом он, конечно, не был и не выдавал себя за танкиста, а голову и иные части своего организма, подобно всем прочим людям, покрывал тем, что удавалось где-нибудь и как-нибудь по случаю раздобыть. В стране наблюдалась нехватка всех товаров вообще и головных уборов в частности. Это все знали, все понимали, и за ношение танкистских, летчицких или буденновских шлемов, командирских фуражек, матросских бескозырок, азиатских тюбетеек и кавказских бараньих шапок никто никого нигде не хватал. Так что дело было совсем не в том, что старик был в танкистском шлеме. И даже не только в том, что он торговал хромовыми голенищами. Дело было в том, что на вопрос, как его фамилия, человек этот сказал такое, что Климу Свинцову, отправленному на рынок для выявления злостных распространителей ложных слухов, ничего не оставалось делать, как взять старого наглеца за то место, которое в народе обыкновенно называется шкировкой, и отвести Куда Надо. Тем более что

именно там, Где Надо, Свинцов как раз и состоял на службе, он был сержантом. У читателей из далеких галактик, которым не знакомы наши земные порядки, может возникнуть законный вопрос: что значит Куда Надо или Где Надо? Кому надо и для чего? По этому поводу автор дает следующее разъяснение. В давние, описываемые автором времена повсеместно существовало некое Учреждение, которое было не столько военным, сколько воинственным. На протяжении ряда лет оно вело истребительную войну против собственных сограждан, и вело с непременным успехом. Противник был многочислен, но безоружен — эти два постоянно действующих фактора делали победу внушительной и неизбежной. Карающий меч Учреждения висел постоянно над каждым, готовый обрушиться в случае надобности или просто ни с того ни с сего. У этого Учреждения создалась такая репутация, что оно все видит, все слышит, все знает, и, если чего не так, оно уже тут как тут. Оттого и говорили в народе: будешь слишком умным, попадешь Куда Надо; будешь много болтать, попадешь Куда Надо. И такое положение вещей считалось вполне нормальным, хотя, собственно говоря, отчего ж человеку не быть слишком умным, если он таким уродился? И отчего человеку не поболтать, если есть с кем и о чем? Автор лично встречал на своем жизненном пути массу людей, как бы созданных природой исключительно для болтовни. Впрочем, болтовня тоже бывает разная. Один болтает что надо, а другой — что не надо. Будешь болтать что надо, будешь иметь все, что надо, и даже немножко больше. Будешь болтать что не надо, попадешь Куда Надо, то есть в то самое Учреждение, о котором выше уже говорилось. А ниже добавим еще и то, что Учреждение это работало по принципу: бей своих, чтоб чужие боялись. Насчет чужих не скажу, а свои побаивались. И действительно, как только у чужих обозначится обострение противоречий, или кризис всей их системы, или всеобщее загнивание, так своих тут же отлавливают и тащут Куда Надо. И другой раз столько их натаскивают, что там, Где Надо, и мест для всех не хватает.

Но в то самое время, когда сержант Клим Свинцов поймал на рынке злого болтуна, мест там, Где Надо,

было вполне достаточно. Последние четверо, попавшие каждый своим путем Куда Надо еще до войны, теперь были отправлены дальше. Учреждение срочно перестраивало свою работу, приспособляло ее к нуждам военного времени. Этого требовал от своих сотрудников начальник Учреждения капитан Афанасий Миляга, получивший инструкцию от более высокого начальства, которое, в свою очередь, имело указание от начальства высочайшего. Указание было — руководствоваться историческим выступлением товарища Сталина. В историческом выступлении, помимо прочего, говорилось: «Мы должны организовать беспощадную борьбу со всеми дезорганизаторами тыла, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая во всем быстрое содействие нашим истребительным батальонам».

Эта цитата в виде красочно оформленного плаката висела в кабинете капитана Миляги, прямо перед его глазами. А за спиной капитана Миляги висел известный фотопортрет — Сталин с девочкой на руках. Девочка улыбалась Сталину, Сталин улыбался девочке. Но при этом он косил одним глазом на затылок капитана Миляги, как бы пытаясь определить, не роятся ли под этим затылком ненужные мысли.

В понедельник утром капитан явился на работу, как всегда, — минута в минуту.

— Точность — вежливость королей, — говорил он обычно своим подчиненным и не забывал добавлять: — В переносном, конечно, смысле.

Чтобы никто не заподозрил его в монархических настроениях.

В своей приемной капитан застал сержанта Свинцова, который объяснял секретарше Капе свое положение. Жена Свинцова уехала с ребяташками к матери на Алтай, откуда вернется не скоро — он сам написал ей, чтобы не приезжала, все же там безопасней. Рассказывал он для того, чтобы перейти к следующей части беседы.

— Капитолина, — призывно говорил он и смотрел на секретаршу зверскими своими глазами. — Мужчина без женщины все равно что бык без коровы. — Сравнениями он пользовался всегда прямыми и грубыми. — Мужчина

без женщины долго жить не может. Если ты немного со мной поживешь, я тебе дам отрез из чистого крепдечина. Удовольствие получишь и платье сошьешь.

Капа к такому ухаживанию уже привыкла, и оно ее не обижало.

— Клим, — смеялась она, — поди в баню, окатись холодной водой.

— Не поможет, — темнел лицом Клим. — Мне женчину надо. Ты не думай, я мужчина хороший.

— Клим, что ты говоришь! — ужасалась Капа.

— Я говорю то, что есть. Я знаю, ты с мужем живешь и с капитаном. А ты еще со мной поживи. С тремя мужчинами лучше жить, чем с двумя.

— Клим, ты дурак! — Капа не любила намеков на свои отношения с капитаном.

Свинцов хмурился и исподлобья смотрел на Капу.

— Если ты со мной жить не хочешь, — сказал он, подумав, — зачем обзывать? У тебя подруга есть?

— А ты, Клим, можешь жить с любой женщиной?

— С любой.

Разговор был прерван появлением капитана Миляги. От прочих людей капитана Милягу отличало то, что он всегда улыбался. Улыбался милой приятной улыбкой, вполне соответствовавшей фамилии, которую он носил. Капитан улыбался, когда здоровался, улыбался, когда допрашивал арестованных, улыбался, когда другие рыдали, короче говоря, улыбался всегда. Вот и сейчас, улыбаясь, поздоровался с Капой и с улыбкой обратился к Свинцову, который при его появлении опрокинул стул и вытянулся у дверей.

— Меня ждешь?

— Вас.

— Заходи.

Он взял у Капы ключ от своего кабинета и вошел первым. Для начала раздвинул шторы и распахнул окно, выходящее во внутренний дворик, полной грудью вдохнул свежий воздух.

На дворе лейтенант Филиппов занимался с личным составом строевой подготовкой. Личного состава, кроме лейтенанта Филиппова, было пять человек. В обычное время на строевую подготовку времени никак не хватало. Всегда было слишком много работы. А тут в короткий

период перехода на военные рельсы выдался свободный денек. Кроме того, и указание было обратить особое внимание на строевую подготовку.

Пять человек, построенные в колонну по одному, отработывали строевой шаг. Лейтенант Филиппов шел сбоку и, воодушевляя подчиненных личным примером, высоко поднимал ноги в сверкающих хромовых сапогах.

— Ну что скажешь, Свинцов? — спросил капитан, не оборачиваясь.

— Ничего. — Свинцов лениво зевнул в кулак. — Тут ребята лошадь нашли приبلудную.

— Что за лошадь?

— Мерин. Спрашивали, никто не знает чей.

— И где ж этот мерин?

— Во дворе привязали к дереву.

— Сена дали?

— А зачем чужую лошадь кормить?

Капитан обернулся, посмотрел на Свинцова с укором.

— Эх, Свинцов, Свинцов, сразу видно — не любишь животных.

— Да я и людей-то не очень, — признался Свинцов.

— Ну ладно. Еще что?

— Вчерась, товарищ капитан, шапиёна пымал.

— Шпиона? — Капитан оживился. — Где он?

— Сейчас приведу.

Свинцов вышел. Капитан сел за свой стол. Шпион был сейчас как раз кстати. Капитан взглянул на висевшую перед ним цитату: «...уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов...» «Ну что ж, уничтожать так уничтожать», — подумал капитан и улыбнулся самому себе.

Чтобы не терять даром время до возвращения Свинцова, принялся разбирать секретную почту. В нее входили всевозможные циркуляры, выписки из приказов вышестоящих инстанций, решений компетентных комиссий, из протоколов каких-то ответственных совещаний. Об усилении контроля за хлебозаготовками. О подготовке к новому (военному) займу. Об усилении контроля за лицами, уклоняющимися от воинской повинности. Об усилении контроля за подбором кадров. О переводе промышленных предприятий на военные

рельсы. О борьбе со слухами и распространением контрслухов.

Дверь распахнулась. В кабинет вошел, подталкиваемый Свинцовым, пожилой человек в длинном плаще и облезлом танкистском шлеме. Национальность этого лжетанкиста можно было определить с первого взгляда. Оценив обстановку, старик приветливо улыбнулся и стянул шлем со своей головы, покрытой редким белесым пухом. Он взял шлем в левую руку, а правую протянул капитану.

— Здравствуйте, начальник! — сказал он, не выговаривая буквы «р».

— Здравствуйте, здравствуйте! — убрал руки за спину, пошутил начальник.

Задержанный приятно удивился и спросил, не принадлежит ли капитан к тому же национальному меньшинству, что и он. Капитан не обиделся, но отвечал отрицательно.

— Что вы говорите! — всплеснул руками задержанный. — А на вид такое интеллигентное лицо.

Он огляделся, взял стоявший у стены стул, подтянул его к столу капитана Миляги и сел. В этом кабинете посетители обычно вели себя сдержанней. «Видать, старик еще не совсем понял, куда попал», — весело подумал капитан, но виду не подал. Ничего не сказал он даже тогда, когда гость по-хозяйски положил локти на стол и доверчиво посмотрел в лицо капитана.

— Слушаю вас, — сказал он доброжелательно.

— Вы — меня? — улыбнулся капитан. — Давайте уж лучше наоборот. Давайте я вас послушаю.

Гость оказался покладистым, он согласился с предложением капитана.

— Во-первых, — сказал он, — я попрошу вас послать человека к моей жене Циле — она сидит на лавочке возле ворот — и сказать ей, что я скоро приду.

Капитан несколько удивился и спросил задержанного, откуда у него такие сведения, что Циля сидит именно на лавочке у ворот, а не где-нибудь в другом месте.

— Охотно вам объясню, — сказал гость. — Я уже не так молод, чтобы Циля думала, что я ночую у какой-нибудь гойши.

— Это естественно, — живо согласился капитан. — Но ваш возраст мог дать вашей супруге основания для беспокойства другого рода. Она могла предположить сердечный припадок или что вы... не дай бог, конечно, я вам этого ни в коей мере не желаю... но она могла подумать, что вы, — глаза капитана радостно засверкали, — попали, например, под машину. А? Ведь бывает такое. Ведь, согласитесь, в жизни все может случиться.

— Что вы, что вы! — замахал руками задержанный. — Моя Цили такой паникер, она всегда думает самое худшее.

— Ага, — заулыбался капитан, совершенно довольный. — Значит, вы считаете, что попасть к нам это даже хуже, чем под машину. Я вижу, вы человек очень умный, и вы нравитесь мне тем, что очень верно оцениваете обстановку. Но в таком случае вы должны согласиться, что посылать кого-нибудь к вашей супруге и обнадеживать ее, что вы скоро вернетесь, было бы преждевременно. Вы знаете, что мы не очень охотно расстаемся с нашими гостями, и, учитывая это, стоит ли понапрасну волновать старую женщину? Это было бы в какой-то степени даже, я бы сказал, негуманно.

— Я вас понимаю, — охотно согласился старик. — Я вас очень хорошо понимаю. Мне тоже приятно видеть ваше лицо, начальник, но нам все-таки скоро придется проститься, и я вам скажу почему. Но прежде всего я попрошу вас уволить этого идиота. — Большим пальцем гость указал на стоявшего за его спиной Свинцова.

— Как вы сказали? — предвкушая большое веселье, переспросил капитан. — Вы сказали «этого идиота»?

— А скажите мне, кто же он есть? Вы спросите его, что он причепился ко мне на базаре? Что я такого ему сделал?

— Да, в самом деле. — Капитан повернул голову к подчиненному. — Свинцов, что он тебе такого сделал?

— Пушай сам скажет, — хмуро буркнул Свинцов.

— И скажу, — пригрозил задержанный. — Я все скажу, как было.

— Буду очень рад вас послушать, — искренне сказал капитан.

Он потянулся к стоявшему за его спиной сейфу, достал стопку линованной бумаги и положил на стол перед собой. На первом листе было написано:

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА №

Гр-на (нки)

(фамилия, имя, отчество)

Год рождения

Место рождения

Социальное происхождение

Национальность

Партийность

Образование

Профессия

Должность и место работы обвиняемого (ой),

подозреваемого (ой)

(нужное подчеркнуть)

в преступлениях по ст. ст. УК РСФСР

Капитан вынул из железного стаканчика самопишущую ручку с золотым пером, подчеркнул нужное: «обвиняемого» — и доброжелательно посмотрел на своего визави.

— Итак? — сказал капитан.

— Вы хотите записать то, что я вам скажу? — спросил гость почти польщенно.

— Непременно, — кивнул капитан.

— Ладно, пишите, — вздохнул обвиняемый. — Я старый человек, получаю пенсию двенадцать рублей, а глаза у меня открыты и видят, где чего дают. В воскресенье утром в двадцать минут восьмого меня разбудила моя жена Цилия. Записали? Она сказала: «Мойша, у нас нечего есть. Ты должен пойти на базар и продать что-нибудь из вещей». А я имею профессию сапожника, и у меня всегда есть немножко кожи. Я взял старые хромовые голенища и пошел на базар. И тут ко мне подходит этот ваш идиот и спрашивает, какое я имею право спекулировать. Я ему объясняю, что спекуляция — запишите — это когда покупают дешево, а продают дорого. А я ничего не покупаю, я только продаю. Тогда он спросил, какая у меня фамилия, и я ему сказал. И он взял меня за шиворот и по-

ташил в ваше отделение. А вокруг собрался народ, и все стали говорить, что тут поймали шпиона. А я вам должен сказать откровенно, что я совсем не шпион. У меня есть очень хорошая профессия, и свой кусок хлеба я всегда заработаю. А если ему не понравилась моя фамилия...

— Какая фамилия? — перебил Миляга и занес ручку над протоколом.

— Моя фамилия — Сталин.

Капитан вздрогнул, но тут же не забыл улыбнуться.

— Как вы сказали?

— Вы хорошо слышали, как я сказал.

Капитан пришел в себя. Он встречал всяких сумасшедших, в том числе и страдающих манией величия. Он мигнул Свинцову, тот сделал движение рукой, и самозванец — много ли ему надо? — свалился со стула. Шлем отлетел в сторону.

— О-ой! — застонал он, поднимаясь. — Ой, начальник, этот ваш идиот таки снова дерется! Вы видите, у меня из носа течет кровь. Я прошу записать это в ваш протокол.

С трудом поднявшись, он стоял перед капитаном — и держался за нос, из которого действительно падали на пол большие красные капли.

— Ну ничего, — улыбнулся капитан. — Человек погорячился. Но у него были основания. Он, может быть, нервный, а вы его оскорбляете, называя идиотом. В его лице вы оскорбляете и те органы, которые он собой представляет. Я уже не говорю о том, что вы посмели называть себя именем, которое всем нам слишком дорого, которое в нашей стране может носить только один человек, вы знаете, о ком я говорю.

— Ой, начальник! — покачал головой самозванец. — Зачем вы так строго со мной говорите? Вы даже не можете себе представить, что с вами будет, когда вы посмотрите мой документ. Вы будете вместе с вашим идиотом вылизывать с пола мою кровь языком. А потом я буду приходить к вам и буду снимать штаны, и вы вместе с вашим идиотом будете целовать меня в заднее место.

Новый удар Свинцова свалил его с ног. При этом из рта его вылетела вставная челюсть, стукнулась о косяк и раскололась надвое. Обхватив голову руками, самозванец стонал и выкрикивал что-то бессвязное.

— Свинцов, — сказал капитан, — а в самом деле, где его документы?

— Не знаю, — сказал Свинцов, — не смотрел.

— Посмотри.

Свинцов нагнулся над потерпевшим, обшарил и положил на стол капитана старый засаленный паспорт. Капитан брезгливо раскрыл паспорт, посмотрел и глазам своим не поверил. Может быть, первый раз в жизни улыбка сползла с лица капитана. Ему показалось, что в кабинете темно, он включил настольную лампу. Буквы, четко выведенные канцелярской тушью, прыгали перед глазами Миляги, он никак не мог их сложить. Слатин, Сатлин, Салтин... Нет, все-таки Сталин. Сталин Моисей Соломонович. Неужели родственник? Капитана знобило. Он уже видел себя приставленным к стенке. Бог ты мой, что же это такое! Ведь отец Сталина, кажется, был сапожник!

— Свинцов! — сказал капитан, не слыша собственного голоса. — Выйди из кабинета!

Свинцов вышел. Но это не облегчило положения капитана. На какое-то время он просто сошел с ума и производил совершенно бессмысленную работу: то придвигал к себе какие-то бумажки, то отодвигал их. Потом схватил пресс-папье, придавил им паспорт, подул на паспорт и двумя руками осторожно подвинул его к краю стола.

А задержанный, между прочим, все еще лежал на полу. Он лежал в прежней позе, скорчившись и держа голову двумя руками, словно боялся, что иначе она вовсе отвалится.

Капитан отодвинул стул и, приняв стойку «смирно», произнес во весь голос, словно командовал:

— Здравствуйте, товарищ Сталин!

Сталин отнял от лица одну руку и недоверчиво покосился на капитана.

— Здгавствуйте, здгавствуйте, — осторожно сказал он. — Мы уже виделись.

Надо было б помочь ему встать, но капитан не решался. У него дрожали колени, и во рту появился керосиновый привкус.

— Вы... — сказал он и сглотнул слюну. — Вы... — и облизал губы. — Вы — папа товарища Сталина?

— Ой, как у меня все болит! — Сталин пополз на четвереньках по полу, подобрал сперва один кусок челюсти, потом другой. — Мои зубы! — простонал он, глядя на эти обломки. — Боже мой, что я теперь без них буду делать?

Он с трудом поднялся и сел перед капитаном. Посмотрел ему в глаза.

— Что, испугался, бандит? — спросил он злорадно. — Садись, сволочь, сто болячек на твою голову. Где я возьму теперь такие зубы?

— Мы вам вставим новые, — поспешил заверить капитан.

— Новые, — передразнил старик. — Где вы возьмете такие новые, хотел бы я знать? Эти зубы вставлял мне мой сын. Разве в этом городе кто-нибудь умеет делать такие зубы?

— Эти зубы делал лично товарищ Сталин? — умилился капитан и протянул руки. — Можно потрогать?

— Дурак, — сказал Сталин, отодвигая обломки. — У тебя руки в крови, а ты ими все хочешь трогать.

И тут в мозгу капитана забрезжило спасительное воспоминание. Если это отец Сталина, то, значит, сам Сталин должен называться Иосиф Моисеевич. Но его ведь зовут... его ведь зовут... Миляга никак не мог вспомнить отчество любимого вождя.

— Я извиняюсь, — начал он нерешительно, — но ведь, кажется, у папы товарища Сталина другая фамилия. И имя не такое. — Постепенно капитан приходил в себя. — Почему же, собственно говоря, вы себя выдаете за папу товарища Сталина?

— Потому что я и есть папа товарища Сталина. Мой сын, товарищ Зиновий Сталин, самый известный в Гомеле зубной техник.

— Вот оно что! — К капитану вернулось игривое настроение. — Ну что ж, у нас зубные техники тоже работают очень неплохо.

Он нажал кнопку звонка. В дверях появилась Капа.

— Свинцова! — приказал капитан.

— Сейчас. — Капа вышла.

— Вы хотите опять позвать сюда этого идиота? — забеспокоился Сталин. — Вы знаете, я вам не советую этого делать. Вы еще молодой человек, у вас все впереди. За-

чем вам портить свою карьеру? Послушайте совета старого человека.

— Я вас уже слушал, — улыбнулся капитан.

— Послушайте еще. Я с вас денег за совет не возьму. Я вам только хочу сказать, что, если кто-нибудь узнает, что вы арестовали и били Сталина, пусть даже не того Сталина и даже не его папу, а просто какого-нибудь Сталина, боже мой, вы даже не представляете, что с вами будет!

Капитан задумался. Пожалуй, старик прав. Положение действительно щекотливое.

Вошел Свинцов.

— Звали, товарищ капитан?

— Выйди, — сказал Миляга. Свинцов вышел.

— Послушайте, — сказал капитан. — Моисей... э-э...

— Соломонович, — не без достоинства подсказал Сталин.

— Моисей Соломонович, зачем вам носить эту фамилию? Вы же знаете, кому она принадлежит.

— Во-первых, она принадлежит мне, — сказал Моисей Соломонович. — Потому что мой отец был Сталин и мой дедушка тоже Сталин. Нам эту фамилию дали еще до царя. Дедушка имел небольшой заводик, где он варил сталь. И поэтому его прозвали Сталин.

— Но все-таки неудобно такое совпадение...

— Это вам неудобно, а мне даже очень удобно. Потому что, если у меня будет фамилия Шпульман или, например, Иванов, так-таки этот ваш идиот сможет вставлять мне зубы, сколько захочет. Между прочим, в Гомеле начальник много раз предлагал мне менять мою фамилию, но я сказал ему одно слово — нет. Между прочим, он был на вас очень похож. Это был не ваш брат?

— У меня нет братьев, — грустно сказал капитан. — Я был единственный ребенок в семье.

— Мне так вас очень жаль, — посочувствовал Сталин. — Один ребенок в семье — это всегда плохо. Потому что он может вырасти эгоист.

Это замечание капитан пропустил мимо ушей. Изорвав протокол допроса, он бросил его в корзину. Затем он встал, лично поднял с полу танкистский шлем, обдул его и протянул гостю.

— Очень рад был познакомиться, — улыбнулся Миляга и пожал Моисею Соломоновичу руку.

Но тот уходить не спешил. Прежде чем покинуть Учреждение, он попросил вернуть ему голенища и выписать направление в областную поликлинику для ремонта зубных протезов.

— Это мы устроим. — Капитан вызвал Капу и приказал ей немедленно составить соответствующий текст.

Капа была потрясена приказанием, не зная, чем оно продиктовано. Учреждение всегда проявляло заботу о людях, но не до такой степени!

— Может быть, вы отправите его на курорт? — спросила она насмешливо.

Старик оживился и просил на курорт его покуда не отправлять.

— Я очень люблю курорт и особенно Крым, — сказал он. — Крым — это жемчужина юга, это цимес. Но я боюсь, что туда скоро войдут эти немцы.

— Да уж немцы бы вас полечили, — сказала Капа многозначительно.

Ей тут же пришлось пожалеть о своем неосмотрительном замечании. Старик выразил явное недовольство.

— Эта девушка, мне кажется, немножко антисемитка, — сказал он с явной тревогой за ее будущее. — А ведь она молодая и выросла, я думаю, не при старом режиме. И наверное, она партийная или комсомолка.

Глядя на Капу, как на несчастную калеку, он вздыхал, охал, качал головой и сказал с горечью, что, если она не изменит своих убеждений, ей придется тоже целовать его «в заднее место». Однако, прежде чем приступить к этой церемонии, ей придется вытереть губы.

— Потому что моя жена Циля, — объяснил он, — очень ревнива. И если она увидит губную помаду, получится целый гвалт и разлад семьи.

Не понимая, что происходит, Капа взглянула на капитана. Почему он не прикажет немедленно его расстрелять?

— Капочка, — улыбнулся ей капитан, явно торопясь замять инцидент, — я тебя очень прошу — пойд и выпиши товарищу направление.

Обиженно поджав губы, Капа отправилась выполнять приказание. Она тут же вернулась и, не глядя на старика, спросила, как его фамилия. Старик охотно открыл рот, но его опередил капитан.

— Не нужно никакой фамилии, — быстро сказал он. — Напиши на предъявителя.

— Ничего не понимаю, — сказала Капа. — Что это за человек, у которого нет фамилии?

— У меня есть фамилия, — сказал старик.

— Да. У него есть фамилия, — подтвердил капитан, — но она секретная. — Он улыбнулся отдельно старику и отдельно Капе. — Пойди и напиши что тебе сказано. Предъявитель сего направляется...

Несколько минут спустя капитан провожал старика до ворот, как самого почетного гостя. На лавочке у ворот действительно сидела старая женщина. Она держала на коленях рваную плетеную кошелку и смотрела прямо перед собой. Сразу было видно, что ожидание есть привычное ее состояние. Минуты и часы ожидания она заполняла обычно перечислением великих людей, которых дал миру ее народ. Сейчас она смотрела прямо перед собой и, загибая пальцы, бормотала:

— ...Маркс, Эйнштейн, Спиноза, Троцкий, Свердлов, Ротшильд...

— Циля, — сказал ей Сталин, — я хочу познакомить тебя с этим молодым человеком. Это очень интересный молодой человек.

— Он еврей? — оживилась Циля.

— Он не еврей, но очень интересный молодой...

— Ох! — потеряв к Миляге интерес, покачала головой Циля. — Что у тебя за дурная привычка? Как только приезжаем на новое место, ты сразу идешь к этим гоям. Неужели ты не можешь найти себе другую компанию?

— Циля, ты напрасно так говоришь. Это очень хороший молодой человек. Он даже немножко лучше того, который был в Гомеле. Потому что тот, который был в Гомеле, держал меня в тюрьме трое суток, и трое суток я ему объяснял, почему меня нельзя держать в тюрьме. А этот понял все сразу.

Вернувшись к себе, капитан Миляга сказал Капе что-то примирительное и взял у нее письмо, пришедшее с

сегодняшней почтой. Вероятно, это была анонимка. Адрес Учреждения был написан левой рукой, адрес отправителя вовсе отсутствовал. В этом не было ничего необычного. В Учреждение, возглавляемое капитаном Милягой, граждане почти всегда писали письма без обратного адреса и за редкими исключениями левой рукой. (Исключения составляли левши, они обычно писали правой рукой.) В таких письмах содержались обычно мелкие доносы. Кто-то критиковал карточную систему. Кто-то выражал сомнение в нашей скорой победе над немцами. Кто-то на кухне рассказал анекдот сомнительного содержания. Некий бдительный товарищ просил обратить внимание на творчество поэта Исаковского. «Слова данного поэта, — писал бдительный товарищ, — в песне «Лучше нету того цвету...» звучат с пластинок и разносятся при помощи радио на весь Советский Союз, в том числе и известная строчка «Как увижу, как услышу». Но прислушайтесь внимательно, и вы уловите нечто другое. «Каку вижу, каку слышу» — вот так звучит этот текст, если прислушаться». Бдительный товарищ предлагал пригласить поэта Куда Надо и задать ему прямой вопрос: «Что это? Ошибка или злой умысел?» Заодно автор письма сообщал, что он уже сигнализировал об этом вопиющем факте в местную газету, однако ответа до сих пор не получил. «Упорное молчание газеты, — делал вывод бдительный товарищ, — поневоле наводит на мысль, не находится ли редактор в преступной связи с поэтом Исаковским, а если находится, то не является ли это признаком разветвленной вредительской организации?»

К чести Учреждения надо сказать, что оно принимало меры далеко не по каждому такому сигналу, иначе на воле не осталось бы ни одного человека.

Итак, письмо, пришедшее с последней почтой, на первый взгляд казалось вполне заурядным. Но капитану почему-то подумалось, что именно в этом письме содержится важное сообщение. Он вскрыл письмо и с первых строк понял, что не ошибся.

«Сообщаем, что в нашем селе Красное скрывается дезертир и предатель Родины товарищ Чонкин Иван, который проживает в доме почтальона Беляшовой Анны

и имеет при себе оружие, а также боевую технику в виде аэроплана, который не летает на бой с немецко-фашистскими захватчиками, а стоит в огороде без всякой пользы в период тяжелых испытаний для нашей страны. Красноармеец Чонкин Иван, хотя его место на фронте, на фронте не воюет, а занимается развратом, различными видами пьянки и хулиганства. Вышеупомянутый Чонкин Иван высказывал незрелые мысли и недоверие к марксистско-ленинскому учению, а также к трудам Ч. Дарвина о происхождении человека, в результате которых обезьяна в человека превратилась посредством труда и осмысленных действий. Плюс к вышеуказанному, он допустил преступную поправку скотиной Беляшовой Анны огорода известного местного селекционера и естествоиспытателя Гладышева Кузьмы, и этими своими действиями Чонкин безусловно нанес большой урон нашей советской науке сельского хозяйства на ниве гибридизации. Просим унять зарвавшегося дезертира и привлечь к ответственности по всей строгости советских законов. К сему жители деревни Красное».

Капитан прочел письмо и красным карандашом подчеркнул слова «дезертир, предатель, Чонкин». Синим карандашом подчеркнул фамилию «Гладышев», сбоку написал «анонимщик» и поставил вопросительный знак.

Письмо было как раз кстати. Пора было приниматься за претворение в жизнь указаний Верховного Главнокомандующего. Капитан вызвал к себе лейтенанта Филиппова.

— Филиппов, — сказал он ему, — возьми сколько тебе нужно людей, завтра поедешь в Красное, арестуешь дезертира по фамилии Чонкин. Ордер получишь у прокурора. Разузнай, кто такой Гладышев. Может быть, он нам еще пригодится.

19

С вечера небо затянуло обложными тучами и пошел дождь. Он шел не переставая всю ночь, и к утру дорогу так развезло, что идти по ней было немыслимо. Нюра шла по обочине, и ее большие, отцовские еще сапоги то и дело слезали, приходилось придерживать их за голенища. Да еще сумка от дождя набухла и норовила сполз-

ти с плеча. Промаявшись так километра два с половиной, вышла Нюра к первой развилке и увидела крытую брезентом полуторку. Возле нее копались несколько человек в серых гимнастерках. Промокшие и перепачканные с ног до головы, они расчищали кто лопатами, а кто и просто руками дорогу перед машиной, а один с двумя кубиками на петлицах стоял чуть в стороне и курил, прикрывая ладонью от дождя расклеившуюся самокрутку. Сзади из-за машины вышел огромный верзила с куском фанеры, используемой вместо лопаты. Увидев Нюру, огибавшую полуторку стороной, верзила остановился и уставился на нее зверскими своими глазами из-под рыжих бровей.

— Женщина! — вскричал он удивленно, словно встреча произошла на необитаемом острове.

Люди в серой форме бросили работу, повернулись к Нюре и стали молча ее разглядывать. Под их взглядами Нюра попятилась.

— Девушка! — окликнул Нюру тот, что курил. — До Красного далеко?

— Нет, не далёко, — сказала Нюра. — Вот еще с километр проедете, за бугор перевалите, а там уже будет видно. А кого вам нужно? — Она осмелела.

— Там у вас дезертир какой-то живет, мать его в душу, — доверчиво объяснил стоявший возле лейтенанта боец с лопатой.

— Прокопов, — строго оборвал его лейтенант, — не болтай.

— А чего я такого сказал? — Прокопов бросил лопату и сел за руль.

Машина тронулась, продвинулась немного вперед и снова засела в грязи. Нюра пошла дальше. Она прошла немного по дороге, потом забрала вправо и низом, низом вдоль речки кинулась назад к Красному.

Чонкин спал так крепко, что разбудить его удалось не сразу. Пришлось даже плеснуть в лицо холодной воды. Нюра рассказала о людях, застрявших на дороге, о разговоре насчет дезертира.

— Ну и пущай ловят своего дезертира, — мотал сонной головой и не мог ничего понять Чонкин. — Я-то здесь при чем?

— О господи! — всплеснула руками Нюра. — Да уж-то ты не можешь понять? Дезертир-то кто? Ты.

— Я дезертир? — удивился Чонкин.

— Я, что ли?

Чонкин спустил ноги с кровати.

— Чтой-то ты не то, Нюрка, болтаешь, — недовольно сказал он. — Какой же я тебе дезертир, сама подумай. Меня сюда поставили охранять эроплан. Сколь я ни обращался в часть, никто меня не сымает. Сам я покинуть пост не могу, не положено по уставу. Как же я могу быть дезертиром?

Нюра стала плакать и умолять Чонкина принять какие-то срочные меры, потому что им все равно ничего не докажешь.

Чонкин подумал и решительно встряхнул головой.

— Нет, Нюрка, прятаться мне негоже, потому что я свой пост оставлять не имею права. И снять меня не может никто, окромя разводящего, начальника караула, дежурного по части или... — Чонкин подумал, какое еще ответственное лицо может снять его с поста, и решил, что после дежурного по части он может подчиниться не ниже чем генералу. — ...или генерала, — заключил он. И стал одеваться.

— И чего ж ты будешь делать? — спросила Нюра.

— А что мне делать? — пожал он плечом. — Пойду стану на пост, и пушай попробует кто подойти.

На дворе по-прежнему шел дождь, поэтому Чонкин надел шинель, а поверх нее натянул ремень с подсумками.

— Стрелять в их будешь? — с испугом спросила Нюра.

— Не тронут — не буду, — пообещал Чонкин. — А если уж тронут, пушай не обижаются.

Нюра кинулась к Ивану, обхватила его шею руками, заплакала.

— Ваня, — попросила она, давясь слезами. — Прошу тебя, не противься им. Убьют.

Чонкин провел рукой по ее волосам. Они были мокрые.

— Что делать, Нюрка, — вздохнул он. — Я ж часовой. Давай на всякий случай простимся.

Они поцеловались три раза, и Нюра, хотя и не умела этого делать, перекрестила его.

Чонкин перекинул винтовку через плечо, нахлобучил пилотку и вышел на улицу. Дождь как будто бы утихал, и где-то за Ново-Клюквином засветилась неяркая радуга.

С трудом выдирая ноги из липкой грязи, Иван прошел к самолету, чувствуя, как в худой правый ботинок сразу же просочилась вода. Дождь шуршал, как пшено, по тугой обшивке крыльев, тяжелые капли дрожали на промасленном брезенте чехла. Чонкин забрался на правую нижнюю плоскость, а верхняя укрывала его от дождя. Сидеть было не очень удобно, потому что плоскость была покатой и скользкой. Зато обзор был хороший, и Чонкин держал в поле зрения обе дороги — верхнюю и ту, что шла вдоль берега Тёпы.

Прошел час, никто не появлялся. Прошло еще полчасика, Нюра принесла завтрак — картошку с молоком. Тут кончился дождь и выглянуло солнышко. Оно отразилось в лужах и засверкало яркими блестками в каждой капле. То ли от солнца, то ли от завтрака, то ли от того и другого вместе у Чонкина улучшилось настроение и прошло ощущение близкой опасности. И стал он даже немножко подремывать.

— Эй, армеец!

Чонкин вздрогнул и вцепился в винтовку. У забора стоял Плечевой. Он стоял босиком, и обе штанины его были подвернуты почти до колен. Через плечо перекинут был бредень.

— Ищу напарника с бредешком походить, — объяснил он, с любопытством поглядывая на Чонкина.

— Отойди, — сказал Чонкин и отвернулся. Но одним глазом приглядывал все-таки за Плечевым.

— Да ты что? — удивился Плечевой. — Обиделся на меня? Если ты насчет того, что я про Борьку рассказывал, так это ты зря. Я сам не видел, может, она с ним и не живет. — Плечевой повесил бредень на забор, нагнулся и просунул ногу между жердями. Он собирался просунуть уже и вторую, но Чонкин соскочил с плоскости.

— Эй, эй, не лезь! Застрелю! — закричал он и направил винтовку на Плечевого.

Плечевой попятился назад, поспешно стащил бредень с забора.

— Чокнутый ты, паря, ей-богу, — проворчал он и направился к реке.

Тут из-за бугра показалась крытая машина. Шофер газовал и крутил баранку. Рядом с ним на подножке, держась за дверцу, стоял перепачканный лейтенант и командовал. Остальные люди в серых мундирах, уже и во все с ног до головы заляпанные грязью, взмыленные, подталкивали. Машина все равно пробуксовывала, и зад ее заносило то в одну сторону, то в другую. С любопытством наблюдая эту неожиданную сцену, Плечевой посторонился.

— Эй, товарищ, помог бы! — хрипло прокричал ему лейтенант.

— Ну да, делать нечего, — пробурчал Плечевой и, повернувшись, медленно пошел дальше. Но потом ему стало совсем любопытно, он вернулся и пошел обратно за машиной, которая подъехала к правлению и там остановилась.

20

Иван Тимофеевич Голубев в своем кабинете трудился над составлением отчета о ходе сеноуборки за последнюю декаду. Отчет был, конечно, липовый, потому что никакой уборки в последнюю декаду почти что не было. Мужики уходили на фронт, бабы их собирали — какая уж тут уборка! В райкоме, однако, такую причину уважительной не считали. Борисов матерился по телефону, требовал выполнения плана. Он, конечно, знал, что требует в эти дни невозможного, но бумажка о сделанной работе была для него важнее самой работы — его тоже материли те, кто стоял над ним. Поэтому он собирал бумажки со всех колхозов, складывал цифры, составлял свою бумажку и посылал в область, где на основании районных отчетов тоже сочиняли бумажку, и так шло до самого верха.

Вот почему председатель Голубев сидел сейчас в кабинете и вносил свою лепту в общее большое бумажное дело. Он расчертил лист бумаги на клеточки, в которых против фамилий бригадиров проставлял гектары, центнеры, проценты и трудодни. Потом позвал счетовода Волкова, сидевшего в соседней комнате. Волков быстро

на счетах сложил цифры в каждой колонке, и председатель проставил их в графе «Итого». Отпустив счетовода, председатель поставил свою четкую подпись, подул на свежее испеченный документ и отодвинул, чтобы полюбоваться издали. Цифры выглядели внушительно, и председатель поймал себя на ощущении, что сам этим цифрам частично верит. Сделав дело, встал, чтоб размяться. Потягиваясь, подошел он к окну и застыл с поднятыми руками.

Перед конторой стояла полуторка с крытым верхом. Возле нее толпились перепачканные люди в серых мундирах, а двое поднимались уже на крыльцо. «За мной!» — ахнул мысленно председатель. Как ни готовился он к своей участи, но сейчас появление этих серых людей застало его врасплох. Тем более что он просился на фронт и, кажется, его просьбу собирались удовлетворить. Теперь все кончено. Председатель заметался по кабинету. Что делать? Бежать бессмысленно, да и некуда — вон их шаги слышны в соседней комнате, там, где сидит счетовод. Спрятаться? Смешно. Вдруг взгляд его упал на только что составленную бумагу. Вот она, улика! Сам себе подписал приговор. Что делать? Сжечь? Поздно. Изорвать? Склеют. Выход был только один. Иван Тимофеевич скомкал бумагу и затолкал в рот. Но прожевать не успел.

Дверь отворилась, на пороге появились двое. У первого, щуплого, были кубики на петлицах, у второго, со звероподобным лицом, — треугольнички.

Лейтенант, размазывая грязь, стер рукавом пот с лица и поздоровался. В ответ раздалось неясное мычание.

Решив, что перед ним обычный глухонемой, лейтенант недовольно поморщился, ибо не любил людей, не умеющих отвечать на задаваемые им вопросы.

— Где председатель? — строго спросил он. — Голова! — Руками он изобразил большую голову.

— Муу-у, — промычал председатель и покорно ткнул себя пальцем в грудь.

Лейтенант сперва удивился, он никогда не видел глухонемых председателей (как же он выступает на собраниях?), но подумал, что раз так есть, значит, так надо, и стал объяснять, помогая себе руками:

— Понимаешь, тут есть один человек... дезертир, понимаешь? — Лейтенант как мог изобразил сначала бой («паф-паф»), а затем человека, бегущего с поля боя. — И мы его должны... — Он выхватил из кобуры пистолет и ткнул председателя им в живот: — Руки вверх!

Председатель отвалил нижнюю челюсть, заслонявленный ком бумаги выпал у него изо рта, а сам он вдруг зашатался и рухнул на пол, ударившись при этом затылком о стену.

Лейтенант растерялся, посмотрел на председателя, потом на бойца, безмолвно застывшего возле дверей.

— Вот черт, — пробормотал он растерянно. — Увидел пистолет и сразу в обморок. Бумагу зачем-то жрет. — Он поднял с пола изжеванную бумагу, брезгливо развернул ее, посмотрел, бросил на стол. Потрогал лежащего носком сапога, потом нагнулся, стал бить его по щекам. — Эй, вставай, слышь, что ли, вставай, нечего тут придуриваться. — Взял руку, пощупал запястье. — Не разберу — есть пульс или нет.

Он расстегнул на председателе френч, рубашку и приложил ухо к груди.

— Свинцов, не топай, — сказал он и прислушался. Сердце если и билось, то так тихо, что его не было слышно.

— Ну что? — спросил с любопытством Свинцов.

— Не разберу. — Лейтенант поднялся с колен, хотел отряхнуть их, но, посмотрев на брюки, понял, что этого делать не надо. — А ну-ка послушай ты, у тебя, может, слух лучше.

Свинцов в свою очередь стал на колени и приложил ухо к груди. Потом поднял голову и сказал:

— Мыши.

— Какие мыши? — не понял лейтенант.

— Под полом скребутся, — объяснил Свинцов. — А может, и крысы. Писк такой грубый, вроде бы не мышиный. У меня в подполе прошлый год завелись, а я попервах не понял, думал, мыши и кошку сдуру туда и запусти. Так они на ее там как набросились и хвост объели, еле жива осталась.

— Свинцов, я тебе разве мышей слушать приказывал? Сердце бьется или не бьется?

— А кто его знает, — ответил Свинцов. — Я же не врач и в этом деле без особого понимания. Я думаю так: фортку надо открыть для свежего воздуха. Если живой, значит, очнется, если мертвый — с носа чернеть начнет. А так разве определишь?

— Черт-те чего, — сказал в сердцах лейтенант, — народ какой-то пошел слабонервный. И чего они нас боятся? Мы же кого попало не хватаем, а только по ордеру. Ладно, хрен с ним, пусть лежит. Пойди в соседнюю комнату, приведи однорукого. Только не груби, а то и он загнется, где мы тогда понятого возьмем?

Свинцов открыл дверь в соседнюю комнату и позвал Волкова. Волков робко переступил порог, а когда увидел лежащего под столом председателя, вовсе позеленел и затрясся от страха.

— Вы знаете этого человека? — кивнул лейтенант на неподвижно распластанное тело.

— Не знаком! — прокричал Волков, прикусив с перепугу язык.

— Как не знаком? — удивился лейтенант. — Кто же это?

— Председатель Голубев, — теряясь от нелепости своих ответов, пролепетал Волков. — Но я с ним только по службе, а в смысле личных отношений мы даже не разговаривали.

— Так уж не разговаривали? — недоверчиво посмотрел лейтенант. — Что ж это, вы встречались и ни разу ни одним словом не перемолвились?

— Ни одним... Ей-богу, ни одним. Я, конечно, беспартийный... образование у меня маленькое, я в этих делах ничего не понимаю.

— А мы тебя научим понимать, — с места сказал Свинцов.

— Он мне однажды, правда, сказал, что труды Маркса — Энгельса рабочему человеку понять трудно, тут, мол, нужно иметь специальную политическую подготовку.

— Так, — сказал лейтенант. — И все?

— И все.

Свинцов тяжело шагнул к Волкову и приставил к его носу огромный красный кулак, заляпанный родинками или веснушками.

— Ты у меня брось запыраться, а то я тебе нос набок сверну. Тебя лейтенант вежливо спрашивает, так ты, падло, вежливо отвечай.

Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы лейтенант не вспомнил, что пришел сюда вовсе не затем, чтобы допрашивать Волкова. Оборвав грубость Свицова, он объявил Волкову, что ему в качестве понятого доверяют присутствовать при аресте дезертира Чонкина.

21

Они шли развернутым строем по широкой улице Красного. Их было семь человек. Восьмым был счетовод Волков, он плелся, сильно отстав и испуганно озираясь по сторонам, словно ждал неожиданного нападения сзади.

Завидев их, жители деревни прятались по избам и осторожно выглядывали из-за занавесок, дети переставали плакать и собаки не лаяли из-под ворот.

Тишина стояла, как перед рассветом в тот самый час, когда все, кто ложится поздно, уже легли, а те, кто рано встает, еще не встали.

Люди, смотревшие за ними из-за занавесок, замирали, когда строй приближался к их избам, и облегченно издыхали, когда он проходил мимо. И снова затаивались в любопытстве и страхе: куда же они? К кому?

Когда же серые люди прошли дом Пладышева, всем стало ясно: идут к Чонкину, больше не к кому — одна только изба перед ними осталась, последняя.

— Стой! Кто идет? — неожиданно для всех раздался голос Чонкина. В предшествующей тишине он показался таким громким, что его услышала вся деревня.

— Свои, — не останавливаясь, буркнул лейтенант и дал знак подчиненным не задерживаться, идти дальше.

— Стой! Стрелять буду! — Чонкин щелкнул затвором.

— Не стреляй, ты арестован! — прокричал лейтенант, на ходу расстегивая кобуру револьвера.

— Стой, стрелять буду! — повторил Чонкин и, взяв оружие на изготовку, дал предупредительный выстрел в воздух.

— Бросай оружие! — Лейтенант быстрым движением выхватил пистолет и, не целясь, выстрелил в направлении Чонкина. Чонкин ловко нырнул под фюзеляж и вылез с другой стороны. Пуля прошила капот двигателя и застряла где-то там внутри.

Чонкин пристроил винтовку на конце фюзеляжа возле киля и осторожно высунул голову. Серые приближались. Теперь они все держали пистолеты в руках, а безоружный счетовод Волков, все удаляясь от лейтенанта и отставая, стремился укрыться за широкой спиной Свинцова. Чонкин, не теряя времени, совместил линию прицела с подбородком лейтенанта и нажал на спусковой крючок. Но в этот момент его кто-то толкнул под локоть, и это спасло лейтенанта. Пуля просвистела над самым его ухом.

— Ложись! — крикнул лейтенант и первым самоотверженно бухнулся в грязь.

Чонкин вздрогнул и обернулся. Испуганный выстрелом, кабан Борька отскочил и теперь приближался снова с настороженным дружелюбием.

— Брысь! — Чонкин замахнулся на Борьку прикладом, но тот, поняв этот жест как шутку, набросился на Ивана, и унять его было не просто. А серые, хоть и залегли рядом со своим командиром, могли в каждую минуту подняться и ринуться в наступление.

Первым опомнился лейтенант.

— Эй, ты! — Отклеившись от земли, лейтенант поднял над головой какую-то бумагу. — Ты арестован. Вот ордер на твой арест, подписанный прокурором.

— Неужели сам прокурор подписал? — удивился Чонкин.

— А что же я буду обманывать, — обиделся лейтенант не столько за себя, сколько за свое Учреждение. — Мы без санкции прокурора не берем,

— И фамилию мою прокурор знает?

— А как же. Ты ведь — Чонкин?

— Чонкин. А то кто ж. — Он даже засмеялся, смущенный тем, что такие большие люди отрывались от своих больших дел, запоминали его фамилию и записывали на официальной бумаге.

— Ну, так ты будешь сдаваться? — допытывался лейтенант.

Чонкин подумал. Ордер — документ, ничего не скажешь, серьезный. Но в уставе не сказано, чтоб часового с поста снимали по ордеру.

— Не могу, товарищ лейтенант, никак не могу, — придавая своему голосу интонацию полного сочувствия, сказал Чонкин. — Я, конечно, понимаю — у вас задание. Но кабы ж ты был разводящий, либо начальник караула, или хотя б дежурный по части...

— Считай, что я — дежурный по части, — согласился лейтенант.

— Не, — сказал Чонкин. — В нашей части таких нет. Я всех командиров знаю на личность, потому — служил при столовой. Понял? И форма у тебя не такая.

— Ну ладно, — рассердился лейтенант. — Не хочешь сдаваться по-хорошему, заставим по-плохому.

Он решительно встал на ноги и двинулся к Чонкину. В одной руке он держал пистолет, а другую с ордером поднял над головой. За лейтенантом поднялись и осторожно передвигались его подчиненные. Счетовод Волков остался на месте.

— Эй! Эй! — закричал Чонкин. — Лучше стойте! А то ведь я буду стрелять! Я ведь на посту!

Он во что бы то ни стало хотел избежать кровопролития, но ему больше не отвечали. Чонкин понял, что переговоры завершились неудачно, и снова перекинул винтовку через фюзеляж. Борька мешал ему, хватал зубами за полу шинели, тогда Чонкин левой рукой стал чесать ему бок, приговаривая: «Боря-Борь-Борь-Борь». Держать винтовку одной рукой было неудобно, но зато Борька теперь не мешал, он тут же размяк, улегся в грязь и задрал ноги. Как все свиньи, он любил ласку.

— Чонкин! — предупредил лейтенант. Приближаясь, он размахивал ордером и пистолетом. — Не вздумай стрелять, будет хуже.

Прозвучал выстрел, пуля прожгла бумагу насквозь, да еще в том самом месте, где стояла печать с подписью прокурора. Лейтенант и его подчиненные, теперь уже без команды, повалились на землю.

— Ты что наделал, паскуда! — чуть не плача, закричал лейтенант. — Ты испортил документ, подписанный про-

курором! Ты прострелил печать с гербом Советского Союза! Ты за это ответишь!

Очередной выстрел снова заставил его ткнуться в грязь носом. Стараясь не поднимать голову, лейтенант повернул лицо к Свинцову.

— Свинцов, заползай с той стороны! Надо его отвлечь.

— Есть! — ответил Свинцов и приподнял зад, в который тут же, как шмель, впилась пуля, посланная Чонкиным.

Свинцов вдавил себя в мокрую землю и заревел нечеловеческим голосом.

— Что с тобой, Свинцов? — обеспокоился лейтенант. — Ты ранен?

— Ва-ва-ва-ва! — выл Свинцов не от боли, а от страха, что рана смертельная.

Чонкин из-за укрытия бдительно следил за своими противниками. Они лежали в грязи и все, кроме рыжего, не подавали признаков жизни. Позади всех лежал влипший в эту историю ни за что ни про что счетовод Волков.

За своей спиной Чонкин услышал чьи-то медленные шаги.

— Кто там? — вздрогнул он.

— Это я, Ваня, — услышал он голос Нюры.

— А, Нюрка, — обрадовался он. — Подойди. Только не высувайся, убьют. Почеши кабана.

Нюра присела над кабаном, стала чесать его за ухом.

— Видала? — довольно сказал Чонкин.

— А дальше-то что будет? — уныло спросила Нюра.

— А чего дальше? — Чонкин не спускал глаз с лежавших в грязи. — Пушай лежат, пока меня не сменят.

— А если тебе на двор надо будет?

— Если на двор... — Чонкин задумался. Но тут же нашел выход из положения. — Тогда ты посторожишь.

— А когда стемнеет? — спросила Нюра.

— И когда стемнеет, будем стеречь.

— Дупой, — вздохнула Нюра. — Они же серые. Их и сейчас в грязи не видать. А когда стемнеет, и вовсе.

— Ну вот еще каркаешь тут под руку, — рассердился он на Нюру по свойственной человеку привычке направлять свой гнев на тех, кто говорит неприятную правду,

как будто, если не говорить, сама правда от этого станет лучше. Но все же Чонкин задумался, стал перебирать в уме возможные варианты. И придумал.

— Нюрка, — сказал он, повеселев. — Вали в избу, возьми свою сумку и веревку подлиньше. Поняла?

— Нет, — сказала Нюра.

— Опосля поймешь. Вали.

22

Вскоре желающие могли видеть такую картину. Из своей избы вышла Нюра с длинной веревкой и с почтальонской брезентовой сумкой. Она зашла сзади лежавших на пороге людей и дала Чонкину знак рукой.

— Эй, вы! — закричал Чонкин из-за своего укрытия. — Сейчас к вам подойдет Нюрка, сдадите ей левольверы. Кто будет противиться, убью на месте. Понятно?

Ему никто не ответил. Нюра привыкла чистить рыбу с головы. Сначала она подошла к лейтенанту.

— Отойди, сука, застрелю, — прошипел лейтенант, не поднимая головы. Нюра остановилась.

— Ваня! — закричала она.

— Чего?

— Он обзывается.

— А ну отойди в сторонку! — Чонкин навел ствол на лейтенанта и прищурил левый глаз.

— Эй, не стреляй! Я пошутил! Вот мой пистолет.

Высоко, чтобы Чонкин видел, лейтенант перебросил пистолет через себя, и он плюхнулся к ногам Нюры. Нюра очистила его от грязи и бросила в сумку.

— А ты, дядя, чего ждешь? — перешла Нюра к Свинцову, который лежал в такой позе, как будто хотел обнять всю землю.

— А я, милая, не жду, — со стоном сказал Свинцов. — Вон он лежит.

Действительно, его револьвер системы «наган» лежал в стороне от хозяина на подсыхающей кочке. Нюра кинула его тоже в сумку.

— Ой! — простонал Свинцов. — Ой, не могу!

— Раненый, что ли? — обеспокоилась Нюра.

— Раненый, милая. Мне перевязочку бы. Кровью ведь изойду. Детишек у меня трое. На кого оставляю?

— Сейчас, сейчас, потерпи еще, — заторопилась Нюра. Хоть Свинцов был на вид чистый зверь, но у нормального человека даже зверь вызывает жалость, если страдает.

Дальше все пошло как по маслу. Остальные члены приезжей команды, видя добрый пример старших по званию, беспрекословно подчинились и сдали оружие. Они даже не стали сопротивляться, когда Нюра связывала их общей веревкой, наподобие того, как связываются альпинисты перед трудным подъемом.

23

Дело шло к концу рабочего дня. От наряда, посланного на поимку дезертира, не было ни слуху ни духу, и капитан Миляга начал нервничать. Секретарша Капа битых два часа просидела на телефоне, извела телефонисток на станции, но в Красном никто не снимал трубку.

— Ну что? — то и дело высовывался из кабинета начальник.

Капа виновато пожимала своими хрупкими плечиками, словно из-за нее получилась такая история, и снова терпеливо крутила ручку телефонного аппарата.

За десять минут до конца работы Капа стала приводить в порядок прическу, не зная — стоит ли это делать. Если начальник позовет к себе, то все равно растреплет. Но сегодня, наверное, не позовет, куда-то запропастились эти гаврики во главе с лейтенантом Филипповым, и начальнику явно не до нее. Ровно в восемнадцать часов над дверью раздался резкий звонок. Капа подхватилась и, вихляя задом чуть больше, чем в обычное время, вошла к капитану, цветя ему навстречу неофициальной улыбкой. Капитан, улыбаясь в ответ, предложил ей прогуляться в деревню Красное, потому что из сотрудников никого, кроме нее, не осталось, а он в данный момент покинуть учреждение не может.

— Если хочешь, тут лошадь какая-то приبلудилась — возьми, — сказал капитан.

— Я ездить верхом не умею, — робко сказала Капа.

— Ну тогда так пробегись. Ты молодая, тебе семь километров не крюк.

— Да что вы, Афанасий Петрович! — обиделась Капа. — Куда я побегу по такой грязище?

— Ничего, наденешь резиновые сапоги, — сказал капитан. — Тебе и идти-то только в одну сторону, а обратно вместе со всеми на машине приедешь. Да я думаю, ты их вообще встретишь на полдороге.

Капа пробовала еще возражать, но капитан ледяно улыбнулся и, назвав ее по фамилии (это был признак крайнего раздражения), как дважды два объяснил Капе, что хотя она и является вольнонаемной, но служба в военном учреждении в военное время обязывает ее выполнять приказания беспрекословно, точно и в срок, о чем она давала подписку, нанимаясь на эту работу.

Трясущимися губами Капа сказала: «Есть!» — и с плачем вылетела из кабинета. Она побежала домой за резиновыми сапогами и по дороге клялась самыми страшными клятвами, что никакие уговоры и никакие угрозы (вплоть до увольнения) не заставят ее больше лечь с этим бессердечным человеком на этот кошмарный ободраный и продавленный, заляпанный чернилами служебный диван.

Однако приказание ей выполнить не удалось. Ее муж, директор местного молокозавода, давно подозревавший жену в том, что она ему изменяет, устроил ей сцену ревности и запер в чулане.

Солнце клонилось к горизонту, когда капитан Миляга, не дождавшись возвращения своих подчиненных и никаких известий от Капы, запер вверенное ему Учреждение на большой висячий замок, оседлал приبلудную лошадь и верхом отправился вслед за пропавшей командой.

24

По подсохшей к концу дня дороге лошадь быстро несла капитана Милягу вперед в неизвестность. Временами она от избытка энергии переходила на рысь, но капитан ее сдерживал, желая продлить неожиданную прогулку. Настроение Миляги улучшилось. Он беспечно поглядывал по сторонам, воспринимая затемненную сумерками местность как что-то особенное. «Эх, — думал он, — до чего же наша природа красива! В какой еще стране найдешь такие сосны, березки и прочее?» Ни в какой другой стране Миляга в жизни своей не бывал, но, по врожден-

ному патриотизму, был убежден, что достойная внимания растительность там вовсе не водится. «Хорошо! — радовался он, наполняя воздухом прокуренные легкие. — Думается, процент содержания кислорода здесь больше, чем в кабинете». Последнее время Миляга проводил в кабинете дни и ночи, принося посильный вред себе и отечеству. Правда, особо ретивым не был он никогда. И давал постоянно средние показатели, понимая, что на невидимом фронте ударником быть так же опасно, как отстающим. В жизни работника той службы, к которой принадлежал капитан, бывают тревожные моменты, когда торжествует Законность. За время своей карьеры Афанасию Миляге дважды пришлось пережить подобную неприятность. Оба раза шерстили всех сверху донизу, но Миляге удалось уцелеть и даже продвинуться по службе от старшего надзирателя до начальника районного отдела. Это позволяло ему смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом, с надеждой уцелеть, когда в очередной раз восторжествует Законность.

Размышляя таким образом, не заметил он, как стемнело, и уже в полной темноте въехал в Красное. Остановившись у крайней избы, капитан услышал за калиткой строгий женский голос:

— Борька, шут тебя подери, ты пойдешь домой или нет, или хочешь, чтобы я тебя хворостиной огрела?

В ответ послышалось веселое хрюканье, из чего капитан, по свойственной ему привычке анализировать и сопоставлять всевозможные факты, догадался, что Борька не человек.

— Девушка, — сказал капитан в темноту, — не знаешь, где тут наши работники?

— Какие работники?

— Сама знаешь, — стыдливо сказал Миляга.

За калиткой помолчали, потом тот же женский голос осторожно спросил:

— А вы кто такой будете?

— Много будешь знать, скоро состаришься, — пошутил капитан.

— Здесь все они, в избе, — подумав, нерешительно сказала девушка.

— Можно зайти? — спросил он.

Девушка поколебалась и опять ответила неуверенно:
— Заходите.

Он ловко соскочил на землю, привязал лошадь к забору и прошел в калитку. Женщина, молодая (как он успел заметить даже в темноте), напоследок обозвав невидимого Борьку паразитом, открыла дверь и пропустила капитана вперед.

Он прошел темными сенями, задевая за какие-то гремящие вещи, потом по коридору, шаря рукой по стене.

— Дверь справа, — сказала девушка.

Нащупав ручку, он вошел в какую-то комнату и зажмурил глаза — на столе горела двенадцатилинейная лампа. Привыкнув немного к свету, он увидел своих подчиненных в полном сборе в количестве семи человек. Пятеро из них сидели на лавке вдоль стены. Лейтенант Филиппов, подложив под щеку кулак, спал на полу, а седьмой — Свинцов — лежал кверху задом на кровати и тихо стонал. Посреди комнаты на табуретке сидел боец с голубыми петлицами и держал в руках винтовку с примкнутым штыком. Увидев вошедшего, боец сразу повернулся и направил винтовку на него.

— Что здесь происходит? — строго спросил капитан.

— Не кричи, — сказал боец, — раненого разбудишь.

— Ты кто такой? — закричал Миляга, хватаясь за кобуру.

Тогда боец вскочил с табуретки и приблизил штык к животу капитана.

— Руки вверх!

— Я тебе сейчас дам руки вверх, — улыбнулся капитан, пытаясь расстегнуть кобуру.

— Я ведь пырну, — предупредил красноармеец.

Встретившись с его беспощадным взглядом, капитан понял, что дело плохо, и медленно поднял руки.

— Нюрка, — сказал боец девушке, все еще стоявшей около дверей, — забери у него револьвер и брось в кошелку.

тил. И ведь пропала не иголка в сене, а солидное Учреждение, занимавшее в ряду других учреждений весьма заметное место. Такое Учреждение, что без него вроде и шагу ступить нельзя. А вот пропало, и все, и никто даже не ойкнул. Люди жили, работали, рождались и умирали, и все это без ведома соответствующих органов, а так, самотеком.

Это безобразие продолжалось бы неизвестно доколе, если бы первый секретарь райкома товарищ Ревкин постепенно не стал ощущать, что вокруг него как будто не хватает чего-то. Это странное ощущение постепенно в нем укреплялось, оно сидело в нем, как заноза, и напоминало о себе везде, где бы Ревкин ни находился: на бюро райкома, на совещании передовиков, на сессии райсовета и даже дома. Не сумев разобраться в своем состоянии, он потерял аппетит, стал рассеян и однажды дошел до того, что надел кальсоны поверх галифе и в таком виде попытался отправиться на работу, но персональный шофер Мотя его тактично остановила.

И вот как-то ночью, когда он лежал, смотрел в потолок, вздыхал и курил папиросу за папиросой, жена Аглая, лежавшая рядом, спросила его:

— Что с тобой, Андрей?

Он думал, что она спит, и подавился дымом от неожиданного вопроса.

— В каком смысле? — спросил он, откашлявшись.

— Ты в последние дни стал какой-то нервный, спал с лица, ничего не ешь и все время куришь. У тебя неприятности на работе?

— Нет, — сказал он, — все в порядке.

— Ты здоров?

— Абсолютно.

Помолчали.

— Андрей, — волнуясь, сказала жена, — скажи мне как коммунист коммунисту: может быть, у тебя нездоровые настроения?

С Аглаей он познакомился больше десяти лет назад, когда они оба проводили коллективизацию. Аглая, тогда еще двадцатипятилетняя комсомолка с пылающим взором, покорила Ревкина тем, что дни и ночи проводила в седле, лихо носясь по району, выискивая и разоблачая

кулаков и вредителей. Ее маленькое, но крепкое сердце не знало пощады к врагам, которых тогда в большом количестве отправляли в холодные земли. Она не всегда понимала гуманную линию партии, не разрешавшей уничтожать всех на месте. Теперь Аглая заведовала детским домом.

Услышав заданный ему вопрос, Ревкин задумался. Он погасил одну папиросу и закурил вторую.

— Да, Глаша, — сказал он, подумав, — ты, кажется, права. У меня действительно нездоровые настроения.

Опять помолчали.

— Андрей, — тихо и непреклонно сказала Аглая, — если ты сам в себе чувствуешь нездоровые настроения, ты должен разоружиться перед партией.

— Да, должен, — согласился Андрей. — Но что будет с нашим сыном? Ведь ему только семь лет.

— Не беспокойся. Я воспитаю его настоящим большевиком. Он забудет даже, как тебя звали.

Она помогла мужу собрать чемодан, но провести в одной постели остаток ночи отказалась по идейным соображениям.

Утром, когда пришла машина, Ревкин приказал шоферу Моте отвезти его Куда Надо, потому что пешком он последнее время не ходил и не смог бы найти дорогу.

К его немалому удивлению, Где Надо Кого Надо не оказалось. Не было ни часовых, ни дежурных, и на больших зеленых воротах висел массивный замок. Ревкин стучал в дверь и в ворота, пытался заглянуть в окна первого этажа — никого не было видно.

«Странно, — подумал Ревкин. — Как это может быть, чтобы в таком Учреждении никого не было?»

— А здесь уже с неделю, наверное, как замок висит, — сказала Мотя, словно угадав его мысли. — Может, их давно разогнали.

— Не разогнали, а ликвидировали, — строго поправил Ревкин и приказал ехать в райком.

По дороге он думал, что в самом деле исчезновение такого серьезного Учреждения нельзя объяснить ничем, кроме как ликвидацией. Но если это так, то почему никто не поставил его в известность? И вообще, можно ли ликвидировать, да еще в военное время, организацию, при помощи которой государство охраняет себя от внутрен-

них врагов? И не объясняется ли исчезновение происка-ми этих самых врагов, которые теперь наверняка активизировали свою деятельность?

Запершись в кабинете, Ревкин обзвонил ряд соседних районов и путем осторожных расспросов выяснил, что повсюду те, Кто Надо, по-прежнему имеются и вполне активно функционируют. От этого известия легче не стало. Положение теперь казалось еще более запутанным. Необходимо было организовать срочное расследование.

Ревкин снял трубку и попросил соединить его с капитаном Милягой.

— Не отвечает, — сказала телефонистка, и только тогда Ревкин понял всю нелепость этого звонка. Ведь если бы Миляга существовал, ему незачем было б звонить. Но, с другой стороны, кто может разобраться в сложном деле исчезновения всех, Кого Надо, если именно те, Кому Надо, и должны заниматься такими делами?

«Надо подать проект, — подумал секретарь, — чтобы в каждом районе было два Учреждения. Тогда первое будет выполнять свои функции, а второе будет наблюдать, чтобы не пропало первое».

Ревкин отметил эту мысль на листке настольного календаря, но тут же явилась следующая: «А кто же будет наблюдать за другим Учреждением? Значит, нужно создать третье, а за третьим — четвертое и так далее до бесконечности, но кто же тогда будет заниматься другими делами?» Получался какой-то заколдованный круг.

Однако размышлять было некогда, надо действовать.

Ревкин послал шофера Мотю на рынок послушать, что говорят бабы. Мотя вскоре вернулась и сообщила, что бабы говорят, будто Учреждение в полном составе выехало в деревню Красное арестовывать какого-то дезертира. Нить была найдена. Теперь Ревкин снова чувствовал себя на своем месте, и непонятное ощущение исчезло, словно заноза, вынутая пинцетом.

Ревкин позвонил в Красное. К телефону подошел председатель Голубев (ожил, оказывается). На вопрос Ревкина, где находится выехавшая в Красное команда, Голубев сказал:

— А их Чонкин арестовал со своей бабой.

Слышимость, конечно, была плохая. Да и трудно было себе представить, чтобы какой-то Чонкин с какой-то бабой могли арестовать сразу всех, Кого Надо. То есть не надо. Ревкину показалось, что Голубев сказал не «с бабой», а «с бандой».

— И большая у него банда? — поинтересовался он.

— Да как сказать... — замялся Голубев, вызывая в своем воображении образ Ньюры. — Вообще-то порядочная.

Не успел еще Ревкин положить телефонную трубку, как уже поползли по району черные слухи. Говорили, что в округе орудует банда Чонкина. Она многочисленна и хорошо вооружена.

По поводу личности самого Чонкина толки были самые противоречивые. Одни говорили, что Чонкин — это уголовник, бежавший из тюрьмы вместе со своими товарищами. Другие спорили, что Чонкин — белый генерал, который последнее время жил в Китае, а теперь вот напал на Советский Союз, собирает он несметное войско, и к нему отовсюду стекаются люди, обиженные советской властью.

Третьи опровергали две предыдущие версии, утверждая, что под фамилией Чонкин скрывается сам Сталин, бежавший от немцев. Рассказывали, что его охрана состоит исключительно из лиц грузинской национальности, а баба у него русская, из простых. Еще рассказывали, что Сталин, увидя, какие порядки творятся в районе, пришел в сильное негодование. Он вызывает к себе всевозможных начальников и сурово наказывает их за вредительство. В частности, арестовал и приказал тут же расстрелять полностью личный состав всех, Кого Надо, во главе с самим капитаном Милягой.

Циля Сталина принесла эту новость из очереди за керосином.

— Мойша, ты слышал? — сказала она мужу, который у окна заколачивал гвозди в подметку. — Люди говорят, что какой-то Чонкин расстрелял твоего знакомого гоа.

— Да, я слышал, — вынув изо рта гвозди, сказал Мойсей Соломонович. — Это был интересный молодой человек, и мне его очень жаль.

Циля пошла разжигать керосинку, но тут же вернулась.

— Мойша, — сказала она взволнованно, — а как ты думаешь, этот Чонкин — еврей?

Моисей Соломонович отложил молоток.

— Чонкин? — повторил он удивленно. — Мне кажется, это ихняя фамилия.

— Чонкин? — Циля посмотрела на мужа, как на глупого человека. — Ха! Он будет мне еще говорить! А как же тогда Ривкин и Зускин?

Возвратясь к керосинке, она сама себе на разные лады повторяла фамилию «Чонкин» и в сомнении качала седой своей головой.

Чтобы как-то нейтрализовать зловещие слухи, местная газета «Большевицкие темпы» в разделе «Занимательная информация» поместила ряд любопытных сведений. Было рассказано, например, о тритоне, пролежавшем пять тысяч лет в замороженном виде и ожившем после того, как его отогрели; о том, что некий народный умелец, слесарь из города Чебоксары, выцарапал на пшеничном зерне полный текст статьи Горького «С кем вы, мастера культуры?». Но поскольку слухи продолжали распространяться, газета, стремясь направить умы по иному руслу, открыла на своих страницах дискуссию: «Правила хорошего тона — нужны ли они?» В статье под таким заголовком лектор райкома Неужелев писал, что всемирно-историческая победа Октябрьской революции принесла народам нашей необъятной страны не только освобождение от власти капиталистов и помещиков, но и отвергла прежние нормы морали и нравственности, заменив их новыми, отражающими коренные перемены, происшедшие в общественных отношениях. Новые нормы прежде всего отличаются четким классовым подходом. Общество победившего социализма, писал лектор, не приемлет буржуазные правила хорошего тона, в которых проявились принципы господства одних людей над другими. Навсегда исчезли из обращения «господин», «милостивый государь», «слуга покорный» и прочие. Слово «товарищ», с которым мы обращаемся друг к другу, свидетельствует не только о равенстве между собой различных групп населения, но и о равенстве мужчин и женщин. Вместе с тем мы отвергаем и проявления нигилизма в области отношений трудящихся между собой.

Неужелев утверждал, что, несмотря на новые принципы, некоторые традиционные нормы поведения должны быть сохранены и в нашем социалистическом обществе. Например, в общественном транспорте (которого, к слову сказать, в Долгове отродясь не бывало) необходимо уступать место инвалидам, людям преклонного возраста, беременным женщинам и женщинам с детьми. Мужчина должен первым здороваться с женщиной, но не подавать первым руку, пропускать женщину вперед и снимать головной убор, находясь в помещении. Конечно, не обязательно целовать дамам ручки, но проявлять внимание и чуткость к товарищам по производству и просто к соседям — необходимо. В связи с этим совершенно нетерпимы такие пережитки прошлого, как взаимная грубость или нецензурная брань. Недопустимо также играть на музыкальных инструментах после двадцати трех часов. Приведя ряд отрицательных примеров, автор заканчивал статью мыслью, что взаимная вежливость является основой хорошего настроения, от которого в конечном счете зависит производительность нашего труда. А поскольку от нашей работы в тылу зависит победа на фронте, решающий вывод напрашивается сам собой. На некоторых статья произвела сильное впечатление. Между прочим, в то время в городе Долгове среди прочих проживали два весьма заметных гражданина. За давностью лет никто уже не помнит их имен, званий и должностей. Старожилы рассказывают, что это были два чудаковатых субъекта, которые летом в соломенных шляпах, а зимой в серых папахах встречались на площади Коллективизации и не спеша прогуливались по улице Поперечно-Почтамтской от площади до колхозного рынка и обратно. Во время прогулок они вели беседы шепотом и с оглядкой на самые актуальные темы. То, что они в разгар военных действий находились в Долгове, а не в действующей армии, заставляет предположить, что они были непризывного возраста. Вечером того дня, когда вышла газета со статьей Неужелева, эти мыслители, встретившись, как обычно, на площади, приветствовали друг друга легким поднятием шляп.

— Ну что вы на это скажете? — с места в карьер спросил Первый Мыслитель и тут же крутнул головой налево,

направо, назад и опять налево, направо, чтобы убедиться, что никто не следит и не подслушивает.

Второй Мыслитель не стал спрашивать, на что «на это». В результате постоянных общений они научились понимать друг друга с полупапека. Второй Мыслитель тоже совершил как бы ритуальное вращение головой налево, направо, назад и сказал:

— Ах, бросьте! Надо же им чем-то заполнять газетную площадь.

— Вы так думаете? — хитро прищурился Первый. — Что же, им больше не о чем писать? Немцы захватили Прибалтику, Белоруссию, Украину, стоят возле Москвы, в районе тоже полная неразбериха: урожай не убран, скотина без корма, где-то орудует банда какого-то Чонкина, а районной газете не о чем больше писать, как о хороших манерах?

— Бросьте, — повторил Второй Мыслитель. — Какому-то лектору взбрело в голову...

— Вот тут-то вы и ошибаетесь! — радостно взвизгнул Первый Мыслитель. Это была его коронная фраза. В каждом споре со своим собеседником он с замиранием сердца ждал именно такого момента, чтобы сказать: «Вот тут-то вы и ошибаетесь!»

— Ни в чем я не ошибаюсь, — недовольно проворчал его собеседник.

— Уверю вас, ошибаетесь. Поверьте мне, я хорошо знаю эту систему. У них никому ничего не взбрет в голову без указания свыше. Здесь все и сложнее и проще. Они наконец-то поняли, — Первый Мыслитель крутнул головой и понизил голос, — что без возврата к прежним ценностям мы проиграем войну.

— Из-за того, что не целуем дамам ручки?

— Да, да! — вскричал Первый Мыслитель. — Именно из-за этого. Вы не понимаете элементарных вещей. Сейчас идет война не между двумя системами, а между двумя цивилизациями. Выживет та, которая окажется выше.

— Ну, знаете! — развел руками Второй Мыслитель. — Это уж слишком. Когда-то гунны...

— Что вы мне говорите про гуннов? Вспомните Македонского!..

И тут пошло! Гунны, Александр Македонский, война с филистимлянами, крестовые походы, переход через Альпы, битва при Марафоне, штурм Измаила, прорыв линии Мажино...

— Вы не понимаете! — размахивал руками Первый Мыслитель. — Между Верденом и Аустерлицем большая разница.

— А что вы мне со своим Аустерлицем? Вы возьмите Трафальгар.

— Заберите его себе!

Так по дороге от площади до рынка и обратно они спорили несколько часов подряд, размахивая руками, останавливаясь, понижая и вновь повышая голос. К единому мнению они не пришли, но зато подышали воздухом, что, как известно, приносит организму большую пользу. Разойдясь далеко за полночь, оба потом долго не спали, перебирая в памяти подробности разговора, и каждый при этом думал: «А вот завтра я ему скажу...»

Достаточно сильное впечатление статья о хороших манерах произвела и на других жителей города. Старая учительница в полемической заметке «А почему бы и нет?», отдавая должное классовому подходу, утверждала тем не менее, что целовать руки дамам не только можно, но и нужно. «Это, — писала она, — красиво, элегантно, по-рыцарски». А рыцарство, по ее словам, является неотъемлемой чертой каждого советского человека. С резкой отповедью учительнице в заметке «Еще чего захотели!» выступил знатный забойщик скота Терентий Кныш. Для чего же, писал он, рабочему человеку целовать руки какой-то даме? А что, если у ней руки не мыты или того хуже — чесотка? «Нет уж, извините, — писал Кныш, — скажу вам с рабочей прямоотой: если у вас нет справки от доктора, я целовать вам руки не буду». Местный же поэт Серафим Бутылко разразился длинным стихотворением «Я коммунизма ясно вижу дали», не имевшим, впрочем, прямого отношения к теме дискуссии.

Подводя итоги дискуссии, газета поблагодарила всех, принявших в ней участие, пожурела учительницу и Кныша за крайности и в конце заключила, что само существование столь различных точек зрения по данному

вопросу свидетельствует о серьезности и своевременности поставленной Неужелевым проблемы, что от нее нельзя отмахиваться, но и решить ее тоже непросто.

Пока газета отвлекала население, руководители района, перебрав все возможные версии, пришли к выводу, что Чонкин, скорее всего, командир немецких парашютистов, которые высадились в районе, чтобы дезорганизовать работу тыла и подготовить наступление войск на данном участке.

Не зная, что делать, районное начальство кинулось в область, область в свою очередь обратилась к военным властям. На ликвидацию банды Чонкина (так называемого Чонкина, говорилось в секретных документах) была брошена снятая с отправлявшегося на фронт эшелона стрелковая часть.

Сгущались серые сумерки, когда полк, соблюдая все правила маскировки, подошел к деревне Красное и окружил ее. Два батальона перекрыли с двух сторон дорогу, третий окопался вдоль огородов (с четвертой стороны была естественная преграда — речка Тёпа).

Выслали двух разведчиков.

26

Арестовать весь личный состав районного Учреждения было для Чонкина делом несложным. Основные трудности возникли потом. Известно, что каждый человек время от времени имеет обыкновение спать. Во время сна он теряет бдительность, и этим могут воспользоваться те, кому выгодно.

Нюра стала подменять Чонкина на посту, но ей это тоже давалось непросто, потому что обязанностей почтальона с нее никто не снимал. Да и хозяйство оставалось на ней.

Кроме того, выяснилось, что работники Учреждения, как и простые смертные, отправляют естественные потребности по нескольку раз в день. Причем эти самые потребности у них почему-то возникают у каждого в разное время. Еще ничего, когда Нюра на месте. Пока Чонкин водит очередного желающего, Нюра сторожит остальных. Но когда Нюры нет или когда она спит, другие могут сбежать, хотя руки у каждого связаны. Сперва Чонкин

выводил всех сразу каждый раз, потом придумал способ иной. Нашел на сеновале старый ошейник, привязал к нему крепкую веревку. Проблема была решена окончательно и бесповоротно. Хочешь по нужде, подставляй шею и будь свободен в пределах длины веревки. Тем более что зимняя уборная находится тут же на скотном дворе, отделенная от основной части избы узеньким коридором. (Потом свидетели показывали, что, как, бывало, ни заглянешь в окно, всегда видишь одну картину: Чонкин сидит на табуретке возле полуоткрытой двери, в одной руке держит оружие, в другой — намотанная на запястье и натянутая веревка.)

Но тут возникла новая трудность. И без того скудный запас Нюриных продуктов резко пошел на убыль. Оказалось, что работники Учреждения и поесть любят не меньше всех остальных групп населения. Нюра поначалу стойко переносила все тяготы и лишения воинской службы, но однажды все же не выдержала.

Однажды в обычное время она вернулась домой. Солнце клонилось к закату, но до вечера было еще далеко. Чонкин с винтовкой в руках сидел, как всегда, на табуретке возле двери, прислонившись спиной к косяку и вытянув ноги. Пленники располагались на своем месте в углу. Четверо на полу резались в дурака, пятый ждал очереди, двое спали, разделив подложенный под головы старый Нюрин ватник, восьмой сидел на лавке и тоскливо смотрел в окно, за которым были речка, лес и свобода.

Никто, кроме Чонкина, не обратил на Нюру никакого внимания. Но и Чонкин ничего не сказал ей, а только поднял голову и посмотрел на Нюру долгим сочувственным взглядом. Она молча бросила сумку к порогу и, переступив через вытянутые ноги Чонкина, сунулась в печку, достала чугунок, а в нем всего одна картошина, и та в мундире. Нюра повертела эту картошину в руке и, зашвырнув в дальний угол, заплакала. Это тоже никого не удивило, только капитан Миляга, сидевший к Нюре спиной, не желая оборачиваться, спросил Свинцова:

— Что там происходит?

— Баба плачет, — сказал Свинцов, с некоторой даже как будто жалостью глянув на Нюру.

— А чего она плачет?

— Жрать хочет, — хмуро сказал Свинцов.

— Ничего, — сбрасывая бубнового валета, пообещал капитан, — скоро накормим.

— Уж это да. — Свинцов бросил карты и пошел в угол.

— Ты чего? — удивился капитан.

— Хватит, — сказал Свинцов, — наигрался.

Он расстелил на полу шинель, лег на спину и устался в потолок. Последнее время в дремучей душе Свинцова медленно просыпалось какое-то смутное чувство, которое угнетало его и тревожило.

Чувство это называлось муками совести, которых Свинцов, не испытав ничего похожего прежде, не мог распознать. (Прежде Свинцов относился к человеку, как к дереву: скажут распилить — распилит, не скажут — пальцем не тронет.) Но, проснувшись однажды среди ночи, он вдруг подумал сам про себя: батюшки, да как же так могло получиться, что был Свинцов простым, незлобивым деревенским мужиком, а стал душегубом.

Будь Свинцов образованней, он нашел бы объяснение своей жизни в исторической целесообразности, но он был человек темный, и совесть его, однажды проснувшись, уже не засыпала. Она грызла его и не давала покоя.

Свинцов лежал в углу и смотрел в потолок, а товарищи его продолжали обсуждать Нюру. Едренков сказал:

— Может быть, она боится, что мы, когда освободимся, будем ее пытаться?

— Может быть, — сказал капитан Миляга. — Но напрасно она не верит в нашу гуманность. Мы к женщинам особые методы не применяем. К тем, — добавил он, подумав, — которые не упорствуют в своих заблуждениях.

— Да, — сказал Едренков, — жалко бабу. Если даже не расстреляют, то десятку дадут, не меньше. А в лагере бабе жить трудно. Начальнику дай, надзирателю дай...

— Вот я тебе сейчас как дам чутунком по башке! — рассердившись, сказала Нюра и подняла чутунок.

— А ну-ка поосторожнее! — всполошился лейтенант Филиппов. — Рядовой Чонкин, прикажите ей, пусть поставит кастрюлю на место. Женевская конвенция предусматривает гуманное отношение к военнопленным.

Этот лейтенант был большой законник и все время лез к Чонкину со своей конвенцией, по которой будто бы пленных надо было хорошо поить, кормить, одевать и вежливо обращаться. Чонкин и сам хотел бы жить по нормам этой конвенции, да не знал, к кому обратиться.

— Брось, Нюрка, с ними связываться, — сказал он, — чутунок погнешь. Подержи-ка, а я сейчас. — Он дал Нюре винтовку, а сам сбегал в сени. Вернулся со стаканом молока и куском черной рассыпающейся лепешки, которую днем специально для Нюры испек из Борькиных отрубей.

Нюра рвала эту лепешку зубами, а слезы текли по ее щекам и падали в молоко.

Чонкин смотрел на нее с жалостью и думал, что надо что-то делать. Мало того, что сам сел ей на шею, а теперь еще и ораву эту всю посадил. Посмотрит она, посмотрит да выгонит вместе с ними на улицу. Куда тогда с ними деваться? Еще сразу после того, как он их арестовал, Чонкин думал, что теперь где-нибудь кто-нибудь из начальства спохватится. Если забыли про рядового бойца, то уж то, что пропала целая районная организация, может, на кого-то подействует, прискачут, чтоб разобраться, что же такое случилось. Нет, дни шли за днями, и все было тихо, спокойно, словно нигде ничего не случилось. Районная газета «Большевистские темпы», кроме сводки «Совинформбюро», печатала черт-те чего, а о пропавшем Учреждении — ни гуту. Из чего Чонкин заключил, что люди имеют обыкновение замечать то, что есть перед их глазами. А того, чего нет, не замечают.

— Нюрка, — сказал Иван, приняв решение, — ты их посторожи покамест, я скоро вернусь.

— Ты куда? — удивилась Нюра.

— Посля узнаешь.

Он расправил под ремнем гимнастерку, обтер тряпкой ботинки и вышел наружу. В сенях захватил восьмисотграммовую флягу и двинулся напрямик к бабе Дуне.

Председатель Голубев сидел в своем кабинете и с привычной тоской перебирал деловые бумаги. За окном ве-

черело. От домов, деревьев, заборов, людей и собак тянулись длинные тени, навевая грустные мысли и желание выпить, чего он не делал со вчерашнего дня. Вчера он ездил в район и просился на фронт. Битый час он доказывал рыжей врачихе, что плоскостопие недостаточный повод, чтоб ошиваться в тылу. Он повышал на нее голос, льстил и даже пытался соблазнить, без особого, впрочем, энтузиазма. Под конец она начала уже колебаться, но, засунув ему под ребра свои длинные тонкие пальцы, пришла в ужас и схватила за голову.

— Боже мой! — сказала она. — Да у вас печень в два раза больше, чем нужно. Пьете?

— Бывает иногда, — ответил ей Голубев, отводя глаза в сторону.

— Надо бросить, — решительно сказала она. — Разве можно так наплевательски относиться к собственному здоровью?

— Нельзя, — согласился Голубев.

— Это просто варварство! — продолжала она.

— Да, действительно, — подтвердил Голубев. — Сегодня же брошу.

— Ну ладно, — смягчилась она, — через две недели повторно пройдете комиссию и, если райком против не будет, езджайте.

После этого разговора он поехал домой. Против чайной лошадь, как обычно, остановилась, но он стегнул ее концами вожжей и поехал дальше. И вот уже полтора дня не пил ни капли. «Да, — глядя в окно, думал он удовлетворенно, — что-то, а сила воли у меня все-таки есть». В это время в поле зрения председателя оказался Чонкин. Он шел через площадь к конторе и нес в руках некий обтекаемый предмет, который Иван Тимофеевич сразу опознал опытным взглядом. Это была фляга. Иван Тимофеевич слотнул слюну и затаился. Чонкин приблизился к конторе и, громко стуча ботинками, поднялся на крыльцо. Председатель поправил на столе бумаги и придал лицу своему официальное выражение. В дверь постучали.

— Да, — сказал председатель и потянулся за папиросой.

Чонкин вошел, поздоровался и остановился, топчась у дверей.

— Проходи, Ваня, вперед, — пригласил председатель, не отрывая взгляда от фляги. — Проходи, садись.

Чонкин нерешительно подошел к столу и сел на самый краешек скрипучего стула.

— Да ты, Ваня, не стесняйся, — поощрил председатель, — садись нормально, на всю жопу, Ваня, садись.

— Ничего, мы и так. — Назвав себя от смущенья на «мы», Чонкин поерзал на стуле тем самым местом, на которое столь деликатно указал председатель, но дальше продвинуться все-таки не посмел.

После этого в кабинете установилось долгое и тягостное молчание. Голубев смотрел на посетителя выжидающе, но Чонкин словно язык проглотил. Наконец он пересилил себя и начал.

— Ты это вот чего... — сказал Чонкин и, покраснев от натуги, замолчал, не зная, как дальше вести разговор.

— Понятно, — сказал председатель, не дождавшись продолжения. — Ты, Ваня, не волнуйся, а выкладывай по порядку, зачем пришел. Курить хочешь? — Председатель пододвинул к нему папиросы «Казбек» («Дели» давно не курил).

— Не хочу, — сказал Чонкин, но папироску взял. Он поджег ее со стороны мундштука, бросил на пол и растоптал каблуком. — Ты это вот чего... — начал опять Чонкин и вдруг решительно, со стуком поставил флягу перед Голубевым. — Пить будешь?

Председатель посмотрел на флягу и облизнулся. Недоверчиво посмотрел на Чонкина.

— А ты это по-товарищески или в виде взятки?

— В виде взятки, — подтвердил Чонкин.

— Тогда не надо. — Иван Тимофеевич осторожно подвинул флягу назад к Чонкину.

— Ну, не надо так не надо, — легко согласился Чонкин, взял флягу и поднялся.

— погоди, — забеспокоился председатель. — А вдруг у тебя такое дело, что его можно решить и так? Тогда выпить мы сможем не в виде взятки, а по-товарищески. Как ты считаешь?

Чонкин поставил флягу на стол и подвинул к председателю.

— Пей, — сказал он.

— А ты?

— Нальешь, и я выпью.

Спустя полчаса, когда содержимое фляги резко уменьшилось, Голубев и Чонкин были уже закадычными друзьями, курили папиросы «Казбек», и председатель задушевно жаловался на свои обстоятельства.

— Раньше, Ваня, было трудно, — говорил он, — а теперь и подавно. Мужиков забрали на фронт. Остались одни бабы. Конечно, баба тоже большая сила, особенно в условиях нашей системы, однако у меня вот молотобойца на фронт забрали, а баба молот большой не подымет. Я тебе про здоровую бабу толкую, а здоровых баб в деревне не бывает. Эта беременная, другая кормящая мать, третья — хоть дождь, хоть ведро — за поясницу держится: ломит, говорит, на погоду.

А вышестоящее руководство в положение не входит. Требуют — все для фронта, все для победы. Приедут — матом кроют. По телефону звонят — матом. И Борисов матом, и Ревкин матом. А из обкома позвонят, тоже слова без мата сказать не могут. Вот я и спрашиваю тебя, Ваня, как дальше жить? Почему я и прошу отправить меня хоть на фронт, хоть в тюрьму, хоть к черту в зубы, только б освободиться от этого колхоза, пусть им занимается кто другой, а с меня хватит. Но, если правду тебе сказать, Ваня, очень хочется хоть под конец подправить немножко дела в колхозе, чтоб хоть кто-нибудь добром тебя вспомнил, а вот не выходит.

Председатель безнадежно потрянул головой и одним глотком принял в себя полстакана самогона. Чонкин сделал то же самое. Сейчас разговор дошел до самой выгодной для Чонкина точки. Надо было не упускать момента.

— Если у тебя такое несчастье, — небрежно сказал Чонкин, — могу помочь.

— Да как ты мне можешь помочь, — махнул рукой Голубев.

— Могу, — стоял на своем Чонкин, наполняя стаканы. — На-ка вот, хлебани. Хошь, завтра утром выгоню на поле своих арестантов, они тебе весь твой колхоз перекопают.

Председатель вздрогнул. Подвинул свой стакан ближе к Чонкину, сам отодвинулся. Встряхнул головой и уста-

вился на Чонкина долгим немигающим взглядом. Чонкин улыбнулся.

— Ты что? — испуганным голосом сказал Голубев. — Ты что это надумал?

— Как хотишь. — Чонкин пожал плечами. — Я хотел как тебе лучше. Ты поглядел бы, какие морды. Да их, если как положено заставить работать, они тебе горы свернут.

— Нет, Ваня, — грустно сказал председатель, — не могу я на это пойти. Скажу тебе как коммунист: я их боюсь.

— Господи, да чего ж их бояться? — всплеснул руками Чонкин. — Ты только дай мне поле ровное, чтоб я разом всех видел и мог сторожить. Да если не хотишь, я с ими в любой другой колхоз пойду. Нас сейчас каждый примет да еще и спасибо скажет. Ведь я от тебя никаких трудностей не прошу, а только кормежку три раза в день, и все.

Первый испуг прошел. Голубев задумался. Вообще-то говоря, предложение было заманчивое, но председатель все еще колебался.

— Классики марксизма, — сказал он неуверенно, — говорят, что от рабского труда большой выгоды нет. Но если сказать по совести, Ваня, нам и от малой выгоды отмахиваться не приходится. А потому давай-ка выпьем еще.

Некоторое время спустя Чонкин вышел от председателя, слегка покачиваясь от водки и хорошего настроения. В левом кармане его гимнастерки лежал клочок бумаги, на котором пьяным, неровным почерком было написано: «Бригадиру тов. Шикалову! Принять на временную работу звено тов. Чонкина. Оформить в качестве шифов». В том же кармане лежала и другая бумажка — распоряжение о выдаче звену Чонкина в виде аванса продуктов на неделю вперед.

28

Проснувшись на другое утро с больной головой, Иван Тимофеевич Голубев смутно припомнил отдельные подробности вчерашнего вечера и сам себе не поверил. «Этого не может быть, — сказал он себе самому. — Я человек, конечно, пропащий, но такого сделать не мог, это мне просто приснилось или примерещилось спяну».

Но, как бы то ни было, на работу он все же не вышел, сказавшись больным, и послал в контору жену выведать,

что происходит. Жена вскоре вернулась и передала слова Шикалова, что все идет, как было намечено, и звену Чонкина выделен фронт работ. Председатель мысленно застонал, но сообщение было передано в такой форме, что показалось ему вполне естественным (а почему бы и нет?). В конце концов он несколько успокоился, оделся, позавтракал, пошел в конюшню, взял лошадь и верхом отправился посмотреть, что происходит. Звено Чонкина (председатель теперь именно так его и называл) в полном составе трудилось на большом картофельном поле. Четверо копали картошку, двое нагружали мешки, и еще двое (капитан Миляга и лейтенант Филиппов) оттаскивали мешки к дороге и здесь опорожняли. Чонкин с винтовкой на коленях преспокойно сидел на брошенной возле дороги старой сеялке и лениво наблюдал за работой, время от времени встряхивая маленькой своей головой, чтобы не заснуть.

Увидев председателя, Чонкин приветливо помахал рукой, но Иван Тимофеевич проехал мимо, словно не заметив вокруг себя ничего.

29

Труд облагораживает человека. Правда, смотря какого. Пленники Чонкина восприняли свою новую долю по-разному. Некоторые равнодушно, считая, что работа всякая хороша. Некоторые даже были рады: проводить время на воздухе все же приятнее, чем в душной, набитой клопами избе. Лейтенант Филиппов переносил лишения стойко, но ратовал против нарушения Чонкиным международных законов обращения с военнопленными (командный состав, говорил лейтенант, нельзя занимать на физических работах).

Самое неожиданное действие произвела перемена положения на Свинцова. Неожиданно дорвавшись до простого, знакомого ему с детства крестьянского труда, он вдруг почувствовал неизъяснимое наслаждение. Работал он больше всех, работал до изнеможения. Он копал картошку, насыпал в мешки, оттаскивал к дороге и не мог насытиться, истязая себя. После ужина стелил на полу шинель и спал как убитый, по утрам вскакивал раньше всех и нетерпеливо ждал нового выхода в поле.

Капитан Миляга первое время был даже доволен таким оборотом дела: уж теперь-то Чонкин на все сто процентов заработал себе самую настоящую вышку. В своих мечтах капитан часто представлял себе, как он с пристрастием будет допрашивать Чонкина, при этом тонкие губы капитана растягивались в мстительной улыбке. Но в последние дни капитан вдруг страшно забеспокоился. Он испытывал чувство, похожее на то, которое испытал Чонкин в первый день войны, когда уверился, что он никому не нужен. Но Чонкин никогда не верил особо в свою избранность, чего никак нельзя было сказать о капитане Миляге. И тот факт, что за долгое время никого не прислали за ними на выручку, весьма волновал капитана. Что же могло случиться? Может быть, город Долгов уже занят немцами? Может быть, Учреждение как таковое давно ликвидировано? Может быть, задание использовать Учреждение на трудовом фронте спущено Чонкину свыше? На свои бесконечные «может быть» Миляга искал и не находил ответа. И в один прекрасный день в изобретательной голове капитана возникло решение: надо бежать. Бежать во что бы то ни стало. И капитан стал приглядываться к Чонкину, изучая его привычки и склонности, ибо, прежде чем победить врага, надо его изучить. Капитан наблюдал окружающую местность, но местность была ровная, бежать без риска быть застреленным трудно, а бежать с риском капитан пока не хотел. В голове его зрел иной, смелый по замыслу план.

30

Хотя наука и утверждает, что рабский труд себя не оправдывает, практика использования работников Учреждения в колхозе «Красный колос» показала обратное. В районные организации стали поступать сводки об уборке картофеля, в которых значились такие цифры, что даже Борисов забеспокоился и позвонил Голубеву сказать, чтоб врал, да не завирался. На что Голубев ответил, что он государство свое обманывать не намерен и документы отражают только то, что есть на самом деле. Прибывший по поручению Борисова инструктор райкома Чмыхалов вернулся в район с подтверждением, что

в сводках отражается сушая правда, сам своими глазами видел бурты картофеля, соответствующие полученным сводкам. Как сообщили ему в колхозе, подобная производительность достигнута за счет полного использования людских резервов. В конце концов в районе поверили и велели газете дать статью, обобщающую опыт передового хозяйства. Хозяйство ставили в пример другим, говорили: «Почему Голубев может, а вы не можете?» Уже и до области докатились вести о колхозе, руководимом председателем Голубевым, уже и в Москве кто-то упомянул Голубева в каком-то докладе.

Вскоре Голубев узнал, что в какой-то голове районного масштаба родилась идея направить рапорт о досрочной уборке картофеля лично товарищу Сталину. Иван Тимофеевич понял, что теперь пропал окончательно, и, пригласив к себе Чонкина, выставил две бутылки чистейшего первача.

— Ну, Ваня, — сказал он почти радостно, — теперь нам с тобой крышка.

— А в чем дело? — поинтересовался Чонкин. Голубев рассказал. Чонкин почесал в затылке и, сказав, что терять все равно нечего, потребовал от председателя нового фронта работ. Председатель согласился и пообещал перекинуть звено Чонкина на силос. Договор был обмыт, и в сумерках, покидая контору, оба с трудом держались на ногах. На крыльце председатель остановился, чтобы запереть дверь. Чонкин топтался рядом.

— Ты, Ваня, человек очень умный, — пытаюсь нашарить в темноте засов, говорил председатель заплетающимся языком. — С виду дурак дураком, а приглядеться — ум государственный. Тебе бы не рядовым быть, а ротой командовать. А то и батальоном.

— Да мне хучь дивизией, — хвастливо поддержал Чонкин. Держась одной рукой за перила, он мочился, не сходя с крыльца.

— Ну, насчет дивизии ты малость перехватил. — Оставив попытку найти замок, председатель стал рядом с Чонкиным и тоже начал мочиться.

— Ну так полком, — сбавил Чонкин, застегиваясь. Тут под его ногами оказалась ступенька, он не заметил и с грохотом покатился с крыльца.

Председатель стоял на крыльце и, держась за перила, ждал, когда Чонкин подыметься. Чонкин не подымался.

— Иван, — громко сказал Голубев в темноту.

Никакого ответа.

Чтоб не упасть, председатель лег на живот и сполз вперед ногами с крыльца. Потом он ползал на четвереньках, шаря по росистой траве руками, пока не наткнулся на Чонкина. Чонкин лежал на спине, широко раскинув руки, и безмятежно посапывал. Голубев залез на него и лег поперек.

— Иван, — позвал он.

— А? — Чонкин пошевелился.

— Живой? — спросил председатель.

— Не знаю, — сказал Чонкин. — А чего это на мне лежит?

— Должно, я лежу, — сказал Голубев, немного подумав.

— А ты кто?

— Я-то? — Председатель хотел обидеться, но, напрягши память, подумал, что он, собственно говоря, и сам толком не знает, кто он такой. С трудом все-таки вспомнил: — Голубев я, Иван Тимофеевич.

— А чего это на мне лежит?

— Да я ж и лежу. — Голубев начал сердиться.

— А слезть можешь? — поинтересовался Чонкин.

— Слезть? — Голубев попробовал подняться на четвереньки, но руки подогнулись, и он снова рухнул на Чонкина. — погоди, — сказал председатель, — я сейчас буду подыматься, а ты упирайся в меня ногами. Да не в морду суй ноги, мать твою так, а в грудь. Вот.

Наконец Чонкину удалось его все же спихнуть. Теперь они лежали рядом.

— Иван, — позвал Голубев после некоторого молчания.

— А?

— Хрен на. Пойдем, что ли?

— Пойдем.

Иван поднялся на ноги, но продержался недолго, упал.

— А ты вот так иди, — сказал Иван Тимофеевич, снова становясь на четвереньки. Чонкин принял ту же позу, и друзья двинулись в неизвестном направлении.

— Ну как? — через некоторое время спросил председатель.

— Хорошо, — сказал Чонкин.

— Так даже лучше, — убежденно сказал председатель. — Если и упадешь, не расшибешься. Жан-Жак Руссо говорил, что человек должен стать на четвереньки и идти назад к природе.

— А кто этот Жан-Жак? — спросил Чонкин, с трудом произнося странное имя.

— А хрен его знает, — сказал председатель. — Какой-то француз.

Тут он набрал полную грудь воздуха и запел:

Вдо-оль деревни от избы и до избы
За-ашагали торопливые столбы...

Чонкин подхватил:

Загудели, заиграли провода,
Мы такого не видали никогда...

— Иван, — спохватился вдруг председатель.

— Чего?

— А контору я закрыл или нет?

— А хрен тебя знает, — беспечно сказал Иван.

— Пошли обратно.

— Пошли.

Идти на четвереньках было хорошо, хотя от росы мерзли немного руки и промокли брюки на коленях.

— Иван!

— А?

— Давай еще споем.

— Давай, — сказал Чонкин и затянул единственную известную ему песню:

Скакал казак через долину,
Через кавказские края...

Председатель подхватил:

Скакал казак через долину,
Через кавказские края...

Чонкин начал следующий куплет:

Скакал он садиком зеленым...

Но тут ему пришла в голову мысль, которая остановила его.

— Слышь, — спросил он председателя, — а ты не боишься?

— Кого?

— Моих ресторантов.

— А чего мне их бояться? — распоясался председатель. — Я все равно на фронт уйду. Я их...

Тут Иван Тимофеевич употребил глагол несовершенного вида, по которому иностранец, не знающий тонкостей нашего языка, мог бы решить, что председатель Голубев состоял с работниками Учреждения в интимных отношениях.

Чонкин был не иностранец, он понял, что Голубев говорит в переносном смысле. Председатель перечислил еще некоторые государственные, партийные и общественные организации, а также ряд отдельных руководящих товарищей, с которыми в переносном смысле он тоже находился в интимных связях.

— Иван! — вспомнил вдруг председатель.

— А?

— А куда мы идем?

— Кажись, в контору, — неуверенно сказал Иван.

— А где она?

— А хрен ее знает.

— погоди, мы, кажись, заблудились. Надо определить направление.

Председатель перевернулся на спину и стал искать в небе Полярную звезду.

— На кой она тебе? — спросил Чонкин.

— Не мешай, — сказал Иван Тимофеевич. — Сперва находим Большую Медведицу. А от нее два вершка до Полярной звезды. Где Полярная звезда, там и север.

— А контора на севере? — спросил Чонкин.

— Не мешай. — Председатель лежал на спине.

Звезды частично были закрыты тучами, а остальные двоились, троились и четверились, и их все равно было много, и, если судить по ним, север находился по всем направлениям, что председателя вполне устраивало, ибо давало возможность ползти в любую сторону.

Пока он снова становился на четвереньки, Чонкин значительно продвинулся вперед и неожиданно уперся головой во что-то твердое. Пошарил перед собой руками.

Это было колесо машины, вероятно, той, на которой серые приехали его арестовывать. Значит, и контора должна быть рядом. И точно. Обогнув машину, прополз Чонкин еще немного и вскоре наткнулся на стену, туманно белеющую в темноте.

— Тимофеич, кажись, контора, — позвал Чонкин.

Подполз председатель. Провел ладонью по шершавой стене.

— Во, видал, — сказал он удовлетворенно. — А ты еще спрашиваешь, зачем Полярная звезда. Теперь ищи, тут где-то должен быть и засов.

Какое-то время шарили по стене, то натыкаясь друг на друга, то расползаясь в разные стороны, и вдруг Чонкин первый сообразил:

— Слышь, Тимофеич, а вообще-то засов должен быть там, где дверь, а дверь там, где крыльцо.

Председатель подумал и согласился с доводом Чонкина.

Не для того чтобы посмеяться над пьяным человеком лишний раз, а единственно ради истины следует сообщить, что, даже найдя дверь, Чонкин и председатель долго не могли с ней справиться. Засов, как живой, вырывался из рук и каждый раз больно ударял председателя по колену, так что трезвый давно остался бы совсем без ноги, но пьяного, как известно, все же Бог оберегает немного.

Назад двинулись порознь. Остается загадкой, как Чонкин нашел дорогу домой, остается только предположить, что за время ползанья на четвереньках он малость все-таки протрезвел.

Входя в калитку, Чонкин услышал за огородами приглушенный мужской разговор и заметил тлеющий огонек папироски.

— Эй, кто там? — крикнул Чонкин.

Огонек пропал. Чонкин стоял, напрягая слух и зрение, но теперь ничего не было слышно, ничего не было видно.

«Должно, померещилось спьяну», — успокоил себя Чонкин и вошел в избу.

31

Фитиль двенадцатилинейной лампы был прикручен почти до конца, только маленький язычок пламени едва распространял свой немощный свет по комнате.

Нюра с винтовкой, зажатой между коленями, сидела на табуретке возле двери. Пленники, намаевшись за день, спали вповалку на полу.

— Игде был? — спросила Нюра сердито, но шепотом, чтобы не разбудить спящих.

— Где был, там меня нет, — ответил Чонкин и ухватился за косяк, чтобы не упасть.

— Ай назюзился? — ахнула Нюра.

— Назюзился, — глупо улыбаясь, кивнул Чонкин. — Как же не назюзиться. Завтра, Нюрка, кидают нас на новый участок.

— Да что ты! — сказала Нюра.

Двумя пальцами свободной руки Чонкин вытащил из кармана гимнастерки записку председателя о дополнительной выдаче продуктов и протянул Нюре. Нюра поднесла записку к лампе и, шевеля губами, вдумалась в содержание.

— Ложись, отдохни маленько, а то ведь не спамши, — сказала она, придавая голосу своему ласковую интонацию. Чонкин в ответ похлопал ее по спине.

— Ладно уж, ты поспи, а к утру на часок подменишь меня.

Он взял у Нюры винтовку, сел на табуретку, прислонился спиной к косяку. Нюра, не раздеваясь, легла лицом к стене и вскоре заснула. Было тихо. Только лейтенант повизгивал во сне, как щенок, и громко чмокал губами. Серая моль кружилась над лампой, то тычась в стекло, то отлетая. Было душно, влажно, и вскоре за окном посыпался, зашуршал по листьям, по крыше дождь.

Чтобы не заснуть, Чонкин пошел в угол к ведру, зачерпнул прямо ладонью воды и смочил лицо. Как будто полегчало. Но только уселся на прежнее место, как снова стало клонить в сон. Он зажимал винтовку коленями и руками, но пальцы сами собой разжимались, и приходилось прилагать героические усилия, чтобы не свалиться с табуретки. Несколько раз спохватывался он в последнее мгновение и бдительно таращил глаза, но все было тихо, спокойно, только дождь шуршал за окном и где-то под полом настойчиво грызла дерево мышь.

Наконец Чонкин устал бороться сам с собой, загородил дверь столом, положил на него голову и забылся. Но

спал беспокойно. Ему снились Кузьма Гладышев, председатель Голубев, Большая Медведица и пьяный Жан-Жак Руссо, который от бабы Дуни полз задом на четвереньках. Чонкин понимал, что Руссо его пленник и что он собирается убежать.

— Стой! — приказал ему Чонкин. — Ты куда?

— Назад, — хрипло сказал Жан-Жак. — Назад к природе. — И пополз дальше в кусты.

— Стой! — закричал Чонкин, хватая Руссо за скользкие локти. — Стой! Стрелять буду!

При этом он удивился, что не слышит своего голоса, и испугался. Но Жан-Жак сам его испугался. Он сделал вдруг жалкое лицо, и заныл, и сказал капризным голосом, как ребенок:

— На двор хочу! На двор хочу! На двор хочу!

Чонкин открыл глаза. Жан-Жак поднялся на ноги и принял облик капитана Миляги. Капитан через стол торموшил Чонкина двумя связанными руками и настойчиво требовал:

— Слышь ты, скотина, проснись! На двор хочу!

Чонкин оторопело смотрел на своего разъяренного пленника и не мог понять, во сне видит это или уже наяву. Потом понял, что наяву, встряхнулся, встал неохотно, отодвинув стол, снял с гвоздя ошейник и проворчал:

— Всё на двор да на двор. Дня вам мало. Подставляй шею.

Капитан нагнулся. Чонкин затянул ошейник на три дырки, так, чтобы не душило, но и было достаточно туго, потом подергал, проверяя крепость, веревку и отпустил:

— Иди, да побыстрее.

Свободный конец веревки намотал на руку и задумался. Мысли его были простые. Глядя на муху, ползущую по потолку, он думал: вон ползет муха.

Глядя на лампу, думал: вон горит лампа. Задремал. Снова снился Жан-Жак Руссо, который пасся на огороде у Гладышева. Чонкин закричал Гладышеву:

— Эй, слышь, так это ж не корова, это Жан-Жак весь пух твой сожрал.

А Гладышев злорадно усмехнулся и, приподняв шляпу, сказал:

— Ты за пухе не бойсь, а посмотри лучше, что он отвязался и сейчас убежит.

Чонкин с перепугу проснулся. Все было тихо. Храпел Свинцов, горела лампа, муха ползла в обратном направлении. Чонкин слегка потянул веревку. Капитан был все еще там. «Запор у его, что ли?» — подумал Чонкин, закрывая глаза.

Жан-Жак куда-то пропал. Молодая женщина тащила с речки корзину белья. Она шла и улыбалась такой светлой улыбкой, что Чонкин поневоле тоже заулыбался. И не удивился, когда она, положив корзину на землю, взяла его на руки легко, как пушинку, и стала покачивать, напевая:

А-а, люли,
Прилетели гули,
Прилетели гули
Прямо к Ване в люли...

— Ты кто? — спросил Чонкин.

— Ай не узнал? — улыбнулась женщина. — Я — твоя мать.

— Мама, — потянулся к ней Чонкин руками, пытаясь обхватить за шею.

Но тут из-за кустов выскочили какие-то люди в серых гимнастерках. Среди них Чонкин различил Свинцова, лейтенанта Филиппова и капитана Милягу. Капитан протянул к Чонкину руки.

— Вот он! Вот он! — закричал Миляга, и лицо его исказилось в страшной улыбке.

Прижимая к груди сына, мать закричала не своим голосом. Чонкин тоже хотел закричать, но не смог и проснулся. Ошалело смотрел вокруг себя.

Все было тихо, спокойно. Слабым огнем горела лампа с прикрученным фитилем. Спали на полу пленники. Спала на кровати, отвернувшись к стене, Нюра.

Чонкин посмотрел на часы, часы стояли. Он не знал, сколько времени спал, но ему показалось, что спал он довольно долго. Однако капитан Миляга все еще был там, в уборной, о чем свидетельствовала намотанная на руку Чонкина веревка.

— Хватит, будешь еще там расслаиваться, — сказал Чонкин как бы самому себе и подергал веревку, давая понять, что действительно хватит.

После этого он выждал время, достаточное, по его мнению, чтобы подтянуть штаны, и снова подергал веревку. На том конце никто не отзывался. Тогда Чонкин поднатужился и потянул веревку сильнее. Теперь она поддавалась, хотя и с трудом.

— Давай, давай, нечего упираться, — бормотал Чонкин, перехватывая веревку все дальше и дальше.

Вот в коридоре послышались уже шаги. Но они не были похожи на мягкие шаги капитана Миляги. Шаги были частые и дробные, как будто кто-то мелко семенил в твердой обуви.

Страшная догадка мелькнула в мозгу Чонкина. Из всей силы рванул он на себя веревку. Дверь распахнулась, и в избу с недоуменным выражением на лице ввалился заспанный, перемазанный с ног до головы навозом кабан Борька.

32

Выбравшись на волю, капитан Миляга почувствовал сильное волнение и полный разлад всего организма. Сердце в груди трепыхалось без всякого ритма, руки дрожали, а ноги и вовсе не слушались, и капитан не видел никакого смысла в своем побеге. Там, в избе, было тепло и более или менее уютно, а здесь дождь, холод, полная темнота, и неясно, куда бежать и зачем.

Он не чувствовал волнения, когда перерезал веревку о примеченную еще днем косу, хладнокровно надел ошейник на кабана, хотя тот и сопротивлялся. Ворота в хлев были заперты снаружи, но капитан нашел дырку под самой крышей и с трудом пролез сквозь нее, разорвав на плече гимнастерку. И вот теперь он не знал, во имя чего это делал. Было темно, сыпал дождь, холодные капли, скатываясь по крыше, попадали за ворот и медленно ползли по спине. Капитан не обращал на это внимания, он стоял, прислонившись затылком к бревенчатой стене, и плакал.

Если бы кто-нибудь подошел и спросил: «Дядя, чего ты плачешь?», он не смог бы ответить. От радости, что оказался на воле? Но радости не было. От злости? От желания отомстить? Сейчас не было в нем ни того, ни другого. Было полное безразличие к своей судьбе и ощущение

ние беспомощности и бессмысленности всякого действия. Для капитана Миляги это было незнакомое состояние, он не двигался с места, рискуя, что Чонкин сейчас его хватится, и плакал, не понимая себя. Может быть, это была просто истерика после всего, что капитану пришлось пережить в последнее время.

Вдруг он вздрогнул. Ему показалось, что он во дворе не один. Вглядевшись в темноту, он различил очертания странного какого-то существа или предмета крупных размеров. Он не сразу понял, что это просто-напросто самолет, тот самый, из-за которого и началась вся заваруха. А когда понял, чуть-чуть успокоился и, успокаиваясь, начал соображать.

Самолет стоял на краю огорода хвостом к избе. Значит, город Долгов приблизительно находится в той стороне, куда смотрит правое крыло самолета. Значит, бежать надо в том направлении. А зачем ему нужен этот Долгов, если там из его Учреждения не осталось никого, кроме секретарши Капы? Значит, надо идти прямо в область, к Лужину, начальнику областного управления. А что сказать? Сказать, что один солдат с винтовкой образца тысяча восемьсот девяносто первого дробь тридцатого года арестовал полностью весь личный состав районного отдела? По нынешним временам военный трибунал и расстрел обеспечены. Хотя, если трезво взвесить все обстоятельства, можно и выкрутиться. Тем более что за Лужиным Миляга кое-что знал. В частности, кое-что насчет происхождения областного начальника. Может быть, сам он уже и забыл, что отец его до революции в соседней губернии был полицмейстером, но Миляга не забыл и на всякий случай держал это обстоятельство в голове. Вот почему у Миляги была надежда, что Лужин не захочет доводить дело до трибунала. Тем более что в происшедшем конфузе виноват, по существу, лейтенант Филиппов. Ну что ж, с Филипповым придется проститься, хотя, конечно, и жаль парня немного. Что касается Чонкина, то он, Миляга, займется им лично.

Вспомнив про Чонкина, капитан мстительно улыбнулся. И вытер слезы. Жизнь его обрела смысл. И ради этого смысла стоило идти сквозь дождь и сквозь мрак.

Капитан отклеился от стены и шагнул вперед. Ноги разъезжались и вязли в размокшей почве. Но сапоги у него еще крепкие, как-нибудь выдержат.

Он уже обогнул самолет, когда за спиной скрипнула дверь. Кто-то вышел на крыльцо. Капитан, не раздумывая, рухнул в грязь. Сейчас, когда он вновь обрел волю к победе, капитан для своего спасения готов был вынести и не такое.

— Ну чего там видать? — откуда-то, должно быть из избы, послышался беспокойный голос Нюры.

— Ничего не видать, — совсем близко сказал Чонкин. — Фонарь бы зажгла, что ли.

— Карасину нет, — отозвалась Нюра. — А лампу вынести, эти сбегут.

Зачавкала грязь прямо возле капитанского уха. Еще чуть-чуть, Чонкин наступит на капитана, и все пропало. А что, если дернуть его за ногу, он упадет?..

— Ну, чего? — опять крикнула Нюра.

— Ничего, — сказал Чонкин. — Ботинки худые. Чего в них тут без толку лазить по грязи. Он небось уж давно убег.

— А что ж ему тебя дожидаться? Иди в избу, нечего грязь месить.

Чонкин постоял еще над капитаном, повздыхал, затем чавкающие шаги его стали медленно удаляться.

Капитан Миляга не спешил. Он подождал, пока Чонкин поднимется на крыльцо, подождал, пока щелкнет за ним щеколда. Дальше капитан продвигался ползком. Вот уже и забор. Оглянувшись и не увидев ничего подозрительного, капитан вскочил на ноги и одним рывком перемахнул через суковатые жерди. И тут же перед ним, словно из-под земли, выросли две темные фигуры в плащ-палатках. Капитан хотел вскрикнуть, но не успел. Одна из фигур взмахнула прикладом, и капитан Миляга потерял сознание.

33

Штаб полка расположился в одном из пустых амбаров за огородами. Амбар этот был разделен на две части. В первой части находились караульные, дежурный по штабу, писарь и еще несколько личностей из тех, которые предпочитают всегда отираться возле начальства.

В углу на подстилке из соломы сидел телефонист и вполголоса бормотал в трубку:

— Ласточка, ласточка, мать твою так, я — орленок, какого хрена не отвечаешь?

В другой половине, отделенной бревенчатой перегородкой и освещенной стоявшим на ящике керосиновым фонарем, находился командир полка полковник Лапшин и его адъютант младший лейтенант Букашев.

Полковник собирался на оперативное совещание к командиру дивизии, когда разведчики Сырых и Филюков принесли на своих плечах и свалили в углу на подстилку из прелой соломы что-то длинное, грязное, похожее на бревно.

— Что это? — полюбопытствовал полковник.

— Языка взяли, товарищ полковник, — вытянулся младший сержант Сырых. Правая щека его была залеплена глиной.

Полковник подошел ближе к тому, что лежало на соломе, поморщился.

— Это, пожалуй, не язык, — сказал он, подумав. — Это труп.

— Это все Филюков, товарищ полковник, — сказал Сырых с той развязностью, которую позволяют себе только разведчики. — Я ему говорю: «Бери осторожней», а он со всего маху прикладом — бац!

— Что же это ты, Филюков? — перевел полковник взгляд на другого разведчика.

— Спужался, товарищ полковник, — искренне сказал Филюков. И стал рассказывать тоже с некоторой развязностью. Но развязность у него была другого рода, чем у Сырых. Это была развязность еще не пуганного деревенского человека, которому кажется, что в армии все такие, как он, и полковник — это что-то вроде колхозного бригадира. — Оно ведь как получилось, товарищ полковник. Подползли мы с младшим сержантом к какому-то забору. Такой это невысокий забор из жердев, из березовых. Залегли. Час лежим, два лежим. Никого нет, темно, дождь идет. — Филюков грязными руками схватил себя за голову и покачал ею, изображая ужас. — Мы хоча и в плащ-палатках, сверху оно текет — ничего, а снизу уже все брюхо мокрое. Во, поглядите. — Он развернул плащ-

палатку и показал живот, который был действительно мокрый и грязный.

— Зачем ты мне все это рассказываешь? — удивился полковник.

— А вы погодите. Дайте докурить. — Не дожидаясь, он почти вырвал окурок из рук полковника. Жадно потянул несколько раз, бросил под ноги и раздавил каблуком. — Значит, мы лежим, я говорю младшему сержанту: «Давай уходить». А ён говорит: «Подождем». И тут слышим, открывается дверь. И кто-то там за забором ходит, чавкает по грязюке. И женский голос чегой-то спрашивает, а мужеский отвечает: «Карасину, мол, нету». А потом он ушел и обратно никого нету. Я думаю: «Ну, ушел». И только я так подумал, тут ён как вылезет... — Филюков присел и, округлив глаза, придал своему лицу выражение крайнего ужаса. — И прямо на нас. И тады я хватаю винтовку и... — Филюков распрямился, сорвал с плеча винтовку и замахнулся на полковника.

Полковник отскочил.

— Ты что, ты что? — сказал он, подозрительно следя за Филюковым.

— Так я ж показываю, — надевая винтовку на плечо, сказал Филюков. — Да вы не сомневайтесь, голову даю на отрез, ён живой. Я, товарищ полковник, сам с Волги. У нас этих немцев было вагон и маленькая тележка. И вот за других не скажу, а за немцев скажу. Очень живучий народ. Другого человека так ударишь — убьешь. Кошку убьешь. А немец живой останется. А почему так? — Филюков не ответил, только развел в стороны руки и втянул голову в плечи, изображая крайнюю степень недоумения перед такой загадкой природы.

— Но этого ты все-таки убил, — строго сказал полковник.

— Да вы что, — сказал Филюков с полным неверием в свои силы. — Я вам говорю — ён живой. Ен дышит. — Он подошел к распростертому телу и стал слегка нажимать ногой на живот. Грудь лежавшего стала и правда слегка вздыматься, но оттого, что лежавший дышал, или оттого, что его накачивал Филюков, понять было трудно.

— Дышит на ладан, — возразил полковник. — Оставьте его, Филюков. Можете оба идти.

Разведчики ушли. Полковник стоял, разглядывая пленного.

— Это ж надо было его так вывозить в грязи, что не берешь ни формы, ни знаков различия, — пробормотал он как бы про себя. И поднял голову: — Младший лейтенант!

— Я! — отозвался Букашев.

— Вы в школе какой язык изучали?

— Немецкий, товарищ полковник.

— Если пленный очнется, сможете допросить?

Букашев заколебался. Вообще-то он немецкий, конечно, учил, но как? С этого предмета чаще всего срывались в кино. Конечно, кое-что помнил. «Анна унд Марта баден» и «Хойте ист дас вассер варм». Еще несколько слов отдельно.

— Ну? — Полковник ждал.

— Постараюсь, товарищ полковник.

— Постарайтесь. Все равно переводчика нет.

Полковник натянул на фуражку капюшон плащ-палатки и вышел.

34

Хотя ликвидация банды Чонкина была поручена одному полку, общее руководство всей операцией ввиду ее важности взял на себя лично командир дивизии генерал Дрынов.

Этот генерал за короткий срок сделал головокружительную карьеру, потому что четыре года назад он носил еще одну шпалу и командовал ротой. Но однажды ему крупно повезло. Командир батальона в доверительной беседе сказал ему, что про Троцкого можно говорить все что угодно, но во время Гражданской войны главкомом был все-таки он. Может, памятливого командира и без высказывания замели бы своим чередом, но тогда трудно сказать, как это отразилось бы на судьбе будущего генерала. Здесь же все совпало наилучшим образом, Дрынов доложил Кому Надо и занял место комбата.

С тех пор дела его шли как по маслу. Два года спустя, уже с тремя шпалами, попал он на войну с белофиннами.

Здесь со всей яркостью проявились его командирские способности. Дрынов отличался тем, что свободно и быстро ориентировался в любой, самой сложной ситуации,

правда, из всех возможных решений всегда выбирая самое глупое. Это не помешало ему выйти сухим из воды, и по окончании финской кампании он, уже с четырьмя шпалами в петлицах, явился в Москву, где сам дедушка Калинин в Георгиевском зале Кремля тряс его твердую руку двумя своими и сказал несколько слов, вручая орден Боевого Красного Знамени.

Генерала же получил он совсем недавно за выдающееся достижение в области военной науки, а именно: на учениях приказал обстреливать личный состав своей части настоящими осколочными снарядами, максимально приближая обстановку к боевой. Дрынов утверждал, что при таком обучении погибают только плохие бойцы, которые не умеют окапываться. А в человеке, который не умеет окапываться, Дрынов вообще не видел никакого проку. Сам он любил окапываться.

Пока полк занимал исходные позиции, бойцы отдельного саперного батальона раскатали на бревна чью-то баню и возвели блиндаж в три наката. В этот блиндаж и явился полковник Лапшин. Предъявив часовому у входа пропуск, полковник спустился по четырем деревянным ступеням и рванул на себя сырую дверь. В блиндаже было сильно накурено и дым клубился, как во время пожара. Посреди блиндажа стояло цинковое корыто, вероятно, из той самой бани, которую разобрали, и в него падали с потолка тяжелые грязные капли.

Несколько человек в плащ-палатках сгрудились вокруг сколоченного из неструганых досок стола, и над всеми головами колыхалась дрыновская папаха.

— Разрешите присутствовать, товарищ генерал, — спокойно, с той вольностью, которую себе позволяют только близкие по чину, полковник небрежно кинул руку к козырьку.

— А, это ты, Лапшин, — сквозь волны дыма разглядел генерал. — Присутствуй, присутствуй. А то подчиненные собрались, а командира все нет.

Подойдя ближе, Лапшин, кроме хозяина блиндажа, увидел всех своих трех комбатов, начальника штаба, командира артдивизиона и начальника СМЕРШа, маленького, невзрачного человека. Склонившись над столом,

они обсуждали боевую задачу и изучали схему, пояснения к которой негромким голосом давал незнакомый Лапшину человек в брезентовом плаще с откинутым капюшоном и хромовых сапогах, до самых колен перемазанных глиной. По одежде своей он мало отличался от собравшихся командиров, только мятая кепка на голове выдавала в нем штатского человека.

— Познакомься, — кивком указал на штатского генерал. — Секретарь здешнего райкома.

— Ревкин, — сказал секретарь, подавая Лапшину холодную руку.

— Лапшин, — отозвался полковник.

— Ну что, Лапшин, — сказал генерал, — какие новости?

— Сержант Сырых и рядовой Филюков только что вернулись из разведки, — вяло доложил полковник.

— Ну и что?

— Принесли языка.

— И что он говорит? — оживился генерал.

— Он ничего не говорит, товарищ генерал.

— Как не говорит? — возмутился генерал. — Заставить!

— Трудно заставить, товарищ генерал, — улыбнулся Лапшин. — Он без сознания. Разведчики при взятии слишком сильно ударили его прикладом.

— Вот тебе на! — ударил кулаком по столу генерал. Он начинал сердиться. — В то время, как нам вот так нужны разведданные, они ценного языка глушат прикладом. Кто ходил в разведку?

— Сырых и Филюков, товарищ генерал.

— Сырых расстрелять!

— Но ударил Филюков, товарищ генерал.

— Расстрелять Филюкова.

— Товарищ генерал, — попытался заступиться за своего разведчика полковник. — У Филюкова двое детей.

Генерал выпрямился. Глаза его гневно сверкнули.

— А я, товарищ полковник, по-моему, приказываю расстрелять Филюкова, а не его детей.

Начальник СМЕРШа улыбнулся. Он ценил добрый юмор. Полковник в этом юморе тоже слегка разбирался. Он приложил руку к револьверу и послушно сказал:

— Есть, товарищ генерал, расстрелять Филюкова.

— Ну вот, наконец-то договорились, — опять-таки с юмором, довольно сказал генерал. Юмор его исходил из того, что полковник сразу должен был ответить «есть!» по-военному, а не торговаться с генералом, как базарная баба. — Подвигайся поближе к столу, — сказал он уже спокойно.

Командиры раздвинулись, освобождая место полковнику. На большом ватманском листе, лежавшем поверх двухверстки, был карандашом изображен примерный план деревни Красное и прилегающей местности. Дома изображались квадратами. Два квадрата посередине были отмечены крестиками.

— Вот смотри. Он говорит, — генерал показал на Ревкина, — что здесь, — ткнул карандашом в один из крестиков, — и здесь, — ткнул в другой, — находятся правление колхоза и школа. Думается, что именно в этих помещениях, как самых просторных, и располагаются основные силы противника. Значит, первый батальон отсюда наносит удар сюда. — Генерал начертил широкую изогнутую стрелу, которая острием своим уткнулась в квадратик, изображавший колхозную контору. — Второй батальон бьет отсюда. — Вторая стрела протянулась к школе. — И третий батальон...

«Ладно, — глядя на стрелы, думал полковник Лапшин, — с Филюковым авось обойдется. Главное — вовремя сказать «есть», а там можно не выполнять».

35

Очнувшись, капитан Миляга долго не мог открыть глаза. Голова раскалывалась от боли, капитан пытался и не мог вспомнить, где это и с кем он так сильно надрался. Он помотал головой, открыл глаза, но тут же закрыл их снова, увидев нечто такое, чего увидеть вовсе не ожидал. Увидел он, что находится в каком-то не то сарае, не то амбаре. В дальнем углу на снарядном ящике сидел белобрысый, лет двадцати парнишка в плащ-палатке и что-то писал, положив на колено планшет и бумагу. В другом углу, возле полуоткрытых дверей, спиной к капитану сидел еще один человек с винтовкой. Капитан стал поглядывать туда и сюда, не понимая, в чем дело. Потом откуда-то из глубины мозга стало выплывать сознание, что

он будто куда-то ехал и не доехал. Какой-то красноармеец с какой-то женщиной... Ах да, Чонкин. Теперь капитан вспомнил все, кроме самых последних минут. Вспомнил, как он попросился в уборную, как перерезал веревки и привязал вместо себя кабана. Потом он полз по огороду, шел дождь, и была грязь. Была грязь... Капитан ощупал себя. Действительно, гимнастерка и брюки, все было в грязи, которая, правда, стала уже подсыхать. Но что же было потом? И как он сюда попал? И кто эти люди? Капитан стал рассматривать белобрысого паренька. Видимо, военный. Судя по обстановке, какая-то полевая часть. Но откуда может быть полевая, если до фронта далеко, а он еще недавно только полз по огороду, даже грязь не успела высохнуть? На самолете, что ли, его сюда доставили? Капитан стал из-под полуприкрытых век наблюдать за белобрысым. Белобрысый оторвался от бумаги, взглянул на капитана, взгляды их встретились. Белобрысый усмехнулся.

— Гутен морген, — произнес он неожиданно. Капитан снова опустил веки и стал неспешно соображать. Что сказал этот белобрысый? Какие-то странные нерусские слова. Гутен морген. Кажется, это по-немецки. Из тумана выплыло воспоминание. Восемнадцатый год, украинская мазанка и какой-то рыжий немец в очках, который стоит на постое у них в этой мазанке, по утрам, выходя из смежной комнаты в нижней рубашке, говорит матери:

— Гутен морген, фрау Миллег, — произнося фамилию на немецкий манер.

Рыжий был немец, значит, он говорил по-немецки. Этот тоже говорит по-немецки. Раз он говорит по-немецки, значит, он немец. (За время службы в органах капитан Миляга научился логически мыслить.) Значит, он, капитан Миляга, каким-то образом попал в плен к немцам. Хотелось бы, чтоб это было не так, но правде надо смотреть в глаза. (Глаза его были в это время закрыты.) Из печати капитан Миляга знал, что работников Учреждения и коммунистов немцы не щадят. В данном случае Миляга был и то и другое. И партбилет, как назло, в кармане. Правда, членские взносы не плачены с апреля, но кто станет разбираться в тонкостях?

Капитан снова открыл глаза и улыбнулся белобрысому, как приятному собеседнику.

— Гутен морген, херр, — вспомнил он еще одно слово, хотя не был убежден, что оно вполне прилично.

Тем временем младший лейтенант Букашев, тоже мучительно припоминая немецкие слова, сложил из них простейшую фразу:

— Коммен зи херр.

«Наверное, он хочет, чтобы я к нему подошел», — сообразил капитан, отметив про себя, что слово «херр» должно быть вполне употребительным, раз белобрысый его произносит.

Капитан встал, превозмог головокружение и продвинулся к столу, приветливо улыбаясь белобрысому. Тот на улыбку не ответил и хмуро предложил:

— Зитцен зи.

Капитан понял, что его приглашают садиться, но, оглядевшись вокруг себя и не увидев ничего похожего на стул или табуретку, вежливо поблагодарил кивком головы и приложением ладони к тому месту, где у нормального человека подразумевается сердце. Следующий вопрос «Намен?» не был капитану понятен, однако он прикинул в уме, какой первый вопрос могут задать на допросе, понял, что вопрос этот может быть о фамилии допрашиваемого, и задумался. Скрыть свою принадлежность к органам или к партии невозможно, о первом говорит форма, второе выяснится при первом поверхностном обыске. И он вспомнил свою фразу, с которой начинал все допросы: «Чистосердечное признание может облегчить вашу участь». Из практики он знал, что чистосердечное признание ничьей участи еще не облегчило, но других надежд не было, а это была хоть какая. Была еще слабая надежда на то, что немцы народ культурный, может, у них все не так.

— Намен? — нетерпеливо повторил младший лейтенант, не будучи уверен, что правильно произносит слово. — Ду намен? Зи намен?

Надо отвечать, чтобы не рассердить белобрысого.

— Их бин капитан Миляга, — заторопился он. — Миллег, Миллег, ферштейн? — Все же несколько немецких слов он знал.

«Капитан Миллег», — записал лейтенант в протоколе допроса первые сведения. И поднял глаза на пленника, не зная, как спросить о роде войск, в котором тот служит.

Но тот предупредил его и спешил давать показания:

— Их бин ист... арбайтен... арбайтен, ферштейн?.. — Капитан изобразил руками некую работу, не то копание огорода, не то пиление напильником. — Их бин ист арбайтен... — Он задумался, как обозначить свое Учреждение, и вдруг нашел неожиданный эквивалент: — Их бин арбайтен ин руссиш гестапо.

— Гестапо? — нахмурился белобрысый, поняв слова допрашиваемого по-своему. — Ду коммунистен стрелирт, паф-паф?

— Я, я, — охотно подтвердил капитан. — Унд коммунистен, унд беспартийнен всех расстрелирт, паф-паф. — Изображая пистолетную стрельбу, капитан размахивал правой рукой.

Затем он хотел сообщить допрашивающему, что у него большой опыт борьбы с коммунистами и он, капитан Миляга, мог бы принести известную пользу немецкому Учреждению, но не знал, как выразить столь сложную мысль.

Младший лейтенант тем временем записывал в протоколе допроса: «Капитан Миллег во время службы в гестапо расстреливал коммунистов и беспартийных...»

Он чувствовал, как ненависть к этому гестаповцу растет в его груди. «Сейчас я его пристрелю», — думал Букашев. Рука уже потянулась к кобуре, но тут же младший лейтенант вспомнил, что надо вести допрос, надо держать себя в руках. Он сдержался и задал следующий вопрос:

— Вот ист ваш фербанд дислоцирт?

Капитан смотрел на белобрысого, улыбался, силясь понять, но не понимал. Он понял только, что речь идет о какой-то, видимо, банде.

— Вас? — спросил он.

Младший лейтенант повторил вопрос. Он не был уверен, что правильно строит фразу, и начинал терять терпение.

Капитан снова не понял, но, видя, что белобрысый сердится, решил заявить о своей лояльности.

— Ее лебе геноссе Питлер! — вставил он новое слово в знакомое сочетание. — Хайль Питлер! Сталин капут!

Младший лейтенант вздохнул. Этот фашист — явный фанатик. Однако нельзя отказать ему в храбрости. Идя на верную смерть, он славит своего вождя. Букашев хотел бы, попав в плен, держаться так же. Сколько раз представлял он себе картину, как его будут пытаться, загонять иголки под ногти, жечь огнем, вырезать на спине пятиконечную звезду, а он ничего не скажет, он только будет выкрикивать: «Да здравствует Сталин!»

Но он не всегда был уверен, что найдет в себе для этого достаточно мужества, и мечтал погибнуть с тем же возгласом на поле боя.

Младший лейтенант не стал реагировать на бессмысленные выкрики немца и продолжал допрос. Он задавал вопросы на ломаном русско-немецком языке. К счастью, и пленный немножко кумекал по-русски. И кое-что из него удалось все-таки выжать.

Капитан сообразил, что, очевидно, фербандой белобрысый называет Учреждение, в котором состоял он, Миляга.

— Там, — сказал он, охотно показывая рукой неизвестно куда, — ист хауз, нах хауз ист Чонкин. Ферштейн?

— Ферштейн, — сказал младший лейтенант, не подавая виду, что именно Чонкин его особенно интересуется.

Пленный, морщась от головной боли и напряжения, продолжал давать показания, с трудом подбирая чужие слова.

— Ист Чонкин унд айн, цвей, драй... семь... зибен руссиш гестапо... связанные штриппе, веревкен... Ферштейн? — Капитан попытался жестами изобразить связанных между собой людей. — Унд айн флюг, самолетен. — И он замахал руками, как крыльями.

— Ласточка, ласточка! — донеслось из соседнего помещения. — Что же ты, мать твою, не отвечаешь?

Капитан Миляга удивился. Он и не подозревал, что в немецком языке так много общего с русским. Или...

Но мысль свою он не додумал. Голова раскалывалась, и к горлу подступала легкая тошнота. Капитан сглотнул слюну и сказал белобрысому:

— Их бин болен. Ферштейн? Голова, майн копф бумбум. — Он слегка постукал себя кулаком по темени, а потом положил щеку на ладонь. — Их бин хочет бай-бай.



Сентябрь 1951. Джанкой.
Курс молодого бойца. Слева
Миша Горбачев (не тот).



Летние года сущств.
Тугуевское лётное
училище, летние лагеря,
деревня Граково.



1954. В краткосрочном
отпуске из армии, в гутной
шляпе и с гутным заказом
на гутном пиджаке.



1953. Польша.
Вопреки уставу -
в фуражке (по шку
полагалась только
шлотка).



1956. Москва, район
Разгуляев. В связи
с решением IX съезда
КПСС надо указать
Т. Лекнину на кое-какие
ошибки.



1958. С первой женой
Валентиной.



1959. Молодой и еще
неизданный писатель.



1964. С Валентиной
и старшими детьми
Мариной и Пашей.

Середина 60-х.
Молодой и временно
преуспевающий.





1974. Бывший член
Союза писателей СССР
с женой Ириной и
дочерью Ольгой.



1978. В московской
квартире.



1978. В деревне
Вертошино на фоне
дома покойного друга
Бориса Балтера.



1972. Москва,
ул. Тереховского, д. 4



200, возможно, 1975-й.
В больнице у А.Д. Сахарова.



Рядом с больной Елена
Бокнэр, а вверху слева
Виктор Платонович Некрасов.

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

П РА В Л Е Н И Е

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е С Е К Р Е Т А Р И А Т А

Протокол № 4.

§ 3

13 марта 1984 г.

С Л У Ш А Л И:

Решение Секретариата Правления Московской писательской организации СП РСФСР об исключении из Союза писателей СССР Войновича В.Н.

(Сообщение В.Н.Ильина)

~~присутствующие члены Президиума~~

В обсуждении приняли участие:

Михалков С.В., Бондарев Ю.В., Алексин А.Г., Анянцев А.А.,
Гамзатов Р.Г., Гранин Д.А., Дедушкин Н.С., Дементьев В.В.,
~~Васильев В.И.~~, Закуткин В.А., Кешоков А.П., Кожевников В.И.,
Котомкин И.А., Кутультинов Д.Н., Липатов В.В., Марков Г.М.,
Наровчатов С.С., Орлов С.С., Рогов Я.В., Смердов А.И.,
Татьяничева Л.К., Тельпугов В.П., Федоров В.Д., Хакимов С.
Шестинский О.Н.

П О С Т А Н О В И Л И:

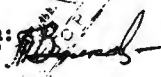
Утвердить решение Секретариата Правления Московской писательской организации об исключении писателя **ВОЙНОВИЧА В.Н.** из Союза писателей СССР в соответствии с пунктом 10, §§ "А" и "Б" Устава Союза писателей СССР.

(единогласно)

П.п.Председатель Правления Союза
писателей РСФСР

С.В.МИХАЛКОВ

П О С Л А Н О:

Выписка верна: 

СП СССР, Московской писательской организации, СП - в дело, Лятфонду.

Не дожидаясь разрешения, он неуверенной походкой, шатаясь от слабости, прошел к своей подстилке, лег и вновь потерял сознание.

36

Тем временем совещание у командира дивизии продолжалось. Был только небольшой перерыв, когда командиры батальонов уходили, чтобы переместить свои подразделения на намеченные исходные позиции. Отдав указания окопаться на новых местах, командиры вернулись в блиндаж.

Теперь обсуждалась проблема оружия и боеприпасов. Выяснилось, что в полку имеется только одно сорокапятимиллиметровое орудие и к нему три снаряда, один пулемет системы «максим» без лент, два батальонных миномета без мин, по две винтовки с ограниченным запасом патронов на каждое отделение и по одной бутылке с горючей жидкостью на три человека.

— Все ясно, — сказал генерал. — Оружия и боеприпасов мало. Максимально использовать фактор внезапности. Патроны экономить.

Открылась дверь, в блиндаже появился какой-то красноармеец в промокшей шинели.

— Товарищ генерал, — закричал он, приложив руку к пилотке, — разрешите обратиться к товарищу полковнику?

— Разрешаю, — сказал генерал. Боец повернулся к полковнику. От его шинели шел пар.

— Товарищ полковник, разрешите обратиться?

— Ну что там у тебя? — спросил полковник. Боец вручил ему пакет и, попросив разрешения, вышел. Полковник, разорвав пакет, прочел донесение и молча протянул генералу.

В донесении было написано:

*Командиру полка полковнику Лапшину
от младшего лейтенанта Букашева*

ДОНЕСЕНИЕ

Настоящим сообщаю, что мною, младшим лейтенантом Букашевым, был допрошен военнослужащий

германской армии, взятый в плен разведчиками Сырых и Филюковым.

При допросе пленный показал, что он является офицером гестапо Миллегом. За время службы в гестапо отличался жестокостью и беспощадностью и лично участвовал в массовых расстрелах коммунистов и беспартийных советских граждан.

Одновременно с этим он показал, что штаб так называемого Чонкина находится в крайней избе, принадлежавшей до оккупации почтальону Беляшовой, и охраняется усиленным отрядом гестаповцев, связанных между собой самыми тесными узами. Рядом имеется посадочная площадка и один самолет, по-видимому, для связи с регулярными частями гитлеровской армии.

От более подробных показаний вышеозначенный Миллег уклонился. При допросе вел себя вызывающе, с фанатизмом. Неоднократно выкрикивал фашистские лозунги (в частности, «Хайль Гитлер!»), позволял возмутительные заявления относительно общественного и политического устройства нашей страны. Несколько кощунственных выпадов касались личности тов. И.В. Сталина.

Младший лейтенант Букашев

— Ну что ж, — сказал генерал. — Сведения очень ценные. Младшего лейтенанта Букашева представить к награде. Исходные позиции изменить в соответствии с новыми данными. Чтобы не расплыться, сосредоточить все силы для атаки на штаб так называемого Чонкина. — Он придвинул к себе план, зачеркнул прямоугольники, изображавшие места дислокации батальона, и передвинул их на другие места. Зачеркнул стрелы и провел новые. Теперь все три стрелы сходились на избе Нюры Беляшовой.

37

Допросив пленного, лейтенант Букашев составил донесение и с одним из свободных караульных отправил к командиру полка. Теперь можно было бы немного и вздремнуть, но спать не хотелось, и он решил написать

письмо матери. Он положил перед собой раскрытый блокнот, придвинул копилку и своим еще не установившимся школьным почерком начал быстро писать:

«Моя милая, славная, дорогая мамулька!

Когда ты получишь это письмо, твоего сына, возможно, уже не будет в живых. Сегодня на рассвете по сигналу зеленой ракеты я иду в бой. Это будет первый бой в моей жизни. Если он окажется и последним, я прошу тебя: не горюй. Пусть тебя утешает мысль, что сын твой, младший лейтенант Букашев, отдал свою молодую жизнь за Родину, за партию, за великого Сталина.

Верь мне, я буду счастлив погибнуть, если моя смерть хоть в какой-то степени смоет пятно позора, которое положил на нас твой бывший муж и мой бывший отец...»

Написав слово «отец», Букашев задумался. И та ночь во всех подробностях встала перед его глазами, как будто это было только вчера. Он тогда кончал восьмой класс.

Когда они пришли и стали колотить в дверь прикладами и все в квартире переполошились, отец спокойно сказал матери:

— Подожди, я открою, это за мной.

Потом эти слова стали для Леша самой тяжелой уликой против отца. «Это за мной», — сказал он. Значит, он знал, что за ним могут прийти, значит, знал, что виноват, потому что у невиновного такого ощущения быть не могло.

Их было четыре человека: один с пистолетом, двое с винтовками и четвертый — очкарик с нижнего этажа, взятый в качестве понятого. Этот очкарик трясся от страха, и, как выяснилось впоследствии, не напрасно, через некоторое время его тоже арестовали по делу отца.

Они вспороли все перины и подушки (пух потом летал три дня по всему двору), разломали мебель и переколотили посуду. Тот, который был с пистолетом, брал по очереди горшки с цветами, поднимал над головой и разбивал прямо посреди комнаты, наворотив кучу черепков и земли.

Потом они ушли и увели с собой отца.

Первое время Леша еще на что-то надеялся. Ему трудно было свыкнуться с мыслью, что его отец, герой Гражданской войны, орденосеиц, получивший от ВЦИК именное оружие (саблю с золотым эфесом), а потом ди-

ректор одного из крупнейших металлургических заводов, оказался простым шпионом, сотрудничавшим с польской дефензивой. Но, к сожалению, вскоре все подтвердилось. Под давлением улик отец дал показания, что хотел вывести из строя одну из последних мартеновских печей. Не верить этому было нельзя. Отец сам подтвердил это в своих показаниях. Но одно только никак не укладывалось у Леша в голове — зачем отцу нужно было выводить из строя эту самую печь? Неужели он думал, что вместе с этой печью рухнет все советское государство? Если он так долго и искусно скрывал свою сущность от партии, от народа, наконец, от своей семьи, значит, он не был так глуп. И у него для вредительства были гораздо большие возможности. Нет, Леша решительно не мог понять ничего, и именно это больше всего его мучило.

Букашев встал, прошелся по амбару. Было тихо. Пленный лежал на соломе с закрытыми глазами, и лицо его было бледно. Пахло сеном, и где-то трещал сверчок. Он сел на место, вздохнул и посплюнул химический карандаш.

«...Мамочка дорогая, может быть, ты меня осудишь за то, что я, поступая в командирскую школу, скрыл правду об отце. Я знаю, я смалодушничал, но я не видел другого выхода, я хотел защищать Родину вместе со своим народом и боялся, что мне этого не позволят...»

Младший лейтенант отложил карандаш, подумал. Надо было бы сделать какие-нибудь распоряжения на случай смерти, но он не знал, какие именно. Раньше люди писали завещания. Ему завещать было нечего. Но все же он написал:

«Мамочка, если увидишь Лену Синельникову, передай ей, что я освобождаю ее от данного мне обещания (она знает), а костюм мой продай, не береги. Деньги, которые ты за него получишь, тебе пригодятся.

На этом письмо свое заканчиваю, до сигнала атаки осталось меньше часа. Прощай, моя дорогая мамуля! Твой любящий тебя сын Леша».

После этого он поставил число и время: 4 часа 07 минут.

Письмо это младший лейтенант Букашев сложил треугольником, надписал адрес и положил в левый карман к

документам. Если останется жив, он это письмо уничтожит, если погибнет, отправят и без него.

Время близилось к рассвету, надо было спешить. Младший лейтенант вырвал еще один лист из блокнота и написал заявление в партийную организацию своей части. Он не стал мотивировать свою просьбу. Он написал просто и скромно: «Если погибну, прошу считать коммунистом». И расписался. И поставил число. И, оставив заявление, чтобы просохло, вышел размяться наружу. Было еще темно, но вдали уже различались очертания каких-то предметов, и где-то внизу, над речкой, белела полоса тумана. Часовой, стоявший на посту у входа в амбар, курил, прикрывая сигарку ладонью. Младший лейтенант хотел сделать ему замечание, но передумал.

«Какое моральное право имею я делать замечания этому человеку, который в два раза старше меня?» — подумал он и вернулся в амбар.

Вернувшись, посмотрел он на то место, где лежало заявление. Блокнот был, заявления не было. «Что за черт?» — подумал младший лейтенант и стал рыться в карманах. Служебное удостоверение нашел. Письмо матери нашел. Нашел, наконец, фотографию Лены Синельниковой. Заявления в партию не было.

Букашев подозрительно посмотрел на пленного, но тот по-прежнему спал в своем углу, правда, не такой бледный, как раньше. Вряд ли стал бы он красть заявление, которое ему ни к чему совершенно. Младший лейтенант взял фонарь и стал обшаривать ближайшее пространство. Он заглядывал во все углы, ползал на коленях, переворачивал ящики — заявления не было.

Поиски младшего лейтенанта были прерваны каким-то наружным шумом. Он поспешил на этот шум и увидел у входа в амбар командира дивизии, который тыкал часового пистолетом в живот и произносил речь, состоявшую сплошь из мата. Позади генерала в предраассветной полутьме угадывались полковник Лапшин, начальник СМЕРШа и еще несколько темных фигур. Часовой, сжимая винтовку, тарачил на генерала обезумевшие глаза. Младший лейтенант застыл по стойке «смирно». Его появление отвлекло генерала от часового, и он закричал:

— А ты кто такой?

— Младший лейтенант Букашев, — отрапортовал он испуганно.

— Мой адъютант, — пояснил Лапшин.

— Что ж ты, младший, так твою мать, не смотришь, что у тебя этот раздолбай курит на посту, туда его в душу?

— Виноват, товарищ генерал армии! — наконец опомнился часовой, сразу повысив Дрынова на три чина.

Это было бы грубой лестью, но и Дрынов был тоже грубый. Он слегка смягчился и проворчал:

— Виноват, так твою мать. Кровью своей искупать будешь вину. Тут вот секретарь райкома товарищ Ревкин приехал, — показал он на кого-то, стоявшего за начальником СМЕРШа, — посмотрит он и скажет: «Ну и порядки у этих военных». Один такой вахлак может устроить демаскировку и погубить целую дивизию. Ну как, младшой, все спокойно?

— Спокойно, товарищ генерал!

— Ну хорошо, пройдем внутрь.

38

Капитан Миляга проснулся от какого-то шума, значение которого было ему непонятно. Приподнялся на локте. В амбаре никого не было. Тот, белобрысый, который сидел за столом, куда-то смылся. Может, и ему, Миляге, можно смыться? Он огляделся. Увидел под потолком маленькое окошечко. Там, в хлеву Нюры Беляшовой, тоже было окошечко под потолком. Если составить все эти ящички один на другой...

В амбар вошли пятеро. Первый, большой и грузный, с кирпичным лицом, за ним, чуть приотстав, худощавый, потом еще один, в высоких сапогах, за ним маленький, невзрачного вида, как показалось капитану, очень симпатичный, и последним шел белобрысый. Тот, что был в высоких сапогах, сразу заинтересовал капитана. Уж больно лицо его было знакомо. Конечно же, секретарь Ревкин. Наверное, эти немцы не знают, кто он такой, иначе они бы не так с ним обращались. И тут капитан понял, где путь к спасению. Сейчас он окажет немцам большую услугу, после которой они, может быть, и не ста-

нут его расстреливать. Он вскочил и направился прямо к Ревкину. Ревкин в недоумении остановился. Белобрысый схватился за кобуру.

— Афанасий Петрович? — наконец неуверенно проговорил Ревкин. — Товарищ Миляга?

— Волк тебе товарищ, — улыбнулся Миляга и повернулся к высокому, который, как он понял, был здесь самым главным. — Прошу битте, учесть мой показаний, этот швайн ист секретарь райкомен Ревкин, районен фюрер. Ферштейн?

— Афанасий Петрович, — еще пуще удивился Ревкин, — что с тобой, милый, опомнись!

— Вот они тебе сейчас опомнятся. Они тебе сейчас дадут, — пообещал Миляга.

Ревкин растерянно посмотрел на генерала, тот развел руками и помотал головой.

— Что за так твою мать! — удивился он.

Услыхав опять знакомое словосочетание, Миляга растерялся. Он смотрел на военных, переводя взгляд с одного на другого, и ничего не мог понять. Да и в голове еще немного потрескивало. Но тут в помещение вошли несколько человек с автоматами. На их касках блестели от дождя крупные звезды. И догадка забрезжила в помутненном сознании капитана.

— Кто это? — на чистом русском языке спросил высокий.

— Пленный, товарищ генерал, — выступил вперед Букашев. — Капитан гестапо.

— Тот самый? — Генерал вспомнил донесение.

— При чем здесь гестапо? — заспорил Ревкин и дал краткие разъяснения по поводу личности капитана.

— Но я же его допрашивал, — растерялся Букашев. — (Он сказал, что расстреливал коммунистов и беспартийных.

— Ни хрена понять не могу, — запутался вконец Дрынов. — Может, он сам тогда скажет? Ты кто есть? — спросил он непосредственно у Миляги.

Миляга был растерян, ошеломлен, раздавлен. Кто-то, а уж он-то совершенно ничего не мог понять. Кто эти люди? И кто он сам?

— Их бин...

— Ну вот видишь, — повернулся генерал к Ревкину, — я же говорю, что он немец.

— Найн, найн! — приходя в ужас, закричал Миляга, перепутав все известные ему слова из всех языков. — Я нет немец, я никс немец. Русский я, товарищ генерал.

— Какой же ты русский, так твою мать, когда ты слова по-русски сказать не можешь.

— Я могу, — приложив руку к груди, стал горячо уверять Миляга. — Я могу. Я очень даже могу. — Для того чтобы убедить генерала, он выкрикнул: — Да здравствует товарищ Питлер!

Конечно, он хотел назвать другую фамилию. Это была просто ошибка. Трагическая ошибка. Но то тяжелое состояние, в котором он находился с момента пленения, перемешало в его стукнутой голове все, что в ней было. Выкрикнув последнюю фразу, капитан схватился двумя руками за эту голову, упал и стал кататься по земле, понимая, что его уже ни за что не простят, да и сам бы он не простил.

— Расстрелять! — сказал генерал и сделал характерное отмахивающее движение рукой.

Двое бойцов из его охраны подхватили капитана под мышки и поволокли к выходу. Капитан упирался, выкрикивал какие-то слова, русские вперемешку с немецкими (оказалось, что он слишком хорошо знает этот иностранный язык), и носки его хромовых грязных сапог чертили по перемешанной с половой земле две извилистые борозды.

И у многих из тех, кто глядел на него, сжалось сердце от жалости. Сжалось оно и у младшего лейтенанта Букашева, хотя умом он и понимал, что капитан сам заслужил свою участь.

А начальник СМЕРШа, провожая взглядом своего коллегу в последний путь, думал: «Дурак ты, капитан! Ох и дурак!»

И в самом деле, погиб капитан Миляга, недавний гроза района, как дурак, по чистейшему недоразумению. Ведь если бы он, попав на допрос, разобрался в обстановке и понял, что это свои, разве стал бы он говорить про русское гестапо? Разве стал бы он выкрикивать «Хайль Питлер!», «Сталин капут!» и прочие антисоветские лозунги? Да ни за что в жизни! И по-прежнему считался бы первосортным патриотом. И вполне возможно, до-

служившись до генерала, получал бы сейчас хорошую пенсию. И проводил бы заслуженный отдых, забывая с друзьями-пенсионерами «козла». И выступал бы в жилищных конторах с лекциями, уча молодежь патриотизму, культуре поведения в быту и нетерпимому отношению ко всем проявлениям чуждой идеологии.

39

Чонкин не знал, какая над ним зависла опасность, но неприятности в связи с побегом капитана Миляги предчувствовал.

Поэтому незадолго до рассвета, пользуясь тем, что и пленные и Нюра спали крепким предутренним сном, он раскрыл свой вещмешок, передел чистое белье и стал рыться, перебирая свое имущество. В случае чего он хотел оставить Нюре что-нибудь на память.

Имущества было негусто. Кроме белья, смена байковых зимних портянок, иголка с нитками, огрызок химического карандаша и завернутые в газету шесть фотокарточек, где он снят был вполроста. Его товарищи по службе фотографировались, чтобы порадовать карточками родных или знакомых девушек, Чонкину радовать было некого. Поэтому все шесть карточек у него сохранились. Он вынул из пачки верхнюю и поднес к лампе. Вглядевшись в свое изображение, Чонкин остался им, в общем, доволен. Каптенармус Трофимович, подрабатывавший фотографированием, изобразил Чонкина при помощи специальной рамки на фоне идущих внизу танков и летящих поверху самолетов. А над самой головой Чонкина висел ореолом надпись: «Привет из Красной Армии».

Примостившись на краешке стола, он долго слюнил карандаш и обдумывал текст. Потом, вспомнив надпись, которую рекомендовал ему в свое время тот же Трофимович, и высунув от напряжения язык, вывел неровными, почти что печатными буквами:

Пусть нежный взор твоих очей
Коснется копии моей,
И может быть, в твоем уме
Возникнет память обо мне.

Подумал и дописал: «Нюре Б. от Вани Ч. в дни совместной жизни».

Карандаш спрятал в карман, а карточку положил на подоконник.

За окном светало и дождь, кажется, перестал. Пора было будить Нюру, а самому подремать хоть немного, потому что скоро надо пленных выводить на работу и там, в чистом поле, следить в оба, чтобы не разбежались, подобно своему начальнику.

Будить Нюру было жалко. И вообще жалко. Сколько они вместе живут, сколько она из-за него терпит, сколько сплетен вокруг, а ведь никогда не пожалуется. Был, правда, случай, намекнула робко, что не мешало бы оформить отношения, да он отговорился, что красноармейцу без разрешения командира жениться нельзя. Это, конечно, так, но если по-честному, дело не в разрешении, а в том, что он сам не решался, обдумывая положение с разных сторон.

Иван подошел к Нюре и тихо тронул ее за плечо.

— Нюрк, а Нюрк, — сказал ласково.

— А? Что? — Нюра, вздрогнув, проснулась и смотрела на него бессмысленными от сна глазами.

— Сменила б, слышь, меня на маленько, — попросил он. — Спать хочется, мочи нет!

Нюра послушно слезла с кровати, всунула ноги в сапоги, взяла винтовку и села возле двери.

Иван, не раздеваясь, лег на освобожденное место. Подушка была теплая после Нюры. Он закрыл глаза, и только сознание его начало путаться между сном и действительностью, как послышался какой-то странный, с прихлебами звук, что-то ахнуло где-то, и зазвенели оконные стекла. Иван сразу пришел в себя и сел на кровати. Проснулись Свинцов и Едренков. Нюра сидела на прежнем месте, но лицо ее выражало беспокойство.

— Нюрка, — шепотом позвал Иван.

— А? — шепотом отозвалась она.

— Чего там такое?

— Кажись, стреляют.

И вдруг снова бабахнуло, теперь вроде с другой стороны. Чонкин вздрогнул.

— Господи, твоя воля! — шепотом выдохнула Нюра.

Проснулись и другие пленники. Только лейтенант Филиппов чмокал губами во сне. Свинцов приподнялся

на локте и переводил взгляд с Нюры на Чонкина и обратно.

— Нюрка, — сказал Иван, торопливо зашнуровывая ботинки. — Дай мне винтовку, а себе возьми из кошелки левольвер какой побольше.

И, надевая обмоток, вышел во двор. Во дворе было тихо, грязно, но дождь перестал. Еще не совсем рассвело, но видимость была уже неплохая. Самолет, расставив свои нелепые крылья, стоял на месте.

Чонкин огляделся, и странное зрелище поразило его.

Метрах в двухстах за огородами клубились белые сугробы.

«Что за хрен? — удивился Чонкин. — В такую теплынь откуда же снег?»

Он заметил, что сугробы эти шевелятся и передвигаются в его сторону. Чонкин еще больше удивился и взгляделся внимательней. И тут только он понял, что это вовсе не сугробы, а некая масса людей, которые ползут по направлению к нему, Чонкину. Он не знал, что это ударный извод, которому было поручено забросать противника бутылками с горючей жидкостью как продолжение артподготовки. Когда их обмундировывали, на складе не хватило шинелей и бойцам выдали зимние маскхалаты, которые были использованы по причине плохой погоды. «Иемцы!» — подумал Чонкин. В ту же секунду ахнул винтовочный выстрел, и пуля взыкнула под самым ухом Ивана. Он упал. Подполз по грязи к правой стойке шасси и укрепил винтовку между стойкой и колесом.

— Эй, сдавайтесь! — крикнул кто-то оттуда, от белых халатов.

«Русские не сдаются!» — хотел крикнуть Чонкин, но постеснялся. Вместо ответа он приложился щекой к прикладу и выстрелил не целясь. И тут началось. Со стороны неприятеля захлопали беспорядочно выстрелы, и пули свистели над Чонкиным. Большая часть пролетала мимо, но некоторые задевали самолет, распарывали обшивку и со звоном плющились о стальные детали мотора. Чонкин уткнулся лицом в землю и время от времени, экономя патроны, стрелял неизвестно куда. Извел первую обойму, заправил вторую. Пули продолжали свистеть, некоторые из них совсем низко. «Кабы старшина

выдал мне каску», — с тоской подумал Иван, но продолжить свою мысль не успел. Что-то мягкое плюхнулось рядом с ним. Он вздрогнул. Потом слегка повернул голову и открыл один глаз. Рядом с ним лежала Нюра и так же, как он, прижавшись к земле, палила в воздух сразу из двух пистолетов. Кошелка с остальными пистолетами лежала рядом про запас.

— Нюрк, — толкнул Чонкин подругу.

— Ась?

— Ты почто их-то бросила?

— Не бойсь, — сказала Нюра, нажимая сразу на два спусковых крючка, — я их в подпол загнала и гвоздями забила. Ой, погляди!

Иван приподнял голову. Теперь белые продвигались вперед короткими перебежками.

— Этак, Нюрка, мы с ими не справимся, — сказал Чонкин.

— А ты из пулемета умеешь? — спросила Нюра.

— А где ж его взять?

— А в кабинке.

— Ой, как же это я забыл! — Чонкин вскочил и ударился головой о крыло. Прячась за фюзеляжем, оборвал тесемки брезента, залез на крыло, и не успели белые отреагировать, он был уже в задней кабине. Здесь действительно находились турельная установка и пулемет с полным боекомплектом. Чонкин схватился за ручки. Но пулемет был неподвижен. Турель от долгого бездействия и дождей заржавела.

Начал он плечом расшатывать пулемет, но он не поддавался.

Тут что-то тяжелое без выстрела упало на верхнее крыло. Потом еще и еще. И застучало вокруг и по крыльям, зазвенело разбитое стекло и остро запахло чем-то похожим на керосин. Чонкин высунул голову и увидел, что из-за ограды летит на него туча бутылок, наполненных желтой жидкостью. Большая часть бутылок плюхалась в грязь, но некоторые попадали по самолету, катились по крыльям и разбивались об мотор. (Впоследствии оказалось — бойцов ударного взвода забыли предупредить, что бутылки с горючей жидкостью надо сперва поджигать, и они швыряли их просто так.)

Сбоку на крыле появилась Нюра.

— Нюрка, не высувайся, — крикнул Иван, — пришибут!

— А на кой они бросают бутылки? — прокричала ему в ухо Нюра, паля одной рукой в воздух из пистолета.

— Не бойсь, Нюрка, опосля сдадим! — нашел в себе силы для шутки Чонкин. И приказал: — Вот что, Нюрка, хватай самолет за хвост и крути в разные стороны! Поняла?

— Поняла! — прокричала Нюра, сползая с плоскости на животе.

40

В это время генерал Дрынов сидел в блиндаже под тремя накатами и следил за происходящим сквозь перископ. Не то чтобы он был так труслив (храбрость свою он неоднократно уже показывал), просто он считал, что генералу по чину положено сидеть в блиндаже и передвигаться исключительно на бронетранспортере. В перископ он видел, как его войска сперва ползком, а потом короткими перебежками двигались по направлению к крайней избе. Оттуда тоже вели огонь, но не очень плотный. Генерал приказал телефонисту соединить его с командиром атакующего батальона и передал приказ начинать атаку.

— Есть, товарищ первый! — ответил в трубку командир батальона.

Вскоре в цепи атакующих заметно стало усиленное шевеление.

Бойцы ударного взвода в белых халатах подползли вплотную к забору. Генерал видел, как они, поочередно приподнимаясь, взмахивают руками. Бросают бутылки, догадался генерал.

Но почему же нет пламени?

Генерал снова соединился с комбатом.

— Почему не горят бутылки?

— Сам не понимаю, товарищ первый.

— А спичками не поджигали? — повысил голос генерал.

Было слышно, как шумно дышит в трубку командир батальона,

— Я тебя спрашиваю, — не дождался ответа Дрынов, — поджигали бутылки или нет?

— Нет, товарищ генерал.

— Почему?

— Я не знал, товарищ первый, — помолчав, признался комбат.

— В трибунале узнаешь, — пообещал генерал. — Кто есть рядом с тобой из комсостава?

— Младший лейтенант Букашев.

— Передай ему командование батальоном и отправляйся под арест.

— Есть, товарищ первый, — упавшим голосом ответила трубка.

В это время застучал пулемет. Генерал удивился и, бросив трубку, кинулся к перископу.

Он увидел, что цепи атакующих залегли, а бойцы ударного взвода, вжавшись в землю, ползут обратно. Халаты на них были уже не совсем белые или, точнее сказать, совсем не белые, теперь вполне пригодные для маскировки.

Передвинув трубку перископа чуть левее, генерал увидел, что пулеметный огонь идет из самолета, который, движимый непонятной силой, вращается на месте.

— Что за едрит твою мать! — удивился генерал, но, регулировав резкость, удивился еще больше. Некто явно женского пола в цветастом платье, расстегнутой телогрейке и сбившемся на плечи полушалке таскает этот самолет за хвост. Вот самолет повернулся боком, и на хвосте его генерал отчетливо разглядел звезду. «Неужто — наш?» — мелькнуло в генеральском мозгу. Нет, не может быть. Обыкновенная вражеская уловка. Для того эта баба его и крутит, чтоб обмануть. Он опять вернулся к телефону. Вызвал командира полка.

— Слушай, второй, — сказал он ему, — это говорит первый! У нас в орудии сколько снарядов осталось?

— Один, товарищ первый.

— Очень хорошо, — сказал первый. — Прикажи подтащить орудие к уборной, на которой что-то написано иностранными буквами, и пускай вдарят прямой наводкой в упор.

— Так пулемет же, товарищ первый.

— Что пулемет?

— Не дает подойти. Стреляет. Люди погибнут.

— Погибнут! — загремел генерал. — Гуманист тоже нашелся. На то и война, чтоб гибли. Подтащить орудие, и приказываю!

— Есть, товарищ первый.

В это время умолк пулемет.

Отбив атаку, Чонкин снял пальцы с гашетки. И сразу наступила тишина до звона в ушах. Со стороны неприятеля тоже никто не стрелял.

— Нюрка! — обернулся Иван.

— Чего? — Нюра стояла, привалившись к хвосту, тяжело дышала, и лицо ее было красным и мокрым, как после бани.

— Живая, — улынулся ей Чонкин. — Ну отдохни маленько.

Было уже совсем светло, и он хорошо видел и тех, в грязных халатах, которые швыряли бутылки, и других, в серых шинелях, которых было гораздо больше. Но все они лежали, не проявляя никаких признаков жизни, и даже ощущение опасности стало как будто бы проходить.

Где-то громко закричал петух, ему отозвался другой, потом третий...

«Ишь как голосисто кричат», — думал Чонкин, не замечая, что артиллеристы подтягивают свою сорокапятку, прикрываясь уборной Гладышева, на которой было написано «Water closet».

— Нюрка, — сказал Иван ласково, — отдохнула маленько?

— А чего? — Нюра утирала лицо концом полушалка.

— Принесла бы водицы. Попить охота. Только бегом, а то ишо подстреляют.

Нюра, пригнувшись, кинулась к избе.

Ахнул запоздалый выстрел, но Нюра была уже за углом.

Избежав в избу, она первым делом обратила внимание на крышку подпола, но в этом смысле все было в порядке, пленники сидели внизу и никак не проявляли себя.

Нюра зачерпнула из ведра воды, и в это время раздался такой оглушительной силы взрыв, что пол под ней перевернулся, и, падая, она слышала, как летели со звоном стекла.

Выстрел был очень удачным. Единственный снаряд угодил точно в цель. Бойцы по-прежнему лежали, прижавшись к земле и ожидая ответа со стороны противника. Ответа не было.

И тогда временно исполняющий обязанности командира первого батальона младший лейтенант Букашев поднялся на четвереньки.

— За Родину! — прокричал он хриплым от волнения голосом. — За Сталина! Ура-а!

Вскочил на ноги и побежал по мокрой траве, размахивая пистолетом.

На какой-то миг замерло сердце, показалось, что он один и за ним никого. Но уже в следующее мгновение слышал он за спиной мощное «ура» и топот десятков ног. Тут же заметил он и второй батальон, который тоже с криком «ура» бежал рассеянной цепью по улице, третий батальон, обойдя деревню понизу, приближался со стороны реки.

Младший лейтенант Букашев со своими орлами первым перемахнул через ограду и ворвался на огород. То, что он увидел, показалось ему невероятным. Не увидел он горы вражеских трупов, не увидел сдающихся в панике солдат противника. Он увидел разбитый самолет, у которого правая верхняя плоскость была срезана осколком и висела на тонких тросиках, а хвост вообще валялся в стороне.

Недалеко от самолета на развороченной земле лежал красноармеец с голубыми петлицами, а над ним безутешно рыдала женщина в расстегнутой телогрейке и с растрепанными волосами.

Букашев остановился. Остановились и подбежавшие за ним бойцы. Задние привставали на цыпочки, чтобы рассмотреть, что происходит впереди. Младший лейтенант, смущенно потоптавшись, стащил с головы каску. Бойцы последовали его примеру.

Подошел и полковник Лапшин. Также снял каску.

— Как фамилия этого красноармейца? — спросил он у женщины.

— Чонкин это, Ваня, муж мой, — сказала Нюра, заливаясь слезами.

С грохотом подъехал бронетранспортер. Из него выскочили автоматчики и стали теснить красноармейцев, расчищая путь тяжело вылезавшему генералу. Разобрали часть изгороди, чтобы комдиву не пришлось задирать ноги. Заложив руки за спину, генерал не спеша прошел к самолету. Увидев лежавшего на земле Чонкина, медленно стянул с головы папаху.

Подбежал полковник Лапшин.

— Товарищ генерал, — доложил он, — задание по ликвидации банды Чонкина выполнено.

— Это и есть Чонкин? — спросил Дрынов.

— Да, товарищ генерал, это — Чонкин.

— А где же банда?

Полковник растерянно закрутил головой. В это время дверь избы отворилась, и несколько вооруженных красноармейцев вывели связанных людей в серых мундирах.

— Вот она, банда, — сказал сзади кто-то из красноармейцев.

— Какая же это банда? — появился откуда-то Ревкин. — Это наши товарищи.

— Кто сказал про них «банда»? — спросил генерал и взгляделся в напиравших друг на друга красноармейцев. В рядах произошло некоторое замешательство. Бойцы попятились. Каждый старался спрятаться за спиной другого.

— Развязать их! — приказал генерал полковнику Лапшину.

— Развязать! — приказал полковник младшему лейтенанту Букашеву.

— Развязать! — приказал Букашев бойцам.

— Где же все-таки банда? — спросил генерал, всем корпусом поворачиваясь к стоявшему сзади Ревкину.

— А это надо у него спросить, — сказал Ревкин и показал на подъезжавшего в двуколке председателя Голубева. — Иван Тимофеевич! — закричал он ему. — Где же банда?

Голубев привязал лошадь к забору и подошел.

— Какая банда? — спросил он, с жалостью глядя на вчерашнего своего собутыльника.

— Ну как же, — заволновался Ревкин. — Помнишь, и тебе звонил по телефону, спрашивал насчет вот това-

рищей, кто их арестовал? А ты мне сказал: «Чонкин со своей бандой».

— Я не говорил с «бандой», — нахмурился Голубев. — Я сказал «с бабой». С ней вот, с Нюрой.

Услышав свое имя, Нюра зарыдала еще пуще. Горючая слеза упала на лицо Чонкина. Чонкин вздрогнул и открыл глаза, потому что он был не убит, а только слегка контужен.

— Жив! Жив! — прошелестело среди бойцов.

— Ванечка! — закричала Нюра. — Живой! — И стала покрывать лицо его поцелуями. Чонкин потерял висок.

— Что-то я долго спал, — сказал он неуверенно и вдруг увидел над собой много любопытных лиц. Чонкин нахмурился и остановил взгляд на одном из стоявших над ним людей, а именно на человеке, который держал в руке папаху.

— Кто это? — спросил он у Нюры.

— А бес его знает, — сказала Нюра. — Какой-то начальник, я в их чинах не разбираюсь.

— Так это ж генерал, Нюрка, — подумав, сказал Иван.

— Да, я генерал, сынок, — ласково сказал человек с папашой.

Чонкин смотрел на него недоверчиво.

— Нюрк, — спросил он взволнованно, — а я, случаем, не сплю?

— Нет, Ваня, ты не спишь.

Чонкин ей не очень поверил, но подумал, что генерал есть генерал и к нему надо относиться соответственно даже во сне. Он пошарил по земле рукой и, найдя лежавшую рядом пилотку, напялил ее на уши. Поднялся на нетвердые ноги и, чувствуя легкое головокружение и тошноту, приложил растопыренные пальцы к виску.

— Товарищ генерал, — доложил он, глотая слюну, — за время вашего отсутствия никакого присутствия...

Не зная, что говорить дальше, он замолчал и, часто хлопая ресницами, уставился на генерала.

— Послушай, сынок, — сказал генерал, надевая папаху, — неужели ты один сражался с целым полком?

— Не один, товарищ генерал! — Чонкин подтянул живот и выпятил грудь.

— Значит, все-таки не один? — обрадовался генерал. — А с кем же?

— С Нюркой, товарищ генерал! — приходя в себя, рывкнул Чонкин.

Среди красноармейцев раздался смех.

— Кто там смеется?! — Генерал разгневанно стрельнул глазами по толпе. Смех сразу стих. — Смеяться нечего, мать вашу так! — продолжал генерал, постепенно припоминая все известные ему выражения. — Раздолбай трах-тарарах... целым полком не могли справиться с одним говенным солдатом. А ты, Чонкин, я тебе прямо скажу, — герой, хотя на вид обыкновенный лопух. От имени командования, так твою мать, объявляю тебе благодарность и награждаю орденом.

Генерал сунул руку под плащ-палатку, снял с себя орден и прикрутил его к гимнастерке Чонкина. Вытянувшись по стойке «смирно», Чонкин покосился на орден и перевел взгляд на Нюру. Он подумал, что хорошо бы сфотографироваться, а то ведь потом никто не поверит, что сам генерал вручал ему этот орден. Он вспомнил Самушкина, старшину Пескова, капитанармуса Трофимовича. Вот перед ними сейчас показаться!..

— Товарищ генерал, разрешите обратиться! — Лейтенант Филиппов молодецкато кинул руку к виску.

Генерал вздрогнул и посмотрел на лейтенанта без особой приязни. Не успели развязать, а он уже лезет.

— Ну говори, — сказал генерал неохотно.

— Прошу ознакомиться с этим документом! — Лейтенант развернул лист бумаги с дыркой в правом нижнем углу. Генерал взял бумагу и медленно стал читать. Чем больше читал, тем больше хмурился. Это был ордер. Ордер на арест изменника родины Чонкина Ивана Васильевича.

— А где же печать? — спросил генерал, надеясь, что ордер не оформлен законным образом.

— Печать прострелена в бою, — с достоинством сказал лейтенант и потупился.

— Ну что ж, — сказал генерал смущенно, — ну что ж... Если так, то конечно... У меня нет оснований не верить. Поступайте согласно ордеру. — Он отступил назад, освобождая путь лейтенанту.

Лейтенант шагнул к Чонкину и двумя пальцами, как гвоздодером, вцепился в только что полученный орден. Чонкин инстинктивно попятился, но было поздно. Лейтенант дернул рукой и выдрал вместе с орденом клочок гимнастерки. — Свинцов! Хабибуллин! — последовала команда. — Взять арестованного!

Чонкина схватили под локотки. По рядам красноармейцев прошел шум. Никто ничего не понимал.

Помня о роли командира как воспитателя, генерал Дрынов повернулся к личному составу и объявил:

— Товарищи бойцы, мой приказ о награждении рядового Чонкина отменяется. Рядовой Чонкин оказался изменником Родины. Героем он притворялся, чтобы втереться в доверие. Ясно?

— Ясно! — прокричали бойцы не очень уверенно. Полковник Лапшин выбежал на дорогу и, встав спиной к деревне, вытянул руки по швам.

— Полк! — закричал он, дав сильного «петуха». — По батальонно, в колонну по четыре, становись!

Пока полк выстраивался на дороге, генерал вместе с Ревкиным сел в бронетранспортер и уехал. Уехал от греха подальше и Голубев.

Наконец полк построился и занял всю дорогу от одной околицы до другой.

— Полк, равняйся! — скомандовал полковник. — Смирно! С места с песней шагом... — полковник выдержал паузу, — марш!

Прогнули сапоги о влажную дорогу. Из середины строя взмыл высокий голос запевалы:

Скакал казак через долину,
Через кавказские края...

И сотни плотов подхватили:

Скакал казак через долину,
Через кавказские края!

Мальчишки со всей деревни бежали вдоль строя и пытались подобрать ногу. Бабы махали платочками и утирали слезы.

Позади полка хромая кляча тащила пушку-сорокапятку, а за пушкой ехал на колесиках инвалид Граж-

данской войны Илья Жикин в буденовке. Проехав до середины деревни, он махнул рукой и повернул обратно.

Вскоре после ухода полка жители Красного увидели выезжавшую со двора Чонкина полуторку.

Лейтенант сидел в кабине рядом с шофером. Остальные четверо держали за руки стоявшего в кузове Чонкина, который, впрочем, не вырывался.

За машиной, рыдая и спотыкаясь, бежала Нюра. Косынка сбилась на плечи, волосы растрепались.

— Ваня! — кричала Нюра, давясь от рыданий. — Ванечка! — и на бегу тянула руки к машине.

Чтобы прекратить это безобразие, лейтенант приказал шоферу ехать быстрее. Шофер прибавил газу. Нюра не выдержала соревнования с машиной и, споткнувшись напоследок, упала. Но, и лежа, продолжала тянуть руки в сторону быстро удалявшейся машины... Сердце Чонкина заныло от жалости к Нюре. Он рванулся, но не тут-то было, его крепко держали.

— Нюрка! — закричал он, отчаянно мотая головой. — Не плачь, Нюрка! Я еще вернусь!

42

На закате того же дня кладовщик Гладышев вышел из дому, имея своей целью осмотр мест недавнего сражения. И, проходя скошенным полем, за бутром, километрах в полутора от деревни, нашел он убитую шальной пулей лошадь. Гладышев сперва подумал, что это чужая лошадь, но, подойдя ближе, узнал Осоавиахима. Видимо, мерин был убит наповал — возле уха чернела рваная рана, от которой к губам тянулась струйка застывшей крови. Стоя над мертвым меринком, Гладышев усмехнулся. Что греха таить, было такое — поверил он своему странному сну. Не то чтоб совсем, но в какой-то степени все же поверил. Уж так все совпало, что трудно было не пошатнуться в своих лишенных мистики убеждениях. Ведь это ж, если кому рассказать, стыд и смех, стыд и...

Гладышев вдруг заметил, что на переднем копыте мерина нет подковы.

— Этого еще не хватало, — пробормотал он и, наклонившись, сделал второе открытие. Под копытом,

примятый к земле, лежал клок бумаги. Охваченный предчувствием необычайного, Гладышев схватил бумагу, приблизил к глазам и остолбенел.

Несмотря на густевшие сумерки и не очень-то острое зрение, селекционер-самородок разобрал написанные крупным, неустановившимся почерком проступившие сквозь засохшие пятна грязи и крови слова: «Если погибну, прошу считать коммунистом».

— Господи! — вскрикнул Гладышев и впервые за много лет перекрестился.



Книга вторая
Претендент на престол

Часть первая

1

Н — — — — —
ач. АХО тюрьмы № 1

т. Тимофееву С. П.

Для помыва з/к Чонкина И.В. прошу Вашего распоряжения о выдаче мыла хозяйственного — 20 гр.

Ст. надзиратель Потапов

Зав. складом т. Кудеяровой

Выдать для помыва з/к Чонкина мыла жидкого 15 гр.

Тимофеев

Заведующей баней № 1 Долговского райкоммунхоза

т. Фрукт

Прошу обеспечить санобработку и помыв з/к Чонкина с выделением для этой цели воды горяче-холодной не менее 8 (восьми) шайко-объемов.

Нач. АХО тюрьмы № 1 Тимофеев

СПРАВКА

Чонкин И.В. санобработку прошел.

Завбаней С.Фрукт

**ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В КАМЕРЕ № 1 ТЮРЬМЫ № 1**

1. Нары простые деревянные — 3 яруса
2. Табуретка простая деревянная — шт. 1
3. Судно канализационное деревянное (параша) — шт. 1

Ст. надзиратель Потапов

Примечание: Лица, виновные в преднамеренной порче, или порче по неосторожности, или в иных действиях, которые могли бы привести к порче социалистического имущества, будут нести ответственность по законам военного времени.

Командиру войсковой части полевая почта № 249814
Срочно, секретно

4 сентября в селении Красное арестован по обвинению в дезертирстве военнослужащий вашей части рядовой Чонкин И.В. При аресте у обвиняемого изъята винтовка Мосина образца 1891/30 г. и патроны к ней в количестве — шт. 4. Прошу срочно сообщить, когда, при каких обстоятельствах обвиняемый скрылся из части с приложением личной характеристики.

ВРИО Начальника отдела НКВД Долговского района
лейтенант Филиппов

ВРИО Начальника отдела НКВД Долговского района
лейтенанту Филиппову
Срочно, секретно, со спецкурьером

В ответ на ваш запрос сообщаю: рядовой Чонкин Иван Васильевич был направлен в селение Красное для несения караульной службы по охране самолета У-2 634805321, потерпевшего аварию и совершившего вынужденную посадку вблизи указанного населенного пункта. При себе имел винтовку Мосина образца 1891/30 года и патроны к ней в количестве шт. 20.

В результате вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз часть получила задание спешно перебазироваться в район военных действий. В связи с невозможностью своевременного отзыва рядового Чонкина к месту службы последний зачислен в списки пропавших без вести. Вместе с тем авторитетная комиссия в составе подполковника Опаликова К.М.(председатель), техника-капитана Кудлая Ю.И. и старшего моториста сержанта Чебурданидзе А.Г., изучив соответствующую документацию, пришла

к заключению, что указанный летательный аппарат подлежит списанию ввиду полной выработки им самолето- и моторесурса (акт заочной технической экспертизы прилагается).

Полностью доверяя органам следствия, командование части просит сообщить окончательное решение по делу Чонкина И.В.

Командир войсковой части полевая почта 249814
п/полковник Пахомов

ХАРАКТЕРИСТИКА

Рядовой Чонкин Иван Васильевич, 1919 года рождения, русский, холостой, беспартийный, образование неоконченное начальное, проходил службу в войсковой части № 249814 с ноября 1939 года, исполняя обязанности рядового. Во время прохождения службы отличался недисциплинированностью, разгильдяйством, халатным отношением к своим служебным обязанностям. За неоднократные нарушения воинской дисциплины и несоблюдение Устава РККА имел 14 взысканий (впоследствии снятых).

Обладая низким образованием и узким кругозором, на занятиях по политической подготовке проявлял пассивность, конспекта не вел, слабо разбирался в вопросах текущей политики и теоретических положениях научного коммунизма.

Общественной работой не занимался. Политически выдержан, морально устойчив.

Командир в/ч п/п № 249814 п/
полковник Пахомов.

Комиссар части
ст. политрук Ярцев

Начальнику управления НКВД по ...ской области
подполковнику тов. Лужину Р.Г.

В ответ на Ваш запрос (исх. № 014/209) сообщаю:
ордер на арест Чонкина И.В., обвиняемого в дезертирстве, был выписан на основании заявления за подписью «жители д. Красное» бывшим начальником нашего

учреждения капитаном Милягой А.П. и санкционирован райпрокурором т. Евпраксеиным П.Т.

Во время ареста обвиняемый при содействии своей сожительницы Беляшовой А. оказал вооруженное сопротивление, в результате которого сержант Свинцов получил тяжелое ранение.

Капитан Миляга, прибывший к месту происшествия позднее, затем бежал и погиб при не выясненных пока обстоятельствах.

В настоящее время преступник захвачен и содержится под стражей в тюрьме № 1 города Долгова. Прошу дальнейших указаний.

Лейтенант Филиппов

2

— Давай, вали дальше! — потребовали сверху.

— Дальше-то? — Чонкин задумался.

Вся камера № 1 возбужденно ждала продолжения. Время было — после отбоя. Чонкин лежал на средних нарах между блатным пареньком Васей Штыкиным по прозвищу Штык и паном Калюжным, пожилым дядькой с вислыми усами.

Чонкин пытался собраться с мыслями, его торопили, сбивали с толку, кричали снизу и сверху: «Ну телись же ты, падло!», словно он был коровой.

— Ну вот, — сказал он, поправляя под собой шинель, — сижу, значит, я с пулеметом в кабине, Нюрка хвост заворачивает, бутылки летят, а эти кричат «сдавайся!». А как же сдаваться, я ж не могу, я на посту, мне ж не положено. И тут вдруг что-то ка-ак сверканет, и так у меня в голове все поплыло, и сделалось так хорошо, и дальше ничего не помню, лежу как мертвый.

Вся камера притихла, как бы почтив молчанием память Чонкина, а пан Калюжный, лежа на спине, быстро перекрестился и сказал тихо: «Царствие Небесное».

— Ну вот, — помолчав, продолжал Чонкин, — очинаюсь это я, значит, в животе бурчит, башка будто чужая, открываю глаза и вижу передо мной...

— Черт, — подсказал кто-то снизу, но на него цыкнули, и он умолк.

— Не черт, — поправил Чонкин, — а генерал.

— Ха-ха, генерал, — засмеялись уже наверху. — А может, маршал?

— Закрой хлебало! — оборвали и этого.

— Закрой, — сказал и Чонкин. — Ну вот. Я и сам сперва не поверил и говорю: «Нюрка, это же генерал». А он мне: «Да, — говорит, — сынок, я и есть, — говорит, — генерал». Ну, я встаю, калган гудит, но, как положено, пилотку поправил, руку к виску... — Чонкин приподнялся на локте и, как бы вытягиваясь перед воображаемым начальством, на всю камеру прорывал: «Товарищ генерал, за время вашего отсутствия никакого присутствия не было». А он... — Чонкин обмяк и усталым, отчасти даже старческим голосом изобразил: «Спасибо, сынок, за службу». И сымает с себя... ну, это...

— Штаны, — подсказали из-под нар.

— Дурак, — оскорбился Чонкин за своего генерала. — Не штаны, а этот... Ну, крутлый такой... ну, орден.

Штык на своем месте заерзал, приподнялся, наклонился над Чонкиным.

— Орден? — переспросил недоверчиво.

— Орден, — подтвердил Чонкин.

— Какой?

— Ну, этот... Ну, красного этого...

— Знамени?

— Ну да. Ну, знамени.

Штык поднес к носу Чонкина руку со скрюченным указательным пальцем:

— На, разогни.

— Чего это? — Ожидая подвоха, Чонкин недоверчиво смотрел на согнутый палец.

— Да разогни же.

— А на кой?

— Разгинай, не бойся.

Пожав плечами, Чонкин разогнул. Он не знал этой нехитрой шутки и не понял, почему все смеются.

— Ну и свистун, — сказал Штык. — Генерал, орден...

— Не веришь? — оскорбился Чонкин. — Да вот же ж... дырка.

За гвоздь зацепился, — сказал Штык.

— Штык! — окликнули его снизу. — Отвали, падло, не мешай человеку. Давай, Чонкин, травы, не тушуйся.

— А ну вас! — махнул рукой Чонкин.

Он обиделся, замолчал и, встав на карачки, долго направлял шинель на узком пространстве между Штыком и паном Калюжным. Его звали, ему обещали больше не перебивать, его упрасивали, он не ломался, он просто молчал, думал. Защищая свой пост, он не знал, что совершает что-то особенное, а теперь по интересу слушателей и даже по их недоверию понял, что совершил что-то особенное и даже по-своему выдающееся, а вот не верят, и некому подтвердить.

Народ в камере был разношерстный. Некий индивидуум, которого звали почему-то Манюней, сказал Чонкину:

— За дезертирство это тебе сразу вышку дадут, расстреляют.

— Манюня! — окликнул его востоковед (в Долговской тюрьме были люди самых диковинных профессий) Соломин. — Перестаньте пугать человека.

— Да я не пугаю, — возразил Манюня. — Я говорю: раз дезертирство, значит, вышка. Это если б он, скажем, в самоволку пошел или, допустим, от эшелона отстал, ну тогда, конечно, можно бы ограничиться штрафной ротой, а когда дезертирство, да еще с сопротивлением властям, тут уж без вышки никак... — Манюня помолчал, подумал. — Ну, вообще-то сейчас расстрел гуманный. Раньше-то было как. Раньше тебя выводят во двор; отделение с винтовками, прокурор, доктор. Приговор читают, глаза завязывают, потом командуют: «Отделение, приготовиться!» Жуть! Теперь все не так. Теперь гуманно. Повели тебя, скажем, в баню, а по дороге — бац в затылок, и все. Охо-хо! — зевнул он. — Поспать, что ли.

Народ еще крутился на нарах, переговариваясь о том о сем, перекидываясь шуточками. Грузин Чейшвили рассказывал, как на воле жил сразу с двумя певицами. Другой голос излагал длинный и скучный анекдот, вся соль которого заключалась в том, что в нем действовали русский, еврей и цыган.

— Когда мне бывает трудно, — сказал бывший профессор марксизма-ленинизма Зиновий Борисович Цинубель, — я всегда читаю Ленина.

— Легче становится? — спросил кто-то

— Напрасно иронизируете, — отозвался Цинубель. — Когда-нибудь вы поймете, что у Ленина есть ответы на все вопросы.

— А за что сидишь, батя? — спросил Чонкин пана Калюжного.

— А бис його знае. За якийсь процкизм чи шо, — беспечно ответил Калюжный.

— И давно?

— Та давно. 3 тридцять четвертого року. Только раньше я сидив за воровство, за мошенничество, за бродяжничество, а теперь ото за процкизм.

— А на волю хочется? — спросил Чонкин.

— На волю? — удивился Калюжный. — Ни. А шо там оршого?

— Как? — всполохился Чонкин. — Дак как же чего хорошего? Ну, там... это... солнышко светит, птички поют.

— А на шо тобі та птичка? Шоб вона тобі на голову шкнула?

Чонкин растерялся и не знал, что ответить.

— Ото ж уси кажутъ: воля, воля, — развивал свою мысль пан Калюжный, — а разобраться, так вона никому и не нужна. Тут тэбэ утречком разбудылы, несут баланду. Много чи мало, а принесут. А на воли хто тобі принесе? Та ніхто. В мене жинки немає, а сестра пише письма. Цей пид поезд попав, другий от пьянки вмер, третий утомив, четвертый ще шось... И це ж только в мирное время. А колы война, то ще хуже. Тут свистить, тут бабахае, та ты шо! У тюрьми лучше. Тут люды яки сидять — профессура! А на воле шваль одна осталась, ей-бо!

Пан Калюжный еще долго убеждал Чонкина в преимуществах тюремной жизни, вдруг неожиданно смолк на полуслове и захрапел.

Чонкин повернулся на другой бок, лицом к Штыку, подтянул к подбородку колени, накрылся свободной полой шинели, полежал — неудобно. Спина прикрыта, перед открыт, в грудь дует. Лег на спину, попробовал обе полы на себя с двух боков натянуть, опять на все не хватает. Лег на левый бок, спереди шинель на себя запернул, спина мерзнет. А пока вертелся, шинель снизу сбилась в один комок, пришлось опять на карачках

ползать, вызывая неудовольствие и пана Калюжного и Штыка.

Всегда считал себя Чонкин неприхотливейшим существом, а тут, к собственному удивлению, обнаружил, что за время жизни у Нюры разнежился, привык к пуховой подушке, пуховой перине и ватному одеялу. Здесь ему было и тесно, и жестко, и холодно.

Поэты-романтики-орденоносцы немало лирических стихов насочиняли о солдатской шинели, будто на ней замечательно спать, одновременно ею же укрываясь. А еще лучше, если делается это на снегу или в крайнем случае под дождем, то есть чтобы она была непременно и мокрая, и пулями пробитая, и как-нибудь в боях обоженная. Вот тогда-то, мол, спать на ней и ею же укрываться очень уж романтично. Романтично — это, пожалуй, да, но сказать, чтоб очень уж удобно — это, конечно, нет.

Крутился Чонкин, крутился — постепенно как-то устроился, как-то особенно съезжился, как-то примирился с жесткой реальностью, осознав, что, как ни плоха шинель для спанья, голые нары — хуже. Приспособился, приладил щеку к завернутому рукаву и заснул в сильно скрюченном положении.

И как только впал в забытие, так сразу, а может быть, даже не совсем сразу, может быть, по прошествии какого-то времени, приснилось ему, что не скрюченный на нарах и завернувшись в шинель он лежит, а на пуховой перине, под ватным одеялом и с Нюрой. Лежит Нюра с ним рядом, пышет жаром, как печка, и пахнет вкусно, как мармелад. И потянулся он томно к Нюре, прижался к ней, положил руку на спину, а потом ниже, а вторая рука уже шарила на том же уровне, но с другой стороны. И, ухватившись за все, на что рук хватало, вспылал он неодолимым желанием, задышал глубоко и часто, кинулся на Нюру с рычанием и впился в нее, как паук.

Он не понял, почему она сопротивляется, почему отпихивается коленями и руками, ведь не только ему с ней, но и ей с ним было всегда хорошо.

Он пытался сломить ее сопротивление, но она схватила его за горло, он проснулся и увидел перед собою Штыка.

— Опять, сука, педрило попался, — шипел и плевался Штык. — Что вы ко мне, падлы, липнете!

Проснулись, заворочались на нарах другие. Кто-то наверху спросил, что происходит, другой голос лениво ответил:

— Новенький Штыка хотел трахнуть.

— А-а, — отозвался первый голос без удивления: видеть, здесь ко всему все привыкли.

Чонкин спросонья тряс головой, пялился на Штыка, не понимая, в чем дело, а когда разобрался, сконфузился.

— Нюрка наснилась, — объяснил он и повернулся на другой бок, чтоб избежать повторения неприятности. Штык тоже спиной к нему повернулся и долго еще чего-то бухтел, пока не заснул, а Чонкин лежал, досадуя, что так неудобно все получилось, но постепенно досада его ослабла, и он снова заснул.

И опять, как ни странно (а впрочем, что уж тут странного?), приснилась ему перина и подушка, приснилось мягкое одеяло и Нюра под ним. Помня во сне, что, обнимая Нюру, получил он в ответ какую-то неприятность, Чонкин на этот раз долго лежал недвижно, но запах Нюрино тела и волны жара, идущие от нее, опять его одурманили, опьянили, он потянулся к ней робко, потом смеясь, и она на этот раз не противилась, и она потянулась к нему. И вот тела их коснулись друг друга по всей длине, и жались друг в друга, и его руки торопливо оглаживали и мнили ее, а ее руки то же самое делали с ним, и, хотя показалась она ему какой-то костлявой и жесткой, накинута на нее, впился в ее губы своими губами, и она его целовала, и она бурно дышала, и она страстно шептала по-украински:

— Ты мэнэ хочеш?

— Хочу! Хочу! — жарко выдыхал Чонкин. Ошалев совершенно, он грыз ее губы, он касался языком ее языка, и единственное, что ему сейчас мешало, что раздражало его, были ее усы.

— Зачем тебе усы? — спросил он недоуменно.

— А шоб тэбэ имы колоты, — смущенно хихикнула Нюра, и он, просыпаясь, увидел совсем близко отвратительное лицо пана Калюжного, который, целуя его вза-

сос, одной рукой прижимал к себе его голову, а другой шарил в том месте, куда Чонкин не допускал еще никого, кроме Нюры.

— Ты что? Ты что? — забормотал Чонкин, отпихивая и убирая блудливую руку Калюжного. — Тронутый, что ль?

— Та тише ты, — испуганно зашептал пан Калюжный. — Хлопцев разбудишь.

— А чего ты лезешь? — сердился Чонкин. — Чего лезешь?

— Тю на тэбэ! — возмутился в свою очередь Калюжный. — Та кому ты нужен. Сам пристае то до одного, то до другого. Тю!

Опять наверху завозились, и кто-то спросил, что происходит. И опять кто-то сказал, что новенький хотел изнасиловать пана Калюжного.

— Так он и до нас скоро доберется, — предположил первый голос, впрочем, совершенно беззлобно.

Чонкин, раздосадованный, спустился вниз и сел посреди камеры на табуретку. На ней, кляя носом и ерзая, просидел до подъема.

3

После завтрака вошел в камеру заспанный вертухай, ткнул пальцем в Чонкина:

— Ты! — и еще в кого-то: — И ты, на выход!

— С вещами? — засуетился тот, второй, маленький тщедушный человек без двух верхних зубов.

— С клещами, — беззлобно сказал вертухай. — Когда с вещами, по фамилии вызывают.

Он привел их в уборную, довольно-таки грандиозное помещение с двумя дюжинами дырок в цементном полу.

— На уборку даю сорок минут, — сказал вертухай. — Ведра, метлы и тряпки в углу.

С этими словами он вышел. Чонкин и его напарник остались стоять друг против друга, работать не спешили.

От резкого запаха хлорки и застоявшейся мочи свербило в носу, слезились глаза и кружилась слегка голова.

Напарник Чонкина, как уже сказано, был маленького роста, может быть, даже меньше Чонкина, хотя и сам Чонкин, как читатель, вероятно, помнит, тоже не вели-

кан. Но держался напарник прямо, развернув плечи и выпятив узкую грудь. При маленьком росте у него была крупная голова с выдающейся вперед нижней челюстью и внимательными немигающими глазами.

Когда напарник улыбнулся, это было так неожиданно, что Чонкин даже вздрогнул. Напарник, улыбаясь Чонкину, не спеша засунул руку в карман, казалось, он вынет оттуда пистолет, но вынул он тусклый металлический портсигар, нажал кнопку, крышка отщелкнулась, в портсигаре лежали папиросы «Казбек».

— Прощу! — сказал напарник и протянул портсигар Чонкину.

Смутившись еще больше, Чонкин сунул руку в портсигар, долго ковырялся в нем своими корявыми пальцами, наконец вытащил одну папиросу из-под резинки. Он долго ее разглядывал, как небольшое чудо, — такие папиросы он и на воле видел только издалека.

Закурили. Чонкин зажал папиросу, как сигарку, большим и указательным пальцами, напарник держал по интеллигентному — между указательным и средним пальцами. С аппетитом затянувшись и пустив дым ровными кольцами, напарник опять улыбнулся Чонкину и сказал:

— Позвольте представиться: Запятаев Игорь Максимович, латинский шпион.

Чонкин посмотрел на него с любопытством, но не сказал ничего.

— Не верите? — усмехнулся шпион. — А я вот вам сразу поверил. Потому что моя история, будучи совершенно реальной, выглядит гораздо фантастичнее вашей. Да-да, не удивляйтесь. Вот вы, например, сколько их уничтожили?

— Их? — переспросил Чонкин. — Кого это?

— Я имею в виду большевиков. Кого же еще? — пояснил Запятаев, несколько раздражаясь.

— Большевиков? — снова не понял Чонкин.

— Слушайте, Чонкин, — возбудился Запятаев, — я же вам не следователь. Зачем вы со мной дурака валяете? Вы вчера рассказывали, как сражались с целым полком. Было это или нет?

— А что ж, я врать буду? — обиделся Чонкин.

— Я и не говорю, что врете. Я верю. Именно поэтому я и спрашиваю, сколько вы их уничтожили?

— Так ведь нисколько.

— Вот-вот, — обрадовался шпион. — Как раз к этому я и клоню. У вас были пулемет, винтовка, несколько пистолетов, вы стреляли и не убили ни одного. А почему? — Он смотрел на Чонкина, чуть прищурясь и слегка потряхивая головой, лицом показывая, что ответ ему совершенно ясен, но он хочет услышать его от Чонкина. — Почему?

— Не попал, — сказал Чонкин растерянно. Сейчас ему стало даже неловко, что он оказался таким растяпой.

— Вот видите! — удовлетворенно сказал Запятаев. — Ни одного. Не попали. Ну, а если б и попали, то сколько могли бы убить? Одного, двух, трех, ну десяток от силы. То есть это в лучшем случае. А вот я... — Он переложил папиросу из правой руки в левую, резко нагнулся и, как фокусник, извлек из штанины какой-то маленький предмет, оказавшийся огрызком химического карандаша.

— Вот, — торжественно сказал Запятаев и потряс огрызком над головой. — Вот оно, современное оружие, которое страшнее пулемета и страшнее картечи. Этот предмет я берегу, как священную реликвию. Он достоин того, чтобы быть помещенным в музей на самое видное место. Этим безобидным на вид предметом я вывел из строя и уничтожил полк, дивизию, может быть, даже армию.

Чонкин посмотрел внимательно на огрызок, на тщедушного Запятаева. «Псих какой-то», — подумал он, холодея.

— Теперь вы мне не верите? — улыбнулся понимающе Запятаев.

— Верю, верю, — поспешно сказал Чонкин. Затянувшись последний раз, он затоптал окурков и пошел в угол, где стояли два ведра и несколько метел.

— Нет, вы послушайте, — засуетился Запятаев, хватая его за рукав.

— Опосля. — Чонкин выбрал метлу получше, взял ведро и пошел в другой угол к водопроводному крану.

— Да послушайте же! — побежал за ним Запятаев. — Вам будет интересно.

— Некогда, — сказал Чонкин. — Работать надо. — Набрав воды, он поставил ведро на пол, обмакнул в него метлу и пошел махать ею вдоль стены.

— Ну, как хотите.

Запятаев обиделся, спрятал карандаш и тоже пошел с метлой и ведром.

Некоторое время трудились молча. Чонкин махал метлой и с опаской, но не без любопытства поглядывал на Запятаева. Обладая конкретным воображением, он попытался представить себе вооруженное до зубов воинственно и маленького Запятаева, размахивающего своим огрызком.

— Это ж надо, — засмеялся Чонкин. — Карандашом, говорит, дивизию. Ну и сказанул!

— Если бы вы послушали, — сказал Запятаев обиженно, — вы бы согласились, что в этом ничего невероятного нет.

— Ну ладно, валяй, рассказывай, — великодушно согласился Чонкин. Он понял, что хотя Запятаев, может, и псих, но в данных условиях, очевидно, безвредный. Чонкин поставил метлу перед собой, упер ручку в подбородок и приготовился слушать.

Теперь Запятаев заартачился, говоря, что Чонкин сбил настроение. Но все-таки, видно, уж очень хотелось ему кому-нибудь поведать свою историю. Он ждал «вышку» и боялся, что никто никогда не узнает о его героической деятельности.

— Ну так слушайте, — сказал он торжественно. — Вот в двух словах мое начало. Выходец из петербургской дворянской, не очень знатной, но состоятельной семьи. Дом с лаксеями, боннами, собственным автомобилем еще перед прошлой войной. Я гимназист, юнкер, подпоручик в армии Врангеля. Когда все бежали, я остался, чтобы продолжать борьбу с советской властью, которую тогда ненавидел даже больше, чем сейчас. Перебрался в Москву, сочинил себе пролетарское прошлое, болтался в разных кругах, искал себе подобных — безуспешно. Попадались, правда, разная шантрапа, но это было совсем не то, что я искал. Одни писали заумные стишки, другие курили гашиш, третьи увлекались свальным грехом и спиритизмом. Некоторые тискали на гектографе жалкие про-

кламации и с парой заржавленных пистолетов готовили военный переворот. Ну и, конечно, рано или поздно все попадали куда? На Лу-бян-ку. И поэты, и спириты, и те, которые с револьверами. Я вовремя понял — от таких надо подальше. Нет, я не сдался, я хотел продолжать борьбу. Но с кем и как? Приглядываюсь, вижу: Советы с каждым годом все крепнут и крепнут. Реальной оппозиции нет, тайная деятельность невозможна. Всеобщая бдительность, все друг на друга доносят, Чека каждого видит насквозь. Все ужасно. Для серьезной борьбы нужна организация, нужны единомышленники, но где они? Никому нельзя открыться, никто никому не верит. Я долго думал над происходящим, скажу вам откровенно, я начал впадать в отчаяние. Если никакая борьба невозможна, то для чего же я здесь остался? Чтобы стать таким же, как все, и послушно есть из того же корыта? И тут я сделал открытие, которое без ложной скромности можно назвать каким? Ге-ни-аль-ным! Да, — сказал Запятаев и счастливо засмеялся. — Именно гениальным, на меньшее я не согласен. Вот вы, — он отпрыгнул от Чонкина и ткнул в него пальцем, — скажите мне, что вы считаете основной особенностью нынешней власти? В чем ее достоинства? Какая она?

— Она-то? — Чонкин задумался. — Ну, вообще-то хорошая.

— Остроумно, — улыбнулся Запятаев. — Ну, а если без шуток, я вам скажу по секрету... — Он приблизился к Чонкину и, обдав его запахом гнилых зубов, снизил голос до шепота: — Запомните раз и навсегда — основная, главная, замечательная особенность этой власти состоит в том, что она до-вер-чи-ва. Да, именно доверчива, — повторил он громко и опять отскочил. — Вы скажете: ка-ак? — Он вытаращил глаза и раскрыл рот, изображая невероятное удивление Чонкина. — А вот так, дорогой мой Иван... как вас... Васильевич?.. Именно так. Вы скажете, какая там доверчивость, когда она всех во всем подозревает, когда она хватает и уничтожает главных своих идеологов и столпов по мельчайшему подозрению. Вы мне скажете — Троцкий, вы мне скажете — Бухарин с Зиновьевым, вы мне скажете — Якир с Тухачевским. Да, конечно, она подозрительна, она своим не доверяет, но та-

ким, как я, она верит как? Без-гра-нич-но. К сожалению, и сделал это открытие не сразу. Я тогда уже был не в Москве, а здесь, в области. Работал мелким служащим в одном важном учреждении. В таком важном, что даже сейчас боюсь сказать. А руководителем у нас был некий Рудольф Матвеевич Галчинский. Не помните? Ну, был такой известный большевик, герой Гражданской войны, личный друг Ленина. Такой преданный, такой доверенный, что он из-за границы, знаете ли, не вылезал. Добыл какое-то там военное оборудование, какие-то секреты и, если не ошибаюсь, руководил общей подрывной деятельностью, то есть подготавливал мировую революцию. Очень вредный был человек. И вот когда я сделал свое открытие, я его на этом самом Галчинском и испытал. Взял я как-то клочок бумаги, этот вот самый огрызок (он был чуть-чуть побольше), натянул на левую руку перчатку и написал: «Во время пребывания в Англии Галчинский был завербован британской разведкой». И подписал простенько, без затей: «Зоркий Глаз». А? Как вам нравится?

Постепенно Запятаев входил в раж, отбросил метлу, размахивал руками, сам себе задавал вопросы и сам на них отвечал, расчлняя слова на слоги. Смеялся, подмигивал, при этом одна половина лица, как на шарнирах, поднималась вверх, а другая, наоборот, опускалась.

-- Но тут... — Запятаев помолчал и покачал головой. — Меня ждало первое испытание. На другой день на работе подошел по какому-то делу к секретарше нашего начальника, к этой очаровательной жирной свинье Валентине Михайловне Жовтобрюх, и делаю ей походя комплимент: «Валентина Михайловна, какой на вас прекрасный жакет». Сволочь была невероятная, а все-таки женщина. Вся зарделась, краска сквозь жир проступила: «Правда, вам нравится?» «Прекрасный, — повторяю, — жакет, и очень вам к лицу». А она и вовсе расцвела: «Это мне, — говорит, — Рудольф Матвеевич из-за границы привез». «Из Англии?» — спрашиваю. «Нет, из Бельгии. А в Англии он никогда не был». «Как? — сказал я. — А в последний раз?» «Вот именно в последний раз он был в Бельгии и Голландии. До этого в Германии, во Франции и даже в Канаде, а в Англии никогда. Да что вы так побледнели? Что с вами?»

Вы представляете, что я чувствовал, если даже не смог скрыть своего состояния? Несколько суток после этого я не находил себе места. День проходил еще кое-как в работе, а ночью — сплошные кошмары. Я забирался под одеяло и дрожал, даже не фигурально, а самым обыкновенным образом. Чего только мне не мнилось. Остановилась внизу машина — за мной. Дверь хлопнула — за мной. Я не трус, Иван Васильевич. Но мне было до слез обидно, что вот так глупо, с первого раза... Но вот однажды иду на работу, поднимаюсь по лестнице и глазам своим не верю: два молодца в форме и один в штатском ведут под белы ручки нашего героя, то есть самого Рудольфа Матвеевича, бледного, без очков. Я посторонился... И даже, кажется, поздоровался, но он меня не заметил, а один из молодцев буркнул мне: «Не путайтесь под ногами». Поднимаюсь в приемную, там как после погрома: ящики столов вынуты и стоят на полу, бумаги рассыпаны, а у окна в углу плачет Валентина Михайловна. Я, разумеется, к ней: «Валентина Михайловна, что случилось?» Она платочком глаза промокнула и смотрит на меня строго: «Рудольф Матвеевич оказался британским шпионом. Не могу себе простить, рядом была, а не заметила». Я, конечно, — Запятаев подмигнул радостно, — с удовольствием стал ее успокаивать, мол, не переживайте, ведь еще ничего не доказано, все еще может разъясниться. Ведь Рудольф Матвеевич, кажется, в Англии никогда не бывал. Тут она как завизжит: «Что значит кажется! Что значит не бывал? Вы что же, нашим органам не доверяете?» Мне же пришлось заверить ее, что доверяю. Прошло сколько-то времени, и в газетах — вы, может быть, помните — появилось сообщение о суде над врагом народа Галчинским. Говорилось, что под тяжестью предъявленных улик подсудимый полностью признал, что во время пребывания в Англии он был что? За-вер-бо-ван.

Тут Запятаев замолчал, задумался, и Чонкин, решив, что рассказ окончен, пробормотал что-то вроде того, что, мол, да, бывает, и взялся за метлу, но Запятаев его остановил:

— Нет, вы послушайте, что было дальше. Свалив Галчинского, я ободрился. Я понял, что выбрал правильный путь. Я купил несколько тетрадей в линейку и принялся

ми работу. Вижу какого-нибудь активного большевика и тут же сигнал: завербован такой-то разведкой. Вижу — в Красной Армии появился какой-нибудь выдающийся командир — сигнал на него. Вижу, какой-нибудь ученый, какой-нибудь талант новоявленный собирается то ли необыкновенную машину создать, то ли урожай небывалый вырастить — сигнал. Ну, с талантами, знаете ли, разбираться проще простого. Если он в науку свою или в искусство свое углубился, он вокруг себя ничего не видит и непременно глупости понаделает. На собрания не ходит, когда предлагают выступить, старается отмолчаться, а если уж и скажет что-нибудь, то обязательно невпопад. Уничтожать таланты, Иван Васильевич, самое приятное и безопасное дело. Витает он где-то там в своих эмпиреях, а его вдруг на землю спустят и спрашивают: а что вы, милейший, думаете относительно, скажем, левого уклонизма или правого оппортунизма? А он, видите ли, как раз про это ничего и не думал. Да как же можно об этом не думать?

Сейчас, когда обостряются противоречия, когда во всем мире сложная обстановка и капиталисты предпринимают новые атаки. И ведь не сразу, Иван Васильевич, и не всякого человека волокут в кутузку, а еще поиграют с ним, как кошка с мышкой, пусть выйдет, мол, на трибуну, пусть политические свои ошибки признает, а он упирается, он хочет, чтоб его поняли. «Что вы, товарищи, я политикой вовсе не интересуюсь». А ему в ответ головой покачают, да пальчиком погрозят, да подмигнут. «Брось, — говорят, — ты человек, конечно, умный, но зачем же нас-то мы идиотов держать? Мы же понимаем, что отход от политики это тоже политика». А он: «Да что вы, да я...» А иной начнет хорохориться. Как же, я талант, я гений, на моем месте ведь кого попало не поставишь. А вот и поставим, а вот и поставим. То есть не то что даже кого попало, а самого последнего идиота возьмем и поставим. — Тут Запятаев захихикал, затрясся, а когда успокоился, продолжал: — Эх, Иван Васильевич, как вспомню, так шлывать хочется, сколько через мои руки людей самых выдающихся прошло. Физики, ботаники, писатели, ваятели, артисты, партийные работники. Элита. Сливки общества. Я две дюжины тетрадей на них извел вот таких,

общих. И ведь почти каждый раз без промаха. Нет, вы уж не говорите, доверчивей этой власти на свете нет. И каких только глупостей я не писал, во все верят. Про одного, например, сообщил, что в день открытия бухаринского процесса он вышел из дома с заплаканными глазами. Я же не писал, почему он был заплакан. Может, его жена скалкой побила, а не то чтобы он Бухарину особенно сочувствовал. А его взяли. Про другого очень заслуженного товарища я сообщил, что он в интимной беседе с таким-то отрицательно отзывался о нашем чем? О кли-ма-те. Пропал и этот. И тот, который его слушал, тоже пропал. А как же! Разве можно о нашем климате отрицательно отзываться? — Запятаев подмигнул, перекопился, похихикал. — Вот, Иван Васильевич, и судите сами, какое оружие в современных условиях страшнее: пулемет, картечь или этот вот маленький огрызок.

Внезапно появился вертухай и, увидев, что работа не двигается, стал грозить обоим карцером. Но двух «Казбеков» — одного в зубы и другого про запас, за ухо — оказалось достаточно, чтобы смягчить его душу. Он удалился, а Запятаев, угостив Чонкина и сам закулив, продолжал свой рассказ:

— Любой преступник, Иван Васильевич, каким бы он ни был хитрым и ловким, рано или поздно попадаетеся, и подводит его что? Бес-печ-ность. Нет, сначала он, конечно, бывает осторожен и осмотрителен и потому действует безнаказанно. Но как раз безнаказанность постепенно и неизбежно приводит к беспечности. Так было и со мной. Сначала я писал свои так называемые сигналы левой рукой, в перчатке, бросал в почтовые ящики подальше от дома, и всегда в разные, принимал другие меры предосторожности и не попадался. Но со временем становился все беспечнее, все нахальнее. То забуду надеть перчатку, то поленюсь нести в дальний ящик. И, естественно, дело кончилось полным чем? Про-ва-лом. Как-то вечером, возвращаясь с работы домой, иду я по тротуару, вдруг скрип тормозов, кто-то сказал: «Эй, товарищ!» Я оглянулся, и в этот момент какая-то сила оторвала меня от земли, по-моему, я сделал даже что-то вроде сальто, а пришел в себя уже на заднем сиденье «эмки» между двумя верзилами в шляпах, надвинутых на глаза.

И, конечно, пытался протестовать: по какому, мол, праву и так далее, но один из них сказал:

«Сиди и молчи», — и я замолчал. Короче говоря, привозят меня к серому зданию, въезжаем во двор, выходим, поднимаемся по лестнице и оказываемся в кабинете самого Романа Гавриловича Лужина, главного их начальника. Если вы не знаете, что такое Лужин, я вам скажу: это чудовище. Впрочем, с виду похожее на человека. Сидит за большим столом уродливое существо ростом с карлика, говорит с кем-то по телефону вполголоса, кажется, даже любезничает, улыбается и острит, но я-то знаю, что этому дяденьке ничего не стоит перестрелять хоть тысячу человек одновременно.

Стою ни жив ни мертв. Существо поговорило по телефону, положило трубку, выбирается из-за стола, подкапывается ко мне на коротких ножках вплотную и разглядывает в упор. Я понимаю — игра окончена, теперь главное — твердость, спокойствие и выдержка. Теперь-то я уж кое-что успел сделать. Но все-таки, знаете, к расплате сколько ни готовься, а когда доходит до нее, то, как бы вам сказать, приятного мало. И вдруг слышу:

«Так вот он, значит, и есть тот самый легендарный Зоркий Глаз? Долго же вы от нас скрывались. Чудовищно долго. (Это его любимое слово — «чудовищно».) И что же, так вот все и действовали в одиночку?»

Когда он заговорил, я как-то сразу опомнился, чувствую, что взял себя в руки, и отвечаю с вызовом, дерзко:

«Да, в одиночку».

И тут произошло нечто для меня совсем неожиданное. Лицо его расплывается в широкой улыбке.

«Видали, — кивает он тем, которые меня привели, — какой герой? В одиночку».

Вижу, и эти улыбаются благожелательно. И опять голос Лужина.

«И напрасно, — говорит, — в одиночку. Вы для нас много сделали, спасибо, конечно, но время натпинкертонов прошло, давайте действовать сообща, давайте объединим наши усилия, давайте вместе бороться за нашу советскую власть».

Я смотрю на него и понять ничего не могу. Что значит — за, я же против, это же очевидно. Дурака валяет?

Смеется над жертвой? Но, слышу, он спрашивает что-то уж совсем несусветное — почему я до сих пор не в партии. Не знаю, как отвечать, что-то мямлю, а он опять улыбается и сам подсказывает:

«Считаете себя недостойным?»

«Да-да, — хватаюсь я за эту соломинку, — именно недостойн».

Он доволен. И эти довольны.

«Скромность, — говорит он, — конечно, украшает человека, но ведь и самоуничижение паче гордости. Так что чего уж там скромничать, вступайте, мы поможем».

Короче говоря, обласкал он меня, с ног до головы еле-ем обмазал. Только один раз заминка вышла. Спросил он меня про материальные дела, а я сдуру возьми и ляпни: я, мол, не за деньги, а бескорыстно.

Тут он первый раз с начала нашего разговора нахмурился. Посмотрел на меня подозрительно, и я понял: ему бескорыстные непонятны. Надо сказать, меня спасло то, что я тут же перестроился и сказал, что, вообще-то говоря, от денег отказываться не собираюсь.

«Да-да, — он радостно закивал, — мы все, конечно, трудимся не за деньги, но мы материалисты и этого не скрываем».

Он обещал мне помочь, как у них говорят, материально. И вообще много раз повторял одну и ту же фразу: «Мы поможем». А потом проводил до дверей, долго жал руку.

«Идите, товарищ Запятаев, работайте. И помните: такие товарищи, как вы, нам нужны».

Я вышел на улицу совершенно ошалелый. Еще час назад, когда они везли меня в машине, я готовился к чему угодно — к тюрьме, к пытке, к смерти, а тут... Я шел, я улыбался как дурак, а в ушах у меня все звучало: «Такие товарищи нам нужны». Ну, думаю, если вам нужны такие товарищи...

Тут Запятаев согнулся в три погибели, схватился за живот и мелко затрясся, словно в припадке. Чонкин испугался. Он думал, с напарником что-то случилось.

— Эй! Эй! Ты что? — кричал Чонкин, хватая его за плечо. — Ты чего это, а?

— Нет, — трясся Запятаев, медленно разгибаясь и рукавом вытирая слезы. — До сих пор, как вспомню, не могу удержаться от смеха. Нет, вы представляете, — повторял он, тыча себя пальцем в грудь, — им нужны такие товарищи...

Он смеялся до икоты, до судорог, пытался продолжить рассказ, но опять давился от смеха, и корчился, и опять тыкал себя пальцем в грудь, на все лады повторяя слова «такие товарищи». Потом кое-как пришел в себя и стал рассказывать дальше.

После того как он побывал у Лужина, дело его значительно облегчилось. Ему уже не надо было прибегать к таким жалким ухищрениям, как писание левой рукой и в перчатке. Теперь он открыто составлял целые списки людей, которые, по его представлению, были еще на что-то способны, и со списками не бегал к отдаленным почтовым ящикам, а смело шел Куда Надо (правда, с черного все-таки хода) и передавал написанное из рук в руки. Постепенно и на работе дела у него пошли на лад. Он вступил в партию и стал делать головокружительную карьеру. Стоило ему подняться на очередную ступеньку служебной лестницы, как уже и следующая вскоре не без его участия освобождалась. И нажимались тайные пружины, и отступали на задний план другие претенденты, и Запятаев поднимался все выше и выше.

Но чем выше он поднимался, тем чаще сталкивался с неожиданной проблемой. Язык, на котором он говорил, резко отличался от языка новых хозяев жизни.

— Вы понимаете, — размахивал он руками, — я же дворянин. Я петербуржец. Меня бонна воспитывала. И не умел говорить по-ихому... тьфу... вот видите, а теперь отучиться не могу. А тогда у меня просто язык не поворачивался. Ну, с манерами-то было полегче. Целовать дамам ручки я отвык быстро. Не подавать пальто и перному ломиться в дверь я более или менее научился. И когда мне кто-нибудь говорил о хороших манерах, я уже вполне привычно возражал, что женщина в нашем обществе такой же равноценный товарищ и ее можно отпихивать плечом, потому что и ей позволено делать то же самое.

С языком было хуже. Элементарные слова, вроде «позвольте», «благодарю вас», «будьте добры», вызывали недоумение, на меня смотрели удивленно, и я сказал самому себе: так дальше продолжаться не может. Ты, сказал я себе, можешь сколько угодно притворяться своим среди этих людей, ты можешь делать вид, что полностью разделяешь их идеи, но, если ты не научишься говорить на их языке, они тебе до конца никогда не поверят.

И вот я, как ликбезовец, засел за учебу. О боже, какой это был тяжелый и изнурительный труд! Вы знаете, я всегда был способен к языкам. В детстве меня учили французскому и английскому. Потом я неплохо знал немецкий, болтал по-испански и даже по-фински немного читал. Но этот язык... Этот великий, могучий... Нет, вы даже представить себе не можете, как это трудно. Вот некоторые умники смеются над нынешними вождями, над тем, как они произносят разные слова. Но вы попробуйте поговорить, как они, я-то пробовал, я знаю, чего это стоит. Итак, я поставил перед собою задачу в совершенстве овладеть этим чудовищным языком. А как? Где такие курсы? Где преподаватели? Где учебники? Где словари? Ничего нет. И вот хожу я на разные собрания, заседания, партийные конференции, слушаю, всматриваюсь, делаю пометки, а потом дома запрусь на все задвижки и перед зеркалом шепотом воспроизвожу: митирилизем, импирикритизем, экпроприцея экспроприторов и межродный терцинал. Ну, такие слова, как силисиский-комунисиский, я более или менее освоил и произносил бегло, но, когда доходило до хыгемонии прилитырата, я потел, я вывихивал язык и плакал от бессилья. Но я проявил дьявольское упорство, я совершил величайший подвиг. Уже через год совсем без труда и даже почти механически я произносил: километр, молодежь, конкретно. Но иногда я употреблял такие выражения и обороты, что даже искушенные партийные товарищи не каждый раз могли сообразить, что это значит. Ну вот, например, по-вашему, что это: сисификация сызясного прызводства? Поняли?

— Не, — признался Чонкин, — не понял.

— Естественно. Это означает интенсификация сельскохозяйственного производства. Это уж высший

класс. Когда я овладел этим языком в совершенстве, некоторые товарищи смотрели на меня с умилением. Иные пытались подражать, не всем удавалось. Теперь благодаря таким товарищам и новому языку передо мной все дороги были открыты. Вскоре я занял тот самый пост, с которого сбросил когда-то кого? Рудольфа Матвеевича. Я к тому времени уже женился и, между прочим, на ком? На Валентине Михайловне Жовтобрюх. И детишек завел двоих. И делал карьеру, но цели своей главной не забывал никогда. Правда, карандашник мне уже был не нужен. Я уже работал в иных масштабах. Я всех самых лучших инженеров и конструкторов прямиком отправлял к таким товарищам. Я это дело, которым руководил, разваливал, как только мог. И вы думаете, меня за это схватили? Как бы не так, меня за это орденом наградили. Меня ставили в пример, как проводника образцовой кадровой политики. Меня уже в Москву собирались перевести. Вот бы где я развернулся. Но тут.. — Запятаев двумя руками схватился за голову и покачал ею, — тут, Иван Васильевич, я совершил такую глупость, такую глупость, что даже стыдно рассказывать. Как вы помните, меня поднял кто? Я-зык. А кто меня погубил? Я-зык. Вы знаете, не хочется продолжать. Трудно. Давайте быстренько уберем, а то придет надзиратель, орать будет.

— Да не будет, — сказал Чонкин. — Ты давай, дуй дальше, а я сам, я мигом.

Он выплеснул на пол ведро воды и стал метлой гнать ее к середине.

— Ну ладно, — согласился Запятаев, — трудно, но доскажу. Так вот, — продолжал он, стараясь держаться так, чтобы Чонкин мог его видеть, — в один прекрасный день прибыл в нашу контору с инспекцией первый секретарь обкома товарищ Худобченко. Дядя на вид простоватый, ходил в вышитой украинской рубаше, говорил на том же языке, что и я, может быть, без моей виртуозности, но все-таки в этом смысле кое-чего тоже стоил. Был тоже бдительным, искал у нас шпионов, вредителей и диверсантов, нашел только двоих, я до него хорошо поработал. Товарищ Худобченко остался мной очень доволен, собрал совещание, хвалил меня, ставил другим в пример.

и дело, как обычно, закончилось большой пьянкой за казенный, разумеется, счет.

Народу набилось порядочно. Пили, пели «Ихав козак на вийноньку» (любимая песня Худобченко) и плясали гопака. Публика, доложу вам, собралась отборная. Все говорили на том же языке, что и я, все занимались тем же, чем я, то есть совершенно явно и открыто наносили максимальный ущерб тому делу, которым руководили, все при этом гордились своим рабочим или крестьянским происхождением. И вдруг мне, идиоту, спьяну, что ли, померещилось, что я в тесном кругу самых интимных единомышленников, которые так же, как и я, хорошо знают, что делают. И мне вдруг захотелось их как-то раскрыть, сказать, бросьте, мол, притворяться, здесь все свои. Да если бы я так сделал, это было бы меньшей глупостью, чем то, что я сделал на самом деле. Я встал... и вот, если вы даже попытаете представить себе, какую невероятную глупость я мог сделать, если даже у вас очень развито воображение, вы будете думать три дня, но, уверяю вас, ничего подобного не придумаете. Я встал и начал... язык не поворачивается признаться... и начал читать кого? Вер-ги-ли-я! И мало того что Вергилия, но на чем? На ла-ты-ни! О Боже! Конечно, я сразу понял, что совершаю что-то ужасное, я еще только начал, а вижу, что лица у моих слушателей вытянулись, они переглядываются между собой, потом на Худобченко вопросительно смотрят. Смотрю, тот тоже поначалу насупился, а потом заулыбался, поманил меня пальцем. Вот так. Как собачку. И я приблизился, виляя хвостом. А Худобченко спрашивает очень доброжелательно:

«Що це ты, интересно, такое балакал?»

«Та так, — в тон ему отвечаю, — Вергилия немного балакал».

«Кого?»

«Вергилия. Вы разве не узнали?»

«Ни, не узнав. И на какому ж языку?»

«Сам точно не знаю, — говорю, — может быть, на латинскому».

«Ого! — удивился Худобченко. — И много ж ты знаешь подобных Вергилиев?»

Понимаю, что дело плохо, плету какую-то чушь, что в нашей церковноприходской школе был учитель, он знал немного латынь и нас учил.

«То, шо он знал, — перебивает Худобченко, — это не удивительно. Он, может, из буржуев был. А вот шо ты это запомнил, шо голова у тебя так устроена, это мне непонятно. Вот вы, хлопцы, — повернулся он к остальным. — Кто из вас кумекает по-латинскому?»

Те молчат, но видом своим каждый дает понять, что не он.

«И я не кумекаю. Ни. Потому шо мы с вами деревенские валенки, мы знаем только, как служить нашей партии, нашей советской власти и как бороться с ихими врагами. А если и заучиваем шо наизусть, то только исторические указания товарища Сталина. А вот товарищ Запятаев, он и по-латинскому понимает, а может, и еще по-какому».

И тут все добродушие с него вмиг слетело, лицо стало жестким и холодным, как промерзший кирпич.

Я попытался исправить положение, пробовал даже и гопака сплясать, но Худобченко, посмотрев, заметил вскользь, что и гопад у меня получается «по-латинскому».

В ту же ночь меня взяли прямо из постели, допрашивал лично Роман Гаврилович Лужин, разбил нос, выбил два зуба, и вот теперь я латинский шпион.

Запятаев вздохнул, вытащил из кармана свой портсигар, угостил Чонкина «Казбеком» и сам закурил.

— Что же делать, — сказал он, — винить некого, кроме себя. А ведь как шел! Как шел! Мне бы только до Москвы добраться, а уж там бы я... В условиях военного времени я бы столько мог наворочать. Да вот промахнулся. Но я знаю, я не один. Таких, как я, много. Они везде. Днем и ночью, все вместе и каждый по отдельности, они делают свое дело, и они непобедимы, потому что никто из них никогда, ни при каких обстоятельствах не должен раскрываться. А если попадется такой дурак, как я, он должен немедленно и безжалостно уничтожаться. Чтобы никто, никогда, ничего... — Запятаев бросил папиросу, сжал пальцы в кулаки, потряс ими и хотел заплакать, но тут в дверях появился вертухай и спросил:

— Кто из вас Чонкин? На выход! — и посторонился, уступая дорогу.

4

Подследственный Иван Чонкин сидел на табуретке у стены по правую руку от лейтенанта Филиппова, но на большом расстоянии от него, ближе к двери. Расстояние определялось инструкцией, предусматривавшей возможность нападения на следователя. Над белобрысой головой лейтенанта висел портрет Сталина с девочкой на руках. Девочка всем своим видом выражала Сталину глубокую признательность за свое счастливое детство. На стене напротив висела цитата из речи Сталина, оформленная в виде красочного плаката:

«Мы должны организовать беспощадную борьбу со всеми...» — прочел Чонкин и, устав от чтения, перевел взгляд на окно, которое было прямо перед ним. Нижняя половина была закрашена белой масляной краской с подтеками, в левом углу было процарапано одно недлинное слово, которое Чонкину приходилось читать и раньше.

Если бы была закрашена не нижняя половина окна, а верхняя или вообще никакая, то Чонкин мог бы увидеть неширокую пыльную площадь и Нюру, стоящую посреди не, раскручивая сумку в руке. Чонкин не может видеть Нюру, и Нюра не может видеть его. Его видит ворона, взлетевшая на верхушку полувысохшего тополя. Ворона сидит на ветке и равнодушно косит глаза на Чонкина. Ей все равно, на кого или на что смотреть — на корову, на Чонкина или на столб. Вот она всполошилась, захлопала крыльями, тяжело поднялась, исчезла за левым краем окна, но тут же вновь появилась и села на ту же ветку.

Глядя на ворону, Чонкин задумался. «Это ж надо, — думал он, — сколько на свете всяких тварей. И вороны, и собаки, и индюки, и клопы, и люди, и гадюки, и рыбы, и всякие пауки. И каждая тварь для чего-то живет и чего-то хочет, а кто знает чего?»

— Фамилия?

Чонкин вздрогнул и, оторвав взгляд от вороны, перевел его на лейтенанта, который, занеся над бумагой ручку, смотрел на Чонкина выжидательно.

— Чия? — спросил удивленно Чонкин.

— Ваша, — терпеливо объяснил лейтенант и обмакнул ручку в чернила.

— Наша? — еще больше удивился Чонкин. Он думал, может быть, самонадеянно, что его фамилия лейтенанту известна.

— Ваша, — повторил лейтенант.

— Чонкины мы, — скромно сказал Иван и посмотрел на лейтенанта с опаской — может, чего не так.

— Через «о» или через «ё»?

— Через «чи», — сказал Чонкин.

В кабинете лейтенанта была совсем веселая (не сравнить с камерной) обстановка. С треском топилась высокая круглая железная печь дореволюционного образца, с надписью в виде эллипса: «Железодельный заводъ Кайзерлаутерна». Волны тепла набегали на Чонкина, располагая ко сну, и вопросы лейтенанта казались лишними и даже, может быть, неуместными.

— Год рождения, образование, национальность, социальное происхождение...

— Чего? — переспросил Чонкин.

— Родители ваши кто?

— Так ведь люди, — ответил он, не понимая сути вопроса.

— Я понимаю, что не коровы. Чем занимаются?

— В гробе лежат.

— То есть умерли?

Чонкин посмотрел на лейтенанта удивленно: что он, дурак или так одурел?

— Неужто живые? — сказал он и сделал гримасу, выражающую крайнюю степень недоумения.

— Чонкин! — повысил голос лейтенант. — Перестаньте валять дурака и отвечайте на вопросы, которые вам задают. Если родители мертвые, значит, так и надо сказать — мертвые.

— Вот тоже... — Как бы ища поддержки, Чонкин оглянулся на печку, потом на портрет Сталина. — Кабы ты спросил, какие они, я бы тебе сказал: мертвые. А ты спрашиваешь, чем занимаются...

— Не ты, а вы, — поправил лейтенант.

— Мы-ы? — переспросил Чонкин, вконец запутавшись. — Ты про кого спрашиваешь?

— Я говорю, Чонкин, что к следователю, тем более к старшему по званию, нужно обращаться на «вы». Ты меня понял?

— Понял, — сказал Чонкин, впрочем, не очень уверенно.

— Ну ладно, — сказал лейтенант. — Это оставим. Перейдем к другому. Скажи мне, как ты очутился в деревне Красное?

— Как очутился?

— Ну да.

— В деревне Красное?

— Ну да, да, — повторил лейтенант несколько раздраженно. — Как ты очутился в деревне Красное?

— А то ты не знаешь.

— Чонкин! — Лейтенант стукнул по столу кулаком.

— А чо Чонкин, чо Чонкин! — стал сердиться подследственный. — Будто ты сам не знаешь, как солдат очучивается где-либо. Старшина послал.

— Какой старшина?

— Ха, какой! — Чонкин развел руками и опять посмотрел на печку, на Сталина, на девочку, как бы призывая их в свидетели непроходимой тупости лейтенанта. Не знает, какой еще может быть старшина.

— Ну этот же, — сказал он. — Ну как его... Ну Песков же.

— Значит, старшина Песков? — переспросил лейтенант, записывая. — Проверим. А может, не было никакого старшины, а, Чонкин? — Филиппов хитро посмотрел на Чонкина и подмигнул. — Может, ты сам сбежал? Может, ты так решил: пусть, мол, Родину защищают всякие дураки, а я умный, я лучше с бабой где-нибудь полежу. Может, так было дело?

— Нет, — хмуро ответил Чонкин. — Не так.

— А с какой же ты тогда целью поселился у Беляшовой?

— У Беляшовой?

— Д-да, у Беляшовой. С какой целью ты у нее поселился?

— Так ведь с целью, чтоб жить с Нюркой, — объяснил Чонкин правдиво.

Лейтенант встал и ногой отодвинул стул к стене. Он не был доволен результатами допроса, который принимал дурацкое направление. Лейтенант нервничал. Он только утром вернулся из области, где подполковник Лужин всю ночь вынимал из него душу, въедливо выпрашивая все подробности и детали того случая, когда оперативный отряд под руководством Филиппова в полном составе был захвачен одним плохо вооруженным красноармейцем.

— Чудовищная история, — сказал Лужин. — Нет, и этого понять не могу. Тут что-то не так. Что-то ты от меня скрываешь. Может быть, ты сделал это намеренно, а?

— Зачем? — спросил Филиппов.

— Если бы я знал зачем, — вздохнул Лужин, — я бы тебя расстрелял. Я этого не делаю только потому, что не хочу привлекать к этому делу внимание. Да. Потому что с меня тогда тоже спросят. Так что пока иди, но помни: и могу передумать.

— А как же быть с Чонкиным? — спросил лейтенант.

— С Чонкиным? — переспросил Лужин. — Как быть? Оформить как дезертира и — в трибунал. Дело не раздумывать, никого не втягивать. Но чтобы я фамилию Чонкин никогда больше не слышал, нет.

Филиппов вернулся в Долгов на рассвете невыспавшийся и злой. Ему хотелось действительно с этим Чонкиным закончить как можно скорее, а для этого получить от него нужные показания. Но Чонкин явно над ним издевался и валял дурака.

— Ну так что же, — сказал лейтенант, приближаясь к Чонкину, — все более или менее ясно. Не ясно только одно: как вы, советский человек из простой крестьянской семьи, докатились до того, что теперь сидите в тюрьме, как это понимать, а, Чонкин?

Чонкин пожал плечами и хотел сказать, что и сам он не понимает, как же это все действительно получилось, но ничего не сказал, потому что вдруг увидел перед собой ствол направленного на него револьвера.

— Застрелю-у-у! — завопил лейтенант.

Чонкин инстинктивно дернулся головой и ударился штылком о стену.

В кабинете сразу стало вроде бы неуютно. От револьвера пахло ружейным маслом и смертью.

— Сейчас, сука, падло, выпущу в тебя всю обойму! — зверел на глазах лейтенант. — Да я тебя... в рот, и в нос, и в печенку...

Тут автор вынужден остановиться в полном бессилии. Боясь оскорбить нравственное чувство читателя, он и дальнейшую речь лейтенанта не может изобразить иначе, как точками, а отдельные печатные слова, которые случайно в ней попадались, приводить нет никакого резона, ибо, вырванные из контекста, они не передают ни глубины, ни яркости, ни даже смысла употребленных в данном случае выражений.

Сидя на табуретке, Чонкин пытался уклониться от револьвера. Он откидывал голову и стучался затылком о стену. Дырка ствола плавала перед глазами, двоилась, троилась и вызывала в переносице ощущение невыносимого зуда. Чонкин морщился. Верхняя губа его при этом непроизвольно задиралась и ползла к носу, обнажая редкие зубы, никогда не знавшие щетки.

Красное от возбуждения лицо лейтенанта то заслоняло, то открывало портрет Сталина с девочкой на руках. Сталин улыбался девочке и одним глазом сочувственно косил на Чонкина, как бы говоря ему: «Ты же видишь, что он психически ненормальный, ты уж лучше не серди его, не запирайся, а скажи сразу все как есть».

Чонкин вовсе даже не запирался, но от страха у него залипал язык и не мог вытолкнуть наружу ни единого слова. Лейтенант же воспринимал молчание подследственного как неслыханное наглое упорство. И был бы хоть человек, а то так, недотепа какой-то, с которым, если б не обстоятельства, можно делать все что хочешь, можно посадить, можно расстрелять, а можно и просто выпустить в лес, на свободу, и пусть живет себе на дереве, как обезьяна.

— Встать! Сесты! — закричал Филиппов. — Встать! Сесты! Встать! Сесты!

Чонкин встал, сел, встал, сел, встал, сел — дело привычное.

— Будешь говорить?

Чонкин молчал.

— Руки вверх! Лицом к стенке! Ты чувствуешь, пахло, сука, чем это пахнет?

Стволom револьвера он почесал Чонкину затылок, а коленом уперся в зад.

Чонкин чувствовал, чем это пахнет, ему было ужасно неприятно. Он уткнулся носом в стену. Хотелось влипнуть в стену и просочиться через нее, но он молчал.

Открылась дверь. Чонкин краем глаза увидел — вошла секретарша Капа. Нисколько не удивившись происходящему, Капа отозвала лейтенанта в уголок и стала шептать что-то, но что именно, Чонкин не разобрал. Он разобрал только, как лейтенант спросил: «А что ей нужно?», — но ответа Капы не слышал.

— Ну вот, — громко и недовольно сказал Филиппов. — Не дают работать. Ходят, ходят, ходят тут всякие...

Как любой уважающий себя человек, лейтенант был уверен, что он один занят стоящим делом, а остальные только и думают, как бы самим ничего не делать и других оторвать от работы.

— Опустите руки! — приказал он Чонкину. — И не поворачивайся. Так и стой лицом к стене, пока я не вернусь.

С этими словами он вышел.

Через промежуток времени, который можно считать ничтожным, лейтенант Филиппов появился на крыльце Учреждения и увидел Ньюру, стоящую под деревом, на котором сидела ворона. Здесь между Ньюрой и лейтенантом состоялся разговор, который длился недолго.

Вернувшись в свой кабинет, Филиппов застал Чонкина, как и оставил, стоящим лицом к стене. Но даже и по стриженному затылку подследственного было видно, что во время отсутствия лейтенанта он о многом успел пере-думать.

— Повернись! — беззлобно приказал лейтенант, проходя к своему столу. — Сядь! — кивнул он на табуретку.

Чонкин сел, сморгнул носом, а рукавом утерся.

— Ну так что же, Чонкин, будем признаваться в совершенных преступлениях прямо и чистосердечно или будем записывать, юлить, лгать и пытаться обвести следствие вокруг пальца?

Чонкин сглотнул слюну и промолчал.

— Чонкин! — повысил голос лейтенант. — Я вас спрашиваю. Признаете ли вы себя виновным? — Он снова вынул наган и слегка постучал по столу рукояткой.

— Признаю, — еле слышно сказал Чонкин и покорно кивнул головой.

— Так! — оживился лейтенант и быстро записал что-то в протоколе. — А в чем именно вы признаете себя виновным?

— А именно виновным себя признаю у во всем.

— Ну что ж, тогда распишитесь вот здесь.

И Чонкин расписался. Как умел. Долго выводил заглавное «ч», обмакнул ручку в чернила, написал «о», еще раз обмакнул, написал «н» — и так всю фамилию через весь лист. Лейтенант бережно взял лист протокола и долго дул на драгоценный автограф.

— Вот и молодец, — сказал он. — Хочешь яблочка?

— Давай, — сказал Чонкин, махнув рукой.

5

Чонкина потом спрашивали строгие люди: что ж ты, мол, так тебя и растак, лопух ты этакий, да как же ты сразу слабину показал и под всем подписался?

— Спужался больно, — отвечал наш горе-герой и улыбался застенчиво.

Ему говорили:

— Да как же так, ведь ты же до этого проявил, можно сказать, чудеса героизма.

— Свистел он все, — сказал Штык.

— Кто? Я? — ударял себя Чонкин кулаком в грудь. — Да что мне... Ты спроси у лейтенанта. Он же знает.

— Ладно, — махнул рукой Штык. — Теперь все ясно. Пришел насвистел, с полком сражался.

Чонкин страдал. Ему не так было обидно, что подписал он чего-то, обидно было, что не верили. И как после такого поверить? Ладно бы применяли к нему какие-то особые меры, загоняли б иголки под ногти, зажимали бы в дверях отдельные члены тела, тут, хоть деревянным будь, можешь не выдержать. А с ним-то ведь ничего подобного не вытворяли. Ну, сунули под нос револьвер, ну, кто спорит, неприятно, конечно, но терпеть-то все-таки можно.

А вот не вытерпел и подписал, что во время несения караульной службы неоднократно нарушал устав, пел, пил, ел, курил, отправлял естественные надобности, покинул пост, вступил в сожителство с Анной Беляшовой, передвинул объект охраны, нарушал форму одежды (появлялся среди местного населения в одном белье), пьянствовал, вел аморальный и даже разнузданный образ жизни; узнав о начале войны, не принял никаких мер, чтобы явиться к месту службы, уклонившись тем самым от исполнения своего воинского долга, что равносильно дезертирству.

Вот и развеян миф о легендарном герое Чонкине. И разочарованный автор пребывает в сомнении, стоит ли ему продолжать жизнеописание этой личности. Автор смущен. Как быть и что делать? Как держать ответ перед суровым читателем? Ведь он не только суров, он доверчив. Ну ладно, смирился он. Пусть этот Чонкин кривоног и лопоух, и размер головы в общем-то невелик, но ведь не для же автор именно такого героя подсовывает, должен же он, если уж назван героем, подвиг какой-нибудь большой совершить.

Да, должен. Но боится. Чем больше подвиг, тем его совершать страшнее.

6

Каждое утро Нюра приходила на площадь перед Учреждением и стояла под тем самым деревом, верхушку которого видел Чонкин из кабинета лейтенанта Филиппова. Она приходила, стояла, вертела в руках свою почтальонскую сумку и разглядывала входную дверь, надеясь неизвестно на что. Подняться на крыльцо и войти в эту дверь она не решалась, а просто так стоять — для чего ж?

Работники Учреждения шли по утрам мимо Нюры и скрывались за этой таинственной дверью. Некоторые из них были Нюре знакомы, но появились и новые. Знакомым Нюра кивала головой и издали кричала: «Эй, здравствуй!» Одни из них вздрагивали, недоуменно смотрели на Нюру и, пробурчав что-то себе под нос, двигались дальше. Другие же проходили, даже не вздрогнув, словно колебания атмосферы никак не влияли на их ба-

рабанные перепонки. Нюра невольно робела, не решаясь подступиться к столь важным персонам с такой ерундой, как Чонкин.

Топталась под деревом, потом шла на почту, набивала сумку письмами, возвращалась сюда же, опять топталась и только к вечеру добиралась до Красного. Разносила письма, кормила оголодавшую за день скотину, а сама ела ли, нет ли — бог знает. А потом была бесконечная ночь, и мокрая от слез подушка, и привычный путь в город Долгов, и бессмысленное стояние под деревом.

В сумке ее лежал узелок, а в нем — два засохших пирога с картошкой, пяток вареных вкрутую яиц и набитый махоркой кисет с витой надписью, вышитой бледными мулине:

«Ване от Нюры с приветом».

Однажды ей повезло. Она стояла так же под деревом, когда к ней подошла дамочка в сапогах и с папиросой, спросила у Нюры, кого она ждет и зачем, сказала «сейчас» и скрылась в дверях Учреждения. Нюре пора уже было быть на почте, но не упускать же такой случай. Она подождала, и вскоре в тех же дверях появился лейтенант Филиппов в новой форме и хорошо начищенных сапогах. Он вышел как будто просто так, посмотрел на небо, потянулся, опустил глаза и увидел Нюру.

— Эй, здравствуй! — крикнула ему Нюра и приветливо улыбнулась.

— Вы ко мне? — спросил лейтенант, глядя на Нюру как на незнакомую женщину.

— К тебе, — кивнула Нюра и, осмелев, приблизилась к лейтенанту. — Как он там-то?

— Это кто же? — благодушно спросил лейтенант.

— Да Ванька же, — доверчиво сказала Нюра, не поняв игры.

— Какой Ванька?

— Да Чонкин же.

— Чонкин, Чонкин... — повторил лейтенант, как бы мучительно припоминая. Достал из кармана папиросу, закурил. — Чонкин... — пробормотал он, поморщив лоб. — Что-то вроде слышал. А как звать-то?

— Иваном, — уныло сказала Нюра. До нее дошло, что лейтенант шутит, но ответить ему тем же она не могла.

— Иван Чонкин! — звучно произнес лейтенант, как пробуя это имя на вкус. — Кажись, есть такой. А вы ему, собственно говоря, кем доводитесь?

— Сам знаешь! — Нюра начала сердиться.

— Я не знаю, — улыбнулся лейтенант доброжелательно. — Может быть, он ваш муж?

— Муж, — мрачно кивнула Нюра.

— А где это записано?

— А нигде. Я с ним жила без записи.

— Мало ли кто с кем жил, — заметил лейтенант философски. — У нас в деревне один с козой жил. Документ какой есть, что вы вместе жили?

Нюра не ответила. Раскручивая в руке сумку то в одну сторону, то в другую, она исподлобья смотрела на лейтенанта.

— Значит, нет документа? — допытывался лейтенант. — Ну вот, я так и думал. Значит, вы ему посторонняя. А посторонним справки не выдаются. Ясно? — Он выплюнул погасшую папиросу и посмотрел на Нюру.

— Да как же... — начала было Нюра.

— А вот так же! — Лейтенант вдруг озверел и, сбегав с крыльца, приблизился к Нюре. — Вот так же! — закричал он ей в лицо. — Нет никакого Чонкина! Нет, не было и не будет! А ты тут лучше не ходи и не путайся под ногами, а то и тебя возьмем как соучастницу.

— Так ведь я... — сказала Нюра и заплакала.

— И плакать нечего, — сбавил тон Филиппов. — Тебе никто ничего плохого не делает. Мы тебя потому и не берем, что ты к нему никакого отношения не имеешь, потому что посторонняя. И запомни это как следует: по-сторонняя.

С этими словами он повернулся, взбежал на крыльцо и скрылся за дверью.

7

Перед столом председателя Голубева стоял инструктор райкома Чмыхалов, высокий худой мужчина с красным, вероятно от пьянства, носом на длинном унылом лице. Он стоял в надетом поверх телогрейки длинном брезентовом плаще с откинутым капюшоном, а в руках держал плетку-треххвостку, которой постукивал по голенищу резинового сапога.

За окном, привязанная к крыльцу, понуро мокла на осеннем дожде гнедая лошадь Чмыхалова.

В конторе было жарко натоплено. Чмыхалов потел, утирался рукавом, шмыгал носом и в который раз спрашивал председателя, почему в колхозе не производится уборка хлеба.

— Посмотри в окно, увидишь, — отвечал председатель.

— А мне в окно смотреть нечего, — скучно гундосил Чмыхалов. — Я смотрю в партийные указания.

— Во, — сказал председатель и покрутил у виска пальцем. — Указания, указания... Укажи дождю, чтобы он перестал. Вы там, в райкоме, сидите и не знаю чем думаете. Уперлись в свои указания, как бараны.

— Как кто? — переспросил быстро Чмыхалов.

— Как овечки, — смягчил свое определение Голубев.

— Сразу, значит, пошел на попятную. — Чмыхалов преобразился, и глаза его заблестели. — Выходит, значит, по-твоему, в райкоме сидят бараны?

— Ты мне политику не шей, — сказал председатель, поднимаясь. — Я тебе говорю, дождь идет, а в дождь убирают только дураки и вредители.

— Ну и договорился! — развел руками Чмыхалов. — Значит, в райкоме сидят бараны, дураки и вредители. И значит, вся наша партия...

Договорить он не успел. Голубев выскочил из-за стола, схватил Чмыхалова одной рукой за шкирку, другой за штаны и, согнув в три погибели, поволок к выходу.

Нюра Беляшова, появившись к тому времени у конторы, видела, как на мокром крыльце, несогласованно болтая ногами и руками, неожиданно возник Чмыхалов. Длинное его лицо было озарено разнообразными переживаниями. Нюра не успела удивиться и понять, в чем дело, когда Чмыхалов, взмахнув руками, как птица, оторвался от крыльца и полетел. Полы плаща раскинулись, а капюшон вздулся, как парашют. Полет был недолгим. Перелетев через все ступени, Чмыхалов коснулся земли, подпрыгнул и побежал, однако нижняя его часть не смогла догнать верхнюю, и он рухнул в грязь, вытянув вперед руки, словно ловил курицу.

Поднимался он медленно. Его руки, живот, колени и даже одна щека были в грязи. Размазав по щеке грязь

кулаком с зажатой в нем плеткой, Чмыхалов подошел к покорно ожидавшей его лошади, отвязал ее и прыгающей ногой долго не мог попасть в стремя. Наконец это ему удалось, он взгромоздился в скользкое седло, повернул к Голубеву грязное и жалкое лицо и сказал чуть не плача:

— Ничего, я тебе еще покажу! — отъехал на несколько шагов, обернулся и крикнул смелее, хотя и визгливо: — Покажу! Покажу-у! — и угрожающе поднял руку с плеткой. Лошадь с перепугу рванула. Чмыхалов повалился на спину и задрал ноги, но резким движением вернулся в нормальное положение и быстро стал удаляться.

Председатель проводил его задумчивым взглядом и перевел глаза на Нюру.

— Ты ко мне?

— С почтой, — сказала Нюра.

— Заходи.

В кабинете председателя она выложила на его стол газеты, журнал «Крестьянка», «Блокнот агитатора», четыре письма, три открытки и один толстый пакет. Голубев схватил «Правду» и стал читать сводку Совинформбюро о положении на фронте, а когда поднял глаза, Нюра все еще стояла перед ним, переминаясь с ноги на ногу. В одной руке она держала сумку, другую с какой-то бумагой протягивала Голубеву.

— Что это? — посмотрел на бумагу Голубев.

— Тимофеич, подпиши, а?

Счетовод Волков сидел в соседней комнате и одной рукой крутил сигарку, помогая себе плечом и подбородком. Из председательского кабинета доносился какой-то шум. Волков послунил газетку и замер, прислушиваясь. Сначала он услышал голос председателя: «Ну ты даешь!», потом что-то сказала Нюра, потом опять председатель: «Не могу, и не проси, никак не могу. Да ты что, в тюрьму меня посадить хочешь?»

Отложив недокрученную сигарку, Волков заглянул к председателю. Он увидел заплаканное лицо Нюры, смущенное лицо Голубева и услышал его голос:

— Ты пойми, Нюра, я бы рад, но как же я могу? Я же председатель, я не могу подписывать такие бумаги.

Нюра всхлипнула, утираясь концом полушалка. Председатель увидел Волкова и поманил пальцем:

— Поди сюда. Ты посмотри, что она дает мне на подпись.

Волков подошел к председателю, взял протянутую ему бумагу и медленно, вдумываясь в содержание, прочел:

СПРАВКА

Дана настоящая Беляшовой А.А. в том, что она действительно жила с военным служащим Чонкиным Иваном.

— Это ты сама писала?

— Сама. — Нюра с надеждой глядела на Волкова.

— Это тебе в сельсовет надо идтить с этой справкой. А мы колхоз, мы таких справок не выдаем.

— Да и в сельсовете не подпишут, — сказал Голубев.

— Пожалуй, не подпишут, — подтвердил Волков, положив справку на стол.

— Ну как же не подпишут? — сказала Нюра. — Я ж не чего-нибудь... я ж с ним по правде жила.

— По правде, по правде, никто ж не спорит, — сказал председатель. — Но справку тебе никто не даст. А ты вот что, — Голубев поднялся и вышел из-за стола, — ты иди прямо в райком, к Ревкину прямо. И как в кабинет войдешь, так сумку на пол кидай и сама на пол кидайся, глаза вытараскивай и кричи... — Голубев в самом деле вытарасчил глаза, побагровел и вдруг, изображая, как должна вести себя Нюра, завизжал: «Я беременная!»

— Ой, батюшки! — Нюра со страху даже присела. — Спужал-то как!

— Спужал? То-то! — Председатель подмигнул Волкову, который смотрел на все без интереса и без живости в глазах. — Он тоже спужается. На горло его бери. Кричи: «Беременная! Отдай мне моего Ивана!» — кричи.

— Думаешь, поможет? — заинтересовалась Нюра. Голубев подумал, посмотрел на Волкова.

— Пожалуй что, не поможет, — признал он нехотя.

— Для чего ж кричать?

— Ну так. Душу отведешь.

Нюра взяла бумагу, сказала: «Ну, ладно, тогда до свидания». Пошла к выходу, взялась уже за ручку двери, остановилась.

— Тимофеич, — сказала она, смущаясь. — А ведь я и вправду того...

— Чего «того»? — не понял Иван Тимофеевич.

— Чижолая я, — сказала она, заливаясь краской.

8

Двое или трое суток, с перерывом на ночь, просидела Люра на скамейке перед приемной секретаря райкома Ревкина, который то выезжал по вызову какого-то начальства, то сам вызывал к себе кого-то, то проводил какие-то конференции, то готовился к бюро райкома. И хотя на дверях его была помещена табличка с указанием дней и часов приема, ожидание Ревкина было похоже на езду в поезде, который идет без расписания, неизвестно в каком направлении и неизвестно, дойдет ли когда до конечного пункта.

Райком жил напряженной будничной жизнью, по коридорчику деловито сновали, разнося бумаги на подпись, секретарши в белых блузках и важно скрипели хромовыми сапогами местные начальники в полувоенных, а то и целиком в военных костюмах. Иногда появлялся и сам Ревкин, и тогда сидящие на скамеечке вскидывали головы и смотрели на него как на высшее существо, не решаясь приблизиться. А если кто и решался, то тут же из ничего возникала секретарша, пожилая тетя в очках, и, применяя физическую силу, кричала:

— Гражданин! Гражданин! Вы же видите, что товарищ Ревкин очень занят. Как только у него будет свободное время, он всех примет.

Пока она это говорила, пока она отпихивала растерянного гражданина, товарищ Ревкин успевал скрыться за дверью, а уж туда пробиться к нему не было никакой возможности.

На третьи или на четвертые сутки всем ожидавшим под дверью приемной было объявлено, что в течение нескольких дней товарищ Ревкин вести приема не будет, потому что он готовится к предстоящему очень важному заседанию бюро, а вместо него всех примет товарищ Борисов. Некоторые из очереди были этим разочарованы, Люра же на первых порах начальников не различала, для нее они все были на одно лицо.

Сколько еще она прождала своей очереди, сейчас, за давностью лет, установить никак невозможно, но настойчивость ее была вознаграждена, и она попала в конце концов в кабинет, где за столом сидел человек, выражавший своим скучным видом, что все человеческое ему совершенно чуждо.

Он смотрел на Нюру без всякого любопытства, как бы заранее понимая, что дело, с которым она осмелилась его беспокоить, никакого интереса не представляет, особенно теперь, на фоне совершающихся грандиозных событий. Он сидел, молча смотрел на Нюру, и она, не дождавшись никакого вопроса, вынуждена была сказать, что пришла хлопотать «за своего мужа».

— За какого? — Борисов в первый раз разомкнул губы, и стало ясно, что он — не статуя.

— За Ивана, — сказала Нюра и расплакалась.

Он пошевелился, достал карманные часы и стал смотреть на них, то ли давая понять, что он человек занятой, то ли засекая, сколько времени Нюра проплачет. Может быть, Нюра плакала дольше, чем полагалось, он не выдержал и сказал, не повышая голоса:

— Гражданка, здесь слезам не верят.

Слова эти, сказанные так просто, произвели на Нюру должное впечатление, ей и в самом деле тут же плакать расхотелось.

— Теперь, — сказал Борисов, продолжая смотреть на часы, — излагайте быстро фамилию Ивана, что с ним случилось и чего вы хотите.

Она начала излагать, назвала фамилию, он оживился и быстро переспросил: «Как? Как?» Она повторила: «Чонкин».

— Чонкин, — задумчиво повторил он и записал фамилию на листке настольного календаря. — Значит, вы говорите, что он арестован? Так что же вас беспокоит?

— Да как же? — сказала Нюра.

— А что — как же? — спросил Борисов. — Раз он арестован, значит, будет суд. Если этот ваш Чонкин виноват, его накажут, если нет... — Тут Борисов, может быть, хотел сказать «оправдают», но, подумав, сказал: — ...тогда суд примет другое решение.

— Дак а как же я? — сказала Нюра.

— А что вы?

Нюра заплакала и, утираясь концом платка, стала запутанно объяснять, что ее считают посторонней, а на самом деле она не посторонняя, потому что она с ним, то есть с Иваном, хотя и без справки, жила.

Появились признаки того, что Борисов начал терять терпение.

— Гражданочка, — сказал он, барабанив пальцами по столу, — что вы мне городите? Какое мне дело до того, с кем вы жили? Неужели вы думаете, что райкому больше нечего делать, как заниматься такими глупостями? Идите отсюда!

— Куда? — сквозь слезы спросила Нюра.

— Не знаю. К прокурору или еще к кому. Идите!

Но Нюра не уходила. Она стояла и плакала. А Борисов сидел и удивлялся: неужели эта глупая женщина не может понять, кто она, где находится и перед кем стоит. Возмущенный этим, он вышел из-за стола и стал теснить Нюру к выходу:

— Ну ладно, нечего здесь плакать. Здесь вам не это самое. Здесь мы никому хулиганничать не позволим. Здесь и не таким рога обламывали.

Отступая под его напором, Нюра пятилась до самой двери и, задом вышибая дверь, выскочила из нее как ошпаренная.

9

Прокурор Павел Трофимович Евпраксеин в трезвом виде всегда знал, что он делает и для чего. Он понимал, что многие другие лица на обладают подобным знанием, и поэтому обычно не удивлялся странности их поведения.

Нюра, уйдя от Борисова ни с чем, пришла к выводу, что вела себя неправильно. Теперь она решила действовать так, как советовал ей Иван Тимофеевич Голубев. Но одно дело решить, а другое — сделать. Когда она вошла в кабинет и увидела крупного важного человека за большим столом под большим портретом, она как-то сразу же оробела и, переступая с ноги на ногу, попятилась даже слегка назад, но, вернувшись к порогу, оставалась.

— Вы ко мне? — спросил прокурор приветливо.

— К вам, — сказала Нюра так тихо, что сама слов своих не услышала.

— И по какому же делу?

— Я беременная, — сказала Нюра

Если бы она последовала совету Голубева в полном объеме, то есть завизжала, кинула на пол сумку и сама кинулась на пол, может быть, это и произвело бы на прокурора должное впечатление. Но она смутилась, покраснела и эту фразу произнесла так тихо, что не была уверена, услышал ли ее прокурор или нет.

— Не понял. Какая? — Прокурор приложил к уху ладонь.

— Беременная, — пролепетала Нюра, смутившись еще больше.

— Громче.

Когда она произнесла то же слово в третий раз, прокурор наконец-то ее услышал. Он улыбнулся и вышел из-за стола.

— Беременная? — переспросил он и, мягко взяв Нюру за плечи, подвел к окну. — Если беременная, вам не сюда, вам во-он куда надо.

И показал ей стоящее на другой стороне улицы обшитое тесом здание, в котором, как указывали вывески, находились родильный дом и женская консультация.

— Нет, — сказала Нюра, — я не насчет этого, я насчет мужика.

— От фронта никого не освобождаем, — быстро сказал прокурор.

— Да нет, — сказала Нюра.

— А если насчет алиментов, то пока рано. Только после рождения ребенка.

— Да не в том, — улыбнулась Нюра. По сравнению с тем, что предполагал прокурор, истинное ее дело показалось ей гораздо более простым и легко разрешимым. — Мужика-то у меня посадили.

— А-а, — сказал прокурор. — Теперь понял. И за что же его?

— А ни за что, — простодушно сказала Нюра.

— Ни за что? — удивился прокурор. — А вы в какой стране проживаете?

— Как это? — не поняла Нюра.

— Ну, я спрашиваю, где вы живете? В Англии, в Америке или, может, в фашистской Германии, а?

— Да нет же, — объяснила Нюра, — я в Красном жипу, в деревне, отселя семь километров, может быть, слышали?

— Что-то слышал, — кивнул прокурор. — И что, в этом нашем Красном советской власти нет, что ли, а?

— В Красном нет, — подтвердила Нюра.

— Как, совсем нет?

— Совсем нет, — сказала Нюра. — Сельсовет-то у нас в Ново-Клюквине, за речкой. А у нас только колхоз.

— А, понятно, понятно, — ухватил прокурор. Он взял лист бумаги и стал на нем что-то чертить. — Вот это, значит, речка, здесь, за речкой, советская власть, вот мы ее так заштрихуем. А с этой стороны, стало быть, совсем ничего. Да-а, — сказал он, разглядывая с интересом чертеж, — тогда совсем, конечно, другое дело. А то уж я было подумал, как это: советская власть — и ни за что. И лично, как прокурор, ну и вообще как советский человек, о таких безобразиях никогда не слышал. Нет, конечно, бывают у нас отдельные лица, которые по глупости или с умыслом распространяют разные злостные слухи, ну таких-то людей мы, конечно, сажаем. За клевету на наш строй, на наше общество, на наш народ, но это же нельзя сказать — ни за что. Так же?

— Так, — согласилась Нюра.

— Ну и чего же вы от меня хотите?

— Так я ж насчет своего мужика, — напомнила Нюра.

— А я-то тут при чем? — развел руками Павел Трофимович. — Я же советский прокурор. И власть моя распространяется только на советские территории. А там, где советской власти нет, там я бессилен.

Из сказанного прокурором Нюра не поняла ничего и сидела, ожидая продолжения разговора. Но прокурор никакого разговора продолжать не собирался. Он достал из пластмассового футляра очки, напялил их на нос и, раскрыв папку с надписью «Дело №», начал читать лежавшие в ней документы. Нюра терпеливо ждала. Наконец прокурор поднял глаза и удивился:

— Вы еще здесь?

— Так я насчет...

— ...своего мужика?

— Ну да, — кивнула Нюра.

— Разве я непонятно объяснил? Ну что ж, попробую иначе. Запомните и зарубите себе на носу, — он повысил голос и стал грозить пальцем, — у нас в Советском Союзе ни за что никого не сажают. И я как прокурор предупреждаю вас самым строгим образом: вы такие разговорчики бросьте. Да-да, и нечего прикрываться своей беременностью. Мы никому — ни беременным, ни всяким прочим не позволим. Ясно?

— Ясно, — оробела Нюра.

— Ну вот и хорошо, — быстро помягчел прокурор. — В главном договорились. А что касается частных, то их можно и обсудить. Если в отношении вашего мужа были допущены отдельные нарушения закона, мы их пресечем, а виновных, если они есть, накажем. Это я вам обещаю как прокурор. Как фамилия вашего мужа?

— Чонкин, — сказала Нюра. — Чонкин Иван.

— Чонкин? — Прокурор вспомнил, что когда-то подписывал ордер на арест именно Чонкина, и потом слышал, что этот же Чонкин оказался главарем какой-то банды и что эта банда была разгромлена. — Чонкин, Чонкин, — бормотал прокурор. — Значит, вы говорите, Чонкин. Одну минуточку. — Он вежливо улыбнулся. — Будьте добры, подождите меня в коридоре, я все выясню и тогда вам скажу.

Нюра вышла в коридор и там провела какое-то время. В это самое время прокурор Евпраксеин кому-то позвонил по телефону и разговаривал стоя и шепотом, прикрывая трубку ладонью и поглядывая на дверь. Затем он вышел в коридор, пригласил Нюру к себе, сам сел за стол, а она осталась стоять.

— Значит, вы говорите — Чонкин? — спросил прокурор. — А ваша как фамилия?

— Беляшова, — неохотно сказала Нюра, понимая, что этот вопрос задан ей неспроста.

— Правильно, — сказал прокурор. — Беляшова. В браке вы с этим Чонкиным не состоите. Так? Так. То есть, собственно говоря, вы к этому Чонкину, которого, кстати

сказать, ждет очень суровое наказание, никакого отношения не имеет.

— Да как же, — сказала Нюра, — я ж беременная.

— Тем более, — убежденно сказал прокурор. — Зачем же вам связывать свою судьбу и судьбу будущего ребенка с этим преступником?

Тут он понес какую-то околесицу и стал говорить от имени какого-то множественного лица, которым или частью которого он как бы являлся.

— Мы, — сказал он, — не сомневаемся, что вы хорошая работница и настоящий советский человек и что ваша связь с этим Чонкиным была совершенно случайной. Именно поэтому мы вас и не привлекаем к ответственности. Но именно поэтому вы должны от этого Чонкина решительно отмежеваться...

Дальше пошла и вовсе какая-то тарабарщина: трудное время... сложная международная обстановка... противоборство двух миров... нельзя сидеть между двух стульев... необходимо определить, по какую сторону баррикад...

— И поэтому, — закончил он свою мысль, — с вашей стороны было бы правильно не защищать вашего Чонкина, а, наоборот, порвать с ним самым решительным образом. Было бы уместно заявить даже письменно, что я, такая-то и такая-то, вступила в интимную связь с Чонкиным случайно и неосмотрительно, не зная его звериной сущности, о чем сожалею. А? Как вы думаете, можно так написать?

Прокурор посмотрел на Нюру и увидел ее глаза, полные слез.

— Дяденька, — сказала Нюра, хлюпая носом, — он недь, Ванька, хороший.

— Хороший? — Прокурор нахмурился и отвел глаза. — Интересно, за что же его арестовали, если он хороший?

— Так ни за что же, — сказала Нюра.

— Ни за что? — сердито переспросил Евпраксеин. — Ну что же, Беляшова, вы, я вижу, не просто заблуждаетесь. Вы упорствуете в своих заблуждениях. Я вижу, для вас время, проведенное с этим Чонкиным, не прошло даром. Я вижу, он таки успел вас обработать.

Думая, что прокурор имеет в виду ее беременность, Нюра кивнула и согласилась сквозь слезы:

— Успел.

10

Сейчас, конечно, в Долгове уже мало кто помнит прокурора Павла Трофимовича Евпраксеина, хотя в те времена невообразимо было предположение, что его вообще когда-то можно будет забыть. Тогда слава его была прочной, гремела на весь район и даже выходила иногда за пределы. Все знали и говорили или, вернее, шептали, что прокурор Евпраксеин — это зверь. Что к нему пойдешь, живым не выйдешь. Что спуску никому не дает и ни слезой его не разжалобишь, ни взяткой не размягчишь.

И вид у него был зверский, и вел он себя по-зверски, и никто бы тогда не поверил, что на самом деле был он человек в общем-то добрый, но уж очень запуганный. И оттого что был запуганный, до смерти он боялся, что доброту его кто-нибудь разгадает, разглядит и раскусит. И чтобы этого не случилось, Павел Тимофеевич изо дня в день скрывал свою истинную сущность, и скрывал так умело, что иные слабые духом люди от одного только прокурорского взгляда чуть не падали в обморок.

Конечно, среди прокуроров встречались разные люди. Распространен среди них был тип и истинно жестокого существа, которому что человек, что муха. Но такой жестокий, зная, что он жестокий, и потому не рискуя разоблачением, мог какую-то жертву и упустить по забывчивости, по пьянке или из корыстного соображения.

А вот Евпраксеин — чувствуя в себе склонность к чему-то хорошему, очень боялся, что пронюхают и узнают, и потому не упускал ничего и никого.

Но у него была одна слабость, распространенная даже среди прокуроров, — он любил выпить. И когда выпивал, раскрывался.

В тот день, после разговора с Нюрой, он зашел в чайную, с кем-то там встретился, с кем-то там выпил и возвращался домой поздно вечером. Пальто на нем было расстегнуто, шарф торчал из рукава, а шапку он забыл в чайной.

Прокурор шел нетвердой походкой, качаясь из стороны в сторону, спотыкаясь, останавливаясь и размахивая руками.

— Дура! — говорил он воображаемой собеседнице. — Подумаешь — я беременная. Я, может, тоже беременный. А если беременная, так что же тебя, на руках носить? Беременная! Тоже невидаль, ха-ха, беременная. Так тебя ж никто не сажает. С тобой по-хорошему. К тебе гуманизм проявляют. Отрекись от него — и все, и никто тебя не тронет. Так нет же. «Дяденька, он хороший». А чего в нем хорошего? Да мне, если бы разрешили, я, может, еще лучше был бы. Да не могу, потому что я кто? Я прокурор. Да, прокурор. — Он взмахнул рукой, и перед глазами его мелькнула пестрая лента. «Змея!» — догадался Павел Трофимович. — Змея! — закричал он не своим голосом и кинулся со всех ног бежать. Споткнулся, упал, ударился головой о дорогу.

К счастью, в те времена улицы города Долгова еще не имели твердого покрытия. Сейчас, правда, многое переменялось. Впрочем, твердого покрытия, кажется, нет и сейчас. Ну а тогда, если бы было покрытие, то одним прокурором могло бы стать меньше. А прокуроров нужно беречь. Вы скажете, а чего их беречь, их много. Это, конечно, так. Но все-таки жалко и прокуроров.

Ударившись головой, прокурор Евпраксеин лежал пластом на дороге и не подавал сколько-нибудь отчетливых признаков жизни.

Потом, придя в себя, он слышал, что кто-то подошел, кто-то склонился над его распростертым телом. Прокурор застонал.

— Вы живы? — участливо спросил незнакомый мужской голос.

— Не знаю. — Евпраксеин стал подбирать под себя руки, чтобы опереться, и опять увидел, что к нему ползет что-то длинное.

— Опять змея! — сказал он удрученно и уронил голову.

— Что вы, гражданин, какая змея? Это ваш шарф.

— Шарф? — Прокурор приоткрыл один глаз, подергал рукой, и то длинное тоже подергалось. — Ты смотри, шарф. А я думал — змея. А я змей не люблю. Я их боюсь.

Ты думаешь, я ничего не боюсь? Нет, боюсь. Потому что я живое существо, а все живое боится.

С помощью незнакомца он поднялся на ноги и качался, не решаясь сдвинуться с места.

— Спасибо, друг! — бормотал он. — Спасибо! Не знаю даже, чем тебя отблагодарить. Что для тебя сделать?

— Прикурить не найдется? — спросил незнакомец и вынул из-за уха сигарку.

— Сейчас, — заторопился прокурор. Он был преисполнен благодарности, и ему действительно хотелось сделать что-то хорошее для этого незнакомого, но, безусловно, доброго человека. — Одну минуточку. — Он полез в левый карман, для этого ему пришлось почему-то обернуться на триста шестьдесят градусов влево. В левом кармане спичек не оказалось. Тогда он полез в правый карман и опять сделал полный оборот вокруг своей оси вправо. Нашел в правом кармане коробок, открыл и стал доставать спички, рассыпая их по земле. Наконец выловил одну спичку и, замахиваясь ею, как саблей, пытался чиркнуть по коробку.

— Дайте, я сам, — сказал незнакомец.

— Нет-нет, — сказал прокурор. — Я хочу проявить ува... ува... уваже...

Руки дрожали, спички ломались. Наконец одна из них зашипела и вспыхнула. Евпраксеин поднял ее на уровень своего лица. Незнакомец с сигаркой потянулся к огню, глянул на Евпраксеина, вздрогнул и отшатнулся.

— Вы прокурор? — спросил он взволнованно.

— Прокурор, — кивнул Евпраксеин.

Легким порывом ветра задуло спичку. Прокурор достал вторую, чиркнул и увидел, что незнакомец быстро удаляется от него.

— Да куда же ты? — растерялся Павел Трофимович. — На, прикури. Слышь, друг! Братишка! Остановись!

Он даже пробежал несколько шагов за незнакомцем, но потом махнул рукой, остановился и, сказав «эх ты, дурак!», плюнул.

Затем вытащил из рукава шарф, намотал его поверх воротника пальто и пошел дальше, рассуждая с самим собой:

— Тоже мне трус поганый, прокурора испугался. И правильно делаешь, что боишься, — сказал Павел Трофимович, обращаясь к оказавшемуся на пути телеграфному столбу. — Правильно! Ты думаешь, человек человеку кто? Друг? Товарищ? Братишка? На-ка выкуси! Человек человеку люпус ест! Человек человеку волчище вот с такими клыками. Да, конечно, я — прокурор. Я прокурор! — повторил он и пошел дальше. — Я коммунист. Я солдат партии. Я не имею права на мягкотелость. Вот побьем немцев... Вот коммунизм построим, и тогда всем по потребности... Тогда будем каждого по головке... гладить. А сейчас не время... — Он остановился, подумал. — И вчера было не время. — Он еще подумал и оглянулся. — И завтра будет не время. — И снова повысил голос. — Но все равно! Я боец! Я солдат!! Я палач!!! Я убийца!!!! Я сволочь!!!! — завизжал он и стукнул себя кулаком в грудь.

Азалия Михайловна, или просто Аза, жена прокурора, сидела перед зеркалом и растирала на скулах крем.

Было поздно. Дети, Аленка и Трофимка, давно легли спать. Тарелка репродуктора едва дребезжала, передавая легкую музыку. За дверью слышались шаги. Аза насторожилась. Дверь распахнулась, и на пороге в расстегнутом грязном пальто появился Павел Трофимович.

— Господи! Опять? — ужаснулась Аза.

— Опять, — кивнул Павел Трофимович. — А ты все это? — Он потер под глазами, как будто тоже мазался кремом. — Хочешь быть молодой? Не поможет. Нет. Жизнь кого хочешь сморщит, даже жену прокурора.

— Паша! — сказала она с упреком.

— А что Паша? Что Паша? — Он погладил пальцем ее халат. — Халатик-то шелковый.

— Ну, Паша, ты же сам купил мне его ко дню рождения.

— Да, конечно. — Расхаживая по комнате, он делал замысловатые движения руками. — Я купил. К дню рождения. А на какие шиши? А за что мне эти шиши платят? А шиши мне эти платят за то, что я людей... — он приблизил к ней красное лицо и резко выдохнул: — ...убиваю.

— Паша! — закричала она. — Подумай, что ты говоришь!

— Ха-ха, — засмеялся он, — подумай. Давно подумал. А что делать? У меня семья, и все вы жрать хотите!

— Паша! — сказала она с упреком. — Ты же детей разбудишь.

— Ах, детей! — Он ворвался в детскую и, отпихивая повисшую на руке жену, заорал: — А ну вставайте, паразиты! Я хочу вам объявить, что ваш отец палач и убийца!

Они не спали. Семиклассница Аленка и пятиклассник Трофим сидели каждый на своей кровати, подтянув к подбородкам одеяла и прижимаясь к стенке.

— Аленка! Трофимка! — Широко расставив руки, мать загораживала их от отца. — Не слушайте папу. Папа пьяный.

— Да, я пьяный. И потому говорю правду.

Он вышел в переднюю и на листе, вырванном из Аленкиной тетради, держа ручку в кулаке, разбрызгивая чернила, написал: «Я, прокурор Евпраксеин П. Т., находясь в здравом уме и трезвой (зачеркнуто), признаю свое соучастие и объявляю о своем выходе из. Я знаю, на что иду, но у меня больше нет сил, и мой поступок продиктован моей гражданской совестью и»

На этом он закончил и, не поставив ни точки, ни многоточия, ни времени, ни числа, расписался. И щедрым жестом протянул бумагу жене:

— На, отнеси!

— Кому?

— Им.

— Хорошо, — сказала она покорно, — я отнесу. Ты разденься и отдохни, а я отнесу.

— Отнесешь? — Он вскочил. — Посадить меня хочешь? — загремел, торжествуя. — Дай сюда! — Он вырвал бумагу и разорвал. — Я знал, что ты такая, что только и ждешь, как бы избавиться. Вот ко мне сегодня приходила... простая русская женщина... даже не расписана, а готова ради него... А ты-ы!.. Под расстрел меня хочешь? Сволочь! Не дожدهшься. Я сам...

И тут повторилось то, что случалось не раз. Он сорвал со стены двустволку и закричал:

— Выходи!

— Паша, — сказала она грустно, заранее зная, что ее довод не подействует. — Ты хоть бы детей постеснялся.

В прежние времена дети кидались к отцу, хватали его за ноги и кричали «папочка». Теперь они сидели в своей

комнате и с испугом следили за происходящим через открытые двери.

— Выходи! — торопил прокурор.

— Погоди, я хоть сапоги надену.

— Ну да, еще сапоги пачкать. И так хороша будешь.

Босую, покорную, в одном халате, надетом на голое тело, он вывел ее к общественной уборной. Было холодно, но светло, полная луна выплыла из-за туч и равномерно освещала место грядущей казни.

— Именем Российской Советской Федеративной... — торжественно произнес прокурор, поднимая ружье.

Раньше, когда случалось такое, выбегали соседи. Теперь же не было никого. Только одно окно растворилось, и женский голос спросил:

— Ну, чего там?

А другой, тоже женский, ответил:

— Прокурор обратно Азалию на расстрел вывел.

Окно тут же захлопнулось. Прокурор невольно оглянулся на посторонние звуки, а когда повернулся опять, Азалии возле уборной не было. Тут и луна закатилась, стало совсем темно.

— Аза! — крикнул прокурор в темноту. — Выходи! Не препятствуй исполнению приговора.

Азалия не отзывалась. Павел Трофимович обошел уборную, заглянул в обе ее половины, вступил в кучу, наваленную перед входом, выругался и с ружьем наперевес пошел домой. Но дома дверь оказалась запертой изнутри. Прокурор стучал в дверь кулаками и ногами, кричал: «Аза! Открой! Именем закона! Я больше не буду!» — но, не дождавшись никакого ответа, лег спать на половик под дверью.

Утром он, как обычно, ползал перед женой на коленях, хватал ее за ноги, умолял простить и обещал выбросить ружье на помойку или продать.

После этого, отчасти прощенный, напившись крепкого чаю, пошел на работу и исполнял свои обязанности твердо, как полагалось.

Нюра шла и шла по длинным коридорам учреждений, которые слились для нее в один бесконечный коридор.

дор с грязными полами, обшарпанными лавками. На лавках в робких и выжидательных позах сидели просители, то есть люди, которые еще чего-то хотели от этой жизни, искатели правды, борцы за справедливость, кляузники, униженные и оскорбленные, в драных телогрейках, в лохмотьях, в лаптях, в чунях, в галошах на босу ногу и вовсе босые, старики и старухи, бабы с детишками, молодой парнишка на костылях, пожилой матрос с перевязанной головой, старик в суконном пальто, по которому стадами бродили бледные вши, рахитичный младенец, жевавший хлеб в грязном тряпичном узелке.

Бледный небритый мужчина с лихорадочным блеском в глазах рассказывал Нюре, как следовательно отбивал ему почки, объясняя свои действия идеологической войной и сложностью мировой обстановки.

— Перед самой войной, — говорил мужчина, — меня освободили, но я теперь ни на что не способен.

Он показывал Нюре свое длинное заявление, в котором предлагал ввести статус инвалида идеологической войны, а ему лично дать первую группу с предоставлением бесплатного проезда в городском транспорте.

Была тетка, потерявшая карточки. Она ходила по инстанциям, говорила, что у нее трое детей, что они помрут с голоду. Ей отвечали: «Здесь не богадельня. О детях надо было раньше думать. У нас нет специальных фондов для ротозеев».

Один весьма невзрачного вида гражданин вступил на путь борьбы вовсе из-за ерунды. Как-то ему понадобилось перекрыть крышу, и он обратился к директору совхоза с просьбой о выписке ему нужного количества соломы. Директор отказал на том основании, что проситель недостаточно активно проявлял себя в общественной жизни, то есть не посещал самодеятельность, не выпускал стенгазету, не ходил на собрания, а если и ходил, то не лез на трибуну и пассивно участвовал в общих аплодисментах.

Вместо того чтобы просто украсть эту солому (как делали одни) или дать директору трешку (как делали другие), соломопроситель решил действовать законным путем, писал жалобы всем, включая Калинина. Ответы

возвращались к тем, на кого он жаловался, дважды (один раз в дирекции совхоза, один раз в милиции) он был бит, три месяца его лечили в сумасшедшем доме, однако до конца, как видно, не вылечили.

Все люди, которых встретила Нюра в этом бесконечном коридоре перед бесконечным рядом дверей, сидели здесь иногда сутками, как на вокзале. Время от времени выкликалась фамилия кого-нибудь из сидевших, и тот, заранее снявши шапку и кланяясь, входил в долгожданную дверь, чтобы через минуту выскочить оттуда с помутневшим взором, а то и с воплем, словно из кабинета зубного врача.

За теми дверьми сидели важные лица. Все они работали без наркоза. Они каждого посетителя воспринимали как гидру, желавшую непременно что-нибудь ухватить у нашего рабоче-крестьянского государства. Сами не вырабатывая ничего, кроме ненужных бумаг, они попрекали каждого входящего, будто именно он и живет на шее у государства, будто и так получил слишком много и теперь явился за лишним.

В этом бесконечном коридоре, озаренном постоянным сумеречным светом, всегда сыром и холодном, словно не бывало здесь смены дня и ночи и времен года, текла размеренная и как бы потусторонняя жизнь.

Нюра шла из кабинета в кабинет, из кабинета в кабинет. Временами она забывала, чего хотела добиться, главной целью ее уже было сперва попасть в кабинет, а попав, покинуть его Лица принимавших ее начальников слились для нее в одно лицо с надутыми щеками и бесчувственным взглядом. Это объединенное Лицо подхватило идею прокурора Евпраксеина и стало развивать ее дальше. И в одном кабинете Лицо сказала, что не просто надо осудить поведение Чонкина, не просто отмежеваться, а сделать это публично, где-нибудь на собрании. А в другом кабинете было сказано, что еще лучше не на собрании, а в печати. А в третьем кабинете было сказано, что еще лучше даже и на собрании, и в печати. Предлагалось ей осудить и свое собственное поведение за политическую близорукость и отсутствие бдительности. Чем дольше, тем больше требовали от нее, не предлагая уже ничего взамен.

Но, заливаясь слезами, впадая в отчаяние, Нюра шла все дальше и дальше и, попав однажды в редакцию газеты «Большевицкие темпы», постучалась в дверь, где висела табличка «Ответственный редактор т. Ермолкин Б.Е».

Борис Евгеньевич Ермолкин был замечательный в своем роде человек. Это был старый газетный волк, как он сам себя с гордостью называл. Но не из тех волков, которые, высунув язык, гоняются за свежими новостями. Нет, от новостей он как раз всегда шарахался в панике. И если в городе или районе случалось что-нибудь достойное внимания, то есть действительно какая-нибудь новость, Ермолкин делал все, чтобы именно она никак не попала на страницы его газеты. Бывало, читая где-нибудь, что даже какая-то буржуазная газета не могла скрыть чего-то, Ермолкин только руками разводил. Да что ж это в буржуазной газете редактор такой, если чего-то скрыть не может.

Ничем не примечательный с виду человек, обладал Ермолкин испепеляющей страстью — любую статью или заметку выправить от начала до конца так, чтобы читать ее было совсем невозможно. С утра до позднего вечера, не замечая ни дождя, ни солнца, ни времени суток, ни смены времен года, не зная радости любви или выпивки, забыв о собственной семье, проводил он время в своем кабинете за чтением верстки. Ему приносили эти сырые листы, шершавые от вдавленного в них шрифта с кривыми строками. Эти листы и в руки-то взять было бы противно, а он вцеплялся в них, как наркоман, дрожа от нетерпения, расстилал на столе, и начиналось священнодействие.

Нацелив на верстку острый свой карандаш, Ермолкин пристально глядывался в напечатанные слова и ястребом кидался, если попадалось среди них хоть одно живое. Все обыкновенные слова казались ему недостойными нашей необыкновенной эпохи, и он тут же выправлял слово «дом» на «здание» или «строение», «красноармеец» на «красный воин». Не было у него в газете ни крестьян, ни лошадей, ни верблюдов, а были труженики полей, конское поголовье и корабли пустыни. Люди, упомянутые в газете, не говорили, а заявляли, не спрашивали, а обращали свой вопрос. Немецких летчиков Ермолкин называл фашистскими стервятниками, советских лет-

чиков — сталинскими соколами, а небо — воздушным бассейном или пятым океаном. Особое место занимало у него в словаре слово «золото». Золотом называлось все, что возможно. Уголь и нефть — черное золото. Хлопок — белое золото. Газ — голубое золото. Говорят, однажды ему попала заметка о старателях, добытчиках золота, он вернул заметку ответственному секретарю с вопросом, какое именно золото имеется в виду. Тот ответил — обыкновенное. Так потом и было написано в газете: добытчики золота обыкновенного.

Лядя на Ермолкина, трудно было поверить, что родила его обыкновенная женщина, и что пела ему на русском языке колыбельные песни, и что слышал он своими ушами уличные голоса, и что читал он хотя когда-нибудь Пушкина, Гоголя или Толстого. Лядя на Ермолкина, казалось, что родила его типографская машина и завертывала вместо пеленок вот в эти самые гранки и верстки, и, как в эту серую бумагу, навсегда впечатались в его сознание и в каждую его клетку несъедобные и мертвые слова.

Вот к этому удивительному человеку и попала Нюра однажды. Постучав в дверь и услышав «войдите», застала она в кабинете самого редактора, иссохшего на своей работе, и другого, полного, но подвижного и резкого в движениях. Этот другой был некто Константин Цыпин, называвший себя фенологом. Этот фенолог бегал из угла в угол по кабинету и заламывал руки.

— Борис Евгеньевич, — взывал он к редактору. — Я вас очень прошу, не правьте мою заметку, ведь она такая маленькая.

— Ишь чего захотел, — ответил редактор, помешивая ложечкой остывший в стакане чай, — как не править, когда вы пишете: «Наступила пора бабьего лета». У нас, в нашем обществе баб нет. У нас женщины, труженицы, они стоят у станков, они водят трактора и комбайны, они заменили своих мужей, ушедших на фронт, а вы их оскорбительно называете бабами.

— Я не их, а лето называю бабьим, так говорят в народе.

— Если все слова, что в народе говорят, да в газету... — Редактор покачал облысевшей своей головой.

— Но ведь не писать «женское лето», — сказал фенолог.

— Именно женское.

— А может быть, дамское?

— Нет, дамское нам не подходит. А женское — в самый раз.

— Борис Евгеньевич, — завопил фенолог, — вы меня убиваете. Спросите у любого человека, хотя бы у этой посетительницы... Девушка, — обратился он к Нюре, — вы вот, я вижу, из народа. У вас такое время, когда осень и когда тепло, когда солнышко светит, как называется?

— Кто как хочет, так и называет, — сказала Нюра уклончиво. Ей не хотелось идти против редактора.

— Вот видите, — оживился редактор. — А у нас газета. Мы не можем называть кто как хочет. Вы по какому делу? — благосклонно спросил он у Нюры.

— Да я насчет мужика своо, насчет Чонкина.

Услышав эту фамилию, редактор отодвинул в сторону стакан с чаем, выпрямился и одеревеневшими губами сказал:

— Слушаю вас.

Фенолог Цыпин тут же исчез, словно его и не было.

— Слушаю вас, — повторил редактор.

— Так я вот насчет того же, что как же мне быть, — сказала Нюра, приближаясь к столу. — Чонкин-то мой мужик, а прокурор говорит, отказаться надо.

— Ну, раз прокурор говорит, значит, так и надо сделать, — сказал Ермолкин.

— Как же, — сказала Нюра, покачав головой, — я ведь беременная.

— Беременная? — удивился Ермолкин. — Это меняет дело. Подождите, я должен подумать.

Он обхватил голову двумя руками, закрыл глаза, и похоже было, что действительно погрузился в глубокое размышление. Нюра смотрела на него с интересом, к которому примешивался и испуг, и уважение. Так, обхватив голову руками, Ермолкин просидел, может быть, несколько секунд, но Нюре показалось, что счет шел на минуты. Ермолкин вдруг тряхнул головой и, как бы приходя в себя, долго смотрел на Нюру. Достал из ящика чистый лист бумаги, подсунул Нюре и сказал тихо:

— Вот здесь внизу распишитесь.

— Зачем? — поинтересовалась Нюра.

— Мы здесь напишем заметку от вашего имени, нужна ваша подпись.

— Какую еще заметку? — насторожилась Нюра.

— Мы напишем, что вы как будущая мать от себя и от имени вашего ребенка решительно отмежевываетесь от так называемого Чонкина и заверяете, что будущего сына своего или дочь воспитаете истинным патриотом, преданным идеалам партии Ленина-Сталина.

— Вона чего, — сникла Нюра. — Везде одно и то же.

— А что вам не нравится? — искренне спросил Ермолкин. — Это же все делается для вашего блага. Неужели вам хочется, чтобы ваш будущий ребенок носил фамилию преступника, всю жизнь носил на себе это несмываемое пятно?

— Ладно, пойду, — сказала Нюра, поднимаясь.

— Ну, как знаете. Люди для вас стараются, хотят сделать как лучше, а вы... Вы знаете, может быть, вам ваше упрямство кажется правильным, может быть, вы даже хотите выглядеть в глазах людей этакой героиней, но я считаю, что поведение ваше продиктовано трусостью, и только ею. Если бы вы действительно были искренни, вы бы сказали: «Да, я ошиблась». Вы бы отреклись от этого Чонкина и заклеили его навсегда позором. Я понимаю, такое решение трудно принять, но если вы настоящая советская женщина, вы должны выбрать, кто вам дороже — Чонкин или советская власть.

Нюра смотрела на него полными слез глазами. Она не знала, почему обязательно выбирать, почему в крайнем случае нельзя совместить то и другое.

— Да, — помолчав, грустно сказал Ермолкин, — вы, я вижу, и в самом деле упорствуете. Мне это, честно говоря, не очень понятно. Может быть, у меня, с вашей точки зрения, несколько устарелые взгляды, но я ко всему отношусь иначе.

Он встал из-за стола и — руки в брюки — прошелся по комнате.

— Вот у меня есть сын, — продолжал он на более нервной ноте. — Он маленький. Ему всего лишь три с половиной года. Я его очень люблю. Но если партия прикажет мне резать его, я не спрошу за что. Я... — он посмотрел на Нюру, и взгляд его как бы остекленел. — Я...

— Мама! — не своим голосом завопила Нюра и кинулась вон из кабинета. Почти до самого Красного она бежала бегом, не оглядываясь. Почти до самого Красного ей казалось, что за ней с ножом в зубах гонится редактор Ермолкин.

12

Почему-то встреча с Нюрой подействовала на Ермолкина странным образом. Может быть, потому, что вспомнил о сыне. Такой белокурый, с большим лбом мальчик, похожий на маленького Володю Ульянова. Вот ведь все люди как-то заботятся о своей семье, чего-то друг о друге хлопочут, а он все о работе, все о работе, сидит здесь день и ночь, пожелтел от табачного дыма, а когда был последний раз дома — напрягся, вспомнить не мог. Нет, хватит, сказал он себе самому, пора подумать и о семье. Сегодня он решил уйти с работы раньше обычного, то есть не просто раньше на час или два, а уйти по окончании рабочего дня, как все простые служащие. В конце концов, сформулировал он свою мысль, я человек и имею право на отдых и на личную жизнь.

Все же перед уходом он еще раз просмотрел оттиск газеты, который ему принесли для окончательной проверки.

Начал, как обычно, с передовой. В передовой его всегда интересовали не тема, не содержание, не, скажем, стиль изложения, его интересовало только, чтобы слово «Сталин» упоминалось не меньше двенадцати раз. О чем бы там разговор ни шел, хоть о моральном облике советского человека, хоть о заготовке кормов или о разведении рыбы в искусственных водоемах, но слово это должно было упоминаться двенадцать раз, можно тринадцать, можно четырнадцать, но ни в коем случае не одиннадцать. Почему он взял минимальным именно это число, а не какое другое, просто ли с потолка или чутье подсказывало, сказать трудно, но было именно так. Вот же не существовало на этот счет никаких исходящих сверху инструкций, никаких особых распоряжений, а не только Ермолкин, но, пожалуй, каждый редактор, хоть в местной газете, хоть в самой центральной, днем и ночью слеп над серым, как грязная скатерть, газетным листом, вы-

искивал остро отточенным карандашиком это самое слово и шевелил губами, подсчитывая.

Нет, конечно, за время работы в печати Ермолкину случалось встречать всяких людей. Попадались и отчаянные сорвиголовы, которые то ли по молодости, то ли по отсутствию журналистского нюха горячились, доходя до кощунства: а почему, мол, именно двенадцать, а не восемь или даже не семь. В таких случаях Ермолкин только покачивал головой и грустно усмехался: эх, мол, молодозелено, высоко взлетишь, низко сядешь. Некоторые и садились, и весьма низко, и не за то, возможно, что упоминали какое-то слово реже, чем полагалось, а потому, что, усомнившись в одном правиле, человек непременно распространяет свои сомнения дальше, и потом трудно бывает остановиться.

Итак, Ермолкин начал с передовой. Сегодняшняя передовая была прислана сверху, править ее Ермолкин не мог, не считая, конечно, грамматических ошибок. Все же, водя по строчкам карандашом, он подсчитал, и, к его не то чтобы удивлению, а, точнее сказать, удовольствию, нужное слово повторялось именно двенадцать раз — видно, вышестоящий сочинитель в своей литературной работе придерживался того правила, что и Ермолкин. Статья призывала народ в трудное для него время с особым вниманием, и даже с сердечным волнением, и даже еще с какими-то более глубокими переживаниями прислушаться к указаниям вождя и воспринимать их как руководство на все случаи жизни. «Указания товарища Сталина, — говорилось в статье, — для всех советских людей стали мерилom мудрости и глубочайшего постижения объективных законов развития общества». Эта фраза чем-то задержала внимание Ермолкина, он еще раз пробежал по ней рассеянным взглядом, стал читать дальше, но почувствовал, что ничего не соображает.

— Устал, — вслух подумал Ермолкин и провел рукой по лицу. — Да, устал.

Медленными движениями он снял с себя потертые нарукавники, положил их в ящик стола и, прежде чем покинуть редакцию, заглянул к ответственному секретарю Лившицу.

— Вот что... э-э... Вильгельм Леопольдович, — сказал он, слегка зевая. — Я передовую прочел, а остальное уж, пожалуйста, вы. Только повнимательней, ладно? А я пойду домой.

— Домой? — удивился Лившиц.

— А что, рано? — спросил Борис Евгеньевич.

— Да нет, не рано, а... — Лившиц сначала и сам не понял, чему удивился, но потом подумал и понял, что никогда не видел Ермолкина уходящим домой. — Хорошо, — сказал он. — Идите, Борис Евгеньевич, и не беспокойтесь, все будет в порядке.

— Ну, смотрите, — предупредил Ермолкин, — я оставляю вас за себя и надеюсь, что все будет как надо. Я думаю, что ваша... э-э... слабость сейчас не...

— Что вы! Что вы! — перебил Лившиц. — Вы же знаете, я бросил окончательно. Уже целый месяц ни капли не принимал.

— Ну-ну, я вам верю. — С этими словами Борис Евгеньевич покинул свой кабинет. Весть о том, что он идет домой, молнией облетела редакцию. Сам Борис Евгеньевич этого не заметил, но, когда он шел по коридору, все двери редакции отворились и сотрудники провожали его долгими изумленными взглядами.

Очутившись на улице, Борис Евгеньевич прошел несколько шагов в неведомом ему направлении и тут же остановился. И стал в растерянности вертеть головой. Он хорошо знал только два адреса: в райком и в типографию, а вот дорогу к собственному дому забыл. «Где же я живу?» — стал он мучительно думать и даже обхватил руками свою небольшую голову и наморщил лоб, но к видимым результатам эти усилия не привели.

В памяти, до отказа забитой казенными словосочетаниями, смутно маячили деревянный мостик через какую-то канаву, кусок какого-то плетня, голубая скамейка, и это все. «Совсем заработался», — объяснил Ермолкин свое состояние самому себе и решил спросить дорогу у кого-нибудь из прохожих.

— Гражданочка, — обратился он к первой встречной женщине с двумя кошелками, — вы не скажете, как мне пройти... — Он не договорил и уставился на женщину отупело.

— Куда? — спросила женщина.

— Одну минуточку, — заторопился Ермолкин. Он достал из кармана свой паспорт и стал искать в нем адрес, по которому был прописан и которого совершенно не помнил. — Да вот. — Он прочел вслух название улицы, указанной в соответствующей графе, и женщина, как ни была удивлена, словоохотливо и со многими лишними подробностями объяснила, как идти и где куда поворачивать.

Ермолкин пошел, как ему было указано, и вскоре был бы дома, но по пути у перекрестка двух улиц увидел людей, которые, сбившись в кучу, кружились на небольшом пятачке, перемещаясь, меняясь местами и что-то выкрикивая, словно искали друг друга. Это был так называемый хитрый рынок, знакомый ему по временам его юности. Ермолкин удивился. Он думал, что эти хитрые рынки навсегда отошли в прошлое, во всяком случае, в своей газете он давно о них ничего не читал. На страницах его газеты жизнь рисовалась совершенно иной. Это была жизнь общества веселых и краснощеких людей, которые только и думают о том, как собрать небывалые урожаи, сварить побольше стали и чугуна, покорить тайгу, и поют при этом радостные песни о своей баснословно счастливой жизни.

Люди, которых видел Ермолкин сейчас, слишком уж оторвались от изображаемой в газетах прекрасной действительности. Они не были краснощеки и не пели веселых песен. Худые, калеченные, рваные, с голодным и вороватым блеском в глазах, они торговали чем ни попадя: табаком, хлебом, крутами жмыха, собаками, кошками, старыми кальсонами, ржавыми гвоздями, курами, пшенной кашей в деревянных мисках и всяческой ерундой. Что-то похожее на любопытство проснулось в прокисшей душе Ермолкина, он вступил в круг этих людей, обуреваемых жаждой наживы, и его закружило в водовороте.

Однорукий мужик в подпоясанной веревкой телогрейке стоял над раскрытым мешком с махоркой, во всю глотку выкрикивая:

— Табачок-крепачок, покурил — и на бочок!

— Самогон-первачок, — повторял за ним другой мужичонка, с большим чайником в руке, видно, сам он ничего нового придумать не мог.

Разбитная баба в ватных штанах торговала двумя кусками мыла, черного, как деготь.

— Навались, подешевело, расхватали, не берут.

Городская старуха с надменным лицом держала на растопыренных руках лису с костяными пуговицами вместо глаз и ничего не кричала. Лиса была потертая, побитая молю, как и сама старуха.

Молодой человек в темных очках сидел, поджав под себя ноги, в пыли и держал на груди плакат:

**ПАДАЙТЕ ОТ РАЖДЕНИЯ СЛЕПОМУ И ГЛУХОМУ ДЛЯ
УКРАШЕНИЯ НЕСЧАСТНОЙ ЖИЗНИ КТО СКОЛЬ МОЖЕТ**

— Трах-бах-тарарах, приехал черт на волах, на зеленом венике из самой Америки...

Инвалид на колесиках в тельняшке и бескозырке раскидывал на грязном вафельном полотенце три карты — два туза пиковых и один — бубновый.

— Кручу-верчу, за это гроши плачу. Рупь поставишь — два возьмешь, два поставишь — хрен возьмешь. Заметил — выиграл, не заметил — проиграл. Замечай глазами, получай деньгами. Кто замечает — в лоб получает. Трах-бах-тарарах... Ну что, батя, — он обратился к Ермолкину, — что глаза вылупил? Попытай счастья.

— Нет-нет, — сказал Ермолкин и отошел. У одной тет-ки купил он два леденцовых петушка и у другой — глиняную свистульку в виде петушка же для ребенка. И стал выбирать.

Он собрался покинуть хитрый рынок, когда внимание его привлек старый еврей в длинном плаще и потертом танкистском шлеме. Старик сидел на деревянной скамеечке рядом с клеткой, в которой помещались две черные морские свинки. Тут же в землю была воткнута палка с прибитой к ней фанеркой, а на фанерке химическим карандашом коряво выведено:

**УЧЁНЫЕ МОРСКИЕ КАБАНЧИКИ ЗА 1 РУБЛЬ ПРЕД-
СКАЗЫВАЮТ СУДЬБУ**

— А вы сами, — приблизился Борис Евгеньевич к старику, — верите в эту чушь?

— Я не знаю, — пожал плечами старик. — Я не гадающий, я сапожник. Когда у меня есть немножко кожи,

я шью обувь не хуже, чем мой сын Зиновий вставляет зубы. Когда у меня нет кожи, я зарабатываю на жизнь чем-нибудь другим.

— Как же вы можете гадать, если сами не верите?

— Кто вам сказал, что я не верю? Я сказал, что я не знаю, но моя жена Циля считает, что эти кабанчики очень умные, потому что они таки приносят нам немножко денег.

Конечно, ни в какие гаданья, ни в какие предсказания Ермолкин нисколько не верил, но это стоило так недорого...

Всех трех петушков, и леденцовых и глиняного, он положил в карман, а из кармана вытащил мятый рубль и, поколебавшись, протянул старику.

— Ну-ка, ну-ка, посмотрим, — сказал он, — на что ваши свиньи способны.

Старик, ничего не ответив, взял рубль, снял с колен ящичек с билетами, сложенными в виде пакетиков для порошка, и сунул в клетку. Одна из свинок встрепенулась, забегала вокруг ящика, стала что-то вынюхивать, поглядывая на Ермолкина, словно пытаясь определить, что бы ему такое выбрать похуже, затем решительно сунула нос в ящичек, и вот уже один билет забелел в ее мелких зубах.

Старик выхватил билет и протянул Ермолкину. Ермолкин, скептически усмехаясь, развернул и прочел:

«Не доверяйте другим того, что вы должны были сделать сами, и не беритесь за то, что могут сделать другие. Чужая ошибка может привести к непоправимым последствиям. Остерегайтесь лошадей».

— Я же говорил: чушь, — сказал Ермолкин, протягивая старику записку. — Ну, что это может значить?

Старик сквозь очки глянул на записку, но в руки не взял.

— Я не знаю, — сказал он. — Может быть, это ничего не значит, а может быть, что-нибудь таки значит.

— Абсолютная чепуха, — уверенно сказал Ермолкин. — Ну, я понимаю, первая часть еще может иметь хоть какой-то смысл, потому что применима ко многим случаям. Но при чем же здесь лошадь?

— Я не знаю, — повторил старик смиренно.

— Но вы это сами писали?

— Не сам.

— А кто же?

Старик посмотрел на Ермолкина, потом еще выше — на небо, как бы прикидывая, не приписать ли сочинение билетов высшим силам, но передумал и признался, вздохнув:

— Невестка моя писала, жена Зиновия. Она имеет хороший почерк и немножко лучше меня знает вашего языка.

Такой простой ответ почему-то обескуражил Ермолкина. Может, он все же надеялся, что билеты составлялись в каких-то потусторонних инстанциях. Он не стал больше спорить, только сказал старику, что его следовало бы отвести Куда Надо и проверить документы.

— Я бы вам не советовал этого делать, — печально возразил старик. — Один такой, как вы, симпатичный, проверил мои документы, но его уже таки нет.

Старик вел себя нагло, но Ермолкин решил не связываться, только пробормотал: «Шарлатанство!» — и, жалея о потраченном даром рубле, стал выбираться из толпы. Но выбраться оказалось непросто.

Худой небритый дядя в длинной, до пят, шинели дохнул на Ермолкина перегаром:

— Отец, дуру хочешь?

— Дуру? — удивился Ермолкин. — Какую дуру?

— Да вот же. — Дядя отвернул полу шинели, и Ермолкин увидел противотанковое ружье с укороченным стволом.

— Вы с ума сошли! — сказал Ермолкин и пошел дальше. Но пока он проталкивался, ему еще предложили купить орден Красного Знамени, фальшивый паспорт и справку о тяжелом ранении.

«Что же это происходит? — думал Ермолкин. — И где же я нахожусь?»

— Дяденька, а дяденька. — Борис Евгеньевич оглянулся. Девушка с ярко накрашенными губами держала его за рукав. — Дяденька, пойдем в сарайчик.

— В сарайчик? — переспросил Ермолкин, подозревая, что за этим кроется что-то ужасное. — А собственно, зачем?

— А за этим, — улыбнулась девица.

— За этим?

— Ну да, — кивнула она. — Я недорого возьму, всего полсотенки.

— Вы что это такое говорите? — зашипел Ермолкин, оглядываясь и как бы ища поддержки у окружающих.

— А что говорю? — обиделась девица. — Что говорю? Вон за стакан махорки сотню берут.

— Ишь ты, — вмешался в разговор продавец махорки. — Сравнила тоже. Стаканом махорки сто раз накуришься, а ты за один раз эвон сколько дерешь.

— Ты его, дяденька, не слушай, — отмахнулась девица. — Он глупый. Он разницы не понимает. Пойдем, дяденька, ты не бойся, я чистая.

— Да как вы смеете? — багровея, возвысил голос Ермолкин. — Как вы смеете предлагать мне такую пакость! Я коммунист! — добавил он и стукнул себя кулаком во впалую грудь.

Трудно сказать со стороны, на что Ермолкин рассчитывал. Может, рассчитывал на то, что, услышав, что он коммунист, весь хитрый рынок сбегится к нему, чтобы позвать ему руку или помазать голову его елеем, может, захотят брать с него пример, делать с него жизнь, подражать ему во всех начинаниях.

— А-а, коммунист, — скривилась девица. — Сказал бы, что не стоит, а то коммунист, коммунист. Давить таких коммунистов надо! — закричала она вдруг визгливо.

— А... — сказал Ермолкин и опять стал оглядываться. — Да как же это?

Он думал, что собравшиеся здесь люди хоть и погрязли в частнособственнических инстинктах, но дадут решительный отпор этой враждебной вылазке, но никто не обратил на происходящее решительно никакого внимания, только однорукий посмотрел на Бориса Евгеньевича с сочувствием.

— Иди, иди, а то ведь и вправду удавят, — сказал он почти благожелательно и тут же, забыв про Ермолкина, закричал: — Табачок-крепачок!..

Не находя ни в ком другом никакой поддержки, Ермолкин весь как-то сник, съезжился и стал продираться

сквозь толпу, а девица плюнула ему в спину и, совершенно не боясь никакой ответственности, прокричала:

— Коммунист сраный!

Услышав такие слова, Ермолкин даже пригнулся. Ему казалось, что сейчас сверкнет молния, грянет гром или, по крайней мере, раздастся милицейский свисток. Но не произошло ни того, ни другого, ни третьего.

13

Выбравшись из толпы, Ермолкин сразу прибавил шагу. Девица отстала. Но в ушах его все еще звучал ее визгливый голос: «Коммунист ср...» Нет, он даже мысленно не мог прибавить к этому, по существу священному, слову такого неподходящего и кощунственного даже эпитета. «Какой ужас, — думал Ермолкин. — Откуда взялись эти люди? И куда смотрят власти? А этот старик с его дурацким предсказанием? Остерегайтесь лошадей... Какая несутная чушь!»

Размышляя так, он не заметил по дороге ни деревянных мостков, ни плетня, ни голубой скамейки, но все же каким-то образом очутился перед своим домом и сразу узнал его. «Как же я его нашел? — удивился Ермолкин и сам же себе ответил: — Так, вероятно, лошадь находит дорогу домой. Идет, ни о чем не думая, и ноги сами ее приводят к месту. Тьфу! — в сердцах сплюнул Ермолкин. — Дались мне эти лошади».

Войдя в дом, увидел он сидевшую за столом, покрытым цветастой скатертью, немолодую, изможденного вида женщину в темном ситцевом платье. Отставив в сторону чашку с чаем, женщина смотрела на вошедшего удивленно и растерянно. Женщина эта была похожа на жену Ермолкина, но она была значительно старше, чем он предполагал. Он даже подумал, что, может быть, это вовсе и не жена, а теща приехала из Сибири, но женщина кинувшись к Ермолкину, вскрикнула: «Борис!» (он вспомнил, что именно она, его жена, всегда произносила его имя с ударением на первом слоге) — и повисла на шее, как тещи обычно не виснут. Уткнувшись в его грудь лицом, она плакала и бормотала что-то невнятное, из чего он понял, что она упрекает его в слишком долгом отсутствии.

— Ну-ну, — успокаивал он, похлопывая ее по костлявой спине, — ты же знаешь, у меня было в последнее время много работы.

— Последнее время, — всхлипывала она, — последнее время, за это время я могла умереть.

— Ну зачем же уж так? — Мягко отстранив жену, он заглянул в соседнюю комнату, которая была, как ему помнилось, детской. Но ничего детского, то есть ни кровати, ни игрушек, ни самого ребенка, он не увидел. Борис Евгеньевич обернулся к жене.

— А где же наш... — пытаюсь вспомнить имя сына, он пожевал губами, — а где же наш... карапуз?

Жена утерла слезы воротником платья, посмотрела на Бориса Евгеньевича долгим испытующим взглядом и вдруг, догадавшись о чем-то, спросила:

— А как ты думаешь, сколько лет нашему карапузу?

— Три с половиной, — сказал Ермолкин, но тут же засомневался. — Разве нет?

— Нашего карапуза, — медленно проговорила жена, — вчера... — она сделала плотательное движение, — взяли на фронт. — И снова заплакала.

— Ерунда какая-то, — пробормотал Ермолкин. — Таких маленьких в армию...

Он хотел сказать, что таких маленьких в армию не берут, но спохватился, стал считать и высчитал, что сын его родился в год смерти Ленина, почему и получил имя Ленж, что означало Ленин Жив (дома его звали ласково Ленжик). Значит, сейчас Ленжику... Ермолкин отнял от сорока одного двадцать четыре... Семнадцать... Да, семнадцать лет...

Да как же это так получилось? Ермолкин машинально сунул руку в карман и нащупал что-то липкое. Он это липкое вынул. Два купленных им на рынке леденцовых пестушка слиплись с глиняным петушком. Ермолкин бросил их к печке. Но откуда он взял, что Ленжику три с половиной? Именно столько было ему, когда они приехали в Долгов и когда Борис Евгеньевич занял пост ответственного редактора «Большевистских темпов». Когда он был и редактором, и корректором, и наборщиком. А потом организация типографии, работа с селъкорами, коллективизация и прочие интересные события. И надо

было держать ухо востро, чтобы не допустить политической ошибки. Ермолкин все больше и больше времени проводил в редакции, сидел за столом, курил дешевые папиросы, пил чай вприкуску и водил своим бдительным карандашиком по корявым строчкам, превращая верблюдов в корабли пустыни, а леса — в лесные массивы или в зеленое золото. Поначалу он приходил домой поздно ночью или даже перед рассветом с блудливым видом, словно от любовницы, и уходил поздно, когда жена была уже на работе, а сын — в детском саду. Но приходы его становились все более символическими, все чаще ночевал он прямо в кабинете, скрючившись на уютном кожаном диване, чтобы утром, наспех промыв глаза, снова засесть за обычное свое занятие, которое постепенно из обязанностей превратилось в неумную страсть. Теперь казалось, оторви его от этой шершавой бумаги, от этих неровно, как кривые зубы, составленных букв, он затосковал бы, как тоскуют по любимой женщине и по Родине или по чему-нибудь еще столь же возвышенному, и умер бы от этой безысходной тоски. Конечно, если б его спросить, он сказал бы, и, наверное, искренне, что служит Отечеству, Сталину или партии, но на самом деле служил он вот этой самой своей мелкой страсти калечить и уродовать слова до неузнаваемости, а также выискивать и предугадывать возможные политические ошибки.

Сейчас в душе Ермолкина что-то перевернулось, и он, может быть, впервые забеспокоился: на что потрачено четырнадцать лет единственной и неповторимой его жизни на этой земле? Нет, сказал он самому себе, так дальше продолжаться не может, работа работой, служение высоким идеалам тоже дело хорошее, но надо же хоть немножко времени оставить и для себя.

— Вот что, милая... — обратился он к жене.

— Меня зовут Катя, — сказала она.

— Да, конечно, я помню, — слукавил Ермолкин. — Вот что, милая Катя, я полагаю, что нам надо переменить образ жизни. Я слишком заработался. Давай сегодня же что-нибудь предпримем.

— Что предпримем? — спросила Катя.

— Ну как вообще люди проводят свободное время?

— Как? Ну, например, в кино ходят, — сказала она с готовностью.

— В кино? — оживился Ермолкин. — Хорошо. Идем в кино.

В Доме культуры железнодорожников было душно. Было много военных и эвакуированных. Показывали лучший фильм всех времен и народов — «Броненосец «Потемкин». Лента была старая, шипела и рвалась. Показывали одним аппаратом, после каждой части включали свет. После третьей части появились две контролерши и стали проверять билеты. После четвертой части Ермолкин заснул — сказалась многолетняя усталость. Время от времени он просыпался и таращил глаза на экран, на котором кого-то бросали за борт. Засыпал и опять просыпался, и опять кого-то бросали за борт.

Потом уже дома, в постели, он опять засыпал и просыпался и слушал бесконечный рассказ жены, как она жила все эти годы, как растила Ленжика, как у него прорезались первые зубки, как он болел корью и скарлатиной, как пошел в первый класс и принес первые отметки, как вступил в пионеры и в комсомол. И, вновь засыпая, Ермолкин думал, как хорошо, что он у себя дома и лежит не один, а с женой и не на голом диване, а на пуховой перине, на хрустящей от крахмала простыне. И он благодарно думал о жене, что она его за эти годы не бросила, и благодарно думал о себе, что он вовремя опомнился и вернулся к ней.

Но долгая привычка спать на казенном диване не прошла даром, и утром Ермолкин, открыв глаза, долго не мог понять, где находится и кто лежит рядом с ним. Потом вспомнил все и улыбнулся.

Позже он встал, надел полосатую пижаму (с вечера приготовленная женой, она висела на спинке стула), шлепанцы, пошел к почтовому ящику и вынул из него все газеты, на которые был подписан, в том числе и свои родные «Большевистские темпы».

Собственно говоря, он начал свой день как обычно, как начинал его все четырнадцать лет своей журналистской деятельности. Но принципиальная разница состояла в том, что сегодня он взял читать свою газету не как редактор, а как обыкновенный благополучный человек,

который имеет привычку по утрам, прежде чем приступить к исполнению своих повседневных обязанностей, в спокойной домашней обстановке, за чашкой чая, поскользится по строчкам рассеянным взглядом и принять к сведению, что в мире происходят такие-то и такие события.

Итак, он начал скользить глазами по строчкам и начал с передовой. Но не долго ему удалось изображать из себя обыкновенного читателя. Постепенно над читателем взял верх редактор. Сказалась многолетняя привычка, и, отвлекшись от чая, он стал ложечкой водить по строчкам, автоматически отмечая, сколько раз попадается слово «Сталин», правильно ли расставлены запятые и точки, тем ли статья набрана шрифтом и вообще, все ли в порядке, и вдруг...

Право, не хочется дальше писать, рука не поднимается, и перо выпадает из рук.

«Указания товарища Сталина, — прочел Ермолкин, — для всего народа нашего стали мерином мудрости и глубочайшего постижения объективных законов развития». Ермолкин ничего не понял и снова прочел. Опять не понял. Слово «мерином» чем-то ему не понравилось. Он отбросил ложечку и взял карандаш и, поставив на полях газеты специальные значки, означающие вставку, заменил это слово «тягловой единицей конского поголовья». Прочел всю фразу в новой редакции: «Указания товарища Сталина для всех советских людей стали тягловой единицей конского поголовья мудрости и глубочайшего постижения объективных законов развития общества». В новом виде фраза понятней не стала.

Восстановил «мерином», еще раз прочел и...

Катя гладила на кухне мужу белую рубашку, когда услышала нечеловеческий вопль. Вбежав в комнату, она увидела мужа в неестественной позе. Медленно сползая на пол, он сучил ногами, бился головой о спинку стула и, выпучив глаза, кричал так, как будто два десятка скорпионов впились в него с разных сторон.

— Борис! — воскликнула Катя, кидаясь к мужу и тряся его за плечи. — Что с тобой?

Борис орал, продолжая сползать. Она ухватила его под мышки и тянула к себе, пытаясь удержать на стуле.

При всей своей внешней щеделушности он оказался очень тяжелым. Наконец ей удалось придать его телу состояние неустойчивого равновесия.

— Ты посиди, — сказала она, прижимая его плечи к спинке стула, — я сейчас.

Она принесла кружку воды. Борис Евгеньевич жадно схватил кружку и, ударяясь о ее края зубами, расплескивая воду на грудь, сделал несколько судорожных глотков и отчасти, кажется, успокоился, откинул голову на спинку стула, словно готовился к тому, что его будут брить, открыл рот и закатил глаза.

— Борис, — ласково сказала Катя. — Скажи мне, что с тобой?

— Там... — не меняя позы, Ермолкин согнутым пальцем показал на газету. — Там... Прочти сама... то, что подчеркнуто.

— «Указания товарища Сталина, — прочла Катя, — для всех советских людей...»

Ермолкин слушал, прикрыв глаза, словно от яркого света. Он с трепетом ждал этого злосчастного слова, надеясь, что Катя прочтет его так, как оно должно звучать на самом деле.

— «...стали мерином мудрости и глубочайшего...»

— Хватит! — Ермолкин вскочил и с несвойственной ему энергией забегал по комнате. Она следила за ним растерянно.

— Ты же сам просил...

— Я ничего не просил! — Продолжая бегать, он заткнул пальцами уши. — Я ничего не хочу даже слушать.

Она снова взяла газету, прочла не только подчеркнутые, но несколько строк до и после. Она читала медленно, шевеля губами. Он подбежал к ней и вырвал газету.

— Борис! — закричала она. — Я не понимаю, чем ты так взволнован?

Он остановился как вкопанный.

— Как не понимаешь? — повернулся к печке. — Она не понимает! — повернулся опять к жене и спросил по складам: — Что-ты-не-по-ни-ма-ешь? Ты видишь, что здесь написано? Это же полная чушь. Указания стали мерином. Мерином, мерином, мерином...

Он бросил на пол газету и схватился за голову. Катя смотрела на него с сочувствием и растеряннo. Она действительно не понимала. Делая скидку на недостатки своего женского ума, она думала, что фраза, возбудившая такую бурю в душе ее мужа, не большая чушь, чем все остальное.

— Но, Борис, — сказала она мягко, — мне кажется...

— Тебе кажется! — закричал он. — Ей кажется! Что тебе кажется?

— Мне кажется, — сказала она тихо, стараясь не возбуждать его гнев, — может быть, это не так глупо. Ты помнишь, в физике единица мощности измеряется лошадиной силой. А мудрость товарища Сталина, может быть, измеряется...

— Мерином? — подсказал Ермолкин.

— Ну да, — кивнула она с улыбкой. — Ну, может быть, не одним, а двумя-тремя.

— Ха-ха-ха-ха, — громко рассмеялся Ермолкин. Он смеялся истерически и неуправляемо, так же, как только что плакал. И вдруг остановился и выпучил глаза.

— Дура! — сказал он тихо.

Она отшатнулась, как от удара:

— Как?

— Дура! Дура набитая. В твоём курином мозгу сто меринoв глупости.

— Борис, — сказала она с упреком, — я ждала тебя столько лет.

— И напрасно! — завизжал он. — Все из-за тебя, из-за твоего великовозрастного сыночка!

— Борис!

— Что — Борис? Один раз за все годы позволил себе, и вот... Нет, надо что-то предпринимать.

Он скинул с себя пижаму, расшвыряв в разные стороны верхнюю и нижнюю ее половины. Надел свой обычный костюм. И, обозвав еще раз жену душой, проклиная себя за то, что поддался слабости и решил навестить семью, бросился прочь из дому.

В единственном на весь город газетном киоске «Большевиcтские темпы» были уже распроданы. На всякий случай Ермолкин заглянул на почту и там узнал, что подписчикам разосланы все экземпляры,

а один, как обычно, послан в Москву, в Библиотеку имени Ленина.

14

Что было дальше, разные люди рассказывают по-разному. Согласно одной версии, Ермолкин предпринял отчаянную и беспримерную в своем роде попытку изъять и уничтожить весь тираж со злополучным «меринном». С этой целью он якобы обошел всех подписчиков, живущих в пределах города Долгова, и объехал всех, живущих за пределами. Он посетил также районную библиотеку, кабинет партийного просвещения, все красные уголки колхозов, совхозов и предприятий местной промышленности. Некоторые экземпляры он скупил (иногда за большие деньги. В одном случае называют даже сумму в сто рублей), некоторые выпросил за так, а некоторые украл. В результате ему удалось собрать весь тираж, кроме одного экземпляра, как раз того, который был отправлен в Библиотеку имени Ленина. После этого Ермолкина, говорят, стали мучить кошмары. Он представлял себе, что там, в библиотеке, этот номер немедленно прочтут и сразу дадут знать Куда Надо, а Оттуда (в Москве все близко) может дойти и до самого Сталина. И говорят, что Ермолкину будто бы каждую ночь снился один и тот же сон: Сталину приносят газету с «меринном», подчеркнутым красным карандашом. Сталин читает написанное, Сталин курит трубку, Сталин спокойно спрашивает:

— Кто совершил это вредительство, эту идеологическую диверсию?

И кто-нибудь из ближайших сотрудников указывает Сталину на последнюю страницу газеты, где обозначено: «ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР Б.ЕРМОЛКИН».

Тогда товарищ Сталин отдает короткое распоряжение, которое быстро спускается по инстанциям, достигает местных органов, ночью из ворот выезжает крытый автомобиль под названием «черный ворон», останавливается перед входом в редакцию, и вот уже кованые сапоги топают по коридору.

— А-а-а! — кричал во сне Ермолкин и просыпался от собственного же крика в холодном поту.

По другой версии, Ермолкин не добрал двух экземпляров: кроме отправленного в Библиотеку имени Ленина, еще и того, который выписывало местное Учреждение, и инициатива посылки «черного ворона» исходила не от Сталина, а от самого этого Учреждения, то есть не сверху, а снизу.

По версии номер три, Ермолкину не удалось собрать ни одного экземпляра, весь тираж сразу же был пущен в дело — на самокрутки, на растопку, на завертывание селедок (которые как раз тогда выдавали по карточкам вместо мяса) и по своему главному назначению, для чего, собственно говоря, люди их и выписывают. По этой версии, «мерина» читатели просто-напросто не заметили, потому что газету «Большевицкие темпы» в Долгове не читал никто никогда.

Четвертая версия утверждает, что все читали, все заметили «мерина», но, как и жена Ермолкина, решили, что теперь так и полагается. И только два Мыслителя три дня ожесточенно спорили, пытаясь понять, что бы это значило, и строили по этому поводу самые фантастические догадки.

Итак, версии различны. Но все они кончаются ночными кошмарами Ермолкина, приездом «черного ворона» и сдавленным криком «А-а-а!».

Доподлинно известно, что со временем Ермолкин успокоился. И может быть, даже решил, что все обойдется. И как раз в это время попала ему присланная в газету заметка анонимного автора «МОЖЕТ ЛИ МЕРИН СТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ?». На заданный им вопрос автор отвечал утвердительно. Он приводил уже известные читателю доводы о беспримерной работоспособности лошади. «А что у нее нет пальцев, — опровергал он возможные возражения, — так это говорит только о том, что она не сможет, конечно, стрелять из винтовки или играть на музыкальных инструментах, но на способностях ее к абстрактному мышлению этот недостаток ее отразиться не должен». На этом автор не остановился. Он шел дальше. Он ставил вопрос острее: в какого человека может превратиться трудолюбивая лошадь — в нашего или не нашего? И утверждал, что, если лошадь трудится в условиях нашей системы, то и в человека она превратится, несомненно, в нашего же.

Автор заключал свою заметку опасениями, что его смелые в научном отношении мысли могут быть превратно истолкованы консерваторами и бюрократами, и писал, что именно поэтому он пока не может открыть своего имени широкой читающей публике.

Прочтя эту заметку, Ермолкин пришел в ярость. Он топал ногами и требовал ответа на вопрос, кто посмел подсунуть ему эту дрянь. Выяснилось, что дрянь подсунул все тот же Лившиц, вышедший как раз из запоя. Ермолкин призвал к себе Лившица, накричал на него и пригрозил не только уволить, но и отдать под суд за прогулы и опоздания. Потом, однако, сник и стал думать и решил, что эта заметка не просто бред какого-то неизвестного графомана, а намек на то, что ему не надо дожидаться, когда за ним, как за барином, приедут на «черном вороне» и возьмут под белые руки, а пойти самому и во всем повиниться.

15

Ну, а теперь перейдем к лейтенанту Филиппову. Он никак не может избавиться от Чонкина. Он все подготовил как нужно, оформил надлежащим образом и отправил в военный трибунал дело Чонкина. И стал ждать, когда же этого проклятого Чонкина заберут. А его не берут. И вот лейтенант звонит в этот самый военный трибунал. Ему повезло.

— Полковник Добренский слушает, — отозвалась трубка.

Лейтенант ужасно рад. Как раз именно полковник Добренский, которого никогда не бывает на месте, ему и нужен. А не бывает полковника на месте, потому что он является председателем выездной тройки трибунала и всегда находится в командировках. Лейтенант сжато излагает суть вопроса. Дело Чонкина производством закончено и передано в распоряжение военного трибунала. Так нельзя ли забрать туда и самого Чонкина? Потому что, находясь в тюрьме, он уклоняется от заслуженного наказания и, более того, разлагающе влияет на местный контингент заключенных.

— Все понял и разъясняю, — дребезжит трубка, — мы этого вашего Чонкина в настоящий момент до себя взять

не можем, местов нету. Гарнизонная гауптвахта — под завязку. Кроме того, есть указание: дезертиров, самострельщиков, паникеров и прочую мелочь судить показательно на местах, что будет иметь огромное воспитательное значение для всего местного населения. Понял, лейтенант?

— Понял, — отвечает лейтенант Филиппов. — А ждать вас когда же?

— А ждать нас не нужно. Таких Чонкиных по области вагон и маленькая тележка, а тройка у нас одна. Когда очередь дойдет, тогда и приедем.

Лейтенант кладет трубку и думает: «Ну ладно, ну пусть. В конце концов, не я буду ждать, а Чонкин. А у меня и без Чонкина дел полно. Вон человек какой-то стоит, ему тоже от меня что-то нужно. А что, собственно, за человек и как он здесь очутился?»

Лейтенант очнулся, вздрогнул, посмотрел на человека, стоявшего в позе просителя у дверей.

— Вы по какому вопросу? — спросил лейтенант.

— Вы меня? — спросил человек и ткнул себя пальцем в грудь.

— Ну а кого же? Здесь, по-моему, кроме нас двоих, никого нету.

— Да-да, — печально согласился человек и приблизился к лейтенанту. — Я понимаю, что вам все известно. Но прошу учесть, что я сам явился с повинной.

— О чем это вы? — спросил лейтенант устало.

— Я относительно мерина...

— Мерина? — Лейтенант придвинул к себе настольный календарь и записал слово «Мерин» с большой буквы, думая, что это фамилия.

— Имя-отчество? — спросил он.

— Борис Евгеньевич.

— Так, — кивнул лейтенант, записывая. — И что же он сделал?

— Кто?

— Ну, этот ваш... — лейтенант сверился с записью, — Мерин Борис Евгеньевич.

— Вы меня не так поняли. Борис Евгеньевич — это я. — И он опять ткнул себя пальцем в грудь, словно объяснял глухонемому.

— Понятно, — сказал лейтенант, — и что же вам нужно, гражданин Мерин?

— Простите, — улыбнулся посетитель, — вы опять меня не так поняли. Мерин — это всего лишь опечатка. Жуткая, нелепая, удивительно глупая опечатка. Должно было быть «мерилом», но наборщик взял из кассы не ту букву. Ужасная ошибка. Трагическое недоразумение. И вы понимаете, я всегда следил за всем лично, но в этот день как раз пришла жена этого Чонкина... И вот в результате такая ошибка... — Ермолкин схватился за голову и заскрежетал зубами.

Лейтенант нахмурился. Из всего сказанного посетителем он услышал только два слова: «Чонкин» и «ошибка».

— Гражданин Мерин, — сказал он сурово. — Что вы мелете? Я вам первый и последний раз советую понять и запомнить, что у нас ошибок вообще не бывает.

— Уверю вас, вы ошибаетесь, — живо возразил Борис Евгеньевич, — я не мерин, я...

— Я, я, я, — скорчив рожу, передразнил лейтенант, — я вижу, что вы не мерин, я вижу, что вы осел.

Ермолкин изменился в лице.

— Как? Что? Что вы сказали? Как вы посмели меня, старого партийца... Да если бы был жив Дзержинский... Он даже с идейными врагами не позволял...

— Ага, — поймал его на слове Филиппов, — значит, вы признаете, что вы идейный враг?

— Что? — Ермолкин побледнел от несправедливой обиды. — Я — идейный враг? Да, конечно, я понимаю, что совершил ошибку. Но я коммунист. Я член партии с тысяча девятьсот двадцать... — Он пошевелил губами, но не вспомнил года. — Я понимаю. — Он возбудился и замахал руками, как крыльями. — Вы не хотите принять мое внимание, что я явился с повинной. Но вам скрыть этот факт никак не удастся. Я не допущу...

— Не допустишь? — Филиппов, выйдя совершенно из себя, послал Ермолкина к матери и даже указал, к какой именно.

— Сопляк! — закричал Ермолкин, позабыв, где находится. — Сам иди туда, куда ты меня посылаешь.

Он был несносен. Филиппов нажал кнопку, и на сцене появился сержант Клим Свинцов. Свинцов сделал не-

сколько энергичных движений, и Ермолкин с оторванным воротником вновь оказался на свободе.

— Я этого дела так не оставлю, — сказал он, потирая ушибленное колено, и отправился в областной город искать справедливости, то есть требовать, чтобы его посадили, но отметили в деле, что он явился добровольно, а не приведен был под белы руки.

Тут некоторые читатели могут спросить, а что же в это время, когда Ермолкин справедливости добивался, газета «Большевицкие темпы» выходила ли? А если выходила, то кто ее подписывал? Признаться, автор этим совершенно не интересовался и ничего определенного по этому поводу сказать не может. О Ермолкине же известно, что в областной город он попал, ночевал на вокзале, а утром следующего дня был первым посетителем Романа Гавриловича Лужина.

16

Трудно себе представить, как это в нем сочеталось, но Ермолкин, с одной стороны, верил в то, что органы наши состоят сплошь из кристально чистых людей, немного, может, таинственных, с другой стороны, представлял себе областного начальника чем-то вроде вурдалака с волчьей пастью и огромными волосатыми ручищами. Вместо этого он увидел за широким столом не человека, а голову. Бритая голова с большими ушами лежала подбородком на столе и смотрела на Ермолкина маленькими глазами сквозь роговые очки с толстыми стеклами. Ермолкин растерялся и остановился посреди кабинета. Голова качнулась в сторону, и вдруг маленький человек, чуть ли не карлик, в военной форме, появился из-за стола и на коротких ножках, как на колесиках, быстро подкатился к Ермолкину.

— Борис Евгеньевич! — воскликнул человек и вцепился в руку Ермолкина двумя своими. — Чудовищно рад. Видеть. У себя, — сказал он, как бы ставя после каждого слова точку, и защелкал зубами, которые у него были большие, но нисколько не походили на волчьи.

— Вы меня знаете, — не удивился, а отметил Ермолкин.

— Как же, как же, — сказал Лужин. — Было бы странно. Если бы не. — Он во весь рот улыбнулся и опять защелкал зубами.

— Значит, вам все известно?

— Да. Разумеется. Все. Абсолютно.

— Я так и думал, — потряс головой Ермолкин. — Но прошу вас отметить, что я сам явился с повинной.

— Да, — сказал Лужин. — Конечно. Отметим. Всенепременно. Где заявление ваше?

— Заявление? — растерялся Ермолкин. — Я. Собственно. Думал. Что. Устно. — Он не заметил, как тут же разился лужинской манерой говорить.

— Увы, — сказал Роман Гаврилович. — Мы. Любим. Чтобы все. На бумаге. Поэтому. Я вас прошу. — Он схватил Ермолкина за локоть и повел к выходу. — Там. Девушка. Секретарь. Возьмите. У нее. Лист бумаги и изложите все коротко, но подробно. Как сказал пролетарский великий. Человеческих душ инженер. Чтоб словам было тесно, а мыслям... Как?

— Просторно, — подсказал Ермолкин.

— Вот именно, — засмеялся и защелкал зубами Лужин. — Просторно чтоб было. А потом заходите. А пока. Извините. Дела. Чудовищно занят. — И, распахнув перед Ермолкиным тяжелую дверь, сделал ручкой. — Прощу.

Ошеломленный Ермолкин вышел в приемную. Тут же к носу столкнулся он с женщиной деревенского вида и в ней сразу узнал ту самую посетительницу, после визита которой и начались у него все неприятности. «Вот оно что! — поразился Ермолкин. — Значит, все было подстроено. Как тонко! И как хитро!»

— Здравствуйте, — улыбнулся ей Ермолкин. — Вы меня помните?

— Помню, — сказала Нюра, насупившись. Она поняла, что этот убийца маленьких детей пришел сюда не случайно. Очевидно, он уже предупредил о ее появлении. Она даже попятилась к дверям, но тут из своего кабинета выглянул Лужин и, увидев Нюру, спросил:

— Вы ко мне?

— К вам, — ответила Нюра.

— Войдите.

И Нюра вслед за Лужиным скрылась за дверь. Ермолкин долго смотрел на дверь, затем, опомнившись, подошел к секретарше, грудастой женщине в форме с двумя треугольниками в петлицах и со значком «Ворошиловский стрелок». Ермолкин попросил у нее бумаги, сел к стоявшему в дальнем углу столу для посетителей, вынул из кармана самописку, потряс ею, пока чернила не брызнули на пол, и так начал свое печальное повествование:

«С большим трудовым подъемом встретили труженики нашего района...»

Тут Ермолкин остановился.

«Что я пишу? — подумал он. — С каким трудовым? Какие труженики? Что встретили?»

За долгие годы службы в печати все свои статьи, заметки, передовые и фельетоны начинал он этой фразой и никогда не ошибался. И всегда фраза эта была к месту, от нее легко было переходить к развитию основной мысли, но в данном случае... Старый газетный волк, шевеля толстыми, как лепешки, губами, смотрел он на начальную строку и постепенно сознавал, что он, умеющий писать что угодно на любую заданную тему — о трудовом почине, о соцсоревновании, о стрижке овец и идеологическом единоростве, — совершенно не находит никаких слов для описания действительного происшествия, свидетелем, или участником, или, точнее, виновником которого ему довелось быть.

Зачеркнув написанное, Ермолкин стал обдумывать новое начало, когда в коридоре послышался приближающийся грохот сапог и в приемную вошли три человека — двое военных и между ними один штатский в темно-синем костюме.

— Роман Гаврилович у себя? — спросил один из военных у секретарши.

— Он занят, — сказала она.

— Подождем.

Они сели на стулья вдоль стены — штатский посредине, а военные по бокам. Военные застыли с неподвижными лицами, штатский же, наоборот, проявлял ко всему, что он здесь видел, живейшее любопытство. Он с интересом разглядывал приемную, секретаршу и Ермолкина. Ермолкин в свою очередь тоже исподтишка поглядывал

на штатского. Это был высокий, средних лет человек начальственного вида. Держался он так, словно хотел показать, что попал сюда случайно, по недоразумению, которое вот-вот разъяснится, и те, кто привел его сюда, будут строго наказаны.

17

Следует отметить, что Ермолкин и Нюра попали к подполковнику Лужину в самое неподходящее, а может, наоборот, в самое подходящее время — Лужину было в общем-то не до них. Только что из Центра поступила депеша, смысла которой Лужин не мог понять даже после расшифровки.

«Рамзай*, — говорилось в депеше, — ссылаясь на сведения, полученные от немецкого посла Отто, сообщает из Токио, что в районе Долгова приступил к активным действиям личный агент адмирала Канариса** по кличке Курт, прежде законсервированный***. Судя по косвенным показателям, имеет доступ к секретам государственной важности. Уточняющих данных пока не имеется.

Учитывая стратегическое положение Долгова и тот пред, который может быть нанесен в результате утечки важнейшей информации, тов. Лаврентьев**** приказал принять все необходимые меры и в семидневный срок выявить и обезвредить шпиона. Ответственность за исполнение приказа возложена на вас лично».

Лужин был ошарашен.

На подведомственной ему территории и раньше попадались шпионы, но всех их либо придумывал сам Лужин, либо его подчиненные. Можно было предположить, что этого Курта выдумали там, в Центре, но ведь не спросишь, придумали они его или он настоящий. Несведущему человеку может показаться: какая разница? А разница суще-

*Рамзай — судя по уточненным данным, кличка известного советского разведчика Рихарда Зорге. (Все примеч. — авт.)

**Канарис — шеф абвера (немецкой военной разведки).

***Законсервированный — очевидно, специальный термин. Трудно предположить, чтобы личный агент адмирала Канариса был законсервирован в буквальном смысле, то есть запечатан в жестяную банку. Впрочем, некоторые агенты, я слышал, бывают весьма неприхотливы.

****Тов. Лаврентьев — кличка Л.П. Берии.

ственная. Потому что выдуманного Курта можно найти в две минуты: хватай любого, назови его Куртом и — в кутузку. А если он настоящий... Вот с настоящим работать было труднее. Опыта не хватало.

Лужин много раз перечитывал шифровку, вдумывался в каждое слово, но ничего понять не мог. Кто такой этот Рамзай* и почему он сообщает из Токио? Как можно отдавать такие приказы, не имея хотя бы приблизительных данных, что это за Курт? Ну ладно, допустим, неизвестны фамилия, место жительства или работы, но должны же быть хоть какие приметы. Рост, возраст, цвет волос или глаз, к каким именно секретам имеет доступ.

Как всякий человек на своем месте, как подчиненные его самого, Лужин ругал высшее начальство, считая, что там сидят дураки, бюрократы, самодуры, которые отдают приказы, совершенно не считаясь с их практической выполнимостью. Однако по виду Лужина трудно было догадаться, что он чем-нибудь озабочен. Нюру, во всяком случае, он встретил так же приветливо, как и Ермолкина. Он усадил ее в мягкое кресло, а сам, болтая ногами, забрался в другое. Сел, сложил руки на груди и улыбнулся:

— Готов слушать вас с чудовищным интересом.

Нюра, не ожидавшая такого ласкового приема, растерялась и сказала:

— Я беременная.

— Что вы говорите? — Лужин хлопнул в ладоши. — Надо же! — Скотившись с кресла, он подбежал к Нюре и стал трясти ее руку. — Поздравляю. От души. Всей. Как говорится. — Вернулся в кресло. — И куда же вы хотите его определить?

— Кого? — не поняла Нюра.

— Его. — Лужин показал на ее живот. — Ребенка надо устроить. А отдайте его нам, а? Мы из него сделаем. Человека. Настоящего. А впрочем, это я так, — Лужин защелкал зубами, — шучу. Да.

Нюра смущенно потупилась и улыбнулась. Помолчала. Лужин спросил Нюру, может ли он ей чем-нибудь по-

*Имя Рихарда Зорге в то время было известно весьма узкому кругу лиц, в число которых Лужин, видимо, не входил.

мочь. Она заплакала и стала объяснять, что у нее мужика посадили, она за него хлопочет, ей везде отказывают, как посторонней, а она не посторонняя, потому что она с ним жила. Лужин попросил рассказать все по порядку, и она, видя, что ему это действительно интересно, стала рассказывать. Как прилетели оба самолета, как появился Чонкин, как они познакомились, как стали жить вместе. Рассказала, как он все время рвался на фронт, а его не брали, как напали на него какие-то люди и он вынужден был защищать свой пост. И вот теперь за то, что действовал он строго по уставу, его же забрали, а ее гоняют от одного начальника к другому, а правды нигде не добьешься. Свиданья не дали, передачи не принимают и незде говорят: посторонняя.

Лужин слушал внимательно. Иногда спрыгивал с кресла и начинал в волнении бегать по кабинету, потом опять возвращался на место и опять слушал. А когда Нюра кончила рассказывать, он подошел к ней, погладил ее по голове и с чувством сказал:

— Бедная женщина!

Нюра посмотрела на Лужина, подалась вперед, уткнулась головой ему в плечо и разревелась. Много ей за последнее время приходилось плакать, но так она еще не рыдала. Она пыталась остановиться, но не могла.

Лужин гладил ее по голове и бормотал:

— Бедная! Сколько пришлось пережить! Ну ничего. Ничего. Ничего. Ну.

Потом она успокоилась, а он опять забегал по кабинету, потирал руки и щелкал зубами.

— Безобразия! — восклицал он и щелкал зубами. — Сколько еще на свете людей бездушных. Бюрократы и формалисты. Сколько с ними ни боремся, а они... Ну ничего. Мы... — Он подбежал к Нюре и ткнул себя пальцем в грудь. — Вам поможем. Да. Мы. Поможем.

Тут он забормотал какие-то слова, из которых Нюра поняла, что он, Лужин, приложит все усилия и что, если не удастся вернуть Чонкина:

— Мы. Вам. Подберем. Кого-то. Другого. Еще лучше. Мы. Вам. Поможем. Но и вы. Нам. Помогите. Прошу. Очень! — Лужин закрыл глаза и приложил руку к груди.

Нюра не поняла, как и кого могут ей подобрать вместо Чонкина, она хотела сказать, что никого лучше ей не надо, что Чонкина ей вполне достаточно. Но Лужин своей просьбой о помощи сбил ее с толку, и она сказала, что конечно, что если она может...

— Можете, — перебил Лужин. — Вы в Красном живете?

— В Красном, — кивнула Нюра.

— Ну как там? Как народ? Какие настроения преобладают?

Нюра посмотрела на него вопросительно.

— Не поняли? — улыбнулся Лужин. — Я, по-моему. Говорю. Ясно вполне. Я спрашиваю: в вашей деревне у людей какое настроение? Грустное?

Нюре вопрос не понравился. Она стала выгораживать своих односельчан, уверяя, что настроение у всех, напротив, весьма хорошее.

— Хорошее? — обрадовался Лужин и отпрыгнул от Нюры.

— Хорошее, — подтвердила Нюра.

— Чудовищно любопытно. Война идет. Люди гибнут. А у них хорошее. Отчего же? Может, ждут? Немцев? — Он подмигнул Нюре и улыбнулся.

— Нет! — Нюра испугалась, что сказала что-то не то. — Немцев не ждут.

— А кого ждут?

— Никого не ждут.

— А откуда же настроение такое хорошее?

Нюра решила тут же исправить ошибку и сказала, что она не совсем правильно выразилась и что настроение у людей иногда бывает хорошее, но чаще совсем плохое.

— Плохое? — переспросил Лужин. — Подавленное? Не верят в победу нашу?

— Верят! Верят! — сказала Нюра поспешно.

— Но настроение плохое?

— Оно не плохое, — сказала Нюра и поняла, что запуталась.

— А какое же? — спросил Лужин.

— Не знаю, — сказала Нюра.

— Ну вот, — помрачнел Лужин. — Видите. Я к вам всей душой. Хотел помочь. Я откровенно. А вы не откровенно.

То хорошее. То плохое. То не знаете. Значит, помочь нам не хотите?

— Почему же? — сказала Нюра насупясь.

— Почему, я не знаю. Я вижу, что не хотите. Нам, конечно, и так известно все, но мне от вас услышать хотелось. Чем люди живут? Что говорят? Некоторые неправильно думают. Хотелось бы их вовремя выявить, поправить и удержать. Они потом. Сами. Спасибо скажут. Между прочим, что говорит ваш председатель?

— Наш председатель? — переспросила Нюра. — Об чем?

— Ну вообще.

— Вообще?

— Вообще.

— Матюкается, — сказала Нюра.

— Матюкается? — оживился Лужин. — И как именно? Нет, я не к тому, чтобы вы повторяли, я спрашиваю: матюкается с акцентом политическим или так просто?

— Просто так, — сказала Нюра.

— Хм! — Ответами ее Лужин явно был недоволен. Казалось, он не только не верил, но и не хотел верить, что в деревне Красное все обстоит столь благополучно. — Ну что же. — Заложив руки за спину, он прошелся по кабинету. — Вы все-таки. Откровенно со мной не хотите. Ну что ж. Мил насильно. Не будешь. Как говорится. Мы вам помочь. А вы нам не хотите. Да. А между прочим, Курта, случайно, не знаете, а?

— Кур-то? — удивилась Нюра.

— Ну да, Курта.

— Да кто ж кур-то не знает? — Нюра пожала плечами. — Да как же это можно в деревне без кур-то?

— Нельзя? — быстро переспросил Лужин. — Да. Конечно. В деревне без Курта. Никак. Нельзя. Невозможно. — Он придвинул к себе настольный календарь и взял ручку. — Как фамилия?

— Беляшова, — сообщила Нюра охотно.

— Беля... Нет. Не это. Мне нужна фамилия не ваша, а Курта. Что? — насупился Лужин. — И это не хотите сказать?

Нюра посмотрела на Лужина, не понимая. Губы ее дрожали, на глазах опять появились слезы.

— Не понимаю, — сказала она медленно. — Какие же могут быть у кур фамилии?

— У кур? — переспросил Лужин. — Что? У кур? А? — Он вдруг все понял и, прыгнув на пол, затопал ногами. — Вон! Вон отсюда.

Нюра тоже поднялась и отступила, оглядываясь.

— Вон! — кричал Лужин, толкая ее в спину. — Вон, мерзавка!

— Так а насчет Чонкина как же? — спросила она, упираясь.

— Вон! — пыхтел Лужин, толкая. — Вон! Я тебе покажу Чонкина! Хочешь быть женой, будешь! Это мы можем. Это мы устроим. Всенепременно.

Вытолкав Нюру, он вернулся к столу, промокнул платочком пот и отдышался. Нажал кнопку звонка. Вошла секретарша.

— Вот что, — сказал он ей, — дело этого Чонкина меня смущает чудовищно. Почему этот дезертир оказал сопротивление такое упорное? Тут что-то не так. И еще какой-то Курт. Запросите Филиппова, не связан ли этот Чонкин с каким-нибудь Куртом. Пошлите шифровку по месту прежнего жительства Чонкина. Пусть соберут данные. Кто такой? Чем занимался до армии? Все. Кто там еще ко мне? Зовите!

18

Ермолкин еще писал свои показания, когда из кабинета Лужина выскочила Нюра, вся красная и в слезах.

Ермолкин подумал, что сейчас позовут и его, и заторопился. Но раздался звонок, секретарша, расправив гимнастерку, вошла к Лужину. Вернувшись, сказала одному из военных:

— Роман Гаврилович ждет.

Военные вскочили, подняли штатского, и все трое скрылись за дверью кабинета.

Пробыли они там минуты две-три, вдруг из-за двери донесся нечеловеческий вопль, и тут же дверь распахнулась и те же военные повели своего штатского через приемную, но был он совсем не похож на того самоуверенного человека, который совсем недавно пересек порог лужинского кабинета. Он был уже без пиджака, в нижней,

разорванной на спине рубаше, он шел, низко наклонив голову и вяло перебирая полусогнутыми ногами, а военные держали его с двух сторон, чтобы не упал.

Затем появился Лужин. Без улыбки, но возбужденный, следом за посетителями выскочил он в коридор, и оттуда Ермолкин услышал его громкий голос:

— Ведите его вниз и там поговорите. Постарайтесь его убедить!

Лужин вернулся, побежал к своему кабинету, но у порога обернулся, увидев Ермолкина:

— Ну как у вас? Все готово?

— Почти, — сказал Ермолкин, переживая разнообразные чувства. — Я сейчас. Еще немного.

— Чудовищно сожалею, — улыбнулся Лужин. — Но времени нет. Совершенно. Давайте что есть.

Он побежал впереди Ермолкина по кабинету. Изящным движением ноги зашвырнул валявшийся на полу темно-синий пиджак, сел за свой стол, и голова его во все зубы улыбнулась Ермолкину.

— Прошу. — И маленькая ручка перекинулась через стол.

Дрожа от страха, Ермолкин протянул написанное.

— Так, — сказал Роман Гаврилович, поднеся бумагу к глазам. — «С большим трудовым подъемом встретили...» Это статья?

— Нет, — потупился Ермолкин. — Это мои признания.

— Оригинально, — поощрил Лужин. — Очень даже. Но как-то. Все же. Издалека.

— Я ведь все-таки журналист, — скромно улыбнулся Ермолкин.

— А-а, ну да. Понятно. Свой стиль. Очень неповторимый. Вообще-то говоря, другие у нас пишут проще. Некоторые прямо начинают: я, такой и сякой, сделал то-то и то-то. Но обычно. Это. Не журналисты. Впрочем. Попадают и... Ну что ж, — сказал он, выдвигая ящик стола и кладя в него сочинение Ермолкина. — Почитаем. С удовольствием. Превеликим. Чудовищное наслаждение заранее предвкушаю.

Он задвинул ящик и улыбнулся Ермолкину.

— А скажите, пожалуйста, — волнуясь, спросил Ермолкин, — что мне за это будет?

— За что? — переспросил Лужин. Он понятия не имел, за что «за это». — Ну вообще меру наказания определяем не мы, а суд. Однако. Если. Иметь в виду. Законы времени военного...

— Но я прошу учесть, что я с повинной, — поспешно перебил Ермолкин.

— Ах да, — спохватился Лужин. — Чуть было не упустил. Значит, так. Если учесть, что, с одной стороны. Действуют законы военного. А с другой стороны, тот факт, что вы явились сами, а не то, что мы вас разыскивали, то... учтите, я за суд решать не берусь... это мое частное мнение... но я думаю. Так лет. Может быть, десять.

— Десять лет! — в ужасе закричал Ермолкин. — Я же это сделал не нарочно!

— Именно это вас и спасет, — объяснил Лужин, — если бы вы сделали это нарочно, мы бы вас расстреляли.

У Ермолкина голова пошла кругом. Он обмяк. Он закрыл лицо руками. И так сидел очень долго. Отнял руки от лица и опять увидел перед собой доброжелательное лицо Лужина.

— У вас еще есть вопросы? — спросил Лужин любезно.

— Нет, нет, у меня все.

— Так, а чего же вы, собственно, ждете?

— Да я жду... ну, когда меня... это самое... уведут, — нашел нужное слово Ермолкин.

— А-а, — кивнул Лужин, — понятно. Чудовищно огорчен. Но пока. Не можем. Никак. Так что езжайте к себе. Работайте. Пишите про трудовой подъем. И ждите. За нами не пропадет. Как только понадобится, так я за вами сразу кого-нибудь подошлю. А пока всего хорошего. Впрочем, одну минуточку. Вас, случайно, Куртом? Не звали никогда? Нет?

— Меня? Куртом? — Ермолкин пожевал губами. — Ваш этот... назвал меня мерином. А Куртом...

— Нет? — спросил Лужин.

— Нет.

— Очень жаль, — улыбнулся Лужин. — Позвольте ваш пропуск. Я подпишу.

Говорят, потом в компании своих друзей Лужин рассказывал о несчастном редакторе и ужасно смеялся. Говорят, что он собирался как-нибудь на досуге почитать написанное Ермолкиным, но то забывал, то руки не до-

ходили, а потом, при отступлении наших войск, часть архива была уничтожена, а вместе с ней и рукопись Ермолкина. Чудовищно жаль.

19

Лейтенанту Филиппову

Весьма срочно!

Совершенно секретно со спецкурьером!

Рамзай, ссылаясь на сведения, полученные от немецкого посла Отто, сообщает из Токио, что в районе Долгова приступил к активным действиям личный агент адмирала Канариса по кличке Курт, прежде законсервированный. Судя по косвенным показаниям, имеет доступ к секретам государственной важности. Уточняющих данных пока не имеется.

Учитывая стратегическое положение Долгова и тот вред, который может быть нанесен в результате утечки важнейшей информации, приказываю принять все необходимые меры и в пятидневный срок выявить, обезвредить шпиона. Ответственность за исполнение возлагаю на вас лично.

Выражаю крайнее удивление, что дело Чонкина до сих пор не закончено.

Лужин

20

Мальчик, присланный из конторы, нашел Гладышева на лавочке перед домом, где Кузьма Матвеевич в погожие дни проводил все свободное время «после того несчастья», как он сам выражался. Все замечали, что после урона, нанесенного ему прожорливой Красавкой, Гладышев сильно переменился. Он стал угрюм, необщителен, не вел с односельчанами бесед на научные темы, и даже на огороде его, кажется, с тех самых пор никто ни разу не видел. Больше того, когда Афродита, воспользовавшись случаем, решила вынести из дому горшки с удобрениями, он никак ее действиям не препятствовал.

Сейчас он сидел на лавочке, смотрел в пустое пространство за речкой Тёпой, когда перед ним возник мальчик без головы, голова была скрыта от Гладышева его

же собственной шляпой. Гладышев приподнял шляпу и узнал в мальчишке старшего сына счетовода Волкова Гриньку.

— Дядя Кузя, тебе телефонограмма, — сказал Гринька и протянул селекционеру полоску желтой бумаги.

Гладышев удивился, ему прежде телефонограмм не носили. Телефонограммы носили членам бюро райкома, депутатам местных советов, иногда членам правления и активистам. Сердце Гладышева честолюбиво дрогнуло. Но текст прочесть он не смог, буквы были написаны коряво и мелко. Он разобрал только свою фамилию и цифру «10».

— Погоди, — сказал он мальчику и пошел в дом, помахивая принесенной бумагой.

Афродита на столе раскатывала зеленой бутылкой тесто для лапши. Геракл сидел на полу посреди комнаты и держал во рту большой палец правой ноги. Помахивая бумагой, Гладышев обогнул Геракла и прошел мимо жены, надеясь, что она спросит, откуда бумага. Афродита посмотрела на него, бумагу увидела, но ничего не спросила. Гладышев нашел сахарницу, вынул кусок рафинада, подумал, отколол половину и вынес во двор мальчику. Затем вернулся в дом за очками. В доме была та же картина, только Геракл сосал левую ногу. Гладышев знал, что очки должны быть на горке, но искать их стал на окне, желая привлечь к себе побольше внимания.

— Куда-то очки подевались, — сказал он в нарочитой досаде, шаря руками по подоконнику. — Телефонограмму прочесть надо, а очков нет.

Афродита скатала тесто в рулон и стала резать его на узкие полосы.

— Телефонограмму, говорю, слышь, прислали, — повторил Гладышев громче, переходя от наигранной досады к истинной. — Только что нарочный прискакал. — Ему самому при этом представился не мальчик Гринька, а лихой всадник на взмыленном скакуне.

Афродита, упрямая женщина, опять ничего не сказала, никак не выразила своего восторга по поводу столь незаурядного события. И Гладышеву ничего не осталось, как найти очки на своем месте. Он сел к окну, напялил очки на нос, прочел телефонограмму и похолодел. Его

вызывали не на бюро райкома, не на сессию райсовета, не на совещание передовиков производства, а совсем в другое место.

— А-я-я-яй! — завопил Гладышев и схватился за голову.

Геракл так удивился, что вынул изо рта ногу. Наконец дошло и до Афродиты, что случилось что-то неладное. Она перестала резать тесто и посмотрела на мужа вопросительно. Он продолжал вопить.

— Ты чего? — спросила она.

— И не говори, Афродита, — мотал головой Гладышев. — Пропал я, совсем пропал.

— Да чего ты орешь? — сказала Афродита скандальным визгливым голосом. — Ты скажи толком.

Гладышев перестал вопить, снял очки и сказал тихо:

— Вызывают меня, Афродита.

— Куда? — не могла взять в толк Афродита.

— Куда-куда, — рассердился Гладышев. — Сама знаешь куда. Я про мерина написал в газету. Видать, за это.

Афродита бросила нож на стол и тоже завопила. Сперва она вопила что-то нечленораздельное, потом в ее крике стали различаться отдельные слова, потом Гладышев понял, что она причитает по нему, как по покойнику. Напуганный происходящим, заплакал и Геракл. Афродита подхватила его на руки и завывала громче прежнего:

— Да на кого же ты нас покинешь, дите малое неразумное, сиротиночку-кровиночку и вдову горемычную! Кормилец ты наш и поилец, куды же ты от нас уходишь! По миру пойдем побираться, Христа-ради будем просить! А кто нам поможет, кому мы нужны? Ай-я-я-яй...

Гладышев был растроган до слез. Раньше Кузьма Матвеевич думал, что он для Афродиты ничего, ноль без палочки, а тут ви-ишь как убивается. Любит, стало быть, во как! И стало ему на душе так-то сладко, что принял он лицом своим выражение, будто и вправду покойник, и вслушался в причитания Афродиты, как в хорошую, хотя и печальную музыку. А Афродита вела причитания дальше, рисуя перед своим слушателем картину безрадостного будущего своего и ребенка:

— Удвоем, без мужеской помощи, будем перебиваться с хлеба на воду, будем с голоду помирать, в чистом поле будем мокнуть и мерзнуть, не имея крыши над головой...

— Вай-вай-вай! — завопил Гладышев. — Да что ж ты такое орешь? Я ж тебе избу оставляю ладную, теплую, прошлым летом перекрытую. И что ты мене допрежь время хоронишь? Я ж ни у чем не виноватый, авось еще разберутся, увидят, что я свой человек, почти что из бедняков, в колхоз вступил одним из первейших. Разберутся, слышь, Афродита, верно говорю тебе, разберутся, отпустят.

— А-ай! — безнадежно убивалась Афродита. — От-туда не отпускают!

Закипела в печи пшенная каша, выбежала, залила угли. Из печи повалил пар вперемежку с дымом.

— Ты бы, чем мужа хоронить вживе, за чугуном последила! — закричал Гладышев и, схватив ухват, сунулся в печку.

Афродита продолжала реветь, причитая, детским басом вторил ей голый Геракл.

На крик шаром вкатилась Нинка Курзова.

— Чего это у вас? — спросила она, зыряка по избе заплавленными глазками. — Ой, батюшки, Матвейч, живой. А я-то думаю, чего это Афросинья твоя голосит, уж не ты ли преставился. Ты же давеча жалился, что ноги на погоду крутит, и с лица бледный был. Меня еще Тайка пытается, чего, мол, Фроська у себя голосит, а я говорю, не иначе как Матвейч преставился.

— Уйди отсюда! — закричал Гладышев и двинулся к Нинке с ухватом. — Мы ишо поглядим, кто из нас преставился! — и поднял ухват над головой.

— Фулюган! — взвизгнула Нинка и, руками оберегая живот, задом вышибла дверь.

А там на гладышевский забор вся деревня опять навалилась в любопытном молчании.

— Ну, чего там? — подступились к Курзовой бабы.

— Ой, бабы, и не пытайте! — замахала Нинка руками. — Наш огородник Фродиту свою учит ухватом, и мне чуть не попало, бьет прямо наотмашь.

— Эка невидаль, — сказала Тайка Горшкова. — Я-то думала, и взаправду помер, а то ухватом.

— Чай, его жена, так и поучить можно, — подтвердила и баба Дуня.

— Вестимо дело, жену кто ж не учит, — отозвалась продавщица Таисия.

Народ расходился разочарованно.

Но на другой день еще одна новость всколыхнула деревню — пропал Гладышев. Выписали полевой бригаде крупу и капусту, Шикалов приехал на склад получать, а кладовщика нет. «Спит небось», — решил Шикалов и повернул лошадь к Гладышеву. А там Афродита в слезах. Ночью, говорит, Кузьма Матвеевич ушел, скрылся в не известном никому направлении и записку оставил. Записку Афродита предъявила Шикалову. «Так сложились обстоятельства, — сообщал в записке ушедший, — что ухожу навсегда не от тебя, а из своей неудачной жизни. Лихом не поминай, а сына воспитай так, чтобы стал он преданным большевиком партии Ленина-Сталина, наподобие Павла Корчагина, Сергея Лазо и других равноценных героев. А если пойдет по научной части, то и мое дело, может быть, завершит, чего я не dokonчил. Засим остаюсь преданный вам с приветом, ваш покойный законный супруг Гладышев Кузьма».

Всей деревней обшарили соседний лесок, думали, может, где на суку удавился — не нашли. Шикалов на лошади мотался к водяной мельнице (двенадцать километров вниз по течению Тёпы), надеялись, что тело к запруде прибило, и то без толку. Вызвали из района уполномоченного, тот приехал не сразу и с большой неохотой. Составил акт и ругался, что, мол, в военное время, когда люди десятками тысяч гибнут за родину, приходится еще всякими самоубийцами заниматься. Прошло еще несколько дней, и новые события заслонили собою такой незначительный факт, как смерть одного из рядовых колхозников.

21

Исчезновение столь важного свидетеля Филиппов воспринял как очень досадное происшествие. Тем не менее он проявил максимальную активность, вызывая свидетелей одного за другим. Но те вели себя очень странно. Зинаида Волкова, получив повестку, залезла на печь и впала в невменяемое состояние. Муж Зинаиды, опасаясь последствий, согнал ее оттуда ухватом, выволок на двор, а потом, как козу, хворостиной гнал все семь километров до самого места.

— Ты не бойсь, — убеждал он ее по дороге. — Они тоже люди и плохого тебе не хотят. Лишнего не болтай, а что видела — скажи.

— Ничего не видела, ничего не слышала, ничего не знаю.

Он сдал ее с рук на руки вышедшему на звонок дежурному. Тот пропустил Зинаиду вперед, и она пошла по зигзагообразному коридору, слепо натываясь на стены.

Волков остался ждать. Он сомневался, что сможет дожждаться, но все же остался, не зная, как быть дальше. Ему жалко было терять Зинаиду, потому что она была здоровая и приносила большую пользу в хозяйстве. И в колхозе работала, и на своем участке, и за всеми пятью детьми успевала ухаживать, держала их в чистоте и порядке. «Баб-то, конечно, по военному времени много свободных, — размышлял счетовод, — да такую, как Зинаида, днем с огнем не найдешь. А ежели и найдешь, так та, которая себе цену знает, нешто пойдет за мужика, у которого пять детей и одна рука. И одно дело еще, что она пойдет, а другое дело, как ребята к ней отнесутся. Ведь, как ни крути, а детям-то не все едино, будет у них родная мать или тетка чужая».

Сам того не заметив, стал он размышлять вслух и, загибая пальцы на своей единственной руке, подсчитывать положительные качества Зинаиды и безусловно отрицательные той неизвестной женщины, которая займет ее место. Но пальцев было всего пять, а положительных качеств у Зинаиды гораздо больше, а еще больше отрицательных качеств у той неизвестной.

Пошел мелкий дождь. Волков достал из-за пазухи драный мешок, сложил его капюшоном, надел на голову и встал, собираясь уходить. И тут он увидел Зинаиду. Она только что спустилась с крыльца и стояла, глядя прямо перед собой, и шарил в воздухе руками, как бы в поисках невидимого препятствия. Волков спохватился, подбежал к жене и встал перед ней, широко улыбаясь. Но она отстранила его и неверной походкой пошла прямо через площадь, хотя идти надо было совсем в другую сторону. Обогнав Зинаиду, Волков снова встал перед ней, но она опять его отстранила и пошла, словно придерживаясь прямой, невидимой Волкову линии.

— Ты чего это, Зина? — Волков схватил ее за рукав. — Аль не признаешь? Это ж я, Константин, муж твой.

Зинаида остановилась, но лицо ее ничего не выражало, а глаза смотрели куда-то мимо.

— Пойдем домой, — решительно сказал счетовод и потащил ее за собой. И она шла туда, куда он ее тащил, и поворачивала туда, куда он ее поворачивал. Пока шли по городу, он не задавал ей никаких вопросов, а как вышли в поле, не выдержал.

— Чего было-то?

— Ничего не видела, ничего не слышала, ничего не знаю, — скороговоркой отбарабанила Зинаида.

— Окстись! — попытался урезонить ее Волков. — Ты кому это говоришь, это ж я, Костыка.

— Ничего не видела, ничего не слышала, ничего не знаю, — тупо повторяла Зинаида, и похоже было, что все другие слова и понятия вылетели из ее головы.

«Видать, пытали», — подумал Волков и съезжился. На самом-то деле эта мысль пришла счетоводу в голову совершенно напрасно. К чести Тех, Кому Надо, и лейтенанта Филиппова лично, Там, Где Надо, никто Зинаиду не пытал. Лейтенант Филиппов встретил ее вполне вежливо и предложил сесть на табуретку.

— Ничего не видела, ничего не слышала, ничего не знаю, — сказала Зинаида.

— Ну это мы еще выясним, — пообещал Филиппов. — А пока садитесь.

— Ничего не видела, ничего не слы...

— Да садитесь же, — сказал Филиппов. Он даже голова не повысил. Он только подошел к Зинаиде, положил ей руки на плечи и придавил слегка, усаживая. Она послушно опустилась на табуретку, и тут с ней произошел конфуз. Из нее, как из прорвы, потекло по чулкам в сапоги и мимо. Образовалась довольно-таки большая лужа. Валявшийся окуроч «Беломора» поднялся и поплыл, как детский кораблик. За такой натурализм автор просит прощения у дам, но прежде всего у работников карательных ведомств, проявляющих исключительное целомудрие при оценке тех или иных произведений искусства. Именно они чаще всего бывают шокированы изображением теневых сторон нашей жизни и всяческих грубос-

тей. «Ну это уж слишком, — обыкновенно говорят в таких случаях. — Для чего это? Чему это учит?» И в самом деле, происшествие с Зинаидой случилось не очень красивое. Но чему-то оно все-таки учит. В первую очередь, оно учит каждого, прежде чем посетить Учреждение, освободиться от всего лишнего.

Самое интересное, что Зинаида даже не заметила, что с ней происходит. Сидя на табурете, она продолжала бормотать свое заклинание. Лейтенант Филиппов в первое мгновение тоже ничего не понял. Услышав журчание, он глянул вниз, увидел лужу и окурок, поплывший под левую тумбу его стола. Лейтенант растерянно потоптался возле Зинаиды и кинулся вон из кабинета. В приемной, смущаясь, он велел Капе вывести свидетельницу на улицу, и пусть идет куда хочет.

Ведомая за руку своим мужем, Зинаида вернулась домой. К вечеру у нее поднялся жар, она лежала на печи, стучала зубами и на все обращения к ней твердила одно: «Ничего не видела, ничего не слышала, ничего не знаю». Позвали сперва фельдшерницу из Старо-Клюквина, потом бабу Дуню с травами и наговорами — ничего не помогло. Дошло до того, что баба Дуня предложила призвать попа. Выяснилось, однако, что во всей округе ни одного попа не осталось — антирелигиозная работа была здесь поставлена хорошо. Впрочем, может, и лучше, что не нашли, был бы лишний перевод денег, тем более что через некоторое время Зинаида все ж оправилась.

22

Разбирали пришедшую почту. Двенадцать баб в растегнутых ватниках и плюшевых шубейках, в сбитых на плечи платках сидели, разомлев, на полу перед железной печуркой. Тринадцатый был мужик из дальнего колхоза Дементий, не взятый на фронт, потому что припадочный.

Дверца печки была открыта. Трещали дрова, и отсвет рыжего пламени играл на обветренных лицах.

Лиза Губанова с улыбкой рассказывала о недавнем событии. Две бабы из их деревни пошли в лес по грибы. Отошли совсем недалеко, когда услышали — что-то трещит на дереве. Одна из них, Шурка, голову подняла да как закричит:

«Ой, мамочки, леший!» — и брык в беспамятстве на траву. Ну а другая, Тонька, та посмелее. Тоже на дерево поглядела и говорит: «Не бойся, Шурка, это не леший, а обезьян».

— В чем одетый? — спросил Дементий.

— В том-то и дело, что ни в чем, а весь шерстью покрытый, как все равно козел. Ну, Шурка тоже в себя пришила и стала в обезьяна палкой кидать. «Слезай, — говорит, — а не то зашибу». А тот говорит: «Не слезу».

— По-русски говорит? — удивилась Маруся Зыбина.

— А то ж по-какому!

— А вот немцы, — сказал Дементий, — говорят по-немецкому.

— Ставят из себя много, вот и говорят, — заметила Лиза. — Ну и дальше. Стали они обои в него палками кидать, а он на ветке качается и смеется: «Не тужьтесь, мол, бабы, все одно не докинете. Вы лучше скажите, большевистская власть не кончилась ли еще?» Тонька, значит: «Сейчас, — говорит, — сходим в деревню, узнаем, кончилась али нет, а ты погоди». И пошли в деревню, народ собрался, привели. Кто с вилами, кто с ружьями, а обезьяна уже нет. Тоже ж не дурак, чтоб дожидаться. А на другой день участковый приезжал. Тоньку и Шурку в правление водил да там стращал. «Никакого, — говорит, — обезьяна в наших лесах быть не может, а ежели, — говорит, — еще такие отсталые разговоры услышу, из вас самих обезьянов наделаю».

Во время разговора вошла Нюра, слегка припозднившись. Лицо ее было заплакано. Поздоровалась и собралась примоститься на полу рядом с Дементием. Но ее остановила Маруся Зыбина:

— Нюрок, тебя чего-то Любовь Михална кличет.

Недоумевая, но не очень тревожась, вошла Нюра в маленький, не больше вагонного тамбура, кабинет заведующей.

Любовь Михайловна, крупная, лет сорока, блондинка, с шестимесячной завивкой, сидела, еле втиснувшись в пространство между стеной и маленьким однотумбовым столиком. У окна стояла телеграфистка Катя. Она держала в руках толстую книгу и вычитывала из нее какие-то цифры, а Любовь Михайловна стучала костяшками

счетов. На пальцах правой руки синела татуировка: «Люба», а на запястье левой — часы с ремешком (стрелки показывали половину десятого).

— Здрасьте, — сказала Нюра.

Обе женщины перестали считать и молча смотрели на Нюру.

— Вы меня звали? — спросила Нюра.

— А, да-да, — сказала Любовь Михайловна и почему-то смутилась. Она попыталась выдвинуть ящик стола, но, поскольку двигать его было некуда, тут же задвинула снова. — Я вот хотела спросить, Нюра, что у тебя случилось? Только, пожалуйста, не говори, что у тебя ничего не случилось. Я все знаю.

Нюра молча смотрела на заведующую, а та смотрела на стенку мимо Нюры.

— К сожалению, Нюра, нам с тобой придется расстаться.

Нюра молчала, не понимая услышанных слов. Любовь Михайловна подняла глаза на Нюру, но тут же отвела их в сторону.

— Ты сама понимаешь, мне неприятно это тебе говорить, ты хороший человек и скромная труженица, но... — Любовь Михайловна остановилась подумать, свернула самокрутку и закурила. — Но ты хорошо понимаешь, Нюра, что сейчас мы должны проявлять особую бдительность...

Нюра кивнула. Она была женщина темная, но насчет бдительности сознавала — нужна.

— Ты пойми, Нюра, я к тебе отношусь по-прежнему. Но твой супруг оказался очень нехорошим человеком. Я, Нюра, тоже женщина и могу все понять, но и женщины бывают разные. Я про одну в газете читала, что она до того докатилась — с немцем спала. И это сейчас, когда немцы убивают наших мужей, наших отцов и братьев, угоняют в неволю наших сестер, матерей, дочерей, сейчас ложиться с немцем в постель — это надо потерять всякий стыд, это надо не знаю до чего доказаться.

— Михална, а Михална, — вмешалась вдруг до того молчавшая Катя, — так этот же Ванька ейный, он же не немец, он русский.

Любовь Михайловна растерялась. Она себя уже так накалила, что сама поверила, будто Нюра спала именно с немцем.

— А я не с тобой говорю, — рассердилась она на Катю. И вновь обратилась к Нюре: — В общем, так, Нюра. Как женщина я тебе сочувствую, но как коммунист я такого терпеть не могу. У нас работа ответственная. Через нас проходят разные сведения, и нашу работу мы не каждому можем доверить.

Любовь Михайловна замолчала, давая понять, что разговор окончен. Ожидая, когда Нюра уйдет, она положила руку на счеты, водила по ним растопыренными пальцами, и слово «Л-ю-б-а» разошлось веером.

— Михална, а Михална, — снова встряла Катя. — Мужик-то Нюркин, он ей не мужик был вовсе, она ж с ним без расписки жила.

— Без расписки? — переспросила Любовь Михайловна, не зная, что ответить на новые возражения. — А ты, — рассердилась она, — не лезь, куда не просят, не лезь, не лезь. Тоже мне защитница нашлась. Без расписки. А без расписки, так еще хуже. По любви, значит, жила.

Говорят, в тот день Нюра Беляшова, вернувшись из Долгова раньше обычного, бегала по деревне как полоумная. К кому домой зашла, кого на дороге встретила, всем показывала трудовую книжку и хвасталась:

— Уволили. За Чонкина. За Ивана. По любви, говорят, жила.

23

Не следует думать, что лейтенант Филиппов был злым и кровожадным человеком и непременно хотел упечь Чонкина в тюрьму или подвести под расстрел. Он просто выполнял указания начальства и свои обязанности, как он их понимал. До сих пор он считал, что собственного признания обвиняемого достаточно для окончания дела, и он это признание получил. Приказали ему доследовать дело, он доследовал. И хотя свидетели оказались в большинстве своем пугливые и тупые, из их путаных и противоречивых показаний лейтенант сделал вывод, что Чонкин, по существу, ни в чем не виновен. Его поставили на пост, он стоял. На него напали, он стал защищаться, про-

явив при этом смекалку, хладнокровие и героизм. А то, что напали на него свои, он в этом разбираться не обязан. По уставу своими для него являлись только начальник караула, помощник начальника караула и разводящий.

Говорят (хотя в это трудно поверить), что лейтенант Филиппов даже собирался написать постановление о прекращении следствия и об освобождении Чонкина за отсутствием состава преступления и даже несколько раз принимался за сочинение этого документа, но что-то ему мешало, что-то не получалось. Как-то это было все-таки непривычно. Он просто не мог себе представить, как же освободить человека, который сам признал себя виновным. Говорят, Филиппов несколько дней испытывал муки творчества, перевел кипу бумаги, рвал листы и швырял в корзину. От всех его усилий впоследствии остался только один лист (он залетел в шкаф и там пролежал долго), на котором было написано:

«Я, лейтенант Филиппов, рассмотрев материалы следствия по делу Чонкина И.В. и допросив свидетелей...» На этом текст обрывался.

Между тем в то же самое время, когда лейтенант Филиппов мучился, сочиняя постановление, запрос Романа Гавриловича Лужина относительно личности Чонкина достиг той самой местности, где проживал наш герой до призыва на военную службу.

Работник тамошних органов, симпатичный молодой человек, похожий на лейтенанта Филиппова, завел казенный мотоциклет и поехал в ту самую деревню, где родился и вырос Чонкин. (К слову сказать, деревня называлась Чонкино и в ней был Чонкинский сельсовет.)

Председатель сельсовета, увидя предъявленную ему красную книжечку, был словоохотлив и без колебаний выразил готовность оказать необходимое содействие приезжему. Трудность этого дела состояла, однако, в том, что, как выразился председатель:

— У нас этих Чонкиных как собак. Вся деревня сплошь, вы не поверите, все сплошь Чонкины. Между прочим, и я сам тоже Чонкин, — сказал председатель и протянул приезжему свое депутатское удостоверение.

— Да, — сказал приезжий, не поглядев, — но того Иваном зовут.

— У нас и Иванов полно. Меня, к примеру, тоже Иваном кличут, — сказал председатель и улыбнулся смущенно.

— Но я думаю, — настаивал на своем симпатичный молодой человек, — что Иванов Васильевичей не так уж много.

— Да я бы не сказал, что и мало, — отвечал председатель, все больше смущаясь. — Я вот как раз и Иван и, извиняюсь, Васильевич.

Молодой человек думал уже вернуться к своему мотоциклету (он не собирался из-за какого-то неизвестного ему и неизвестно кому нужного Чонкина надрываться на работе), когда появилась секретарь сельсовета Ксения, тоже, к слову сказать, Чонкина.

Председатель велел ей поискать по бумагам нужного Чонкина.

— А чего там искать? — сказала Ксения. — Иван Васильевич? Красноармеец? Дак это ж Ванька. Ну тот, который на лошади говны возил. Не помнишь? Да князь же.

— Точно, князь! — обрадовался председатель открытию. — Он самый и есть. И как же мне сразу в башку не влетело, что он самый, князь, и есть.

— Князь? — поднял брови приезжий.

— Ну, дразнили его так, — беспечно сказал председатель. — У нас, знаешь, в деревне языки без костей, кому чего на ум взбредет, то и болтают.

— А чего болтают, — возразила Ксения. — Хоть и деревня, а тоже народ живет не дурее других. Болтать зря не будут. Я-то Марьянку хорошо знала, мы с ней шабрами были и по людям сызмальства работали, я помню, как этот князь, Голицын ему фамилие, был у нее на постое. Молоденький такой, волос кучерявый, темный, как сажа, а лицо белое.

— Молоденький, кучерявый, — передразнил председатель, — ты со свечкой не стояла и не знаешь, жил с ней молоденький кучерявый ай нет.

— Жил, — уверенно сказала Ксения, не приведя, впрочем, никаких доказательств. Просто эта версия на фоне обычной скучной жизни казалась ей более заманчивой, чем другие. Ей хотелось доказать приезжему, что

хотя деревня их с виду самая неприметная, не лучше других, а в ней случались истории необыкновенные.

Версия эта вполне устроила и приезжего. Как-никак не зря трудился, тратил время и казенный бензин. Он не думал потом, как отразятся добытые им сведения на чьей-то судьбе. Он не знал ни кто такой Чонкин, ни что он сделал, ни в чем его обвиняют, он не желал Чонкину ни зла, ни добра, но версия, предложенная секретарем сельсовета, казалась ему интересней возможных других, и, вернувшись в свою контору, он с удовольствием отбил шифровку: «Произведенной по Вашему запросу проверкой установлено, что Чонкин Иван Васильевич, 1919 года рождения, уроженец деревни Чонкино, происходит из князей Голицыных».

24

Подполковник Лужин не относился к числу людей, не умеющих владеть собой, но, когда ему на стол положили это сообщение в расшифрованном виде, он сказал: «Ого!» — и заерзал в кресле. Потом он бегал по кабинету, потирая руки, щелкал зубами, бормотал: «Чудовищная удача!» — и опять бегал по кабинету, испытывая удивление, радость, восторг, то есть чувства, которые мог бы испытать рыбак, закинувший удочку на пескаря, а поймавший щуку.

— Чудовищная удача! — повторял он. — Чудовищная удача! И найти такое на ровном месте!

Впрочем, на ровном ли? Нет, он работал, он думал, он мог и не посылать никакого запроса, а вот послал же, значит, он почувствовал, что в деле Чонкина не хватает какого-то звена, может быть, важного. Значит, интуиция что-то ему подсказала, если он стал делать то, что мог сделать тот, кто ведет это дело, то есть Филиппов. И не только мог, но и должен был сделать Филиппов. А почему же не сделал? Молодость? Неопытность? Но ведь тут же никакой особенной премудрости нет, это же азы следственного дела, что, выясняя личность преступника, в любом случае надо послать запрос по прежнему месту жительства. Нет, что ни говори, сказал себе Лужин, странно ведет себя этот Филиппов, чудовищно странно. Сначала позволяет одному человеку захватить в плен целую груп-

пу, затем руководит следствием из рук вон плохо и непрофессионально, не проводя элементарных следственных действий, что позволяет преступнику выдавать себя за простого дезертира, хотя на самом деле он если и дезертир, то не такой уж простой.

И опять интуиция что-то подсказала Лужину, и он вдумался в ее неясное бормотание, когда принесли и положили ему на стол новую депешу:

*Весьма срочно, совершенно секретно
подполковнику Лужину*

Вчера ночью в районе Долгова службой радиоперехвата зафиксирован выход в эфир неопознанного передатчика, работающего на частоте 4750 килогерц. Начало передачи пропущено, остальное удалось записать и дешифровать, привожу полный текст, полученный в результате дешифровки: «...дважды прошли эшелоны с военной техникой под чехлами. Судя по очертаниям, танки и орудия среднего калибра. Силуэты четырех единиц, видимо, соответствуют полученному мною от полковника Иickenброка описанию русского сверхсекретного оружия, так называемых «катюш». В районе идут затяжные дожди, что, по моим наблюдениям, крайне беспокоит местных партийных руководителей, так как срыв плановых сроков уборки урожая угрожает им неприятностями по службе, вплоть до отправки на фронт.

Погодные условия могут оказаться неблагоприятными и для нас, поскольку здешние дороги, не имеющие твердого покрытия, могут стать труднопроходимыми для наших мотомеханизированных частей.

Русские через какого-то японца из Токио напали на мой след, но их сведения обо мне пока что слишком расплывчаты. Думаю, что оснований для особой тревоги пока нет, здешние органы безопасности развращены работой на вымышленном материале и проявляют крайнюю беспомощность и некомпетентность при расследовании реальных дел. Наши службы работают на много эффективнее. Тем не менее постараюсь действовать с предельной осмотрительностью.

Курт

Всюду слышались обрывки тех особенных разговоров, какие ведутся между русскими подвыпившими людьми на самые разнообразные и чаще всего возвышенные темы. И о тайнах мироздания, и о нечистой силе, и о способах научного прогнозирования землетрясений, и о том, как нужно, допустим, жить с курицей. В подобных разговорах сплошь и рядом высказываются весьма оригинальные и глубокие мысли, а если кто-нибудь и сморозит очевидную глупость, то и его выслушают с уважением, понимая, что и глупому человеку иногда нужно высказаться.

Иван Тимофеевич пробирался между столиками, где велись все эти разговоры: кто-то бил себя в грудь и что-то доказывал, кто-то пытался петь, а какой-то несостоявшийся артист, встав в позу, читал с выражением поэму Маяковского «Хорошо!».

Где-то на полпути его остановили, взяли под локоток: «Осторожнее, тут товарищ лежит, не наступите». Он глянул под ноги и увидел товарища, вероятно приезжего. Тот лежал на спине и мирно спал, накрыв лицо серой помятой шляпой. Вежливо переступив через спящего, Голубев приблизился к прокурору.

— Садись, Иван, — пригласил Павел Трофимович, ногой выдвигая из-под стола стул. — Пить будешь?

— Да я вроде как для этого и пришел, — признался Голубев.

— Ну вот и садись. Анюта! — Прокурор щелкнул пальцами, и из тумана возникла Анюта. — Принеси-ка нам еще пузырек для затравки.

— А может, вам хватит, а, Пал Трофимыч? — проявила заботу Анюта.

— Что? — загремел прокурор. — Соппротивление власти? Посажу! Расстреляю! Именем федеративносыстической...

Он, конечно, шутил, и Анюта понимала, что он шутит, но понимала и то, что шутить с прокурорами можно только до какого-то предела.

На столе появилась бутылка, второй стакан, две кружки пива, макароны по-флотски б/м, то есть без мяса, но зато с огурцом, правда, настолько помятым, как будто его до этого клали под поезд.

Выпили. Голубев быстро размяк, раскраснелся и стал рассказывать прокурору о своих злоключениях и сетовать на свой дурацкий, по его выражению, характер.

— Эх, дурак! — говорил председатель и стучал себя кулаком по лбу.

— Вот именно что дурак, — соглашался прокурор. — Никогда не жалей о том, что сделал. Это будет умно.

— Да я бы и не жалел, — вздохнул Голубев, — так ведь накажут.

— Накажут, — подтвердил прокурор. — Без этого у нас никак. Непременно даже накажут. А как же без этого. Только ты вот думаешь, что тебя накажут за то, что ты хлеб мокрый убирать отказался или баранами кого-то назвал. Нет, брат, вовсе не за это. Просто ты достиг того положения, при котором рано или поздно все равно окажешься виноват. В чем? Вина найдется. Война, засуха, падеж скота и прочее обострение противоречий, начнут искать виноватого, ты как раз под рукой и окажешься. Или, допустим, я. Неизбежно. Но это и хорошо. В неизбежности наша сила.

— Сила? — удивился председатель.

— Сила! — подтвердил прокурор. — Что нам больше всего мешает жить по-людски? Надежда. Она, сволочь, мешает нам жить. Надеясь избежать наказания, мы вертимся, мы подличаем, стараемся вцепиться в глотку другому, изображаем из себя верных псов. И хоть бы получали от этого удовольствие. Так нет же. Мы ж все-таки люди, а не псы, и мы страдаем, спиваемся, сходим с ума, мы помираем от страха, что кого-то еще недогрызли и что нас за это накажут. А потом тебя все равно волокут на расправу и ты вопишь — за что? Я же был верным псом! А вот не будь. Будь человеком. Человеком, я тебе говорю, а не псом. Надежду оставь, она все равно обманет, и живи как хочешь. Хочешь сделать доброе дело, сделай. Хочешь врезать кому-то в рыло, врежь. Хочешь сказать какое-то слово, не отказывай себе — скажи. Потешь себя. Да, завтра тебя накажут, так или иначе накажут, но сегодня ты будешь знать, что жил человеком.

Голубев слушал. Ему нравилось то, что говорил Евпраксеин. Он и сам подходил к этой мысли, хотя она ему порой казалась безумной из-за своей очевидности. Боль-

шинство знакомых ему людей думали иначе, это его смущало, сейчас он был рад, что встретил единомышленника. Выпили, погрызли огурец и покурили.

— Ты посмотри, Иван, — клонился к Голубеву Евпраксеин, — до чего мы дошли. Совсем уже одурели от страха. Возьми хоть меня. Начальства боюсь, подчиненных боюсь, а совести своей не боюсь. Как же, мы же материалисты, а совесть это что? Ее не пощупаешь, значит, ее нет. А что же меня тогда такое грызет? А? Мне говорят: никакой совести нет, ее выдумали буржуазные идеалисты, мир материален, а вот тебе и материя: кабинет, кресло, кнопки, телефоны, вот тебе квартира, вот тебе паек, жри его, будешь жирным, жир — это тоже материя, а совесть — это ничто. А какая ж сука тогда меня грызет, а, Иван?

— Выпьем, — сказал Иван.

Выпили и снова огурец пожевали. И опять склонился прокурор к председателю.

— Приходит ко мне баба хлопотать за своего мужика. Ну ладно, не могу я ей делом помочь, но могу хотя бы посочувствовать. А я нет, я смотрю на нее крокодилом. А ведь я, Иван, когда-то был добрый мальчик. — Прокурор всхлипнул и размазал по щеке сопли. — Я любил природу, животных. Бывало, несु домой кусок хлеба по карточкам, а за мной плетется собака. Голодная, облезлая, а глаза у нее, Иван, как у той бабы. Я злюсь на нее, топаю ногами, я сам голодный, но я знаю: меня-то кто-нибудь пожалеет, а ее не пожалеет никто. И я отщипну от этого куска и ей...

Прокурор махнул рукой, затряс головой и забился в рыданиях. Голубев растерялся, схватил прокурора за плечи.

— Паша, — сказал он, — да ты что? Да брось ты. Если уж все равно нас, как ты говоришь, так или иначе накажут, так и в самом деле, чего ж нам бояться? Ну, убьют в крайнем случае, так от смерти ж не убережешься. Убить нас они могут, но они не могут нас сделать бессмертными, вот в чем их слабость.

— Да-да, — кивал прокурор, — в этом их слабость.

Время близилось к закрытию чайной. Старуха уборщица вытирала опустевшие столики и ставила на них

кверху ножками стулья. Анята выталкивала одного из посетителей, тот вырывался, размахивал руками и с выражением читал несуряицу:

Заводской дыхтят
воздуха береги.
Пых-дых, пыхтят
мои фабрики...

...Голубев и Евпраксеин вышли из чайной последними. Давно уже все вокруг опустело, а они все еще топтались посреди дороги под фонарем, никак не могли распрощаться.

— Иван! — кричал прокурор, хватая председателя за грудки. — Ничего не бойся. Я завтра сам приду на бюро. Когда тебя будут долбить и спросят: кто за, кто против, я встану и скажу: «Я против! Не знаю, как вы, а вот лично я, прокурор Евпраксеин, я лично, именем федеративносыстической, против. Вы, — скажу, — можете убить Ивана, можете убить меня, именем федеративносыстической, но зато мы погибнем как люди, а вы, — он отпустил председателя и вытянул вперед длинный палец, — жили червями и червями подохнете».

Долго еще они прощались, трясли руки, хлопали друг друга по спинам, расходились и вновь сходились. Наконец председателю удалось оторваться, он кое-как перевалился в двуколку, а прокурор шел рядом, держась за двуколку рукой, и уговаривал Голубева ничего не бояться. Потом он все же отстал и, выкрикивая что-то ободряющее, исчез в темноте.

Выехав из Долгова, председатель отпустил вожжи, засунул руки в рукава и съезжился, привалясь к спинке сиденья. Лошадь сама знала дорогу. Предвкушая отдых в теплой конюшне и охапку свежего сена, она бежала легко и шибко. Двуколку мягко потряхивало, и Голубеву было хорошо и уютно. С удовольствием вспоминая свой разговор с прокурором, он думал: «Да, Пашка прав, ничего не надо бояться».

И о том же самом думал он, когда, сдав лошадь, шел домой от конюшни, и потом, когда, подтянув к подбородку колени, погружался в сон под теплым ватным одеялом.

Проснулся он в девятом часу и сразу же вспомнил, что на два назначено бюро, где будут разбирать его персональное дело, где в лучшем случае дадут ему строгача, а в худшем... Но он вспомнил и вчерашний свой разговор с Евпраксеиным, и на душе сразу стало спокойно.

Сев в постели, он улыбнулся, потянулся, глянул в окно и увидел привязанную к забору верховую лошадь. «Кто бы это мог быть?» — удивился председатель.

Тут за дверью раздался какой-то шум, дверь отворилась, и в проеме возникла жена.

— Иван, к тебе пришли, — сказала она.

Из-за спины ее выглядывал прокурор, лицо его было помято и бледно.

— Паша? — удивился Голубев. — Что-нибудь случилось?

Прокурор посмотрел на председателя, потом на его жену.

— Выйди, — сказал ей Голубев.

Она вышла и прикрыла за собой дверь.

— Вот что, Иван, — потоптавшись, нерешительно начал Евпраксеин. — Вчера... мы с тобой говорили... Так я был сильно пьян... В общем, пьяный я был, понял?

— И ты за семь верст с утра прискакал, чтоб мне это сказать?

— Да, за этим. То есть нет... То есть я хочу сказать, что в пьяном виде иногда не то говорю. А вообще-то я так не думаю. Вообще-то я...

— Я все понял, Паша, — тихо сказал Голубев и сам покраснел, смутившись.

— Понял? Ну и хорошо... — Прокурор попятился к двери, но остановился. — Нет, ты вообще-то не думай... Я не за себя... я за тебя... Если тебе партия говорит, что ты не прав, ты должен признать, что ты не прав.

— Ой-ой! — поморщился председатель и замахал руками. — Зачем ты это говоришь? Иди отсюда, иди.

Тут и прокурор покраснел и взялся за ручку двери.

— Паша! — остановил его Голубев. Тот обернулся. — Паша! — повторил председатель, волнуясь, и спустил ноги с кровати. — А ведь ты вчера все правильно говорил. Так неужели же только по пьянке?

— По пьянке, — разглядывая свой правый сапог, твердо сказал прокурор.

— Жаль, — сказал Голубев. — А ведь так хорошо говорил, теоретически так все ловко обосновал.

— Теоретически, теоретически, — передразнил прокурор. — Какая уж тут теория? Теоретически, может быть, так все и есть, а практически... а практически... а практически я боюсь! — закричал он и, замахав руками, выскочил из комнаты.

27

Стоял пасмурный день, взвешенная в воздухе изморось оседала на щеках и неприятно холодила руки. Клены вдоль заборов были еще зелены, но в зелени уже проглядывали красные пятна.

Засунув руки в карманы, лейтенант Филиппов шел напрямик через площадь. Он шел неторопливой походкой обремененного государственными заботами и знающего себе цену человека. Еще недавно, казалось, бегал вприпрыжку, как молодой человек, готовый расторопно выполнить любое приказание старших начальников. Но теперь, заменив безвременно ушедшего капитана Милягу, Филиппов сразу вроде бы повзрослел, подобрался, распрямил плечи, весь как-то переменялся, и перемена эта прежде всего отразилась на походке. В ней появилась та особая медлительность человека, сознающего, что, даже неспешно двигаясь, он всегда вовремя достигнет пункта своего назначения.

Он шел, задумчиво глядя прямо перед собой и как бы ничего не замечая, но на самом деле он видел все. Возле раймага жалась вдоль стен довольно длинная очередь за ишеном, которого не было, но должны были вот-вот привезти. И возле бани, превращенной в санпропускник, стояла большая очередь эвакуированных женщин и не по-здешнему нарядных, но потертых одеждах. Повернув за баню и направо, лейтенант прошел полквартала по Поперечно-Почтамтской улице и вышел к зданию, где помещались два райкома — партии и комсомола — и райисполком. У входа стоял милиционер, который строго спрашивал входящих, к кому и зачем. Филиппова он, конечно, ни о чем не спросил, но вытянулся

и отковырял. Кабинет секретаря райкома помещался на втором этаже, куда вела широкая лестница (райком помещался в здании бывшего Дворянского собрания) с широкой ковровой дорожкой посередине. А наверху на площадке стояли два больших гипсовых бюста — Ленина и Сталина — на фанерных постаментах, обтянутых красной материей. Лейтенант, шаркнув пару раз подошвами сапог об истертый пол, решительно ступил на дорожку, а бабка в ватнике, в бурках с галошами и с мешком за плечами спускалась ему навстречу, но не по дорожке, а сбоку от нее. Проходя через большую приемную, лейтенант поздоровался с секретаршей Ревкина Анной Мартыновной, пожилой интеллигентного вида женщиной в очках. Кроме Анны Мартыновны в приемной находилось довольно много народу. В основном это были солидные люди, мужчины и женщины (но в большинстве, несмотря на военное время, все же мужчины), которые сидели вдоль стен на сколоченных вместе стульях. Это были председатели колхозов, директора совхозов, начальники и заведующие какими-то отделами, то есть те самые люди, которые назывались командирами производства. Не будучи членами бюро, они не имели права участвовать в заседании последнего, но были вызваны — некоторые по делу, а некоторые просто на случай, если вдруг понадобится справка о работе возглавляемых ими производств.

Филиппов поздоровался только с Анной Мартыновной, а всех остальных вроде бы и не заметил и решительно, по-хозяйски рванул на себя дверь, обитую черным. Пройдя через небольшой тамбур, он открыл вторую дверь и оказался в кабинете первого секретаря.

В кабинете было густо накурено. Члены бюро — было их больше двух десятков — в полувоенных костюмах и в длинных гражданских пиджаках сидели кто за длинным столом, кто на кожаном диване возле стены, а двое стояли у крайнего окна и, вытягивая трубочкой губы, курили в открытую форточку.

Когда лейтенант входил, в комнате слышен был гул, как в бане, который при его появлении тут же прекратился. Только один из сидевших на кожаном диване, не видя Филиппова, продолжал говорить, что от туберкуле-

за лучшее средство собачий жир. Но его толкнули в бок, он оглянулся и тоже замолчал. И вскочил с дивана. Вскочили и его собеседники. Задвигались с грохотом стулья, и сидевшие за столом тоже встали. Лейтенант не понял, почему они так поспешно встают (он все же не совсем привык еще к новому своему положению), и оглянулся, думая, что за ним вошел кто-то еще. Но за ним никого не было. Он почувствовал даже, что слегка смущен. Пожалуй, из всех здесь собравшихся он был самый молодой, и ему было непонятно, отчего эти люди проявляют к нему такое почтение. Только Ревкин вскочил не сразу, а встал лишь после того, как Филиппов к нему приблизился. Привстав, он подал Филиппову руку и тут же сел на место, другие же все еще продолжали стоять, некоторые, впрочем, делали вид, будто поднялись размяться и сядут, когда им этого захочется. Лейтенант обошел присутствующих, пожал каждому руку. Он не всех еще знал, и некоторые называли ему свои фамилии, а он свою не называл, он уже понимал, что она им и так известна. Среди присутствующих были и три человека в форме: военком, начальник милиции и командир размещенного временно военного гарнизона. Филиппов не был членом бюро, но его пригласили, поскольку решались весьма серьезные для народа задачи.

28

Покуда собирался народ, первый секретарь райкома Андрей Еремеевич Ревкин, не обращая внимания на общий галдеж, готовился к предстоящему заседанию. Он перечитывал приготовленные проекты решений по тем или иным вопросам и там, где нужно, вносил исправления. Время от времени, не глядя и не поднимаясь, он совал кому-нибудь из вновь пришедших руку и опять углублялся. Иногда он нажимал кнопку звонка, и тут же бесшумно появлялась Анна Мартыновна. Пожилая высокая женщина в очках на бесстрастном лице, она каким-то чудом на расстоянии угадывала малейшее желание своего руководителя. Ревкин только протягивал в сторону руку, как в ней оказывалась та самая нужная бумага, которую он и хотел. Тут же он протягивал Анне Мартыновне другую бумагу, в которой необходимо было что-то пе-

репечатать, кратко вполголоса давал какие-то указания и одновременно наблюдал за пришедшими, подсчитывая, достаточно ли накопилось народу.

Люди, сходявшиеся сейчас в кабинете Ревкина, все вместе представляли собою руководящую верхушку района и принадлежали к так называемой номенклатуре. Ото всех прочих людей собравшиеся отличались тем, что каждый из них, не сомневаясь, брался руководить решительно и твердо тем, чем руководить его назначили. И овощеводством, и свиноводством, и любым производством, и любой наукой и искусством. И если случайно оказывалось, что в какой-то области человеческих знаний проявлял он некоторые способности или познания, то его тут же перекидывали в другую область, постепенно доводя до той, в которой он не смыслил ни уха ни рыла, где он, как в безбрежном океане, плыл, не имея перед собой никаких ориентиров, кроме той путеводной звезды, которая называлась Очередным Указанием. Воображаемая линия, соединявшая плывущего с этой звездой, называлась Линией Партии, которой и следовало держаться неукоснительно.

Уже, кажется, все собрались, а заседание не начиналось. Ждали кого-то еще. Уже поговорили о болезнях, о погоде, о вреде табака, о пользе витаминов, о многом, что никого из присутствующих совершенно не волновало, но ничего не говорили о том, что их действительно беспокоило: о положении на фронте, о слухах относительно возможной отмены брони для некоторых должностей, о карточках и о том, чем вообще живут люди. Вдруг на пороге появилась Анна Мартыновна.

— Андрей Еремеевич! — сказала она взволнованно.

Андрей Еремеевич опрометью кинулся к двери, а остальные приникли к окнам. И все увидели, как к парадному входу райкома мягко подкатил, сверкая лаком, роскошный «ЗИС-101». Это выглядело так, как если бы у причала мелкой речушки ошвартовался океанский лайнер. Подскочивший вовремя Ревкин распахнул переднюю дверцу, и навстречу ему, приветливо улыбаясь, вылез дородный мужчина в сером габардиновом плаще и в мягкой шляпе со слегка загнутыми вверх полями. Они трижды и почему-то взасос расцеловались, и при

этом приехавший похлопал Ревкина по спине, а Ревкин, хотя и считался близким другом приехавшего, его по спине не похлопал, но сделал приглашающий жест рукой, после чего приезжий неторопливо поднялся на крыльцо. Члены бюро моментально отпрянули от окон и заняли свои места, и на лицах их возникли улыбки, обращенные к двери, как будто они ожидали, что сейчас войдет знаменитая киноактриса или просто очень красивая женщина. Но вошла не женщина, вошел тот человек, который приехал на «ЗИС-101». Это был секретарь обкома товарищ Худобченко Петр Терентьевич. Улыбки собравшихся были обращены именно к нему, но не потому, что он пользовался уважением благодаря своим заслугам (о заслугах его мало кто чего знал), уважением пользовалась должность, которую он занимал. И если бы эту должность занимал какой-нибудь индюк или крокодил, то ему улыбались бы точно так же, как улыбались Худобченко.

Как только Худобченко появился в дверях, все тут же с грохотом встали. Но Петр Терентьевич предупредительно поднял руку.

— Сидите, товарищи, — сказал он на своем родном полуукраинском языке.

Тут же он снял с себя габардиновый плащ и шляпу и передал Ревкину, который повесил и то и другое на свою личную вешалку. Худобченко остался в полувоенном костюме и в хромовых сапогах. Верхняя пуговица френча с накладными карманами была расстегнута, из-под нее выглядывал ворот украинской рубахи.

— Ну шо, — сказал он, приглаживая свои редкие волосы, — кажется, я немного опоздал?

— Начальство не опаздывает, а задерживается, — пошутил Ревкин.

Вопрос был задан в расчете на этот шутливый ответ и встречен, как всегда, благосклонной улыбкой Худобченко и одобрительным смешком в зале. Это повторялось каждый раз, когда Худобченко опаздывал, а опаздывал он всегда.

Он опаздывал не потому, что слишком много было дел (хотя их у него было немало), и не потому, что был неорганизован и не успевал, он опаздывал намеренно, пола-

гая, что, чем дольше подчиненные ждут, тем больше уважают.

— Петр Терентьевич, прошу, — пригласил его Ревкин на свое место за столом.

— Нет-нет, — поднял руку Худобченко, — ты здесь главный, ты и сиди. А я гость, я уж тут, в уголочку.

И он сел «в уголочку» у окна в мягкое кожаное кресло, которое там специально для него и стояло.

А рядом с ним на стуле пристроился его помощник по общим вопросам Пшеничников, молодой, лет тридцати, человек с болезненно-бледным лицом. Про этого Пшеничникова говорили, что он знает чуть ли не шесть языков, имеет глубокие познания в физике, математике, экономике и отчасти во всех остальных науках. Говорили, что он не только помнит наизусть «Капитал» и «Анти-Дюринг», но и, хорошо разбираясь в местных проблемах, держит в голове все цифры показателей промышленного и сельскохозяйственного производства — от количества выплавленной по области стали до поголовья кур-несушек в каждом колхозе. Его называли ходячей энциклопедией, говорили, что с таким талантом надо выступать в цирке, но все понимали, что карьеры ему не сделать — со своими знаниями он был слишком незаменим в качестве консультанта.

29

— Ну что ж, товарищи, — оглядев присутствующих, сказал Ревкин. — Начнем, пожалуй.

Закрыли двери, отключили все телефоны, и началось закрытое, то есть тайное от других, или, говоря иными словами, подпольное заседание. Почему же закрытое, почему же подпольное, точно сказать не берусь, должно быть, такая сформировалась традиция. Как до революции партия заседала подпольно, так стала заседать и после.

Первым пунктом повестки дня был доклад Борисова «О ходе уборки зерновых».

И хотя все знали, что ввиду дождя никакого хода уборки несколько дней не было вовсе, Борисов прочел свой доклад с самым серьезным видом, и все с самым серьезным видом слушали. Были отмечены большие успехи, достигнутые тружениками села, но были также пе-

речислены и отдельные недостатки. И тут все знали, что недостатки были вовсе не отдельными, а, можно даже сказать, сплошными, но и эту часть доклада выслушали внимательно. В этой части Борисов раскритиковал одного председателя колхоза, который виноват был в том, что, послушно выполняя все решения, весной слишком рано засеял, а потом заморозки побили всходы. (У других, которые только отчитывались, что выполняют решения — как и сейчас на уборке, — а на самом деле не выполняли, теперь все было в порядке.)

Упомянул Борисов в числе отстающих и Ивана Тимофеевича Голубева, но тут же сообщил, что сегодня дело Голубева будет рассматриваться отдельно.

По ходу уборки было принято несколько довольно-таки глупых решений, не потому, что все заседавшие здесь были дураками и ничего в деле не смыслили, а потому, что высказывание деловых соображений требовало смелости, в то время как высказывание глупых соображений, наоборот, поощрялось.

От хода уборки перешли к вопросу о подготовке к зимовке скота. И этот вопрос решили самым оригинальным образом, из всех возможных вариантов выбрав наилучший, но какой именно, в памяти моей, к сожалению, не удержалось.

Затем опять поднялся Ревкин и объявил, что слово для сообщения имеет товарищ Филиппов.

Товарищ Филиппов встал, одернул гимнастерку. Он слегка волновался. Первый раз в жизни выступал он перед такой ответственной аудиторией. Он слышал, что опытные ораторы, чтобы речь их была гладкой и убедительной, из массы слушателей выбирают какое-нибудь одно лицо и обращаются именно к нему одному. Филиппов так и сделал. Из всех сидевших перед ним он выбрал одного, которого раньше где-то встречал, и говорил теперь, обращаясь как бы только к нему. Он начал с того, что здесь все коммунисты и поэтому в прятки играть нечего. Идет война, и война тяжелая. Пользуясь преимуществом первого удара, враг захватил значительные территории. И движется дальше. Красная Армия сражается с необычайной стойкостью, но иногда вынуждена отступать под натиском превосходящих сил противника.

В этих условиях как никогда становится важным вопрос о прочности тыла. Только при прочном тыле наши войска смогут удержать противника на занятых рубежах с тем, чтобы впоследствии перейти в решительное контрнаступление. Говоря о части общего тыла, ограниченной территорией данного района, лейтенант Филиппов охарактеризовал положение как в целом удовлетворительное. Трудящиеся района вершат чудеса трудового героизма под лозунгом: «Все для фронта, все для победы». Для фронта вяжутся теплые носки, собирается металлолом, жертвуются крупные суммы денег. Лейтенант поведал собравшимся о каком-то героическом колхознике, построившем на свои деньги тяжелый бомбардировщик.

Тут члены бюро задвигали стульями, зашевелились, закашляли. Невольно каждый из них подумал, что же это за колхозник и где он взял столько денег, и если бы кто-нибудь сказал им, что деньги этот колхозник заработал на трудодни, то все члены бюро могли бы умереть от внутреннего смеха. Но лейтенант Филиппов и сам знал, что на трудодни это было бы слишком, и он не стал уточнять, где взял эти деньги героический колхозник, важно, что он их отдал, а мог бы, не отдавая, держать в кубышке или в чулке.

При этом Филиппов смотрел почему-то на Бориса Евгеньевича Ермолкина, которому тут же показалось, что, может быть, Филиппов подозревает, что и он, Ермолкин, вместо того чтобы построить бомбардировщик или хотя бы какой-нибудь «кукурузник», держит деньги в чулке. Ермолкин тут же полез в карман, wygrеб из него все, что в нем было, а было всего-навсего четыре рубля с мелочью. Эти деньги Ермолкин держал на раскрытой ладони, как бы показывая, что больше у него нет ни копейки, но если на эти четыре рубля с мелочью можно построить какой-нибудь, небольшой пусть, бомбардировщик, то он, Ермолкин, будет этому только рад.

Лейтенант Филиппов привел и другие примеры беззаветного героизма, но одновременно с этим отметил (и при этом опять посмотрел на Ермолкина), что среди работников тыла, и в частности среди населения данной местности, существуют и определенные негативные явления. Среди наиболее отсталой части населения, ска-

зал Филиппов, ходят самые нелепые слухи, возможно, возбуждаемые и распространяемые скрытыми враждебными элементами (и опять взгляд на Ермолкина).

К таковым относятся и слухи о так называемой банде Чонкина.

Лейтенант подтвердил, что такая банда действительно существовала, но она полностью разоблачена и обезврежена, а сам Чонкин в ожидании справедливого и сурового суда сидит в тюрьме.

— Дело не в Чонкине, — объяснил лейтенант. — Я думаю, что здесь все коммунисты и все умеют держать язык за зубами. И я скажу по секрету: в нашем районе действует враг пострашнее Чонкина. Это некий Курт, личный агент немецкого обершпиона адмирала Канариса.

При слове «Курт» Ермолкин съёжился. Он сразу вспомнил, что об этом Курте совсем недавно его спрашивал подполковник Лужин. Честными глазами Ермолкин уставился на Филиппова, всем своим видом показывая, что к упомянутому Курту никакого отношения не имеет. Но лейтенант Филиппов в свою очередь пристально смотрел на Ермолкина. Ермолкин не выдержал и, выдавая себя с головой, отвел глаза и посмотрел на военкома Курдюмова. Курдюмов, решив, что Ермолкин подозревает его, посмотрел на лектора Неужелева, цепная реакция страха распространилась среди присутствующих, каждый из которых в реальность существования Курта не верил, но не имел никаких доказательств, что он и Курт не одно и то же лицо.

Впрочем, лейтенант Филиппов, кажется, никого конкретно все-таки не подозревал. Он только объяснил, что один шпион может нанести нашему государству урон больший, чем полк или даже дивизия, и попросил присутствующих проявлять максимальную бдительность, не разглашать государственных и военных тайн, присматриваться к окружающим и, если возникнут хоть малейшие сомнения или подозрения, немедленно обращаться с ними Куда Надо.

Среди людей, собравшихся в приемной, находился и председатель Голубев. Он сидел под дверью Ревкина на

одном из сбитых в ряд стульев и, положив ученическую тетрадь на полевую сумку, составлял тезисы будущих ответов на всевозможные обвинения.

Поэту, который возьмется всесторонне воспеть нашу действительность, никак нельзя пройти мимо темы ПЕРСОНАЛЬНОЕ ДЕЛО.

Персональное дело — это такое дело, когда большой коллектив людей собирается в кучу, чтоб в порядке внутривидовой борьбы удушить одного из себе подобных сдур, по злобе или же просто так.

Персональное дело — это как каменная лавина: если уж она на вас валится, вы можете объяснять ей все что хотите, она пришибет.

Голубев хорошо это знал, когда дело касалось других. Но теперь он совершал ошибку, которую тысячи людей совершали до него и тысячи совершат после. Он готовил ответы на те вопросы, которые ему, может быть, зададут, наивно надеясь, что в данном конкретном случае почему-то возьмут верх его доводы и соображения здравого смысла.

Персональных дел было назначено несколько. Тут же рядом с Голубевым сидел пожилой учитель местной школы Шевчук, маленький человек с красными склеротическими прожилками на щеках. Он был в очках, в стеганых ватных бурках с галошами и в залатанной телогрейке, подпоясанный узким ремнем. На коленях он держал старый буденновский шлем, одно ухо которого было оторвано. Голубев Шевчука знал случайно, как-то познакомились в чайной. Вид у него был испуганный, он мял руками буденовку и как бы сам для себя бормотал:

— Буду каяться... каяться буду... А вы как считаете? — обратился он к Голубеву.

Голубев пожал плечами.

— А что делать? — продолжал бормотать Шевчук. — У меня же детишек четверо. Дочку замуж выдал, а остальные вот. — Он показал рукой примерный рост остальных.

— За что вас? — спросил Голубев.

— За язык, — сказал Шевчук и для убедительности высунул язык и показал на него пальцем.

Голубев думал, учитель расскажет, что именно случилось с его языком, но тот замолчал, уставясь в одну точку.

Тут же были еще два персональщика. Один, парторг из колхоза имени XVII партсъезда Коняев, и другой, Голубеву неизвестный. Первый обвинялся в том, что растратил партийную кассу, а второй кого-то изнасиловал. Эти оба сидели с отрешенными и напряженными лицами, ни с кем в разговор не вступая.

Первым вызвали Коняева. Он там пробыл недолго и вышел в приемную, крестясь как бы понарошке.

— Что тебе? — спросил Голубев.

— Выговор, — сказал Коняев.

— А разговаривали строго? — спросил Шевчук.

Коняев смерил его взглядом и ответил сквозь зубы:

— А я врагам народа не отвечаю.

Шевчук от растерянности съежился и замолчал. Вторым вышел тот, который насиловал. Он был поразговорчивее.

— Не бойся, — сказал он Шевчуку, пряча партбилет в карман гимнастерки. — Там тоже люди сидят, не звери.

Выглянула секретарша:

— Шевчук, зайдите.

— Ой, батюшки! — встрепенулся Шевчук. Он вскочил на ноги и уронил очки. Нагнулся, чтобы поднять, но потерял равновесие и наступил на них. Вконец растерявшись, он стал подбирать осколки.

— Товарищ Шевчук, — сказала секретарша, — оставьте, это и без вас уберут. И вы, товарищ Голубев, тоже можете зайти.

Голубев зашел следом за Шевчуком в кабинет, затянутый дымом. Поздоровался, но никто ему не ответил. Только прокурор Евпраксеин как-то неопределенно кивнул головой и, покраснев, отвернулся. Следом за Шевчуком Голубев сел на один из свободных стульев у стены.

31

— Итак, товарищи, — сказал Ревкин, — нам осталось выслушать два персональных дела — товарищей Шевчука и Голубева. Товарищ Шевчук здесь?

— Здесь! — Шевчук вскочил.

— По этому делу докладчик у нас... товарищ Бабцова?

— Да, — сказала Бабцова, полная женщина в темно-синем жакете. Она была секретарем парторганизации в школе, где работал Шевчук.

Она вышла вперед к столу Ревкина и, стоя рядом с ним, зачитала историю преступления Шевчука.

22 июня, гуляя на свадьбе своей дочери и узнав о нападении фашистской Германии на нашу страну, Шевчук допустил политически незрелое высказывание. Товарищи из партийной организации школы, учитывая добросовестную в прошлом работу товарища Шевчука, предложили ему составить объяснительную записку и в письменной форме осудить свое выступление. Таким образом, товарищи проявили чуткость и терпимость к члену своей парторганизации. Шевчук, однако, оттолкнул протянутую руку и писать объяснение отказался. Невольно у товарищей зародилось сомнение, что высказывание Шевчука не плод политической незрелости, а продуманная линия. Проявляя, однако, гуманность и действуя в духе товарищества, коллеги на очередном партийном собрании еще раз просили Шевчука осознать свою ошибку и признать, что, хотя его высказывание, может быть, и не носило намеренно провокационного характера, объективно оно льет воду на мельницу наших врагов. Надо сказать, что под давлением товарищей Шевчук несколько смягчил занятую им позицию. Но в основном продолжал упорствовать в своих заблуждениях, считая, что он все-таки ничего особенного, как он выразился, не сказал. Из всего изложенного партийная организация школы выводит убеждение, что товарищ Шевчук не разоружился перед партией и потому не может в дальнейшем носить высокое звание коммуниста. Собрание вынесло решение об исключении т. Шевчука из рядов ВКП(б) и просит райком утвердить это решение.

— Все? — спросил Ревкин.

— Все, — сказала докладчица, складывая очки. Помолчали. Было слышно, как скрипит перо секретарши, которая вела протокол. Ревкин подождал, пока она кончит писать, и повернулся к обвиняемому:

— Шевчук, вы хотели что-нибудь объяснить, дополнить?

— Да, — сказал Шевчук, еле двигая деревянными губами, — я... собственно говоря... полностью признавая допущенную ошибку, хочу тем не менее обратить внимание товарищей, что мое высказывание никакого враждебного умысла не содержало.

— Как это не содержало? — вскинулся Борисов. — Что ж, это, может быть, коллектив вашей организации не прав?

— А что он сказал? — раздался голос с места.

— Что он сказал? — повторил второй голос.

— Да, что он сказал? — настаивал и третий голос.

— Пусть повторит!

— Я, собственно говоря, ничего особенного...

— Что значит ничего особенного? А ну-ка повтори, что ты сказал!

— Я, товарищи, когда услышал о нападении Германии...

— Фашистской Германии, — поправили его с места.

— Да-да, разумеется. Именно фашистской. Услышав об этом, я сказал: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» И все.

— Ничего себе все, — покачал головой лектор Неужелев.

— Да уж, — согласился с ним сидевший рядом военком Курдюмов.

— Значит, ты считаешь, мало сказал? — спросил Борисов. — Побольше б надо было, а? — Он хитро подмигнул Шевчуку.

— Да что вы! — Шевчук прижал руку к груди. — Я не в этом смысле.

— Ну, не в этом, — не поверил Борисов. — Ты что же думаешь, дети тут собрались из детского сада? Нет, брат, тут все стреляные воробьи, и нас на мякине не проведешь. И каждому из нас отлично понятно, что именно ты хотел сказать этими своими словами. Ты хотел сказать, что страна наша вступила в войну неподготовленной, ты хотел бросить тень на мудрую политику нашей партии и умалить личные заслуги товарища Сталина. А теперь будешь нам сказки рассказывать, он, мол, не в этом смысле.

— Между прочим, — подал реплику военком, — если не ошибаюсь, поговорка насчет Юрьева дня родилась во время введения полного крепостного права.

— Именно так, — подтвердил лектор Неужелев.

— Так вот ты еще на что намекал, на то, что у нас, мол, еще крепостное право к тому же!

— Да нет... да я же...

— Товарищ Борисов, — вмешался Ревкин, — то, что вы сказали, можно считать вашим выступлением?

— Да-да, — сказал Борисов.

— Товарищи, попрошу по порядку. Какие еще будут мнения?

— Разрешите мне, — поднялся прокурор Евпраксеин. Устремив взгляд куда-то вдаль, он начал не торопясь: — Товарищи, всем известно, что наш строй самый гуманный строй в мире. Но наш гуманизм носит боевой, наступательный характер. И проявляется он не в скупости и всепрощении, а в непримиримой борьбе со всеми проявлениями враждебных нам взглядов. Вот перед нами стоит сейчас жалкий человек, который что-то лепечет, и было бы естественным человеческим движением души пожалеть его, посочувствовать. Но ведь он нас не пожалел. Он родину свою не пожалел. Я прошу заметить, товарищи, что он эту фразу, которую у меня даже язык не поворачивается повторить, сказал не когда-нибудь, не двадцать первого июня и не двадцать третьего, а именно двадцать второго и в тот самый час, когда люди наши с чувством глубокого негодования услышали о нападении фашистской Германии на нашу страну. Вряд ли, товарищи, это можно считать случайным совпадением фактов. Нет! Это был точно рассчитанный удар в точно рассчитанное время, когда удар этот мог бы нанести нам максимальный ущерб. — Прокурор помолчал, подумал и продолжал с грустью: — Ну что ж, товарищи, не первый раз приходится отражать нам наскоки наших врагов. Мы победили белую армию, мы выстояли в неравной схватке с Антантой, мы ликвидировали кулачество, разгромили банду троцкистов, мы полны решимости выиграть битву с фашизмом, так неужели же мы не справимся еще и с Шевчуком?

Среди присутствующих прокатился шум, означавший: да, как ни трудно, а справимся.

Пока прокурор произносил свою речь, Ермолкин дергался и ёрзал на стуле. Ему казалось, что все, включая Худобченко, Ревкина и Филиппова, время от времени

пытливо поглядывают на него, определяя, как он относится к происходящему, не сочувствует ли Шевчуку как возможному единомышленнику.

Не успел прокурор сесть на место, как Ермолкин вскочил на ноги, ему еще никто не давал слова, а он уже заговорил. Вероятно, он тоже хотел сказать какую-нибудь достойную речь, чтобы присутствующие могли оценить правильность и твердость его мировоззрения.

— С большим трудовым подъемом встретили труженники нашего района... — начал он, но тут же, видимо от волнения, сбился с толку, потерял нить, впал в истерику и стал выкрикивать что-то о каком-то мальчишке трех с половиной лет, которого вроде Шевчук хотел не то убить, не то зарезать, но и этого не договорил, задергался еще больше и стал выкрикивать «мерзавец» и «сволочь». Он бился в конвульсиях, брызгал слюной...

— Борис Евгеньевич, что с вами? — с места забеспокоился Ревкин.

— Мерзавец! — продолжал колотиться Борис Евгеньевич. — Сволочь! Мой сын... Ему три с половиной года...

— Боря! Боря! — подбежал к нему Неужелев. — Прошу тебя, успокойся. Выпей воды. Я понимаю, тебе обидно. Нам всем обидно. Самое святое... За что мы боролись... За что сегодня кровь проливаем на всех фронтах... Но я тебе обещаю, Боря, мы нашу советскую власть в обиду никаким Шевчукам не дадим.

Принесли воды. Подождали, пока Ермолкин успокоится.

— Продолжим, товарищи, — вернулся Ревкин к прерванной теме. — Тут Борис Евгеньевич выступал, может быть, с излишней горячностью, но, по существу, он прав. И по-моему, с этим вопросом все ясно.

— Уж куда яснее, — поддержал Борисов.

— А мне не ясно!

В дальнем углу, с грохотом отодвинув стул, поднялся Вениамин Петрович Парнищев, директор элеватора. Это был огромного роста мужчина, широкоплечий, с выющимися волосами, падавшими на лоб.

— Как не ясно! — всполошился Борисов. В его голосе чувствовалось и удивление, и беспокойство, что дело может принять неожиданный оборот, и угроза, что,

мол, если кому не ясно, то при случае можем и разъяснить.

— Мне не ясно! — отменяя угрозы, повторил Парнищев. — Товарищ Борисов у нас, может быть, умный, он во всем с ходу разбирается, а я глупый, я с ходу не разбираюсь. И я скажу так. Тут некоторые, я вижу, нервные, слишком торопятся, закатывают истерику и порют горячку. А речь, между прочим, идет не о чем-нибудь, а о судьбе человека. Че-ло-ве-ка! — по складам повторил Парнищев и потряс над головой указательным пальцем. — И решить эту судьбу, не разобравшись во всем как положено, мы не имеем права. Вот я, товарищи, с этим человеком... как тебя?

— Шевчук, — напомнил учитель с готовностью.

— Так вот, с этим Шевчуком я лично вообще не знаком. Ну, может, где виделись, на улице или в кино, я не помню. Так что до сегодняшнего дня мне было, как говорится, до фени, живет ли где-то подобный Шевчук или нет. Но тут я послушал все это дело и вот чего я понять не могу. Ведь ты же, — обратился он к Шевчуку, — советский человек?

— Советский, — поспешно согласился Шевчук.

— Коммунист?

— Коммунист, — подтвердил Шевчук.

— Так как же ты мог это сделать? — громовым голосом спросил Парнищев.

— Что сделать? — робко спросил Шевчук. Он был явно растерян. Ему казалось, что Парнищев каким-то хитроумным способом стремится его защитить, и Шевчук хотел подыграть Парнищеву, но не знал как.

— Ты, Шевчук, тут вот что, ты брось тут из себя целку, извините за выражение, строить. Тут собрались твои товарищи, обеспокоенные твоей же судьбой. Ты посмотри, здесь почти все руководители района. Даже сам товарищ Худобченко лично приехал. Они оторвались от важнейших дел только для того, чтобы послушать тебя, а ты, ты...

Парнищев раскраснелся, глаза его вылезли из орбит, и он пел вдохновенно, как соловей.

Шевчук во все глаза смотрел на Парнищева, но не мог понять, защищает он его или топит.

— Да я... — начал было Шевчук, но Парнищев махнул рукой, перебивая:

— Подожди ты «да я». Доякался! Ну, я понимаю, допустим, не желаешь ты быть коммунистом, не желаешь быть советским человеком...

— Я желаю! — страстно сказал Шевчук, прикладывая руки к груди.

— Но сейчас, — продолжал Парнищев, не слыша, — в такое тяжелое для нашей страны время ты мог бы вспомнить хотя бы о том, что ты — русский. Вот, товарищи, — перешел Парнищев на элегический тон, — читал я тут как-то в газете про одного графа или князя из недобитых белогвардейцев, который сейчас проживает в Париже. И вот этот человек, который люто ненавидел советскую власть, сейчас решительно отказался сотрудничать с немцами. «Сейчас, — сказал он, — когда над родиной нависла черная туча, я не граф, не антибольшевик, сейчас я прежде всего русский человек!»

В зале захлопали. Всем было ясно, что Шевчук стоит гораздо ниже этого графа.

— Вот что, Шевчук, — продолжал Парнищев. — Ты совершил грязный и нехороший поступок. Так имей же мужество его признать, и я первый обниму тебя как брата. — Расставив широко руки, Парнищев даже сделал шаг к Шевчуку, но тут же вернулся и сел на место. — У меня все, товарищи, — тихо сказал он.

Все молчали и смотрели на Шевчука. Шевчук, переступая с ноги на ногу, мял в руках выдавшую виды буденовку с одним ухом.

— Ну что ж, товарищи, — сказал Ревкин, — мы Шевчуку дали высказаться. Вы сами слышали, что он тут сказал. Он не хочет признать ошибочность своих высказываний...

— Хочу! Хочу! — чуть ли не рыдая, закричал Шевчук.

— Ах так! — удивился Ревкин. — Ну что ж, товарищи, послушаем.

Шевчук встал, подошел к столу и вцепился пальцами в сукно.

— Ну! — подбодрил его Ревкин.

— Товарищи! — неожиданно четко начал Шевчук. — Я совершил позорный для коммуниста поступок. В пер-

вый день войны, услышав поразившее меня сообщение, я смалодушничал, и у меня вырвались слова известной русской поговорки: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» Это было ошибочным, политически незрелым выступлением. Я понимаю, что в конкретной обстановке некоторым товарищам мое выступление могло показаться враждебным...

— Что значит «могло показаться»? — перебил военком.

— То есть я хотел сказать, что объективно мое высказывание, может, и выглядит... но я не хотел...

— Он не хотел, — недоверчиво покачал головой Неужелев.

— Да уж, — сказал Курдюмов.

— Ты вот что, Шевчук, — сказал Борисов как будто благожелательно. — Если уж стал признаваться, то не вилляй. Здесь все свои, здесь слышали многое, давай вали все, как есть. А то хотел, не хотел. Мало ли кто чего хотел. Я, может, сейчас хотел бы с бабой на перине кувыркаться, а приходится вот с тобой тут возиться. А то еще хотел, не хотел. У нас вон за тобой еще какая очередь, а ты нам мозги мутишь. Начал говорить, так говори до конца: выступление мое было политически незрелым, клеветническим и объективно направлено против партии. Так?

— Так, — еле слышно подтвердил Шевчук.

— Ну вот, — повернулся Борисов к другим членам бюро, — вот видите, товарищи, Шевчук во всем признался. А тут еще некоторые сердобольные и добренькие находились, которые хотели ограничиться выговором. Какой тут выговор, товарищи, когда дело пахнет вражеской вылазкой, политической провокацией. И не мы должны Шевчуком заниматься, а, я прямо скажу, вон товарищ Филиппов.

Борисов сел. Шевчук продолжал стоять, бледный как полотно. Он оглянулся на Парнищева, но тот обнимать его как брата не спешил.

— Ну ладно, — переглянувшись с Худобченко, тихо сказал Ревкин. — Вопрос насчет того, кого передавать товарищу Филиппову, мы с вами пока решать не будем, а Шевчука накажем нашей властью. Я думаю, что после всего сказанного правильно будет подтвердить решение

собрания коммунистов школы об исключении Шевчука из партии.

— Как подтвердить? — вдруг подала голос Раиса Семеновна Гурвич, главный врач больницы. — Разрешите мне два слова? — попросила она, поднимаясь.

Ей разрешили.

— Товарищи, — сказала она волнуясь, — я просто в ужасе от того, что я здесь услышала. У меня волосы буквально становятся дыбом. Я ничего не могу понять. Моя дочь Светлана учится в седьмом классе той же школы, где преподавал вот этот товарищ или гражданин... не знаю, как его назвать. Мы с мужем всегда воспитывали Светочку в духе наших идей, всегда прививали ей любовь к родине, к партии, к товарищу Сталину. Мы верили, что и педагоги учат нашу девочку тому же. А теперь я вижу — вот кто ее учит. Товарищи, я не понимаю, как же это можно было доверить воспитание наших детей такому человеку? Как он мог с такими взглядами пробраться в нашу советскую школу? И кто ему в этом помог? Ведь если он сказал такое, — закричала она, — в тот день, когда все советские люди... то что же он говорил раньше? Нет, товарищи, исключить Шевчука, конечно, не трудно, но этого мало. Мало! Надо проверить весь педагогический коллектив, дирекцию школы, выяснить, как сложилась такая нездоровая обстановка, в которой мог безнаказанно действовать этот Шевчук. Я думаю, товарищи, нам надо направить в школу партийную комиссию. И выяснить все нездоровые элементы, которые там могут быть. Иначе, например, я лично, как мать, просто не смогу отпустить свою девочку в школу. Пусть лучше она не получит никакого образования, чем она получит... чем она получит... Простите, я не могу, — сказала Раиса Семеновна сквозь слезы и села, закрыв лицо руками.

Речь Раисы Семеновны произвела впечатление — все загудели. Ревкин постучал карандашом по графину.

— Раиса Семеновна, безусловно, права, — сказал Ревкин. — Похоже, что в школе, где преподавал Шевчук, сложилась крайне неприглядная обстановка. Видимо, руководство школы утратило всякую бдительность. И нас это не может не беспокоить. Ведь именно школа

призвана воспитывать нашу смену. Именно в школе закладывается нравственный фундамент нового человека. И мы не можем относиться безразлично к тому, кто закладывает этот фундамент. И мы к этому в ближайшее время вернемся. А пока, товарищи, не будем отвлекаться и покончим с этим делом. Итак, есть предложение подтвердить исключение из партии. Другие мнения есть? Нет? Голосуем. Голосуют только члены бюро. Кто за? Кто против? Воздержавшихся нет? Принято единогласно. Товарищ Шевчук, у вас билет с собой?

Шевчук молчал, вцепившись в сукно и глядя прямо перед собой.

— Шевчук, я вам говорю! — повысил голос Ревкин. — Положите билет на стол.

Шевчук вдруг вытаращил глаза, приподнялся на носки, странно, со свистом и даже с каким-то гулом втянул в себя воздух и попятился назад, таща за собой скатерть со всеми графинами, стаканами, пепельницами и чернильными приборами.

— Товарищ Шевчук! — закричал Ревкин. — Вы что делаете? Остановитесь!

Но на лице Шевчука появилось отрешенное и злобное выражение. Он продолжал пятиться, одновременно все более клонясь назад, а на губах его розоватыми пузырями вскипела пена. Кто-то вскочил на ноги. Кто-то, сидевший на другой стороне стола, ухватился за скатерть, пытаясь ее удержать. Скатерть треснула. Упал графин. Зазвенело стекло. И вдруг Шевчук с клоком сукна в руках, не подгибая колен, ровно, как столб, опрокинулся навзничь. Громко хрустнул затылок.

Члены бюро повскакивали на ноги и, вытянув шеи, смотрели на распростертое жалкое тело. Шевчук лежал, держа перед собою двумя руками клочок сукна и буденовку, словно торговал ими.

— Кто-нибудь из медиков есть среди нас? — растерянно спросил Ревкин. — Раиса Семеновна!

Раиса Семеновна наклонилась над телом, и стоявшим сзади стали видны ее толстые ляжки, туго обтянутые резинками голубых трикотажных рейтуз.

— Пульса нет, — сказала Раиса Семеновна, с трудом разгибаясь.

Сделали перерыв, вызвали «скорую помощь», которая доставила Шевчука в морг при местной больнице. Ревкин пригласил Худобченко пообедать, но тот, посмотрев на часы, сказал, что ему некогда, и в сопровождении своего консультанта, ни с кем не попрощавшись, пошел к машине.

Ревкин догнал его в коридоре.

— Петр Терентьевич, — сказал он, семена рядом с Худобченко, — мне очень жаль, что так получилось.

— Та брось, — махнул рукой Худобченко. — Ты тут ни при чем. Никто же не знал, что у него такое слабое сердце.

— Ну так, может, все же пообедаешь с нами?

— Не, не, не могу, друже, дела, — решительно отказался Худобченко. — Иди продолжай заседание, а меня провожать не нужно.

Он пожал Ревкину руку, но без обычного дружелюбия, и пошел дальше. Ясно было, что он хочет устраниться от происшедшего. Проводив Худобченко взглядом, Ревкин постоял на лестнице и стал подниматься обратно. Тут на него чуть ли не налетел Борисов с какими-то бумагами в руке.

— Ты куда? — спросил его Ревкин.

— Да я... вот... тут... — Борисов растерялся и прятал глаза. — Вот, — наконец нашелся он. — Петр Терентьевич забыл. — И кинулся мимо Ревкина вниз по лестнице.

Быстро поднявшись к себе, Ревкин увидел в окно, как Борисов, стоя раздетый на холодном ветру, совал бумаги Худобченко, садившемуся в машину. По тому, как Худобченко принимал из рук Борисова эти бумаги, ясно было, что он их не забывал, что он их видит впервые.

«Что-то против меня, гад, написал», — подумал Ревкин о Борисове.

Потом уже стало известно, что в то утро, перед заседанием бюро, Борисов попрощался с женой и дочерью и жене сказал, уходя: «Ну, Манька, иду на страшное дело. Теперь или грудь в крестах, или голова в кустах».

Борисов вернулся в кабинет. Ревкин пытливо посмотрел на него, но тот снова отвел глаза.

— Ну что ж, товарищи, — вздохнув, сказал Ревкин, — у нас тут произошла неприятная история, я надеюсь, что

она останется между нами. Я не хотел бы вас пугать, но предупреждаю: каждый, кто вздумает болтать о том, что здесь произошло, будет привлечен к партийной ответственности. А теперь продолжим. На очереди у нас персональное дело товарища Голубева. По этому вопросу слово имеет товарищ Чмыхалов. Давай, Чмыхалов, только покороче, мы и так, — он посмотрел на часы, — задержались.

Поднялся Чмыхалов. Немного смущенный случившимся, он, глядя в бумагу, пробубнил обвинения против Голубева. Они сводились в общем к тому, что Голубев с некоторых пор стал игнорировать решения партийных органов, товарищескую критику воспринимал болезненно, в конце концов дошел до того, что сорвал намеченный райкомом срок уборки. Когда ему на это было указано, Голубев отвечал грубо, в присутствии беспартийных колхозников отпускал язвительные замечания, тем самым дискредитируя в глазах масс руководящую роль партии.

Голубеву вспомнилось: был он в прошлом году в большом городе. Машина сбила пешехода. Движение остановилось. Сбежался народ, подъехали милиция и «скорая помощь». Сбитого увезли. Промеряли что-то рулетками. Засыпали кровь песком. Подмели. Регулировщик взмахнул палкой, и движение восстановилось. И так же катили сплошным потоком машины. И так же торопились прохожие. Словно ничего не случилось. Голубев вспомнил Шевчука. Он лежал у стола, будто сбитый машиной. «Господи! — думал Голубев. — Вот и я помру когда-нибудь от страха перед начальством...»

— Голубев! — дошло до его слуха. — Вы что, оглохли?

Голубев поднял голову и увидел, что все глаза устремлены на него.

— Товарищ Голубев, — повторил Ревкин, — я вас спрашиваю в третий раз, хотите ли вы что-нибудь сказать?

— А чего говорить? — спросил Голубев.

— Как — чего? Вы слышали выступление Чмыхалова? Хотите что-нибудь возразить по поводу сказанного?

— Можно и возразить, — подумав, сказал Голубев.

— Только покороче, — вставил Борисов.

— Можно и покороче, — согласился Голубев.

Вскочил Неужелев.

— Товарищи, я предлагаю установить регламент. Мы тут и так много времени потеряли.

— Какой регламент вы предлагаете? — спросил Ревкин.

— Пять минут.

— Пять много, — заметил Борисов, — достаточно трех.

— Товарищ Голубев, — повернулся к нему Ревкин, — хватит вам трех минут?

— Еще и останется. — Голубев встал, медленно пошел к первому секретарю. — Вот, получите, — сказал он и, положив партбилет на стол перед Ревкиным, пошел к выходу.

— Товарищ Голубев! Товарищ Голубев! — закричали вместе Ревкин и Борисов.

Голубев махнул рукой и вышел за дверь. Члены бюро растерянно переглядывались, не зная, как реагировать на столь неожиданный поступок.

— Это провокация! — вдруг не своим голосом завопил Неужелев. — Мы должны его немедленно остановить!

Борисов, не дожидаясь дальнейшего развития событий, кинулся вслед за Голубевым. Он догнал его уже на улице, где Голубев, отвязав свою лошадь от забора, влезал в двуколку.

— Иван Тимофеевич! — Выбежав без пальто и шапки, Борисов дрожал. — Иван Тимофеевич, ты чего это?

Иван Тимофеевич взгромоздился на двуколку и разобрал вожжи. Лошадь сразу пошла, но он ее придержал и выжидательно смотрел на Борисова.

— Вернись! — призывно сказал Борисов.

Голубев смотрел на него, не говоря ни слова.

— Вернись, Тимофеич, — просил Борисов. — Никто твоей крови не хочет. Ну пожурим малость, ну покаешься, на том и сойдемся.

— В чем каяться? — спросил Голубев.

— В чем-нибудь, — сказал Борисов быстро. — Только не доказывай ничего насчет погоды и объективных условий. Скажи, виноват, запил.

— Значит, пьянство прощается? — спросил Голубев.

— Пьянство можно простить, — сказал Борисов. — Лишь бы все политически правильно было.

— Теперь все ясно, — сказал Голубев, щелкнул лошаадь концом вожжи. — Но-о!

— Да погоди ты, — бежал рядом Борисов, хватаясь за борт двуколки.

— Отойди, говорят! — Голубев замахнулся кнутом.

Лошадь рванула, Борисов отлип. Когда Борисов вернулся в райком, там царила полная растерянность. Обсуждали, что делать. Парнищев предложил:

— Раз он сам положил билет, у нас нет другого выхода, как принять его.

Вскочил Неужелев.

— Нет, товарищи, так нельзя. Это будет политической ошибкой. Мы, товарищи, не можем допустить, чтобы коммунисты кидались самым дорогим для нас документом. Мы должны заставить Голубева взять партбилет обратно. А вот когда он его возьмет, тогда мы его и... — Неужелев сделал хищный хватающий жест рукой.

— Правильно, — сказал Ревкин. — Думается, что Неужелев дело говорит. — (Неужелев скромно потупился.) — Давайте запишем примерно такое решение. Первое: осудить недостойное поведение коммуниста Голубева и указать ему на недопустимость небрежного обращения с партийным билетом. Второе: обязать товарища Голубева принять обратно партийный билет. Выполнение поручить... — Он поднял голову и встретился глазами с Борисовым. — Вот товарищу Борисову и поручим, — завершил он злорадно. Борисов покорно наклонил голову.

33

Пора нам изобразить и свою птицу-тройку. Да где же ее возьмешь? Пусть заменой ей будет крытая полуторка с военным номером на бортах. Она мотается по всем дорогам в пределах расположенного на территории области военного округа. Когда несется она по пустынной дороге, из полуторки доносится визг поросят и ошалелое кудахтанье кур.

Экипаж полуторки, состоящий из трех человек, не считая шофера, чем-то напоминает концертную бригаду, обслуживающую удаленные от центра населенные пункты. Представления, которые дает эта бригада, и похожи на концерты или, точнее, на короткие драмати-

ческие спектакли с одним и тем же финалом. Но это не концертная бригада, это выездная коллегия Военного трибунала, это тройка. Впереди рядом с шофером сидит председатель, полковник Добренский, приятного вида человек с сизым носом на полном лице. Николай Спиридонович жизнелюб. Любит пить горилку, «шутковать», «спивать песни», равнодушен к женскому полу. «Худых не люблю, — говорит он. — Люблю таких, шоб было за шо учепиться». К подсудимым относится отечески, часто называя их не подсудимыми, а сынками. «Ну шо ж, сынок, я вижу, Родина тебя вырастила, воспитала, а ты ее предал, як отой Иуда за тридцать серебряных копеек». И приговор в двух вариантах: расстрел или штрафная рота. И похоже, что приговоры эти не оставляют никакого следа в душе Николая Спиридоновича. Вечером того же дня, если попадется хорошая «душевная» компания, он с удовольствием выпьет, закусит и заспавает:

Ой ты, Галю, Галю молодая,
Подманулы Галю, забралы з собою...

При этом он дирижирует подпевающими, подмигивает и недовольно морщится, если кто фальшивит.

В крытом кузове на скамеечке спиной к кабине сидят коллеги Добренского: два мрачных типа, Целиков и Дубинин. Тут же на полу подпрыгивают мешки. Мешок муки, мешок гороха, мешок картошки. И мешки с живностью: с поросенком, с курами, с гусями.

Бригада разъезжает по территории военного округа с заданием «оперативного осуществления социалистической законности в условиях военного времени». Она судит дезертиров, самострельщиков и прочих военнo-обязанных, уклоняющихся от священного долга защиты отечества. Еще оперативней всех этих людей можно было бы расстреливать на месте без суда, но тогда где бы члены трибунала брали картошку, муку, поросят и прочее?

А ведь из-за всего этого задерживаться приходится то в одной местности, то в другой. И никак до Долгова добраться не могут.

Но вот уж как будто едут.

Едут! Едут! Не так ли и ты, Русь... впрочем, это, кажется, кем-то было уже написано.

А навстречу полуторке, оставляя за собой вихрящуюся полосу пыли, птицей летит «ЗИС-101», и земляк Добренького, товарищ Худобченко, отворачивая текст от шофера и от сидящего сзади консультанта Пшеничникова, знакомится с документом, врученным ему в Долгове Борисовым.

«...как честный коммунист, считаю своим долгом довести до Вашего сведения, что в нашем районе идейно-воспитательная работа среди населения находится на угрожающе низком уровне...

...некий Чонкин при содействии своей сожительницы Беляшовой... оперативную группу из семи человек под командованием лейтенанта Филиппова...

...только с помощью воинской части удалось...

...последствия чего и доньше возбуждают нездоровый интерес среди отсталой части населения района и порождают разнообразные слухи... якобы капитан Миляга... Все это, без сомнения, отрицательно сказывается на авторитете органов... как и многие коммунисты района, считаю необходимым провести тщательное... и укрепить партийные кадры...»

Между тем полковник Добренький и товарищ Худобченко приближались друг к другу со скоростью, равной сумме скоростей их машин. И вот уже «ЗИС-101» и полуторка поравнялись и остановились, загородив всю дорогу. Добренький выпрыгнул на дорогу, а Худобченко поманил его пальцем.

— Дэ путь держишь, козаче? — спросил Петр Терентьевич, доброжелательно глядя на опухшее от пьянства лицо полковника.

— Дезертира едем судить, Петр Терентьевич, — почтительно отвечал Добренький.

— Дезертира? — поднял брови Худобченко. — Не Чонкина ли?

— Чонкина, — кивнул полковник, удивляясь, что сам товарищ Худобченко слышал такую незначительную фамилию.

— Ага... так... — задумчиво бормотал Худобченко, оглядывая тучную фигуру своего земляка. — Во шо, козаче, ты

зараз туды не изды. Дело Чонкина откладывается. Там скоро будут дела покрупнее. Так шо вертай обратно. Понял?

— Понял! — вытянулся Добренький.

— О це и добре, — сказал Худобченко и вяло приподнял свою пухлую руку, как бы отчасти приветствуя полковника и одновременно давая шоферу знак двигаться дальше.

34

Сразу же после бюро Ермолкин хотел вернуться к себе в редакцию, но его по дороге перехватил и затащил к себе в дом Сергей Никанорович Борисов. Здесь, предложив гостю выпивку и закуску, Борисов долго и невнятно развивал мысль о том, что в районе не все в порядке, что непорядок этот идет с самого верху и что партийная печать должна в конце концов занять позицию прямую и непримиримую. Если посмотреть на то, что происходит, честно и непредвзято, объяснял Борисов, то мы увидим, что дела в районе идут не так гладко, как это изображается на страницах «Большевистских темпов». На страницах тишь да гладь, а в жизни творятся дела, с одной стороны, непонятные, а с другой стороны, очень хорошо кем-то организованные. И в этой ситуации каждый должен определиться и определить собственное отношение к тому, что сейчас происходит.

— Учти, Борис, — намекал Сергей Никанорович, — в жизни каждого партийца бывают минуты, когда надо делать выбор: или — или, на ту лошадь поставить или на эту.

Весь этот разговор оставил в душе Ермолкина ощущение радости и тревоги, а упоминание о лошади и вообще сбило его с копыт.

— Я все понял, — сказал Ермолкин Борисову. — Все будет сделано, как вы хотите, — добавил он, хотя сам не понимал, что говорит, что обещает, что именно будет сделано.

В подавленном настроении Ермолкин покинул Борисова и возвращался к себе в редакцию, когда увидел поразившую его взор картину.

Прислонившись к стене общественной уборной, стояла худая женщина босиком, в одной нижней рубаше. Ве-

тер задира́л подол комбинации, открывая острые и сильные от холода колени. Покорно глядя на направленные на нее два ствола охотничьего ружья, «Паша, — робко, но настойчиво говорила женщина, — прошу тебя, поскорее, мне холодно».

— Ничего, — отвечал прокурор Евпраксеин, — на том свете погреешься. Там тебя черти погреют на сковородке. — Он перехватил ружье поудобней и приложился к ложу щекой. — Именем Российской Советской Федеративной...

— Павел Трофимович, — тронул его за рукав Ермолкин.

Не опуская ружья, Павел Трофимович покосился сверху вниз на Ермолкина, как бы пытаясь понять, откуда появилось это препятствие.

— Что вам угодно?

— Вы хотите ее расстрелять?

— А у вас есть возражения?

— Нет-нет, что вы! — поспешно заверил Ермолкин. — Дело, как говорится, семейное. Я со своей женой тоже вот... слегка, как говорится, повздорил. Только...

— Что только?

— Не могли бы вы расстрелять и меня?

— Тебя? — Прокурор опустил ружье и внимательно посмотрел на Ермолкина, может, пытался понять, стоит ли тратить порох на такую мелочь.

— Да, меня, — подтвердил Ермолкин. — Потому что рано или поздно меня все равно... А мой сын, ему три с половиной года... То есть он вообще-то сейчас на фронте...

— Все ясно, — прервал прокурор. — Становись к стене. А ты, — сказал он жене, — иди домой. Да оденься, а то ходишь как лахудра, в одной рубашке. Становись на ее место.

Ермолкин встал и, запрокинув голову, прижался затылком к мокрой стене. Он представил себе, как из двух стволов сейчас вырвется пламя, и, не желая этого видеть, закрыл глаза. Он не видел, как прокурор поднимал ружье, он только слышал, как тот декламировал четко и внятно:

— Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики... Ермолкина Бориса... как тебя?

— Евгеньевича, — бескровными губами пролепетал Ермолкин.

— ...Евгеньевича... за то, что гад и сволочь, за то, что врал в своей газете, как сивый мерин...

— Да-да, — печально кивнул Ермолкин, — все дело именно в мерине.

— За соучастие в убийстве ни в чем не повинного человека...

— В убийстве? — Ермолкин удивленно открыл глаза. — Я никогда никого... Я даже курицу...

— Курицу — нет, а Шевчука?

— А, Шевчука, — понял Ермолкин. — Это да. Это, конечно, в некотором роде можно рассматривать...

— ...к расстрелу, — не слушая, продолжал прокурор. — Приговор привести в исполнение немедленно.

Он направил ружье на Ермолкина и, прижавшись щекой к ложу, зажмурил левый глаз.

— Стойте! Стойте! — закричал Ермолкин. — Стойте! — Он упал на колени и, простирая руки вперед, двинулся к Евпраксеину.

— В чем дело? — недовольно спросил прокурор, опуская ружье.

— Я боюсь, — признался Ермолкин и заплакал.

— Ах, так ты еще и трус, — сказал прокурор. — Тогда, конечно, дело другое. Тогда... — Он закатил глаза и нараспев забормотал: — Именем Российской Советской Федеративной... рассмотрев в открытом заседании и совещаясь на месте, определил... по вновь открывшимся обстоятельствам... учитывая трусость обвиняемого... прежний приговор отменить как необоснованно мягкий. Ермолкин Борис... как тебя?

— Евгеньевич, — услужливо подсказал Ермолкин.

— ...Евгеньевич приговаривается к пожизненному страху с выводом на работу. Мерой пресечения оставить свободу как осознанную необходимость. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Подсудимый, вам приговор ясен?

— Ясен, — уныло отозвался Ермолкин.

— Идите и живите, если вам нравится, — сказал Евпраксеин, глядя на Ермолкина с отвращением.

Вечерело. Возвращаясь домой с работы, лейтенант Филиппов шел усталой походкой человека, обремененного государственными заботами.

После недавних дождей было тепло и влажно. Окна многих домов были распахнуты настежь, из-за них выносились на улицу звуки человеческой жизни: стучал молоток, плакал ребенок, свистел самовар, муж колотил жену, и она визжала. На крыльце развалюхи сидел мужичок с самокруткой и уверенно рассуждал пьяным голосом:

— Немец, я тебе скажу, такой же человек, как и мы, только говорит не по-нашему.

— Будет болтать-то! — доносился строгий женский голос из-за угла. — Ты еще доболтаисси, посодют тебя за твой длинный язык-то.

За двумя окнами было особенно шумно — патефон во все горло распевал «Кукарачу», там танцевали. Перед этими окнами лейтенант Филиппов невольно задержался. Мелькали нарядные платья местных девиц и военная форма командиров временно расквартированной в городе артиллерийской части. «Что ж, — отечески подумал Филиппов, — пусть люди повеселятся». Облокотившись на острые верхушки штакетника, он смотрел в эти открытые окна, и вдруг пронзила его внезапная зависть к этой чужой мимолетной жизни, которая была ему недоступна.

В первые дни войны он познакомился в клубе с девушкой Наташей. Она с матерью незадолго до этого приехала к каким-то своим родственникам из Бреста, где отец ее служил командиром чего-то. Теперь они здесь застряли, а от отца не было ни слуху ни духу. И Наташа, и ее мать нравились лейтенанту своей интеллигентностью. Мать была учительницей, а Наташа будущей учительницей — перешла на третий курс пединститута. Дважды он был у них в гостях, пили чай с мармеладом и говорили о войне. Мать расспрашивала лейтенанта о том о сем и вдруг спросила, почему он здесь, а не на фронте.

— Вы, вероятно, в резерве? — спросила она.

— Да, что-то вроде этого, — ответил он, смутившись. К счастью, она, кажется, не различала родов войск. Он

старался выглядеть приличным молодым человеком, локти на столе не держал, рыбу ножом не резал, не стучал ложечкой по стакану и чай пил маленькими глотками.

Через несколько дней после этого, выйдя из дверей своего Учреждения на обеденный перерыв, он встретил Наташу, по случайности как раз в это время проходившую мимо. Поздоровались, и он пошел с ней рядом, спрашивал, что она сегодня вечером намерена делать. Не ответив, она спросила, явно волнуясь:

— Вы здесь служите?

— Да, — сказал он небрежно. — А что?

Он мог бы и не спрашивать. Он уже не раз замечал, как люди, подобные Наташе, относятся к его сослуживцам. И ему стало вдруг неудобно, что он служит именно здесь, не в каком-нибудь другом месте. Но он сделал вид, что не понял Наташиного замешательства, и как бы невинно спросил: «А что?»

— Ничего, — сказала Наташа поспешно, — я просто так спросила.

В этот вечер она оказалась занятой, а его на другой день послали арестовывать Чонкина. Когда же он вернулся с этой затянувшейся операции и пришел к Наташе, он узнал, что она и ее мать покинули Долгов и выехали в неизвестном направлении.

За распахнутым окном сменили пластинку. Томный голос жалобно выводил:

Утомленное солнце
Нежно с морем прощалось,
В этот час ты призналась,
Что нет любви.

В такт музыке раскачивались пары. В папиросном дыму они медленно плыли, словно рыбы в аквариуме. На офицерах сверкали ремни новеньких портупей. И лейтенанту вдруг захотелось быть таким же, как эти парни, прямым и открытым, не наводить ужас на других и самому не бояться, танцевать с потной упругой девкой, целоваться где-нибудь в темных сенях, натываясь на коромысла и ведра, а потом с искусанными губами уйти и пусть даже погибнуть за родину, за Сталина, за Наташу, за эту девку или сов-

сем ни за что. «Что это я? — спохватился он мысленно. — Откуда у меня такие настроения? Да, нас не любят. Да, нас боятся. Но ведь кому-то же надо все это делать», — уговаривал он сам себя, в глубине души подозревая, что как раз именно этого не надо делать никогда и никому.

Неохотно оторвался он от чужого забора, от чужого хмельного веселья и пошел дальше.

36

Печаль перешла в тревогу. Лейтенанту вдруг показалось... нет, не вдруг, а как-то постепенно проникало в него и усиливалось ощущение, что за ним кто-то следит. Нет, он не слышал за собой чьих-либо шагов или дыхания, но в нем крепло абсолютно неоспоримое чувство, что чей-то пронзительный взгляд жжет его затылок. Конечно, он понимал, что этого быть не может. Взгляд есть нечто нематериальное, то есть то, что никак жечь не может. И все-таки...

«Это просто какая-то чушь, — сказал он себе, испытывая непреодолимое желание оглянуться, но не поддаваясь ему. — Никто не посмеет за мной следить». И все-таки, пройдя еще несколько шагов, он не выдержал, остановился и обернулся. Никого сзади не было. Лейтенант продолжал свой путь. «Со мною что-то творится, — подумал он. — Похоже, что я заболеваю».

Да, это не впервые ему казалось, что за ним следят. То есть бывало по-разному. Иногда, наоборот, казалось, что все его очень любят. Особенно после того, как стал лейтенант начальником Тех Кому Надо, на каждом углу встречался он с проявлением народной любви. На улице незнакомые люди кланялись, а иногда даже снимали шапки.

В любом помещении, на любом месте, в любой момент он мог сесть, не оглядываясь, зная, что стул сзади уже кем-то подставлен. С почтением относилась к лейтенанту местная творческая интеллигенция. Местный художник Шутейников подарил ему свою картину «Трактористы», а поэт Серафим Бутылко прислал вырезку из газеты со своим стихотворением «Дума о вожде». Любили Филиппова и председатели колхозов. Например, один из них, Максим Петрович Шилейко. Стоило только заикнуться (тетка

просила), нельзя ли в Шилейкином колхозе «Маяк» выписать поросеночка (разумеется, только за деньги и самым законным образом), как Шилейко уже на другой день сам лично привез в мешке поросенка пуда на полтора и дал расписаться в какой-то бумаге, по которой лейтенант уплатит за стоимость этого животного — один рубль пятьдесят шесть копеек. (Лейтенант потом думал, что колхозники у нас живут все-таки неплохо, если таких кабанов могут выписывать за столь низкую цену.) В общем, дела у лейтенанта шли как будто неплохо. И начальником он стал, и на бюро райкома его хвалили, и все его любят...

Все, да не все. Роман Гаврилович Лужин явно к нему придирался. То с делом Чонкина, то Курта какого-то выдумал. «Приказываю... в пятидневный срок...» Приказывать-то легче всего. А где его искать, этого Курта, и по каким приметам?

Может, из-за этих мелких неприятностей и развилось у него что-то вроде мании преследования. Где бы он ни был — на работе, на улице, дома, — все ему казалось: кто-то неотрывно за ним наблюдает.

Дома доходило иногда до невозможного. Даже его родная тетка Пелагея Васильевна, или попросту тетя Поля, замечала, что с ним творится неладное. Бывало, за ужином он вдруг вздрагивал, поднимал голову, смотрел на дверь и неуверенно говорил тетке:

— Кажется, кто-то стучал.

— Да ты что? — удивлялась тетка. — Тебе померещилось.

Он ей не верил. Он подходил на цыпочках к двери, прислушивался, а потом рывком распахивал ее. Никого там, конечно, не было. Иной раз ему казалось, что кто-то смотрит в окно. Он подкрадывался к окну, он отдергивал занавеску, и сердце его упало куда-то в низ живота — с той стороны, с улицы, притикало к стеклу чье-то желтое, размытое чье-то лицо. Каждый раз неизменно пугался он собственного своего отражения. Дошло до того, что порой и по ночам он поднимался и проверял запоры на дверях, шпингалеты на окнах, подолгу стоял у печки, пытаясь определить, сможет ли достаточно худой человек пролезть в комнату сквозь дымоход. Тетя Поля все замечала.

— И кого ты боишься? — спрашивала она. — Ведь во всем районе никого нет страшнее тебя.

Ах эта тетя Поля! Она вырастила его и воспитала. Она любила его. Но с тех пор, как он стал служить Там Где Надо, она изменила к нему отношение и, несмотря на свое пролетарское происхождение, превратилась в ужасную контру. Она говорила, что жизнь при царе была гораздо дешевле, и подсчитывала, сколько стоили тогда фунт масла или голова сахару, но из всех цен он почему-то запомнил только, что ситец стоил восемь копеек аршин.

— Вы, тетя, — укорял он ее, — все назад смотрите, а надо смотреть вперед.

— Да ты, я вижу, догляделся, — усмехалась тетка, — что и под лавку зыркаешь — никто ль не сидит.

Иной раз она вдруг спрашивала с невинным видом:

— Ну что? Сколько замордовали народу за текущий отчетный период?

— Да тише вы! — шипел он на нее и оглядывался. А потом, вздыхая, сокрушенно качал головой. — Не наши у вас взгляды, тетя.

— Да уж не ваши! — соглашалась она охотно. Почему допускал он в собственном доме подобные разговоры? Почему иногда начинал даже оправдываться?

— Вы же знаете, тетя, что я туда попал случайно, — говорил он, но тетка не верила.

— Случайно туда знаешь как попадают: вот так! — И тетка красноречиво делала «руки назад».

37

Сзади хрустнула ветка. Лейтенант вздрогнул и оглянулся. Ему показалось, что чья-то тень мелькнула и пропала за углом дома, мимо которого он прошел.

Филиппов двинулся дальше. На ходу расстегнул кобур, вынул и переложил в карман револьвер. Впереди чернел крупный предмет. Приблизившись, лейтенант определил, что это какой-то сельскохозяйственный механизм — не то сеялка, не то веялка, — он в этих вещах не разбирался. Во всяком случае, размеры предмета позволяли укрыться за ним. Что лейтенант и сделал. Выглянув через несколько секунд, он увидел: из-за угла дома на тропинку нерешительно вышла темная фигура.

Теперь сомнений не было: фигура следила за лейтенантом. Потеряв его, она стала растерянно озираться, а потом, все убыстряя шаги, направилась по тропинке к предмету. Лейтенант вынул из кармана револьвер и тихо щелкнул предохранителем. Сквозь стук собственного сердца услышал он осторожные шаги и прерывистое дыхание.

— Стой! Стрелять буду! — Лейтенант выскочил из-за предмета и приставил револьвер к носу фигуры.

— Ой! — вскрикнула фигура женским голосом и уронила на землю какой-то сверток.

— А, это ты, — сказал он, опуская револьвер. — Чуть было тебя не застрелил. Что нужно?

— Так ведь я насчет Ваньки, — сказала Нюра, поднимая сверток. — Ты говоришь, я ему посторонняя, а я не посторонняя, меня с работы за него прогнали, — сказала она не без гордости.

— С работы не прогоняют, а увольняют, — поправил лейтенант. — А за что?

— Так за то же, что жила с ним, с Иваном, — объяснила Нюра и, не удержавшись, похвастала: — По любви, говорят, жила.

Лейтенант стоял, смотрел на Нюру, ничего не мог понять.

— Что ты городишь? — сказал он. — Кто тебя уволил?

— Любовь Михална, завпочтой.

— И за что?

— За Ваньку. За связь с врагом народа.

— С врагом народа? — удивился Филиппов. — А кто же ей сказал, что Чонкин враг народа? Он просто дезертир.

— Видать, не просто, — возразила Нюра.

— Странно, — сказал Филиппов. — Очень странно. Ты вот что. Завтра к десяти часам приходи, и мы во всем разберемся.

— Завтра? — обрадовалась Нюра. Это был уже совсем не тот разговор. — И передачу можно взять?

— Возьми.

Оставив ошеломленную Нюру, он пошел дальше и стал думать над тем, что же все-таки происходит. Кто

разрешал заведующей почтой объявлять врагом народа обыкновенного дезертира? А может быть, она знает что-то такое, чего он не знает?

Дома взволнованная тетя Поля сказала лейтенанту, что его ищут, прибегал посыльный, передал, что приехал подполковник Лужин с каким-то майором, они ждут Филиппова у него в кабинете.

Лужина он застал за своим столом. При свете настольной лампы голова Романа Гавриловича выглядела более уродливой, чем обычно.

Незнакомый майор, сцепив на колене руки, сидел у стены. Оба внимательно смотрели на вошедшего. Потом Лужин встал и медленными шагами приблизился.

— Ну, здравствуй, Курт, — сказал он и, подпрыгнув, залепил Филиппову такую оплеуху, от которой тот рухнул на пол.

Уже к вечеру следующего дня бывший лейтенант Филиппов, похудевший и обросший бородой (известно, что у покойников и арестантов борода растет очень быстро), давал нужные показания...

39

ИЗ ПОКАЗАНИЙ БЫВШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА ФИЛИППОВА

...полностью раскаявшись в совершенных мною преступлениях и желая помочь следствию, чисто сердечно признаю, что, будучи штатным агентом германской военной разведки под кличкой «Курт», я систематически собирал и передавал адмиралу Канарису лично или через руководителя отдела «Абвер-1» полковника Пиккенброка сведения военного, политического и экономического характера, составляющие военную и государственную тайну СССР.

Действуя в интересах государства, находящегося с Союзом ССР в состоянии войны, всячески стремился к дезорганизации производства, подрыву экономики путем саботажа и иных предательских действий, способствовал распространению панических слухов, искал и поощрял к активной деятельности скрытых врагов советской власти из числа бывших кулаков, подкулачников и замаскировавшихся сторонников так называемой

троцкистско-зиновьевской оппозиции, в числе которых оказались и лица, занимавшие ключевые посты в районном руководстве.

Осуществлял прямую связь между германским верховным командованием и ставленником белоэмигрантских кругов так называемым князем Чонкиным-Голицыным, который параллельно со мной вел подрывную работу в деревне Красное.

Узнав, что Чонкину-Голицыну грозит арест, а затем неизбежное разоблачение, я, возглавив группу захвата, обставил дело так, что не мы взяли Чонкина-Голицына, а он нас, при этом ордер с санкцией прокурора был умышленно поврежден.

После того как в поставленную ловушку был захвачен капитан Миляга, деятельность органов на территории Долговского района фактически была полностью парализована, что, в свою очередь, вызвало активизацию сил, направленных против советского строя. Все это привело к тому, что командование Красной Армии было вынуждено, ослабив линию фронта, бросить часть своих сил на подавление так называемой банды Чонкина-Голицына. После разгрома я, предъявив поврежденный, а потому недействительный ордер, изъяс преступника у военных властей и впоследствии, временно захватив пост начальника райотдела НКВД, намеренно завел следствие в тупик, чтобы спасти от заслуженного наказания князя Чонкина-Голицына, поскольку германское верховное командование в будущем рассчитывало использовать его в качестве вдохновителя и организатора выступлений против советской власти.

Настоящие показания даны мною добровольно и записаны с моих слов правильно.

СПРАВКА

Дана настоящая з/к Филиппову Курту в том, что он медосмотр прошел. Вшей, венерических, кожных и инфекционных заболеваний не обнаружено. Противопоказаний к содержанию в общей камере нет.

Военфельдшер Семенова

Чонкин спал на полу у дверей, привалившись щекою к параше, когда его растолкали, поставили на ноги. Он потряс головой, пришел в себя и удивился. В камере одновременно толклись человек шесть вертухаев и во главе их сам начальник тюрьмы старший лейтенант Курятников, маленький, коренастый, с бабьим рябым лицом. Все они, в том числе и Курятников, были чем-то как будто взволнованы, смотрели на Чонкина с любопытством, но в то же время и с робостью.

На нарах народ заворочался, кто-то спросил, что происходит.

— Чонкина уводят, — сказал Штык с некоторым удивлением.

— А для чего столько народу?

— А кто его знает?

Тут послышался голос Манюни:

— Раз за одним столько народу прислали, значит, на расстрел.

— Как же на расстрел? — сказал Штык. — Ведь суда-то не было.

— А никакого суда и не нужно, — рассуждал Манюня. — Закон военного времени.

Чонкина от этих слов передернуло, хотя он и не мог представить себе, что вот сейчас прямо его и расстреляют. Да и вертухаи во главе с начальником тюрьмы выглядели совсем обыденно. Начальник тюрьмы лично поднял шинель, отряхнул и, развернув, подал Чонкину, как подают швейцары.

— А сколько время? — спросил Чонкин, тыча и не падая рукою в рукав.

Ему не ответили. Курятников, отступив назад, осмотрел Чонкина придиричивым оком.

— Конечно, побрить его надо бы, — сказал он озабоченно, — да ладно.

— Слышал, Манюня? — крикнул Штык. — Побрить, говорит, надо. А ты — на расстрел.

— А как же, — отозвался Манюня. — Как же небритого-то расстреливать? Не положено. Если больной, вылечат, если небритый, побреют.

— Молчать! — взвизгнул Курятников. — Еще одно слово услышу и...

Тут из-за параши поднялся профессор Цинубель и, подойдя к Чонкину, протянул руку.

— Прощайте, Чонкин, — сказал он сердечно. — Не робейте. Учитесь выдержке у Ильича. Помните...

Что именно помнить, Чонкин выслушать не успел, его вывели из камеры.

Тесной толпой прошли по коридору, затем через двор, к проходной. Возле тумбочки с наганом на боку стоял дежурный.

— Машина не пришла? — спросил начальник тюрьмы.

— Сломалась, — ответил дежурный.

— Ладно, пойдем так.

Начальник расписался в какой-то лежавшей на тумбочке книге, после чего Чонкина вывели за ворота и повели через площадь. Было темно, холодно, шел мелкий дождь.

— Сколько время? — опять спросил Чонкин, и ему опять не ответили.

Подшли к какой-то глухой двери, позвонили, она распахнулась, и стоявший за нею человек прижался к стенке, пропуская пришедших.

Вскоре очутились в знакомой Чонкину приемной лейтенанта Филиппова.

— Подождите, — сказал Курятников и, робко постучавшись, сунул голову в дверь. — Разрешите ввести?

— Введите, — донесся ответ.

2

В комнате, которую Чонкин знал как кабинет лейтенанта Филиппова, горела яркая лампочка. Но за столом был не Филиппов, а незнакомый майор в новенькой гимнастерке, перекрещенной сверкающими ремнями. Другой незнакомец, с большой бритой головой и в очках с толстыми стеклами, сидел на стуле у стены. Шинель с меховым воротником (таких шинелей Чонкин прежде

не видывал) была расстегнута, руки сцеплены на животе, ноги болтались, не доставая до пола. На соседнем стуле лежала фуражка с высокой тульей и брошенные поверх нее белые перчатки.

Курятников строевым шагом приблизился к бритоголовому, поднес руку к виску и визгливо закричал:

— Товарищ полковник, подследственный Чонкин по вашему приказанию доставлен!

«Ишь ты! — подумал Чонкин. — Полковник!»

— Выйдите и подождите за дверью, — не меняя позы, приказал полковник.

Курятников и конвойные вышли.

Полковник и майор, каждый со своего места, внимательно разглядывали Чонкина, а он стоял посреди комнаты, не зная, куда деть руки.

Вдруг полковник спрыгнул со стула и стал быстро бегать вокруг Чонкина, наклоняясь при этом, как мотоцикл.

— Вы, — мелькая перед глазами, бормотал полковник, — ожидали увидеть не нас, а Курта. Но его нет. Увы. Он чудовищно занят. Он дает показания. Весьма ценные между тем. И вам я тоже. Настоятельно рекомендую. Тем более что нам. Все, все известно.

Он прекратил кружение так же неожиданно, как начал, вернулся к своему стулу, сел и принял прежнюю позу.

Заговорил майор. Он говорил медленно и бесстрастно:

— Ну вот что, милейший. Как вы только что слышали, Курт арестован, дает показания, и нам уже многое известно. Но необходимо кое-что уточнить. Своих противников мы умеем уважать. Вы долго и ловко водили нас за нос, играя роль Иванушки-дурачка. Ну что ж, играли великолепно, ничего не скажешь, но теперь, как умный человек, вы должны признать, что игра окончена.

— Точно сказано, — одобрил полковник и снова спрыгнул со стула. — Ваша карта бита, князь! — сказал он, как в театре, и откинул в сторону руку.

Чонкин вздрогнул. Он не думал, что его давнишняя кличка может быть известна этим людям.

— Я же говорю, — переглянувшись с полковником, усмехнулся майор, — нам все известно. Так что лучше сразу начистоту.

— Да, сразу начистоту, — приблизился полковник. — Для вашего же блага прошу вас очень. Итак, кто послал вас в деревню Красное?

— В деревню Красное? — переспросил Чонкин.

— Да, да. — Полковник нетерпеливо защелкал зубами. — В деревню Красное кто вас послал?

— Меня? — уточнил Чонкин и ткнул пальцем в грудь.

— Да, вас. Именно вас. В деревню Красное кто?

— Так ведь этот, — сказал Чонкин, надеясь, что полковнику действительно все известно. — Ну, старшина, ну Песков.

— Песков? — недоверчиво повторил полковник. — Старшина? А Антон Иванович что говорил?

— Антон? — переспросил Чонкин. — Иванович?

— Я имею в виду Деникина, — подсказал полковник.

— Дикина? — Чонкин напряг память. — Может, Жикина? Это который на колесиках ездит?

— На чем? На колесиках? — переспросил полковник. — Ах на колесиках?

Он сделал короткий выпад и ткнул Чонкина кулаком в живот. Чонкин открыл рот, пытаясь втянуть в себя воздух, и даже произнес какой-то звук вроде «а-а», но воздух не втягивался. С выпученными глазами Чонкин рухнул на колени, и только после этого воздух толчками стал пробиваться в легкие.

— Ну так что же? — услышал он над собой. — Так кем же вы посланы в деревню Красное? Кем? Кем? — закричал полковник. — Говори, сволочь, или сейчас прострелю башку!

Чонкин поднял глаза. Ствол револьвера, как и на первом допросе, смотрел ему в переносицу. Но на этот раз страха не было.

— Ну! Считаю до трех. Раз! Два!..

Чонкин молчал. Он понял: им чего ни ответь, их не устроит.

— Напрасно вы упорствуете, — донесся до него мягкий голос майора. — Вы же знаете, мы все равно заставим вас говорить. Ответьте нам на один вопрос, и мы отпустим вас в камеру отдыхать. Так все-таки кто же вас послал в деревню Красное?

— Кому надо, тот знает, — сказал Чонкин, отдуваясь.

Словно кувалдой дали ему в подбородок. Он взлетел, спиной и затылком впился в стену и рухнул, широко раскинув ноги в рваных ботинках.

Майор и полковник стояли над ним. По побелевшему его лицу медленно ползла муха.

— Крепкий орешек, — потирая ушибленную руку, задумчиво сказал полковник.

— Да, — согласился майор, — с этим придется потрудиться.

Они не испытывали к этому обмякшему телу ненависти или каких-то других сильных чувств. Как специалисты в своем деле, они просто оценили твердость материала, с которым предстояло работать.

Приглашенному затем Курятникову было приказано поместить заключенного в отдельную камеру, содержать в строжайшей изоляции с целью исключения возможных контактов с кем бы то ни было.

Исполнить это приказание Курятникову было непросто, потому что все три одиночные камеры к тому времени были заняты: в одной помещалась каптерка, в другой Курятников держал собственную корову, третью он же за пятнадцать рублей в месяц сдавал вольнонаемному Тухватуллину с семьей из шести человек. Дело было, конечно, не в пятнадцати рублях, ими начальник тюрьмы мог пожертвовать, но начинался осенне-зимний период, и, в случае выселения его семьи, Тухватуллин имел бы право устроить скандал.

Не найдя иного выхода, Курятников приказал очистить специально для Чонкина большую общую камеру, а ее временных жителей распахать по другим камерам, и без того уже достаточно переполненным. Таким образом, последующие сведения о том, что Чонкин содержался якобы в одиночной камере, следует считать не вполне достоверными, точнее сказать, что в общей камере он был одиночным заключенным.

3

В тот дождливый месяц у Ревкина было много неприятностей. Полторы недели в районе работала специальная комиссия, которая затем составила секретный до-

клад «О некоторых недостатках в работе партийной организации Долговского района».

В докладе перечислялись примеры экономического отставания и невыполнения планов по разным отраслям сельского хозяйства и местной промышленности, но особенное внимание обращалось на развал идейно-политической и воспитательной работы среди населения, говорилось о политической близорукости и притуплении бдительности, об атмосфере благодушия и ротозейства, царившей среди руководителей района. В этом докладе опять упоминалась «банда так называемого Чонкина». Фамилии «Голицын» там еще не было. Но сам факт, что так называемому Чонкину и его банде уделялось в докладе не менее четырех страниц, позволяет предположить, что некоторыми новыми данными комиссия уже располагала, хотя, возможно, не имела при этом четких указаний, можно ли считать Чонкина Голицыным.

Так или иначе, комиссия пришла к выводу, что положение сложилось крайне нездоровое, мириться с этим нельзя, и предлагала немедленно покончить с благодушием, головотяпством и ротозейством, повысить бдительность, усилить политико-массовую и воспитательную работу и произвести кадровые изменения в руководстве районом.

Кадровые изменения в первую очередь были произведены Там Где Надо. Лейтенант Филиппов, как известно, был арестован. Правда, уже через несколько дней за подписью Курта была перехвачена новая радиограмма, в которой сообщалось об аресте Филиппова. Эта радиограмма была совсем ни к чему. Она путала всю картину. Блестяще проведенная операция по выявлению, разоблачению и обезвреживанию Курта была отмечена благодарностями и орденами, присвоением новых званий. (При этом подполковник Лужин стал полковником.) Признать, что вместо Курта арестован кто-то другой, — значит отменить все эти награды и новые звания... Нет, это было никак невозможно. Поэтому на перехваченной шифровке наложена была резолюция:

«Это радиоигра. Противник надеется ввести нас в заблуждение. Приказываю: радиограммы за подписью

«Курт» игнорировать, а слежение за эфиром на данном участке прекратить».

На место лейтенанта Филиппова прибыл опытнейший специалист в данной области майор Федот Федотович Фигурин, который с первого дня повел себя весьма странно.

Приступая к выполнению своих обязанностей, Федот Федотович даже и не подумал представиться первому секретарю райкома. Это было что-то невероятное. Обычно таких начальников привозили областной начальник и секретарь обкома, если не первый, то хотя бы второй, и представляли районному партийному руководителю. Более того, новый начальник начинал изучать положение на месте именно с беседы с секретарем райкома. Этот же не только не был кем-то представлен, но и сам не выражал никакого стремления встретиться. Ревкину такое поведение нового начальника показалось до чрезвычайности странным. Но не набиваться же самому на встречу! Ведь не Фигурин, а он, Ревкин, пока что главный человек в районе.

Вот именно, что пока...

В местных кругах распространились слухи, правда довольно глухие, что новый начальник развил бурную деятельность, вызывает к себе самых разных людей, допрашивает и берет с каждого, невзирая на лица, подписку о неразглашении. Несмотря на это, до Ревкина докатилось, что Фигурин уже посетили многие люди, и в их числе Борисов неоднократно. Стало известно, что побывал у него и ответственный редактор газеты «Большевистские темпы» Ермолкин. Ни тот, ни другой содержания своих бесед не разглашали, но дошло до Ревкина, что новый начальник интересуется и его, Ревкина, деятельностью тоже. Это было заметно по отношению к Ревкину его подчиненных, которые уже не улыбались ему приветливо, как раньше, и не кидались со всех ног исполнять его приказания.

Однажды утром, просматривая за чаем местную газету, Ревкин нашел в ней на третьей странице подвал, крупно озаглавленный «Подвиг капитана Миляги». У Ревкина, что называется, помутилось в глазах. Чай давно

остыл, а первый секретарь все еще скользил глазами по строчкам, возвращаясь к началу, потому что никак не мог понять смысл написанного. В очерке рассказывалось о подвигах Тех Кому Надо с самого зарождения нашего государства и до текущих дней, о том, какие это тихие и незаметные герои. Автор очерка выражал сожаление, что о таких героях не всегда можно сказать во всеулышание. Автор обещал, что когда-нибудь все подвиги незаметных героев станут известны народу, а их имена будут внесены в золотую книгу Почета. А пока такой славы могут пользоваться только герои погибшие, и то не всегда. Одним из таких героев и назвал автор бывшего начальника Долговского Учреждения капитана Милягу. Далее смутно рассказывалось о том, что, как известно, некоторое время тому назад на территории района орудовала банда (чья банда, не указывалось). На ликвидацию банды был брошен оперативный отряд под командованием капитана Миляги. Миляга был коварно захвачен в плен. Его пытали, на его спине вырезали звезду, глотку его заливали расплавленным свинцом, но враги так и не услышали от героя того, чего хотели. «Да здравствует Сталин!» — были последние слова героического капитана. Автор очерка даже и не потрудился объяснить, как можно кричать что-то с глоткой, залитой свинцом.

Ревкин не поверил своим глазам. Он позвал Аглаю.

— Это ж полная ложь! — сказал он ей.

— И к тому же вредная ложь, — согласилась Аглая.

Ревкин позвонил Ермолкину, но того не оказалось ни дома, ни на работе. В тот же день Ревкин собрал бюро райкома. Нашли и привели пытавшегося скрыться Ермолкина, у которого даже щеки тряслись от страха. На бюро Ревкин подверг очерк резкой критике. Он сказал, что такой очерк печатать было никак нельзя, потому что всем известно, как на самом деле погиб капитан Миляга.

— Конечно, — сказал Ревкин, — наша партийная печать должна излагать события в нужном нам свете. Но тебе, Ермолкин, следовало подумать, стоит ли изображать героем изменника родины. Своим очерком ты только дискредитируешь нашу газету и всю нашу печать в целом. Это ж спроси на улице любого колхозника,

и каждый скажет тебе, как погиб капитан Миляга. Для чего же ты печатаешь такую ложь? Сам ты это придумал или тебе кто поручил?

Ермолкин стоял, вытянув руки по швам и мелко дрожа. Слышно было, как стучат его зубы. Видя его растерянность, Ревкин решил наступать дальше.

— Я тебя спрашиваю, Ермолкин, — сказал он уже более определенно. — Кто тебе дал задание дискредитировать нашу печать?

— Да я... собственно... — залепетал Ермолкин едва слышно. — Федот Федотович мне сказал... — Тут он прикусил язык и оглянулся на Борисова. Ревкин понял, что Ермолкину и тем, кто стоит за его спиной, пора показать характер.

— Так вот что, любезный, — сказал он, четко выговаривая каждое слово, — никаких Федотов Федотовичей я лично пока не знаю. И газета наша «Большевицкие темпы» — орган не Федота Федотовича, а райкома партии, и прошу это крепко зарубить себе на носу. А пока что я отстраняю вас от работы и возбуждаю против вас персональное дело. — Называя Ермолкина на «вы», он как бы переводил его за ту черту, за которой с человеком говорят уже не как с товарищем, а как с врагом.

— Ну и ну! — сказал вдруг Борисов.

— Товарищ Борисов, вы что-то хотели сказать?

— Да, скажу. — Борисов поднялся и заговорил не спеша: — Я тут, Андрей Еремеевич, кое-что недопонял. Я как-то думал, что бюро у нас коллективный орган, а вы товарища Ермолкина вроде как сами отстраняете от работы и сами возбуждаете персональное дело. Так вот мне не очень понятно, зачем мы сюда собрались? Это первое. А второе, чего я недопонял, так это вот вашего отношения к погибшему капитану Миляге. Сейчас, как вы знаете, идет война со смертельным нашим врагом. Ну, я не буду вам говорить, что война очень тяжелая. Когда не только внешние, но и внутренние наши враги сильно активизировались. И не где-нибудь, а в нашем районе. Вы помните, здесь орудовала, прямо, можно сказать, у нас на глазах, банда Чонкина. И вы не хуже меня знаете, кем оказался этот так называемый Чонкин. И про Курта пресловутого вы тоже, я думаю, слышали. И в этих условиях, когда на-

шим партийным, можно сказать, долгом является противопоставить подобным бандам наши органы, в этих условиях я не могу понять, для чего первому секретарю райкома партии нужно, чтобы работники органов в глазах населения выглядели предателями и изменниками.

Ревкин хорошо знал Борисова и понимал, что тот никогда не решился бы идти против мнения своего начальства. Если сейчас он это делает, то не иначе как с чьего-то одобрения. Ревкин прекратил прения и в расстроенных чувствах уехал домой. Аглая, не ожидавшая увидеть его в столь раннее время, удивилась:

— Ты что, заболел?

— Нет, — сказал Ревкин и, уйдя к себе в комнату, заперся изнутри.

Приникнув к замочной скважине, Аглая видела, как ее муж, заложив руки за спину, быстрыми шагами ходит из угла в угол по комнате. Время от времени он освобождал руки, чтобы погрозить кулаком кому-то.

— Ничего, — провозглашал он, размахивая кулаком. — Вы не на того напали! Я тоже кусаться умею! Я вам еще покажу!

И опять закладывал руки за спину, и опять быстро-быстро ходил из угла в угол. Вдруг выскочил из комнаты:

— Где машина?

— Ушла в гараж. — Закуривая «Беломор», Аглая нервно ломала спички.

— Звони Мотьке, пусть гонит сюда.

— Да что случилось-то?

— Ничего не случилось. Звони, тебе говорят!

— Если ты позволяешь себе так говорить с женой, — вскипела Аглая, — то сам и звони.

Ревкин остановился и посмотрел на Аглаю. Он посмотрел на нее тем беспощадным взглядом, каким смотрел только на врагов народа.

— Товарищ Ревкина, — сказал он тихо, но отчетливо. — Я тебе не как муж, а как твой партийный руководитель приказываю...

Аглая кинулась к телефону. Моти в гараже не оказалось, сказали, что она в чайной. А в чайной не было телефона. Аглая послала в чайную сына Владилена, а сама, куря папиросу, ходила под дверью мужниной комнаты.

Наконец явились Владилен с Мотей. Машина стояла у калитки. Аглая постучала кулаком в дверь мужа. Тот выскочил и бегом к машине. Мотя и Аглая за ним. Пока они добежали, Ревкин уже нетерпеливо ерзал на правом сиденье.

— Давай быстро! — прикрикнул он на Мотю. Нервность его передалась Моте, она долго не могла попасть ключом в замок зажигания. Аглая забежала справа, открыла дверцу:

— Андрей, ты как жене скажи мне — куда ты?

— В обком! — сказал он, вырвав у нее и захлопнув дверцу.

Машина с места рванула и понеслась, плюхаясь в лужи, окатывая брызгами случайных прохожих.

4

Дорога была длинная. Она убаюкивала. Через полчаса Ревкин сидел уже в своей обычной величественной позе и, поглядывая по сторонам, спокойно взвешивал шансы.

«Вы, Идиот Идиотович, — мысленно обращался Ревкин к далекому Федоту Федотовичу Фигурину, — кажется, немного ошиблись. В погоне за дешевой популярностью вы решили половить рыбку в мутной воде».

Ревкин понимал, что Миляга как таковой вряд ли всерьез интересовал Фигурину, который просто искал предлог для замены руководства района своими людьми. Но Фигурин переоценивал свои силы. Он не знал, что у Ревкина в области есть рука — сам Петр Терентьевич Худобченко, с которым у Ревкина старые связи. В двадцать пятом году вместе учились на рабфаке. И тогда Худобченко дал ему рекомендацию в партию. Вместе проводили коллективизацию...

— Мы еще посмотрим, чья возьмет, — сказал Ревкин вслух.

— Что? — спросила Мотя.

— Ничего, это я сам с собой. Заговариваться начал. — Он улыбнулся. К нему возвращалось не то чтобы хорошее, но обычное деловое настроение. Он даже стал поглядывать по сторонам.

Старуха в лаптях и с мешком на спине тащилась, согнувшись, по обочине в город.

— А ну-ка останови! — приказал Ревкин.

Мотя затормозила. Ревкин откинул дверцу.

— Куда, бабуля, путь держишь?

— В город, милоч, в город, — заулыбалась бабуля доверчиво.

— На базар, что ли?

— Не на базар. Дочке гороху несус. Муж на фронте, а сама с двомя робятами голодует больно.

— Ну ладно, — сказал Ревкин и закрыл дверцу.

Машина тронулась дальше. Ревкин ехал и думал об оставшейся сзади старухе. «Вот ведь, — думал он, — до чего ж наш народ самоотвержен. У самой небось последнее, а несет дочери в такую даль. Вот что значит наш народ! С таким народом как не победить...» Он до слез расстрогался. Не столько от любви к народу, сколько от своих светлых мыслей.

5

Своего друга Ревкин в обкоме не застал. Только что уехал домой, сказали ему.

Так даже лучше, подумал Ревкин и поехал искать Худобченко дома.

Петр Терентьевич жил недалеко от обкома, в старинном особняке, обнесенном каменным забором и охраняемом специальным нарядом милиции. Оставив машину возле зеленых ворот, Ревкин прошел через проходную. Его здесь знали и пропустили. Не спросил документов и швейцар, дежуривший у парадного входа.

— Они обедают, — сказал швейцар и улыбнулся Ревкину, как своему.

— Андрюшка! — услышал Ревкин радостный голос.

Он поднял глаза и увидел жену Худобченко, смазливую и упитанную дамочку, которую официально звали Парасковья Никитовна, а в узком кругу своих — просто Параска. Она стояла на верхней ступени мраморной лестницы.

— Заходи, заходи, — сказала она. — А мы як раз обедать собирались. Скидай свий макинтош и поняй у столовку, там твий дружок сидить, ковыряе у носи.

Подождав, пока Ревкин поднимется, она провела его в помещение, которое называла столовкой. Это был

большой зал с узорным паркетом, дорогими люстрами и гардинами. У окон стояли в кадках фикусы и пальмы, на стенах висели охотничьи пейзажи и среди них — портреты Ленина и Сталина. Хозяин дома сидел за огромным столом, предназначенным, очевидно, для больших приемов, потому сам казался маленьким.

— О, кого я вижу! — обрадовался он. — Ну, Параска, теперь никуда не денешься, ставь горилку!

Он вышел из-за стола, пожал Ревкину руку, похлопал его по спине, помял как следует.

— Сидай, друже, сидай. — Худобченко схватил за спинку, поволок по паркету и подтащил к Ревкину ореховый стул. — Вот сыдю тут и думаю: это ж надо, какая роскошь! И кто же в ней жил? Буржуи. А теперь сыдю я, Петро Худобченко, хлопец из хлебоборобской семьи. Все ж таки революция не зря, я думаю, совершилась. — Он хлопнул в ладоши, появилась девушка в переднике и наколке. — Натуся, — обратился к ней Худобченко, — Андрею Еремеевичу прибор принеси. Зараз выпьем, борща рубанем. Настоящего. Не то шо у вас, у кацапов, какие-то шти. Капуста да вода. А тут бураки красные, баклажаны, морква, сметана...

Он стал долго и красочно излагать рецепт приготовления борща, а потом — вареников разных сортов, а потом — галушек, но мы повторять этих рецептов не будем и отправляем желающих к поваренной книге.

Выпили, закусили, и только после этого Ревкин решил поделиться своими неприятностями. Он рассказал, как Фигурин появился в Долгове, как вызывал к себе всех, включая Борисова, как был напечатан в газете очерк о капитане Миляге. Худобченко слушал с сочувствием, а Парасковья Никитовна так та даже всплакнула, она всегда была легка на слезы.

— И вот ты понимаешь, — закончил свой рассказ Ревкин, — они меня обвиняют, что я дискредитирую органы.

— Понимаю. — Худобченко отодвинул недоеденный борщ и закурил. — История, шо и говорить, неприятная. Ну, а для чего ж ты это делал?

— Что делал? — не понял Ревкин.

— Ну это вот... дискредитировал?

— Петр Терентьевич, — сказал Ревкин, — мне сейчас не до шуток.

— Та я ж разве шуткую? Я тебя серьезно спрашиваю: зачем ты это делал?

— Петр Терентьевич, — сказал с обидой Ревкин, — ты, может, меня не так понял. Я тебе говорю, что этот Миляга...

— Та шо мени твой Миляга? — сказал Худобченко. — Меня интересует не Миляга, а Андрюшка Ревкин, то есть ты.

— Так ведь в том-то и дело, что Миляга...

— А я тебе кажу, мени на твоего Милягу наплевать и растереть. — И он действительно плюнул и действительно растер.

Ревкин попробовал зайти с другой стороны:

— Петр Терентьевич, ты меня хорошо знаешь?

— Ну, знаю, — согласился Худобченко, но, как показалось Ревкину, не очень уверенно. — Водку пили, на рыбалку издыли.

— И все?

— А шо еще?

— Но ведь ты же меня знаешь с двадцать пятого года.

— Ну хорошо, признаю, знаю с двадцать пятого года. Но поверхностно.

— Поверхностно? — переспросил Ревкин, надеясь, что он ослышался. Он даже обернулся к Параске, ища сочувствия, но та стыдливо опустила глаза.

— А як же ж. Конечно, поверхностно. Мы хоча и с двадцать пятого года, а если вспомнить, о чем балакалы, ну, не считая, конечно, служебных вопросов, а так, як ото кажутъ, в часы досуга? А ни о чем. Як ото сегодня, про борщ, про горилку, ну, на рыбалке, значит, обсуждали, клюет, не клюет, ну, на мормышку ты меня учил ловить зимой, и это ж все с самого двадцать пятого года и по сей день. А внутрь же я к тебе не залазив, и шо там в тебе творится, не знаю.

— А рекомендацию в партию не ты мне давал?

— Ну, это шантаж! — вырвалось у Парасковьи Никитовны.

— А ты помолчи! — цыкнул на нее Худобченко. — Тут мужеский разговор. Насчет шантажа не знаю, а шо до рекомендации, ну давал. Ну и шо? Я ж тоже человек, могу и ошибиться. Може, Ленин Троцкому давал рекомендацию, откуда я знаю?

— Значит, ты меня уже с Троцким сравниваешь?

— Та не, это я к примеру. Я и сейчас могу сказать, что работник ты был неплохой, деловитый...

— Почему — был? — закричал Ревкин почти в ужасе. — Я еще, кажется, не умер.

— Та ну тебя, — махнул рукой Худобченко. — Ты, я вижу, еще и демагог хороший. Был, не был, я же тебе не про то, а про то, шо если органы в тебе сомневаются, так, может, они тебя лучше знают, у них, может, есть основания.

Ревкин встал. Он хотел уйти молча, но трудно было не высказаться.

— Так, — сказал он горько, — вот ты, оказывается, какой. А я еще считал тебя другом.

Худобченко ничего не ответил. Он сидел, обхватив руками голову, и смотрел в стол.

— А шо друх, — сказала вдруг Параска. — Ты там шо-то натворил со своим Милягой, чи як его, а Петро теперь за тебя должен голову класты? А то друх, друх. Та як шо б ты був настоящим другом, так ты бы в таком своем положении и порога нашего не переступив. Ты же знаешь, шо Петро хворый, шо вин не один, шо в нього диты...

— Та диты тут ни при чем, — сказал Петро. — И ни при чем, шо хворый. А главное то, шо я коммунист. Дружба, конечно, ничего не скажу, дело святое, но, как коммунист, я партию ставлю на первое место, а дружбу — на второе.

Он слегка откинул голову и возвел глаза к потолку. В описываемые времена не было еще скрытых телеобъективов, не было сверхчувствительных микрофонов. Но Петр Терентьевич не сомневался, что где-то (может быть, в потолке) есть какой-то глаз, который все видит, и есть какое-то ухо, которое все слышит. И этому Уху и этому Глазу Худобченко говорил: посмотри, какой я принципиальный, посмотри, какой я подлец. Нет такой подлости, которой я бы не мог совершить.

— Ну что ж, — сказал Ревкин, поднимаясь, — я вижу, мне здесь делать нечего.

Худобченко ничего не ответил. Он сидел напыжвшись, не глядя на Ревкина, и лицо его было красным.

Параска стояла в дверях, скрестив руки на своей пышной груди.

— Ну, я пойду, — сказал Ревкин со смутной надеждой, что его остановят.

Худобченко промолчал, а Параска отступила, освобождая дорогу.

— Я пошел, — еще раз сказал Ревкин.

И опять ему никто не ответил. Он спустился вниз, схватил из рук швейцара плащ и выскочил наружу.

6

Худобченко все еще сидел, подперев голову руками. Потом схватил графин, налил себе полный стакан и выпил залпом.

— Ты шо! — сказала Параска с упреком. — Тебе ж нельзя столько.

— А! — махнул рукой Худобченко. — Такого друга потерял, — сказал он и заплакал.

Параска подошла к нему сзади, обвила его жилистую шею своими пухлыми руками.

— Петро, — взволнованно сказала она, — ну шо ж роботы. На войне ж тоже люди гибнут.

— Да, — кивнул он, утирая слезы, — на войне тоже. Эх, Параска! — он привлек ее к себе и усадил на колени. — Давай-ка заспиваем нашу любимую.

Параска подняла голову и, глядя куда-то в угол под потолок, звонким своим голосом затянула:

Ихав казак на войно-оньку,

Казав: «Прощай, дивчино-оньку!...»

И разомлевший Петро Терентьевич, постукивая в лад рукой по столу, стал подтягивать ей вполголоса:

Прощай, дивчина, черна бровына,

Ийду в чужу стороньку.

Чем дальше, тем больше вздувались жилы на шее Параски и тем больше краснело ее лицо и на более высокой и пронзительной ноте брала она следующий куплет песни, и казалось, сейчас сорвется и даст петуха, но не срывалась. А он меланхолично вторил ей своим тихим задумчивым басом. И тому, кто слышал бы их со стороны, могло показаться, что в их песне, вопреки словам и мелодии, есть что-то подпольное, что-то незаконное и что им,

закрывшимся в своей скорлупе, враждебен весь мир и они всему миру враждебны.

Дай мне, дивчина, хустыну,
Я день у поли загы-ыну...
Темною ночцю закрывают очи,
Та и поховають в могыли...

7

Ревкин потом говорил Аглае, что он не помнил, как вышел от Худобченко и как очутился в машине. Да и Мотя подтверждала, что всю дорогу Андрей Еремеевич «был как бы не при своих». Всю дорогу он был словно в забытьи, сидел с закрытыми глазами, но иногда вскакивал и вскрикивал:

— Я честный коммунист! Я не позволю!
Но тут же снова впадал в спячку.

Он впадал в спячку, и мерещились ему картины прошлого: большой город, учебное заведение, в котором молодых коммунистов учат руководству хозяйством.

И промеж других ходит простецкий парень в вышитой украинской рубаше. Сам первым подходит к каждому и, протягивая широкую ладонь, представляется:

— Худобченко. По-вашему, Скотинин.

И сам же громко смеется.

Простецкий парень. Звезд с неба не хватал, в теоретических вопросах путался, но практически был весьма сообразителен. И сам над собой подтрунивал, а может, и всерьез говорил:

— Мени уси теории оцей предмет заменяет уполне. — И показывал на свой вислый нос, при помощи которого и в самом деле, казалось, ловко ориентировался в изменчивой ситуации. Нельзя сказать, что его особенно любили, но он был принят во всех компаниях, потому что был незлобив и необидчив, и, когда возникал, например, спор, чья очередь бежать за пол-литром, он кончал этот спор, говоря:

— Та я и сбегаю.

Со всеми он был неизменно ровен, доброжелателен, умел как бы ненароком сказать приятное, помнил дни рождения каждого, всегда был готов к оказанию мелких услуг: одолжить до стипендии трешку или свои большие

карманные часы товарищу, идущему на свидание. Ни самолюбие, ни честолюбие, казалось, ему совершенно были не свойственны, в спорах он легко соглашался с доводами оппонента, давая тому почувствовать свое умственное превосходство.

— Когда человек спорит, — говорил он, бывало, Ревкину, — он же не истину хочет доказать, он хочет доказать, шо он умнее тебя. Поэтому я всегда соглашаюсь. Хочешь быть умнее — будь. Если у тебя есть такая потребность души, шоб плюнуть мени у рожу, плюнь. Я утрюсь. Мени это, как говорят у нас, у хохлов, байдуже, то есть все равно.

Был в их учебном заведении только один человек, недоброжелательного отношения к которому Худобченко не скрывал. Это был профессор математики по прозвищу А Скажите Любезный. Но недоброжелательство было ответным — профессор презирал Худобченко за неспособность к освоению своего предмета и грозил не допустить к госэкзаменам.

— А скажите, любезный, — держа Худобченко у доски, измывался профессор, — вот вы, допустим, на волах везете мешок картошки из пункта «а» в пункт «б» со скоростью икс километров в час, а навстречу вам едет всадник со скоростью икс-квадрат. Можете ли вы мне сказать, какую часть пути проедет каждый из вас, если вы встретитесь через четыре часа?

— Ты ж понимаешь, — говорил потом Худобченко Ревкину, — это ж он хочет не шоб я задачу решил, а шоб знал свое место. Волам шоб хвосты крутил. Но он ошибается. В математике он, может, и разобрался, а диалектики еще не усвоил и не может себе представить, шо нам главное — понять не иксы и игреки, а линию партии, ее унутренний смысл. Шо до математики, то нехай ее учат те, у кого башка поздоровше, а мы ими будем руководить.

При этом он толкал Ревкина в живот, подмигивал и громко смеялся.

А Скажите Любезный сдержал свое слово и не допустил Худобченко к госэкзаменам. Но сам же на этом и погорел. Комиссия, разбиравшая жалобу Худобченко, отстранила профессора от преподавания, и вскоре ему пришлось каяться через газету в своем отсталом мировоз-

зрении, в том, что проявлял барское высокомерие по отношению к слушателям из народа и препятствовал обучению пролетарских кадров. Несколько лет спустя, когда профессора арестовали, Худобченко был уже руководящим работником.

— Во, видал, — сказал он Ревкину с усмешкой, — насколько диалектика полезней математики. Нехай он теперь посчитает, сколько нужно времени, шоб добратися из пункта «а» в пункт «б» у столыпинском вагоне.

Параска появилась позже. А до нее была Неточка, на которой Худобченко собирался жениться. Однажды он прибежал к Ревкину чем-то взволнованный.

— Вот шо, друже, у меня несчастье. Неточкиных родителей раскулачили. Я тут заявление набросал, шо осуждаю свою связь с ней. Як думаешь, отдавать заявление или просто Неточку бросить, и все?

Ревкин и сам был не святой, но все-таки тогда удивился.

— Петро, — сказал он, — разве так можно? Ты же ее любишь.

— Люблю, Ондрийко, люблю, — сказал Худобченко с чувством. — Так люблю, шо даже не знаю, как переживу это все. — На глазах его выступили слезы. — Но я тебе скажу правду: себя я люблю еще больше.

8

Пропетляв по темным и ухабистым улицам Долгова, Мотя остановила машину возле дома Ревкина. Андрей Еремеевич сидел с закрытыми глазами, должно быть, спал.

— Приехали, Андрей Еремеевич, — сказала Мотя.

Ревкин не откликнулся.

— Андрей Еремеевич! — испугалась Мотя и вцепилась в его плечо.

— А? — Он открыл глаза.

— Ох вы меня и напугали, — облегченно вздохнула Мотя. — Приехали, говорю.

— Хорошо, — сказал Ревкин. Выйдя из машины, он пошел было к калитке, но тут же вернулся, опять взобрался на свое место и сказал: — Поехали!

— Куда? — удивилась Мотя.

— К Сталину.

Мотя посмотрела на него, сказала «сейчас» и побежала за Аглаей.

Аглая, приложив руку ко лбу Ревкина, сразу все поняла. Вдвоем с Мотей они осторожно вытащили его из кабины.

— Товарищ Сталин у себя? — спросил Андрей Еремеевич.

— У себя, — сурово отозвалась Аглая.

— Доложите ему, что Ревкин прибыл.

Ночью у него был жар и озноб. Аглая ставила ему горчичники и пыталась кутать его, но он раскрывался, буйнил и требовал Сталина. Но потом как будто успокоился. Он слышал, как кто-то спросил Аглаю:

— Где у вас моют руки?

Ревкин понимал, что это Сталин, но он боялся, что Аглая захочет присутствовать при разговоре, а он с товарищем Сталиным непременно хотел переговорить с глазу на глаз. Единственный выход был притвориться спящим и подождать, пока Аглая уйдет. Ревкин так и сделал. Он лежал с закрытыми глазами до тех пор, пока не услышал, как скрипнула дверь. Ревкин открыл глаза и увидел Сталина, в белом халате сидящего на кровати у его ног.

— Товарищ Сталин, — приподнято сказал Ревкин, отрывая голову от подушки.

— Лежите, лежите. Самое главное, — обернулся Сталин к вновь возникшей Аглае, — как следует пропотеть. Побольше жидкости — чай, суп, бульон и, по возможности, полный покой.

9

Маргарита Агаповна, полная женщина с белым лицом, сидела в приемной майора Фигурина, нового начальника Тех Кому Надо. Она сидела у окна, а на подоконнике стояли нанизанные на одну ручку судки с обедом для майора Фигурина, который был мужем Маргариты Агаповны.

— Вы понимаете, Капочка, — говорила Маргарита Агаповна почему-то плачущим голосом, — ведь мой Федоша, он никогда в столовой не ест. Он ужасно боится микробов. Я ему говорю: «Федоша, ты же такой храбрый, ты

врагов народа не боишься». А он только улыбнется: «Что ты, Ритуля, сравниваешь. Враги народа, они же крупные, их за километр видно, а эти паразиты такая мелочь, что иного и в микроскоп не рассмотришь как следует». И казалось бы, если уж ты такой осторожный, пожалел бы себя как следует, так нет, не жалеет. Другие люди к работе относятся спустя рукава, лишь бы день до вечера, а Федоша... для него, понимаете, семья на втором месте, а на первом работа. Работа, работа и ничего кроме работы. Иной раз ночью проснется, лежит, ворочается, вздыхает. Я спрашиваю: «Федоша, о чем ты думаешь?» — «Да так», — говорит. А я знаю — о работе думает, только о ней. И сына, говорит, делу своему научу. Он ведь, Федоша, знаете какой. Он как на новое место придет, так сразу какую-нибудь новую организацию разоблачит. Заговор какой-нибудь тут же раскроет. Страшно жить, Капочка, страшно. Вот ходят по улице вроде люди как люди, а ведь у каждого из них что-нибудь на уме. Вы возьмите хотя бы этого князя Голицына. Ведь он же кем притворялся? Простым дезертиром. Федоша говорит, что если, не зная, посмотреть на этого князя, то ни за что не подумаешь. «Но у меня, — говорит, — глаз, Ритуля, лучше всякого рентгена». Потому его и бросают на самые ответственные и опасные участки. Другой бы возразил, а мой Федоша, он ведь такой безотказный...

Тут Маргарита Агаповна достала платок и начала всхлипывать и сморкаться...

10

Любящие жены иногда наделяют своих мужей добродетелями и достоинствами, которых другие со стороны могут и не заметить. Некоторые люди, жившие в то время, что называется, бок о бок с Федотом Федотовичем Фигуриным и знавшие его довольно близко, утверждают, что ничего в нем такого исключительного не наблюдалось, что был он среднего роста, говорил тихим, немного гнусавым голосом, черные волосы зачесывал на косой пробор и смазывал постным маслом, чтобы лоснились.

Ходил всегда в новенькой, как говорится, с иголки форме, такой чистой, такой отутюженной, словно она не

снашивалась и не мялась. Португя сверкала лаком и нежно поскрипывала. В общем же был человек как человек. Впрочем, у нас сохранились свидетельства только обыкновенных, средних людей, к суждениям которых следует подходить с большой осторожностью. Средний человек не может отличить гения от простого смертного. Ему кажется, что гений непременно должен отличаться каким-то, может быть, необыкновенным пламенем во взоре или еще чем-нибудь подобным. Но мы-то знаем, что это не так и что гений может выглядеть как самый обыкновенный человек, как мы с вами. Не разглядев в Фигурине гения, многие его не любили, а подчиненные сугубо между собой звали его Идиот Идиотович.

Между тем потом, по прошествии определенного времени, когда майор Фигурин исчез из Долговского района, была найдена тетрадь с собственноручными его записями, содержащими весьма смелые и оригинальные мысли. Вот некоторые из них, взятые наугад:

ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ТОТ, КТО ЗАМЕЧЕН В ЧЕМ-НИБУДЬ ПОДОЗРИТЕЛЬНОМ

НАИБОЛЕЕ ПОДОЗРИТЕЛЕН ТОТ, КТО НИ В ЧЕМ ПОДОЗРИТЕЛЬНОМ НЕ ЗАМЕЧЕН

КАЖДЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ МОЖЕТ СТАТЬ ОБВИНЯЕМЫМ

ПОДОЗРЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТАТОЧНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ АРЕСТА

АРЕСТ ОБВИНЯЕМОГО ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТАТОЧНЫМ И ИСЧЕРПЫВАЮЩИМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЕГО ВИНЫ

Нет сомнений, что эти мысли принадлежат весьма незаурядному человеку. Однако у нас нет достаточных доказательств, что они являются плодом раздумий самого майора Фигурина, а не списаны им у кого-то.

В той же тетради отмечена еще одна удивительная по своей свежести для тех времен мысль, но она относится уже не к юридической науке, а к медицине:

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ НАСТОЛЬКО ОБЪЕКТИВНО ХОРОША, ЧТО КАЖДЫЙ, КОМУ ОНА НЕ НРАВИТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ЯВЛЯЕТСЯ СУМАСШЕДШИМ

Поразительная краткость и ясность, доступная только величайшим умам. В нескольких словах сформулирован краеугольный принцип целого направления в психиатрической науке.

Некоторые скептически настроенные критики и критически настроенные скептики могут указать, что данная формула пригодна лишь для определенного строя, существующего на определенном пространстве в определенное время, но это не так. Замените слова «Советская власть» любыми подходящими для данной местности в данное время, и вы увидите, что формула эта всеобъемлюща и пригодна для всех времен и народов.

Теперь имя майора Фигурина забыто, а идея стала расхожей. В качестве основной и единственной она вошла во многие диссертации, учебники, фундаментальные труды, авторы которых получили ученые звания и ходят в академических шапочках, хотя смысл ими написанного на тысячах страниц майор Фигурин сформулировал раньше и гораздо короче. Если, повторяю, он этого не списал у кого-то другого.

11

После того как выяснилось высокое происхождение Чонкина, дело его вышло из разряда обыкновенных текущих дел, то есть таких, по которым можно принять любое решение. Оно стало делом особой важности, или, уж если говорить с наибольшей точностью, делом особой государственной важности, и было направлено «наверх», потому что хотя внизу все понимали или, по крайней мере, догадывались, что надо с этим Чонкиным делать, однако, чтобы не рисковать, ожидали официальных указаний. До получения указаний нижнее начальство проявляло некоторую нерешительность, что нашло отражение в следственных документах и других материалах, связанных с этим делом, где Чонкин именуется и просто Чонкин, и «так называемый Чонкин», а в некоторых случаях даже Белочонкин. Впрочем, уже и в этих документах мелькают иногда двойные фамилии Чонкин-Голицын и Голицын-Чонкин.

Так вот, дело Чонкина было отправлено «наверх» и шло по инстанциям, а тем временем майор Фигурин, пользу-

яся возникшей паузой, решил немедленно восстановить репутацию органов, пошатнувшуюся в результате неосмотрительной (скажем так) гибели капитана Миляги. С этой целью майор не только добился помещения в газете очерка о подвиге покойного капитана, но решил провести и другое важнейшее политическое мероприятие — захоронить останки героя публично и с подобающими почестями.

Однако при осуществлении этой операции возникло несколько необычное затруднение.

Похороны от других торжественных церемоний отличаются тем, что в них участвует хотя бы один покойник. А тут вся загвоздка состояла в том, что как раз покойника-то и не было. Было известно только, что капитан погиб под деревней Красное, но где в точности и вообще, зарыт ли он в землю или валяется просто так, никто толком не знал.

Для обнаружения останков героя майор направил поисковую группу из шести человек во главе с сержантом Свинцовым, которому было приказано провести операцию в глубокой тайне, не привлекая внимания местного населения.

12

Дело было к вечеру. Плечевой возвращался из Долгова, куда ходил по каким-то своим делам, когда увидел странную картину. Какие-то люди бродили по полю, словно чего-то искали. Они то расходились в разные стороны, то сходились в кучу и что-то обсуждали и опять расходились. Движимый любопытством, Плечевой направился к ним. Люди, бродившие по полю, заметив Плечевого, повели себя еще более странно — построились в колонну по одному и стали отступать к лесу. Плечевой нагнал их возле самой опушки.

— Здорово, мужики, — сказал Плечевой громко.

Те продолжали идти, не отвечая.

— Эй! — Плечевой тронул крайнего за рукав. — Прикурить не найдется?

— Нет, — буркнул тот и повернул к Плечевому злое лицо.

— Ого! — удивился Плечевой, узнав Свинцова. — А я думаю, кто бы это мог быть. Ловите, что ль, кого?

Свинцов не ответил, но остановился. Остановилась и вся его компания. Рассредоточились и стали обступать Плечевого.

— Вы чего это, ребята, чего? — испугался Плечевой, пятясь назад. — Я ж так просто, я ж ничего, — бормотал он, внимательно следя за Свинцовым, который, отвернув полу плаща, сунул руку в карман и теперь медленно тащил ее обратно.

Свинцов резко дернул рукой. Плечевой вздрогнул.

— На, прикури, — сказал Свинцов, протягивая спички.

— Ух, напужал! — признался Плечевой. — Да у меня-то ведь и табачку тоже нет.

Свинцов переглянулся со своими, усмехнулся, достал мятую пачку «Звездочки», вытащил корявыми пальцами две папиросы, одну протянул Плечевому:

— Кури.

Задымили. Свинцов, прикрывая ладонью папиросу, пыхтел, поглядывая на Плечевого, как бы колеблясь, спросить или не спросить. Наконец решился.

— Ты это вот что... — сказал он вроде просто из любопытства. — Упокойника тут какого не встречал часом?

— Упокойника? — не очень удивившись, переспросил Плечевой. — Да не, вроде как не встречал. А что, убег?

— Кто?

— Ну этот же, упокойник.

Свинцов посмотрел на него прищурясь.

— Ты что дурочку городишь? Как же упокойник может убежать?

— Ну я и сам думаю своей головой, что не может. Наших-то упокойников мы обыкновенно в землю кладем, они не бегают. А этот... ты ж сам говоришь, не встречал ли?

Свинцов задумался.

— Ты это вот что... — начал он неуверенно с той же фразы. — У меня к тебе одно дело есть. Но если кому проболтаешься... — Он поднес к носу Плечевого кулак.

— Да ты что! — решительно возразил Плечевой, отстраняя кулак. — Чтоб я кому сказал! Могила!

— Ну, гляди. — Приблизив лицо к Плечевому, Свинцов понизил голос. — Помнишь, у нас капитан был?

— Ну?

6.81. n 1488-A

Ц К КП С С

О лишении гражданства СССР
Войновича В.Н.

Как ранее сообщалось Комитетом госбезопасности (№ 2316-A от 4 ноября 1980 года), московский литератор Войнович В.Н. в последние годы активно занимается антиобщественной деятельностью.

В декабре 1980 г. Войнович с женой и малолетней дочерью по приглашению Баварской академии искусств выехал в ФРГ сроком на один год.

По прибытии в ФРГ он установил контакты с представителями антисоветских центров, что послужило очередным поводом для муссирования всяческих клеветнических измышлений о нашей стране.

В течение непродолжительного времени Войнович дал ряд интервью политически вредной направленности, свидетельствующих об окончательной утрате им чувства советского гражданина.

С учетом изложенного представляется целесообразным лишить Войновича В.Н. советского гражданства.

Проекты постановления ЦК КПСС и Указа Президента Верховного Совета СССР прилагаются.

Просим рассмотреть.

Председатель Комитета

В.А. Андропов

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

818 О лишении гражданства СССР Войновича В. Н.

Учитывая, что Войнович В. Н. систематически занимается враждебной Союзу ССР деятельностью, наносит своим поведением ущерб престижу СССР, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

На основании статьи 18 Закона СССР от 1 декабря 1978 года «О гражданстве СССР» за действия, порочащие высокое звание гражданина СССР, лишить гражданства СССР Войновича Владимира Николаевича, 1932 года рождения, уроженца гор. Душанбе, временно проживающего в ФРГ.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 16 июня 1981 г.

№ 5075—X.



1980. Декабрь.
Мастерская Бориса Мессерера.
Проводы.



1980. Октябрь.

Последний снимок перед
отъездом. Слева направо:
дочь Марина, её отец, художник
Борис Биргер, сын Павел,
двоюродный брат отъезжающего
Виктор Шкляревский.



1980. Проводы.
Снимок для истории.





21 декабря 1980.

Первые шаги на немецкой
земле. Первые венгры.
Слева — Виктор Некрасов.



1987. Нью-Йорк.
Мастерская Эрнста
Неизвестного и
сам Неизвестный



1987. Апрель. Нью-Йорк.
Борис Мессерер и Белла
Ахмадулина. Первая
встреча после всего.



1981. Лето. Штокдорф
(под Мюнхеном).



1981. Бостон.
В гостях у Наума
Кортавика



1981. Шаги прогресса.
Электрическая пишущая
машинка.



80-е годы

Шнейсдорф, гол. м. дом.

Слева направо: Марио Карти
(ныне директор радио "Свобода"), Барбара
фон Вульфен (красавица-мисс),
Лев Кондратов, Ирина Виноградова



1984. Мюнхен.

Отар Иоселиани с
исполнительницей главной
роли в фильме "Фавориты Луны".



1988. Франкфурт-на-Майне.
С Миловаком Ђмиласом
и его женой Стефанией -
встреча родственников. Ђмилас -
нашего рода. Его дед сменил
фамилию Вайнович на
партизанскую кличку Ђмилас,
что означает - Лейбисее Конь.



1 января 1990. Черногория.
Город Херцег Нови, улица
имени Марко Вайтовича.
Дом адмирала, разрушенный
землетрясением, — чуть
потемнел.

(гриф секретности)
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления "З"
КГБ СССР
(подпись) _____
(подпись) _____
1980г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об уничтожении архивного дела оперативной разработки № 34840
27 сентября 1980 г. начальник отдела действующего резерва КГБ
СССР _____
(должность, отдела — управления,
имена, фамилии и инициалы)
рассмотрел материалы архивного дела оперативной разработки № 34840
"Гранин".

Наименование: ДОР "Гранин" заведено в 1977 году. В 1980 году "Гранин" с семьей
выехал в ФРГ и Указом Президиума Верховного Совета СССР за свои дей-
ствия за границей был лишен советского гражданства. В октябре 1982 го-
да дело было прекращено. В настоящее время материалы дела исторической
и оперативной ценности не представляют.

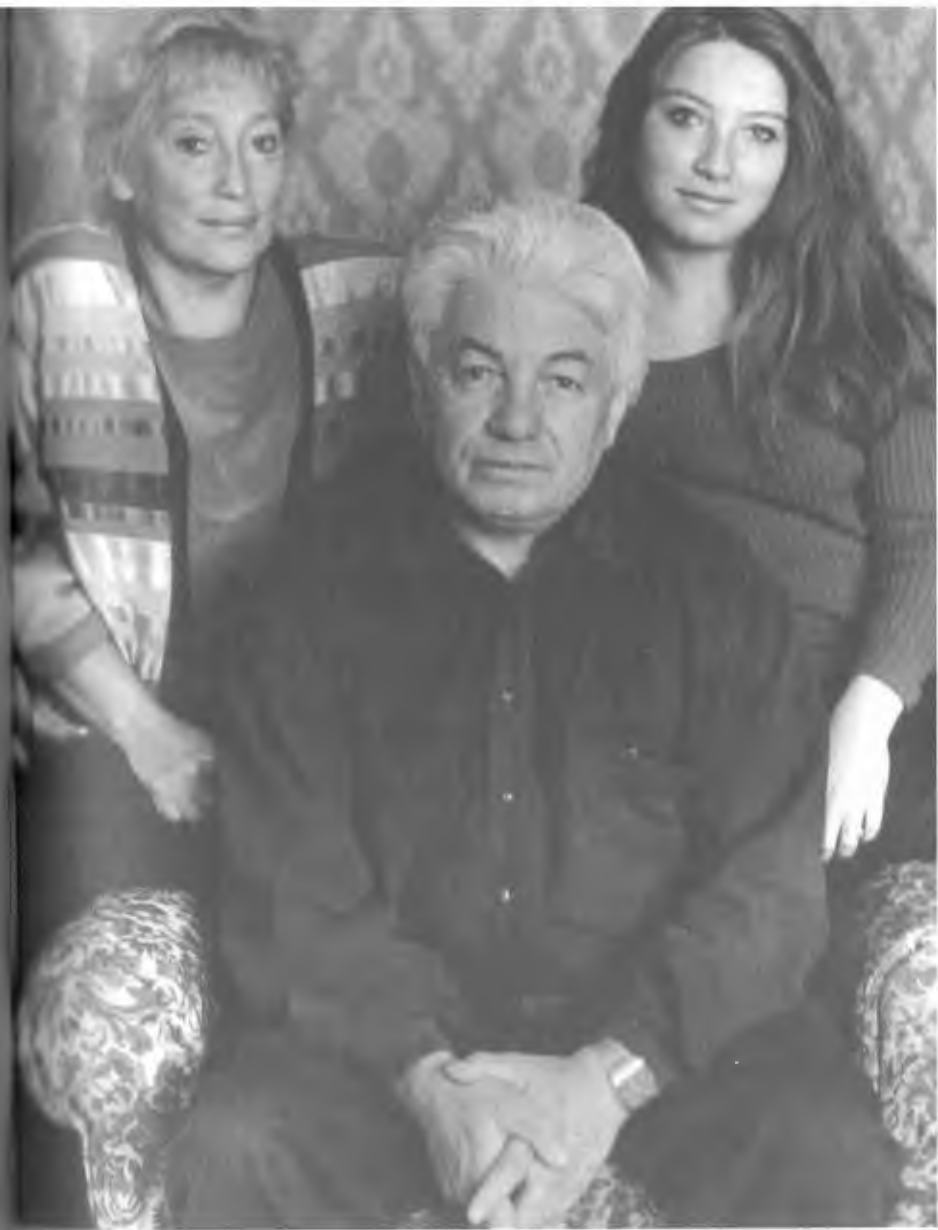
Постановил: ДОР № 34840 "Гранин" в десяти томах (тт. № 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10) уничтожить как не представляющее исторической и опера-
тивной ценности.

(подпись)
«СОГЛАСЕН» Начальник 8 отдела Управления "З" КГБ СССР
(должность, отдела — управления, звания)
(подпись) _____

88-18-2166-7
20.11.80г.

88-18-2166-7
20.11.80г.

1991. Лубянская липа „Гранин“ — это
книжка, под которой я у них находился



1992. С женой и дочерью в
московской квартире.



В Москве. Английский режиссер
Пол Павликовский, российский —
Петр Тодоровский, мой сын Павел
и друзья.



1997. Москва. Известный итальянский
издатель Энрико Финауди с подаренным ему
альбомом с фотографиями славянского сыра.



С Бенедиктом Сарновым.



*Одкатди 3 с кей танцевал, но не на сцене,
а в ресторане. А снимок — после
ее концерта.*



26 сентября 1997 года. Подарок к дню рождения. После повести «Шанка» автору было подарено много головных уборов из ценного меха. Не написать ли роман «Шуба»?

— Его ищем.

— Воскрес? — просто спросил Плечевой, опять-таки не удивляясь.

— При чем тут воскрес? — поморщился Свинцов. — Тело его ищем. Где-то он здесь захоронен. Не видал?

— Тела не видал, — сказал Плечевой. — А кости попадались. За тем бугром, возле деревни пашня. За пашней канава, и там, в канаве, кости.

— Человецкие? — оживился Свинцов.

— Какие, врать не буду, не знаю, но есть. Там, значит, как на бутор подынешься, да, там пашня. Правда, там сейчас, пожалуй, размокло. Да, однако, обратно же, не потопнешь. Вспахано-то неглыбко, я сам под зябь пахал, да. В прежние-то времена, конечно, пахали поглыбже, поскольку земля своя. Теперича все колхозное. Теперича хочь так паши, хочь эдак, плата одна — вот. — Плечевой скрутил и показал Свинцову огромную дулю с далеко выдвинутым большим пальцем.

— Что, колхозная система не ндравится? — бдительно спохватился Свинцов.

— Политики касаться не будем, — уклонился от прямого ответа Плечевой. — А что до костей, так они как раз у той канавы и лежат, чистые, гладкие, воронами обклеванные, прямо хоть щас в музей. Вам небось для музея?

— Чего — для музея?

— Да кости же.

— Да они нам вовсе и не нужны. — Вспомнив о секретности полученного задания, Свинцов решил напустить туману.

— А для чего ж спрашивал? — удивился Плечевой.

— А так просто, из интересу. А ежели ты кому скажешь, что костями интересовались, башку снесем, понял?

— Чего ж тут не понять, дело простое, — подтвердил Плечевой.

Плечевого отпустили, но брать кости сразу не решились — были слишком близко к деревне. Решили дождаться в лесу темноты.

— Капитолина, я вас прошу сегодня задержаться, — сказал майор Фигурин своей секретарше. — Очень мно-

го дел. Нужно подготовиться к завтрашнему дню. Я сейчас ненадолго уйду, а вы побудьте. Если позвонят из области, я — в клубе. Когда вернется Свинцов, пусть меня подождет.

— Хорошо, — сказала Капа.

В Доме культуры железнодорожников шли последние приготовления к торжественной церемонии. На сцене плотник Кузьма обивал красной материей гроб, стоявший на двух табуретках. Его работой руководили секретарь райкома Борисов, предрайисполкома Самодуров и редактор Ермолкин.

В глубине сцены рассказывал какой-то человек с блоком. Он размахивал руками, бормотал что-то себе под нос и потом что-то записывал огрызком карандаша.

В углу сцены художник Геннадий Шутейников, наколов на фанеру лист ватмана, заканчивал портрет Афанасия Миляги, который по клеточкам срисовывал с маленькой паспортной фотокарточки. Карточка тоже была наколота на фанеру рядом с ватманом.

— Ну-ка, ну-ка... — Фигурин взгляделся в карточку, затем отошел подальше, чтобы сравнить с нею портрет. — Вы считаете, похож? — спросил он художника, в почтительной позе стоявшего рядом со своим творением. — У меня такое ощущение, что этот портрет напоминает мне кого-то другого.

— Вполне возможно, — сказал художник. — Карточка очень маленькая. А я обычно к праздникам рисую товарища Сталина. И знаете ли, рука сама...

— Что значит сама? — нахмурился Фигурин. — Рукой вот что должно руководить. — И он постучал себя пальцем по лбу. — Так что вы уж немного облик его, пожалуйста, измените.

— Да, но я боюсь, что тогда он совсем не будет на себя похож.

— Это не важно, — сказал Фигурин. — Важно, чтобы он не был похож на того, на кого он сейчас похож. Вы меня поняли?

— Да-да.

— И вообще, вы знаете, я лично не был знаком с капитаном. Но я слышал, он был жизнерадостен, любил улыбаться, вот и сделайте ему улыбку.

— Неудобно как-то, — робко возразил художник. — Все-таки мертвый.

— Да, мертвый. Но в памяти нашей он должен оставаться живым. Вы меня понимаете, живым, — повторил Фигурин и улыбнулся печально.

Он отошел от портрета, и тут путь его преградил человек с блокнотом. Фигурин посмотрел на него вопросительно.

— Серафим Бутылко, — представился человек. — Стихи пишу, печатаюсь в местной газете, вон у Евгения Борисовича. — Поэт показал на Ермолкина, суетившегося вокруг гроба.

— Очень приятно, — сказал Фигурин. — И что же?

— Я, тык-скыть, хотел бы вас познакомить... кое-что создал к завтрашней, тык-скыть, церемонии.

— Что значит «тык-скыть»? — поинтересовался Фигурин.

— Ну это я, тык-скыть... то есть в смысле «так сказать» говорю, — объяснил Бутылко, несколько смутившись.

— А, понятно. Если я вас правильно понял, вы сочинили стихи, которые хотели бы прочесть завтра.

— Да, над телом, тык-скыть, усопшего.

— Ну, насчет тела я не знаю. Над гробом точнее. А сейчас хотите прочесть мне?

— Точно, — согласился Бутылко. — Хотелось бы, тык-скыть, узнать мнение.

— Ну что ж, — согласился Фигурин. — Если не очень длинно...

— Совсем коротко, — заверил Бутылко. Он отступил на два шага и стал в позу. — Романтик, чекист, коммунист, — объявил он, и все суетившиеся вокруг гроба обернулись. Только художник Шутейников продолжал заниматься своим делом.

Держа в левой руке блокнот и размахивая кулаком правой, Бутылко завыл:

Стелился туман над оврагом,
Был воздух прозрачен и чист.
Шел в бой Афанасий Миляга,
Романтик, чекист, коммунист.

Сражаться ты шел за свободу,
Покинув родимый свой кров,
Как сын трудового народа,
Ты бил беспощадно врагов.
Был взгляд твой орлиный хрустален...
Вдруг пуля чужая — ба-бах!
И возглас «Да здравствует Сталин!»
Застыл на холодных губах.
Ты стал недопетою песней
И ярким примером другим.
Ты слышишь, сам Феликс железный
Склонился над гробом твоим.

Читая последние строки, Серафим заплакал.

— Ну что ж, — сказал Фигурин, — по-моему, ничего антисоветского нет. И вообще, — он сделал неопределенные движения руками, — кажется, неплохо. А вы как считаете? — обернулся он к Борисову.

— Хорошее стихотворение, — сказал Борисов. — С наших позиций.

— Там, правда, в начале неувязочка, — вмешался Ермолкин. — Стелился туман и в то же время воздух был как?

— Прозрачен и чист, — заглянув в блокнот, сказал Бутылко.

— Так здесь как-то не того. Туман — и одновременно прозрачен и чист.

— Так это ж над оврагом туман. А в остальных местах он прозрачен и, тык-скыть, чист.

— Да, так может быть, — авторитетно сказал Фигурин. — Овраг внизу, там туман, а чуть повыше... Но мне лично как раз концовка кажется не совсем. Железный Феликс — это хорошо, образно, но желательно как-нибудь... ну, я бы сказал, оптимистичнее.

— Побольше, тык-скыть, мажора? — спросил Бутылко.

— Вот именно, мажора побольше, — обрадовался Фигурин подходящему слову. — Ну там, конечно, в начале и еще больше в середине, когда вы пишете, что погиб герой, грусть нужна, не без этого. Но в то же время нужно, чтобы в целом стихотворение не наводило уныния, а звало в бой, к новым победам. Ну, можно как-нибудь так ска-

зять, что он сам погиб, но своим подвигом вдохновил других и на его место встанут тысячи новых бойцов.

— Очень хорошо! — с чувством сказал Бутылко, записывая. — Можно, тык-скыть, как-нибудь вот в таком духе:

Погиб Афанасий Миляга,
Но та-та в каком-то бою.
Я тоже когда-нибудь лягу
За Родину, тык-скыть, свою.

Так?

— Вот-вот, — замахал руками Фигурин. — Как-нибудь в этом духе, но не лягу — у вас в стихотворении уже один лежит, хватит, а как-нибудь отомщу, мол, твоим врагам.

— Принимаю к сведению, — сказал Бутылко.

— Очень ценное замечание, — вставил Борисов.

— Ну ладно. — Фигурин посмотрел на часы. — Мне пора. Напоминаю всем: завтра в двенадцать часов. Нужно, чтобы все было спокойно и организовано. Побольше людей с предприятий. И обязательно слушать, кто что говорит. Если услышите такие разговоры, что Миляга не герой был, а совсем наоборот, таких людей, пожалуйста, это просьба ко всем, берите на заметку и фамилии сообщите кому-нибудь из наших людей или еще лучше лично мне. Вести, значит, будете вы. — Борисов наклонил голову. — Два-три выступления здесь и два-три у могилы. Ну, и вы, значит, стихи прочтете. Но, повторяю, побольше оптимизма, так, чтобы, понимаете, после этого жить, знаете ли, хотелось, бороться. Извините, товарищи, тороплюсь.

14

Фигурин вышел из клуба, но направился не Туда Куда Надо, а к Дому колхозника. Он шел по темной Поперечно-Почтамтской улице. Моросил дождь. Время от времени майор утирал ладонью лицо. Настроение было хорошее. Все шло по плану. В голове вертелись строчки стихов.

Но та-та в каком-то бою
Я тоже когда-нибудь лягу
За Родину, тык-скыть, свою

«Талант, — думал Фигурин о Серафиме, — настоящий талант. Хотя что значит «Феликс железный склонился над гробом»? Железный — и склонился. А правильно, что он склоняется? Может, он всегда должен быть прямым как стрела?»

Надо было сказать об этом Серафиму, пусть переделает. Может быть, он, Фигурин, слишком поспешно сказал, что стихотворение не антисоветское, может, оно даже вполне антисоветское? Собственно говоря, все это вопрос толкования. По существу, всякое написанное слово, или просто произнесенное, или, если уж идти до конца, родившееся в чьем-то уме, является антисоветским. Мысль эта показалась майору интересной, он пожалел, что при нем нет тетради, в которую он обычно записывал свои мысли, которые, если признать справедливым его теперешнее утверждение, были сами по себе тоже антисоветскими.

Войдя в Дом колхозника, он справился у старухи дежурной, вязавшей за перегородкой носок, есть ли кто-нибудь в седьмом номере. Старушка покосилась на доску с ключами и сказала:

— Есть.

Поднявшись на второй этаж и подходя к седьмому номеру, он услышал внутри какой-то шум и приник ухом к двери.

— Ну что, — услышал он звонкий голос, — будем играть в молчанку? Не выйдет! Если я захочу, у меня рыба заговорит!

Фигурин, подогнув колени, склонился к замочной скважине и увидел картину, поразившую даже его. На стуле спиной к столу сидела полная женщина в зеленом платье, с ярко накрашенными губами. Руки ее были заложены назад. Перед ней стоял подросток в белой рубашке. В руках он держал керосиновую лампу, которую подносил к лицу женщины.

— Гражданин следовательно, — взмолилась женщина, — я вам правду говорю, я ничего не знаю.

— Вранье! — беспощадно отрезал мальчик. Он передвинулся, встал спиной к замочной скважине и заслонил собой женщину. Понимая, что терять нельзя ни минуты, Фигурин открыл дверь ногой.

При его появлении мальчик вздрогнул, отпрянул от женщины и стоял, растерянно держа в руках лампу. Женщина тоже была смущена.

— Что здесь происходит? — строго спросил Федот Федотович, переводя взгляд с женщины на мальчика и обратно.

— Вы майор Фигурин? — спросила женщина.

— Да, — сказал он не без гордости, — я майор Фигурин.

— Клавдия Воробьева, — представилась женщина, поднимаясь. — Полковником Лужиным направлена в ваше распоряжение.

Руки она по-прежнему держала сзади.

— А этот мальчик? — спросил Фигурин.

— Мой сын Тимоша, — сказала Клавдия.

— Сын? — удивился Фигурин. — Странные у вас отношения с вашим сыном.

— Вы все слышали? — Она улыбнулась.

— Не только слышал, но и видел.

— Это мы играли.

— Играли? — поднял брови Фигурин.

— Мы так часто играем, — сказала Клавдия. — Ну что ты стоишь? — закричала она на сына. — Развяжи!

Сын поставил лампу на стол и снял с рук матери козынку, свернутую жгутом.

— Фу! Даже руки затекли. — Она помахала кистями. — Дело в том, — улыбаясь, объяснила она Фигурину, — что Роман Гаврилович обещал устроить Тимошу в специальную школу, ну и я его немножко пока подготавливаю.

— А-а, — понял Фигурин. — Интересная система воспитания. Я своего сына тоже готовлю, но пока что не так наглядно. Молодец! — Он похлопал мальчика по плечу. — Комсомолец?

— Пионер, — сказал мальчик, потупясь.

— Молодец! — повторил Фигурин. — Далек ли пойдешь. А в школе-то хорошо учишься?

— В школе неважно, — сказала мать, и глаза ее стали печальны. — Особенно по арифметике и по русскому. Ну никак они ему не даются. Да и то сказать, без отца растет. Был бы папка, когда бы ремнем выдрал, когда так говорил, а меня же он не боится. Ишь, паразит какой! — неожиданно возбудилась она. — Я вот тебе покажу! Бу-

дешь плохо учиться, Роман Гаврилович тебя никуда не возьмет.

— Да уж, брат, — подтвердил Фигурин. — Учиться нужно обязательно, и только на «хорошо» и «отлично». Если уж хочешь в органах работать, знать должен много. Математику, историю, психологию, например. А как же! Вот я вижу, ты допрос ведешь. Лампу под нос и — давай, говори! Кричишь, ногами топаешь. Разве ж это годится? А ты попробуй без грубостей, в душу подследственному попробуй проникнуть, чтобы он сам осознал глубину своего падения и искренне раскаялся.

— Ну да, искренне, — не поверил мальчик. — Враги народа, они знаете какие упорные.

— Всякие есть, — сказал Фигурин. — Есть и упорные. Есть такие, которые от твоей лампы еще упорнее станут. Поэтому, когда имеешь дело с человеком, важно уметь подействовать на его самолюбие, использовать его любовь к семье, к водке, к женщинам. Женщин любишь?

— Что вы, — сказала Клавдия. — Он еще маленький.

— Ах да, забыл. Но я, собственно говоря, к вам не за этим. Вам Роман Гаврилович объяснил ваше задание?

— Да, — сказала Клавдия. — Значит, завтра на похоронах я буду как вроде вдова капитана Миляги.

— Да-да, — сказал Фигурин. — Похороны очень важные. Им придется большое политическое значение. Надо, чтобы люди видели, какой замечательный человек погиб от рук белочонкинской банды. И одно дело, знаете, когда просто хоронят какого-то военного. Ну, погиб и погиб, сегодня на фронте много людей гибнет. И другое дело, когда гроб стоит, а над гробом жена, ребенок. — Он погладил Тимошу по голове. — Тогда, знаете ли, это производит гораздо более сильное впечатление. Мы, значит, завтра поставим вам табуреточку у изголовья. У вас платье черное есть? Нет? Достанем. Ну, и так особенно рыдать, конечно, не нужно, но хорошо бы, чтобы глаза все-таки были заплаканы. Может, в платочек луку накрошить?

— Зачем? — сказала Клавдия. — Я и так плакать умею. Я когда в самодеятельности играла, то, бывало, всегда плакала, даже наш режиссер удивлялся. Вот смотрите. — Она напряглась, покраснела, и вдруг из глаз ее действительно потекли слезы.

— Прекрасно! — сказал Фигурин. — Очень натурально.

— А я плакать не умею, — сказал мальчик.

— А тебе и не нужно. Ты же у нас мужчина. Ты только должен стоять рядом с матерью и утешать ее так, как будто в гробу лежит твой отец.

15

Когда стемнело, Свинцов собрал свою группу на опушке. Было тихо. Накрапывал дождь, и казалось, что кто-то ходит вокруг и продирается сквозь кусты. Темные фигуры в намокших фуфайках стояли перед Свинцовым, он пересчитал их на ощупь.

— Ну, пошли, — вполголоса приказал он и сам двинулся первым.

Шли напрямик по сжатому полю, и ноги вязли в глинистой почве. Время от времени Свинцов оглядывался, видел, что остальные идут за ним гуськом, стараясь не отставать.

— Сяржант, — спросил шепотом длинный Худяков, — закурить можно?

— Я тебе закурю, — сказал Свинцов, не оборачиваясь. Он шел, пристально глядя себе под ноги, но не видел ничего, кроме смутно желтевшей стерни. Свинцов забеспокоился, что уже прошли то место, на которое днем указал Плечевой, и думал, не развернуть ли свою команду и не прочесать ли все поле шеренгой, когда под ногой что-то хрустнуло.

— Стой! — сказал Свинцов и нагнулся. Пошарив по земле руками, он вздохнул с облегчением: — Кажись, оно. — И обернулся к своим спутникам. — Все сюды! Собирайте кости и кладите в мешок.

Спутники обступили Свинцова и склонились в кружок над чем-то невидимым.

— Слышь, сяржант, — тихо и с удивлением сказал Худяков, — кости-то как быдто ужасно здоровые.

Свинцов и сам это заметил.

— Не твое дело, — пробормотал он сердито. — Бери какие помельче.

Но мелких оказалось немного, а крупные с трудом отделялись от остальной части скелета.

— Вы это вот что, — сказал Свинцов, — какие крупные, те об колено.

Некоторое время сквозь шум дождя слышалось сопение нескольких здоровых мужиков и сухой хруст ломаемых костей. Наполнив мешок наполовину и взвесив его в руке, Свинцов приказал работу прекратить и добавил к собранному материалу крупный продолговатый череп.

16

Время близилось к полуночи. Капитолина Гюрячева дежурила в приемной, ожидая возвращения своего начальника. Все было спокойно. Дважды звонили из области. Первый раз спросили, сколько сосисок осталось на складе. Капа сказала «шестнадцать». Второй раз интересовались, прибыла ли вдова и что слышно относительноклада. Капа ответила, что вдова с сиротой записались в колхоз, а клад пока ищут. Ей сказали: «Когда найдут, сообщите тестю».

Оба разговора были кодированы. В первом случае выясняли, сколько осталось дел, не законченных следствием, во втором — добралась ли до места Клавдия Воробьева и найдены ли останки капитана Миляги. Тесть — Лужин.

Звонил женским голосом какой-то мужчина и сказал, что может дать ценные сведения насчет Курта, но когда Капа спросила фамилию звонившего, он бросил трубку.

Делать было нечего. Капа попила чаю, достала из ящика стола потрепанную книгу рассказов Мопассана и погрузилась в чтение. Зачитавшись, она не слышала, как вошел майор Фигурин, и очнулась только тогда, когда он положил на ее плечо свою костлявую руку. Она смешалась и хотела сунуть книгу обратно в ящик, но майор перехватил ее, посмотрел на обложку, прочел фамилию автора. «Хороший писатель, — сказал он, — правильно изобразил язвы современного ему французского общества, но классовой сущности изображенных им же противоречий до конца не понял, ввиду ограниченности собственного мировоззрения, и не смог указать выхода из создавшегося положения. А выход этот был только в объединении и консолидации всех прогрессивных сил вокруг рабочего класса — вот до понимания чего Мопассан не дошел».

Обсудив с Капой достоинства и недостатки творчества Мопассана, Фигурин высказал беспокойство по поводу долгого отсутствия группы Свинцова, справился, какие были новости, и ушел к себе в кабинет звонить «тестю».

Капа стала собираться домой, но тут опять появился Фигурин и спросил, не хочет ли она составить ему компанию и выпить с ним по рюмочке коньяку. Капа смутилась и сказала, что она никогда коньяк не пробовала, но от сведущих людей слышала, что он пахнет клопами.

— Распространенный предрассудок, — возразил майор Фигурин. — Коньяк — один из самых лучших и полезных напитков. Он изготавливается из чистейших виноградных спиртов, в отличие от водки, не содержит сивухи, укрепляет стенки кровеносных сосудов и улучшает работу пищеварительного тракта. У меня, например, благодаря употреблению коньяка всегда очень хороший стул, — сказал майор и улыбнулся интимно.

Может быть, этот пикантный довод показался Капе достаточно убедительным, она перешла в кабинет Федота Федотовича, который достал из сейфа початую бутылку, две маленькие металлические рюмочки и лимон. Подстелив чистый бланк протокола допроса, он нарезал лимон тоненькими кружочками при помощи маленького перочинного ножа, сделанного в виде дамской туфельки, и объяснил, что закусывать коньяк лимоном придумал сам Николай Второй.

17

События развивались стремительно. Уже после четвертой рюмки Капа сидела на коленях Фигурина, а он, шаря рукой у нее под юбкой, читал, раскачиваясь, стихи любимого поэта:

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым...

— Будешь! — жадно и жарко дышала Капа.
— Разденься! — приказал он, дрожа от нетерпенья.
— Как? — Она удивилась. — Совсем?

— Совсем! — сказал он и убежал почему-то за шкаф.

Потрясенная, она торопливо раздевалась посреди комнаты. «Интеллигент», — думала, кидая подвязки на стул. Насколько выгодно отличался майор от покойного капитана Миляги, от этой грязной свиньи, которую теперь Капа вспоминала с отвращением. Ведь это грубое животное никогда даже не поинтересовалось ее телесной красотой. Ведь этот дикарь валил ее на диван, не давая снять даже сапог.

Капа разделась и в ожидании стояла посреди кабинета, чувствуя, как покрывается от холода или от страсти гусиной кожей. Стало даже как-то неловко. А майор все еще пыхтел за перегородкой. Слышно было, как что-то треснуло, и со звоном покатилась по полу латунная пуговица.

И вдруг с ликующим воплем «А вот и я!» майор, словно кенгуру, вылетел в высоком прыжке из-за шкафа.

— Ах! — в ужасе вскрикнула Капа и закрыла лицо руками.

Майор был совершенно гол и без всяких знаков различия, но на нем поверх дряблого и в меру волосатого тела сверкали лаком перекрещивающиеся ремни портупей, и желтая кобура с торчащей из нее рукоятью нагана хлопала майора по белой ляжке.

— Что это? — ослабшим голосом спросила Капа, отрывая от лица одну руку.

— Это? — смутился и покраснел Федот Федотович. — Это... — Он хотел объяснить.

— Нет-нет, — сказала Капа поспешно. — Я про ремни.

— И я про ремни, — еще пуще смешался майор. — Я всегда... я никогда... и нигде... без оружия... — задышался он, толкая ее к дивану.

А потом была буря, перед которой бессильно даже перо Мопассана. Скрипели диван и ремни портупей. И плыл потолок, и качалась люстра, и рушились стены, и сквозь грохот обвала слышался отчаянный визг: «А-а-а-а-а!»

Капа только потом догадалась, что это визжала она сама. Вдруг все стихло, и невидимая труба тонко проиграла отбой.

— Большинству людей непонятен смысл нашей работы, — говорил майор Фигурин, рассеянно водя мизинцем по Капиным кудряшкам. — Они нас боятся, они нас ненавидят, они втихомолку над нами смеются, они перед нами заискивают, но не понимают. А между тем, — он вскочил с дивана и заложил руки за спину, стал расхаживать по комнате, рассуждая, — смысл в нашей работе есть, и смысл глубочайший. — Капа заползла в угол дивана и села, поджав под себя ноги, прикрываясь ладонями сверху и снизу. А майор, увлеченный своими собственными рассуждениями, казалось, совсем забыл, что для лектора он одет не совсем обычно. — И не только величайший, но и гуманный смысл. Вот представьте себе, что человек без нас. Без нас он живет, но как? Скучно. Он не знает, куда себя деть, и не знает, кому он нужен. Он ест, пьет, отправляет естественные надобности, ходит на работу, ссорится с женой, но у него все время такое ощущение, что он маленький человек, что никому до него нет дела. И вот приходим мы. И мы говорим человеку: ты окружен врагами. Смотри, кто-то попытался отравить твой колодец, кто-то хочет взорвать поезд, в котором ты собираешься ехать, кто-то хочет украсть твоего ребенка. Мы говорим: смотри в оба, где-то рядом с тобой находится твой враг, он не дремлет. Мы говорим, что это не просто враг, не просто какой-то выживший из ума человеко-ненавистник, нет, он связан с международным капиталом, за ним стоят могущественнейшие силы. И человеку становится страшно, но в то же время он сам начинает себя уважать. Если на его жизнь постоянно покушаются такие силы, значит, его жизнь представляет собой колоссальную ценность. Он становится бдительным, он смотрит в оба, он всюду видит врагов, шпионов, вредителей и диверсантов, и его уважение к самому себе достигает невероятных размеров. Теперь возьмем какую-нибудь из наших жертв. Ну, допустим, того же Чонкина. Вот жил-был маленький человечек. Ничего от жизни не требовал, кроме куска хлеба, крыши над головой и бабы под боком. Впрочем, ничего плохого не делал. И вдруг оказывается, он дезертир, и не только дезертир, но и князь, а если

князь, то, значит, был связан с какими-то силами, и вот, к своему собственному удивлению, из маленького и пустого существа он вырастает до фигуры международного значения. Он становится центром огромного заговора, им интересуются большие люди, и вы посмотрите, какая с ним происходит метаморфоза. Мы объявили его князем, и в его взгляде, в его осанке, помимо его воли, появляется что-то величественное. И он теперешнего своего положения на свое прежнее положение не променяет. Нет-нет, — убежденно сказал Фигурин и помахал над головой указательным пальцем. — Ну, конечно, в связи с тем что он князь, ему грозят всякие неприятности, но если бы он оставался тем же Чонкиным, разве неприятности были бы меньшими? Вряд ли. Ну, представьте, он просто Чонкин. Его заберут на фронт и там прихлопнут как муху. Не знаю, свалит ли его шальная пуля или осколок, завалит ли под обломками какого-нибудь здания или его потопят на переправе. В любом случае конец его будет бесславным и незаметным. А мы делаем его фигурой, делаем его заметной и значительной личностью, мы, кроме того, сами проникаемся к себе уважением, и всем хорошо. И теперь попробуйте сказать этому Чонкину, что в князи его произвели по ошибке, попробуйте даже его освободить, он внешне подчинится, конечно, он вообще привык подчиняться, но внутренне он будет разочарован. Да, — закричал Фигурин, — будет разочарован! Потому что...

Договорить ему не дали. Дверь распахнулась, и на пороге появился Свинцов. Сапоги Свинцова до колен были облеплены глиной, с брезентового плаща стекала вода, за спиной болтался намокший мешок.

— Ага, — сказал майор, — наконец-то явился. Он сунул руку туда, где должен был быть карманчик для часов, рука скользнула по голому телу. Фигурин опустил глаза вниз, потом посмотрел на Капу, которая с выражением ужаса на лице сжалась в углу дивана, перевел взгляд на тупое лицо Свинцова и вдруг, осознав все, заорал не своим голосом: — Кто разрешил входить без стука? Вон отсюда!

Он с разбегу ткнул Свинцова головой в живот. И огромный Свинцов, выпшиба дверь, вылетел в приемную и,

взмахнув руками, рухнул, причем голова его оказалась под столом Капы. Майор тут же прикрыл дверь и закричал на Капу:

— Немедленно оденьтесь! Почему вы не по форме? Тьфу, что я мелю!

Он сам убежал за шкаф и стал торопливо приводить себя в порядок.

Свинцов очнулся оттого, что Капа лила на него воду из графина, а майор бил по щекам. Оба были одеты.

— Ну-ну, Свинцов, — говорил майор почти ласково. — Признаю, я немного погорячился. Мы с Капитолиной Григорьевной работали, было жарко, ну, немного разделись, а вы без стука... Вставайте же, Свинцов, по-моему, все в порядке.

Свинцов со стоном приподнялся и теперь сидел, вытянув ноги и прислонясь спиной к тумбе стола. Он отупело и настороженно поглядывал на майора, на Капу, на мешок, валявшийся в стороне.

— Ну как? — спросил майор. — Уже лучше? Я вижу, что уже лучше. Вы добыли то, зачем я вас посылал?

— Там, — указывая подбородком, хрипло сказал Свинцов. — В мешке.

— Там? — Майор недоверчиво посмотрел на мешок. — Что же там, прямо труп лежит? — Он поежился.

— Не труп, а эти... — сказал Свинцов.

— Останки? — подсказал Фигурин.

— Остатки, — согласился Свинцов. — Кости.

— Ну-ка, ну-ка. — Майор склонился над мешком, развязывая шпагат. Вынул кусок кости с загогулиной на конце, посмотрел на нее, посмотрел на Капу, достал еще одну кость, опять посмотрел удивленно, взял мешок за нижние концы и все высыпал на пол. Кости со стуком высыпались и сложились небольшой горкой. Отдельно выпал и откатился в сторону продолговатый череп.

— О, майн готт! — почему-то не по-нашему вскрикнула Капа и закрыла глаза.

Майор поднял череп и стоял, вертя его в руках и ощупывая длинными тонкими пальцами.

— Свинцов, — строго спросил Фигурин, — что это такое?

— Голова, — сказал Свинцов, пожимая плечами. Кажется, он приходил в себя.

— Не голова, а череп, — поправил майор.

— Ну череп, — легко согласился Свинцов. — Что в лоб, что по лбу.

— И вы считаете, что этот череп принадлежит человеку?

— Кто возьмет, тому и принадлежит, — уклончиво ответил Свинцов.

— Сержант Свинцов! — повысил голос Фигурин. — Вы что из себя дурака строите? Вы хотите сказать, что это череп капитана Миляги?

Свинцов постепенно пришел в себя, но все еще морщился, давая понять, что он пришел в себя не окончательно.

— А вы его видали когда? — задал он наводящий вопрос.

— Кого — его?

— Ну, капитана-то.

Майор, переглянувшись с Капой, признался:

— Не видел.

— Вот то-то. А она, Капитолина, видела. И может подтвердить: похож. За остальное не скажу, а улыбка точь-в-точь евонная.

Фигурин опять посмотрел на Капу, она неуверенно пожала плечами.

Майор задумался. Конечно, Свинцова следовало наказать. Но похороны назначены на завтра. Завтра похороны, и, если наказывать Свинцова, где взять подходящие останки? Разве что положить вместо Миляги самого Свинцова.

19

В начале октября население Красного заметно увеличилось — привезли, или, как, может быть, более правильно выражались местные жители, пригнали эвакуированных из Ленинградской области. Это были жалкие и несчастные люди, в основном старики, старухи и дети, согнанные со своих мест, просидевшие полторы недели в теплушках, дважды, по их словам, попадавшие под бомбежку и затем три дня проводившие под открытым не-

бом на привокзальной площади Долгова в ожидании распределения.

Когда расселяли приезжих по избам, Афродита Гладышева, которой досталась маленькая, сухая, но очень надменного вида бабка с шестилетним внуком, раскричалась на всю деревню, что она никого к себе в дом не пустит, что покойный Кузьма Матвеевич не для того этот дом строил и вкладывал в него душу, чтоб держать в нем кого попало и вшей разводить.

Может, Афродиту никто особо не стал бы и слушать, жильцов могли вселить и принудительно, но старуха, заглянув в избу, вылетела оттуда с вытаращенными глазами и сказала, что в такие антисанитарные условия она и сама не пойдет, тем более что она не одна, а с ребенком, сыном, между прочим, политработника и фронтовика. И еще, глядя на Афродиту, она добавила, что лучше жить в хлеву со свиньями, чем в таком доме. Сильное такое впечатление на старуху произвел, конечно, запах, все еще оставшийся в избе, хотя горшочков, произведших его, давно не было.

Афродита со свойственной ей непоследовательностью взбеленилась еще больше и стала доказывать, что никакого такого запаха в доме нет и, напротив, воздух у нее чист, как в сосновом бору. Спорила она с таким жаром, как будто пыталась завлечь старуху обратно, но та и слушать не стала и спросила председателя, не может ли он подобрать ей что-нибудь другое. Председатель обратился к Нюре, она посмотрела на старуху эту надменную, на внука ее, такого славного белокурого мальчика, и, не раздумывая, сказала:

— Пусть живут.

Старуха и к Нюре вошла с опаской, присматриваясь и принюхиваясь, и поинтересовалась, нет ли клопов.

— Есть маленько, — застенчиво улыбаясь, сказала Нюра. — Без клопов как же?

— Что же, у вас здесь у всех клопы?

— Как же, — сказала Нюра. — Где люди, там и клопы.

Старуха смирилась и стала раскладывать. Багаж ее состоял из двух больших желтых чемоданов с латунными замками и четырех узлов со всевозможным скарбом, включая эмалированный горшок для ребенка.

В виде ли компенсации за клопов или просто так, старуха, не спрашивая, заняла горницу и сказала, что спать будет с внуком вдвоем на кровати, на которой Нюра когда-то спала с Чонкиным. Нюра удивилась, но возражать не стала, сказав только, что возьмет себе одну подушку.

— А где же вы будете спать? — спросила старуха.

— Найду где, — улыбнулась Нюра.

Старуха, оценив Нюрину скромность, смягчилась, рассказала, как тяжело они ехали, по ночам без гудков и света, поезд часто останавливался, но никто никогда не знал насколько, на сутки или на минуты, люди, боясь отстать, нужду справляли на ходу в открытые двери.

Она рассказала, что зовут ее Олимпиада Петровна, а мальчика Вадик, он сын ее дочери, медсестры, а отец Вадика — политрук Ярцев (по совпадению случайностей, какое бывает только в романах и в жизни, это был тот самый Ярцев, под руководством которого еще недавно Чонкин проходил азы политграмоты).

— А вас как зовут? — поинтересовалась старуха.

— А меня Нюрка, — услышала она в ответ.

— Что значит Нюрка? — недовольно переспросила старуха. — Нюрками коз зовут или кошек. Вы мне скажите ваше имя-отчество.

После этого она стала звать Нюру по имени-отчеству — Анной Алексеевной.

Олимпиада Петровна сначала обращалась к Нюре с просьбами одолжить соли, луковичу или что-нибудь из посуды, но скоро почувствовала себя полной хозяйкой.

— Анна Алексеевна, — сказала она однажды, умильно глядя на лежавшего под столом кабана Борьку, — а почему бы вам его не продать? Я бы вам за него сатиновый отрез дала. Не продадите?

— Нет, — сказала Нюра.

— И резать не будете?

— Нет.

— Жаль. — Олимпиада Петровна смотрела на кабана с сочувствием, как смотрят на человека, растратившего зря молодые годы и не достигшего того, к чему был предназначен судьбой.

После этого она стала вести с Борькой планомерную борьбу и возмущалась, как это можно держать животное в доме, где ребенок.

Вадик к Борьке относился иначе, он всегда норовил почесать кабана за ухом, чего старуха, конечно, не разрешала.

О личной жизни Нюры Олимпиада Петровна ничего не спрашивала до тех пор, пока не увидела фотографию Чонкина, приколотую булавкой к стене, над лавкой, где теперь спала Нюра.

— Это ваш муж? — спросила старуха.

— Муж, — сказала Нюра не очень уверенно.

— На фронте?

— Нет, — сказала Нюра, — в тюрьме.

Она сказала это просто, как будто сидеть в тюрьме занятие не менее достойное, чем любое другое. Но старуха такой точки зрения не разделяла.

— В тюрьме? — переспросила она. — И за что же?

— А ни за что, — так же просто сказала Нюра.

Старуха, ничего не ответив, ушла к себе в комнату, но вскоре вернулась.

— Анна Алексеевна, — сказала она с каким-то скрытым вызовом, — а ведь у нас ни за что не сажают.

— Да? — удивилась Нюра. — А у нас сажают.

20

Среди ночи Нюру разбудил испуганный шепот:

— Анна Алексеевна, Анна Алексеевна!

— А? Что? — Нюра трясла головой, никак не могла проснуться.

— Вы слышите? — Над ней стояло привидение — Олимпиада Петровна в длинной, до полу, ночной рубашке.

— Что? — спросила Нюра.

— Тссс. Слышите? Там кто-то ходит.

— Где?

— Да на улице же.

Полузакрыв глаза, Нюра лежала и слушала. На стене шипели и щелкали ходики: шшшш-тук-шшшш-тук-шшшш-тук.

— Слышите?

— Это часы, — сказала Нюра.

— Да при чем тут часы? — сердилась старуха. — Я вам говорю: там, на улице.

Нюра приподнялась на локте и посмотрела в окно. За окном шел дождь, свистел ветер, ветка облетевшего клена стучала в стекло.

— Это дождь, — сказала Нюра. — Когда дождь, то всегда кажется, будто кто-то ходит.

— Анна Алексеевна, — обиделась старуха, — я еще пока с ума не сошла. Я вам говорю: там кто-то ходит.

Нюра прислушалась.

— Будет вам, — сказала она, успокаивая старуху, — кому это надо в такой дождь ходить?

Все же она встала и, натываясь на разные предметы, босая, пошла в сени, добралась до наружной двери, хотела только чуть приоткрыть, но ветер вырвал ее, распахнул настежь, ударил о стену. Нюра выскочила на мокрое крыльцо, поскользнулась, упала на одно колено. Ветер задрал подол рубахи, осыпал дождем. Преодолевая сопротивление стихии, Нюра закрыла дверь, заложила деревянным засовом, по дороге к себе заглянула в хлев. Здесь все было тихо, мирно. Во тьме сонно кудахтали куры, похрюкивал кабан Борька и шумно вздыхала Красавка.

Нюра вернулась в избу. Олимпиада Петровна все еще стояла в своих дверях.

— Ну что? — шепотом спросила она.

— Нет ничего, — сказала Нюра.

Она поправила сбившуюся постель, легла и отвернулась к стене.

Старуха, проворчав что-то, ушла к себе.

Подложив под голову руку, Нюра лежала на боку, судорожно зевала, но сон не шел. Перевернулась на спину, сцепила руки на животе. В последние дни временами казалось ей, она чувствует там, внутри себя, какое-то неясное шевеление, какие-то неотчетливые признаки новой жизни.

Когда-то в какой-то книжке у соседа Гладышева видела она изображение зародыша, страшноватого на вид скрюченного существа с непомерно большой головой.

Теперь она ясно представляла это загадочное существо, свернувшееся в клубочек, она испытывала к нему нежность, она жалела его. И хотя еще ничего, совсем ни-

чего не было заметно, она оберегала это существо от возможных опасностей, она ходила, расправив плечи, а чуть что — инстинктивно заслоняла живот руками, складывая их крест-накрест.

Она лежала, вслушиваясь в себя, смотрела в темный потолок, когда слабый луч света скользнул по нему и пропал и послышалось, будто пробежал кто-то и внятно ругнулся под самым окном. Она вздрогнула и стала думать, было ли это на самом деле или приснилось. По-прежнему громко шуршали и щелкали ходики, и шум, издаваемый ими, путался с шумом дождя и ветра. Вдруг где-то сзади дома заурчал автомобильный мотор. Урчание становилось все громче и громче, потом постепенно стало стихать, видимо, удаляясь.

«Пускай, — думала Нюра, впадая в забытие. — Не нашенское дело, кто там чего».

Утром, выйдя из избы, она не увидела самолета. Жерди забора были раскиданы, на огороде виднелись следы множества сапог, две глубокие колеи тянулись к дороге и здесь терялись среди других следов. Одно только крыло, отбитое когда-то сорокапятимиллиметровым снарядом, наполовину затоптанное в грязь, лежало на краю огорода — видимо, было в спешке забыто.

Тут же бабы, человек пять-шесть, и среди них Плечевой, сбежались обсудить происшествие. Так и сяк гадали, кому бы это понадобилось. Вспомнили про цыгана, который вроде бы приходил приценяться, крутился вокруг самолета, щупал уцелевшие крылья, залезал в кабину, но в конце концов решил, что, если даже эту рухлядь и починить, она не сможет взять на борт больше двух человек, а он хотел поднять в воздух целый табор. Цыган этот явно отпадал. Но кто?

Подошедший к месту событий счетовод Волков (после исчезновения Гладышева он считался одним из самых умных в деревне) высказал мнение, что кража — не иначе как дело рук германской разведки.

— Да на кой он им нужен? — не поверил Плечевой. — Он же весь ломаный, на ем и летать нельзя.

— А им не летать, — сказал Волков, — они его разберут на части и в ЧКБ.

— В чего? — переспросил Плечевой.

— В центральное конструкторское бюро, — разъяснил Волков. — Чиркулем обмерют, чертежи сымут и тыщи таких же построят.

— Да на что им это нужно? — недоумевал Плечевой. — У них и свои не хуже.

— Сравнил! — покачал головой счетовод. — Свои-то дорогие, их много нестроишь. А эти — взял фанеру да клеенку, режь по размеру и клей. А после выберут нужную цель и налетят тучей, как саранча. И против их хоть батарею зениток ставь, ну одного шибанут, ну другого, а всех не собьешь.

— Батарея — это, конечно, да, — согласился Плечевой. — А вот ежели мелкой дробью...

Надо было, однако, как-то реагировать на это дерзкое похищение, и счетовод Волков в отсутствие председателя звонил в районную милицию, просил прислать наряд с ищейкой. Оттуда прислали двух милиционеров с овчаркой Таймыром. Таймыру дали понюхать оставшееся крыло, затем пустили на длинном поводке, он побегал, дважды задрал ногу у забора, потом сел посреди огорода и, подняв вверх умную морду, тоскливо завыл, как будто давал понять, что даже его искусство в данном случае бессильно.

Вечером, когда Нюра стелила себе на лавке, к ней вошла Олимпиада Петровна и, оглядываясь на дверь, сказала, что кража самолета дело, конечно, не простое и Нюра сама должна заявить о нем Куда Надо. Нюра подумала и согласилась не столько из-за самого самолета, сколько в надежде пробиться к новому начальнику.

21

В тот вечер, кажется, ударил первый морозец. Лужи затянуло стеклом. Время от времени принимался идти мелкий снег, но его разносило резким порывистым ветром.

За то время, что Нюра не была в Долгове, здесь многое изменилось. В первую очередь, изменился социальный состав города за счет эвакуации сюда некоторых важных учреждений, и в их числе нескольких научно-исследовательских институтов, двух театров, части московской писательской организации и киностудии документаль-

ных фильмов. Резко повысился уровень культурного обслуживания населения. То есть произошел примерно тот же исторический сдвиг, когда недоразвитые народы бывают покорены более цивилизованными нациями.

В связи с поднятием уровня цивилизации и наплывом большого количества людей, хотя и преданных системе, но сильно обовшивевших, в городе был построен новый санпропускник и значительно расширены штаты Тех Кому Надо. В ведение Учреждения было передано примыкавшее к нему здание конторы Заготживсырье. Теперь оба эти здания были обнесены общим забором с зелеными воротами и домиком при нем, представлявшим собою одновременно и проходную и приемную, где круглосуточно дежурил человек, принимавший устные и письменные заявления граждан.

То есть если вдаваться в подробности, то дежурили, очевидно, несколько человек (не может же один бессменно), но люди, бывавшие Там, утверждали, что дежурные были похожи друг на друга, как близнецы, может быть, они отличались друг от друга группой крови или отпечатками пальцев, может быть, если долго пожить с ними вместе, можно было бы в конце концов увидеть в них и другие различия. Но никто из опрошенных автором свидетелей с ними не жил, никто этих различий и не заметил. Так вот, человек, которого описывают свидетели, носил штатский серый костюм, был средних лет, высокий, коренастый, с приветливым недоверчивым взглядом. Он предложил Нюре табуретку и записал с ее слов рассказ о совершившейся краже. Когда же Нюра спросила, нельзя ли ей увидеться с Чонкиным, или передать передачу, или, в крайнем случае, хотя бы записку, штатский улыбнулся, развел руками и сказал, что ни то, ни другое, ни третье сейчас совершенно невозможно, потому что в деле Чонкина обнаружилось новые обстоятельства, которые выясняются. Какие обстоятельства, штатский сказать не мог, но пообещал:

— Когда что-нибудь прояснится, мы вас вызовем.

На вопрос Нюры, не может ли она повидать нового начальника, штатский снова развел руками:

— Увы, он сейчас очень занят.

Покинув Учреждение, Нюра направилась в сторону хитрого рынка, где надеялась приобрести пару пусть поношенных, но целых галош или хотя бы чуни, иначе называемые ЧТЗ*. Нынешним поколениям надо объяснить, что в том далеком уже от нас прошлом чунями называли самодельные галоши, иногда на грубой резиновой подошве, вырезанной из автомобильного ската, то есть имевшей как бы тракторный след.

Выйдя из Учреждения, Нюра заметила одного человека, который стоял перед газетным стендом и, глядя на него как в зеркало, причесывался. Нюра не знала, что, причесываясь, он подает знак еще каким-то людям: «Внимание!» Не представляя себе, что кого-то могут интересовать ее передвижения, Нюра пошла в сторону рынка, и за ней, отставая от нее, перегоняя и не переходя на другую сторону улицы, двинулись шесть здоровых мужиков и две женщины. Проходя мимо Дома культуры железнодорожников, Нюра увидела здесь необычное оживление. Пространство вокруг дома было оцеплено милицией и штатскими с надписями БСМ** на нарукавных повязках. Возле самого Дома культуры толпился народ и стояли в ряд машины — одна грузовая с откинутым задним бортом и два военных автобуса, — фары их были закрыты светомаскировочными крышками с узкими прорезями. Боковые борта грузовика были украшены красной материей с черными полосами по краям, а в кузове ближе к кабине стоял жестяной обелиск, сделанный в виде сужающейся кверху четырехгранной пирамиды с красной звездой наверху.

Люди, собравшиеся перед главным входом, прерывистым потоком втекали в открытые двери, а другие вытекали обратно, надевая на выходе шапки. Некоторые из выходивших шли дальше, другие оставались в ожидании выноса, курили и вполголоса переговаривались.

Чуть в стороне ото всех других стояла группа руководителей района в длинных пальто и в дорогих шапках,

* ЧТЗ — Челябинский тракторный завод.

**БСМ — бригада содействия милиции.

а среди них кинооператор Марат Кукушкин, который явился со своим аппаратом, чтобы запечатлеть историческую церемонию для потомства, и выделявшийся своим высоким ростом и небрежно расстегнутым пальто детский писатель Алексей Мухин, известный тем, что, когда ему было предложено место во фронтовой газете, он решительно воспротивился и написал Сталину письмо, что его возможная гибель была бы невосполнимой потерей «для нашей читающей детворы». Говорили, что Сталин на полях письма Мухина написал, что в назидание читающей детворе такого труса следует расстрелять. В тот же день произошла такая история. Мухин выступал перед большой аудиторией во Дворце пионеров. Он стоял на трибуне, читал какую-то свою героическую поэму и отпивал из стаканчика воду, когда его сильно дернули за ноги. Дети решили, что дядя писатель показал им фокус. Только что был на трибуне и вдруг исчез. Они сначала растерялись, потом захлопали. А Мухина в это время два молодца выволокли за кулисы. Отсюда он был доставлен куда-то, где расторопная тройка тут же приговорила его к расстрелу за уклонение от защиты родины. Ночь Мухин провел в камере смертников. Утром его вывели в мощный дворик, и взвод особого назначения вскинул карабины. Командир взвода уже поднял руку, когда во дворик вкатил роскошный лимузин. Из него вышел упитанный важный военный и передал Мухину правительственный пакет, запечатанный сургучом. Когда Мухин плохо управляемыми руками сумел наконец вскрыть этот пакет, он обнаружил в нем маленький листок бумаги, на котором было написано: «Я пошутил. И.Сталин». Все кончилось благополучно. Писатель Мухин и на фронт не попал, и жив остался, и, говорят, историческую записку до сих пор хранит дома в рамочке под стеклом.

Сейчас Мухин явился сюда, чтобы представлять на похоронах творческую интеллигенцию, и от нечего делать развлекал местных сатрапов фривольными анекдотами о муже, не вовремя вернувшемся из командировки. Слушатели сдержанно улыбались, пытаясь одновременно сохранить на лицах своих выражение государственной озабоченности.

К группе руководителей мягкой походкой подошел майор Фигурин. Он улыбнулся Мухину, тронул за рукав Борисова и спросил, почему нет Ревкина.

— Не пожалал удостоить, — пожав плечами, сказал Борисов.

Из открытых дверей лилась траурная мелодия.

Нюра протиснулась внутрь, и за нею вошли двое незаметных мужчин и две женщины, остальные четверо сосредоточились, занимая ключевые позиции на возможных путях отступления.

В зале были убраны скамейки, толпился народ, чем ближе к сцене, тем гуще. Было тесно, душно, пахло увядшей хвоей, спрятанный в яме военный оркестр тихо играл Шопена.

23

Продвинувшись немного вперед и по диагонали, Нюра увидела на сцене обтянутый красной материей гроб, у изголовья которого на табуреточке сидела безутешная вдова, вся в черном, а рядом с ней рослый мальчик в коротких штанишках, в белой рубашке с красным галстуком. Время от времени вдова утирала слезы платочком и безотрывно смотрела на крышку гроба, словно видела проступающие сквозь нее дорогие черты.

Рослый военный с красно-черной повязкой на рукаве через равные промежутки времени выводил из-за кулис очередную смену почетного караула. Люди, ее составляющие, шли гуськом, высоко поднимая ноги, и застывали каждый на своем месте, словно внезапно пораженные столбняком.

А надо всем этим — над гробом, над вдовой, сиротой и почетным караулом — вознесся огромный портрет, с которого покойный приветливо улыбался всем, пришедшим его проводить.

— Батюшки! — не веря своим глазам, ахнула Нюра. — Как живой!

— Вы таки правы, — шепотом согласился с нею старик в длинном плаще. — Я покойного хорошо знал и могу подтвердить: совсем как живой.

Это была ошибка. На самом деле художнику не удалось достичь сходства с капитаном Милягой, но такова

уж непонятная сила искусства, что иной раз, глядя на искаженное отражение действительности, мы уверены, что все было именно так, и никак не иначе.

Чем дальше Нюра продвигалась вперед, тем гуще стояла толпа. В конце концов Нюра завязла. Слева от нее стояла старушка в черном платочке, а справа тот самый мужичок, который хлопотал насчет соломы.

Старушка, глядя на сцену, крестилась, плакала и причитала полупшепотом:

— Это ж надо, такая молодая и осталась одна с дитем!

Соломопроситель стоял молча. Он пришел сюда в расчете на то, что в непринужденной и расслабляющей обстановке похорон можно будет как-то неофициально подкатиться со своим вопросом к начальству и получить соответствующую официальную резолюцию, однако, судя по выражению его лица, надежды, видимо, оказались напрасными.

— А мальчонка-то, мальчонка, — всхлипывала старушка, — сирота! Как же это он будет без папки-то!

Вдруг музыка смолкла, на сцену один за другим с шапками в руках вышли несколько людей и шеренгой выстроились перед гробом. Они постояли, как бы выжидая, чтобы соответствующая моменту печаль поглубже проникла в души людей.

— Сейчас отпевать будут, — объяснила Нюре старуха в платочке и перекрестилась.

Секретарь Борисов сделал шаг вперед и поднял руку с шапкой, как бы призывая собравшихся к молчанию, хотя все и без того молчали.

— Товарищи, — сказал Борисов, — траурный митинг объявляю открытым.

Затем он сам же и выступил. Он рассказал краткую биографию покойного, который, якобы родившись в простой рабочей семье, с ранних лет познал голод, холод и нужду, характерную для условий того времени, рано начал задумываться над сущностью социальных противоречий и рано вступил в борьбу за свободу и счастье против темных сил реакции.

— Вражеская пуля, — продолжал Борисов, — оборвала эту прекрасную жизнь в самом расцвете. Перестало биться горячее сердце бойца и партийца. Но мы клянем-

ся, что на смерть капитана Миляги ответим еще большим сплочением вокруг нашей партии, вокруг ее великого вождя товарища Сталина.

— Хорошо отпевает, жалливо, — сказала старуха и заплакала.

Прослезилась и Нюра.

Самодуров повторил почти слово в слово то, что сказал Борисов. Мухин сказал, что Миляга, помимо всего прочего, был другом, заботливым товарищем и наставником писателей. Что будто бы все писатели, прежде чем отдавать свои сочинения в печать, шли к Миляге, и его советы всегда оказывались точными, немногословными, но всегда били в цель. Мухин призвал всех писателей и впредь относиться к советам Тех Кому Надо с должным вниманием*.

Серафим Бутылко, слушая Мухина, икал и усмехался. Икал он оттого, что с утра слишком много выпил (для храбрости), а усмехался потому, что слова Мухина казались ему слишком общими и казенными. Бутылко предвкушал, как выйдет он, прочтет свое стихотворение и все удивятся, какой все-таки замечательный талант произрос в этой удаленной от культурных центров местности.

И вот он вышел, помолчал и, размахивая кулаком, завыл:

Стелился туман над оврагом,
Был воздух прозрачен и чист,
Шел в бой Афанасий Миляга,
Романтик, чекист, коммунист.
Сражаться ты шел за свободу...

Тут Серафим загнулся и, кусая губы, стал смотреть в потолок. Он забыл, что дальше, он понимал, что запинка его ужасна, и от сознания того, что она ужасна, слова стихов совершенно вылетели из хмельной его головы.

— Сражаться ты шел за свободу, — повторил Серафим и оглянулся на Борисова.

*Достоверно известно, что к моменту приезда Мухина в Долгов Миляги уже не было среди живых. Поэтому надо полагать, что Мухин (все-таки писатель) имел в виду обобщенный образ Миляги.

Тот стоял с каменным лицом.

— Сражаться ты шел за свободу, — еще раз повторил Серафим. Он опять оглянулся на Борисова, но тут из-за кулис показалось лицо Фигурина.

— Покинув родимый свой кров, — громким шепотом подсказал Фигурин.

У Бутылко отлегло от сердца.

Сражаться ты шел за свободу, —

продолжал он уверенно, —

Покинув родимый свой кров.

Как сын трудового народа...

И тут память его опять отказала. Он в который-то раз оглянулся на Борисова. Тот молчал. Бутылко ждал, не высунется ли Фигурин. Фигурин не высовывался.

Бутылко лихорадочно перебирал возможные варианты. Он думал, что, если бы вспомнить рифму, она помогла бы ему и вытянуть всю строку. И в самом деле, вместе с приходящими на помощь рифмами тут же сами собой складывались новые строки. «И будь бесконечно здоров», — сочинялось в голове Бутылко. Нет, не то. «Защитник тревожных коров».

Опять не то, почему коров? И почему тревожных? «Спаситель задумчивых вдов?»

Борисов, отстранив локтем Серафима, объявил:

— Траурный митинг окончен.

Он дал знак музыкантам, музыканты надули щеки, траурная мелодия вновь растеклась по залу.

Заплакала старушка в черном платочке, заплакала и Нюра. Она плакала сейчас не над Милягой, она не думала, хороший он был или плохой, но гроб, музыка, торжественная печаль обстановки действовали на нее так, что она заплакала просто по ушедшему из этого мира еще одному человеку.

24

Заплакал и Серафим Бутылко. Как только отошел он от гроба, так сразу же вспомнились ему злополучные строки и вспомнилось все стихотворение, как будто возникло перед ним написанное большими печатными бук-

вами на огромном экране. Сознание непоправимости удручало Серафима. Если бы можно было все повторить сначала! Если бы опять Борисов предоставил ему слово! Он бы вышел, он бы прочел без запинки. Он бы прочел с выражением. Все бы рыдали. Бутылко вертел головой и, отыскав глазами появившегося из-за кулис Фигурина, приложил руку к груди, всем своим видом показывая, что он не виноват, он не хотел, это так уж получилось. Но Фигурин не принял его молчаливого извинения, нахмурился и отвел взгляд. Вдруг музыка смолкла. Опять вышел Борисов и попросил очистить зал, чтобы дать возможность близким покойного проститься с ним без суеты.

Народ стал выходить. Погода между тем разгулялась, хотя все еще дул холодный ветер, но он же разогнал низко идущие тучи, и солнце прорвалось сквозь расширяющуюся прореху.

25

Вышли люди, выкатились и шпики, мелькавшие среди них. К каждому подозрительному человеку были представлены по одному, а то и по два шпики, как защитники в футболе. Те же, кому не достался никто определенно подозрительный, слонялись в толпе, переходя от одной группки к другой, прислушиваясь к разговорам вполголоса, а иной раз и сами разговаривали, вызывая собеседника на откровенность.

Среди высыпавших на улицу оказались и два Мыслителя. Они стояли молча, переглядываясь друг с другом, как бы переговариваясь глазами.

«Ну, что вы на это скажете?» — как бы спрашивал глазами Первый Мыслитель.

«Колоссальный спектакль», — взглядом отвечал Второй.

У них не было разногласий. Оба они помнили слухи, согласно которым капитан Миляга погиб по дурацкой ошибке, и знали, что слухи бывают гораздо правдивее официальных известий (за исключением тех слухов, которые неофициально официальными учреждениями распускаются), и, переглядываясь, пришли к общему выводу, что церемония похорон придумана для того, чтобы отвлечь внимание населения от положения на фронте и

нехватки продуктов питания. Они переглядывались между собой, когда к ним подкатил шпик (на лице которого было написано, что он шпик) и спросил, кого хоронят.

Первый Мыслитель не растерялся и быстро ответил, что хоронят народного героя капитана Милягу.

— А что, хороший был человек? — спросил шпик.

— Кристальный, — твердо отвечал Первый Мыслитель.

— Что значит кристальный? — выразил сомнения шпик. — У каждого человека бывают какие-то недостатки.

Тут вмешался Второй Мыслитель и объяснил подошедшему, что недостатки бывают большие, малые, а бывают и вовсе ничтожные.

— Совершенно справедливо, — подтвердил Первый Мыслитель. — А когда у человека с ничтожными недостатками есть и огромные достоинства, которыми, например, обладал покойный, то тогда недостатки эти и вовсе бывают не видны совершенно.

— Во всяком случае, не нам судить, — поддержал Второй Мыслитель. И тут же добавил, что безвременная гибель капитана Миляги огромная потеря для всех. Он не уточнил, однако, для кого всех. Для всех жителей района, области, Союза или вообще для всего человечества.

— Огромная и невосполнимая потеря, — добавил Первый Мыслитель, сделав печальное лицо и склоняя голову, как бы перед памятью героя.

— Однако я полагаю, я верю, — пошел дальше Второй Мыслитель, — что враги просчитались. Миляга погиб, но на его место встанут новые бойцы.

— Сотни новых, — быстро сказал Первый.

— Тысячи, — поправил Второй.

Шпик тихо отошел, тем самым признав свое поражение.

Широко распахнулись двери, и вышли музыканты: шестеро военных, и среди них одна толстая баба в форме с треугольничками в петлицах. Баба несла барабан и оттого казалась беспредельно беременной. Музыканты

встали перед публикой лицом к дверям и приготовились. Возле них крутился кинооператор Марат Кукушкин.

Тем временем в клубе шли последние приготовления к выносу тела. Дважды пробежал по сцене Фигурин, шепотом отдавая кому-то какие-то распоряжения. Затем он выглянул в дверь, убедился, что оркестранты заняли свои места и что Кукушкин тоже готов к работе. Он вернулся на сцену.

— Товарищи, — объявил Фигурин, — приготовились к выносу. Кто понесет?

— Я! Я! — кинулся со всех ног Бутылко. Он хотел хоть как-то загладить свою вину. Он оттеснил нерасторопного Ермолкина и стал перед ним. С одной стороны предрайисполкома Самодуров, с другой он, Бутылко, а за ним обиженно пыхтел ему в спину Ермолкин. Гроб был из сырых досок, тяжелый. Но Бутылко не чувствовал тяжести, ощущая себя таким былинным богатырем.

— Так, так, товарищи, — вполголоса командовал Фигурин. — Встаньте ровнее. Этот край чуть выше. Так. Пошли!

Вместе со всеми Серафим двинулся вперед. Распахнулись двери. В уши хлынула музыка, в глаза брызнуло солнце.

Слегка прижмурившись, Серафим увидел толпу, увидел сверкающие на солнце инструменты, увидел кинооператора Марата Кукушкина, который, пятясь, крутил ручку своего аппарата.

«Для киножурнала «Новости дня», — догадался Серафим и приосанился. Он представил себе, что фильм вскоре выйдет на всесоюзный экран и зрители во всех уголках страны увидят его, Серафима Бутылко, крупным планом. И может быть... Бутылко слышал, кто-то ему рассказывал, что Сталин лично просматривает все выходящее на экран. Может быть, просматривая очередную ленту и попыхивая своей знаменитой трубкой, он произнесет: «А кто это такой молодой, симпатичный, который несет... да нет, не этот, я говорю: симпатичный. Вот тот справа?» — и укажет мундштуком на экран.

И тут что начнется! Серафим живо представил себе, как забегают помощники по общим вопросам и по кино, как зазвонят все телефоны правительственной связи,

личность молодого симпатичного тут же выяснят, и вот он в мягком вагоне прибывает в Москву. Номер «люкс» с бассейном и попугаями. Прием в Кремле. Дружеское рукопожатие товарища Сталина. Публикация массовым тиражом поэмы «Дума о хлебе», Сталинская премия, руководящая должность в Союзе писателей и...

Он не успел додумать, что и... он просто считал: и еще что-то ему полагается, когда нога его ступила в пустоту, он инстинктивно оттолкнул от себя гроб, чтобы не придавило, и полетел с крыльца, нелепо взмахнув руками.

Шедший с другой стороны Самодуров, почувствовав, что гроб валится на него, с большой силой двинул его обратно, а сам тут же отскочил в сторону. То же сделали и другие. Как-то так получилось, что под гробом оказался один Ермолкин. С вытаращенными от растерянности глазами он стоял на последней ступеньке крыльца, словно былинный богатырь, приняв на себя всю тяжесть гроба. Гроб, покачиваясь на его плече, одновременно поворачивался, словно стрелка компаса, наконец вовсе перекосясь и, сбив с ног Ермолкина, устремился к земле. Отталкивая его, Ермолкин упал очень неудачно, ударился головой о булыжник и, уже теряя сознание, услышал чей-то запоздалый призыв:

— Держи! Держи!

27

Раздался ужасный треск, гроб торцом врезался в мостовую. Крышка, наживленная на четыре гвоздя, отскочив, накрыла до подбородка Ермолкина, а из гроба со стуком посыпались кости. Последним вылетел, ударился о камни и отскочил в сторону продолговатый череп. Майор Фигурин сделал неосознанное движение к черепу, хотел то ли схватить его, то ли прикрыть от народа, но не успел. Облезлая собака, вынырнув из-под ног, впилась в череп зубами и кинулась прочь. Может быть, не следовало ей мешать, но чей-то расторопный кованый сапог опустился ей на спину. Жалобно взвизгнув, собака выронила добычу и исчезла.

Говорят, Марат Кукушкин не догадался прекратить съемку и машинально крутил ручку своего аппарата. Говорят, майор Фигурин потом затребовал снятую пленку

и много раз ее просматривал. Все, казалось, шло хорошо, можно даже сказать, превосходно. Вот торжественно распахиваются двери. Вот показывается торец гроба. Вот появляются крупным планом лица несущих его Серафима и Самодурова. Пленка немая. Музыка нет. Но чувствуется, что она звучит где-то за кадром. Бутылко и Самодуров осторожно и чинно переставляют ноги. Лицо Бутылко выражает соответствующую моменту скорбь, но в то же время видно, как сквозь скорбь проступает самодовольство, вроде он, сукин сын, заранее знает, что произойдет в следующую секунду, и торжествует злорадно.

Непоправимое всегда кажется невероятным. Вот Бутылко поднимает правую ногу... «Стоп! Стоп!» — кричал в этом месте Фигурин. Он задумчиво смотрел на застывший кадр, словно надеялся, что если в этом месте пленку остановить, а затем пустить снова, то все пойдет как надо. Нога Бутылко опустится на первую ступеньку крыльца, затем другая нога ступит на другую ступеньку... «Давай», — приказывал Фигурин киномеханику, и опять возникала та же картина: неожиданно растерянное лицо Бутылко, а в следующий миг он летит с крыльца, нелепо размахивая руками.

28

Что было дальше, даже страшно рассказывать. Народ пришел в ужасное возбуждение и угрожающе надвигался.

— Свят-свят-свят, — бормотала старуха в черном платочке, опять очутившаяся перед Ньюрой.

— Лошадь! — скандальным голосом крикнула какая-то женщина. — Лошадь хоронют!

— Лошадь! Лошадь! — прошло по толпе. Народ шумел. Раздался милицейский свисток. Послышался голос Борисова:

— Товарищи, успокойтесь! При чем здесь лошадь? Вот же покойник! — кричал он, пытаясь предъявить народу Ермолкина.

В это время, как на грех, Ермолкин открыл глаза.

— Живого хоронют! — завопила все та же женщина.

— Что? — пытались понять напиравшие сзади.

— Лошадь хоронют!

— Живую лошадь хоронют!

Шпики рассыпались по толпе и толкались, не имея достаточно ясных инструкций. Народ волновался. Находившийся в общей куче соломопроситель, пользуясь всеобщим возбуждением, решил выдвинуть свои экономические требования:

— Солому!

Ему ответили:

— Заткнись ты, чокнутый!

Майору Фигурину показалось, что кричат: «Свободу Чонкину!» Это впоследствии дало ему основания для просьбы об усилении местного гарнизона.

Волнение масс между тем усиливалось. Желая ввести стихию в нужное русло, Борисов вскочил в похоронный грузовик и величественно поднял правую руку. В это время гнилой помидор (кто-то, щедрый, не пожалел) залепил ему правый глаз. (Потом в донесении Фигурина отмечалось: «Имели место отдельные акты террора против представителей власти».) Борисов почувствовал удар, а когда разлепил глаз, увидел что-то красное.

— Убили! — тихо сказал Борисов и рухнул без памяти головой к обелиску.

Напряжение нарастало. Власти, стремясь овладеть положением, двинули на толпу один из военных автобусов, но он, кажется, тут же заглох.

Дело спас какой-то находчивый шпик. Вскочив на ступеньку автобуса:

— Братцы! — прокричал он. — В раймаге карточки пшеном отоваривают!

Соскочив с подножки, он первым побежал к раймагу. Народ растерялся, ахнул и кинулся за шпиком.

Пшена, конечно, не оказалось. Народ пошумел и утих. А тем временем на площади Павших Борцов появился новый могильный холмик и жестяной обелиск, заставленный искусственными венками. Если раздвинуть венки, можно было прочесть:

капитан

АФАНАСИЙ ПЕТРОВИЧ МИЛЯГА

(1903—1941)

геройски погиб в бою с белочонкинской бандой

Говорят, через некоторое время, захватив Долговский район, немцы вскрыли могилу и найденный череп передали местному краеведческому музею, где в отделе «Современный период» он лежал под стеклом. Тут же была и разъясняющая табличка с текстом на двух языках:

Череп советского комиссара Миляги

29

В общей суматохе одна потеря прошла почти незамеченной...

...Ермолкин лежал уже без сознания, когда крышка гроба, отлетев, упала ему на грудь. Очнувшись, он увидел себя лежащим навзничь на холодном бульжнике, увидел на уровне своего лица множество чьих-то ног, напрягся, но не мог вспомнить, почему он здесь и что было до этого.

Вокруг стоял шум и гам, и какой-то визгливый женский голос выкрикивал:

— Лошадь! Лошадь хоронят!

Что-то давило грудь, он посмотрел и увидел, что на нем, закрывая его почти до подбородка, лежит крышка гроба, обтянутая красной материей. Какой-то человек, указывая на Ермолкина пальцем, говорил: «Вот он, покойник!», а тот же визгливый голос вопил, что хоронят живую лошадь.

Ермолкин не имел ничего против того, чтобы быть похороненным, но он всегда остерегался возможных ошибок.

— Вы заблуждаетесь, — поправил он, с достоинством улыбнувшись, — я не лошадь. Я Ермолкин Борис Евгеньевич.

Может быть, так он сказал, может быть, так подумал, может быть, и не сказал, и не подумал, а просто ему показалось, что он так сказал или так подумал.

Голова его от слабости свернулась набок, он увидел совсем близко что-то белое, что-то продолговатое, кажется, это был череп, да, это был лошадиный череп, он скалил зубы и пытался укусить Ермолкина в нос.

Ему не жаль было своего носа, ему теперь вообще ничего не было жаль, он только хотел понять, почему этот череп лежит рядом с ним. Но, тут же вспомнив, что кого-

то хоронят, что хоронят скорее всего его самого, он еще раз посмотрел на белый продолговатый предмет и понял, что это его собственный череп. «Значит, правда, я — лошадь», — подумал Ермолкин. Это было странно. Странно и смешно. Он работал ответственным редактором газеты, он занимал важный пост, и никто не заметил, что на самом деле он был просто лошадью, всего лишь лошадью, обыкновенной тягловой единицей конского поголовья.

Облезлая собака, появившись перед глазами, оскалилась и кинулась, рыча, на его отдельно лежащий череп. Она впилась в череп зубами, Ермолкин понял, что сейчас ему будет очень и очень больно, он закрыл глаза, и сознание его опять помрачилось.

Снова очнувшись, он увидел склонившегося над ним старика в облезлом танкистском шлеме.

— Молодой человек, — сказал старик. — Я бы на вашем месте здесь не лежал. Вы можете простудиться, упасть под машину или под лошадь.

Ему и раньше приходилось встречать этого отважного пожилого танкиста, но он не мог вспомнить, где и когда. Кажется, это было давно. А недавно тут бегали какие-то люди, кричали, суеились, хоронили кого-то, то ли его, то ли какую-то лошадь, да, точно, лошадь, но лошадью этой был именно он. Танкист тоже сказал что-то про лошадь.

«Но, — подумал он вяло, — если я лошадь и если меня похоронили, то почему у меня болит грудь, болит голова, почему я хочу пить и почему вижу перед собой этого танкиста?»

Он догадался, что похоронщики просто ошиблись, похоронили редактора вместо лошади, а лошадь или, точнее, мерин (кто-то, припомнил он, называл его мерином) случайно остался жив. И хотя у него все болело, он почувствовал радость, он понял, что ошибки бывают приятные, он думал, что лучше быть живым мерином, чем мертвым ответственным редактором.

Чего, однако, хочет этот танкист? Что он сказал про лошадь? Должно быть, его прислали, чтобы исправить ошибку...

Ермолкин решил притвориться человеком. Советским человеком и другом советских танкистов.

— Но если вдруг, — пропел он, улыбаясь танкисту, — нагрянет враг матерый, он будет бит повсюду и везде...

В поле зрения рядом с танкистом появилась старуха.

— Мойша, — сказала она, — оставь ты его в покое. Ты же видишь, он таки порядочно пьяный.

«Очень хорошо, — подумал Ермолкин. — Пусть думают, что я пьяный. Лошади пьяными не бывают». Он приподнялся на локте и еле слышно, но с чувством продолжил песню:

Тогда нажмут водители стартеры.

И по лесам, по сопкам, по воде...

— Я вижу, что он пьяный, — сказал танкист, — но я боюсь, что он простудится и получит воспаление легких.

— Мойша, — сердито возразила старуха, — ты же хорошо знаешь, эти люди, когда напьются, лежат и в лужах, и в канавах, и где уютно, они привыкли, и у них никогда не бывает воспаления легких.

Главное было достигнуто: эти люди считали его человеком. Теперь важно было, чтобы они поскорее ушли. Ермолкин закрыл глаза и притворился спящим. Когда он открыл глаза, рядом с ним никого не было. Он поднялся с большим трудом, во всем теле была ужасная слабость, ноги дрожали и разъезжались, как у малого жеребенка. И ему подумалось, что, может быть, он и в самом деле не мерин, а всего-навсего жеребенок, может быть, ему три с половиной года, его могут обидеть, могут зарезать, ему надо найти свою мать, она его прикроет, она его защитит.

Он куда-то пошел, идти было трудно, болела грудь, болела голова, очень хотелось пить.

У какого-то забора он увидел верховую лошадь, белую, красивую, с добрыми человеческими глазами. Привязанная к столбу, она стояла спокойно, но, увидев Ермолкина, повернула к нему морду и, раздувая ноздри, заржала. «Это моя мать!» — догадался Ермолкин.

— Мама! — сказал он и, встав на колени, прильнул к ее вымени. — Мама! — повторил он и, втянув в себя один из ее шершавых сосков, зачмокал вытянутыми в трубочку губами.

Почувствовав знакомое ощущение в области вымени, лошадь повернула голову, ожидая увидеть, быть может,

своего жеребенка, но увидела двуногое существо, какое-то странное, грязное и больное. Лошадь подняла заднюю ногу, брезгливо махнула ею, и копыто ударило Ермолкина прямо в темя.

— Мама! — заплетающимся языком пробормотал Ермолкин, лег на землю и тут же окончательно умер.

30

В то утро Второй Мыслитель занемог. (В критические моменты истории, в периоды обострения внутривидовой борьбы, перед ответственными собраниями, на которых надо было кого-то клеймить, низвергать и топтать, ему всегда нездоровилось.) Он лежал в своей комнате, где жил один (он был холостяк), и старательно потел под ватным одеялом, когда в дверь постучали условно — три раза. Мыслитель встал, сунул ноги в галоши, накинул на плечи одеяло и пошел открывать.

— Что с вами? — спросил, появившись на пороге, Первый Мыслитель. — Вы больны?

Второй Мыслитель повел себя очень странно.

— Это, собственно говоря, я должен спросить вас, что с вами. — Отступая, он придерживал одеяло, из-под которого видна была рванина голубых трикотажных кальсон.

— Ага, — хитро улыбнулся и подмигнул Первый Мыслитель, — вы, очевидно, имеете в виду мою голову?

— Да, именно вашу голову я имею в виду. — Допятившись до своей кровати, Второй Мыслитель лег, подтянув одеяло к подбородку, и закрыл глаза. Открыв их снова, он увидел довольное лицо своего приятеля.

— А что, вам кажется, произошло с моей головой?

— Мне кажется, что она стала продолговатой, как огурец, но это, конечно, бред.

— Не больший бред, чем все остальное, — возразил Первый Мыслитель. — Может быть, и это вам покажется бредом? — Он протянул больному свежий номер газеты «Большевицкие темпы».

Больной жадно схватил газету и заскользил глазами по строчкам, надеясь что-нибудь прочесть между ними. Из сообщения «От Советского информбюро» узнал, что наши войска, выполняя стратегический маневр, оставили Николаев и ведут местные бои в районе Великих Лук.

Прочел басню Серафима Бутылко «Бешеный Барбос» («Немецкий пес Барбос Бесхвостый решил устроить «дранг нах остен», и вот по плану «Барбаросса» созвал он всех других барбосов...»). Не найдя ничего интересного в местных новостях, больной Мыслитель дошел до четвертой страницы и увидел в траурной рамочке:

«...с глубоким прискорбием извещают о трагической гибели ответственного...»

— Что? — вскричал больной. — Ответственный редактор? Неужели застрелился?

— Нет, — успокоил его гость. — Просто попал под лошадь.

— А-а, — поскутнел Второй Мыслитель. Но тут же вскинулся. — Послушайте, что значит — просто попал? Вы уверены, что он просто попал? А может быть... — он оглянулся на дверь и понизил голос до шепота, — может быть, его попали?

— Вы думаете? — удивился Первый Мыслитель. — Очень интересная мысль. Странно, что мне самому это не пришло в голову. Но здесь есть кое-что поинтереснее.

— Где? — нетерпеливо спросил больной. — Я не вижу.

— Вот, — сказал гость и ткнул пальцем в заголовок большой подвальной статьи: «Влияние социальных условий на антропологический тип».

Второй Мыслитель по привычке заглянул в конец статьи и прочел подпись: «К. Ушастый, кандидат биологических наук».

31

Статья была ученая. В ней проводилась такая мысль, что, поскольку Октябрьская революция в корне изменила не только социальные условия жизни в нашей стране, но и внутренний мир человека — его отношение к труду, к обществу, — это непременно должно привести и к внешним изменениям облика, а именно: со временем советский человек будет так же отличаться от всех остальных людей, как хомо сапиенс отличается от неандертальца. Конечно, эти изменения произойдут не сразу, но если, как учит нас марксистская диалектика, постепен-

ные количественные изменения переходят в скачкообразные качественные, то нет ничего удивительного в том, что у отдельных людей, отличающихся последовательностью своих идейных убеждений и ясностью мировоззрения, уже сейчас становятся заметны антропологические изменения, которые в первую очередь, естественно, отражаются на строении черепа. Многочисленные и авторитетные исследования, утверждал автор статьи, неопровержимо показывают, что такие изменения происходят в сторону удлинения черепа вследствие удаления жевательных органов от мыслительных центров. «Такие изменения, — развивал свою мысль Ушастый, — наблюдались и буржуазными учеными. Наиболее передовые из них отмечали, что длинноголовые (долихоцефалы) обладают, как правило, более сильным интеллектом, чем круглоголовые (брахицефалы)*, но ограниченность мировоззрения не позволила этим ученым (должно быть, они сами были недостаточно длинноголовыми) подняться до истинного понимания подобных явлений. Эти ученые на первый план выдвигают расовые различия, в то время как наша наука, опираясь на единственно правильное учение Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, расовому подходу к явлениям противопоставляет подход классовый».

Второй Мыслитель отложил газету.

— Что это такое? — спросил он слабым голосом.

— Это новое научное открытие, — сказал Первый.

— Это дикость! — закричал Второй Мыслитель.

— Не большая дикость, чем все остальное. Подумайте сами. Предателя и труса объявляют героем. Вместо него хоронят лошадь. Все говорят, что вдова на похоронах была подставная и сын тоже.

— В таком случае, — усмехнулся Второй Мыслитель, — им следовало бы привести кобылицу и жеребенка.

— Сейчас не время для шуток, — строго сказал Первый Мыслитель. — Вы не понимаете. Это все не так просто. Как вы думаете, для чего они затеяли всю эту историю с черепом?

*В сноске автор просил не путать последних с Буцефалом, конем Александра Македонского.

— А... — Второй Мыслитель махнул рукой, откидываясь на подушку. — Просто положили, что подвернулось под руку. Они же не знали, что этот пьяный дурак споткнется и уронит гроб.

— Вы, как всегда, ошибаетесь! — радостно закричал Первый Мыслитель. — Они никогда просто так не спотыкаются. Они сделали это нарочно.

— Но для чего?

— В том-то и дело. Для чего? А вы сами подумайте.

Второй Мыслитель напрягся, но тут же лицо его прояснилось.

— Понимаю, — сказал он радостно. — Как Калигула объявил своего коня консулом, так они...

— Чепуха, — перебил Первый Мыслитель. — Если уж приводить исторические аналогии, то тут скорее подойдет история с троянским конем. Тут совсем другое.

— Но что же? — нетерпеливо вскрикнул Второй.

— Я думаю, — сказал Первый, — мы скоро станем свидетелями переворота.

— Политического? — шепотом спросил Второй Мыслитель и оглянулся на дверь.

— Или военного, — ответил Первый так же шепотом. — Я думаю, это заговор против усатого и готовит его какой-то...

— Длинноголовый! — в восторге от своей сообразительности закричал Второй Мыслитель.

— Тссс! — засвистел Первый и тоже оглянулся на дверь. — Вот именно, — прошептал он, — именно длинноголовый.

— Но кто он? — сгорая от нетерпения, спросил Второй.

— А вот это и есть самая большая загадка, — грустно сказал Первый. — Пока вы здесь лежите, я уже побывал в библиотеке. Я поднял старые подшивки газет, я просмотрел портреты всех членов их... как это называется... политбюро. Я ничего не могу понять. Они все круглоголовые.

— А вот этот.. — Второй Мыслитель сел на кровати и поджал ноги под себя. — Как его... Калинин?

— Калинин? — переспросил Первый. — Нет, это не то. Кроме того, вы, как всегда, все путаете. У него борода длинная, а не голова. Я думаю, что это будет кто-нибудь

совсем неизвестный. Вы слышали что-нибудь о князе Голицыне?

— Голицыных много, — ответил Второй Мыслитель уклончиво.

— Не валяйте дурака! — сердито возразил Первый Мыслитель. — Вы знаете хорошо, что я говорю о том Голицыне, который сидит в здешней тюрьме. Обратите внимание, сколько загадочного во всей этой истории. Появляется какой-то Чонкин, который будто бы совершенно один, а против него бросают целую воинскую часть. Его с трудом арестовывают, после этого выясняется, что он вовсе не Чонкин, а князь Голицын, потом затевается история с длинным черепом, и теперь вот эта статья. Нет, это все неспроста.

— И что же вы думаете?

— Я думаю, что вам в первую очередь надо надеть вот это... — С этими словами Первый Мыслитель вынул из-за пазухи второй парик и бросил на кровать к ногам своего друга. Это был замечательный парик, своего рода шедевр, с ватной подкладкой.

— Вот это? — спросил Второй Мыслитель, ногой отталкивая подарок. — Вот это? — Он вскочил как ужаленный. — Никогда! — прокричал он, размахивая кулаками. — Запомните, никогда я не надену на себя эту пакость!

— То же самое сказал сначала и я, — горько усмехнулся Первый Мыслитель. — А потом я подумал: лучше все-таки носить длинную голову, чем совсем никакую. И потом, знаете, это же у них просто может быть очередная кампания. Они перехватывают всех круглоголовых, потом опомнятся, увидят, что без круглоголовых им тоже нельзя, и тут мы с вами сделаем маленький фокус. — И он движением фокусника сдернул с себя парик.

32

Осталось совсем неизвестным, сколько времени и слов еще потратил Первый Мыслитель на то, чтобы убедить в своей правоте Второго, но уже вечером оба прогуливались (Второй Мыслитель скоростижно выздоровел) по улице Поперечно-Почтамтской (кажется, она в то время — но, как выяснилось, ненадолго — была переименована в Милягинскую) без головных уборов и некото-

рым оторопелым знакомым небрежно кивали удлинёнными своими головами.

Говорят, что Первый Мыслитель оказался полностью прав и в городе несколько дней шла охота на круглоголовых. И у некоторых головы вроде сразу удлинились, и те, с кем это произошло, бывало, в пылу полемики говорили своим оппонентам:

— А что-то мне сдаётся, у вас головка больно уж кругловата.

Правда это или чистые враки, утверждать не берусь (сам я лично этому, конечно, не верю), но вот что с Андреем Еремеевичем Ревкиным на этой почве случилась преогромная неприятность, это уж, кажется, точно.

33

С Ревкиным случилось вот что. Он эту ученую статью кандидата Ушастого воспринял как выпад против себя лично. Он перед зеркалом даже вертелся тайком от Аглаи, вершками обмеривал свой собственный череп от затылка до подбородка и от уха до уха, и измерения эти оказались удручающими для него. А удлинить свою голову при помощи спецпарика он, конечно, не мог, ибо народ его знал таким, каков он есть, и терять свой авторитет он не желал. Однако он понял, что власть его уходит из рук, как песок, и потому решился на самый отчаянный шаг. Он определенно заявил, что подобного безобразия терпеть не будет, и послал в обком статью Ушастого и свою докладную записку, в которой называл статью псевдонаучной и шарлатанской, утверждал, что она инспирирована, конечно, новым начальником Тех Кому Надо, который с самого начала ведет себя вызывающе, игнорирует партийные органы и тем самым противопоставляет свое Учреждение партии. Опровергая основные положения статьи, Ревкин пошел на весьма рискованное, если не сказать безумное, возражение, написав, что если бы марксистское мировоззрение действительно влияло на строение черепа, то самый вытянутый череп был бы у товарища Сталина, ибо именно он обладает самым последовательным марксистским мировоззрением. «Между тем, — утверждал Ревкин, — стоит посмотреть на любую фотографию товарища Сталина, чтобы убедиться в абсурдности доводов К. Ушастого». Рев-

кин предлагал привлечь Фигурину к строгой партийной ответственности. Записку он эту направил в обком, но копию ее еще выше, в ЦК. Не дожидаясь ответа, он решил проявить свою власть на месте. Он написал короткую записку: «Т. Фигурин, вам необходимо срочно зайти в РК для выяснения некоторых обстоятельств». Записку отправил с шофером Мотей и стал ждать ответа. Он явно нервничал и ни на чем не мог сосредоточить внимание. Мотя вернулась через сорок минут.

— Почему так долго? — напустился на нее Ревкин.

Ответить она не успела. Вслед за ней вошли два рослых молодых человека в штатском, и один из них, улыбнувшись, спросил:

— Где у вас оружие, хозяин?

И самое удивительное, Ревкин не спросил у них никаких документов, сразу показал на ящик стола, в котором лежал револьвер.

В сопровождении молодых людей Ревкин вышел в приемную.

— Анна Мартыновна, — сказал он зачем-то секретарше, — я тут вынужден ненадолго удалиться. Если позвонят с бондарного завода, скажите, чтобы собрание проводили без меня.

— Хорошо, — сказала Анна Мартыновна, тревожно глядя на Ревкина. — А вы... скоро вернетесь?

Давая ей понять, что дальнейшее зависит не от него (хотя она и так все поняла), Ревкин посмотрел на одного из сопровождающих и вежливо спросил:

— Как вы думаете, мы скоро обернемся?

Но тот улыбнулся и сказал:

— Пойдемте, хозяин.

34

Майор Фигурин встретил своего гостя радушно.

— Очень рад, очень рад, — бормотал он, пожимая Ревкину руку, — давно мечтал познакомиться, но, не успев приступить к работе, сразу все навалилось, и этот Чонкин, и этот Миляга... так закрутился, что даже не смог выбрать времени представиться вам. А тут как раз ваша записка. Вот я и подумал, что, пожалуй, будет удобнее, если мы встретимся у меня, а не у вас.

Затем он сказал, что поведение Ревкина последнее время его несколько беспокоит.

— Мне не очень понятно, — сказал он, — что вы так выступаете против этого несчастного Миляги, ведь он, собственно говоря, уже покойник, а вы... а вы еще нет. — Фигурин широко улыбнулся. — У вас с ним личные счета?

— У меня ни с кем личных счетов нет, — резко сказал Ревкин, — а погиб Миляга не как герой, а как предатель. Я сам был тому свидетелем.

— Ах, Андрей Еремеевич, — покачал головой Фигурин, — не мне вам говорить, что нам нужна не всякая правда, а только та, которая нам нужна. И потом, это ваше возмущение, что там в гробу оказался не тот череп. Допускаю, что вы видели, как он погиб, но череп же его вы не видели. Ну, согласен, может, не тот череп, может, другой. Ребята наши тут торопились, некогда было, время военное, положили что нашли. Стоит ли из-за мелочей поднимать шум?

— Стоит, — сердито сказал Ревкин, — очень даже стоит. Весь район про это говорит.

— А вы поменьше обращайтесь внимания на слухи. Мало ли что кто говорит, и мало ли у кого какой череп. В конце концов, мы можем ваш череп положить вместо его черепа, а еще чей-то череп вместо вашего черепа, незаменимых черепов у нас, как известно, нет.

Фигурин опять улыбнулся и благожелательно посмотрел на Ревкина.

— Вы со мной не согласны? Ну, хорошо. Вот вам бумага, пишите.

— Что писать? — спросил Ревкин.

— Напишите, когда и при каких обстоятельствах вы вступили на путь враждебной деятельности против нашего государства, кем завербованы, что успели сделать, какое получили за это вознаграждение, в какой валюте и так далее, и тому подобное, мыслью по древу особенно не растекайтесь, но и упускать подробностей тоже не нужно.

— Послушайте, вы, — сказал Ревкин, — вам надо срочно обратиться к врачу, вы больны, у вас не все дома.

— Да, это мне некоторые уже говорили, — печально согласился Фигурин. — В том числе и врачи. Но где они?

Нет, вы не подумайте, я не обидчив, вы меня хоть горшком назовите, мне все равно, но ведь я представляю собой некую известную вам организацию, и оскорблять ее я вам не рекомендую. Это может лишь ухудшить ваше и без того затруднительное положение. Сейчас вас отведут в камеру, и вы там в спокойной обстановке сосредоточьтесь, подумайте, а потом поговорим еще. И пожалуйста, не проявляйте излишнего упрямства, потому что наши люди бывают порою грубы.

Ревкина увели в камеру и поместили среди разных преступников, что больно задело его самолюбие.

35

Ночью он впал в истерику, бился головой о железную дверь камеры и никак не хотел внять уговорам надзирателя, что после отбоя шуметь не положено. Водворенный же в карцер, он и вовсе помешался и грозился послать телеграмму лично товарищу Сталину, но к утру затих и смирился.

Утром он попросился к Фигурину и там в его присутствии собственноручно записал свои показания. «В контакт с международной реакцией, — написал он, — я вступил в Лондоне. Мы провели несколько тайных встреч, на которых присутствовали Троцкий, Чемберлен и шеф гестапо Гиммлер. На этих встречах мы обсуждали разнообразные коварные планы, как-то: диверсии, саботаж и вредительство. Во исполнение этих планов, будучи секретарем райкома, я ввел в бюро райкома лиц, враждебно относящихся к советскому строю, и по рекомендации всемирной буржуазии направлял их деятельность на развал сельского хозяйства, резкое уменьшение продуктивности животноводства и снижение жизненного уровня трудящихся до минимальных пределов, с тем чтобы вызвать недовольство среди населения и, может быть, даже бунт. Последняя цель, однако, достигнута не была».

Записав эту абракадабру, Ревкин надеялся, что вышестоящее начальство поймет абсурдность выдвинутых Фигуриным обвинений, но этого, судя по дальнейшему развитию событий, не произошло.

Фигурин, прочтя показания, даже похвалил Ревкина.

— Вы очень хорошо пишете, — сказал он. — Богатая фантазия, хороший слог. Из вас мог бы получиться вполне приличный писатель.

К удивлению и тайной радости Ревкина, Фигурин не заметил в показаниях никаких противоречий и копию протокола отправил вверх по инстанциям. Ревкин ждал результата с нетерпением и даже не без злорадства. Позднее он узнал, что показания и «наверху» были приняты с удовлетворением. Роман Гаврилович Лужин сказал о показаниях Ревкина: «Чудовищно интересно». Потом подумал и Чемберлена вычеркнул, сказав, что упоминать представителя Великобритании, союзника по антигитлеровской коалиции, сейчас, пожалуй, не стоит. Вместо Чемберлена Лужин вписал Чонкина, которого Ревкин должен был признать своим главарем и который, в свою очередь, через какого-то Курта был связан с германским верховным командованием. Ревкин неожиданно оскорбился. Он согласен был считаться крупным преступником, но отказывался признать себя подручным какого-то Чонкина. Когда же его как следует побили, он и вовсе заартачился, озлобился, стал вести себя вызывающе. И вообще отказался от прежних своих показаний. Ему напоминали, что партия его вырастила, бесплатно учила, лечила, кормила, одевала и обувала, но он проявил полную неблагодарность и кощунственно написал:

«С 1924 года состоял в преступной организации, называемой ВКП(б), занимал ряд руководящих постов и совместно с другими членами этой организации наносил максимальный вред стране и народу».

Прочтя это заявление, майор Фигурин тут же отправил Ревкина на психиатрическую экспертизу, где врач, хорошо знакомый с медицинской доктриной майора, определил:

«Больной Ревкин А.Е., сорок лет.

Психоневрологический статус:

Сознание нарушено до степени оглушенности.

Обоняние сохранено.

Острота и поля зрения не нарушены, глазные щели D=S, движение глазных яблок в полном объеме, зрачки

обычной величины и формы, фотореакции живые, $D=S$, реакции на конвергенцию и аккомодацию сохранены.

Иннервация мимических мышц лица сохранена, $D=S$, легкая девиация языка влево.

Глотание, фонация и артикуляция не нарушены, небный и глоточный рефлекс сохранены, рефлексов орального автоматизма нет.

Асимметрия лица $D<S$.

Походка не нарушена, синкинезий нет, пробу Минга-цини-Барре выполняет удовл., $D=S$. Коленные и ахилловы оживлены, $D=S$.

В позе Ромберга неустойчив, имеются явления гемибаллизма, псевдобульбарного синдрома, паллидарного и интенционного тремора, каталепсии и адиadoхокинеза.

Болевая, температурная, тактильная чувствительность не нарушены.

Больной находится в мрачном, подавленном состоянии, необщителен, на вопросы о жалобах отвечает: «Жалуюсь на незаконный арест», на другие вопросы отвечает неохотно, но потом возбуждается, вскакивает со стула, кричит, требует оставить его в покое. В некоторых случаях все же проявляет желание контакта с врачом, объясняет пространно и путано, что в прошлом занимал крупную должность, «руководил целым районом», был «солдатом партии», был «предан своему народу», «пользовался авторитетом» и т.д. Но потом на службе у него якобы завелись враги и завистники, которые метили на его должность и потому строили против него всякие козни, приведшие его в конце концов в тюрьму. Утверждает, что до ареста замечал за собой слежку. Говорит, что следствие якобы вымогает у него ложные показания против себя самого, действуя угрозами и физическим насилием. Время от времени начинает плакать, грозить, что «дойдет до самого Сталина». Некоторые газетные сообщения, не имеющие к нему никакого отношения, считает направленными против него лично. Иногда бред теряет видимость логичности, появляются фразы о преимуществе круглых голов перед длинными и т.д. О советской власти говорит, что служил ей верой и правдой, а теперь разочаровался.

Диагноз: Больной страдает параноидной формой шизофрении, развившейся на почве длительной ненависти к советскому строю и сопровождающейся бредом величия и преследования. Прогноз сомнительный. Лечение симптоматическое. Противопоказаний к содержанию под стражей не имеется.

Поскольку Ревкин тоже оказался хотя и не такой, как Чонкин, но все-таки достаточно важной фигурой, было приказано выделить отдельную камеру и ему. Начальник тюрьмы старший лейтенант Курятников, не придумав ничего лучшего, поместил бывшего секретаря в одной камере со своей короной и вынужден был мириться с тем, что Ревкин по ночам украдкой отсасывал у нее молоко.

36

Лаврентий Павлович Берия сидел за своим столом в расстегнутом габардиновом пальто, в сапогах с галошами и в серой шляпе, надвинутой на глаза.

Шел второй час ночи, он собрался домой, но сил не хватало подняться. Подперев голову руками и полузакрыв глаза, он думал о положении на разных участках фронта, о том, что дело дрянь, о том, что не далее как вчера ночью Сталин говорил с ним грубо, упрекал Берия в том, что руководимая им служба работает из рук вон плохо, неповоротливо, не умея приспособиться к условиям военного времени.

Москву, видимо, не сегодня-завтра придется оставить, а эвакуация важнейших предприятий и учреждений ведется неорганизованно, в панике. Не хватает подвижного состава. Часто грузится второстепенное оборудование, а наиболее ценное остается. Многие руководители заводов и фабрик торопятся в первую очередь вывезти не свои заводы и фабрики, а самих себя. Основные железнодорожные и шоссейные пути, мосты и вокзалы до сих пор не заминированы. В городе циркулируют дикие слухи, и значительная часть населения поражена капитулянтскими настроениями, то есть, проще говоря, ждет немцев. Очень мало сделано для подготовки специальных боевых групп, которые должны остаться и в условиях подполья вести подрывную и диверсионную работу.

Но больше всего Сталина вывело из себя сообщение, что на территории одной из ныне оккупированных областей действовала разветвленная тайная организация, способствовавшая захвату этой области врагом, причем в организации были замешаны некоторые партийные работники и даже работники органов.

Сталин кричал на Берия и даже плюнул ему в лицо, но через некоторое время остыл и сказал: «Извини, нервы».

«Нервы не нервы, но зачем же плевать?» — думал Берия, когда дверь в кабинет отворилась и молодой полковник, исполнявший обязанности секретаря, приблизился и положил на край стола увесистую папку, перевязанную шелковыми тесемочками.

— Что это? — не подымая глаз, спросил Берия.

— Начальник управления контрразведки просил ознакомиться, — сказал секретарь и вышел.

Видимо, в папке было что-то сверхважное, если начальник контрразведки и секретарь решились побеспокоить наркома в столь позднее время.

Берия открыл один глаз, скосил его на папку, увидел крупно написанную фамилию Голицын-Чонкин, удивился, открыл второй глаз и придвинул папку к себе.

Развязал шелковые тесемочки и, плюя на палец, стал переворачивать подшитые к делу листы. Письмо о дезертире Чонкине за подписью «жителей деревни Красное». Ордер на арест с продырявленной печатью. Протоколы допросов. Характеристика. Донесение Рамзая о каком-то Курте. Донесение с трижды подчеркнутыми красным карандашом словами: «происходит из князей Голицыных». Ордер на арест Курта. Протокол допроса, где Курт утверждает, что под личиной рядового дезертира скрывался князь Голицын. Еще куча всяких бумаг, в которых подследственный именуется: Чонкин, так называемый Чонкин, Белочонкин, Чонкин-Голицын и, наконец (кто-то догадался вынести нужную фамилию вперед), Голицын-Чонкин.

Берия сдвинул шляпу на затылок, подумал, нажал на кнопку, вызвал начальника контрразведки, которому дал пятнадцать минут на то, чтобы во всех бумагах вымарать фамилию Чонкин как совершенно излишнюю.

Пока исполнялось его приказание, он сделал короткую зарядку, побрился, попрыскался «Шипром» и выпил стакан крепкого чая.

37

Полчаса спустя в окружении многочисленной свиты, состоявшей из полковников и генералов, он появился на станции метро, не имевшей названия. Как только он там появился, из тоннеля вышел поезд, на головном вагоне которого было написано: «В депо».

Поезд был почти обыкновенный, от прочих отличался он только тем, что двери и окна его были непрозрачные.

Поезд остановился. Шумно открылись двери, и вдруг на перроне стало тесно от вооруженных людей. Из всех дверей высыпали военные в касках и плащ-палатках и, взяв автоматы на изготовку, направили их на Берия и его свиту. Не зная, в чем дело, можно было бы предположить, что сейчас здесь состоится сражение. Однако это была обычная процедура, когда Берия ехал к Сталину, проживавшему в то время в метро.

Несмотря на свою обычность, процедура всякий раз пугала Лаврентия Павловича. Как всегда, он инстинктивно попятился и наступил кому-то из сзади стоящих на ногу. Но тут же пришел в себя, выхватил из чьих-то рук свой желтый английский портфель и решительно шагнул навстречу направленным на него автоматам.

Из-за спин автоматчиков вышли двое в плащ-палатках и касках, но с пустыми руками. Один козырнул Лаврентию Павловичу и сказал:

— Попрошу документы!

Торопливо порывшись в кармане, Берия протянул красную книжечку.

Военный долго рассматривал документ и предъявителя, переводя недоверчивый взгляд с карточки на оригинал и обратно. Затем документ оказался у второго военного, и тот тоже долго сличал карточку с оригиналом, словно первый раз видел и то и другое. Наконец второй военный вернул книжечку первому, первый вернул владельцу и, пропуская его вперед, снова взял под козырек:

— Прошу!

Берия вошел в вагон, сел в углу, положив портфель на колени, и стал похож на бухгалтера, который едет домой с работы. Те, которые проверяли документы, сели напротив, автоматчики заняли свои места — по двое у каждой двери. Двери закрылись, поезд тронулся. Берия взглянул на часы.

Место, где жил Сталин, в секретных документах именовалось подземной дачей. Берия догадывался, что «дача» находится на соседней станции, но знал, что в целях конспирации ему будут морочить голову, будут долго возить где-нибудь по кольцевой линии, прежде чем доставят к месту назначения.

Все молчали. Всякие разговоры между пассажиром и охраной с целью исключения лишних контактов были строжайше запрещены.

38

К конечному пункту поезд пришел через сорок шесть минут. Двери открылись, но на этот раз автоматчики остались в вагонах.

Двое проверяющих опять преградили путь. Старший снова, козырнув, сказал: « Попрошу документы! » — и снова, возвращая, сказал: « Прошу! »

На этом, однако, проверка не кончилась. Личная охрана того, который жил в метро, состоявшая целиком из соплеменников приезжего, встретила его на перроне, поставив автоматы и прищулив глаза. И здесь повторилось: « Попрошу документы! », « Прошу! »

Затем заглянули в портфель, вывернули карманы, ничего подозрительного не нашли, кроме маленького перочинного ножика в виде дамской туфельки, который приказали оставить до возвращения.

Обыск закончился тем же словом « Прошу! », и начальник личной охраны взял при этом под козырек.

Пока Лаврентий Павлович застегивал портфель, у него в голове возникла озорная мысль: а что, если проверить, как начальник охраны несет свою неусыпную службу? Он посмотрел на начальника веселым взглядом и задал как будто совершенно невинный, но на самом деле такой вопрос, который мог бы стать первым шагом на пути к неформальным отношениям.

— Как дела, генацвале? — интимно и по-грузински спросил Лаврентий Павлович, застегивая слегка озябшими пальцами пуговицы френча. При этом он улыбнулся и подмигнул начальнику, как бы говоря, что уж мне-то, как своему человеку, ты можешь рассказать о себе, поделиться своими радостями или заботами. Но начальник не принял ни этой улыбки, ни этого интимного тона и, казалось, вообще не услышал звука произнесенных здесь слов. Молча сжав губы, он терпеливо ждал, покуда приезжий справится с замком, и только после этого произнес по-русски:

— Товарищ Сталин вас ждет.

И, пропуская Лаврентия Павловича вперед, нажал на кнопку секретной сигнализации, предупреждая кого-то о прибытии нового гостя.

39

Сталин радушно встретил гостя на пороге своего просторного кабинета с глобусом и фальшивыми зашторенными окнами, точно такого же кабинета, какой был у него в Кремле. Некоторые люди, которых сюда привозили в закрытых вагонах, так и думали, что они находятся в Кремле, попав в него тайным подземным путем.

— Здравствуй, дорогой, — сказал Сталин, с протянутой рукой приближаясь к Лаврентию.

— Здравствуй, Коба! — ответил Лаврентий Павлович возвышенно.

Они сблизились, и Лаврентий Павлович, поставив портфель на пол, схватил протянутую ему руку двумя руками.

— Еще раз здравствуй, дорогой! — сказал Сталин с чувством.

— Еще раз здравствуй, Коба! — отозвался гость с еще большим чувством.

— И еще раз здравствуй, дорогой! — Сталин обнял приехавшего и, щекоча усами, крепко поцеловал в губы.

— Здыр...ав...уй! — зашелся гость в экстазе.

— Проходи, дорогой, проходи, — сказал Сталин, хлопывая Берию по спине. — Как доехал? Как жена, дети? Здоровы?

— Слава богу, здоровы. — Подняв портфель, Берия шел за Сталиным в глубь кабинета. — Вместе со мной, вместе со всем народом думают: лишь бы ты был здоров.

— Садись, дорогой. — Сталин указал гостю на кожаный диван, а сам отошел к своему столу, раскрыл папиросы «Герцеговина Флор» и, разламывая их, стал набивать табаком трубку.

— Мне кажется, ты чем-то расстроен, — сказал он, заботливо глядя на Берию, который сидел на диване и держал свой портфель на коленях.

— Я? — вскинул голову Берия. — Нет, ничего, пустяки.

— А все-таки?

— Не обращай внимания, — потупился Берия. — Это совсем ерунда. Ты не должен об этом заботиться. У тебя есть заботы важнее.

— У меня, — согласился Сталин, — конечно, есть очень много забот. Но как же я могу о тебе не заботиться? Ведь ты мой верный соратник, и мне неприятно, если ты чем-то расстроен. Мне очень хочется знать, что у тебя на душе.

— Вай-вай! — замахал руками Берия. — Какие, право же, пустяки. Да, ты очень зорко подметил, я немножечко огорчен, я вот столечко огорчен твоим недоверием, но это не имеет совершенно никакого значения.

— Что значит «не имеет значения»? — нахмурился Сталин. — Это имело бы очень большое значение, если бы было правдой. Но ты мне скажи, в чем ты видишь мое недоверие?

— Ну хорошо, я тебе скажу, но мне, право же, неудобно. Это маленькое недоверие проявляется в том, что твои люди возят меня в закрытом вагоне, а потом обыскивают, как будто я какой-то преступник. Я, конечно, понимаю, что в жестокий период военного времени нужна очень высокая бдительность и твоя жизнь дороже зеницы ока, но все-таки такое обращение немножечко, чуть-чуть-чуть унижает мое человеческое достоинство.

— Человеческое достоинство? — удивился Сталин и, попыхивая трубкой, прошелся по кабинету. — Я тебя очень хорошо понимаю, Лаврентий. Но посуди сам, что я могу сделать со своими людьми? Они так любят меня.

Они так боятся за меня. Они же не только тебя, они всех обыскивают.

— Да-да-да-да, — закивал Лаврентий, — это, конечно, правильно. Но все-таки мне казалось, все-таки я иногда думал, что я для тебя — как бы это сказать? — немножечко не «все».

— Да, конечно. — С трубкой в зубах Сталин присел рядом, причмокивая. — Ты не все. Ты для меня особенный. И я должен тебе доверять на сто процентов и даже немножечко больше. Но иногда я вот чувствую почему-то, что из всех людей, которые здесь бывают, я, пожалуй, никому не верю меньше, чем тебе.

Сталин вынул изо рта трубку, резко повернулся к Лаврентию и стал смотреть на него не мигая, как будто пытался прочесть его ответные мысли. Лаврентию взгляд Хозяина очень был неприятен, но он не отвернулся и не потупился, а, напротив, сквозь пенсне тоже смотрел на Сталина не мигая. Так они сидели и смотрели друг на друга не отрываясь, как два удава. Сталин сдался первым.

— Черт тебя знает, — сказал он, отворачиваясь и вздыхая. — Всех вижу насквозь, одного тебя только не вижу. Иногда думаю: может быть, он честный человек, иногда думаю: может быть, он собака. Может быть, думаю, он уже договорился с Гитлером или с Гиммлером, чтобы Москву сдать, а меня выдать. А? — Сталин опять повернулся к Берии и уставился на него. — Признайся, договорился?

— Я? — Отбросив в сторону портфель, Лаврентий Павлович пал на колени, обнял сапог Сталина, прижал его к сердцу, прижался к нему щекой. — Коба, — сказал он с упреком, — как можешь ты так говорить? Да, я собака. Собака, да. Но собака чем отличается от человека? Она отличается преданностью своему хозяину. Ты меня обижаешь, но преданный пес не может обижаться на своего хозяина, и я на тебя не обижаюсь. И если тебе нужно, чтобы я кого-нибудь грыз и кусал, я буду его грызть и кусать. Ты мне только укажи пальцем и скажи «фас!», и я...

Лаврентий Павлович встал на четвереньки и оскалил зубы.

— Ладно. — Сталин был растроган. На щеке его блеснула слеза. Он погладил ладонью вспотевшую лысину Лаврентия Павловича. — Ладно. Это я так. Просто хотел тебя немножко проверить. Настроение, понимаешь, плохое. Сижу здесь как крот. — Сталин встал, подошел к глобусу. — А немцы, вот они уже где. Вот. Совсем близко. Как ты думаешь, Лаврентий, Москву, наверное, придется сдавать?

— Нет, — сказал Лаврентий, отряхивая колени, — не придется. Теперь не придется.

— Теперь не придется? — прищурился Сталин. — А что же теперь такое случилось, что теперь не придется?

— А вот я тебе сейчас кое-что покажу, — сказал Лаврентий, расстегивая портфель и вынимая папку с шелковыми тесемками. — Ты же понимаешь, я бы не решился беспокоить тебя в столь позднее время по пустякам. — Он поднес папку и положил ее на край стола. — Вот, — сказал он торжественно, — дело князя Голицына.

— Голицына? — удивился Сталин.

— Князя Голицына, — повторил Берия, ставя ударение на слове «князя». — Обширнейший заговор. Мои ребята поработали. Постарались. Да ты сам почитай. Ты сам все увидишь.

— Некогда мне читать, — покосился на папку Сталин. — Изложи кратко.

— Хорошо. Очень кратко. Представь себе один ничем не примечательный летний день незадолго до начала войны. Глухая русская деревня. У них, у русских, все деревни глухие. Солнышко светит, птички поют, розы... Нет, не розы... картошки цветут, бабочки... — Лаврентий изобразил полет бабочек, — летают. И вдруг что-то совсем большое, что-то совсем не бабочка — самолет.

Берия помолчал, давая слушателю вжиться в картину.

— Слушай, Лаврентий, — поморщился Сталин. — Ты мне про бабочек не рассказывай. Про бабочек я могу позвать кого-нибудь другого, он мне лучше расскажет. Ты мне давай суть.

— Хорошо, — согласился Берия. — Даю суть. Представь себе город Берлин, канцелярия рейхсфюрера, Пит-

лер сидит в своем кабинете. И размышляет над планом «Барбаросса». Он собирается напасть на Советский Союз, но понимает, что дело это опасное. Потому что Германия, конечно, сильное государство, но Советский Союз сильнее. У меня, думает он, есть пушки, танки и самолеты, но у него, у тебя то есть, тоже есть пушки, танки и самолеты. Значит, надо рассчитывать не только на силу, а на неустойчивое (по его, конечно, мнению) внутреннее положение. Новый строй, по его мнению, в России еще недостаточно укрепился. Русский народ, воспитанный на традициях самодержавия, хочет, чтобы у него был царь, был помещик, чтобы помещик ему говорил: «Ты вот здесь вспаши, ты вот это посеи и, когда соберешь урожай, половину дай мне, а половину сам можешь скушать». И вот этот Гитлер обращает внимание на всяческих недобитков в виде бывших дворян, в виде бывших царских приспешников. И находит, кроме прочих, князя, под которым можно собрать всех недовольных нашим строем, объединить их, подготовить к борьбе против советской власти. И вот незадолго до войны этот самый Голицын под видом простого красноармейца прибывает на самолете в деревню Красное в этом примерно месте, — Берия ткнул пальцем в глобус, — поселяется у одной местной женщины и начинает плести свою паучью сеть. План его прост и понятен: дожидаться, когда Гитлер кинет на нас свои девяносто дивизий, подготовить восстание и в нужный момент по сигналу из Берлина ударить нам в спину. Таким образом он надеется оттянуть часть наших сил с фронта, раздробить их и затем...

— Хватит! — резко перебил Сталин. — Ты говоришь так, как будто тебе самому это нравится. Где он сейчас, этот князь?

— Будь спокоен. Сейчас он в надежных руках, — сказал Берия и показал два своих кулака.

Сталин положил трубку на стол и, заложив руки за спину, прошелся по кабинету.

— Голицын! Князь Голицын! — бормотал он почти про себя.

Берия знал, что делал. Он знал, что Сталину сейчас, как никогда, нужен кто-то, на кого можно было бы возложить вину за неудачное начало войны.

— Да, — сказал Сталин, подумав. — Я всегда знал, что один внутренний враг опаснее ста внешних врагов. Я всегда указывал, что бывшие эксплуататоры и дворяне никогда не смирятся с историческим своим поражением. Но, видно, я слишком доверчив, я не мог себе даже представить, что эти люди так ненавидят новый строй, так ненавидят новую Россию, что готовы выступить против нее в союзе с ее злейшим врагом. Ну что ж, Лаврентий, враги бросают нам вызов, мы его примем. На примере этого Голицына мы покажем народу, чего хотят эти капиталисты и эти помещики. И на этом же примере мы покажем капиталистам и помещикам, что народ наш любит советскую власть и не хочет их возвращения. И на этом же самом примере мы покажем бесноватому фюреру, что он зря рассчитывает на этих мелких прислужников, они ему не помогут.

Он взял ручку и на первом листе дела князя Голицына своим мелким, но четким почерком начертал:

Князя Голицына и сообщников судить показательным судом с освещением в прессе. Не знаю, как для других, но для князя Голицына, думаю, расстрел не будет слишком суровым наказанием по законам военного времени.

И.Сталин

40

Старожилы запомнили, что в тот вечер в деревне страшно выли собаки. Они выли, скулили, лаяли и металась на привязи, словно хотели своих хозяев о чем-то предупредить. Счетовод Волков обратил внимание на поведение своего Джека и даже подумал, что дело нечисто, что зря собака так волноваться не будет. Волков посмотрел на небо, оно было ясное, со звездами, но без луны. Невидимый во тьме самолет монотонно сверлил в небе дырку, прерывистый звук мотора казался обычным, мирным. Счетовод послюнил и поднял вверх палец, пытаясь определить направление и силу ветра, но ни силы, ни направления не было. Волков постоял, покурил, помочился под яблоней, а потом, прежде чем застегнуть ширинку, долго подпрыгивал.

Джек по-прежнему рвался с цепи, лаял, завывал и даже как будто плакал.

— Но-но, не балуй! — прикрикнул на него хозяин и дал псу сапогом в морду.

Тот заскулил, завизжал, забился в будку и стал выть оттуда.

«Да, — подумал Волков, — чтой-то это да значит».

В двадцатых годах во время службы в Туркестанском военном округе случилось ему быть свидетелем сильного землетрясения, и тогда тоже вот так же волновались и выли собаки. Но в широтах, где проживал ныне однорукый счетовод, стихия вела себя смирно, ничего страшнее буреломов и незначительного выхода Тёпы из берегов отродясь не бывало.

Не зная, как объяснить поведение животного, Волков вернулся в избу.

41

Приближение чего-то необыкновенного почувал как будто и кабан Борька. С вечера он визжал и хрюкал под дверью и, когда Нюра егопустила, долго не мог найти себе места и метался по комнате, забиваясь то под печь, то под лавку.

В ту ночь Нюра долго не засыпала. Вспоминала Чонкина, всю свою жизнь и всякую ерунду, много чего лезло в голову.

Потом приснилось ей, будто идет она с Чонкиным по какому-то полю, он держит ее за руку и спрашивает, далеко ли еще, а она отвечает: нет, совсем недалеко. И встречает их подполковник Лужин в одних кальсонах и галошах на босу ногу и говорит: «Вот, Беляшова, я как раз хотел предложить вам вместо вашего Чонкина этого, может быть, он вам подойдет». Нюра смотрит на Чонкина, а он ей подмигивает: мол, соглашайся, потому что я — это я и есть. И Нюра пытливо смотрит на него и никак не может понять, настоящий ли это Чонкин или какой-то другой, подделанный под настоящего. Тут же появляется Любовь Михайловна и приносит Нюре зарплату за три месяца. И вот они уже сидят за столом: и Нюра, и Чонкин, и Лужин, и Любовь Михайловна, и вдруг в комнату врывается Олимпиада Петровна и кричит не своим голосом:

— Свет! Свет! Какой ужасный свет!

И тут Нюра проснулась. И увидела не во сне, а наяву, что вся комната озарена каким-то действительно ужасным пронзительным и неестественным светом, по комнате мечется необычно высокая Олимпиада Петровна и что-то кричит. Нюра слетела с лавки, глянула в окно и тоже закричала. Все пространство за окном было залито этим пронзительным мертвым светом без теней, речка Тёпа пылала, огромное пламя клубилось над ней, казалось, по всей длине. Пламя как будто двигалось от речки к деревне, было похоже, что вот-вот все займется, все запылает.

— Что это? — услышала Нюра за спиной шепот Олимпиады Петровны.

— Не знаю, — сказала Нюра.

Тут с неба на середину улицы опустилась длинная фигура в белом. Воздев руки кверху, фигура часто перебирала ногами и подпрыгивала, словно исполняя какой-то шаманский танец. Вдруг она повернулась к Нюре белым лицом и глаза ее страшно сверкнули.

— Ай! — закричала Нюра, узнав в фигуре покойника Гладышева.

Потом появились на улице другие фигуры в белом. Это народ, видя наступление конца света, высыпал наружу в одном исподнем. Какой-то ошалелый петух, решив, вероятно, что проспал день, вскочил на забор, хлопал крыльями и пронзительно закричал.

Между тем наиболее хладнокровные люди, приходя в себя, осознали, что этот ужасный слепящий свет исходит от каких-то машин, полукольцом охвативших деревню. Сколько их было — пятьдесят? сто? тысяча? — впоследствии высказывались самые разные версии. В этом свете пар, клубившийся над речкой Тёпой, казался пламенем.

Потом уже стало известно, что это была разработанная Там Где Надо и блестяще проведенная операция, за которую руководители ее получили награду, которая впоследствии многократно упоминалась в различных приказах, инструкциях и тактических разборах. Спустя три года она была блистательно повторена маршалом Жуковым на Кюстринском плацдарме и навсегда оста-

лась в истории. Люди еще только приходили в себя, когда в деревню въехал грузовик с торчащими в разные стороны раструбами вроде граммофонных, но гораздо больших размеров.

— Внимание! — кричал оглушительный лающий голос. — Всем жителям деревни приказываю: взяв с собой самое необходимое, не более двадцати килограммов на человека, собраться перед конторой для погрузки на автомобили. На сборы дается сорок минут. Опоздавшие будут доставлены принудительно. К уклоняющимся будут применены все меры воздействия вплоть до оружия. Внимание!..

Медленным ходом машина прошла из конца в конец деревни и обратно, многократно вылаивая приказ.

42

Затем часть машин, освещавших операцию, перегруппировалась, небольшая колонна вошла в деревню и выстроилась напротив конторы, остальные машины продолжали светить. Вместе с колонной въехала новенькая «эмка» и, поблескивая лаком, стала чуть в стороне. Задняя дверь открылась, из нее медленно вылез человек небольшого роста в белых бурках, прошитых кожаными полосками, в шинели с меховым воротником, в высокой папахе, в очках, в белых перчатках. Он выбрался на ступеньку, спустил одну ногу на землю и так и остался стоять — одна нога на земле, другая на ступеньке, а правая рука застыла на полуоткрытой дверце. Так этот человек и стоял, не двигаясь ни туда, ни сюда, словно в остановленном кинокадре.

Он стоял в стороне и со стороны наблюдал то, что происходило перед его глазами, как бы не имея к этому прямого отношения. Но именно он и был главным организатором и руководителем этой удивительной по своему замыслу и масштабу операции. Он стоял один, никто из группы стоявших неподалеку более мелких командиров не решался к нему приблизиться, но стоило ему двинуть хоть одним членом, как любой из них или все вместе кинулись бы со всех ног выполнять любое его приказание.

Это был Лужин.

Он стоял, он слышал крики, ругань, плач и вопли отчаяния, но ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое не задевало струн его души, не возбуждало в нем сострадания, его заботило только, чтобы погрузка живого товара была произведена в срок и, по возможности, без излишнего шума.

Старуха Олимпиада Петровна никак не могла примириться с неизбежностью. Время от времени кидалась она к обступившим толпу вертухаям.

— Товарищи! — взывала она, показывая на Вадика. — Этот мальчик — сын политработника Красной Армии.

Вертухаи воротили морды, Вадик кричал: «Бабушка!» — и хватал ее за подол.

Нюра видела все как во сне. Вдруг появился перед ней подталкиваемый вертухаями Гладышев с Гераклом на руках. Нюра больше не удивлялась. Видимо, наступил Страшный Суд и мертвые поднялись.

Потом уже выяснилось, что свое самоубийство Гладышев симулировал. Что на самом деле все это время он скрывался в подвале, отчего Афродита и не желала поселения к ним чужих людей. Только по ночам он выбирался и спал с женой. И вот, тепленького, его выгребли вместе со всеми.

Нюра потом не могла вспомнить, что за чем происходило, как очутилась она в машине рядом с семейством Гладышева — все вспоминалось кусками.

Но вот погрузка закончилась. Вертухаи закрыли борта и разместились на отдельных скамейках, спиной к кабине, лицом к охраняемым. Уже головная машина разворачивалась перед конторой, уже Лужин подтянул левую ногу, чтобы поставить ее рядом с правой на ступеньку своей легковушки, когда послышались возгласы:

— Стой! Стой!

И взору отъезжающих открылась великолепная в своем роде картина. Два дюжих вертухая, схватив за руки, бегом катили по улице на колесиках инвалида Гражданской войны Илью Жикина.

Головной грузовик остановился, и на нем снова откинули задний борт.

— Раз-два, взяли!

Вертухай с ходу подхватили инвалида под мышки и стали раскачивать, чтобы забросить в кузов. Тут случилось непредвиденное. Жикину удалось вырвать правую руку, и он, падая, успел залепить ею в глаз левого вертухая. Тот ухнул, схватился за глаз и выпустил Жикина. Но в это время другой вертухай успел опять схватить правую руку Жикина, находившегося уже в состоянии свободного падения. Укороченное тело Жикина дернулось, и самодельная тележка, к которой он был приторочен ремнями, с размаху ударила вертухая по ногам чуть ниже колен. Тот рухнул как подкошенный и, истошно вопя, корчился в пыли. Его товарищ двумя руками держался за подбитый глаз. Сам Жикин лежал неподвижно чуть в стороне, поблескивая колесиками, как потерпевший аварию автомобиль.

Еще два смельчака кинулись к Жикину, но он снова ожил и, дернув одного из этих двоих за ногу, ухитрился повергнуть и его.

Тут подвалила целая свора. Сгрудившись над Жикиным, они матерились и ухали, видимо, били и мяли наглеца, но тот не кричал.

Среди некоторых отъезжающих прошел ропот. Кто-то выкрикнул:

— Фашисты!

Роман Гаврилович Лужин, видимо, осознал, что текущая сцена может произвести неприятное впечатление на отъезжающих, и, ничего не говоря, хлопнул в ладоши. И хлопнул-то несильно, только сделал вид, что хлопнул, а если б даже и сильно, кто бы его услышал? Но только он хлопнул — сцена вмиг переменилась. На земле остались только сам Жикин и тот, которого он стукнул тележкой.

— Вы! — сказал Лужин кому-то из командиров и поманил его вялым пальцем.

Тот подбежал, козырнул и вытянулся руки по швам.

— Этого, — сказал Лужин и медленно повел рукой чуть вниз и в сторону.

— Расстрелять? — еще больше вытянулся командир.

— Отпустить! — сказал Лужин.

Жикина поставили на колесики, подтолкнули, и он, не потрудившись выразить благодарность за проявленный гуманизм, быстро покатил по улице, отталкиваясь от земли своими гибкими, как у обезьяны, руками, и вскоре скрылся во мраке.

Как только колонна перестроилась, все фары тут же погасли. Машины, освещавшие операцию, подстраивались в полной темноте.

44

В Долгов прибыли в том же количестве, в каком выезжали из Красного. Дед Шапкин по дороге тихо скончался, зато Нинка Курзова родила мальчика и назвала его впоследствии в честь деда по отцу Никодимом. Плечевой, оставаясь во всех обстоятельствах человеком крайне несерьезным, предлагал, учитывая обстоятельства рождения мальчика, назвать его Энкаведимом.

45

Председатель Голубев избежал общей участи, потому что в ту ночь находился в областном городе. Накануне его вызвал к себе Петр Терентьевич Худобченко, который был с ним мил и приветлив. От Худобченко Голубев узнал, что его персональное дело отменяется, поскольку было возбуждено против него врагами народа в порядке избиения партийных кадров.

Тут же Худобченко извлек из сейфа голубевский партийный билет и сказал:

— На, возьми. В вопросе об уборке урожая ты занял правильную позицию и отстаивал ее по-большевистски, но в другой раз кидаться билетом все же не рекомендую.

Голубев на радостях напился, переночевал в обкомовской гостинице, встал затемно и утро встретил в пути.

По дороге он думал о прихотях судьбы. Вчера еще был готов к любому результату своего дерзкого поведения, к тому, что если его не расстреляют, то, по крайней мере, посадят, а тут вот все как обернулось. Ревкин и Чмыхалов сидят, а он едет домой с партбилетом в кармане.

Вспомнился разговор с прокурором, его слова о том, что рано или поздно все равно окажешься виноват, все равно накажут.

«Наказать-то накажут, — думал председатель, — но когда и за что, не угадаешь, и потому нужно вести себя, как считаешь правильным».

Утро было свежее, лошадь бежала быстро. Председатель, подняв воротник полушубка и спрятав руки в карманы, полудремал после недосыпа в гостинице. Шуршали колеса, поскрипывали рессоры. Возле деревни стало ощутимо потряхивать. Голубев открыл глаза и увидел, что дорога сильно повреждена двумя глубокими колеями, которые вряд ли могли сделаться от одной даже очень тяжелой машины. Председатель удивился, но не придал этому значения, мало ли что могло произойти и мало ли кто мог проехать. Видимо, прошла какая-то военная колонна, но для чего ей было идти по этой уходящей от главного тракта и, по существу, тупиковой дороге, было непонятно. Впрочем, в этой жизни было так много непонятного, что можно было уже перестать удивляться. Он разобрал вожжи и повел лошадь краем дороги, чтобы не опрокинуться в колею.

За бугром, от которого открывался вид на деревню, встретился ему кабан Борька, видимо, поджидавший Нюриного возвращения. Сама же деревня Голубева чем-то удивила, он не понял чем, но что-то в ее привычном как будто виде было странно, он только потом, много позже, догадался, что странное заключалось в том, что ни из одной трубы не шел дым. Когда он приблизился, ему показалось еще страннее. В деревне стоял непрерывный тоскливый вой, это выли собаки и мычала скотина. Ворота дворов и двери большинства изб были распахнуты настежь, на изрытой неизвестными машинами дороге валялись оброненные кем-то случайные вещи — соломенная шляпа, детская распашонка, банка с огурцами, что-то еще. Голубев остановил лошадь возле Нюриной избы и постучал кнутовищем в окно. Никто не отозвался.

— Эй, есть тут кто живой? — прокричал председатель.

То же самое прокричал он и у окна Гладышева. И там никто не отозвался.

Контора колхоза тоже была открыта, председатель поднялся туда, на полу было много грязных следов от сапог, валялись окурки и газета «Правда» от позавчерашне-

го числа. Он, естественно, кинулся к сейфу, но сейф, по всей видимости, не был тронут, в нем все оказалось на месте. Тогда председатель оставил контору как есть и поехал домой. Дома тоже никого не было. На столе в кухне стояла немытая посуда. Постели были не застелены. Повсюду виднелись следы поспешного бегства. Вещи были разбросаны по всему дому. Сундук стоял с откинутой крышкой. На столе догорала керосиновая лампа. Не было ни жены, ни детей. Потом на полу он нашел записку старшего сына Гриньки: «Папа, нас увозят».

Иван Тимофеевич сел за стол, обхватив голову руками, и задумался. Что значит «нас увозят»? Неужели же всех подряд, включая стариков, женщин и детей? По всему выходило, что так. А куда, для чего? И к чему такая спешка? Эвакуация? Но, судя по сообщениям газет, если им можно верить хоть сколько-нибудь, немцы были еще слишком далеко.

Голубев сидел, думал, потом спохватился, побежал в контору, позвонил Борисову. Тот ничего вразумительного объяснить не мог, но посоветовал сидеть на месте и не рыпаться.

Голубев вернулся домой, связал в узел подушку и одеяло, перетащил в контору. В опустелой избе бабы Дуни нашел два ведра самогону и тоже отнес в контору. Там он заперся,пил, топил печку и опять пил, лежал на диване, вскакивал, размахивал руками, снова ложился и снова вскакивал и все думал, думал, думал, иногда — про себя, а чаще — вслух, отчего складывается такая идиотская жизнь. Кто в этом виноват: люди или система? И никак не мог добраться до истины: с одной стороны, вроде люди формируют систему, а с другой стороны, вроде система из них же и состоит.

Время от времени звонил телефон, и представители разных организаций запрашивали сведения о поставках молока и мяса, о дополнительной сдаче в армию конского поголовья, о подготовке семенного фонда, что-то спрашивали насчет скота, опороса, количества кур-несушек и заготовок кормов.

— Все идет по плану, — отвечал Голубев и клал трубку.

Ему звонили снова: как по плану, когда то не делается, того нет, а это не поступало?

— Все по плану, — повторял Голубев и клал трубку. Он еще не допил первого ведра, когда его, заросшего бородой и опухшего, арестовали за срыв всех поставок и контрреволюционный саботаж.

Трясаясь в «воронке», Голубев припомнил все, что рассказывал Леша Жаров, как встречают в тюрьме новичков, и ему стало как-то не по себе. Он представил себе явно, как блатари ради потехи устроят ему «выборы», а потом и «воздушный десант». Нет, нет, этого ни в коем случае нельзя допустить. Надо сразу поставить себя так, чтобы это было совсем невозможно. Уж пусть лучше зарежут. Он вспомнил кое-что еще из того, что рассказывал ему Жаров, и подготовился к вступлению в новую жизнь.

46

В камере № 1 тюрьмы № 1 жизнь шла своим чередом. С тех пор как отсюда убрали Чонкина, здесь мало что изменилось. Так же поднимали людей по утрам, так же ставляли выносить парашу, так же трижды в день кормили баландой, ну, может быть, чуть пожиже. Профессор Цинубель дорвался до власти — его назначили старостой камеры. Теперь он спал не у параша, а на нижних нарах.

Новый день в неволе только еще начинался, каждый проводил его как умел. Запятаев и Цинубель играли в шахматы, вылепленные из хлеба. На нарах грузин Чейшвили рассказывал кому-то из новичков все ту же лирическую историю, как он жил одновременно с двумя певицами.

Тут раздался ужасный крик, и пан Калюжный стащил с нар упирающегося Штыка.

— Будешь красты? Будешь красты? — приговаривал пан Калюжный, выкручивая Штыку и без того уже красное ухо.

— Пусти, падло, поносник, сазан сучий! — вопил Штык, пытаясь вырваться.

— В чем дело? — поднял голову Цинубель.

— Сало вкрав, — объяснил пан Калюжный. — Я шапку обменяв у вертухая за шматок сала, поклат учора це сало пид голову, а зараз дывлюсь — немає.

— Отпустите его! — резко сказал профессор. — Это что еще за методы? Вася, ты брал это сало?

— Ты что, профессор? Не брал я, бля буду, век свободы не видать, не брал.

— Смотри, Вася, мы здесь в нашем коллективе воровства не потерпим. Как тебе не стыдно, Вася? И откуда это в тебе? Ведь ты родился не при старом режиме. Ты родился в новом обществе, навсегда ликвидировавшем социальную почву для преступности. Ведь ты же не навек сюда попал. Вот выйдешь на волю... Перед тобой все дороги... Куда же ты пойдешь с такими наклонностями?

— Кончай, профессор! Душа из меня вон, не брал я это вшивое сало. Эх, суки, — взъярился он вдруг, — пахана на вас, фраеров, нет, он бы, бля, вас покурочил, он бы вас научил свободу любить.

— Да, Вася, — грустно сказал профессор, — видно, долго еще надо с тобой работать, чтобы сделать из тебя настоящего человека.

— Иди ты, профессор, на... — Он отошел в угол, снял штаны и сел на парашу.

Конфликт, однако, сам собою как-то угас. Калюжный, смирившись с потерей, полез к себе на нары. Профессор с Запятаевым сосредоточились над неуклюжими своими фигурками. Штык, сидя на параше, задумался.

Жизнь его складывалась неудачно. Был он начинающим щипачем, то есть шарил по карманам. Много раз попадался. Били его в трамваях и в поездах, однажды даже на ходу скинули под насыпь. И мечтал он всегда о том, что найдется пахан, возьмет его под свое покровительство. «Не трожьте, — скажет, — суки, пацана. Он мой шестерка».

И тут дверь в камеру распахнулась, на пороге появился грузный, свирепого вида бородатый человек в полушубке и в шапке, надвинутой на глаза. Это был Иван Тимофеевич Голубев. Он видел устремленные на него глаза, которые смотрели, как ему показалось, очень враждебно. Особенно страшными показались ему эти двое, которые, стоя над табуреткой, играли в какую-то странную игру, наверное, кого-то проигрывали. «Бандиты! — внутренне содрогнулся Иван Тимофеевич. — Сейчас начнут издеваться или просто зарежут. Нет, надо сразу показать, что не на того напали».

Дверь за спиной захлопнулась, проскрежетал ключ. Голубев остался на пороге один на один с этой сворой бандитов.

— Вы что, суки-падлы, законов не знаете? — закричал он сразу на всех, делая свирепые глаза и холодея от страха.

— Ты что? — не отрываясь от параши, поднял голову Штык. — Блатной или голодный?

— Отвали, поносник! — Голубев, не раздумывая, дал ему сапогом под зад, и Штык слетел с параши, едва ее не опрокинув.

— Ты что? Ты что? — закрутился по камере Штык, одной рукой придерживая штаны, а другой держась за ушибленный зад.

— Полотенце! Где полотенце, суки позорные? — сходил с ума новичок и свирепо тарасил свои глаза.

Штык первым сообразил, в чем дело. Одной рукой продолжая держать штаны, другой он схватил свисавшее с нар чье-то грязное полотенце и издавдала бросил его грозному новичку. Тот поймал полотенце на лету, швырнул себе под ноги и стал вытирать об него сапоги.

— Пахан! — ахнул Штык. — Бля буду, самый настоящий пахан! — выкрикивал он возбужденно и восхищенно. И наконец решился приблизиться к новичку и, глядя на него снизу вверх, заискивающе спросил: — Как тебя называть, папа?

Голубев слегка растерялся. Он хотел было сказать свою фамилию и имя-отчество, но вспомнил, что у воров должны существовать воровские клички. И не имея времени придумать что-нибудь поудачнее:

— Председатель! — сказал он, швыряя полотенце в парашу.

47

Завидую будущим чонкиноведам. Когда-нибудь откроются для них потайные архивы да и техника достигнет высоких пределов. Лежа на диване, нажмешь кнопку или несколько кнопок, и перед тобой на цветном и объемном телеэкране любой протокол допроса, или ордер на арест, или постановление об окончании следствия. Вот

она, пища для пытливого ума! Насыщайся в свое удовольствие!

Автору этих строк намного труднее. В архивы не пускают, подшивки старых газет не дают. Пользуйся тем, что есть.

А что есть?

Ну, вот статья из центральной газеты. Название газеты оторвано, число неизвестно. Статья озаглавлена «Титулованный Иуда» и подписана представителями аристократических фамилий, чудом сохранившимися в результате укрепления революционной законности. «С чувством гнева и возмущения, — говорится в статье, — узнали мы о черном предательстве некоего Голицына, бывшего князя. Должны признаться, что в свое время не все из нас приняли Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Ослепленные родовыми и сословными предрассудками, потерявшие свои имения, некоторые из нас отнеслись враждебно к завоеваниям рабочего класса нашей страны. Многим пришлось пережить мучительную ломку на пути к политической зрелости, на пути к пониманию исторического значения Октябрьской революции и ее ведущей силы — рабочего класса. Но каковы бы ни были наши прежние взгляды, в этот грозный для отечества час каждый из нас осознал, что мы не только бывшие дворяне и аристократы, мы русские люди, в этот час мы должны быть со своим народом, вместе с ним сплотиться вокруг Коммунистической партии большевиков и лично товарища Сталина. Каким же надо быть отъявленным негодяем, чтобы в это трудное для Родины время решиться на такое черное предательство! Теперь, избалованный с личным, этот, с позволения сказать, князь будет лить крокодиловы слезы и каяться. Всем известно, что наш строй самый гуманный в мире. Но предательству у нас нет прощения, а предателям нет и не должно быть места на нашей земле».

Читатели, пользующиеся доверием Тех Кому Надо, получив специальный допуск, могут порыться в старых подшивках. Там они, вероятно, найдут бескомпромисс-

ные, гневные и принципиальные выступления академика Петина и писателя Вадима Шорникова, заметки знатного забойщика скота Терентия Кныша и прославленной колхозницы Алевтины Мякишевой. Они в одних и тех же выражениях (как будто писала одна рука) клеймят позором предателя-князя.

Говорят, что многие известные люди откликнулись на предложение газеты дать в печати достойную отповедь этому отщепенцу. Надо сказать, что известные эти люди откликались совершенно бескорыстно, потому что гонораров за их статьи и заметки им никто не платил. Но, видимо, уж так совпало, что вскоре после откликов один из них получил Сталинскую премию за научные достижения, у другого неожиданно вышел роман, который до того ни одна редакция не принимала за серость. Кто-то получил броню от фронта, кто-то — литер на дополнительное питание. Благодарная Родина в лице Тех Кому Надо так или иначе отметила каждого.

Но в семье, как говорится, не без уroda. Говорят, что один известный деятель в неизвестной области позволил себе усомниться. Говорят, что это был молодой, но очень растущий ученый. Несмотря на свою ученость, он не отдал должного Учению нашего Вождя и Учителя о том, что незаменимых людей у нас нет. Он считал, что не бывает правил без исключения, что хотя вообще-то незаменимых действительно нет, но он лично все-таки незаменим.

Так вот этому незаменимому позвонили утром из центральной газеты и вежливо поинтересовались, читал ли он вышеупомянутое письмо бывших дворян.

— Да-да, — подтвердил он, — как раз вот вчера за ужином...

— Так вот, Юрий Сергеевич (кажется, его так звали), нашим читателям хотелось бы узнать и ваше мнение по этому поводу.

— А почему, собственно говоря, мое мнение? — заявил Юрий Сергеевич. — Я ведь вовсе не дворянин. У меня мать прачка, а отец...

Вежливый голос перебил, что для того, чтоб возмутиться предательством, вовсе не обязательно быть дворянином. Все советские люди, так сказать, недвусмыс-

ленно выражают свое отношение. Академики, писатели, доярки...

Юрию Сергеевичу было крайне неловко противопоставлять себя другим советским людям.

— Мне, право, очень не хочется вам отказывать, — сказал он, — но ведь я же незнаком с этим делом, я ничего о нем не знаю.

— Но вы же читали нашу газету.

— Да-да, конечно, газету я читал, но чтобы выступать в печати против какого-то человека, вина которого, насколько я понял, даже еще не совсем доказана, ведь и суда над ним еще не было...

— Ну что ж, очень жаль, — сказал работник редакции и повесил трубку.

У Юрия Сергеевича в тот день даже испортилось настроение. У него и работа не клеилась. «Наверное, я обидел этого редактора, — думал он. — Может быть, хороший человек, позвонил мне от всей души, а я... Да, но не могу же я писать про человека, о котором не имею ни малейшего представления...»

В тот же день Юрий Сергеевич был вызван к секретарю партийной организации, в которой он не состоял, поскольку был беспартийным.

Секретарь усадил его в мягкое кресло и стал выражать ему свое недоумение, что он не хочет откликнуться в печати по поводу какого-то князя.

— Ведь ты же советский человек? — спросил его секретарь, глядя прямо в глаза своим улыбчивым взглядом.

Юрий Сергеевич стал горячо утверждать, что да, он советский писатель.

— Я лично тебе верю, — сказал секретарь, давая понять, что у многих уже эта вера иссякла, но он все же еще надеется, что это так. — Тем более я не могу понять, зачем тебе становиться на сторону этого князя. Что у тебя с ним общего?

— То есть как? — растерялся ученый. — Почему у меня, собственно говоря, должно быть с ним что-то общее?

— А как же прикажешь понимать твое поведение? Ведь в то время, когда вся наша общественность решительно выступает против этого князя, ты уклоняешься.

— Я не уклоняюсь, — сказал ученый, — я вполне готов, но я только хотел, прежде чем выступить, ознакомиться с материалами дела.

— Не понимаю, — сказал парторг, уже несколько сердясь. — Этого тебе разве недостаточно? — Он показал заготовленные заранее вырезки из газет. — Вот, пожалуйста, пишут наши академики, писатели, передовые труженики. Ты им что же, не веришь?

— У меня нет оснований им не верить, но мне, прежде чем откликнуться, надо бы тоже ознакомиться лично. А то знаете, кто-нибудь спросит, в чем дело, а я даже толком и не знаю.

— Ну что ж, — сказал парторг, — я вижу, мы не договорились. Я вижу, ты не только авторам этих писем не доверяешь, ты и нашей партийной печати, а значит, и партии нашей не доверяешь. С такими взглядами можно далеко докатиться.

И действительно, парторг как в воду глядел. Наш ученый вскоре докатился в столыпинском вагоне до Колымы. В ином случае он мог бы попасть в ополчение, но бронхиальная астма и сильная близорукость не позволили ему искупить свою вину перед родиной именно таким способом. На Колыме он возил тачку и в этом качестве некоторое время был действительно незаменим.

49

В начале октября 1941 года адмирал Канарис получил от своего личного агента следующее донесение:

«В Долгове органами НКВД раскрыт крупный заговор, возглавлявшийся неким Иваном Голицыным, представителем одной из самых аристократических фамилий старой России. Как я уже сообщал, за некоторое время до этого на территории района действовала так называемая банда Чонкина. Авторитетные источники полагают, что Чонкин и Голицын — одно и то же лицо.

Местные власти и органы пропаганды пытаются приуменьшить масштабы заговора, но, судя по проводимым мероприятиям, сами относятся к происшедшему с наивысшей серьезностью.

Газеты полны многозначительных намеков, скрытых угроз, призывов к бдительности и укреплению дисципли-

лины, заклинаний в поголовном патриотизме и преданности населения советскому строю.

В колхозах, совхозах, на предприятиях местной промышленности, в школах и детских садах проводятся громкие митинги с истеричными требованиями расправы над бунтовщиками.

Судя по циркулирующим среди населения слухам, волнениями охвачена большая часть территории района.

Власти принимают срочные меры по ликвидации последствий заговора. В город введены не менее двух мотомеханизированных частей НКВД особого назначения, а в ближайшем лесу расположилась танковая бригада. В городе идут повальные аресты руководящей партийной верхушки во главе с первым секретарем районного комитета ВКП(б) Андреем Ревкиным.

Приняты решительные меры по усмирению мятежного населения. Так, например, жители деревни Красное, где располагался штаб Голицына-Чонкина, депортированы в Долгов и размещены в местной школе-семилетке, огороженной колючей проволокой и превращенной во временную тюрьму (в дополнение к уже имеющейся постоянной). По слухам, всех их, кроме детей моложе двенадцати лет, ждет самое суровое наказание. (По советским законам дети от двенадцати лет несут ответственность перед законом в полном объеме наравне со взрослыми.)

На одной из центральных площадей города выставлен для показа населению самолет устаревшей советской конструкции с оторванным крылом, принадлежавший заговорщикам.

Насколько мне удалось выяснить, князь Голицын является представителем белоэмигрантских кругов и находящейся в изгнании царской фамилии, действовавших по заданию Германского верховного командования. Если это так, то я крайне удивлен, дорогой адмирал, что полковник Пиккенброк не позаботился о том, чтобы связать меня своевременно с Голицыным-Чонкиным, сообщая мы могли бы действовать гораздо успешнее.

Судя по сообщениям газет, информации, почерпнутой из инструкций, рассылаемых партийным агитато-

рам, и других источников, основной целью заговора являлось широкое восстание местного населения против Советов (используя главным образом недовольство колхозной системой), захват данной территории и удержание ее до подхода германских войск.

Заговорщики были близки к цели, когда их постигла трагическая неудача. Однако, как мне кажется, еще не все потеряно. Более того, я считаю, что в районе сложилась весьма благоприятная обстановка для нанесения по нему решительного удара наших войск. Эта обстановка обуславливается следующими факторами:

1. Линия фронта на данном участке сильно ослаблена тем, что Советы вынуждены были оттянуть часть своих сил на подавление мятежа.

2. Население политически полностью подготовлено к смене власти.

3. Значительное число инициативных людей во главе с самим Голицыным, находящихся сейчас под стражей, смогут составить крепкое ядро для создания учреждений самоуправления, тыловых соединений и отрядов местной полиции. С их помощью можно будет развить и закрепить успех, достигнутый нашими войсками».

50

В долговском Доме культуры железнодорожников готовится театрализованное представление — «Процесс князя Голицына». Суд открытый при закрытых дверях. Вход свободный — по пропускам.

Действующие лица и исполнители:

Князь Голицын — Иван Чонкин

Государственный обвинитель — прокурор

Евпраксеин

Председатель суда — полковник Добренский

Члены суда — майоры Целиков и Дубинин

Секретарь суда — пожилой толстый сержант без фамилии

*Защитник — член областной коллегии адвокатов
Проскурин*

*Участвуют лжесвидетели, лжеэксперты,
лжезрители и прочие лжечеловеки.*

Посреди просторной, хорошо освещенной сцены длинный стол, покрытый красной материей, и три дубовых стула с высокими спинками. В левом углу сцены, за деревянной перегородкой, на табуретке, исполняющей роль скамьи подсудимых, сидит Иван Чонкин — исполнитель роли князя Голицына. Роль князя явно ему не подходит — как был Чонкиным, так Чонкиным и остался. Маленький, шуплый, лопоухий, в старом красноармейском обмундировании, он сидит раскрыв рот и крутит во все стороны стриженной и шишковатой своей головой. А по бокам двое конвойных. Такие же лопоухие, кривоногие, любого из них посади на место Чонкина, Чонкина поставь на его место — ничего не изменится.

Между Чонкиным и длинным столом за столиком маленький прокурор Евпраксеин, напялив на нос очки, перебирает лежащие перед ним бумаги.

На другой стороне сцены за такими же маленькими столиками — секретарь суда и защитник.

Защитник, плюгавый человек в перелицованном костюме (пуговицы на левой стороне), подслеповатый, весь скрючился, вывернул голову, как петух, и, касаясь левым ухом крышки стола, что-то размашисто пишет на разрозненных тетрадных листах, и рука его рывками движется по бумаге. Он, видимо, решил исполнить роль свою во всем блеске, поразить публику красноречием, он, изображая из себя этакого Плевако в местных масштабах, время от времени взглядывает на прокурора, дергает шеей и даже как будто подмигивает, как бы давая противной стороне понять, что ей следует заранее смириться со своим поражением. Пока защитник смотрит на прокурора, рука его соскальзывает с бумаги и заканчивает фразу на крышке стола, а иной раз соскальзывает и с крышки.

Не вполне понимая, для чего его сюда привели, Чонкин вертит головой, с любопытством поглядывая на прокурора, на защитника, на конвойных и вниз, на публику, которая тоже смотрит на него с любопытством.

Публика разочарована. Она ожидала увидеть князя, какого-нибудь усатого, мордатого, может быть, даже свирепого, в черкеске какой-нибудь с газырями или в белогвардейском мундире с невыгоревшими пятнами на мес-

те сорванных погон и крестов. Но перед нею не князь, а черт знает кто.

51

Если заглянуть за кулисы, то там, как и полагается перед премьерой, находятся режиссеры: майор Фигурин, полковник Лужин и маленький, сухонький, с подстриженными седьми усиками пожилой дядя в потертом пиджаке. Внешне дядя похож на какого-нибудь, скажем, банщика или привратника при гостинице, но он не банщик и не привратник, он генерал, прибывший из Москвы для наблюдения за процессом. Заложив руки за спину, тихим голосом, каким умеет говорить только очень большое начальство, он дает последние указания трем еще не вышедшим на сцену артистам: председателю и членам суда.

Тут же за кулисами болтается пока без дела детский писатель Алексей Мухин. Ему поручено в образной форме рассказать в печати не только «нашей читающей детворе», но и взрослым читателям о строгом, беспристрастном и справедливом суде над подлым изменником родины, показать истинное лицо его приспешников.

Приезжий генерал, закончив инструктаж, посмотрел на Лужина, все ли готово. Лужин посмотрел на майора, майор кивнул Лужину, Лужин кивнул генералу, генерал толкнул в живот полковника Добренького:

— Ладно, идите.

52

Из-за кулис на сцену выходят трое. Первый — председатель выездной сессии Военного трибунала полковник Добренький с папкой в руках. Лицо одутловатое, нос фиолетовый, глазки маленькие. За ним два члена суда, два майора, два мрачных типа — Целиков и Дубинин.

Секретарь (вскакивая, торжественно). Прошу встать! Суд идет!

Прохот откидываемых сидений, все встают. Вошедшие занимают места за длинным столом: председатель посередине, члены — по бокам. Председатель кладет перед собой папку и развязывает тесемки.

Секретарь. Прошу садиться.

Председатель (после небольшой паузы, глядя в зал). Слушается дело по обвинению Голицына Ивана Васильевича в измене родине, контрреволюционном саботаже, вооруженном разбое, антисоветской агитации и других преступлениях. Подсудимый, встаньте!

Чонкин, думая, что обращаются к кому-то другому, сидит.

Подсудимый, я вам говорю. Встаньте!

Чонкин (тыча себя пальцем в грудь). Я?

Председатель (улыбаясь). Уж не я ж.

(Строго.) Встаньте.

Чонкин встает, двумя руками держится за перила перегородки.

Подсудимый, назовите ваше имя, отчество и фамилию.

Чонкин. Мое?

Смех в зале.

Председатель (сердится). Подсудимый, здесь вам не цирк, а заседание Военного трибунала. Я вам советую не валять дурака и четко отвечать на вопросы. Ваша фамилия?

Чонкин (неуверенно). Раньше был Чонкин.

Председатель. А теперь?

Чонкин (подумав). Не знаю.

Председатель. Что значит — не знаете? На предварительном следствии вы показали, что являетесь врагом народа князем Голицыным, ставленником белоэмигрантских кругов и международного капитала. Вы подтверждаете свои показания?

Чонкин молчит.

Подсудимый Голицын, у вас есть отводы к составу суда? Нет? Садитесь! (В зал.) Суд приступает к слушанию обвинительного заключения.

Всякому спектаклю предшествуют репетиции. Может, потому, что Чонкин оказался плохим артистом, его мучили долго. Особо важные следователи наехали из Москвы и работали посменно. Они допрашивали его много суток подряд, не давая ни спать, ни есть. При плотно зашторен-

ных окнах ровным желтым раздражающим светом горела лампочка, он не знал, когда день, когда ночь, всякое движение времени полностью прекратилось.

Следователи долбили одно и то же: кем заслан? Какое задание выполнял? С кем был связан?

Чонкин, видя, что ни один из его ответов их устроить не может, совсем озверел и на все вопросы отвечал одной фразой: «Кому надо, тот знает». За время следствия он отощал, постарел, засыпал прямо на допросах, иной раз терял сознание. Его хлопали по щекам, отливали водой, усаживали на стул и опять спрашивали: кто, где, когда, шифры, пароли, явки и адреса. Он, еле ворочая сухим ошершавевшим языком, тупо и бессмысленно повторял: «Кому надо, тот знает». Следователи говорили «упорный очень», самые невозмутимые выходили из себя, кричали, топали ногами, пускали в ход кулаки и даже плевались. Один из них, доведенный до ручки, рухнул перед Чонкиным на колени:

«Ты, ирод проклятый, себя не жалеешь, так хоть меня пожалей, у меня же семья!»

Мучения Чонкина кончились, когда за дело снова взялся майор Фигурин. Разобравшись в обстановке, Фигурин накормил Чонкина, напоил чаем, угощал длинными папиросами, от которых сладко кружилась голова, и говорил по-хорошему, как человек с человеком.

— К сожалению, Ваня, среди наших работников тоже не все святые. Служба такая, что иной раз поневоле ожесточишься. К тому же люди, которые к нам попадают, не всегда трезво оценивают обстановку, не всегда правильно могут оценить, что от них требуется. Вот, скажем, мы берем человека и говорим ему:

«Ты наш враг». Он не соглашается, он возражает: «Нет, я не враг». Да как же это может быть? Если мы арестовываем человека, он, естественно, нас ненавидит. А если он при этом считает себя невиновным, то ненавидит вдвойне и втройне. А раз ненавидит, значит, враг, значит, виновен. Поэтому, Ваня, я лично считаю злейшими врагами именно невиновных.

Майор Фигурин не хотел возводить на Чонкина напраслину и приписывать ему то, чего не было.

— Я не сторонник таких методов. Я пользуюсь в своей работе только фактами, а не домыслами. Значит, в де-

ревню Красное ты прибыл по заданию своего командования. Так?

— Так, — согласился Чонкин.

— Тебе дали винтовку, патроны, посадили в самолет и отправили в Красное? Так?

— Так.

— Ну, значит, так и запишем: «Получив задание своего командования, я был снабжен оружием, боеприпасами и воздушным путем заброшен в деревню Красное». Правильно?

Чонкин пожал плечами: вроде правильно.

— Пойдем дальше. Тебя оставили одного, стоять скучно, ты стал смотреть туда-сюда, увидел Ньюру, помог ей на огороде, выпили, остался ночевать, потом познакомился с другими жителями, разговаривал с ними о том о сем, интересовался, как живут... Я ничего не путаю?

— Нет.

— Хорошо, запишем: «По прибытии к месту своей будущей деятельности вел визуальное наблюдение, заводил связи, устанавливал контакты, выяснял настроения, вступил в незаконные отношения с Беляшовой...»

— Э-э! — всполошился Чонкин, чуя подвох. — Как же это незаконные? Я ж не насильничал, я ж по согласию.

— А я ничего такого и не говорю, — сказал майор. — Я имею только в виду, что ты с ней не был расписан. Это же правда?

— А, это-то? — сообразил Чонкин. — Это-то да.

Нет, что ни говори, понял Чонкин, а следовательно следователю рознь. Майор Фигурин ото всех выгодно отличался тем, что не кричал, не топал ногами, не замахи-вался и дурацких вопросов не задавал, писал все как есть, хотя, правду сказать, писал словами какими-то мудреными, приобретающими злобный смысл. А то, что майор добавил насчет мировой буржуазии, эмигрантских кругов, бывших помещиков и капиталистов, про это Чонкин знал, ученые люди и в газетах писали, на собраниях говорили, об этом и политрук Ярцев на политзанятиях твердил постоянно.

Майор с Чонкиным вел себя по-хорошему, и Чонкин с майором вел себя по-хорошему и на каждом листе, который ему был предложен, аккуратнейшим образом вы-

вел: «Чонкин». Что-что, а это уж он умел, даже майор его похвалил:

«Здорово, — говорит, — у тебя получилось», — и фамилию Голицын всюду проставил в скобках.

54

Спектакль на сцене разыгрывался, как и полагается, в полном соответствии с заранее написанной пьесой.

Вызванные на сцену эксперты исследовали вещественные доказательства — винтовку образца 1891/30 года и ордер на арест подсудимого. Зачитав результаты дактилоскопической, баллистической и химической экспертиз, они неопровержимо доказали, что отверстие в ордере является пулевым, произведено выстрелом из данной винтовки, которой в момент выстрела пользовался подсудимый.

Экспертов сменили свидетели, доставленные в зал суда под конвоем.

Свидетель Гладышев показал, что подсудимый с первой минуты своего появления в деревне Красное вел разнузданный образ жизни, покинул пост, вступил в сожителство с почтальоном Беляшовой, пьянствовал, вел провокационные разговоры, допустил потраву огорода, имеющего неоценимое научное значение, оказал сопротивление властям. О том, что под личиной рядового Чонкина скрывался князь Голицын, свидетель якобы не знал, но поведение подсудимого вызвало в нем подозрение, что это не наш человек, наши люди, а тем более воины Красной Армии, так вести себя не могут.

Особое возмущение зрителей вызвали показания Ревкина, который признал, что, будучи участником тайной троцкистской группы, захватил пост секретаря райкома, действовал под прямым руководством подсудимого, систематически занимался избиением партийных кадров, прилагал все меры к развалу идейно-политической и воспитательной работы среди населения. При помощи людей, поставленных им на ключевые посты, искусственно вызывал постоянное падение урожайности, снижение продуктивности животноводства, вел курс на обнищание колхозного крестьянства, с тем чтобы настроить его против советской власти.

Свидетель Курт Филиппов, пробравшись по заданию германской разведки в органы НКВД, осуществлял прямую связь между подсудимым и верховным командованием Третьего рейха...

Во время допроса Филиппова майору Фигурину позволили и сообщили, что прибыли наконец скандинавы. Скандинавов ждали еще с утренним поездом, но поезд задержался в пути, неизвестно было, придет или не придет, думали даже перенести прения сторон, последнее слово и вынесение приговора на другой день, однако все обошлось.

Майор доложил о звонке приезжему генералу, тот сказал:

— Очень хорошо, пойді проинструктируй.

В коридоре перед своей приемной Фигурин застал группу молодых людей, сидевших на стульях вдоль стены. Опытный глаз сразу мог бы определить в молодых людях столичных жителей, вели они себя чуть развязнее, чем обычно ведут себя люди в учреждениях подобного типа, а впрочем, и во всяких других учреждениях тоже.

Приезжих было девять человек — восемь парней и одна девица в беретке набекрень. В ярко накрашенных губах девица держала дешевую папироску и любезничала с сидящим рядом с ней молодым человеком с бородкой, усиками и такими длинными волосами, за которые по тем временам могли и посадить.

— Здравствуйте, товарищи, — поздоровался на ходу Фигурин, и весь этот сброд нестройно ему ответил.

Фигурин поинтересовался, кто из них старший, поднялся тот самый, с бородкой и длинными волосами, Фигурин пригласил его к себе.

В кабинете бородач предъявил свои полномочия, Фигурин объяснил ему, что к чему, затем позвонил директору Дома культуры железнодорожников, приказал: во время перерыва в судебном заседании принять приезжую группу, дать возможность ознакомиться с залом и оказать необходимое содействие в подготовке ими рабочего места.

Директор, маленький суетливый человек, встретил приезжих почтительно, с блокнотом в руках и с выражением готовности ко всяческим услугам на лице.

Бородач, пожав директору руку, представился, сказал, что его зовут Федор Шилкин, про других сказал: «А это мои люди».

В зале, на время перерыва очищенном от публики, приезжие рассредоточились: Шилкин сел в первом ряду, двое других на некотором расстоянии друг от друга в четвертом, один в седьмом, опять двое в десятом, девица в беретке в тринадцатом и последние двое в шестнадцатом.

— Так. — Шилкин встал и повернулся лицом к залу. — Все на местах? Хорошо. Приготовились! Люся, перестань курить! Поехали. Три-четыре!

Все приезжие вскочили на ноги и, к большому удивлению директора (ему, провинциалу, раньше такого видеть не приходилось), начали, хлопая в ладоши, хором скандировать:

На-ша Ма-ша е-ла ка-шу!

На-ша Ма-ша е-ла ка-шу!

Так они повторили несколько раз. Покинув свое место, Шилкин передвигался по залу и с каждой новой позиции внимательно вслушивался в произносимые хором слова. Затем замахал руками:

— Все, спасибо, молодцы. Вам, — повернулся он к директору, — тоже спасибо. Акустика, конечно, не ахти, но ничего, работать можно. Эти места прошу зарезервировать.

— Будет исполнено, — послушно сказал директор, отмечая что-то в блокноте.

Закончив репетицию, приезжие отправились в столовую ИТР отоваривать свои рейсовые талоны.

56

В Москве, в Ленинграде, может быть, и в других больших городах, где сосредоточено много зрелищных заведений, существует особая категория граждан, которых — мужчин — называют сырами, а женщин — сырихами. Ни одно сколько-нибудь заметное театральное представление, будь то опера, балет или драма, не обходится без участия сыров и сырих. Они проникают на все премьеры, бурно реагируют на удачные реплики, громко хлопа-

ют, кричат «браво» или скандируют фамилии своих отличившихся на сцене кумиров. Сыры бывают универсальные, бывают приверженцы какого-нибудь одного вида театрального искусства. По преданности кумирам они в свое время делились на лемешистов, козловистов, качаловцев, яблочкинцев, улановцев и так далее. Федя Шилкин был обуховцем. Это не значит, что других артистов он вовсе не замечал, нет, будучи объективным знатоком оперы, он выделял многих артистов, но сердце его принадлежало только одной Надежде Андреевне Обуховой (меццо-сопрано). Федя гордился тем, что в Москве не пропустил ни одной оперы, ни одного концерта с участием любимой певицы (а бывало, ездил за ней и в другие города). И ни разу ни на один спектакль или концерт не пришел он без цветов, которые при его мизерной зарплате (Федя работал в какой-то малозаметной конторе на малозаметной должности) обходились ему не дешево. Ходил он в стареньком, штопаном, всегда одном и том же костюмчике, иной раз обходился без обеда, а то и без ужина, но на любом выступлении Обуховой неизменно появлялся с букетом, и не каким попало, а непременно — розы, гвоздики, ну, в крайнем случае георгины.

Во время спектакля или концерта Федя попусту не кричал и в ладони не бил. Сидит чинно, ждет конца представления. Зато уж когда дадут занавес, когда артисты выходят с поклонами, тут Федя преображался. Подбежит к самой сцене, изогнется хищно, и букет, словно граната, летит к ногам любимой певицы. Надежда Андреевна, бывало, поднимет букетик и смотрит в зал, кому бы послать блуждающую свою улыбку. И тут с Федей как будто припадок случается.

— Бра-во! — кричит он. — Бра-во! — хлопает в ладоши, бьется в конвульсиях. — Бра-во! Бра-во!

Стоящие рядом с Федей смотрят на него, недоумевая, мол, псих какой-то. А Федя, красный от напряжения, глаза вытаращены, дергается и скандирует любимое имя:

— О-бу-хо-ва! О-бу-хо-ва!

И вокруг него создается такое как бы электрическое поле, что и стоящие рядом с ним, иногда даже весьма флегматичные и далекие от искусства люди, сами того не замечая, впадают постепенно в экстаз и вместе с Федей

начинают скандировать то, что скандирует он. Сам Федя признавался, что в такие минуты, когда он выбегает к сцене, швыряет цветы и скандирует что-нибудь, он испытывает то высшее наслаждение, которое испытывает человек от любви или водки.

Неизменная и бескорыстная преданность Феди искусству и лично Обуховой в конце концов была вознаграждена тем, что Надежда Андреевна заметила его и выделила из среды многих своих поклонников. Среди сыров и сырых стал широко известен случай, как однажды, в дождливый вечер, выйдя после спектакля из театра, где ее ожидала толпа терпеливых поклонников и поклонниц, она скользнула взглядом по восторженным лицам, отыскала среди них лицо Феди и, улыбнувшись лично ему, попросила: «Федя, будь добр, слови мне такси».

И потом, садясь в машину с охапкой цветов, отбиваясь от наседавших других сыров, она на протянутой Федей открытке со своим изображением не просто расписалась, как делала это в других случаях, а четко начертала: «Феде — Обухова».

Федя эту открытку в рамочке пристроил у себя на стене и всем соседям, родственникам и знакомым в тысячный раз рассказывал историю этого автографа, как он стоял у служебного входа, как вышла Обухова, как отыскала глазами Федю, как, улыбнувшись (Федя очень похоже изображал ее интонацию), попросила: «Федя, будь добр, слови мне такси».

Среди слушателей встречались люди абсолютно глухие к искусству, на них рассказ Феди впечатления не производил, зато сыры сгорали от зависти.

Федина карьера прервалась самым неожиданным образом. Он жил в те романтические времена, когда Те Кому Надо вели неустанную борьбу за светлое будущее. Уничтожив эксплуататорские классы, одержав победу над буржуазными партиями, покончив навсегда (или надолго) со всяческой оппозицией, Они стали наносить удары и по более мелким враждебным группировкам, как-то: нумизматы, филателисты, баптисты, эсперантисты, преферансисты. Дошла очередь и до сыров. В одну прекрасную ночь их всех почти поголовно вынули из постелей и увезли в неизвестном направлении — на Лубянку.

Сгнули сыры, сгинул и Федя. Федина мама карточку Обуховой на всякий случай порвала и спустила в канализацию.

Скучно стало в театрах. Нет, театральная жизнь, конечно, продолжалась. Зрители покупали билеты и заполняли залы, актеры выходили на сцену и что-то играли, но атмосфера была не та. Не было той, что ли, взрывчатости, той высокой приподнятости, зрители хлопали вяло, цветы на сцену летели редко, на знаменитостей после спектакля никто не кидался, отчего некоторые из них запили.

Обухова с грустью рассказывала своим родственникам, друзьям и знакомым о тех временах, когда ее преследовали сыры и среди них был один самый преданный, который ей однажды словил такси.

И вдруг в театральных кругах пронесся слух — появился Федя. Его видели в Большом театре, он сидел во втором ряду.

А на сцене (в президиуме) сидели люди (и среди них, между прочим, Люшка Мякишева), игравшие роль знатных доярок, чабанов, свинопасов, создателей новых пород скота и зоотехников.

Представление называлось — Всесоюзное совещание передовиков животноводства. Выступавшие, войдя в образ, обещали достичь небывалых успехов в производстве мяса, молока, шерсти, в несении яиц и в самое ближайшее время по всем показателям намеревались догнать и перегнать наиболее развитые капиталистические страны. (Во время работы этого совещания в адрес президиума поступила телеграмма от одной патристической молодой мамыши, назвавшей только что рожденных ею близнецов Догнанием и Перегнанием.)

Когда закончилось совещание и было принято ответственное письмо Центральному Комитету и лично одному товарищу и начались здравицы и овации, в зале слышались ритмичные выкрики, сперва неразборчивые, а потом все более мощные, и уже через несколько секунд весь зал стоя скандировал:

— Пе-ре-го-ним Сэ-Ше-А! Пе-ре-го-ним Сэ-Ше-А!

После этого деятельность Феи и его группы была одобрена в высших инстанциях, вся группа была зачислена

в штат Учреждения под кодовым названием «скандинавы» (от слова «скандировать»). Группа оказалась совершенно незаменимой. Ни один сколько-нибудь значительный съезд, слет, сессия или митинг не обходились без участия скандинавов, и когда в газетных отчетах мелкими буквами было указано: «Бурные овации. Все встают и скандируют то-то и то-то», эти примечания могли появиться только благодаря Феде и его группе.

Конечно, некоторые из случайно уцелевших сыров относились к скандинавам презрительно, как к людям, изменившим высокому искусству. Отдельные высказывания сыров доходили до Феде, но он от них отмахивался, говоря, что настоящее искусство — то, которое прямо служит народу, и что он, Федя, от одного только торжественного обещания Алевтины Мякишевой надоить по четыре тонны молока в год от каждой коровы получает большее эстетическое удовлетворение, чем от любой, даже тонко исполненной арии какой-нибудь хваленой столичной певички.

57

В перерыве Павел Трофимович Евпраксеин пообедал и принял свои сто пятьдесят, чтобы привести себя в норму. Ему поручили быть государственным обвинителем (военный прокурор, который должен был исполнять эту роль, заболел), он не хотел, но подчинился — что поделаешь? — в кармане партбилет, а дома семья.

Правда, накануне, выпив побольше, он дома бузил и даже набросал какой-то проект: «Обвинения, предъявленные подсудимому, материалами дела не подтверждаются. Как прокурор я вношу протест, а как коммунист выхожу из...» Плакал, бил себя в грудь: «Сволочь больше не буду...» Клялся положить билет, «как Ванька Голубев». Утром, однако, встал в другом настроении, написанное вечером сжег, почистил костюм, ботинки и отправился выполнять свой солдатский долг.

Во время утреннего заседания, перечитывая свою речь, думал: «Что же, если не я, так другой. Ему все равно крышка, так неужели ж и мне вместе с ним?» Время от времени поглядывал он на Чонкина, и пару раз даже взгляды их встретились. Подсудимый, ему показалось, смотрит на него с надеждой, это Евпраксеину не понра-

вилось. «Не надейся и не жди, — мысленно ответил он Чонкину на его взгляд. — Сам собрался тонуть, и тони, а других втягивать нечего. Тебе, может быть, твоя жизнь копейка, а у меня семья, дети, я их сиротами оставлять не собираюсь, в конце концов, я героем быть не обязан. Я не сам. Мне приказали, я исполняю. И вообще я не знаю, кто ты на самом деле. Если не князь, то не надо было все, что подsunут, подписывать. А раз подписал, раз признался, что князь, то нечего из себя дурака строить, держи ответ с достоинством».

Чонкин чем дальше, тем больше раздражал его своим видом и нахальным своим поведением. Но все же после роковой фразы: «Слово предоставляется государственному обвинителю», когда прокурор поднялся и, затягивая время, стал раскладывать перед собою бумажки, он почувствовал, что у него дрожат руки, дрожат колени и во рту появился неприятный привкус, как это в последнее время бывало с ним всякий раз, когда он делал что-то, чему его совесть противилась: «нельзя», а начальство толкало: «надо». И теперь та часть его мозга, которой управлял страх перед начальством, посылала его организму одни приказы, а другая часть, руководимая совестью, посылала другие, и то ли клетки, то ли нуклеиновые кислоты, то ли чего-то там еще, не зная, чему подчиняться, сшибались друг с другом, вызывая ненормальное биение сердца, дрожание членов и отвратительный привкус во рту.

— Товарищи судьи! — не подымая глаз, произнес он и, услышав звучание собственного голоса, стал приходить в себя. — Роль прокурора в данном процессе чрезвычайно сложна и ответственна. Перед нами не обычный преступник. Перед нами человек, посягнувший, — прокурор сглотнул слюну, — на самое, — произнес он медленно, как под гипнозом, — дорогое для каждого из нас, на наш строй, на нашу Родину, на нашу новую жизнь.

Теперь ему стало легче. Та часть, которой управлял страх перед начальством, брала верх, а другая часть смутилась и отменила свои приказы.

— И хотя следственные органы провели кропотливейшую работу по анализу всех деяний подсудимого, глубоко обнажили корни, питавшие ядовитыми соками злобное дерево его преступлений...

— Хорошо говорит, а? — подбежал за кулисами Лужин к приезжему генералу.

— Неплохо, — наклонил голову генерал.

— О-о-о-о... — сказал писатель Мухин.

— Что? — удивился генерал.

— О-о-о-образно очень.

— А-а, — сказал генерал.

— Великая Октябрьская социалистическая революция не только установила новый политический строй, но и произвела глубочайшие перемены в социальной структуре нашего общества. Могучим освежающим ветром пронеслась она по всем необъятным просторам нашей страны и, как помой, выплеснула помещиков, капиталистов и прочих эксплуататоров трудового народа. Ведомый партией Ленина-Сталина, наш народ приступил к строительству новой, свободной жизни...

Прокурор все чаще взглядывал на Чонкина. Тот сидел, маленький, противный, и вертел в разные стороны стриженной и шишковатой своей головой величиной с кулак. Отвратительный вид подсудимого успокаивал прокурора и вселял в него ощущение уверенности в своей правоте.

Чонкин вздохнул и пытался послушать прокурора, но, изнуренный ночными и дневными допросами, не мог сосредоточиться на достижениях, перечисляемых прокурором: коллективизация, индустриализация, ДнепрогЭС, Папанин и Полина Осипенко...

— ...Но, как учит нас великий вождь товарищ Сталин, с установлением диктатуры пролетариата классовая борьба не только не утихает, она по мере нашего продвижения вперед еще более обостряется. Разбитые и выброшенные за борт корабля истории эксплуататорские классы никогда не смирятся со своим поражением. Они, — прокурор прямо указал пальцем на Чонкина, — предпринимали и будут предпринимать все более изощренные попытки реставрации своего отжившего строя.

Кажется, прокурор полностью овладел и собой, и аудиторией.

— Ярким примером гениального предвидения товарища Сталина может служить событие, происшедшее в деревне Красное за несколько дней до начала войны.

Я позволю себе напомнить, что именно произошло. Солнечным летним днем жители Красного становятся свидетелями не виданного до сих пор события. За оклицей, неподалеку от дома почтальона Анны Беяшовоу, совершает вынужденную посадку самолет с советскими опознавательными знаками. Жители, естественно, сбегаются посмотреть на невиданное чудо. Приезжает даже председатель Голубев, ныне разоблаченный как враг народа. Наш народ любит нашу армию и ее сталинских соколов. Жители Красного смотрят на летчика с естественным уважением и интересом. И никому, в том числе председателю, не приходит в голову проверить у этого, с позволения сказать, летчика документы. Более того, проявляя преступное ротозейство, председатель приглашает летчика в контору, предоставляет в его распоряжение служебный телефон, при помощи которого летчик не замедлил тут же связаться со своим штабом. И вот над деревней появляется новый летательный аппарат, а в нем в качестве почетного пассажира со специальным заданием прибывает наш подсудимый...

Тут Чонкина совсем сморило, и он опять очутился в Красном, молодой, глупый и полный сил. Светило солнце, стрекотали кузнечики, хотелось есть, пить, курить, отправлять всевозможные надобности и самым разнообразным способом нарушать устав караульной и гарнизонной службы. Он делал и то, и другое, и третье, бежал за девками; которые ехали на телеге, они ему что-то кричали, и он им что-то кричал, а потом приблизился к Нюре, говорил ей слова, и она ему слова говорила, но какой-то железный голос мешал, громко говоря чертовщину:

— ...снабжен оружием, боеприпасами и воздушным путем вступил в незаконные отношения с Беяшовоу...

Он знал, что Нюра в любой момент может исчезнуть, и спешил тут же вступить с нею в незаконные отношения, она тоже была не против, она играла с ним, щекоталась, ему стало радостно, и он опять засмеялся.

И снова ворвался в уши все тот же железный голос:

— Он не только тогда глумился над марксистской теорией происхождения человека, но и сейчас смеется над нашим советским правосудием.

— Какая наглость! — сказал кто-то еще, и Чонкин проснулся.

Он не сразу вспомнил, где находится, что это за люди и кто этот страшный, который тычет в него своим длинным пальцем.

Выждав паузу, пока улеглось возмущение публики поведением подсудимого и сам подсудимый, поерзав на табуретке, пришел в себя, прокурор отхлебнул из стоявшего перед ним стакана воды и продолжал:

— Лично я, товарищи судьи, против ханжества в половых вопросах. Я не буду осуждать Беляшову за то, что она вступила в интимные отношения с человеком, которого видела первый раз в жизни. При оценке этого ее легкомысленного поступка необходимо учесть, что ей попался настойчивый противник...

Чонкина одолевала дремота. Он кунял носом, валился с табуретки, просыпался, таращил глаза, и опять засыпал, и опять просыпался. Сон путался с явью, прокурор превращался то в черта, то в лешего, то в какую-то птицу, то в жабу и в огородное пугало. И конвой, и судьи, и зрители превращались в нечистых чудовищ, они то сидели на своих местах, то испарялись, выныривали на каком-то болоте, булькая и строя мерзкие рожи.

— Товарищи судьи! Третьего июля мы все с огромным душевным волнением слушали по радио историческое выступление товарища Сталина. Слушали его и жители Красного, слушал и подсудимый. Он не мог не видеть, какое глубочайшее впечатление произвели на людей проникновенные, западающие в душу слова нашего любимого вождя. И вот, чтобы разрушить это впечатление, он применяет весьма хитроумный и даже, я бы сказал, оригинальный маневр. Он запускает корову своей сожительницы в огород колхозника Гладышева, известного мичуринца и селекционера, который, впрочем, ныне также разоблачен как враг народа. Таким образом, подсудимый

сразу убивает двух зайцев. Во-первых, с помощью коро-вы уничтожает научные достижения Гладышева, а во-вторых, отвлекает внимание колхозников от общенарод-ных проблем, указанных товарищем Сталиным. С какой же целью прибыл в наши края преступник и чего он хо-тел добиться?

Прокурор из крокодила превратился в ворона, взле-тел на ветку, почистил перья и закричал:

— Для того чтобы понять мотивы того или иного пре-ступления, его тайные пружины, прежде всего необходи-мо ответить на вопрос: кому оно на руку? Мы легко отве-тим на этот вопрос, если вспомним, кем оказался этот так называемый Чонкин, к какому классу принадлежит, чьи интересы представляет.

Слетев с ветки, ворон обернулся прокурором и отпил воды из стакана.

— Органами следствия установлено, что под личиной рядового Чонкина скрывался матерый враг нашего строя представитель высшей дворянской аристократии князь Голицын. Кто же такие Голицыны? Основатель это-го рода был когда-то князем Новгородским и Ладожским. От него пошли многочисленные крепостники, реакцио-неры. Один из предков подсудимого еще в 1607 году воз-главил подавление народного восстания под руководст-вом Болотникова. Другой трижды претендовал на рос-сийский престол и был единственным серьезным сопер-ником основателя династии Романовых царя Михаила. На протяжении трехсот лет князья Голицыны занимали наиболее значительные места при царском дворе. И вот я задаю вопрос: случайно ли представитель именно этой фамилии оказался в деревне Красное накануне войны? И я отвечаю: нет, не случайно. Марксистская диалектика учит нас, что случайностей в природе вообще не бывает. Все происходящие в мире явления связаны друг с дру-гом, вытекают друг из друга и обуславливают друг друга.

Завороженный собственным красноречием, проку-рор чем дальше, тем больше верил своим словам и уже не невинную жертву видел перед собой, а зловещую фигуру, в руках которой незримые нити всемирного заговора.

— Разбитые наголову белобандиты всех мастей от Ке-ренского до Деникина не успокоились, не утратили своих

надежд на возвращение поместий, заводов и фабрик. Поддерживаемые международной буржуазией, гитлеровским фашизмом и японским милитаризмом, вынашивая планы реставрации царского строя, рассчитывая на поддержку скрытых врагов народа, ушедших в подполье троцкистов и кулацких недобитков, используя недовольство всяких ревкиных, голубевых и иже с ними, используя недовольство еще имеющимися у нас кое-где отдельными недостатками и трудностями, они послали подсудимого своим эмиссаром. Будучи представителем высшей ступени дворянской иерархии, он, как никто другой, был заинтересован в восстановлении царского строя и, может быть, даже сам... — прокурор задохнулся от заранее непродуманной мысли, от внезапной догадки, которой он сам испугался, но не смог удержать, — и, может быть, даже сам... он сам хотел стать царем! — быстро прокричал прокурор, затряс кулаками и головой и сел, оглушенный собственным открытием.

В зале прошел гул, как будто морская волна налетела и разбилась о скалы. Стоявшие за сценой невольно подались к кулисам.

— Что он сказал? — шепотом спросил приезжий генерал.

— Он говорит, что этот, — Лужин испуганно указал пальцем на Чонкина, — хотел стать...

— Цэ-э-зааре-ом, — раззаикался сзади Мухин. В зале установилась мертвая тишина, в которой было слышно только, как вспотевший защитник рвет в мелкие клочья проект своей речи. Все смотрели на Чонкина, а он, проснувшись от внезапно настигшей его тишины, смотрел и не мог понять, где он находится, откуда здесь столько чертей, почему они молчат и таращатся на него.

— Товарищи судьи!..

Придя в себя после сделанного им открытия, прокурор поднялся, чтобы продолжить свою выдающуюся речь.

Тем временем приезжий генерал кинулся Куда Надо и передал «наверх» шифровку: «В ходе судебного разбирательства прокурор Евпраксеин неопровержимо установил, что подсудимый Голицын намеревался провозгласить себя императором Иваном VII».

Со скоростью света шифровка достигла Москвы и вызвала там новый переполох.

Сбиваясь с ног, забежали по коридорам полковники и генералы. Товарища Лаврентия на службе не оказалось, нашли его совсем в другом районе Москвы в постели какой-то артистки.

Прокурор еще не закончил своей речи, как из Москвы получилась ответная шифровка: «Прокурору Евпраксеину выражаю личную благодарность. Лаврентий Берия».

— Подсудимый и его зарубежные хозяева в своих грязных расчетах не учли того, что народ наш предан своему строю, своей партии и лично товарищу Сталину. Нам не нужны ни цари, ни императоры, ни бесноватые фюреры. Действия подсудимого не нашли поддержки в широких народных массах. Наши доблестные чекисты, верные заветам Дзержинского, вовремя пресекли зловредную деятельность «божьего помазанника», а жалкая кучка его приспешников не решилась открыто встать на его сторону. Будучи полностью изобличен, он оказал яростное сопротивление сначала посланному для его ареста спецотряду, а затем и регулярным подразделениям Красной Армии. Сопротивляясь с яростью обреченного, он лелеял безумную в его положении надежду — во что бы то ни стало отстоять захваченный им плацдарм, любой ценой продержаться до прихода гитлеровских войск.

— Не вышло, господа! — закричал прокурор, обращаясь к судьям. — И никогда не выйдет.

Вновь обернувшись чертом, прокурор стал перечислять преступления, совершенные Чонкиным: нарушение правил караульной службы, дезертирство, оказание сопротивления с применением оружия, принуждение лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, к нарушению этих обязанностей, погромы и дурное обращение с пленными. Он назвал и статьи Уголовного кодекса, в соответствии с которыми Чонкин в условиях военного времени и при отягчающих обстоятельствах мог бы быть расстрелян трижды или четырежды...

— Но, — сказал черт, взмахивая копытом, — этот клубок преступлений, которого хватило бы для расстрела целой шайки бандитов, для подсудимого был лишь пре-

людей к его основным злодеяниям. Эти злодеяния предусмотрены статьями Уголовного кодекса, которые я считаю необходимым процитировать полностью.

Черт напялил на глаза очки, раскрыл какую-то чертовскую книгу и зачитал:

— Статья 58.2. Вооруженное восстание или вторжение в контрреволюционных целях на советскую территорию вооруженных банд, захват власти в центре или на местах в тех же целях, и в частности с целью насильственно отторгнуть от Союза ССР и отдельной союзной республики какую-либо часть ее территории или расторгнуть заключенные Союзом ССР с иностранными государствами договоры, влекут за собой — высшую меру социальной защиты — расстрел или объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства союзной республики и, тем самым, гражданства Союза ССР и изгнанием из пределов Союза ССР навсегда, с допущением, при смягчающих обстоятельствах, понижения до лишения свободы на срок не ниже трех лет, с конфискацией всего или части имущества.

Статья 58.3. Сношение в контрреволюционных целях с иностранным государством или отдельными его представителями, а равно способствование каким бы то ни было способом иностранному государству, находящемуся с Союзом ССР в состоянии войны или ведущему с ним борьбу путем интервенции или блокады, влекут за собой...

Статья 58.4. Оказание каким бы то ни было способом помощи той части международной буржуазии, которая, не признавая равноправия коммунистической системы, приходящей на смену капиталистической системе, стремится к ее свержению... влечет за собой...

Статья 58.5. Склонение иностранного государства или каких-либо в нем общественных групп путем сношения с их представителями к объявлению войны, вооруженному вмешательству в дела Союза ССР или иным неприязненным действиям, в частности: к блокаде, к захвату государственного имущества Союза ССР или союзных республик, разрыву дипломатических сношений, разрыву заключенных с Союзом ССР договоров и т. п., влечет за собою...

Статья 58.8. Совершение террористических актов влечет за собою...

Статья 58.10. Влечет за собою...

...Чонкин шел по дну оврага вдоль ручья, журчавшего меж камней. Сквозь журчание слышались ему какие-то слова:

— ...совокупности совершенного, учитывая принцип сложения и повышения при особо отягчающих условиях военного времени...

Он наклонился к ручью напиться и увидел в нем чье-то лицо. Он думал, что это его отражение, но, взглядевшись, увидел вместо себя прокурора.

Было плохо слышно, и Чонкин окунул голову в воду, но увидел не прокурора, а Нюру, которая, обернувшись русалкой, манила его к себе, слегка помахивая ресницами и плавниками. Она что-то ему говорила.

— Чего? — переспросил Чонкин.

— Мырай, — повторила Нюра. — Мырай поглыбже.

Он нырнул. Ему казалось, что Нюра вот она, совсем рядом. Резкими гребками он пытался приблизиться к ней, но она уходила все глубже и глубже, она манила его, и он подчинялся, хотя и понимал, что обратно ему уж не вынырнуть.

— А, все равно, — сказал он себе самому и широко открыл рот.

Вода хлынула в него, забулькала в легких, запузырилась, и он, к радости своей, обнаружил, что дышать водой можно так же, как воздухом, и даже лучше, и, успокоенный, поплыл рядом с Нюрой, как рыба.

— Хорошо? — спросила Нюра, слегка щекоча его плавником.

— Хорошо! — сказал он, щекоча ее тоже.

— А виновным себя признаешь ли?

— Признаю.

— А бесовские слова говорить умеешь?

— Не, — признался он, — не умею.

— А я умею, — засмеялась Нюра и, сделав озорное лицо, быстро, по-чертячьему, залопотала: — Коммунизма, капитализма, фашизма, идеализма, катаклизма...

— Клизма! Клизма! — закричал Чонкин в восторге от того, что и ему вспомнилось бесовское слово.

Оба стали смеяться, бултыхаясь и переворачиваясь. Чонкин все кричал: «Клизма! Клизма!» — и вдруг увидел, что поток разделился, Нюра попала в одну струю, он в другую, расстояние между ними все больше и больше, и струя, в которую попал он, несет его к отвесной скале. И сквозь шум ревущего за скалой водопада вновь донеслось до него:

— ...к высшей мере пролетарского гуманизма — расстрелу всего имущества нет места на нашей земле...

Поток вынес его на гребень скалы, и, зависнув над бездной, он глянул вниз и увидел пену и острые камни, торчащие из нее...

...Падая с табуретки, он успел вцепиться руками в перила и стукнул ногою в пол. И в тот же миг зал взорвался аплодисментами, а какой-то черт, длинноволосый, с бородкой, подскочив к сцене и выпучив глаза, завопил:

— Ти-ше ме-ряй! Ти-ше ме-ряй!

Чонкин удивился. Что значит «меряй» и почему тише? Потом услышал и увидел, что кричит не один этот черт с бородкой, а и другие, стоящие дальше. А потом и все, кто был в зале, повскакали со своих мест и тоже: «тише меряй, тише меряй», он только в конце разобрал, что на самом деле кричат не «тише меряй», а «к высшей мере».

58

За кулисами к Павлу Трофимовичу подлетел писатель Мухин и стал трясти его руку, заикаясь:

— Пэ-пэ-пэ-аздравляю! Пэ-пэ-пэ-ревосходно!

Подошел майор Фигурин, пожал руку молча. Подошел полковник Лужин, улыбнулся:

— Слушал вас с чудовищным интересом.

Приблизился приезжий генерал, руки не подал, не улыбнулся, но проскрипел:

— По поручению товарища Берии передаю вам личную его благодарность.

Подходили еще какие-то люди, жали руки, говорили слова. Один только судья полковник Добренький, на время покинув судейское кресло, хотел выразить прокурору недовольство его отсебятиной, но, услышав, что отсебя-

тина понравилась самому Лаврентию Павловичу, тут же переменял мнение и тоже поздравил самым энергичным образом. Прокурор принимал поздравления, но был хмур и отвечал односложно, прикуривал от одной папиросы другую и вполуха слушал выступавшего вслед за ним защитника.

— Товарищи судьи! — взволнованно начал тот. — Долг адвоката состоит в том, чтобы защищать своего клиента. По роду своей профессии мне приходилось защищать воров, грабителей, насильников и убийц. И каким бы тяжким ни было преступление моего подзащитного, всякий раз я находил в его действиях те или иные смягчающие вину обстоятельства. Но, товарищи судьи, советский адвокат прежде всего советский человек. И как советского человека, как коммуниста меня глубоко возмущают действия моего нынешнего подзащитного. Да, я защитник, — повысил он голос, — но, когда я вижу такого ужасного преступника, я невольно хочу защищать не его, а от него наш народ, нашу страну, нашу власть. И именно с целью защиты всех наших завоеваний я решительно поддерживаю требование прокурора и считаю, что нет такой казни, которая могла бы хоть в какой-то степени соответствовать чудовищным злодеяниям подсудимого.

59

Адвокат сел. Задвигали стульями заседатели, заерзали на своих местах зрители, прокурор отхлебнул воды, полковник Добренький, отворотясь, трубно высморкался и, складывая платок вчетверо, объявил:

— Суд приступает к слушанию последнего слова подсудимого. Подсудимый, встаньте. Что вы хотите сказать суду?

Чонкин встал, держась руками за верхний край перегородки. Он хотел сказать много, но не мог сказать ничего. Относясь к своим умственным способностям без большого доверия, он думал, что люди, которые сейчас вот решают его судьбу, руководствуются чем-то таким, что выше его понимания. Он и раньше никогда не знал, какое его действие или бездействие вызовет какие последствия, за что его накажут, а за что наградят. Со временем он пришел и к более безнадежному выводу: что ни

скажи, что ни сделай, хоть то, хоть это, все в конце концов обернется против тебя.

— Подсудимый, — сказал Добренький теплым голосом, — объясняю вам ваши права. Вы можете опровергать выводы прокурора, можете отвести некоторые обвинения, можете сказать что-то в свою защиту.

Чонкин молчал. Что мог он сказать в свою защиту? Что он молод, что он жизни не видел, что не наслаждался еще ни едой, ни водой, ни свободой, ни трепетным женским телом. У него не было того понимания, что он есть неповторимое чудо природы, что с его смертью умрет и весь мир, который в нем помещался. Обладая конкретным и не тщеславным воображением, он определенно знал, что с его исчезновением вокруг ничего не изменится. Так же будет всходить и заходить солнце, день будет сменяться ночью, а зима летом, будут идти дожди, будет расти трава, будут мычать коровы, бляеть козы, и какие-то люди будут управлять лошадьми, спать со своими бабами, охранять объекты и вообще делать все то, к чему их приставят. Ему было бы легче, если бы хоть раз за все это время он встретил Нюру, и она бы ему сказала, и он бы узнал, что семя его, прилепившись где-то внутри ее организма, пустило ростки и что-то вроде головастика вступило в период своего потайного развития, чтобы в конце концов превратиться пусть в кривоногое, пусть в лопоухое, но похожее на Чонкина человеческое существо.

— Подсудимый, — напомнил о себе председатель, — вы что-нибудь скажете или нет?

— Прошу простить, — сказал Чонкин, еле двигая языком.

— Ишь чего захотел — простить! — выкрикнул некий лжечеловек из зала.

Но другой, почти такой же и все-таки чуть получше дал тому локтем поддых и громко сказал:

— Заглохни, псина!

Эти два неожиданных выкрика как бы нарушили торжественность момента. Все повернули головы туда, откуда эти выкрики слышались. Тот, кто крикнул вторым, сидел бледный, сожалея о том, что невольно проявил в себе человека.

— Суд удаляется на совещание для вынесения приговора, — объявил Добренский, поднимаясь.

60

Донесение Курта было получено адмиралом Канарисом во вторник. Вечером того же дня на очередном совещании у фюрера, посвященном обсуждению деталей операции «Тайфун» (операция по захвату Москвы), Канарис в числе прочих данных своей разведки доложил о донесении из Долгова. Гитлера донесение неожиданно заинтересовало.

— Кто он, этот русский? — переспросил Гитлер.

— Князя Голицыны — одна из стариннейших дворянских ветвей, — объяснил Канарис.

— Это я понял, — перебил Гитлер. — Я спрашиваю, это ваш человек?

Канарису показалось, что Гитлер чем-то недоволен, и он быстро ответил, что в его агентуре таких не значится.

— Жаль, — сказал Гитлер. Он вскочил и забежал по кабинету. — И все-таки, господа, это прекрасный симптом. До сих пор, кажется, ничего подобного не было.

Да, не было. Хотя он и рассчитывал на мощь своих вооруженных сил, но он не думал, что сопротивление русского народа будет столь упорным. Он был уверен, что русские только о том и мечтают, что сбросить с себя ярмо коммунистического рабства. Он думал, что они будут выходить навстречу его войскам с хлебом-солью. Как всякий диктатор, Гитлер был не только жесток, он был сентиментален. Планируя уничтожение народов, он в глубине души хотел, чтобы эти же народы, евреи, цыгане, поляки, русские, любили его как своего освободителя.

Его поражало, почему русские не восстают против большевиков, почему не идут навстречу его войскам.

— Господа! — остановившись посреди комнаты, он высоко поднял руку, давая понять, что принимает историческое решение. — Я думаю, мы должны помочь этому русскому. Мы не имеем права оставлять его одного в беде. И мы ему, — он вытянул горизонтально указательный палец, — поможем.

— Но, мой фюрер, я повторяю, — сказал Канарис, — я не знаю, кто он. В моей агентуре такого человека нет.

— Мой фюрер, — вмешался молчавший до этого Гиммлер, — в России, помимо агентуры адмирала Канариса, существуют и другие службы.

— Ты хочешь сказать, что этот... как его... Голицын твой человек?

— Я должен это проверить, мой фюрер. — Гиммлер многозначительно улыбнулся.

Гиммлер, конечно, не думал, что мифический князь состоит у него на службе, но, видя, что фюрер затевает какое-то новое дело, решил тут же к нему примазаться. Это понял и Канарис; понял и Гитлер, но, увлеченный новой идеей, он рад был косвенной поддержке Гиммлера.

— Это замечательно! — говорил Гитлер, ходя по комнате и размахивая руками. — Это изумительно. Это превосходно! Гудериан! — закричал он. — Где сейчас находятся наши танки?

Генерал-полковник Гудериан встал, одернул мундир, посмотрел на часы, как бы выжидая наступления именно того самого точного момента, о котором начал говорить:

— В данный момент, мой фюрер, мои танки в районе Каширы, прорвав оборонительный заслон русских, вышли на прямую дорогу к Москве.

— Вы их повернете к Долгову!

— Как? — вырвалось у Гудериана.

Вскинул голову Браухич, задержал шеей генерал-полковник Гальдер. Один только Кейтель сидел по-прежнему невозмутимо. Даже Гиммлер посмотрел на фюрера с опаской, но тут же опустил глаза.

— Но, мой фюрер... — У Гудериана в глазах стояли слезы. — До Москвы осталось всего восемьдесят километров. Мои танки ворвутся в нее с ходу.

— Ваши танки ворвутся в нее с ходу, но сначала пусть они возьмут Долгов, пусть освободят этого несчастного князя. Право, оставить его в беде было бы неблагодарно. Я бы себе этого никогда не простил.

Тут поднялся ужасный переполох. Все генералы вскочили на ноги, и все, перебивая и отталкивая друг друга, кричали:

— Мой фюрер! Мой фюрер! Мой фюрер!

— Молчать! — Фюрер хлопнул ладонью по столу и затряс ею от боли. — Всем замолчать! Говорите по одному. Что? Чем вы недовольны?

— Мой фюрер, — выступил вперед фельдмаршал фон Бок, — в данных условиях, когда наши войска находятся на подступах к Москве...

— Я вас понял, фон Бок, и объясняю: взять Москву мы успеем всегда.

— Но я полагаю... — приблизился фон Браухич.

— Все! — раздраженно сказал Гитлер и снова хлопнул рукой по столу. — Полагать вы могли до того, как я принял решение. Теперь вы обязаны только лишь исполнять. Что стоите? Все свободны. Генералы и маршалы покорно двинулись к выходу. В кабинете остались только Гитлер и Гиммлер. Гитлер продолжал бегать по комнате, размахивать руками и выкрикивать:

— Ничтожества! Мелкие твари! Козявки! «Я полагаю...» Кто вы такие, чтоб полагать! Навешали на себя ордена и погоны и думаете, что вы действительно стратеги и полководцы. Да я с вас в один миг все это посдираю, и вы будете у меня голенькие. Ничтожные глупые старики с обвисшими животами!

Гиммлер сидел в мягком кресле и с легкой улыбкой наблюдал за истерикой своего вождя.

— Но, мой фюрер, — сказал он с легкой улыбкой, — не стоит на них так сердиться. Дюжина средних умов никогда не сможет постичь одной мысли гения.

— Лъстишь? — повернувшись к нему, быстро спросил Гитлер.

— Лышу, мой фюрер, — сказал Гиммлер, и оба весело рассмеялись.

61

Говорят, в Москве какого-то октября была всеобщая паника. Никто не знал, что происходит на фронте, никто не работал, никто никому не подчинялся. На вокзалах творилось что-то невероятное. Люди осаждали стоявшие на путях теплушки и вагоны электричек, во всех направлениях, лишь бы из города, ехали на машинах, мотоциклах, лошадях, велосипедах, шли пешком, толкая перед собой тачки с пожитками. Метро не работало. Магазины, банки, сбер-

кассы были открыты: заходи, бери, если чего найдешь. Возле помоек лежали груды сочинений Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина и других подобных авторов. Брошенные хозяевами голодные собаки, бродя меж фоллиантами, внюхивались в них и ворочили морды, тоскливо повизгивая.

На улицах не видно было ни военных патрулей, ни милиции, райкомы и райисполкомы не действовали, власти не было.

Говорят, что в тот день немцы могли взять русскую столицу голыми руками.

Почему же они этого не сделали?

В обширной исторической литературе существует на этот счет немало противоречивых, а порой и весьма оригинальных суждений. Одни говорят насчет погодных условий, другие противопоставляют морально-политический фактор и массовый героизм, что, конечно, было. Нередко приходится слышать и о личных заслугах одного из второстепенных персонажей данного сочинения, я имею в виду того, который сидел в метро. Мы, мол, победили потому, что он был с нами.

Признаться, с горькой усмешкой следил автор долгие годы за перепалкой историков. Сколько всего наговорено, сколько лесов порублено на бумагу, сколько щепок зазря пролетело, а ведь истина вот она, под рукой.

Нет, полностью отрицать заслуги того, который сидел в метро, я не буду. Он тоже свое дело делал: и трубку курил, и жирным пальцем глобус мусолил, указывая, куда какую кинуть дивизию и как наилучшим образом уничтожить живую силу и с той стороны, и с этой. Но с нами он не был. Он в метро сидел, оставив нас на поверхности.

Однако если говорить не о каких-то заслугах, а о выдающихся и решающих, то теперь мы знаем, что они принадлежат главному герою нашего скромного повествования, который в роковой час отвлек на себя танки Гудериана и таким образом спас столицу. И что с того, что ростом он невелик, лопоух и кривоног немного? Ведь если разобратся по совести и без горячки, так и тот, который сидел в метро, был тоже ничем не лучше. Ростом полтора метра с фуражкой, морду имел побитую оспой, руку сухую, лобик шириною в два пальца, а зубы кривые и желтые. А вот же, несмотря на эти вопиющие недостатки, во-

шел в историю и выведен в бесчисленных сочинениях, авторы которых изображают его либо не иначе как горным орлом, либо не иначе как совершенной свиньей*.

Завершая настоящий пассаж, мы выражаем надежду, что теперь, когда в запутанный историками вопрос внесена полная ясность, многолетняя полемика представителей различных школ и направлений, потеряв всякий видимый смысл, прекратится сама собою.

Выполнив возложенную на него свыше миссию, автор скромно отходит в сторону.

62

Генерал Дрынов получил повышение неожиданно. Когда ударная армия с входившей в нее дивизией Дрынова, потеряв половину своего состава, вышла из окружения, ее командующий был арестован за то, что не удержал Каширу. На его место назначен был Дрынов. Остатками потрепанной армии он должен был удерживать подступы к Москве. Положение было незавидным. Равнинная местность, лишенная всякой растительности, не считая травы. По приказу нового командующего бойцы окопались и ждали появления немцев. Утром появились немецкие танки. В армии Дрынова было четыре противотанковых ружья, из них одно неисправное, другое без боеприпасов, и одна пушка-сорокапятка (та самая) без снарядов. Сопротивление было бесполезно. Но Дрынов получил приказ «ни шагу назад» и намерен был его выполнить. Танки шли развернутым строем. Одно противотанковое ружье тявкнуло и замолкло, в него угодил немецкий снаряд. Из другого удалось подбить один танк, и он загорелся, но тут и для этого последнего ружья кончились боеприпасы. И тогда Дрынов решился на отчаянный шаг. Он поднялся во весь рост и с криком: «За родину! За Сталина! Ура!» — размахивая пистолетом, побежал навстречу танкам.

Увлеченные его порывом, поднялись и бойцы. Расстояние между ними и танками стремительно сокращалось.

*Стремясь к наибольшей объективности, я лично думаю, что он был не орел и не свинья, а что-то среднее.

И вдруг — чего только в жизни не бывает — танки остановились. Эти громадные и некрасивые железные чудовища стояли и словно в нерешительности поводили дулами своих пушек туда-сюда.

Бойцы тоже остановились. От растерянности никому не пришло даже в голову залечь.

И вдруг, видимо получив команду по радио, все танки одновременно повернули на сто восемьдесят градусов и кинулись наутек.

Все опешили.

— Батюшки, что ж это такое? — удивился неподалеку от Дрынова пожилой красноармеец и перекрестился, не веря своим глазам.

— Ага, гады, трусили! — закричал Дрынов и побежал с пистолетом вдогонку. Кажется, он даже выстрелил раз или два, но, так или иначе, танки ушли.

Корреспондент «Правды» Александр Кривоватый, узнав об этом от очевидцев (сам он видеть этого не мог, ибо старался описывать подвиги, глядя на них издалека), по телефону передал срочное сообщение в газету.

Утром, просматривая газеты, на эту заметку наткнулся Сталин.

— Что за несусветная чушь! — сказал он и приказал Маленкову позвонить в редакцию и от его имени передать корреспонденту Кривоватому, чтобы врал, да знал меру. Маленков вернулся удивленный и сказал: Кривоватый клянется, что на этот раз ничего не приукрасил, все так и было. Маленков звонил в штаб фронта, но и там ему подтвердили, что все так и было: остановленная армией Дрынова, танковая группа Гудериана отступила, и контакт с ней утерян.

И вот тогда Сталин приказал: генерал-майора Дрынова произвести в генерал-лейтенанты, представить к званию Героя Советского Союза и доставить на «подземную дачу» для личной беседы.

И то, и другое, и третье, разумеется, было выполнено немедленно.

На «дачу» Дрынов прибыл не один, а в составе группы генералов, каждый из которых чем-нибудь отличился.

Полководцев привезли в закрытом вагоне и в караульном помещении каждого подвергли личному обыску.

Тут произошла небольшая заминка — у одного из генералов в кармане кителя обнаружился плоский металлический предмет, а в нем что-то тикало. На вопрос о назначении предмета генерал объяснил, что это трофейный портсигар, который открывается только через определенные запрограммированные промежутки времени. Генерал хотел подарить этот портсигар товарищу Сталину, который, по слухам, в последнее время слишком много курит.

— Откройте! — приказал начальник охраны, худощавый грузин с двумя шпалами на петлицах.

— К сожалению, это невозможно, — улыбаясь, объяснил генерал. — В том-то и заключается принцип его работы, что время очередного открытия устанавливается изнутри.

Начальник охраны вертел портсигар в руках и испытующе смотрел генералу в глаза.

— Через сколько времени должен сработать механизм?

— Минут через пятнадцать, я думаю, — неуверенно сказал генерал, посмотрев на часы. — Я хотел приурочить к тому времени, чтобы как раз в момент передачи подарка товарищу Ста...

Не договорив, он опустил на стул, но тут же вскочил, стал шарить по карманам, что-то ища, очевидно платок, но не нашел и стер пот с лица рукавом.

— Значит, в момент передачи? — переспросил начальник охраны, пристально глядя на несчастного генерала.

— Да, я думал...

— А почему вы волнуетесь? — перебил начальник охраны.

— Я... Я не волнуюсь, — пролепетал генерал совершенно убитым голосом.

Пока происходил этот разговор, несколько находившихся здесь охранников, рассредоточившись по комнате, взяли автоматы на изготовку и направили их на всех генералов.

Начальник охраны подошел к телефону, набрал номер и, не спуская глаз с подозрительного генерала, коротко с кем-то поговорил по-грузински.

— Бачевадзе! — положив трубку, обратился он к одному из своих подчиненных и, опять сказав несколько слов по-грузински, передал тому портсигар. Тот, схватив одной рукой портсигар, а другой придерживая перекинутый за спину автомат, торопливо вышел из помещения. Стало тихо. Генералы, инстинктивно отделившись от своего подозрительного коллеги, стояли посреди караулки, сбившись в кучу, как овцы. Все молчали. Один из генералов, маленький и толстый, дышал тяжело, слышно было, как у него в горле что-то свистит и клокочет. Толстяк первым не выдержал напряжения и посмотрел на часы. Вслед за ним и другие его товарищи задвигались и, отворачивая рукава кителей, стали смотреть на часы.

— Сейчас с минуты на минуту откроется, — сказал вдруг владелец портсигара, но не очень уверенно, начальнику охраны.

Тот ничего не ответил и снова посмотрел на часы.

Его подчиненные стояли возле стен, расставив ноги и держа оружие наготове. Но стволы все-таки слегка опустили.

Владелец портсигара, осмелев, подошел к Дрынову.

— Сейчас откроется, — сказал он Дрынову, но тот отвернулся.

Потом уже этот недотепистый полководец рассказывал, что, хорошо зная, что портсигар был именно портсигаром, и ничем иным, он тем не менее испытывал необъяснимый страх, что портсигар, вопреки своему назначению, взорвется. Дверь отворилась, это вернулся Бачевадзе. В одной руке он держал раскрытый портсигар, который был набит папиросами «Герцеговина Флор». Начальник охраны взял у него портсигар, повертел, положил на стол. И объявил генералам, что они в сопровождении дежурного могут проследовать к товарищу Сталину.

— А портсигар теперь можно взять? — спросил хозяин портсигара.

— Пока оставьте, — сказал начальник охраны.

— Но я же хотел подарить его товарищу Сталину.

Начальник охраны посмотрел на него и медленно произнес:

— Товарищ Сталин не любит подобных подарков.

Гостей под конвоем ввели в небольшую комнату, попросили снять шинели и построиться по ранжиру. Как только они это сделали, свет погас и тут же зажегся. И ослепленные генералы увидели перед собой невзрачного человечка в засаленном суконном мундире без знаков различия. Человечек сосал погасшую трубку и, шевеля выцветшими усами, волочил по лицам собравшихся цепкий настороженный взгляд. Генералы сперва удивились: что еще за явление, потом обмерли, и Дрынов, первым оценив обстановку, рывкнул, как на параде:

— Великому полководцу, товарищу Сталину, ура!

— Ура! Ура! Ура! — троекратно грянули генералы.

Сталину такой прием, видимо, понравился, тем более что он не был отрепетирован, а вождь любил искренние проявления любви. Он улыбнулся отдельно Дрынову и затем всем остальным и, сдавив трубку в желтых зубах, шутливо заткнул пальцами уши, показывая, что так можно оглохнуть, а затем стал хлопать в ладоши. Генералы, естественно, тоже. Дрынов, в восторге от того, что Сталин улыбнулся ему отдельно, аплодировал с остервенением, как мальчик на стадионе. Сталин заметил это и опять улыбнулся ему отдельно. Хлопали долго. Затем хозяин дачи прекратил это дело, дав понять, что прозвучавшие аплодисменты он считает достаточным выражением любви к нему лично и в его лице к партии, правительству, народу, к родине, к необъятным ее просторам и к отдельным березкам. Прекратив аплодисменты, товарищ Сталин пошел перед строем и стал совать каждому свою сморщенную ладошку для пожатия.

— Так вот вы какой! — сказал он, дойдя до Дрынова.

Дрынов с перепугу несколько перестарался. Великий вождь поморщился от боли и вскинул на Дрынова подозрительный взгляд. Но моментально понял, что генерал сделал это не из террористических побуждений, а от полноты чувств, усмехнулся в усы и сказал с заметным акцентом:

— Значит, есть еще в наших мускулах сила, товарищ Дрынов?

— Так точно, товарищ Сталин! — отрубил Дрынов.

— «Так точно»? — быстро переспросил Сталин с некоторым удивлением. — Вы что же, товарищ Дрынов, поклонник уставных выражений, принятых в царской армии?

— Никак нет! — гаркнул Дрынов и, осекшись, покраснел, а затем побледнел, чувствуя конец своей военной карьеры.

Сталин молчал. Он молчал и с любопытством смотрел на Дрынова, наблюдал, как меняется тот в лице.

— Почему же никак нет? — сказал вдруг Сталин и опять улыбнулся. — Нам не следует отказываться от того хорошего, что было в царской армии. Пожалуй, нам следовало бы вернуть некоторые хорошие традиции, принятые в старой армии. Вы со мной согласны?

— Так точно! — отрапортовал Дрынов уже без всякой опаски.

Своим поведением и внешним видом Дрынов так понравился Сталину, что тот попросил его задержаться после общего приема и провел с ним отдельную беседу. Поговорили об общем положении на фронтах и о положении на том участке, который контролировался дрыновской армией. Дрынов на все вопросы отвечал по-военному четко и кратко. Сталин поинтересовался его биографией, и Дрынов сказал, что он из простой крестьянской семьи.

Сталину это еще больше понравилось.

— Значит, вы потомственный крестьянин? — спросил Сталин.

— Так точно, потомственный, — отвечал Дрынов. Из дальнейших расспросов выяснилось, что дед Дрынова был из крепостных князя Голицына.

— Вот оно что! — удивился Сталин. — Между прочим, мы недавно одного из бывших ваших господ разоблачили. — Он вспомнил о деле князя Голицына, и ему стало неприятно. — А скажите, товарищ Дрынов, вы хотели бы снова стать крепостным князя Голицына?

— Что вы, товарищ Сталин! — отказался генерал и тут же смутился, подумав, что, может быть, и в этом смысле великий учитель хочет вернуться к прежним традициям (в таком случае Дрынов, конечно, хотел бы

стать крепостным князя Голицына). Но у Сталина была другая мысль, и он опять был доволен ответом Дрынова.

— Правильно, товарищ Дрынов, — сказал Сталин. — А вот некоторые князья думают, что русский народ только о том и мечтает, чтобы снова попасть к ним в рабство. Я полагаю, что с политической точки зрения нам надо поднимать простого человека, преданного нашему строю и нашей партии, потому что только мы открыли ему настоящий путь вперед. И среди простых людей, я думаю, есть немало истинных героев, которые жизни своей не пожалеют для укрепления нашего народного строя. Не так ли, товарищ Дрынов?

Дрынов охотно согласился. Тогда Сталин попросил его назвать какого-нибудь простого бойца, желательно из крестьян, который проявил бы пример беззаветного служения родине и истинного героизма.

— Знаю я одного такого, товарищ Сталин, — сказал Дрынов. Надо сказать, что Чонкин своей храбростью очень понравился Дрынову. Дрынову было как-то неловко, что он не проявил должной твердости и отдал бойца Тем Кому Надо. Он захотел рассказать о Чонкине Сталину, но сомневался.

— Так кого же вы знаете? — спросил Сталин. — Я вижу, вас что-то смущает?

— Так точно, смущает, товарищ Сталин.

— Что же именно вас смущает?

А, была не была, Дрынов решился:

— Тут вот какое дело, товарищ Сталин, боец есть один, Чонкин Иван...

— Чонкин Иван? — переспросил Сталин. — Очень хорошо. Простое русское имя. Так что же сделал этот Чонкин Иван?

И Дрынов рассказал все как было. Чонкин Иван стоял на посту, часть, в которой он служил, была отправлена на фронт, о нем в суматохе забыли. Ему многие говорили, что он может покинуть пост, но он не мог и не хотел нарушить устав. И стоял бессменно много дней подряд. Кончился запас продовольствия, он стоял. Кончилась махорка, он стоял. Прохудились ботинки, он стоял. Однажды на его пост напал вооруженный от-

ряд, состоявший из семи человек, и Чонкин всех их взял в плен.

— Один взял в плен семерых вооруженных? — поразился Сталин.

— Подождите, товарищ Сталин, — довольно дерзко сказал Дрынов. — Послушайте, что было дальше. На помощь этому отряду был брошен полк. Чонкину было предложено сдаться, но он отказался, принял бой и сражался до последнего патрона.

— До последнего патрона, — задумчиво повторил Сталин и смахнул ладонью набежавшую слезу. — Он, конечно, погиб?

— Нет, товарищ Сталин, он был только контужен.

— И взят в плен? — Сталин нахмурился.

— Никак нет, товарищ Сталин. Дело в том, что этот полк был не немецкий.

— А чей же? — удивился Сталин.

— Мой, — сказал Дрынов, решившись на все.

— Как — ваш?

Дрынов рассказал подробности. Сталину эта история ужасно понравилась, он смеялся и хлопал себя по ляжкам. Особенно смешно ему показалось, как разведчики захватили языка, который впоследствии оказался нашим капитаном. (О том, что капитан был расстрелян, Дрынов из своего рассказа выпустил.) Насмеявшись до слез, Сталин пришел в такое хорошее расположение духа, что даже предложил Дрынову поужинать с ним вдвоем.

— Чонкин, — повторял он на все лады поллюбившуюся фамилию. — Солдат Чонкин. Между прочим, звучит гордо лучше, чем боец или красноармеец. Товарищ Дрынов, а как вам кажется, от чего произошла эта фамилия? Может быть, от слова ЧОН?

— Не могу знать! — отвечал Дрынов, не зная, в какой руке держать нож, в какой вилку, и боясь ошибиться.

— Да вы ешьте как вам удобней, — сказал Сталин и налил гостю стакан водки из запотевшего графина. — Нет, я не думаю, что это от слова ЧОН, я думаю, что фамилия более древнего происхождения. Давайте, товарищ Дрынов, выпьем за простого русского солдата Чонкина.

Подмяв под себя шинель, Чонкин в ожидании исполнения приговора крючился на нарах и предавался своим невеселым думам. Могло ли ему прийти в голову, что в эту минуту Сталин стоя пьет за его здоровье?

Отпустив Дрынова, Сталин занялся текущими своими делами: поочередно принял четырех наркомов, двух директоров заводов, говорил по телефону с командующими фронтами, обсуждал конструкцию нового самолета, давал указания по эвакуации крупного машиностроительного завода, вникал в детали плана создания партизанских соединений, подписал списки наград и расстрелов, продиктовал телеграмму Черчиллю и только в пятом часу, выпив стакан кефира, лег спать. И, отходя ко сну, вспомнил он рассказ генерала Дрынова и снова стал думать о Чонкине, растроганно, с теплотой и любовью.

— Чонкин! Чонкин! — засыпая, бормотал он и вкусно чмокал губами.

Потом ему Чонкин виделся во сне. Он снился ему огромного роста богатырем с длинными русыми волосами и ясным взором голубых глаз. Размахивая палицей, Чонкин громил всех его врагов, и сам Гитлер трусливо бежал на четвереньках, похожий на мелкую злобную собачонку с карикатуры Кукрыниксов.

В тот же вечер, когда Сталин принимал Дрынова, Гитлер получил телефонограмму, что танковая группа Гудериана, форсировав речку Тёпу, приступила к операции «Брудершафт».

В хорошем расположении духа Гитлер лег спать. Ему снился князь Голицын, огромного роста богатырь с длинными русыми волосами и ясным взором голубых глаз. Он ехал на белом коне под белым знаменем, надетым на пикку с длинным древком. За князем двигалось несметное воинство длиннобородых крестьян в лаптях и в армяках, подпоясанных веревками. Крестьяне поднятием правых рук выражали свое ликование и выкрикивали:

— Хайль Гитлер!

Вечером после суда в райкомовской столовой отмечали окончание дела. Присутствовали местные руководи-

тели с женами и члены выездной сессии. Были приглашены и приезжий генерал, и Лужин, и Фигурин. Но они не явились, не удостоили.

Председательствовал, как и на суде, полковник Добренький, но героем вечера был, конечно, Павел Трофимович Евпраксеин. Все знали, от кого получена им личная благодарность, все его поздравляли, интересовались его здоровьем, спрашивались о жене, о детях, а жена Борисова Манька сидела рядом, и строила глазки, и терлась своим коленом о его колено, и за всякими закусками лезла непременно в дальний конец стола и при этом ложилась на Евпраксеина всей своей грудью, которая могла не взволновать разве что только чурбана.

Но Евпраксеина она не взволновала, хотя он чурбаном не был, а впрочем, кто его знает, эта сторона жизни его осталась совсем в тени. Во всяком случае, Манькины призывы остались в этот раз совершенно безответными, и Манька, а также и другие участники этого вечера решили, что прокурор просто ошалел от свалившегося на него счастья, а может, и того хуже — зазнался.

А дело было не в том, конечно, что он зазнался, он не зазнавался, он мрачен был с самого начала, он механически поднимался, когда пили за Сталина, за победу, за что-то еще, пил много, закусывал мало и не видел никого, кроме маленького красноухого человека, который стоял перед его, как говорится, мысленным взором и с трудом шевелил одеревеневшими губами: «Прошу простить!»

Патефон играл «На сопках Маньчжурии», полковник Добренький спивал «Ой ты, Галю, Галю молоденька», потом пели и «Хаз-Булат удалой», и «Коробочку», и что-то еще, и Манька Борисова больше всех надрывалась и визжала до слез, а потом, кажется, еще и танцевали под тот же патефон, а прокурор сидел на одном месте, пил, смотрел в одну точку и не видел перед собой никого, кроме Чонкина, шевелившего губами: «Прошу простить!»

Видя, что прокурор настолько ошалел и зазнался от высочайшей благодарности, что никого знать не хочет, все в конце концов махнули на него рукой, выпустили его из виду, и потом никто не мог вспомнить в точности, когда и как он ушел.

Как показывала потом жена его Азалия Митрофановна, домой прокурор явился среди ночи, ничего особенного в его виде не было. Пальто на нем было, конечно, расстегнуто, и часть пуговиц где-то он потерял, и хлястик был оборван, и правый бок весь был в мелу, и правая же щека была расцарапана, но подобное с ним случалось и раньше. Но вот что правда, то правда, вел он себя несколько необычно. Не шумел, не буянил, а, напротив, старался вести себя совсем тихо, снял в передней сапоги и портянки, прошел босой к своему столу, включил настольную лампу и сел что-то писать. Он всегда в пьяном виде писал какие-то письма и заявления, но обычно с криками, с битьем себя в грудь, с угрозами, что он что-то немедленно сделает, а в этот раз все молча. Один раз он поднял голову, и Аза увидела, что на щеке его дрожала слеза. Она забеспокоилась и хотела спросить, что с ним, но не спросила, боясь разбудить в нем зверя.

Он продолжал что-то писать, и, как выяснилось впоследствии, это были варианты одной и той же мысли: «Процесс над Чонкиным прошу считать недействительным» (зачеркнуто), «Мою речь прошу считать недействительной» (зачеркнуто)...

Он писал, зачеркивал, комкал бумагу и швырял под стол, а потом устал, уронил голову на руки и в таком положении замер. Аза успокоилась и задремала, и ей казалось, что спала она совсем немного, но, когда проснулась, Павла Трофимовича в доме уже не было.

Если бы Аза сразу обнаружила и отсутствие ружья, она могла бы еще выскочить на улицу и, может быть, даже предотвратить несчастье (хотя, конечно, маловероятно), но ей, как она потом объяснила, и в голову не могло прийти, что он это сделает.

В то время, когда она лежала с открытыми глазами и думала, куда бы мог деться муж, он стоял возле уборной с ружьем, и ружье это было заряжено жаканом.

Было темно, подмораживало. Задувал ветер, и снежная крупа сыпалась сквозь редкие звезды. Все вокруг побелело.

«Ну, все! — говорил себе прокурор. — Теперь уже все».

Решение его было твердым. Он думал о предстоящем без страха, спокойно, ничто не могло ему помешать, и он не спешил.

Где-то он читал или слышал, что перед смертью человек вспоминает всю свою жизнь от начала до конца и особенно ярко детство. Он попытался тоже вспомнить что-то из детства, но ничего не мог вспомнить, кроме того, что был он толстым и неуклюжим мальчиком и что в железнодорожном училище, где начинал он свое образование, его звали Колбаса.

Смутно вспоминались и годы юности, когда он, выросший и похудевший, ходил в кожаной куртке с наганом и ловил каких-то мешочников, и врывался в квартиры каких-то буржуев, и состоял в продотряде, и участвовал в раскулачивании и в чем-то еще подобном, и вспоминались ему какие-то люди, которых он отправлял либо в тюрьму, либо подводил под расстрел, и, как ему казалось теперь, все они были похожи на Чонкина, все шевелили одеревеневшими губами и просили простить.

Но он действовал от имени революции, которая никого не позволяла прощать, не позволяла расслабляться, требуя все новых и новых жертв во имя светлого будущего, которое вот-вот должно было будто бы наступить.

Он не прощал и не расслаблялся, и кем-то, но не собой, все жертвовал, и уж, кажется, совсем потерял человеческий облик, а ему говорили: мало, мало. И требовали что-то еще укрепить и что-то усилить, и он со временем стал замечать, что действует не столько из чувства долга и вовсе не из высших соображений, а из страха, что его обвинят в преступной мягкотелости, то есть в том, что был еще недостаточно жестоким, и он старался быть жестоким достаточно, и на всякий случай даже с запасом, но совесть грызла его изнутри. Он пытался залить ее водкой, не получалось. Жизнь, по существу, стала сплошной пыткой, и никакой суд не мог приговорить к худшему наказанию.

Положив подбородок на ствол ружья, прокурор думал, что-то бормотал, что-то вскрикивал, и лицо его было мокрым от слез.

— Ну, ладно, — сказал он себе. — Хватит! Человеком быть не сумел, а жить гадом ползучим, червем, тараканом, нет уж, простите.

Чтобы совершить задуманное, прежде всего нужно было снять сапог, что он и попробовал сделать, но в это время в уборной послышался надсадный кашель, скрипнула дверь, какой-то человек, подсвечивая себе спичками, вышел наружу.

— Кто это? — испуганно спросил человек.

Прокурор молчал. Человек приблизился, и Павел Трофимович узнал в нем своего соседа военкома Курдюмова, он был в сапогах и в шинели, накинутой поверх исподнего.

— Трофимыч? — удивился Курдюмов. — Ты что это здесь стоишь? Гуляешь?

— Гуляю, — ответил прокурор хмуро.

— С ружьем?

— С ружьем.

— Гм! Да! — Поведение прокурора показалось Курдюмову странным. — Погоды нынче стоят необычно холодные, — пожевав губами, сказал он. — В прошлом году, помнится, я еще на Октябрьскую в гимнастерочке бегал, а теперь и в шинели зябко. А? — Военком зевнул, широко раскрыв рот.

Прокурор ничего не ответил. Он стоял, опершись на ружье, и смотрел мимо Курдюмова. Холодная слеза сорвалась с подбородка и покатилась куда-то под воротник.

— А все ж таки не понимаю, — сказал Курдюмов, — как это люди не сознают необходимости культурного поведения в местах общего пользования. В уборной большое количество необходимых отверстий, а они валят кучи перед дверями и где ни попадя, так что без спичек очень просто можно вступить в какой-нибудь экскремент. Ты бы, Трофимыч, как прокурор, вывесил объявление, что кто будет злостно срать мимо дырки, будет привлекаться к уголовной ответственности, а, Трофимыч? Верно ведь говорю, а?

— Иди на... — сказал прокурор сквозь зубы.

— Что? — не понял Курдюмов.

— Иди на..., сволочь! — отчетливо повторил Евпраксеин.

— А-а, — сказал Курдюмов и, втянув голову в плечи, немедленно пошел прочь. — Эй, ты! — закричал он откуда-то из мрака. — Ты бы ружье-то бросил. Нечего с ружьями по ночам!

Но прокурор его уже не слышал.

— Пора! — сказал он себе. — Хватит! Хватит! — повторил он, упираясь левым носком в правый задник. — Насладился жизнью, погулял, спасибо и до свиданья.

С трудом стащил сапог, затем, дрыгая ногой, размотал и скинул портянку. Ветер подхватил ее и понес, перепорачивая.

— Ну вот, — сказал он облегченно, — а теперь уж дело совсем простое.

Опираясь на ствол ружья, он поднял правую ногу и ввел большой палец в дужку спускового крючка. Осталось только шевельнуть пальцем, да, всего лишь шевельнуть пальцем, и все будет тут же окончательно решено. И что удивительно, он не испытывал никакого страха перед настоящим, он был совершенно спокоен.

— Ну ладно, — сказал он и, закрыв подбородком ствол, попытался сделать движение пальцем, но ничего не произошло, и прокурор не сразу понял, что его собственный палец отказывается ему подчиниться. — Ерунда какая-то, — пробормотал он и опять попытался шевельнуть пальцем, и опять палец не подчинился. Это было странно и удивительно, он решил двинуть ногой, но и нога, согнутая в колене, не шевельнулась.

«Да что же это такое? — подумал он почти в панике. — Неужели я такой трус и тряпка, неужели я не могу сделать то, что хочу? Ведь я готов к этому, я не боюсь этого, я совершенно спокоен».

— А! — вскрикнул он, как будто рубил дрова, и, выставив вперед плечо, сделал новое волевое усилие, чтобы двинуть ногой, но она была неподвижна. Весь его организм бунтовал и отказывался выполнять посланные мозгом приказы.

От внутреннего напряжения ему стало жарко и дыхание участилось. Он решил передохнуть, собраться с новыми силами, усыпить бдительность организма.

— Сейчас, — пообещал он себе, — сейчас все будет в порядке. Надо только взять себя в руки. Я и в самом

деле ведь не боюсь, я готов. Ничего страшного в смерти нет. Смерть не несчастье, смерть — это просто ничто, пустота.

Он почувствовал, что его знобит, и течение мысли переменялось. «Но как же другие? — подумал он. — Другие же не лучше меня. Они грабят, режут, лгут, предают ближайших друзей, отрекаются от жен, детей и родителей и, ничем не терзаясь, доживают до своего срока и спокойно умирают в своих постелях. А я еще молод и полон сил, я бы мог еще что-то сделать, за что же мне, если я так страдал, смертная казнь?»

Я жить хочу, жить! Пусть кем угодно — негодяем, бандитом, гадом ползучим, червем, тараканом, но только жить!»

Ему стало страшно, как никогда, он почувствовал, что весь дрожит, и поднятая нога его дергается произвольно, и палец вот-вот зацепит спусковой крючок.

— Не хочу! — хрипло прокричал он в пространство и шевельнул ногой, чтобы выдернуть палец.

В этот момент он потерял равновесие, наступил всей тяжестью на спусковой крючок и одновременно закрыл ствол ладонями, как бы пытаясь удержать смерть, рвущуюся оттуда.

Огненный шар вспыхнул в его ладонях, пронзил их насквозь и упруго ткнулся в подбородок. Что-то глухо треснуло, засиял и распространился повсюду сиреневый свет.

Павлу Трофимовичу стало так хорошо, как не бывало раньше. Он почувствовал, что становится лужей, которая растекается, растекается, растекается и уходит в песок...

66

Когда народ сбежался к месту происшествия, там все уже было оцеплено милицией и штатскими. Прокурор с обезображенным лицом лежал, опрокинувшись навзничь. Руки и ноги раскинуты, ружье откатилось в сторону. Одна нога в сапоге, другая без. Азалия Митрофановна стояла рядом и, кусая губы, смотрела в сторону. Два милиционера измеряли что-то длинной рулеткой, один при помощи магниевой вспышки фотографировал, главный врач райбольницы Раиса Семеновна Гурвич, положив те-

традь на капот милицейского автомобиля, при свете карманного фонаря писала свое заключение. Майор Фигурин в новенькой, перетянутой ремнями шинели стоял, широко расставив ноги и заложив руки за спину.

К Фигурину пробился толстый лейтенант милиции.

— Вот, — сказал он, подавая бумагу. — Лежало у него на столе.

Фигурин поднес бумагу к глазам и осветил фонариком.

— Пьяный бред, — сказал он, бегло ознакомившись, и положил бумагу в карман.

С тех пор никто этой бумаги не видел, и точное содержание ее осталось бы тайной, но впоследствии со слов Азалии Митрофановны стало известно, что предсмертное заявление состояло из одной фразы: «Мою жизнь прошу считать недействительной».

67

Вернувшись к себе в Учреждение, майор Фигурин еще долго занимался этим делом. Ему звонили и полковник Добренький, и Борисов, и кто-то еще. И сам он звонил в область уехавшему сразу после суда Лужину. Затем приходил новый редактор газеты Лившиц, просил принять, несмотря на позднее время. Лившиц хотел посоветоваться, давать ли в завтрашнем номере извещение о смерти, а если давать, то в каком виде: «скоропостижно скончался» или «трагически погиб».

— Какая уж тут трагедия? — хмуро сказал Фигурин. — Погиб как трус. Дезертировал в самый острый момент. Напишите примерно так:

«Покончил жизнь самоубийством в состоянии тяжелой депрессии, вызванной хроническим алкоголизмом».

В ту ночь Фигурин почти не спал. После ухода Лившица он еще провел оперативное совещание.

День предстоял трудный. Приведение в исполнение приговора и отдельный суд над остальными сообщниками. Было решено сообщников судить «всем списком», без прокурора, приговорить к ссылке на неопределенный срок в отдаленные районы Сибири.

Вызвали на совещание начальника станции и предложили ему за ночь подготовить к отправке спецэшелон.

Начальник божился, что у него нет в наличии ни одного свободного вагона.

— А вам нужен целый эшелон! — закричал он. — Вы смеетесь! Где я его возьму?

Ему сказали:

— Где хочешь. Если завтра к двенадцати ноль-ноль эшелона не будет, будешь валяться на перроне с дыркой в башке.

Вызвали начальника местного гарнизона, предложили привести имеющиеся в наличии войсковые подразделения в состояние боевой готовности на случай возможных беспорядков и провокаций и усилить наряды военного патруля.

В четвертом часу Фигурин явился домой усталый и на тревожный вопрос сонной жены, почему так поздно, ответил односложно: «Дела».

Он поставил будильник на восемь часов, разделся и лег, сунув револьвер под подушку.

68

Будильник ему не понадобился. Он проснулся от какого-то шума и увидел, что Маргарита, мятая после сна, со спутанными волосами, сидит на кровати и испуганно смотрит в окно.

— Ты что? — спросил он удивленно.

Где-то что-то отдаленно ухнуло, задребезжали стекла.

— Слышишь? — спросила шепотом Маргарита.

— Слышу, — ответил он, потягиваясь. — И что же тебя волнует?

Снова ухнуло, и снова задребезжали стекла.

— Учебные стрельбы, — объяснил Федот Федотович.

— Ты уверен, что учебные? — спросила она с сомнением.

— Безусловно, учебные, — уверил он. — Немцы от нас еще далеко.

Он встал, сделал короткую зарядку, обтерся холодной водой, позавтракал и отправился на службу.

Пока шел, еще где-то несколько раз ухнуло. Шедшая навстречу старуха перекрестилась. «Темнота», — подумал Фигурин и пошел дальше. Ничего странного он на улице не заметил, но потом вспоминал, что улицы были,

пожалуй, необычайно безлюдными. Впрочем, они и обычно также были безлюдными.

Придя на работу, он удивился, не обнаружив в приемной своей секретарши. Ящики двух столов были выдвинуты, шкаф и сейф открыты, на полу валялись бумаги, некоторые с грифом «секретно» и даже «совершенно секретно». Фигурин вбежал в кабинет и ахнул: в кабинете тоже были открыты ящики стола и сейф и бумаги тоже были разбросаны по полу, и даже с первого взгляда было видно, что многого не хватает. Только на самом столе все было, как всегда, аккуратно разложено: баночка с разноцветными карандашами, мраморная чернильница, мраморное пресс-папье, настольный календарь, телефонная книга, папка с надписью «текущие дела» и сверху на папке два листа бумаги с текстом, напечатанным на машинке. Это были секретные телефонограммы, видимо, полученные ночью. Вот текст первой из них:

В связи с неожиданным прорывом немцев на данном участке фронта и возможным занятием Долгова и окрестностей в соответствии с распоряжением вышестоящих инстанций приговор врагу народа Голицыну привести в исполнение немедленно. С сообщниками поступить сообразно обстоятельствам.

Лужин

Телефонограмма вторая:

Верховный главнокомандующий приказал: рядового Чонкина немедленно доставить в Москву для представления к правительственной награде. Исполнение данного приказа возлагаю на вас.

Лужин

И там и там было указано время приема: 6 ч. 04 м. Не понимая, что все это значит, Фигурин оторвал взгляд от бумаг, глянул на противоположную стену и оцепенел. Там, где еще вчера был портрет Сталина с девочкой на руках, теперь висел портрет Гитлера, тоже с девочкой, и похоже, что с той же самой. Причем Гитлер на портрете улыбался девочке, а сам при этом ко-

сил одним глазом на Фигурина, как бы говоря: вот видишь, какое дело!

Впившись глазами в изображение, Фигурин не сразу заметил, а когда заметил, то уже воспринял как должное, что прямо под портретом было начертано губной помадой и торопливым почерком с обратным наклоном: «Хайль Гитлер!» — и подписано: «Курт».

— Что за дурацкие шутки? — сказал Фигурин. — Дурацкие шутки. Дурацкие шутки. Дурацкие шутки! — закричал он, вскочив на ноги и тряся кулаками.

Тут он пришел в нервное возбуждение, сорвал со стены Гитлера и стал топтать его, все время повторяя, как попугай: «Дурацкие шутки! Дурацкие шутки!» Выбежал в приемную и закричал:

— Есть здесь кто-нибудь?

Ему никто не ответил.

— Есть здесь кто-нибудь? — прокричал он и в коридоре, но, не дождавшись ответа, выхватил пистолет и стал палить в потолок.

Открылась дверь комнаты отдыха, из нее вышел удивленный Свинцов.

Фигурин прекратил стрельбу и спросил Свинцова, где остальные.

— Все удрамши, — сказал Свинцов, глядя на пистолет, из которого медленно вытекала тонкая струйка дыма.

— Что значит «удрамши»?

— Ну, убегли, значит, — пояснил Свинцов.

— Куда? — Фигурин и сам понял, что вопрос звучит глупо. — А что в школе, не знаешь?

— Звонил начальник конвоя. Сымаю, говорит, охрану и отвожу. Всех арестованных, говорит, освобождаю.

— Освобождает? — поднял брови Фигурин. — А кто разрешил?

Свинцов пожал плечами.

— Ну ладно, — сказал Фигурин, несколько успокоившись. — Иди опять в комнату и жди. Ты мне еще понадобится.

Он вернулся в кабинет и снял трубку телефона.

— Товарищ Фигурин? — отозвалась телефонистка. — Скажите, что происходит?

— А что происходит? — сказал Фигурин. — Ничего, по-моему, не происходит. Дайте мне Борисова.

Борисова не оказалось ни дома, ни на работе. Фигурин позвонил в Дом колхозника полковнику Добренькому. Не было на месте и его.

— Соедините меня с областью, — приказал Фигурин. Отозвалась областная телефонистка.

— Лужина мне! — резко приказал Фигурин.

— Какого Лужина? — спросила она.

— Того самого.

— Ах, того самого, — засмеялась телефонистка. — Соединяю.

«Почему она смеется? — подумал Фигурин. — Наверное, там еще ничего не знают».

К телефону долго никто не подходил, и Фигурин нетерпеливо постукивал по рычагу. Он уже начал терять терпение, когда какой-то голос сказал что-то странное.

— Что? Что? — переспросил Фигурин.

— Stellvertreter des Militarkommandeurs, Oberleutnant Meier am Apparat*, — повторил голос.

Фигурин положил трубку и задумался. Потом опять схватил трубку и нервно бил по рычагу, но больше никто не отзывался.

Через некоторое время он вошел в комнату отдыха и застал там Свинцова, который преспокойно спал на голлом деревянном топчане, подложив под голову кулак.

«Железные нервы», — с завистью подумал Фигурин.

Растолкав Свинцова, он приказал ему собираться.

— Куда? — спросил Свинцов.

— Пойдешь в тюрьму.

— В тюрьму? Я? — переспросил Свинцов.

— Дослушай до конца, — усмехнулся Фигурин. — Пойдешь в тюрьму, возьмешь, если он там еще... этого... ну, как его... Голицына, или Чонкина, или хрен его знает, кто он, и вместе с ним отправляйся из города.

— Куда?

— Куда-нибудь на восток. Пешком или на чем-нибудь, дело твое. И там где-нибудь по дороге ты его... ну, в общем, сам понимаешь... при попытке к бегству... понял?

*Помощник коменданта обер-лейтенант Майер у аппарата (нем.).

— Так тут чего ж не понять, — отозвался Свинцов. — Дело простое.

— Ну, ладно, — сказал Фигурин. — Дойдешь до наших, скажи: «Майор Фигурин, верный своему долгу... так и скажи: верный своему долгу, остался уничтожать секретные документы, чтобы они не попали в руки врагу». Потом постараюсь выбрать. Если сам попадусь, живым не дам. Понял?

— Понял, — кивнул Свинцов.

— Ну что ж, Свинцов, давай простимся. — Фигурин шагнул к Свинцову, обнял его и трижды облобызал. Свинцов в это время стоял, вытянув руки по швам, воротил морду и морщился.

69

Дорога некруто шла в гору. По обеим сторонам ее было какое-то безжизненное пространство — не то степь, не то пустыня, ни куста, ни травинки, ни песка, ни камня, что-то гладкое, ни с чем не сопоставимое, и посередине эта жаркая, белая, пыльная дорога без конца без края, идущая, по всей видимости, из ниоткуда в никуда.

Чонкин думал и не мог вспомнить, как попал он на эту дорогу, сколько времени по ней идет и почему вверх, а не вниз, если все равно неизвестно, что ожидает его там или там.

Он был бос, но в обмотках, они разматывались и уползали назад, как змеи, он думал, не подобрать ли их, но, оглянувшись, увидел, что это бессмысленно: двумя траурными лентами окаймляя дорогу, они терялись вместе с ней в бесконечности.

Решив скинуть обмотки совсем, он наклонился и стал их разматывать сверху, но и с этой стороны конца не было, обмотки падали кольцами в пыль и уползали, слегка извиваясь.

— Эй, ты, вставай! — сказали ему.

Он поднял голову и увидел, что находится на той же дороге, но она уже не пустынна, по ней в том же направлении бесконечной колонной движутся молчаливые путники, похожие на военнопленных. Он распрямился и пошел вместе со всеми.

— Здорово! — сказал рядом с ним некто. Он посмотрел и увидел настоящего черта с хвостом и рогами и с шерстью, забитой пылью. Вглядевшись получше, он узнал Самушкина.

— Далеко идешь? — поинтересовался Самушкин без особого, кажется, любопытства.

— Куда все, — сказал Чонкин.

— Может, к нам запишешься?

— Это куда же?

— В ад, конечно, куда же еще.

— Ну да, — сказал он, — была охота жариться на сковороде.

— Дурень! — Самушкин возмущенно помотал рогами. — Это про нас враги наши клевету распускают. Да зачем же мы своих-то грешников будем жарить? Если, конечно, праведник попадет, уж этого мы зажарим, но ты же не праведник. Сколько ты, к примеру, душ загубил?

— Я? — Чонкин посмотрел на него с удивлением. — Да что же я, душегуб?

— А что? Ни одного человека? За всю жизнь?

— Ни одного.

— Вот те на! — пробормотал Самушкин. — Но ведь крал небось, а?

— Было дело, — признался Чонкин. — В колхозе мешок проса...

— В колхозе это не в счет. А вот ты мне скажи, — понадеялся Самушкин, — может, ты с чужими женами жил?

— Нет, — подумав, ответил Чонкин. — Не попадались.

— Ну и дурак, — сказал Самушкин, исчезая. Вместе с ним исчезли все люди, исчезла дорога, за большим столом, покрытым белой скатертью, на стульях с высокими спинками сидели полковник Добренский и заседатели.

— Кто такой? — строго спросил Добренский. Один из заседателей глянул в толстую книгу и сказал:

— Раб Божий Иван Чонкин. Прибыл по приговору Военного три...

— Знаю, знаю, — перебил Добренский и улыбнулся. — Ну, раб Божий Иван, говори, с чем пришел, что ты сделал хорошего в отпущенной тебе жизни?

— Ничего, — перебрав в памяти свою жизнь, сказал Чонкин.

— Этого не может быть, — сказал Добренький. — Ты же недаром жил на свете, что-нибудь хорошее должен был сделать. Ведь, наверное, когда-нибудь кому-нибудь ты помог, протянул руку, вытащил кого-нибудь из воды или огня или последнюю отдал рубаху?

Чонкин подумал. Насчет воды и огня он не помнил, а рубаху... да кто б ее взял?

— Нет, — сказал он со вздохом, — ничего подобного не было.

— Ну, ладно, пусть будет так. Но раз ты ничего не делал плохого, уже одно это хорошо. К тому же, являясь лицом невинно, можно сказать, убиенным, ты можешь получить все, чего тебе не хватало или чего очень хотелось в жизни. Что ты хочешь?

— Ничего, — сказал Чонкин.

— Как это ничего? Всякий человек чего-нибудь хочет. Может быть, ты хочешь славы?

— Нет.

— Власти над другими людьми?

— Нет.

— Ну, тогда чего же? Может, просто хорошо жить? Иметь много денег, баб, водки?

— Нет.

— Тогда, может быть, тихой семейной жизни? Может быть, с Нюрой жить хочешь?

— Нет, — покачал головой Чонкин. — Ничего не хочу. В это время ударил гром, и он пробудился.

В первую минуту он не мог сообразить, где он и что с ним, потом понял, что он в камере, что он жив, он огорчился и заплакал.

В отдохнувшем его теле пробудились желания: хотелось еще поспать, помочиться, поесть, почесать под лопаткой и, что самое неприятное было в его положении, хотелось жить.

Где-то за стенами снова ударил гром, его тряхнуло, он повернул голову — за обрезом верхних нар свет лампочки качался сквозь слезы.

Промыкнуло еще и еще, за дверью кто-то пробежал, стуча сапогами, и громко ругнулся матом.

Потом стало бить подряд, словно кто-то тяжелым молотом крушил стену снаружи. Чонкин понял, что это

стреляют из пушек, и стреляют где-то неподалеку. Он не думал о том, кто стреляет, в кого и зачем, но ему почему-то казалось, что эта канонада обещает ему спасение.

Вдруг он забеспокоился, что снаряд попадет сюда и его здесь завалит живого, но удары неожиданно прекратились, и в камере стало тихо.

Вытерев слезы, он спустился с нар, подошел к дверям и прислушался. За дверью было тихо: ни голосов, ни шагов, ни бряканья ключей.

Помочившись в парашу, он хотел снова залечь на нары, но передумал и стал слоняться по камере. Впервые он мог подробно ее рассмотреть, раньше ему было не до этого. Теперь он увидел, что все стены камеры испещрены какими-то надписями, клятвами, угрозами, изречениями, стихами, признаниями в любви и сожалениями о бесцельно прожитых годах. Справа от двери чем-то острым, должно быть гвоздем, было выцарапано лаконичное сообщение: «Здесь сидел инспектор Маслов».

Потом еще всякая ерунда: какие-то цифры в столбик, рисунок с очень простым и доступным смыслом, матерные слова без всякого смысла, рецепт приготовления какого-то блюда с перечислением всех компонентов от баранины до соли и пряностей, фраза «Жил грешно, умер смешно», за ней еще что-то матерное, а за матерным с переходом на другую стену уверенным подчерком того же инспектора Маслова: «А все-таки она вертится!» (что вертится, для чего и в какую сторону, сказано не было).

Переходя от стены к стене, Чонкин читал все, что на этих стенах было написано, и сам захотел здесь оставить какое-нибудь назидание потомству или что-нибудь в этом духе. Он отколупнул от нар щепку и подошел к стене. Но стена была уже исписана слишком густо, он мог вставить какие-то слова разве что между строк. Замечательная идея пришла ему в голову. Он подтащил к стене парашу, стал на ее края, теперь он мог писать выше всех. Раз уж смог он подняться выше всех, ему следовало написать что-нибудь необыкновенное, что-нибудь такое... Но ничего такого в голову не приходило, и он, рискуя свалиться вместе с парашей и изрядно потрудившись, написал одно слово «Чонкин». Только свою фамилию, ничего больше, но

зато выше всех. Удовлетворенный, он спрыгнул с параша, отошел к нарам, глянул и обомлел. Его фамилия была высоко, выше самых верхних, может быть, на вершок. Но еще выше, на самом потолке, этаким полукругом написано было другое имя. Некий то ли Кузяков, то ли Пузяков, не желая пропасть бесследно, неразборчиво намазал свою фамилию дерьмом, впоследствии окаменевшим. Удивительно было, конечно, не то, что дерьмом (тюремный народ писал кто чем сумеет), удивительно было, что на потолке, как он туда забрался, ведь не муха же, а человек. Чонкин и так ломал голову, и эдак примеривался, никак к этому Ку- или Пузякову даже мысленно подобрать не мог. Вроде и с нар не дотянешься, и сбоку, хоть даже две параша друг на друга поставь, никак не достанешь. Видать, очень ему хотелось, этому Ку- или Пузякову, оставить в памяти хотя бы ближайших поколений эков недолгую весть о том, что жил на свете человек с такой, в общем, невзрачной фамилией.

Заскрежетал в замке ключ, Чонкин очнулся от своих праздных мыслей. Дверь отворилась, в проеме появился Свинцов, сильно вооруженный. На боку в парусиновой кобуре висел у него наган, в руках он держал винтовку.

— Выходи! — сказал Свинцов Чонкину и мотнул головой.

«На расстрел!» — обреченно подумал Чонкин, но на всякий случай спросил:

— А шинелку взять можно?

Он так думал, что если на расстрел, то шинель навряд ли дадут, зачем же хорошую вещь зря дырывать?

— Возьми, — сказал Свинцов.

Кроме шинели он взял и пустой вещмешок, если не на расстрел, тоже авось пригодится.

Во дворе тюрьмы стояла телега, запряженная гнедой низкорослой лошадкой. В телеге было набросано сено. Свинцов взъерошил сено, кинул в него винтовку и кивнул Чонкину:

— Залази!

Чонкин послушно залез, примостился сзади, поджав ноги по-азиатски.

Свинцов сел на облучок, поерзал, устраиваясь поудобнее, разобрал вожжи и концом их слегка хлестнул

лошадь. Лошадь вздрогнула и лениво пошла. Телега за-скрипела, застучала колесами по булыжнику и выкатилась на улицу через никем не охраняемые ворота.

Вскоре выехали из города.

За третьей деревней пошла желтая унылая степь, отороченная вдалеке стеною поблекшего леса.

— Эй, парень! — обернулся Свинцов. — Ты там еще не озяб?

— Не, — сказал Чонкин, — ничего.

Он сидел, нахохлившись, спрятав руки в рукава.

— А ты побегай, погрейся, — предложил Свинцов.

— Неохота.

— А чего ж неохота? Вишь ты как озяб, нос даже совсем посинел. Пробежись, говорю. А то, покуда до места доедем, околеешь совсем.

Чонкин хотел спросить, до какого места они должны доехать, но промолчал, а Свинцов, пытаясь увлечь его личным примером, соскочил на землю и побежал рядом с телегой, похлопывая себя по бокам.

— Ох, как хорошо-то! Как здорово! — восклицал он. — Прямо вот чувствуешь, как кровь по жилам бежит. Ух, хорошо!

Но Чонкин и на это ничего не ответил, даже и не посмотрел на Свинцова, и тот, сознавая напрасность своих усилий, опять вскочил в телегу и сердито сопел, отдуваясь.

Они уже приближались к лесу, когда до слуха Чонкина донесся знакомый звук. Он сначала не обратил на этот звук никакого внимания, но потом встрепнулся и стал, глядя вверх, крутить головой. Далеко на горизонте он увидел маленькую точку. От этой точки и шел звук. «Самолет!» — мысленно ахнул Чонкин. Но тут же сам себя осадил, вспомнив, как однажды принял за самолет комара. Теперь он не верил ни своим глазам, ни предчувствиям. Он зажмурился. Но звук продолжался... Больше того, с каждой секундой он нарастал и становился все более мощным.

Чонкин открыл глаза и увидел настоящий самолет. Теперь уже в этом не было никаких сомнений.

— Самолет! — крикнул Чонкин и ткнул Свинцова кулаком в спину.

— Ну и что, что самолет, — сказал Свинцов. — Впервые, что ли, видишь?

— Дурила! — закричал Чонкин. — И как же ты не можешь понять глупой своей головой! Дак ведь это ж за мной!

— Ну да! — усмехнулся, не веря, Свинцов.

— Вот тебе и «ну да». Эгей! — Чонкин вскочил на ноги, сорвал с головы пилотку и стал ею размахивать, приглашая летчиков снизиться. — Эй, ты! — кричал он, подпрыгивая в трясущейся телеге и не заботясь о равновесии. — Давай сюда! Вот он я, здесь!

Словно отвечая на призыв Чонкина, самолет резко клюнул носом и, набирая скорость, пошел на снижение.

— Давай! — кричал Чонкин, размахивая пилоткой. — Садися! На дорогу садися!

В его сознании все произошло как бы отдельно. Сначала он увидел, как вспорол на повороте дорогу. Фонтанчики пыли брызнули вверх и выстроились в ряд, скользящий к обочине. Потом уже услышал пулеметную очередь. Над самой головой Чонкина с ужасным воем самолет круто взмыл вверх, и Иван увидел на крыльях отчетливые кресты. Он не успел удивиться, потому что в это время лошадь рванула и понесла. Чонкин, потеряв равновесие, свалился с телеги.

Некоторое время он лежал, и ему казалось, что он убит. Самолет еще раз прошел над ним. Чонкин съехался. Самому себе он казался огромным, слишком огромным пятном на пыльной дороге. Он понимал, что надо укрыться, хотя бы за придорожные кусты, где он был бы не так заметен, но у него не хватало для этого сил. Наконец он поднялся и тут в третий раз увидел над собой самолет. Летчик, видимо, не ожидал, что Чонкин поднимется. Он дал очередь, но было поздно, пули вспоролы землю далеко впереди.

— Во! — вскочив на ноги, крикнул Чонкин и покрутил у виска пальцем. — Дурак ненормальный!

Наверное, летчик обиделся. Но пока он выполнял боевой разворот, Чонкин со всех ног кинулся к лесу. И, вбежав в лес, прильнул грудью к большой сосне. Снова приблизился рев мотора. Мелькнули в просвете крылья с

крестами, но на этот раз летчик Чонкина не увидел, и последняя очередь по кустам была уже совсем не попад.

70

Выждав сколько-то времени и видя, что самолет не возвращается, Чонкин оторвался от сосны и двинулся дальше. Он шел напрямую, не зная куда и зачем, но зная почему и откуда, шел, впервые сознательно нарушив обязанности солдата и заключенного, впервые уклоняясь от уготованной ему судьбы.

Пройдя через болото и колючий кустарник, оказался он на неширокой поляне, посреди которой лежало большое трухлявое дерево с обрубленными ветвями.

Чонкин огляделся. Вокруг было тихо и мирно. Непуганый дятел долбил верхушку полуссохшей сосны, и в осенней тоске где-то заливалась кукушка.

Он сел на ствол трухлявого дерева, перемотал одну портянку, принялся за вторую. Вдруг зашевелились и затрещали кусты.

«Медведь!» — обмирая, подумал Чонкин и с ботинком в руках вскочил на ноги.

Кусты раздвинулись, и на поляне, с разорванной щекой, с винтовкой и пустым вещмешком Чонкина, появился Свинцов. Плядя на Чонкина исподлобья, он приближался. Отступая вдоль дерева, Чонкин сбросил для удобства портянку и переложил ботинок из своей левой руки в правую. Ботинок, конечно, не граната и против винтовки оружие слабое, но если бы залепить им удачно в лоб...

— На, держи! — сказал Свинцов и кинул винтовку как на ученье.

Чонкин успел выронить ботинок и схватить винтовку, но ушиб большой палец.

— И это держи! — и у его ног плавно опустился пустой вещмешок.

Свинцов сел на дерево и, трогая корявым пальцем царапину на щеке, кратко объяснил свое поведение:

— Надумал и я от них убежать. — И криво усмехнулся. — Надоели.

Было как-то странно, чудно, непонятно. Обдумывая происшедшее, Чонкин подобрал портянку, сел поодаль от Свинцова. С одного конца портянка была совсем мок-

рая, с другого еще ничего. Отжав мокрый конец, он сухой приложил к ступне и стал пеленать ее, как ребенка.

— Демаскируешь, — покрутил носом Свинцов.

— Чего? — не понял Чонкин.

— Мотай, говорю, скорее, а то нас с тобой тут уношают.

— А-а, — сказал Чонкин и, приняв слова Свинцова всерьез, заторопился.

Покончив с портянкой, натянул ботинок, поглядел на него критически — надолго не хватит.

Свинцов достал папиросы, одну протянул Чонкину, и тот взял ее осторожно, все еще опасаясь подвоха.

Закурили.

— Ну, что, — сказал Свинцов, помолчав, — далее вместе пойдем или же каждый поврозь?

— Куда идтить-то? — грустно вздохнул Чонкин.

— Куда? — переспросил Свинцов. — Да по лесам будем шататься. Поглубже зайдем, салаш построим и станем жить на воле, как хичники. А чего? — Свинцов вскинул голову. — Оружие есть, патроны есть, дичи всяческой настреляем, грибов, ягод засушим, компот варить будем. Компот любишь?

— Компот? — Чонкин посмотрел на Свинцова как на придурка. — Надо же! — покрутил головой. — Компот, говорит. Да для компота же сахар нужен.

— От сахара зубы болят, — возразил Свинцов, усмехаясь. — А вот, конечно бы, соли, да табачку, да спичек запаста надо. Ну, ничего. До Красного дочапаем, там поглядим. Ежели все спокойно, забежишь к Нюрке, на первое время чего надо возьмешь. Ну, побалуешься с ней напоследок. Оставаться не советую. Пымают. Согласный?

Насчет всего прочего Чонкин еще не обдумал, а встретиться с Нюрой хоть ненадолго желалось ему даже очень.

Вечерело, когда приблизились к Красному.

Оставив винтовку Свинцову, Чонкин вышел из лесу с пустым вещмешком. Пройдя часть пути берегом Тёпы, поднялся он к стоявшим на отшибе амбарам и за ними долго таился, однако из-за амбаров ни черта не было видно.

Перебежал к Нюриной избе, ткнулся в дверь — заперта. Хотел было сунуться за ключом под половицу, да, услышав отдаленные голоса, взгляделся и увидел, что в су-

мерках возле конторы снова народ сгустился, а на дороге, покрытая пылью, стоит легковая машина.

«Неужли обратно митинг?» — подумал Чонкин и, раздраемый опасным для него любопытством, двинулся сперва к забору, потом к избе Гладышева и короткой перебежкой к машине, а уж от нее к конторе.

Народ стоял, тесно сомкнувшись. Чонкин привстал на цыпочки, выдвинул вперед подбородок и раскрыл рот.

На крыльце конторы худой длинный немец в черном мундире и в очках размахивал руками, выкрикивая:

— Крестьяне! Победоносная германская армия пришла к вам на помощь и навсегда освободила вас от власти большевиков. Евреи и комиссары никогда больше не будут вас грабить. Германское верховное командование надеется, что вы с благодарностью встретите своих освободителей и добровольно сдадите излишки продуктов нашим уполномоченным.

Широко расставив ноги, впереди всех в своей широкополой соломенной шляпе стоял Кузьма Гладышев.

— Правильно! — говорил он, в нужных местах ударяя в ладоши.

Чонкин попятился назад к машине и, никем не замеченный, покинул деревню.



Фиктивный брак

Водевиль в одном действии





Фиктивный брак

Водевиль в одном действии

О — — — — —

днокомнатная квартира в Москве, в районе Беляево.

Входят Отсебякин и Надя.

Отсебякин. Ну, вот мы и дома. Раздевайтесь, вешайтесь, так сказать, и проходите... Замерзли?

Надя. Да нет, ничего. Все о'кей.

О. Ой! Подморозило здорово, как и положено на Рождество. Крещенские морозы, однако же, бывают трескучие. На улице-то ладно, но если б они хоть автобус отапливали, а они экономят. Они теперь на всем экономят.

Н. Кто — они?

О. Власти. (*Поспешно поправляется.*) Нет, я имею в виду, конечно, местные власти. Да вы не стесняйтесь, садитесь. Убрано не тщательно, квартира, сами понимаете, холостяцкая. (*Пауза.*) А я лично дрожу не от холода, а от страха.

Н. От страха? А чего это вы так боитесь?

О. Сейчас-то уже не боюсь, а в загсе боялся. Вы разве не заметили, я когда расписывался, рука сильно дрожала? Я обычно не сокращенно расписываюсь, а полностью: «От-себя-кин». А тут «Т» написал, «с» написал, а дальше рука вовсе не подчиняется, и я тогда просто крючок вывел какой-то.

Н. Надо же! А в чем дело?

О. Ну как же. Фиктивный брак, сделка, можно сказать, тщательно незаконная.

Н. Подумаешь, незаконная. А кто сейчас по закону живет? Все воруют.

О. (*осторожно*). Я бы все-таки не обобщал.

Н. А я и не обобщаю. Я просто говорю: все воруют. Потому что не своруешь, не проживешь. Я в торговле

работала, там все воровали, перешла в салон красоты, и говорить нечего.

О. Однако с мороза желательно разогреться. Как насчет чайку? Или кофе?

Н. С удовольствием.

О. А может, чего покрепче? Впрочем, вы, вероятно, водку не пьете?

Н. Почему же? Я женщина современная. Я и бормотуху употребляю.

О. Бормотуху? И часто?

Н. Нет, не часто. Иногда. С Витькой.

О. Кто это Витька?

Н. Витька? Хахаль.

О. Вы как-то выражаетесь не очень, я бы сказал, тщательно. Что значит хахаль? Можно ведь как-то иначе. Ну, допустим, возлюбленный.

Н. Витька? Возлюбленный? Ха-ха. Насмешили. Возлюбленные сейчас только в театре бывают или в кино. Да и то из прошлого века.

О. Хорошо, согласен. Возлюбленный — понятие, может быть, устаревшее. Можно сказать, например, ухажер.

Н. Ой, что вы! Ухажер — это все же тот, кто ухаживает, а Витька... ну, в общем, хахаль.

О. Ну, вот закуска готова, можно и выпить. (*Наливает*.) Берите вот хлеб, лук, сырок плавленый. Мяса, к сожалению, никакого. Вчера за одесской колбасой сорок минут стоял, давали по полкило в одни руки, а мне все же не досталось.

Н. В магазинах уже вообще жрать нечего.

О. Я бы все же не обобщал. Временные затруднения, конечно, имеются, но мы этого не скрываем.

Н. Вы-то не скрываете. Уж и скрывать нечего, все пусто.

О. Ну, ладно, об этом не будем. Выпьем. Я даже не знаю за... ну, в общем... будьте здоровы.

Н. О'кей.

Чокаются, выпивают, закусывают.

О. Что же этот ваш Витька — хороший человек?

Н. (удивленно). Витька? Вы что, смеетесь? Пьянь да рвань. В такси работал, человеком был. Потом за пьянку в слесари перевели на исправление. А там исправишься. Там чего-нибудь открутил — бутылка. Чего-нибудь закрутил — бутылка. Спивается народ.

О. Ну, это вы вообще... знаете... не надо. Я считаю, беда не в том, что много пьют, а что мало закусывают. Ну давайте еще?

Н. О'кей.

Чокаются, выпивают, закусывают.

О. Вообще, я считаю, в целом все идет нормально. Очень много построено всяких крупных вещей. Спутники летают. Октябрьская революция совершилась не зря. Если бы, скажем, не революция, вот я, Отсебякин, кем бы я был?

Н. Ну, так бы и был Отсебякин.

О. Не надо так. Критика в нашем обществе допустима, и мы ее приветствуем. Но она должна быть тщательно конструктивна. Недостатки, конечно, имеются. (Закусывает.) Скажем, я инженер-электрик. У меня одно изобретение, шесть рацпредложений, имею рекомендацию в партию, а вынужден идти на нарушение закона, потому что холостой. Так все и считают: Отсебякин холостой, ему что. И если чего случилось, ну, допустим, там обмотка генератора перегорела, сверхурочно надо работать или праздничное дежурство, кого зовут? Отсебякина. Ты уж, Отсебякин, извини, ты ж холостой, тебя от семьи отрывать не надо. Это еще ладно, если говорят — Отсебякин. А то все путают. То Отсебятиным назовут, то Отсобакиным. Трудно, что ли, запомнить? Фамилия хотя и простая, но редкая. Я лично однофамильцев своих не встречал. А когда в командировках бываю, в справочных обычно интересуюсь, нет ли там какого-нибудь местного Отсебякина. И ответ всегда один: не значит. А поскольку у меня нет ни папы, ни мамы, ни тети, ни дяди и никаких других родственников, я думаю, может, я вообще на всей земле один Отсебякин остался. И все равно. Никакого уважения. Как-то к Седьмому ноября среди инженерно-технического персонала

курицу распределяли... Нет, не к Седьмому, а на День Победы... Нет, вру... Не на День Победы, а на Первое мая. Меня как раз как холостого на демонстрацию послали. Я еще Громыко на палке нес. Так вот на демонстрацию послали меня, а курицу Трошину распределили. У него, говорят, двое детей и диабет. А я вообще не уверен, что при диабете можно курицу есть. Ну, ладно, курица — это еще ничего. Курица, допустим, на почве временных трудностей, тщательно Продовольственной программой нашей партии предусмотренных. Но когда мне оказывают политическое недоверие, тут я тщательно прошу меня извинить. У нас сейчас как раз специалистов набирают в Англию. То есть вру, в Анголу. Я, конечно, сразу выразил готовность оказать братскому народу посильную помощь. Характеристики собрал, авторское свидетельство представил. И опять не пускают по той же причине, что холостой. Откуда мы знаем, говорят, может, ты намылился, чтобы слинять. У тебя же ни жены, ни детей. Ни папы, ни мамы. Ни тети, ни дяди. Если что, и спросить не с кого. Ну, вот скажите, Надя, вот посмотрите на меня. Я вам человек тщательно посторонний. То есть ни в фиктивном, конечно, а в фактическом смысле. Так вот, скажите, может такой человек, как я, предать свою родину, свой народ и бежать?

Н. Не знаю. Это зависит, у кого какие возможности,

О. (возмущен). При чем тут возможности? Что ж я, Иван, что ли, не помнящий ничего? Я человек советский. Мне родина дала воспитание, образование, в люди вывела. И вообще, я патриот. Я люблю наши просторы, реки, поля, леса. Наши сосны, березы...

Н. Березовый сок тоже любите?

О. Не понял.

Н. Ну, сок, говорю. Березовый. Знаете, в песне поется: (Поет, фальшивя.) «Березовым соком, березовым соком...»

О. Сок не знаю, не пробовал. А березы люблю.

Н. Береза — дерево неплохое. Горит здорово. Но пальма все же лучше. На ней бананы растут.

О. Ну и что, что бананы? Что ж я теперь за бананы родину, что ли, должен продать? (Размышляет вслух.) Ну,

допустим, у меня бы там кто-нибудь был. Дядя миллионер или тетя миллионерша. А у меня там никого. И здесь тоже. И все же здесь меня туда-сюда, а там я кому нужен? Конечно, был бы я как этот... гроссмейстер... Или бы на коньках ездил, как эти... вот... Протопопов и Аввакумова. И тоже надо понять, это ж не Англия, а Ангола, там куда побежишь? Джунгли вокруг и дикари. Поймают, как курицу, и распределят между собой. И не посмотрят, что у меня авторское свидетельство и рекомендация в партию. И что, может быть, после меня на земле ни одного Отсебякина не останется.

Н. Слушайте, так вам, может, лучше вообще отказаться? Тем более если бежать не собираетесь, так зачем ехать?

О. Тщательно не понимаю. Как это зачем ехать? Сознательность ведь должна быть какая-то! Не только же для себя живем. Освободившимся народам надо помочь. Они же развиваются. Они еще в электричестве не понимают и плюс замыкают на минус. И вообще... Зарплата у меня какая? А там все же сертификатами платят. И на дублинку можно накопить, и даже на «Жигули».

Н. О'кей. «Жигули». У нас тоже один в Узбекистан... нет, в Афганистан... Поехал за «Жигулями», а вернулся без головы. В цинке запаян, как шпрот.

О. Слушайте, я забыл. У меня же и шпроты есть. Я еще в прошлом году достал банку. Вот, хотел сразу съесть, да потом подумал, может, какой торжественный случай будет. Вот, пожалуйста. Подождите, сначала выпьем. *(Наливает.)* Ну вот. За все хорошее. Чтобы и шпроты и все такое можно было всегда достать.

Чокаются, выпивают, закусывают.

А я все же не пойму, для чего вы-то на эту фикцию согласились? У меня, можно сказать, служебная необходимость, а для чего вам-то?

Н. А просто так. Назло Витьке. Он хоть и пьянь, а задается. Ты, говорит, и мне нужна только время от времени. А другому и вовсе никому не нужна. О'кей, говорю, ты еще увидишь, нужна или не нужна. *(Мечтатель-*

но.) Теперь колечко в магазине новобрачных по талону куплю, приду к Витьке, видал, скажу, вышла замуж. И не за алкаша какого-нибудь вроде тебя, а за инженера. В Англию едет, за «Жигулями».

О. (скромно). Ну, не в Англию, а в Анголу.

Н. А ему все равно. Он не различает. Он когда набухается, политуру от антифриза не отличит.

О. Я, конечно, в вашу личную жизнь не вмешиваюсь, но все же тщательно не понимаю. На вашем Витьке свет клином не сошелся. Есть много других мужчин.

Н. (недоверчиво). Мужчин? Не встречала. Алкашей полно. Да еще такие, вроде вас, иногда попадают. Вот вы, чем меня, себя бы лучше спросили. Вам-то зачем эта фикция? Если у вас служебные интересы и к тому же бежать не собираетесь, так и женились бы не фиктивно, а как положено. Семью б завели, детишек. Таких ма-аленьких отсебякинят. Это ж какая радость! Годы-то ваши идут. Сколько вам лет? Пятьдесят?

О. (возмущен). Почему это пятьдесят? Откуда пятьдесят? Вы что это, замуж выходите, а даже в паспорт не смотрите? Я еще молодой. Мне только сорок два исполнилось.

Н. Ничего себе молодой. Моему брату сорок один, а у него уже внук есть. Рыжик. И потом, сегодня вам сорок два, а завтра будет восемьдесят.

О. Вы что, смеетесь? Сегодня сорок два, а завтра восемьдесят. Вы арифметику в школе проходили?

Н. Господи, я ж не про арифметику, я про жизнь. Будете старенький, с палочкой будете ходить. В аптеку надо будет сбегать, клизму поставить. Кто побежит? Кто поставит?

О. (сердится). Да что это вы такое говорите? Палочка, клизма. Когда это еще будет? Я еще молод и полон сил. Я двухпудовую гирию четыре раза одной рукой выжимаю.

Н. О'кей. Гирию, четыре раза. А остальное вы можете?

О. Это в каком же смысле?

Н. Ну, в каком, в каком! Мужчина должен не только с гириями свою силу показывать.

О. Не понял.

Н. Надо ж, какой непонятливый. В школе арифметику проходил, а на переменах ему ничего не рассказывали. Я имею в виду, как у вас насчет этого дела? Или вы только гири таскать умеете?

О. Я вашей нездоровой развязности не одобряю, но если уж вы так интересуетесь и лезете во все дырки, могу объяснить, что я к женщинам тщательно равнодушен.

Н. Эй, дядя! Так вы гомик!

О. Кто? Комик?

Н. Не комик, а гомик. Я имею в виду гомосек. Надо ж, такой здоровый, лысый, двухпудовую гирю таскает — и гомик. Ой, не могу, принесите воды, умру от смеха!

О. Умрете, и зря. У меня порочных наклонностей нет. У меня была одна дама. Нинелька. Двенадцать лет под ручку ходили, а потом три месяца пожили и разошлись. Вот и все. И с тех пор я ни на какие серьезные отношения не согласен. А насчет того, что вы говорите, насчет этих комиков, так я лично их тщательно осуждаю. Потому что сами отвлекаются и других от общенародных задач отвлекают. Сейчас, как вы знаете, рост коренного населения падает, а азиатского возрастает. Скоро уже все будем косые. А эти ваши комики... от них не то что человек, даже мышь родиться не может. Ну, хорошо если этим занимается какой-нибудь, скажем, творческий человек. Ему, может быть, для вдохновения нужно. Но ведь есть же такие, что он, может быть, даже средней школы не кончил, может, даже закона Ома не знает, а туда же лезет. Как будто он какой-нибудь художник или артист. *(Помолчав.)* Я, между прочим, и сам был артистом. В заводской самодеятельности Ленина изображал.

Н. Вы? Ленина? Никогда не поверю. Хотя вообще-то похож. Плешь точно такая.

О. Плешь тут ни при чем. Плешь и налепить можно. А главное — уметь изобразить. Во всей простоте и величии. *(Неожиданно преображается, вскакивает на стул, говорит быстро, громко и сильно картавя.)* Октябрьская революция, о необходимости которой всегда говорили большевики, свершилась!..

Н. *(смеется до слез на глазах, до истерики).* Ха-ха-ха! Ой, не могу! Ой, убил! Зарезал!

О. (доволен). Что, похоже?

Н. Жуть как похоже! Как это... социалистическая революция... (Опять смеется.) Ой, не могу! Так, пожалуй, и чокнуться можно! Слушайте, а чего это он так картавил?

О. Ну, мало ли чего! У разных людей бывают всякие дефекты. Речи и всего остального.

Н. А мне говорили, что он был еврей.

О. (поспешно). Не знаю, я политикой не интересуюсь.

Н. О'кей, я тоже не интересуюсь, но мне говорили.

О. Что говорили?

Н. Ну, что еврей.

О. (строго). Кто?

Н. (неуверенно). Ну, этот... ну... Ленин.

О. Я спрашиваю, кто вам это говорил?

Н. Ну, Витька

О. Я вижу, у вашего Витьки язык слишком длинный. Да за такие разговоры знаете что бывает?

Н. А что? Что такое? Что я такого сказала? Ну, еврей, ну и что. Среди евреев тоже неплохие люди бывают. У нас директор, Борис Маркович...

О. Я не спорю. Может быть, ваш Борис Маркович и хороший, но разве можно сравнивать с Лениным?

Н. А вы Бориса Марковича знаете?

О. Не знаю и знать не хочу.

Н. Ну, вот и не говорите. Борис Маркович, между прочим, «р» выговаривает не хуже нас с вами. Не то что некоторые...

О. Ну, знаете. Это вы уж совсем. Да раньше за такое...

Н. Мало ли чего раньше было! А теперь за это не сажает. Теперь что хочешь, то и говори. Хоть про русских, хоть про евреев.

О. Я бы все-таки воздержался. Нет, вы не подумайте. Я лично против евреев ничего не имею. Это Трошин считает, что все от них. Диабет его от евреев. Вывести, говорит, их надо всех, чтоб больше не было. А я этого тщательно не понимаю. Это даже противоречит основным положениям. Мы интернационалисты. Мы ко всем нациям терпимо относимся. И к плохим, и к хорошим. С другой стороны, и об экологии надо подумать.

Н. О чем?

О. Я имею в виду природное равновесие. В природе лишних организмов никаких не имеется. Одно выведешь, другое появляется. Еще худшее. Вот китайцы, допустим, воробьев уничтожили, и что получилось? Жуки всякие развелись, личинки. Рис весь поели, китайцам ничего не оставили. Опять пришлось воробьев за границей на золото закупать.

Н. Не пойму, что это вы городите. Евреи и воробьи. Какая связь?

О. А такая связь, что если природа без воробьев не обходится, так, может, ей и евреи для чего-то нужны.

Н. Еще б не нужны! Да у нас в салоне... если б не наш Борис Маркович... Слушайте, а я вчера анекдот слышала.

О. (заинтересованно). Про евреев?

Н. Нет. Про Чапаева.

О. (поспешно). Политических анекдотов не слушаю.

Н. Да он короткий. Значит, Чапаев идет, а Петька сидит на дереве... Нет, наоборот, Петька идет, а Чапаев сидит на дереве...

О. Чапаев? Сидит на дереве? Ха-ха-ха-ха.

Н. Он сидит на дереве, а Петька идет... Ха-ха-ха.

О. (одновременно и сердится, и хохочет). Чапаев на дереве... Ха-ха-ха... Да что вы мне глупости рассказываете? Как это может быть: Чапаев — и на дереве? Он же не птица какая-нибудь, а народный герой. А вы: Чапаев и на де... (Не выдерживает и опять смеется.)

Н. Значит, Петька идет, а Чапаев...

О. Стоп! Стоп! Не хочу слушать! И вообще, в моем присутствии прошу сомнительных анекдотов не рассказывать. Чапаев не птица какая-нибудь, а легендарный герой. Он жизнь свою отдал, чтоб мы с вами сегодня жили в хороших условиях. И вообще, я принципиально против таких насмешек над самым святым, что у нас есть. (Помолчав.) Тем более что моего дедушку за анекдот расстреляли.

Н. Извините, я не знала.

О. Это, конечно, был перегиб. Во времена культа личности. Тем более что дедушка пролетарского происхождения. Его, конечно, потом реабилитировали. Бабушке

компенсацию дали. Девятьсот рублей. Старыми деньгами. (Помолчав.) Теперь дело другое. Возвращение к ленинским нормам. Теперь за анекдоты не расстреливают. Теперь гуманность, больше трех лет не дают. Доверие нам оказывают. А мы им злоупотребляем.

Н. (поднимаясь). Ну, ладно. Я, пожалуй, пойду.

О. Куда это вы?

Н. Не знаю куда. К Витьке пойду.

О. Как это «к Витьке»?

Н. А в чем дело?

О. Да как это «в чем дело»? Что же вы, не понимаете?

Н. Не понимаю.

О. Да как это вы не понимаете? У вас, конечно, представления обо всем очень смелые. Но все-таки надо знать и границы. И потом, в какое же положение вы меня ставите? Я все-таки занимаю заметное место. Инженер-электрик. У меня диплом есть, авторское свидетельство и рекомендация. И я не желаю, я не допущу выставлять себя на посмешище. Я не позволю, чтобы про меня ходили всякие сплетни. Что моя жена гуляет с какими-то алкоголиками. Я не дам мне рога наставлять. Я вам не козел какой-нибудь, и не олень, и не этот... тур кавказский.

Н. (удивленно). Надо же какой старомодный!

О. В этих вопросах — да, старомодный. В технике я признаю все передовое и современное. И в электричестве разбираюсь, и в электронике, и на компьютере работать могу. Но в вопросах сексуальных не желаю знать никаких революций и жене своей налево гулять никогда не позволю.

Н. Хо-хо-хо! Какой отсталый! А еще инженер. Да сейчас, если хотите знать, все гуляют. У меня подружка, Люська, диспетчером на Речном вокзале работает, так она с одним развелась, за другого вышла, живет с обоими, а с третьим в Сочи ездит.

О. Какая гадость!

Н. Гадость не гадость, а Люська довольна.

О. Все равно гадость. Вот родит ваша Люська ребенка и даже знать не будет от кого.

Н. А зачем ей знать? Какая разница, от кого? Лишь бы человек вырос хороший. И вообще, Люська — женщина современная, со спиралью ходит.

О. Какой разврат! А вы?

Н. Что я?

О. Вы тоже... гм... гм... современная?

Н. А вам-то какое дело? Что вы ко мне в душу лезете? Какой тоже нашелся. Учитель жизни. Женился фиктивно, чтоб делишки свои обстряпать, так еще в душу с сапогами лезет. Или вы, может, забыли, что женились фиктивно?

О. (опомнившись). Да, действительно. Забыл. Потому что вы мне своими дурацкими анекдотами голову заморочили. Вы заморочили, а я забыл, что фиктивно.

Н. (примирительно). Хорошо, что вспомнили хоть теперь.

О. Теперь вспомнил. Да. (Взрывается, озаренный новой идеей.) Да, но изменять вы мне собираетесь не фиктивно, а самым натуральным и тщательным образом!

Н. О господи! Какой-то кусок придурка попался. Ладно, я пойду.

О. К Витьке?

Н. Да какое вам дело — к Витьке, к Петьке, к Митьке?

О. Не могу позволить. (Загораживает дорогу.)

Н. Слушай, Оттебякин. Ты что, из дурдома выскочил? Пусти!

О. Не только не пущу, а вот еще и дверь запираю. Раз, два оборота, ключ в карман. Вот и все.

Н. Надо же. Слушай, Отсобакин...

О. Я не Отсобакин, а Отсебякин. Это все-таки разница.

Н. А мне все равно, хоть Отсобакин, хоть Откошкин. Открой — и все.

О. И не подумаю.

Н. О'кей. Тогда я... тогда я... Слушай, Отфедякин, открой, или я из окошка выпрыгну.

О. С шестого этажа? Счастливого полета.

Н. (меняя тон). Слушайте, ну, что вы какой чудной, ну, откройте. Мне же пора. Что вы из себя дурака строите? Вы же не дурак. Вы человек образованный, артист, Ленина изображаете. (Срывается.) Открой, тебе говорят, а то я кричать буду. (Кричит.) А-а!

О. (смеется). Голосок есть. Ну-ну, давай еще!

Н. А-а! Насилуют!

О. (смеется). Еще громче. Ну, покричишь. Ну, придет кто-нибудь. Допустим, — даже участковый. А я ему брачное свидетельство в зубы. Какое насилие? Смешно даже.

Н. (успокаивается). О'кей. Дайте выпить.

О. С удовольствием. Тут как раз на две рюмки осталось. За что пьем?

Н. Чтоб ты сдох.

О. Некрасиво.

Н. У вас бумага и ручка есть?

О. А зачем?

Н. Заявление писать буду.

О. Не понял. Это какое же заявление? В милицию?

Н. Зачем в милицию? В партком.

О. В партком?

Н. А что? Имею право. Прошу принять меры против мужа моего Отсебякина, который фиктивно женился, чтобы сбежать в Англию и разрушить крепкую советскую семью.

О. Да что вы говорите? Фиктивно женился — и крепкая семья. Это же просто чушь.

Н. Вот вы там, в парткоме, и скажите, что чушь.

О. Ну, уж это шантаж. Тщательный шантаж. Хорошо. Я не против. Мне эта Ангола и не нужна. Чего мне там делать? Чтоб мне там голову отрезали? От заграницы откажываюсь и завтра же подаю на развод.

Н. О'кей, я согласна.

О. Ну и хорошо.

Н. Хорошо.

О. И я говорю: хорошо.

Н. И я говорю: хорошо. (Помолчав.) А квартиру как, на две комнаты в коммуналке поделим или вы как благородный человек полностью уступите брошенной жене?

О. Какая квартира? Это моя квартира!

Н. Нет, Оторвакин, это наша квартира.

О. Надо же, какая наглость! Фиктивно вышла замуж и уже в первый день... Аферистка!

Н. И я же аферистка. Он женился фиктивно, чтобы сбежать, а я аферистка. Да я на тебя не только в партком, я на тебя в органы напишу, я иностранным корреспондентам заявление сделаю.

О. (задыхаясь). На меня... в органы? Иностран... а... а... а...

Н. Вот тебе и «а»!

О. А... а... (Валился на кровать.)

Н. (оторопев, смотрит на Отсебякина). Эй, вы чего это? Вы опять, что ли, Ленина изображаете? В Мавзолее? Слышишь, Отсебякин, ты это не надо. Не надо меня пугать. Я мертвяков с детства боюсь. А насчет органов, так это ж я пошутила. Ты ж меня запер, а мне чего делать? Меня Витька ждет. А органы эти, да ну их... Я их сама боюсь. Вставай, Отсебякин, не придуривайся. Чего ты так разволновался? Что мне, квартира твоя нужна? Холодильник или телевизор — допустим. Ну, даже если он и цветной, чего я по нему не видела? Хлебоборгов Кубани, что ли, не видела? Слышишь, Отсебякин, я тебе серьезно говорю, ты вставай, ты меня не пугай. Ты пошутил, я пошутила, а помирать незачем. Ты еще молодой, хотя и лысый. И тебе надо после себя еще хотя б одного Отсебякина оставить. А насчет Витьки, так что ж... У нас с ним фактически ничего и нет. Он же пьянь пропащая. Уже вообще ничего, кроме бутылки, не видит. Руки дрожат, ноги дрожат, про остальное и говорить нечего. Слышишь, что ли? Эй! Молчит. Видать, помер. Надо же! Только что был живой, а теперь мертвый. Дурак какой! Сам все затеял, и сам же помер. Где ж у него телефон? (Набирает номер.) «Скорая»? Очень срочно. Как что случилось? Человек помер! Как это вы к мертвым не ездите? Может, его еще откачать можно. И вообще я мертвяков от живых не отличаю. Сердце работает ли? О'кей, я послушаю, держитесь у телефона. Вы слышите? Чего-то вроде чикает. А может, это часы тикают на руке. Откуда я знаю? Я не медик и не часовщик. Сколько лет? Да не старый еще. Лысый, правда, как Ленин, но еще в силе. Гири таскает. Да нет, сейчас не таскает, сейчас лежит. Отчебукин фамилия... то есть этот Отчебякин... Отсебякин точнее. Какой адрес? А откуда я знаю? Знаю только, что в Беляево, а улицу и номер дома не посмотрела. Держитесь у телефона, сейчас я в брачное загляну, там должно быть записано. Где же у него брачное? В кармане, должно быть... (Лезет к Отсебякину в карман.)

О. (очнулся). А? Что? Где я? Кто это?

Н. Это я. Надя.

О. Откуда Надя? Какая Надя?

Н. Жена ваша.

О. А зачем по карманам лазить?

Н. Да ты, Отсебякин, не волнуйся, я только адрес хотела посмотреть, я думала, что ты мертвый. А если ты живой, то адрес и ни к чему. Может, тебе что-нибудь нужно, ты скажи, я все сделаю.

О. (слабым голосом). Пить хочу.

Н. Пить? Сейчас. Минуточку. Ой, про «скорую»-то забыла. «Скорая», он пить хочет. Да кто хулиганит? Человек пить хочет, а при чем же тут хулиганство? (Бросает трубку.) Дураки какие-то, честное слово. Уже и попить человеку нельзя. Мало того, что жрать нечего, так и пить нельзя. (Приносит воду.) Пей, Отсебякин, пей от пуза, вода не курица, она еще пока не дефицит. Ох, как ты меня напугал. Ты что же, сердечник? Так тебе надо не гири, а валидол с собою таскать. У меня Витька тоже сердечник, так у него валидол всегда при себе. Водку пьет, валидолом закусывает. И чего-то там у него расширяется. Тебе еще чего нужно?

О. Нет, спасибо. Мне уже лучше. Я вам за вашу заботу тщательно благодарен.

Н. Ой, что вы! Не за что. Спасибо, что живой остался. А то я мертвяков до ужаса боюсь. А то б еще следствие было. Как умер да почему? А я следователей боюсь еще больше, чем мертвяков. Я когда еще в торговой сети работала, сама чуть под следствие не попала. Потому и ушла. (Пауза.) Ну, ладно, пожалуй, пойду.

О. Куда?

Н. К Витьке пойду, куда ж еще?

О. Не надо к Витьке.

Н. А куда ж мне? Домой? Там тоже весело. Мать, брат, жена брата, племянники. Рыжик...

О. И домой не надо.

Н. Слушай, Отсебякин, у тебя, может, не только с сердцем, у тебя и с головой не в порядке. К Витьке не надо, домой не надо. А куда надо? На улицу, на вокзал, куда?

О. Никуда. Здесь оставайся, живи.

Н. Ой, что это вы такое говорите? Как это я буду здесь жить? Я же здесь не прописана и вообще никто, и вы холостой человек... то есть я имею в виду, не фиктивно, а фактически. Может, кого привести захотите, чего ж я вам буду мешать?

О. Почему я буду кого-то приводить? Что же я... за кого же вы меня принимаете?.. Что же я, понимаете, легкого поведения? Я человек солидный, женатый...

Н. Вы женатый? Ах, да... *(Смеется.)* Вы имеете в виду это... Вы имеете в виду, что... Так это ж просто так... Это просто фиктивно. На бумаге. И вообще, мы даже, можно сказать, не знакомы

О. Это ничего. Поживем, познакомимся.

Н. О'кей. Я, вообще-то, не против. Вы мне, вообще-то, нравитесь. Смешной, лысенький и Ленина здорово представляете. Только юмора не понимаете. Идейный слишком.

О. Да по правде сказать, никакой я не идейный, я их просто боюсь.

Н. Кого?

О. Властей. Местных. Ну, и всяких других тоже. Они дедушку моего расстреляли. А дедушка у меня был хороший. Он тоже пошутить любил. И дошутился. Сейчас, конечно, гуманизма стало побольше, а все-таки страшно. *(Помолчав.)* Оставайся, Надежда. Может, чего и получится.

Н. Вообще-то могу и остаться. Я женщина современная, меня долго уговаривать не надо. Но все-таки, чтобы жениться не фиктивно, а фактически, надо же как-то полюбить друг друга, чувство свое проверить.

О. *(очень волнуясь.)* Полюбить, проверить... Мы с Нинелькой двенадцать лет проверяли. А друг мой Семен Варвару свою пьяный приволок с танцплощадки. Утром не мог вспомнить, как ее звать. А вот уже двадцать два года живут, дочка в институт поступила, а сын ПТУ кончает. Вот тебе и любовь, вот тебе и проверка. Оставайся.

Н. О'кей. Допустим. Я говорю: не о'кей, а допустим. Вы человек как будто неплохой. Я тоже вроде добрая и...готовлю хорошо. *(Смутившись.)* Витька так говорит. Ну... в общем, можно попробовать. Если, конечно, вы просите.

О. (взволнованно). Прошу и тщательно умоляю.

Н. О'кей. Я... (Плачет.) Я... остаюсь.

О. Наденька, Надюша, что же ты плачешь?

Н. Мне... (Плачет.) Ви...

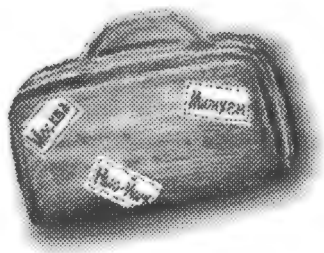
О. (недоуменно). Тебе? Ви?

Н. Ви... Ви...

О. Виви?

Н. Ви... Витьку жалко.

Конец



Шапка

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР ПРАВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА

Протокол № 4

12. марта 1971 г.

СЛУШАЛИ:

Решение Секретариата Правления Московского писательского объединения СП РСФСР об исключении из Союза писателей СССР Вилькина В.Н.

(Сообщение В.Н.Милана)

В обсуждении приняли участие:

Михаилов С.В., Болдырев П.В., Алексия А.Г., Афанасьев А.А., Гаврилов Р.И., Грамм А.А., Дедушкин Н.С., Давыдов В.В., Котомский И.А., Закруткин В.А., Космоков А.Н., Колосников В.И., Наровчатов С.С., Кутузов А.Н., Анисимов В.З., Марков Г.М., Татлыничева А.А., Орлов С.С., Руднев Я.В., Смирнов А.Н., Местискинский О.Н., Тельмутов В.Н., Федоров В.Д., Халимов С.Т.

ПОСТАНОВИЛИ:

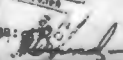
Утвердить решение Секретариата Правления Московского писательского объединения об исключении писателя **ВИЛЬКИНА В.Н.** из Союза писателей СССР в соответствии с пунктом 10, §§ "А" и "Б" Устава Союза писателей СССР.

(единогласно)

П.п. Председатель Правления Союза писателей РСФСР

С.В. МИХАИЛОВ

ПОСЛАНО:

Выписка верна: 

СП СССР, Московский

СП - в дело, Литфонду.



СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР ПРАВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА

Протокол № В 4.

3

13 марта

1974

СЛУШАЛИ:

Решение Секретариата Правления Московской писательской организации СП РСФСР об исключении из Союза писателей СССР Войновича В.Н.

(Сообщение В.Н.Ильина)

В обсуждении приняли участие:

Михалков С.В., Бондарев В.В., Алексеев А.Г., Авилов А.А.,
Гамзатов Р.Г., Гранин В.А., Асучкин Н.С., Ломоносов В.В.,
Котомкин И.А., Золотухин В.А., Косинов А.П., Кожанов В.М.,
Наровчатин С.С., Кутузов Д.Н., Лихачев В.З., Марков Г.М.,
Татьяничева Л.И., Орлов С.С., Рогов Н.В., Смирнов А.И.,
Ильинский О.Н., Тельмутов В.П., Федоров В.Д., Хакимов С.Т.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить решение Секретариата Правления Московской писательской организации об исключении писателя ВОЙНОВИЧА В.Н. из Союза писателей СССР в соответствии с пунктом 10, §§ "А" и "Б" Устава Союза писателей СССР.

(единогласно)

П.п. Председатель Правления Союза
писателей РСФСР

С.В.МИХАЛКОВ

ПОСЛАНО:

Выписка верна:

СП СССР, Московской

СП СССР, Издательство

К — — — —

огда Ефима Семеновича Рахлина спрашивали,

о чем будет его следующая книга, он скромно потуплял глаза, застенчиво улыбался и отвечал:

— Я всегда пишу о хороших людях.

И всем своим видом давал понять, что пишет о хороших людях потому, что сам хороший и в жизни замечает только хорошее, а плохого совсем не видит.

Хорошими его героями были представители так называемых мужественных профессий: геологи, гляциологи, спелеологи, вулканологи, полярники и альпинисты, которые борются со стихией, то есть силой, не имеющей никакой идеологической направленности. Это давало Ефиму возможность описывать борьбу почти без участия в ней парткомов, райкомов, обкомов (чем он очень гордился) и тем не менее проталкивать свои книги по мере написания, примерно по штуке в год, без особых столкновений с цензурой или редакторами. Потом многие книги перекраивались в пьесы и киносценарии, по ним делались теле- и радиопостановки, что самым положительным образом отражалось на благосостоянии автора. Его трехкомнатная квартира была забита импортом: румынский гарнитур, арабская кровать, чехословацкое пианино, японский телевизор «Сони» и финский холодильник «Розенлев». Квартиру, кроме того, украшала коллекция диких предметов, привезенных хозяином из многих экспедиций. Предметы были развешаны по стенам, расстелены на полу, расставлены на подоконниках, на книжных полках, на специальных подставках: оленьи рога, моржовый клык, чучело пингвина, шкура белого медведя, панцирь гигантской черепахи, скелеты глубоководных рыб, высушенные морские ежи и звезды, нанайские тапочки, бурятские или монгольские глина-

ные фигурки и еще всякая всячина. Показывая мне лекцию, Ефим почтительно комментировал: «Это мне подарили нефтяники. Это мне подарили картографы. Это — спелеологи».

В печати сочинения Рахлина оценивались обычно очень благожелательно. Правда, писали о них в основном не критики, а те же самые спелеолухи (так всех мужественных людей независимо от их реальных профессий именовал друг Ефима Костя Баранов). Отзывы эти (я подозреваю, что Ефим сам их и сочинял) были похожи один на другой и назывались «Нужная книга», «Полезное чтение», «Это надо знать всем» или как-нибудь в этом духе. Они содержали обычно утверждения, что автор хорошо знаком с трудом и бытом изображаемых героев и достоверно описывает романтику их опасной и нелегкой работы.

Во всех его рассказах (раньше Ефим писал рассказы), повестях (потом стал писать повести) и романах (теперь он пишет только романы) действуют люди как на подбор хорошие, прекрасные, один лучше другого.

Ефим меня уверял, что описываемые им персонажи и в жизни такие. Будучи скептиком, я в этом глубоко сомневался. Я знал, что люди везде одинаковы, что и на дрейфующей льдине среди советского коллектива есть и партийные карьеристы, и стукачи, и хоть один кадровый работник госбезопасности тоже имеется. Потому что в условиях изоляции и долговременного отрыва от родины у некоторых людей даже очень большого мужества может появиться желание выразить какую-нибудь идейно незрелую мысль или рассказать сомнительный в политическом отношении анекдот. Не говоря уж о том, что эта самая льдина может придрейфовать куда угодно и нет никакой гарантии, что ни у кого из хороших людей не хватит мужества остаться на чужом берегу.

Когда я высказывал Ефиму это свое циничное мнение, он даже позволял себе сердиться и горячо уверял меня, что я ошибаюсь, в суровых условиях действуют другие законы и мужественных людей судить по обычным меркам нельзя. «В каком смысле нельзя? — спрашивал я. — В том смысле, что не найдется среди них ни од-

ного, который сбежит? Не найдется ни одного, который погонится за сбежавшим? А если найдутся и тот и тот, кто из них хороший, а кто плохой?»

В конце концов Ефим просто замолкал и поджимал губы, показывая, что спорить со мной бесполезно, для того, чтобы понимать высокие устремления, надо самому обладать ими.

Во всех его романах непременно случалось какое-нибудь центральное драматическое происшествие: пожар, буря, землетрясение, наводнение со всякими к тому же медицинскими последствиями вроде ожогов, обморожений, откочки утопленников, после чего хорошие люди бегут, летят, плывут, ползут на помощь и охотно делятся своей кровью, кожей, лишними почками и костным мозгом или проявляют свое мужество каким-то иным, опасным для здоровья способом.

Сам Ефим был мужественным, но не храбрым. Он мог тонуть в полынье, валиться с какой-нибудь памирской скалы, гореть при тушении пожара на нефтяной скважине, но при этом всегда боялся тринадцатых чисел, черных кошек, вирусов, змей, собак и начальников. Начальниками он считал всех, от кого зависело дать ему что-то или отказать, поэтому в число начальников входили редакторы журналов, секретари Союза писателей, милиционеры, вахтеры, билетные кассиры, продавцы и домоуправы.

Обращаясь к начальникам с большой или маленькой просьбой, он при этом делал такое жалкое лицо, что отказать ему мог только совершеннейший истукан.

Он всегда просил, вернее, выпрашивал все, начиная от действительно важных вещей, например переиздания книги, до самых ничтожных, вроде подписки на журнал «Наука и жизнь». А уж как он хлопотал о том, чтобы «Литературка» отметила его пятидесятилетие юбилейной заметкой с фотографией, как боролся за то, чтобы ему дали хоть какой-нибудь орден, — об этом можно написать целый рассказ или даже повесть. Я писать ни того, ни другого не буду, скажу только, что битву свою Ефим выиграл лишь отчасти: заметка появилась без фотографии и без всяких оценочных эпитетов, а вместо ор-

дена ему в порядке общей очереди была вручена Почетная грамота ВЦСПС.

Впрочем, замечу к слову, кое-какие металлические знаки отличия у Ефима все же имелись. В конце войны, прибавив себе в документах пару лет, Ефим (он уже тогда был мужественным) попал в армию, но до фронта не добрался, был ранен во время бомбежки эшелона. Это его неудачное участие в войне было отмечено медалью «За победу над Германией». Двадцать или тридцать лет спустя ему за то же самое дали по юбилейной медали, в семидесятом году он получил медаль в честь столетия Ленина, а в семьдесят первом — медаль «За освоение нефтегазовых месторождений Западной Сибири». Эту награду Ефиму выдал нефтегазовый министр в обмен на экземпляр романа «Скважина», посвященного, между прочим, не западносибирским, а бакинским нефтяникам. Упомянутые медали украшали ефимовскую анкету и в биографических данных позволяли ему со скромным достоинством отмечать: «Имею правительственные награды». А иной раз он писал не правительственные, а боевые, так звучало эффектней.

Меня Ефим посещал обычно по четвергам, когда ему как ветерану войны в магазине напротив моего дома давали польскую курицу, пачку гречки, рыбные палочки, банку растворимого кофе и слипшийся засахаренный мармелад «Лимонные дольки». Все это он носил в большом портфеле, в котором помещались и другие закупленные по дороге продукты, а также пара экземпляров только что вышедшего романа для подарков случайно встреченным нужным хорошим людям. Там же, конечно, была и новая рукопись, с которой он спешил ознакомить своих друзей, в число которых включал и меня. Я до сих пор хорошо помню толстую желтую папку с коричневыми завязками и надписью «Дело».

Поставив портфель на стул, Ефим осторожно вытаскивал папку и вручал мне, одновременно как бы и смущаясь и оказывая честь, которой он не каждого удостоивал (не каждый, правда, спешил удостоиться).

— Знаешь, — говорил он, отводя при этом глаза, — мне очень важно знать твое мнение.

Иногда я пытался как-нибудь отбрыкаться:

— Ну зачем тебе мое мнение? Ты же знаешь, что от критики я отошел, потому что всерьез заниматься критикой не дают, а не всерьез ею заниматься не стоит. Я работаю в институте, получаю зарплату. А о текущей литературе писать не собираюсь. Ни о твоих книгах, ни о других.

Он в таких случаях пугался, смущался и пытался меня уверить, что ни на какую печатную критику и не надеется, ему достаточно только моего высокоавторитетного устного мнения.

И конечно, я всегда давал слабину.

Однажды, впрочем, я сильно на Ефима рассердился и сказал не ему, а своей жене:

— Вот придет, и я ему скажу, что я его книгу не читал и читать не буду. Я не хочу читать про хороших людей. Я хочу читать про всяких негодяев, неудачников и проходимцев. Про Чичикова, Акакия Акакиевича, про Раскольникова, который убивает старух, про человека в футляре или про Остапа Бендера. А мой любимый герой — дезертир, торгующий краденными собаками.

— Подожди, не горячись, — попыталась меня утихомирить жена. — Посмотри хотя бы первые страницы, может быть, в них все-таки что-то есть.

— И смотреть не желаю! В них ничего нет и быть не может. Глупо ожидать от вороны, что она вдруг запоет соловьем.

— Но ты хоть полистай.

— И листать нечего! — Я швырнул рукопись, и она разлетелась по всей комнате.

Жена вышла, а я, поостыв, стал собирать листки, заглядывая в них и возмущаясь каждой строкой. В конце концов я пролистал всю рукопись, прочел несколько страниц в начале, заглянул в середину и в конец.

Роман назывался «Перелом». Один из участников геологической экспедиции сломал ногу (и вначале даже мужественно пытался это скрыть), а врача поблизости нет, он находится в поселке за сто пятьдесят километров, и имеющийся у экспедиции вездеход, на беду, сломался. И вот хорошие люди несут своего мужественного товарища на руках, в дождь и снег, через топи и хляби, переживая неимоверные трудности. Больной хотя и му-

жественный, но немного отсталый. По-хорошему отсталый. Он просит друзей оставить его на месте, потому что они уже нашли конец нужной жилы, которая очень нужна государству. А раз нужна государству, то и для него она дороже собственной жизни. (Хорошие люди тем особенно и хороши, что своей жизнью особо не дорожат.) Герой просит его оставить и получает, разумеется, выговор от хороших своих товарищей за оскорбление. За высказанное им предположение, что они могут покинуть его в беде. И хотя у них кончились все припасы: и еда и курево — и ударили морозы, они все-таки донесли товарища до места, не бросили, не пристрелили, не съели.

Все было ясно. На листке бумаги я набросал некоторые заметки и ждал Ефима, чтобы сказать ему правду.

В четверг, как всегда, он явился, нагруженный своим раздутым портфелем, из которого и мне досталась банка болгарской кабачковой икры.

Мы поговорили о том о сем, о последней передаче «Голоса Америки», о наших домашних, о его сыне Тишке, который учился в аспирантуре, о дочке Наташе, жившей в Израиле, обсудили одну очень смелую статью в «Литературной газете» и оценили шансы консерваторов и лейбористов на предстоящих выборах в Англии. Почему-то отношения консерваторов и лейбористов Ефима всегда волновали, он регулярно и заинтересованно пересказывал мне, что Нил Киннок сказал Маргарет Тэтчер и что Тэтчер ответила Кинноку.

Наконец я понял, что уклоняться дальше некуда, и сказал, что рукопись я прочел.

— А, очень хорошо! — Он засуетился, немедленно извлек из портфеля средних размеров блокнот с Юрием Долгоруким на обложке, а из кармана ручку «Паркер» (подарили океанологи) и выжидательно уставился на меня.

Я посмотрел на него и покашлял. Начинать прямо с разгрома было неловко. Я решил подсластить пилюлю и сказать для разгона что-нибудь позитивное.

— Мне понравилось... — начал я, и Ефим, подведя под блокнот колено, застрочил что-то быстро, прилежно, не пропуская деталей. — Но мне кажется...

Паркеровское перо отделилось от блокнота, на лице Ефимовом появилось выражение скуки, глаза смотрели на меня, но уши не слышали.

Это была не осознанная тактика, а феномен такого сознания, обладатели которого видят, слышат и помнят только то, что приятно.

— Ты меня не слушаешь, — заметил я, желая хотя бы частично пробиться со своей критикой.

— Нет-нет, почему же! — Слегка смутясь, он приблизил перо к бумаге, но записывать не спешил.

— Понимаешь, — сказал я, — мне кажется, что, сложив ногу, человек, даже если он очень мужественный и очень хороший, во всяком случае в первый момент, думает о ноге, а не о том, что государству нужна какая-то руда.

— Кобальтовая руда, — уточнил Ефим, — она государству нужна позарез.

— А, ну да, это я понимаю. Кобальтовая руда, она, конечно, нужна. Но она там лежала миллионы лет и несколько дней, наверное, может еще полежать, каши не просит. А нога в это время болит...

Ефим поморщился. Ему было жаль меня, чуждого высоких порывов, но спорить, он понимал, бесполезно. Если уж в человеке чего-то нет, так нет. Поэтому он ограничил нашу дискуссию пределами, доступными моему пониманию, и спросил, что я думаю об общем построении романа, о том, как это написано.

Написано это было, как всегда, из рук вон плохо, но я увидел в глазах его такое отчаянное желание услышать хорошее, что сердце мое дрогнуло.

— Ну, написано это... — Я немного помялся. — ...Ну, ничего. — Посмотрел на него и поправился: — Написано довольно хорошо.

Он просиял:

— Да, мне кажется, что стилистически...

За такой стиль, конечно, надо убивать, но, глядя на Ефима, я промямлил, что по части стиля у него все в порядке, хотя есть некоторые шероховатости...

Тут он полез в карман, то ли за платком, то ли за валидолом, и я понял, что даже некоторых шероховатостей достаточно для небольшого сердечного приступа.

— Маленькие шероховатости, — поспешил я поправиться. — Совсем небольшие. А впрочем, может быть, это мое субъективное мнение. Ты знаешь, меня и раньше всегда ругали за субъективизм. А объективно это вообще хорошо, здорово.

— А как тебе понравилось, когда Егоров лежит и смотрит на Большую Медведицу?

Егоровым, кажется, звали главного героя. А вот где он лежит и на что смотрит, этого я припомнить не мог и вынужденно похвалил Егорова и Большую Медведицу.

— А сцена в кабинете начальника главка? — посмотрел на меня Ефим, поощряя к нарастающему восторгу.

О боже! Какого еще главка! Я был уверен, что там все действие происходит только на лоне недружелюбной природы.

— Да-да-да, — сказал я, — в главке это вообще, это да. И название очень удачное, — добавил я, чтобы подальше уйти от деталей.

— Да, — загорелся Ефим. — Название мне удалось. Понимаешь, речь же идет не просто о переломе конечности. Это было бы слишком плоско и примитивно. Одновременно происходит перелом в отношении к человеку, перелом в душе, перелом в сознании... Там, ты помнишь, они понесли его к больнице и видят за замерзшим окном расплывшийся силуэт...

Разумеется, и этого я не помнил, но о силуэте отозвался самым одобрительным образом и, чтоб избежать дальнейших подробностей, вскочил и, пряча глаза, поздравил Ефима с удачей.

Моя жена вылетела на кухню, и я слышал, как она там давилась от смеха, а он, пользуясь ее отсутствием, кинулся ко мне с рукопожатием.

— Я рад, что тебе понравилось, — сказал он взволнованно.

Покинув меня, он, как и следовало ожидать, тут же разнес по всей Москве весть о моем восторженном отзыве, сообщил о нем, кроме прочих, Баранову, который немедленно позвонил мне и, шепелявя больше обычного, стал допытываться, действительно ли мне понравился этот роман.

— А в чем дело? — спросил я настороженно.

— А в том дело, — сердито сказал Баранов, — что своими беспринципными похвалами вы только укрепляете Ефима в ложном мнении, будто он в самом деле писатель.

Этот Баранов, будучи ближайшим другом Рахлина, никогда его не щадил, считал своим долгом говорить ему самую горькую правду, иногда даже настолько горькую, что я удивлялся, как Ефим ее терпит.

Ефим жил на шестом этаже писательского дома у метро «Аэропорт» — исключительно удобное место. Внизу поликлиника, напротив (одна минута ходьбы) — производственный комбинат Литературного фонда, налево (две минуты) — метро, направо (три минуты) — продовольственный магазин «Комсомолец». А еще чуть дальше, в пределах, как американцы говорят, прогулочной дистанции, — кинотеатр «Баку», Ленинградский рынок и 12-е отделение милиции.

Квартира была просторная, а стала еще просторнее после того, как семья Ефима сократилась ровно на четверть. Это случилось после того, как дочь Наташа уехала на историческую родину, а точнее сказать, в Тель-Авив. Уехала, между прочим, с большим скандалом.

Чтобы понять причину скандала, надо знать, что жена у Ефима была русская — Кукушкина Зина, родом из Таганрога. Кукуша (так ее ласково звал Ефим) была полная, дебелая, похотливая и глупая дама с большими амбициями. Она курила длинные иностранные сигареты, которые доставала по блату, гуляла, как говорится, «налево», пила водку, пела похабные частушки и вообще материлась как сапожник. Она работала на телевидении старшим редактором отдела патриотического воспитания и выпускала программу «Никто не забыт, ничто не забыто». Кроме того, была секретарем партбюро, депутатом райсовета и членом общества «Знание», а под лифчиком носила крест, верила в мумие, телепатию, экстрасенсов и наложение рук, словом, была вполне современной представительницей интеллектуальной элиты. Она сохранила девичью фамилию, чтобы не портить себе карьеры, и по той же причине сделала Кукушкиными и записала русскими своих детей. Ее стратегия долго себя оправдывала. Она сама делала карьеру

и литературным успехам мужа способствовала чем могла.

Ей уже было сильно за сорок, а у нее все еще были любовники, чаще военные, а из них самый важный — дважды Герой Советского Союза генерал армии Побратимов. Они познакомились в ту давнюю пору, когда, еще будучи заместителем министра обороны, он увидел Кукушу по телевизору. Она так привлекла генерала, что он взялся курировать передачу «Никто не забыт, ничто не забыто». Мне рассказывали, что во времена, когда Ефим отправлялся с мужественными людьми в дальние командировки или, по выражению Баранова, искать приключений на свою ж... Побратимов присылал, бывало, за Кукушей длинную черную машину с адъютантом, маленького роста брюхатым полковником по имени Иван Федосеевич. Случалось это обычно днем, в самое что ни на есть рабочее время. Иван Федосеевич, в форме, с полным набором орденских планок, являлся в редакцию, по-штатски здоровался со всеми Кукушиными сослуживцами, широко улыбался всеми своими золотыми коронками и важно сообщал:

— Зинаида Ивановна, вас ждут в Генеральном штабе с материалом.

Кукуша складывала в папку какие-то бумаги и удалялась, а кто и что судачил там за спиной, ее не очень-то волновало.

А когда генерал сам навещал Кукушу, то сначала перед домом появлялся милиционер-регулирующий, потом на двух «Волгах» прибывали и рассредоточивались вокруг дома какие-то люди, похожие на слесарей. В таких случаях, несмотря даже на капризы погоды, на лавке перед подъездом устраивалась парочка влюбленных. Они или пили из одной бутылки вино, или обнимались, причем он (так изображал мне дело Баранов) оттягивал ее кофточку и бормотал что-то в пазуху, где, вероятно, прятался микрофон. Затем появлялось такси, которое, посадив гражданина в темных очках и надвинутой на очки серой шляпе, немедленно укатывало. Наблюдательные соседи заметили, что шофером такси был все тот же переодетый Иван Федосеевич, ну а кем был пассажир, об этом стоит ли говорить?

Из всех Кукушиных любовников генерал Побратимов был самым щедрым и благодарным. Хотя в последнее время он мало чем мог быть полезным. Не угодив высшему начальству, он был смещен за «бонапартизм» и с прилепленными в утешение маршалскими звездами услан командовать отдаленным военным округом. Но и уезжая, он своих друзей не забывал: Тишке Кукушкину помог освободиться от армии, а Ивана Федосеевича устроил военным комиссаром Москвы и способствовал присвоению ему генеральского звания.

Кукушкина Наташа в свое время работала переводчицей в Интуристе и тоже готовилась в аспирантуру, пока не встретила молодого научного сотрудника НИИ мясо-молочной промышленности Семена Циммермана, которому родила сына, названного по настоянию отца Ариэлем в честь (подумать только!) министра обороны Израиля. Кукуша боролась против этого имени, как могла, обещала, что никогда внука с таким именем не признает, потом все-таки признала, но называла его Артемом. Коварный Циммерман, однако, подготовил Кукуше еще более страшный удар. Явившись однажды домой, Наташа сообщила, что она и Сеня (Циммерман) решили переселиться на историческую родину и ей нужна справка от родителей об отсутствии у них материальных претензий. Это известие повергло Кукушу в ужас. Она умоляла Наташу опомниться, бросить этого проклятого Циммермана, подумать о своем ребенке. Она попрекала ее своими материнскими заботами, скормленными ей в детстве манной кашей и рыбьим жиром, напоминала о советской власти, давшей Наташе образование, о комсомоле, воспитавшем ее, пугала капитализмом, арабами и пустынным ветром хамсином, плакала, пила валерьянку, становилась перед дочерью на колени и грозила ей самыми страшными проклятиями. Справку она, конечно, не дала и запретила это делать Ефиму. Больше того, она написала в Интурист, в НИИ мясо-молочной промышленности, в ОВИР и в собственную парторганизацию заявления с просьбой спасти ее дочь, по незрелости попавшую в сионистские сети. Но сионисты проникли, видимо, и в ОВИР, потому что в конце концов Наташе разрешили уехать без справки.

Ни на прощальный вечер, ни в аэропорт Кукуша не явилась, а Ефим простился с дочерью втайне от жены и теперь скрывал, что, преодолевая постоянный страх, время от времени получает из Израиля письма, посылаемые ему до востребования на Центральный почтамт.

Наташа и ее муж устроились очень хорошо. Сеня (он теперь назывался Шимоном) определился на какой-то военный завод и получал приличное жалованье, а она работала в библиотеке. Одно только было разочарование, что Ариэль, считавшийся в СССР евреем и бывший им на три четверти, в Израиле оказался русским, поскольку был рожден от русской матери (да и сама мать, всю жизнь скрывавшая свое еврейство, теперь тоже считалась гойкой по той же причине).

Вопреки ожиданиям отъезд дочери на положении Ефима и Кукуши никак не сказался. Издательство «Молодая гвардия» по-прежнему регулярно издавало его романы о хороших людях, Кукуша продолжала работать над передачей «Никто не забыт...», руководила парткомом и носила крест, а Тишка успешно заканчивал аспирантуру.

Жизнь шла своим чередом.

Утром Ефим просыпается от легкого стука. Это упала газета «Известия», просунутая лифтершей в дверную щель. Щель эта делалась для почтового ящика, который должен был висеть изнутри. Но ящика нет. Ефим хотел заказать этот ящик еще до рождения Тишки, да все откладывал, а теперь и не нужно. Отличный естественный будильник для чутко спящего человека.

Ефим встает и, обернув свое щуплое мохнатое тело зеленым махровым халатом, шлепает в коридор, подбирает газету и с газетой — в уборную. Затем, ополоснувши лицо, на кухню — готовить завтрак для Тишки. Пока жарится яичница, варится кофе, ставятся на стол хлеб, масло, в комнате Тишки при помощи таймера включается магнитофон «Панасоник», подарок родителей. Звуки рок-музыки звучат сперва приглушенно. Затем резкое усиление звука: Тишка, идя в уборную, дверь свою оставил открытой. Звук стихает: Тишка опять закрылся, делает зарядку с гантелями. Музыка опять гремит на всю квартиру: Тишка пошел в душ, все двери открыты. Нако-

нец музыка неожиданно глохнет, и Тишка появляется на кухне умытый, причесанный, аккуратно одетый: джинсы «Ранглер», синяя полуспортивная финская курточка, белая рубашка, темно-красный галстук.

— Здорово, папан!

— Доброе утро!

Тишка садится завтракать. Ефим с удовольствием смотрит на сына: высокий, светловолосый, глаза серые, Кукушины. С сыном Ефиму повезло. Учится отлично, не пьет, не курит, занимается спортом (теннис и каратэ). Всегда занят: аспирант, член студенческого научного общества, член институтского бюро комсомола, председатель совета народной дружины.

Ест яичницу, прихлебывает кофе, без интереса скользит глазами по газете. Прием в Кремле. В Туркмении идет посевная. Честь и совесть партийного руководителя. Напряженность в Персидском заливе. Спорт, спорт, спорт...

— Ты сегодня поздно придешь? — спрашивает отец.

— Поздно. У нас сегодня вечером эстрадный концерт, а потом дежурство в дружине.

— Значит, к ужину тебя не ждать?

— Нет.

Вот и весь разговор. Тишка уходит, а Ефим опять варит кофе и жарит яичницу, теперь уже себе и Кукуше. А как только Кукуша ушла, посуду помыл и — к столу, чтобы написать за день свои четыре страницы, такая у него в среднем дневная норма.

Сейчас он только что приступил к работе над новым романом. Вернее, даже не приступил, а вложил в машинку чистый лист финской бумаги (ее недавно выдавали в Литфонде), написал сверху «Ефим Рахлин», написал посередине название «Операция» и задумался над первой фразой, которая ему всегда давалась с большим трудом. Хотя сюжет был обдуман полностью.

Сюжет (опять медицинский) развивался где-то посреди Тихого океана на исследовательском судне «Галактика». У одного из членов экипажа приступ аппендицита. Больной нуждается в немедленной операции, а делать ее некому, кроме судового врача. Но все дело в том, что именно он-то и заболел. Конечно, узнав о случившемся,

хорошие люди во Владивостоке и в Москве обмениваются радиogramмами, связываются с капитанами судов, те, естественно, тут же меняют курс и идут на помощь, но им, как во всех романах Рахлина, противостоят силы природы: шторм, туман, дождь и обледенение. Короче говоря, больной доктор принимает единственно возможное решение. Взяв ассистентом штурмана, который держит зеркало, доктор сам делает себе операцию. Но хорошие люди в это время тоже не сидят сложа руки. Как раз к концу операции к борту «Галактики» подходит флагман китобойной флотилии «Слава». Врач флагмана, рискуя жизнью, добирается до «Галактики», поднимается со своим чемоданчиком по веревочной лестнице, однако операция уже позади.

«Ну что ж, коллега, — осмотрев шов, говорит прибывший, — операция проведена по всем правилам нашего древнего искусства, и мне остается вас только поздравить».

«Тсс!» — приложив палец к обескровленным губам, шепчет прооперированный и включает стоящий на тумбочке рядом транзисторный приемник «Романтика».

Дело в том, что у него как раз сегодня день рождения и радиостанция «Океан» по просьбе его жены передает любимый романс доктора «Я встретил вас, и все былое...».

Написав название романа «Операция», Ефим задумался и попытался себе представить, как будет выглядеть это слово, если его изобразить по вертикали. Дело в том, что названия всех его романов последнего времени всегда состояли из одного слова. И не случайно. Ефим давно заметил, что популяризации литературных произведений весьма способствует включение их названий в кроссворды. Составители кроссвордов являются добровольными рекламными агентами, которых иные авторы недооценили, называя свои сочинения многословно, вроде «Война и мир», «Горе от ума» или «Преступление и наказание». В других случаях авторы оказались дальновиднее, пустив в оборот название «Полтава», «Обломов», «Недоросль» или «Ревизор».

Ефим втайне гордился тем, что сам, без посторонней подсказки открыл такой нехитрый способ пропаганды

своих сочинений. И время от времени пожинал плоды, находя в кроссвордах, печатавшихся в «Вечерке», «Московской правде», а то и в «Огоньке», заветный вопрос: «Роман Е. Рахлина». И тут же, подсчитав количество букв, радостно вписывал: «Лавина». Или «Скважина». Или (было у него и такое название) «Противовес». Слово из восьми букв «Операция» тоже для этой цели весьма годилось. А кроме того, подходило и для своеобразной шарады, которая только что пришла ему в голову. У него даже дух захватило, и он сначала записал шараду на отдельном листе бумаги, а потом позвонил Кукуше на работу:

— У тебя пара минут найдется?

— А что? — спросила она.

— Слушай, я придумал шараду. Первые пять букв — крупное музыкальное произведение, вторые пять букв — переносная радиостанция, а все вместе будущий роман Рахлина из восьми букв.

— Лысик, не морочь мне голову, у меня через пять минут запись.

— Ну хорошо, хорошо, — заторопился он. — Я тебе не мешаю. Я тебе только скажу, первая часть — опера...

— Лысик, — завопила Кукуша, — иди ты в жопу со своей оперой. — К указанному адресу Кукуша добавила несколько заковыристых выражений.

Она всегда так высказывалась, и Ефиму это нравилось, хотя сам он подобных слов избегал.

Он положил трубку и посмотрел на часы. Было четверть десятого, и Баранов, если вчера не перепил, может, уже проснулся. Он позвонил Баранову.

К телефону долго не подходили. Он намерился положить трубку, но тут в ней щелкнуло.

— Але! — услышал он недовольный голос.

— Привет, — сказал Ефим. — Я тебя не разбудил?

— Конечно, разбудил, — сказал Баранов.

— Ну, тогда извини, я тебе просто хотел загадать шараду.

— Шараду?

— Очень интересную. Первая половина слова из пяти букв — крупное музыкальное произведение, вторая половина из пяти букв — переносная радиостанция, а все вместе — хирургическое вмешательство из восьми букв.

— Слушай, старик, я вчера в Доме литераторов слегка перебрал, но ты ведь не пил. Ты арифметику давно проходил? Пять и пять сколько будет?

Улыбаясь в трубку, Ефим стал объяснять, что его шарада усложненная и состоит из двух частей, как бы налегающих друг на друга.

— Понимаешь, первая часть — опера, вторая часть — рация, последний слог первого слова является первым слогом второго слова, а все вместе — мой новый роман.

— Ты опять пишешь новый роман? — удивился Баранов.

— Пишу, — самодовольно признался Ефим.

— Молодец! — похвалил Баранов, громко зевая. — Работает без простоев. Пишешь быстрее, чем я читаю.

— Кстати, — напомнил Ефим, — ты «Лавину» прочитал?

— «Лавину»? — переспросил Баранов. — Что еще за «Лавина»?

— Мой роман. Который я тебе подарил на прошлой неделе.

— А, ну да, — сказал Баранов. — Помню. А зачем ты спрашиваешь?

— Ну, просто мне интересно знать твое мнение.

— Ты же знаешь, мнение мое крайне отрицательное.

— А ты прочел?

— Конечно нет.

— Как же ты можешь судить?

— Старик, если мне дают кусок тухлого мяса, мне достаточно его укусить, но необязательно дожевывать до конца.

Разговор в таком духе они вели не первый раз, и сейчас, как всегда, Ефим обиделся и стал кричать на Баранова, что он хам, ничего не понимает в литературе и не знает, сколько у него, Ефима, читателей и сколько ему приходит писем. Кстати, только вчера пришло письмо от одной женщины, которая написала, что они «Лавину» читали всей семьей, а она даже плакала.

— Вот слушай, что она пишет. — Ефим придвинул к себе письмо, которое лежало перед ним на виду: — «Ваша книга своим гуманистическим пафосом и романтическим настроением выгодно отличается от того потока, мо-

жет быть, и правдоподобного, но скучного описания жизни, с бескрылыми персонажами, их приземленными мечтами и мелкими заботами. Она знакомит нас с настоящими героями, с которых хочется брать пример. Спасибо вам, дорогой товарищ Рахлин, за то, что вы такой, какой вы есть».

— О боже! — застонал в трубку Баранов. — Надо же, сколько еще дураков-то на свете! И кто же она такая? Пензионерка небось. Член КПСС с какого года?

Баранов попал в самую точку. Читательница действительно подписалась Н.Круглова, персональная пензионерка, член КПСС с 1927 года. Но Ефим этого Баранову не сказал.

— Ну ладно, — сказал он, — с тобой говорить бесполезно. Не поймешь. — И бросил трубку.

Настроение испортилось. Писать уже не хотелось. Столь легко сложившийся замысел «Операции» больше не радовал. Хотя последний эпизод, где прооперированный доктор слушает любимый романс, по-прежнему казался удачным.

— Дурак, — сказал Ефим, воображая перед собою Баранова. — Нахал! Чья б корова мычала. Я написал одиннадцать книг, а ты сколько?

На этот вопрос ответить было нетрудно, потому что за всю жизнь Баранов написал всего одну повесть, был за нее принят в Союз писателей, трижды ее переиздавал, но ничего больше родить не мог и зарабатывал на жизнь внутренними рецензиями в Воениздате и короткометражными сценариями на Студии научно-популярных фильмов (в просторечии «Научной»).

Впрочем, Ефим злился не только на Баранова, но и на себя самого. Он сам не понимал, почему позволял Баранову так с собой обращаться, почему терпел от него все обиды и оскорбления. Но факт, что позволял, факт, что терпел. Иногда Ефим вступал в долгие споры о ценности своего творчества, и тогда Баранов предлагал ему или посмотреть в зеркало, или сравнить свои писания с книгами Чехова. Насчет зеркала Баранов был, ничего не скажешь, прав. Иногда Ефим и в самом деле подходил к стоявшему в коридоре большому трюмо, пристально вглядывался в свое отражение и видел перед собой жал-

кое, лопухое, сморщенное лицо с мелкими чертами и голым теменем, по которому рассыпалась одна растущая посередине и закручивающаяся мелким бесом прядь. И видел большие, выпученные еврейские глаза, в которых не было ничего, кроме бессмысленной какой-то печали.

Но что касается Чехова, Ефим читал его часто и внимательно. И ничего не мог понять. Читая Чехова, он... нет, он, конечно, никому и никогда бы в этом не признался... но, читая Чехова, он каждый раз приходил к мысли, что ничего особенного в чеховских писаниях нет и он, Рахлин, пишет не хуже, а, может быть, даже немного лучше.

Ефим нервно ходил по комнате. Злясь на Баранова и на себя самого, он размахивал руками, бормотал что-то бессвязное, корчил рожи, а иногда даже по-старомодному, как лейб-гвардии офицер (неизвестно откуда в нем проснулся этот не соответствующий его происхождению атавизм), вытягивался в струнку, — щелкал пятками (никак не каблуками, потому что был в мягких шлепанцах), делал резкий кивок головой, сквозь зубы произносил: «Нет уж, увольте!» — и несколько раз даже плюнул в лицо воображаемого оппонента, то есть Баранова.

Умом Ефим сознавал, что в его дружбе с Барановым нет никакого смысла. Он был согласен с Кукушей, которая не понимала, что его связывает с Барановым. Он меня любит, отвечал ей Ефим, хотя сам в это не верил. Верил не верил, но что-то такое между ним и Барановым было. Если не любовь, то привязанность. Да такая привязанность, что оба, обмениваясь взаимными оскорблениями и попреками, одного дня не могли обойтись друг без друга, а может быть, и без самих этих попреков и оскорблений.

Не понимая этого до конца, Ефим решил прекратить с Барановым всякие отношения. Он решил это совершенно твердо (так же твердо, как решал это тысячу раз) и почувствовал (в тысячу первый раз) облегчение и успокоенность. В конце концов, он не один, у него есть любимая жена, есть любимый сын, есть блудная дочь, тоже, впрочем, любимая. Да, она уехала, но их отношения сохранились, она пишет, он пишет, и они все еще близки. И кро-

ме того, у него есть неистощимый источник муки и радости — его работа. Вот он сейчас опять сядет за машинку, ему надо только придумать первую фразу, а там дальше дело пойдет само по себе. Пусть про него говорят, что он не очень хороший писатель. А где критерии, кто хороший, а кто не хороший? Нет критериев. Во всяком случае, самому Ефиму нравилось, как он пишет, и он хорошо знал, что, если бы его не печатали и не платили денег, он все равно писал бы для себя самого. Но его печатают довольно внушительными тиражами и платят такие деньги, каких он не имел никогда. В свое время, будучи рядовым сотрудником журнала «Геология и минералогия», он за зарплату, во много раз меньшую, вынужден был ежедневно ходить на работу, выслушивать нарекания начальства, когда опаздывал (что, правда, случалось редко), и отпрашиваться в поликлинику или в магазин.

Сейчас он сочинит первую фразу, а там все пойдет своим чередом. Появятся описания природы, появятся люди, они вступят между собой в какие-то взаимоотношения, и начнется тот тайный, необъяснимый и не каждому подвластный процесс, который называется творчеством.

Переселив себя, Ефим сел за машинку, и само собой написалось так:

«Штормило. Капитан Коломийцев стоял на мостике и тоскливо озира́л взбесившееся («Именно взбесившееся», — подумал Ефим) пространство. Огромные волны громоздились одна за другой и бросались под могучую грудь корабля с самоотверженностью отчаянных камикадзе...» Сравнение волн с камикадзе понравилось Ефиму, но он вдруг засомневался, как правильно пишется это слово — ками или комикадзе. Он придвинул к себе телефон и механически стал набирать номер Баранова, но тут же вспомнил о своем бесповоротном решении.

Не успел опустить трубку, как его собственный телефон зазвонил. Ефим всегда утверждал, что по характеру звонка можно догадаться, кто звонит. Начальственный звонок обычно резок и обрывист, просительский — переливчат и вкрадчив. Сейчас звонок был расхлябанный, наглый.

— Ну что тебе еще? — спросил Ефим, схватив трубку.

— Слушай, слушай, — зашепелявил Баранов, — я тебе совсем забыл сказать, что писателям шапки дают.

— Понятно, — сказал Ефим и бросил трубку. Но бросил не для того, чтобы нагрубить Баранову, а по другой причине.

Надо сказать, что Ефим и Баранов, живя на порядочном расстоянии друг от друга, чаще всего общались по телефону. По телефону обсуждали все волнующие их проблемы и события, которых бывало всегда в изобилии. Сплетни о тех или иных своих коллегах, об очередном заседании в секции прозы, о том, кто где проворовался, к кому от кого ушла жена и о многих политических событиях. Они критиковали колхозную систему, цензуру, книгу первого секретаря Союза писателей, обсуждали все события на Ближнем Востоке, побег на Запад очередного кагэбэшника, заявление новой диссидентской группы, передавали друг другу новости, услышанные по Би-би-си. А для того чтобы их никто не подслушал или, подслушав, не понял, они разработали (отчасти стихийно) сложнейшую систему иносказаний и намеков, что-то вроде особого кода, в соответствии с которым все имена, названия и основные направления их размышлений были искажены до неузнаваемости. Сами же они понимали друг друга с полуслова. И если, например, Ефим сообщал Баранову, что, по словам бабуся, в Лондоне наметился большой урожай грибов, то Баранов, заменив в уме «грибы» «шампиньонами», а шампиньонов — шпионами, понимая, что под «бабусей» имеется в виду Би-би-си, делал вывод, что, по сообщению этой радиостанции, из Лондона высылаются большая группа советских шпионов. Разумеется, такой высылке оба радовались, как радовались в жизни всем другим неудачам и неприятностям государства, того самого, ради которого книжные герои Ефима охотно рисковали и жертвовали отдельными частями своего тела и всем телом целиком. А когда, например, Баранов позвонил Ефиму и сказал, что может угостить свежей телятиной, тот немедленно выскочил из дому, схватил такси и поперся к Баранову к черту на кулички в Беляево-Богородское вовсе не в расчете на отбивную или ростбиф, а приехав, получил на очень короткое время то, ради чего и ехал, — книгу Солженицына «Бодался теленок с дубом».

Итак, Баранов позвонил и сказал, что писателям дают шапки. Ефим сказал: «Понятно» — и бросил трубку, чтобы не привлекать внимания тех, кто подслушивает. И стал думать, что мог Баранов иметь в виду под словом «писатели» и под словом «шапки».

Естественно, ему пришло в голову, что речь идет о группе экономистов, которые недавно написали открытое письмо о необходимости более смелого расширения частного сектора. Это письмо попало на Запад, его передавали Би-би-си, «Голос Америки», «Немецкая волна», «Свобода» и канадское радио. Теперь, вероятно, этим «писателям» дали «по шапке». Ефиму хотелось узнать подробности, и он взглянул на часы. Было еще слишком рано. Все радиостанции, которые он слушал, вещали только по вечерам, а работавшую круглосуточно «Свободу» в его районе не было слышно.

До вечера ждать было слишком долго, и он, забыв о своем прежнем решении, позвонил Баранову.

— Я насчет этих шапок, — сказал он взволнованно. — Их уже выдали или только собираются?

— Их не выдают, а шьют, — объяснил Баранов.

— Что ты говоришь! — вскричал Ефим, поняв, что «писателям» «шьют дело», то есть собираются посадить.

— А что тебя удивляет? — не понял Баранов. — Ты разве не слышал, что на последнем собрании Лукин говорил, что о писателях будут заботиться еще больше, чем раньше. Что в Сочи строят новый Дом творчества, в поликлинике ввели курс лечебной гимнастики, а в Литфонде принимают заказы на шапки. Я вчера там, кстати, был и заказал себе ушаночку из серого кролика.

— Так ты мне говоришь про обыкновенные зимние шапки? — осторожно уточнил Ефим.

— Если хочешь, то можешь сшить себе летнюю.

Ефим ни с того ни с сего разозлился.

— Что ты мне звонишь, голову с утра морочишь! — закричал он визгливо. — Ты знаешь, что утром у меня золотое время, что я утром работаю!

Он бросил трубку, но через минуту поднял ее снова.

— Извини, я погорячился, — сказал он Баранову.

— Бывает, — сказал тот великодушно. — Кстати, в поликлинике работает новый психиатр. Кандидат медицинских наук Беркович.

Ефим пропустил подковырку мимо ушей и спросил, что именно Баранову известно о шапках. Тот охотно объяснил, что по решению правления Литфонда писателям будут шить шапки соответственно рангу. Выдающимися писателям — пыжиковые, известным — ондатровые, видным — из сурка...

— Ты понимаешь, — сказал Баранов, — что выдающиеся писатели — это секретари Союза писателей СССР, известные — секретари Союза писателей РСФСР, видные — это Московская писательская организация. К видным могут быть причислены некоторые не секретари, а просто писатели.

— Вроде нас с тобой, — подсказал Ефим и улыбнулся в трубку.

— Ну что ты, — охладил его тут же Баранов. — Ну какие ж мы с тобой писатели! Мы с тобой члены Союза писателей. А писатели — это совсем другие люди. Им, может быть, дадут что-нибудь вроде лисы или куницы, я в мехах, правда, не разбираюсь. А нам с тобой кролик как раз по чину.

Ефим сознавал, что именно таким образом выглядела иерархия в Союзе писателей, но Баранов все же зарывался, сравнивая Ефима с собой, о чем ему следовало напомнить. Ефим, однако, сдержался и ничего не сказал, потому что Баранов был в общем-то прав. Написав одиннадцать книг, Ефим хорошо знал, что, даже если он напишет сто одиннадцать, начальство все равно будет ставить его на самое последнее место, ему все равно будут давать худшие комнаты в Домах творчества, никогда не подпишут на журнал «Америка», никогда не напечатают фотографию к юбилею, ну и шапку дадут, конечно, самую захудалую. В таком положении были и свои (другим, может быть, незаметные, но Ефиму очевидные) преимущества: ему никто не завидовал, никто не зарился на его место, а он втихомолку продолжал тискать романы о хороших людях.

Поэтому и сейчас он не стал спорить с Барановым и сказал, пусть, мол, за шапки борются те, кому нечего

делать, а у него есть своя шапка, волчья, ему в прошлом году подарили оленеводы.

Положив трубку, он вынес телефонный аппарат в другую комнату и накрыл его подушкой, чтоб не мешал. Вернулся к машинке и, впад в некий раж, стал быстро-быстро стучать по клавишам, не соображая, что пишет. А писал он вот что: «В Литфонде писателям дают шапки. Может быть, это даже хорошие шапки, но мне они не нужны. Потому что у меня есть своя шапка. У меня есть очень хорошая шапка. У меня есть волчья шапка. Она теплая, она мягкая, и никакая другая шапка мне не нужна. Пусть другие борются за шапки.

Пусть за шапки борются те, кому делать нечего. А мне есть что делать, и шапка у меня тоже есть. У меня есть совсем новая волчья шапка. Она мягкая, она теплая, она хорошая. А ваша шапка мне не нужна, можете оставить ее себе, можете ее скушать, можете ею подавиться, если не сможете ее прожевать».

На этом месте он сам себя остановил, перечитал написанное и удивился. С ним и раньше бывало, что он писал, находясь как бы не в себе, но обычно это все-таки имело какое-то отношение к разрабатываемому сюжету. А тут получилась какая-то чепуха. Выкривив обе губы в выражении, означающем крайнюю озадаченность, Ефим покачал головой и сунул лист под кипу лежавших справа от машинки старых черновиков. Именно этот текст даст впоследствии повод критику Сорокину сказать, что талант Рахлина не был оценен по достоинству. Но надо сказать, что и сам Ефим свое сочинение тоже не оценил. Поэтому, вставив новый лист, он опять принялся сочинять что-то про капитана Коломийцева, который стоял на штормовом ветру и придерживал рукой шапку, чтоб не слетела.

Он заметил, что опять написал слово «шапка» неосознанно. Разозлился на себя, шапку вычеркнул и вписал фуражку с выцветшим «крабом».

«Капитан Коломийцев стоял на штормовом ветру и придерживал рукой форменную фуражку с выцветшим «крабом».

Это было значительно лучше. Но одного капитана Ефиму было мало, надо было сразу же вводить в дейст-

вие главного героя, который проходил как раз (зачем проходил, Ефим еще не придумал) мимо капитана Коломийцева.

— Доктор! — окликнул его капитан.

— К вашим услугам, сэр! — весело откликнулся доктор и по привычке старого интеллигента приподнял шапку.

«Тьфу!» — сплюнул Ефим и в досаде хлопнул себя по колену. Да что ему дались эти шапки!

Он вынул и этот лист и собирался заправить следующий, когда раздался телефонный звонок.

— Слушай, — сказал Баранов, — я твою «Лавину» прочел, это гениально.

Такого Баранов еще никогда не говорил, Ефим просто опешил и не знал, что сказать. Впрочем, он тут же заподозрил, что в оценке содержится какой-то подвох, и переспросил Баранова, что он имеет в виду.

— Я имею в виду твой роман «Лавина», — повторил Баранов.

— Но ведь ты же двадцать минут назад сказал, что ты роман не читал.

— Двадцать минут назад я его не читал, а теперь прочел.

— Баранов, — застонал Ефим, — оставь меня в покое. Ты же знаешь, что я по утрам работаю. («В отличие от некоторых», — хотел добавить он, но не добавил.)

— Ну, смотри, как хочешь, — сказал Баранов. — Я хотел тебе высказать свое мнение... Дело в том, что роман талантливый...

Все-таки произнесенный эпитет звучал так заманчиво, что, даже предчувствуя каверзу, Ефим трубку не положил.

— Роман гениальный, но сильно затянут, — гнул свою линию Баранов.

— Почему же это затянут? — насторожился Ефим.

— Ну вот давай разберем. Возьмем самое начало:

«День был жаркий. Савелий Моргунов сидел за столом и смотрел, как жирная муха бьется в стекло». Потрясающе!

— Ну да, это у меня неплохо получилось, — застеснявшись, признал Ефим.

— Не неплохо, — стоял на своем Баранов, — а потрясающе! Великолепно! Но слишком мрачно.

— Мрачно?

— Очень мрачно!

Эта оценка была приятна Ефиму, потому что в глубине души он всегда хотел написать что-нибудь мрачное, а может быть, даже непроходимое.

— Ужас как мрачно, — повторил Баранов. — Но на этом надо и кончать. И так все понятно. Лето в разгаре, солнце в зените, жара невыносимая, а окна закрыты. Савелий сидит, муха бьется в стекло, пробиться не может. Савелию жарко. Он изнывает. Он смотрит на муху и думает, что он вот так же, как эта муха, бессмысленно бьется в стекло. И ничего не выходит. А к тому же жара. Он сидит, потеет, а муха бьется в стекло. Кстати, он кто, этот Савелий?

— Прораб, — осторожно сказал Ефим.

— Так я и думал. Тем более все ясно. Жара стоит, муха бьется, прораб потеет. Материалов не хватает, рабочие перепились, начальство кроет матом, план горит, премии не будет. Прораб потеет, настроение мрачное, муха бьется в стекло. Он понимает, что жизнь не удалась, работа не клеится, начальство хамит, жена скандалит, сын колется, дочь проститутка.

— Что ты за глупости говоришь! — завизжал Ефим тонким от оскорбления голосом. — Кто колется? Кто проститутка? У меня нет никаких проституток.

— Да что ты расшумелся, — сказал Баранов. — Какая разница, кто у тебя есть, кого нет. Я так додумал, довообразил. Ты должен читателю доверять, оставить ему простор для фантазии. Зачем же ты пишешь шестьсот страниц, когда все ясно с первой строки?

— Ничего тебе не ясно! — закричал Ефим еще более тонко. — У меня вообще не бывает никаких наркоманов и никаких проституток. Я пишу только о хороших людях, а о плохих не пишу, они меня не интересуют. А прораб у меня вообще старый холостяк.

— А-а, педераст! — обрадовался Баранов. — Тогда другое дело. Тогда все приобретает другое значение. Он сидит, он потеет, муха бьется в стекло...

Ефим не выдержал, бросил трубку.

Он хотел опять вынести аппарат, но тот зазвонил у него в руках.

— Лысик, — зажурчала трубка Кукушиным голосом, — совсем забыла сказать, чтобы ты до обеда никуда не уходил. Из прачечной должны привезти белье.

— Хорошо, — сказал Ефим и стал ждать сигналов отбоя.

Его краткий ответ Кукушу удивил.

— Квитанция на столике перед зеркалом, — сказала она, чтобы услышать опять его голос и понять, что с ним.

— Хорошо.

— Лысик, — встревожилась Кукуша, — ты чем-то расстроен?

— Нет.

— Лысик, не свисти, — сказала Кукуша. — Я же слышу по твоему голосу, что ты не в себе. Что случилось?

Ефим всегда разговаривал с женой исключительно вежливо и даже заискивающе, но тут, возбужденный Барановым, разозлился.

— Ну что ты ко мне привязалась? — закричал он плачущим голосом. — Я тебе говорю — ничего не случилось. Все хорошо, все прекрасно. Савелий летает, муха потеет, в Литфонде шапки дают.

— Что? — удивилась Кукуша. — Лысик, ты случаем не чокнулся?

— Возможно. — Ефим так же быстро пришел в себя, как и вспылil: — Извини, это меня Баранов довел.

— Я так и думала. И что ж он тебе такого сказал?

— Да ничего, ничего, даже рассказывать неохота. Говорит, в Литфонде писателям будут шить шапки.

Кукуша заинтересовалась, и Ефим, уже успокоившись и улыбаясь, повторил то, что услышал от Баранова, — о распределении шапок по чинам: выдающимся — пыжиковые, известным — ондатровые, видным — из сурка...

— А мне, — сказал он, — из кролика.

— Почему это тебе из кролика? — строго спросила Кукуша.

Он опять, повторяя Баранова, сказал почему.

— Это глупости, — сказала Кукуша. — Баранову можно вообще ничего не давать, потому что он бездельник и

алкаш. А ты — писатель работающий. Ты в командировки ездишь, тебе приходится встречаться с важными людьми, ты не можешь ходить в шапке из кролика.

— Да что ты разволновалась! Я и не хожу в кролике, ты знаешь, у меня есть хорошая шапка. Волчья.

Кукуша замолчала. Она всегда так делала, когда выражала недовольство.

— Ну, Кукушенька, ты чего? — залебезил Ефим. — Ну, если хочешь, я схожу, запишусь. Но они же мне не дадут. Ты же знаешь, я не секретарь Союза писателей, не член партии и с пятым пунктом у меня не все в порядке.

— Ну, если ты сам так ощущаешь, что ты неполноценный, то и ходить нечего. Ты хуже всех, и тебе ничего не нужно. У тебя есть своя шапка. Какое им дело, что у тебя есть! У тебя, между прочим, еще семья есть и взрослый сын. У него шапка вытерлась, он ее уже два года носит. Да что с тобой говорить! Ты же у нас вежливый, ты добрый, тебе ничего не нужно, ты всем улыбаешься, всем кланяешься, у тебя все хорошие, и ты тоже хороший, и ты хуже всех.

Послышались частые гудки — Кукуша прервала разговор.

— Сумасшедшая баба, — кладя трубку, сам себе улыбнулся Ефим. — Надо же, хороший — и хуже всех. Женская логика.

Несмотря на то, что Кукуша на него накричала, ему было приятно все, что было ею о нем сказано. Приятно сознавать, что ты такой добрый, хороший, бескорыстный и скромный. Но при этом он стал думать, что, может быть, она права. Он хороший, но не слишком ли? Он ведет себя скромно, а почему? Он опять вспомнил свой писательский стаж, количество написанных книг и отзыв пенсионерки Кругловой.

Он вынул из машинки лист с незаконченным описанием капитана Коломийцева и со вздохом (видать, сегодня он уже свою норму не выполнит) быстро сочинил заявление, в котором, прежде чем изложить суть, перечислил восемнадцать лет, одиннадцать книг, правительственные награды, к чему прибавил, что часто приходится ездить в дальние командировки, включая районы Крайнего Севера (то есть шапка должна быть теплая), а также

встречаться с людьми мужественных профессий и местными руководителями (то есть шапка должна быть достойной столичного писателя). На всякий случай упомянул он о своей неутомимой общественной деятельности — член совета по приключенческой литературе.

Заявление получилось на целую страницу и заканчивалось просьбой «принять заказ на пошив головного убора из...», тут он задумался, название меха для выдающихся и известных писателей назвать не посмел, сурком ограничивать возможности начальства не захотел и потому написал неопределенно: «...из хорошего меха».

Перед тем как Ефим отправился в кабинет Литфонда, его посетил сказочник Соломон Евсеевич Фишкин, живший двумя этажами ниже. Он поднялся в пижаме и шлепанцах попросить сигарету, поделиться сюжетом сказки и новыми сведениями о страданиях Васьки Трешкина, поэта и защитника русской природы от химии и евреев. Васька был человек высокий, худой, дерганный и очень мрачного вида. Мрак проистекал оттого, что Васька себя считал (да так оно и было) со всех сторон стесненным представителями неприятной ему национальности. Над ним жил Рахлин, под ним Фишкин, слева литературовед Аксельрод, справа профессор Блок. Напрягая усталый мозг, Васька много раз считал, думал и не мог понять, как же это получается, что евреев в Советском Союзе (так говорил ему его друг Черпаков) по отношению ко всему населению не то шесть, не то семь десятых процента, а здесь, в писательском доме, он, русский, один обложен сразу четырьмя евреями, если считать только тех, кто вплотную к нему расположен. Получалось, что в этом кооперативном доме и, очевидно, во всем Союзе писателей евреев никак не меньше, чем восемьдесят процентов. Эта статистика волновала Трешкина и повергала его в уныние. Считая себя обязанным уберечь Россию от всеобщей, как он выражался устно, евреизации, а письменно — сионизации, Васька бил в набат, писал письма в ЦК КПСС, в Президиум Верховного Совета СССР, в Союз писателей, в Академию наук и в газеты. Время от времени он получал уклончивые ответы, иногда его куда-то вызывали, беседовали, выражали сочувствие, но при этом обращали внимание на принятые в нашей стране

принципы братского интернационализма и терпимого отношения даже к зловредным нациям. Терпимость, однако, по мнению Васьки, давно уже перешла все границы. Евреи (они же сионисты) с помощью сочувствующих им жидо-масонов давно уже (так говорил Черпаков) захватили ключевые позиции во всем мире и в нашей стране, выбирают евреев президентами и премьер-министрами, а руководителям иного национального происхождения подсовывают в жены евреек. Ежедневно и ежечасно они оплетают весь мир паутиной всеобщего заговора. Признаки этого заговора Васька находил повсюду. Вечерами, глядя в небо, он видел, как звезды перемещаются в пространстве, складываются в сионистские кабалистические фигуры и перемигиваются друг с другом. Он видел тайные сионистские символы в конструкциях зданий, расположении улиц и природных явлениях. Листая газеты или журналы, он находил в них как бы случайно поставленные шестиконечные звездочки, а глядя «на просвет», различал тайные водяные знаки или словесное вредительство. С одной, например, стороны напечатано «Праздник русской песни», а с другой — заголовок международной статьи «Никогда не допустим» (вместе получается: «Праздник русской песни никогда не допустим»). Сообщая об этом по инстанциям, Васька понимал, на какой опасный путь он вступил, и чувствовал, что сионисты, пытаясь от него избавиться, травят его не имеющими запаха газами и невидимыми лучами, отчего жена его заболела раком, а сам он страдает от головных болей и преждевременной импотенции. Пытаясь уберечься, он всегда принимал пищу, воду кипятил, а в кальсоны вкладывал свинцовую фольгу, чтобы защитить свой половой механизм от радиации. Недавно он сообщил в ЦК КПСС, в КГБ и в Союз писателей о загадочном исчезновении своей кошки, которая была или украдена, или отравлена сионистами. Ответа он не получил.

Дверь в квартиру Рахлиных была приоткрыта, и, войдя в нее, Фишкин застал Ефима перед зеркалом в дубленке и держащим над головой в правой руке джинсовую кепку, а в левой — волчью шапку.

— Ефим, — удивился сосед, — что с вами? Может быть, вам кажется, что у вас две головы?

Недоумение сказочника было, однако, тут же рассеяно; Ефим, сообщив о своих намерениях, сказал Фишкину, что не знает, как быть. В кепке он выглядит несолидно, и ему могут отказать как несолидному, а если придет в шапке, ему могут отказать как уже имеющему шапку.

— Люди совсем посходили с ума, — покачал головой Соломон Евсеевич. — Мне уже двадцать человек звонили про эти шапки. Все волнуются и атакуют Литфонд. Кстати, вот вам мой совет — идите совсем без шапки. В вашей дубленке вы выглядите солидно. В таком виде никто не может подумать, что у вас нет шапки, и никто не посмеет сказать, что вам не нужна шапка. Впрочем, — сказал он, подумав, — вам все равно не дадут ничего, кроме какой-нибудь дряни.

— Ну почему же не дадут? — раздраженно спросил Ефим. — Вам дадут, а мне не дадут.

— Ну что вы, Ефим, они поступят гораздо более справедливо: они и вам не дадут, и мне не дадут. И знаете почему? Потому что мы оба для них гадкие утята. Между прочим, на эту тему я придумал новую сказку. Хотите послушать?

Ефим, конечно, не хотел (кто ж хочет слушать чужие сказки?), но отказывать старику было неудобно.

— Давайте, только быстро, а то я не успею.

— Я уверен, что вам понравится, — пообещал Фишкин. — Сказка так и называется — «Возвращение гадкого утенка». Здорово, а?

— Не очень, — сказал Ефим. — Хорошее название всегда состоит из одного слова.

— Допустим, — легко согласился Фишкин. — Назовем ее просто «Возвращение». Вот слушайте. Гадкий Утенок, затравленный своими братьями, ушел от них, жил на маленьком и пустынном озере и там вырос в Настоящего Прекрасного Лебедя. Обнаружив это, он обрадовался и захотел вернуться к своим, показать им, что он не то чтобы лучше всех, но, по крайней мере, не так уж плох. Он даже готов великодушно простить им прошлые обиды. Но они встречают его еще враждебней, чем раньше. Дело в том, что, пока его не было, они сами себя стали называть лебедями. Причем у них есть своя иерархия, а в ней место Прекрасного Лебедя занимает Селезень,

который думает, что он большой, хотя на самом деле он просто жирный. А еще есть два Гордых Лебеда, четыре Славных и шестнадцать Стремительных. «А кто же остальные?» — спрашивает их пришедший. Ему отвечают, что остальные — это просто лебеди.

— Это вы про Союз писателей? — перебил Ефим.

— Да при чем тут ваш вонючий союз? — возмутился Фишкин, как будто он сам в этом союзе не состоял. — Это вообще про людей. Слушайте дальше. Услышав такой ответ, Прекрасный Лебедь говорит: «Хорошо. Я ни на что особенное не претендую. Я хочу быть таким, как все. Пусть я буду тоже просто лебедем». Тут все утки переполошились, некоторые стали смеяться, а другие разгневались. Надо же, говорят, какое нахальство, мы в лебеди всю жизнь пробивались, а он хочет это звание получить просто так. А другие стали говорить, что он просто тронутый, у него мания величия. Ну а потом все же подумали, пожалели (все-таки свой брат, лапчатый) и решили предоставить ему место Гадкого Утенка...

— С испытательным сроком! — радостно подсказал Ефим.

— Точно, — улыбнулся Фишкин.

— И он согласился?

— А этого я еще не додумал, — сказал Фишкин. — Пожалуй, все же не согласился. Обиделся, вернулся на свое озеро, плавает там, смотрит на свое отражение и говорит сам себе, но не очень уверенно: «Нет, все-таки мне кажется, что я больше похож на лебеда, чем они».

— А утки что о нем говорят?

— В том-то и дело, что они о нем не говорят ничего. Они хотят о нем забыть и делают вид, что его вообще нет. Потому что, если помнить, что он существует, им надо называть себя не лебедами, а как-то иначе.

Рассказав затем о пропавшей трешкинской кошке, Фишкин стрельнул две сигареты (одну про запас) и прошлепал к себе вниз, а в скором времени на лестнице появился Ефим в дубленке и красном шарфе, с непокрытой головой. Слегка перекашиваясь под тяжестью туго набитого портфеля, он нажал кнопку. Ожидая лифт, он думал о только что услышанной сказке и сам воображал себя непонятым Прекрасным Лебедем.

Лифт со стуком и скрежетом подошел. Проехав два этажа, Ефим вспомнил, что забыл квитанцию на белье.

Он расстроился, потому что был суеверен и верил, что, если что-то забыл, пути не будет. Остановил лифт и вернулся. Взял квитанцию и, прежде чем опять выйти, посмотрел в зеркало — так требовала примета. В зеркале он увидел не Прекрасного Лебедя, а Немолодого Грустно-го Человека Еврейской Наружности и к тому же беззубого — оказывается, он забыл еще и вставные челюсти. Пока он насаживал челюсти и долго перед зеркалом щелкал ими, лифт угнали, он решил не дожидаться, пошел пешком.

Когда он проходил мимо квартиры Трешкина, дверь, обитая коричневым дерматином, приотворилась, и поэт выставил в проем пол-лица с горящим подозрительным глазом. «Куда это он, интересно, идет и почему без шапки?» — думал Трешкин. Увидев соседа, Ефим не хотел с ним здороваться, понимая, что тот ни за что не ответит. Но, подчиняясь врожденной воспитанности, сказал «здрате» и дернул рукой, чтобы дотронуться, как обычно, до шапки, но коснулся голого лба, сжался, сконфузился и улыбнулся поэту. Тот, понятно, ни на улыбку, ни на приветствие никак не ответил, втянул лицо внутрь и со стуком захлопнул дверь.

Он удалился к себе в кабинет и в специальной тетради с клеенчатой обложкой сделал следующую запись: «Сегодня в 11.45 вниз по лестнице пешком (несмотря на исправность лифта!!!) проследовал сионист Рахлин с большим портфелем, без шапки».

Обычно лифтерша сидела со своим вязаньем внизу у казенного телефона, но сейчас ее на месте не оказалось.

Ефим встретил ее во дворе, она бегала очень взволнованная.

— Надо ж какое нахальство! — кричала она на весь двор, обращаясь неизвестно к кому. — Бесстыжие! Милиции на вас нету!

— Варвара Григорьевна, что случилось? — поинтересовался Ефим.

— Да как же, что случилось? Зла не хватает, честное слово! Воничу развели! Пьянь рваная. Идут от магазина к метро, и каждый норовит завернуть под арку. Я ему го-

ворю: «Гражданин, чтой-то вы такое делаете и куды ж вы ссыте? Здесь же вам все ж таки не туалет. Здесь такие люди живут, писатели, а вы поливаете. Вон же ж он, туалет, через дорогу...» И милиция, главное, на это дело ноль внимания. Я участковому сколько раз говорила: неудобно, все ж таки здесь писатели живут, не то что мы с вами, говорю, а он... Ой, батюшки, Ефим Семеныч, да чтой-то с вами? — перебила она сама себя. — Чтой-то вы в такой мороз да без шапочки? Головку-то застудите, а головка-то ваша не то что у нас, нам-то нашими головами хоть гвозди заколачивай, а ваша-то головенка для дела нужна, а вы ее так вот прямо непокрытую носите.

— А ничего, Варвара Григорьевна, надо ж и закаляться, — бодро ответил Ефим и, отдав лифтерше квитанцию, пошел дальше. Мороз на самом деле был небольшой, но задувал ветер, и лысина с непривычки мерзла.

Выйдя из подворотни, Ефим сразу попал в круговорот беспорядочного движения людей и машин, уминавших серый, перемешанный с солью снег. Около всех киосков, расположенных против дома и у метро, топтались и дышали паром терпеливые темные очереди: в одном — за пломбиром в пачках по сорок восемь копеек, в другом — за венгерским горошком в стеклянных банках, в третьем — за болгарскими сигаретами «Трезор». Четвертая очередь образовала кривую линию на остановке маршрутного микроавтобуса, связывавшего метро «Аэропорт» с Ленинградским рынком.

В холле производственного комбината было шумнее обычного. Несколько человек толкались у столика усатой брюнетки Серафимы Борисовны, принимавшей заказ на копирку и гдээрзовские ленты для пишущих машинок. Поэт-песенник Самарин демонстрировал своей молодой и полной жене новый костюм. Широко расставив ноги, он стоял посреди холла в пиджаке, утыканном иголками, и огромная лисья шапка копной выгоревшего сена неуверенно держалась на голове. Между ног его туда-сюда озабоченно ползал здоровый и краснолицый закройщик Саня Зарубин с клеенчатым сантиметром на шее. Со всех сторон слышны были негромкие разговоры, заглушаемые время от времени доносящимся из подвала ужасным визгом. Это механик по швейным машинкам

Аркаша Плотов, овладев смежной профессией, обтачивал фарфоровые зубные протезы, которые делал, конечно, «налево».

Будучи полностью обеспечен и копиркой, и лентами для машинок, и даже финской бумагой, Ефим тем не менее протолкался к Серафиме Борисовне и вручил ей извлеченную из портфеля плитку шоколада «Гвардейский». От нее же он узнал, что заказы на шапки оформляет лично директор Андрей Андреевич Щупов, человек новый, строгий и очень принципиальный. Определение «строгий и принципиальный» означало, что не берет взятки или берет не со всех, в отличие от старого директора, который на том и погорел, что брал без разбору. Погорел, впрочем, не так уж и сильно, его перевели директором подмосковного Дома творчества, где он тоже жил не только на зарплату. Очередь к директору начиналась здесь, в холле, и уходила в коридор к черной директорской двери.

— Кто последний за пыжиком? — шутя спросил Ефим.

Последним был юморист Ерофеев, мрачный пожилой человек со шрамом на левой щеке.

— За пыжиком, милейший, в очереди не стоят, — назидательно объяснил он Ефиму. — Пыжика приносят на дом, говорят «спасибо» и кланяются. Стоят за мехом попроще.

Ефим обратил внимание, что составлявшие очередь писатели тоже о своих головных уборах подумали. Некоторые были, как он, без ничего, другие в кепках и шляпах, а Ерофеев мял в руке милицейскую шапку со следом от звездочки. Ратиновое пальто на Ерофееве было растегнуто и открывало длинный темный пиджак с двумя рядами орденов и медалей. «Вот дурак-то!» — подумал про себя Ефим, ему следовало не писать о своих наградах, а нацепить их. Хоть и невысокого достоинства, а впечатление производят.

Он стал за юмористом и, не теряя времени даром, достал из портфеля экземпляр «Лавины», развернул на колене и на титульном листе размашисто начертил:

«Андрею Андреевичу Щупову в знак глубокого уважения. Е. Рахлин».

— Какое сегодня число? — спросил он у Ерофеева и, проставляя дату, услышал:

— Фима!

Оглянувшись и увидел сидевшего за журнальным столиком у окна своего бывшего однокашника по Литинституту прозаика Анатолия Мыльников в тяжелой нараспашку шубе. Лицо у него было красное, как из бани, виски блестели от пота, седоватая прядь волос закрутилась и слиплась на лбу.

— А я тебя не заметил, — сказал Ефим виновато. — Ты тоже за шапкой?

— Нет, — поморщился Мыльников. — У меня своя, вот. — Он показал на шапку, которую держал на коленях. — Это барсук. Мне тут один алкаш обещал импортные краны для ванной, вот я и жду. Садись, пока место есть.

— А я думал, ты за шапкой, — сказал Ефим, присаживаясь, и почему-то вздохнул. — У меня, честно говоря, тоже есть шапка. Волчья. Мне ее подарили оленеводы. Но если дают, почему же не взять?

— А, ты эти шапки, которые здесь шьют, имеешь в виду! Так эту я давно уже, месяца два тому назад, получил и отдал племяннику. Он как увидел ондатру, так чуть с ума не сошел.

— Тебе дали ондатровую шапку? — удивился Ефим.

— Да, — рассеянно подтвердил Мыльников, — ондатровую. А что?

— А ничего, — скромно сказал Ефим. — Баранову, например, дали из кролика. Ну, ты же у нас, — Ефим лстиво улыбнулся, — живой классик.

Карьера Мыльникова по непонятным Ефиму причинам сложилась более успешно, чем его собственная, хотя Мыльников писал не только о хороших людях, писал не так много и печать его больше ругала, чем хвалила. Но обруганные книги Мыльникова привлекли внимание, были переведены на несколько языков, и начальству приходилось с этим считаться. Мыльникова, несмотря на ругань, продолжали печатать и даже выпускали за границу в составе разных делегаций и отдельно. Наблюдая за карьерой Мыльникова, Ефим видел, что для большого успеха гораздо выгоднее время от времени вызывать недовольство начальства, но при этом уметь балан-

сировать и что одни только хвалебные отзывы критиков на самом деле ничего не значат: тебя одновременно и хвалят и презирают.

На свои заграничные гонорары Мыльников купил себе экспортную «Волгу» (другие писатели, в лучшем случае, ездили на «Жигулях»), видеомагнитофон, а дома угощал гостей виски и джином.

Сейчас он рассказывал Ефиму о своей недавней поездке в Лондон, где он прочел пару лекций, давал интервью, видел последний порношедевр и даже выступал по Би-би-си. По его словам, он имел в Лондоне бурный успех.

— В «Таймс» обо мне писали, что я современный Чехов, — говорил Мыльников вполголоса. — В «Гардиан» была очень положительная рецензия...

Он начал было пересказывать эту рецензию, но тут подошла Ефимова очередь, и его позвали к директору.

Войдя в директорский кабинет, Ефим увидел за тяжелым столом под плакатом с портретами членов Политбюро утрюмого человека с деревянным лицом, не имеющим выражения.

— Здравствуйте, Андрей Андреевич! — бодро поздоровался Ефим и тряхнул головой. Он попытался изобразить легкую, открытую и естественную приветливость, но под тяжелым взглядом директора съежился, ощущая, как лицо само по себе сморщивается в угодливую, несчастную и ничтожную вроде улыбку.

Директор ничего не ответил.

Перегибаясь под тяжестью портфеля на одну сторону и чувствуя во всем теле жалкую суетливость, Ефим продвинулся к столу, на ходу нелепо улыбаясь и кланяясь.

— Рахлин Ефим Семенович, — назвал он себя и посмотрел на директора, надеясь, что тот тоже представится. Но Андрей Андреевич продолжал смотреть на Ефима недружелюбно и прямо, не ответил, не встал, не подал руки, не предложил даже сесть.

Обычно руководители мелких обслуживающих организаций были с писателями вежливей.

Не дождавшись приглашения, Ефим сам придвинул стул, сел, поставил портфель на колени и, почти овладев собой, умильно посмотрел на Андрея Андреевича:

— Значит, вы теперь у нас будете директором?

— Не буду, а есть, — поправил Андрей Андреевич, и это были первые слова, которые от него услышал Ефим.

— Ну да, да, да, — закивал Ефим торопливо. — Конечно, не будете, а есть, это я неправильно выразился. Вы к нам, вероятно, из торговой сети пришли?

Андрей Андреевич посмотрел на Ефима внимательно, помолчал, разглядывая, а потом сказал просто:

— Нет, я из органов.

На этот ответ внутренние органы Ефима отреагировали рефлекторным похолоданием и некоторым опусканием в низ живота. Нет, он не испугался (бояться не было причины), но неестественно дернулся и сначала опустил, а затем поднял голову. Он устремил свой взгляд на директора, давая ему понять, что ему нечего, совершенно нечего скрывать от органов, он перед ними как стеклышко чист. Но, встретившись с тяжелым взглядом директора, смутился, потупился, взгляда не выдержал. И тем самым выдал себя с головой. Кто совершенно чист, тому незачем прятать глаза.

— Из органов! — повторил он, пытаясь взбодрить самого себя. — Очень приятно! — Всею своей фигурой и лицом он изображал почтение к прежней деятельности директора, но глаза его предательски бегали. — Значит, вас прислали сюда на укрепление?

— Да, — разжал губы Андрей Андреевич, — на укрепление. А вам что уютно?

Смущаясь, робея, уже и не пытаясь поднять глаза, Ефим торопливо стал объяснять, что он слышал, что в Литфонде можно сшить шапку, причем ему нужна хорошая шапка, потому что он часто бывает в экспедициях весьма важного государственного и научного назначения, где он изучает жизнь наших мужественных современников.

Андрей Андреевич выслушал Ефима и спросил, член ли он Союза писателей. Ефим объяснил, что уже восемнадцать лет член, что билет ему в свое время вручил лично Константин Федин, что он, Рахлин, ветеран войны, имеет правительственные награды, написал одиннадцать книг и активно участвует в комиссии по приключенческой литературе. И выложил на стол заявление.

Директор проскользил глазами по тексту, открыл ящик стола и долго в него смотрел, шевеля губами. Затем ящик с грохотом был задвинут, а на заявлении Ефима красным карандашом изображена наискосок длинная резолюция. Ефим схватил заявление, вскочил на ноги, похлопал по карманам, достал очки, нацепил их и прочитал: «Принять заказ на головной убор из меха «Кот домашний средней пушистости».

— Кот домашний, — повторил Ефим неуверенно. — Это что такое «кот домашний»?

— Вы что, никогда кошек не видели? — Наконец директор, кажется, удивился.

— Нет, почему же, — возразил Ефим. — Кошек я, в общем, видел, у моего соседа кошка недавно пропала. Но, чтобы из кошек шили шапки, этого я, признаться, не знал. А, извините за некомпетентность, кошка считается лучше кролика или хуже?

— Я думаю, хуже, — предположил директор лениво. — Кроликов разводить надо, а кошки сами растут.

Он замолчал и устремил взгляд в пространство, ожидая, когда посетитель выйдет.

Посетитель, однако, не уходил. Он стоял потрясенный. Он пришел бороться за шапку лучше кролика, а ему предлагают хуже кролика. Теперь ему надо бороться даже за кролика, хотя даже кролик его никак устроить не может.

— Но позвольте... — начал Ефим, сильно волнуясь. — Я, собственно, не совсем понимаю. Если кошка хуже, чем кролик, то почему же мне из кошки? Я все-таки ветеран. Имею боевые награды. Восемнадцать лет в Союзе писателей. Написал одиннадцать книг.

— Очень хорошо, что написали, — сказал директор и замолчал.

— Но вот вчера у вас был Константин Баранов. Он тоже член Союза писателей, но написал только одну книгу, а я одиннадцать. Но вы даже ему подписали из кролика. Почему же Баранову из кролика, а мне из кота?

— Я не знаю, кто такой Баранов и что я ему подписал. У меня есть три списка писателей, а вас ни в одном из них нет. А для идущих вне списка у меня остались только кошки. Ничего больше предложить не могу.

ЧОНКИН



40%

0,5 л

охлаждать перед употреблением

РУССКАЯ ВОДКА



1994. На съемках "Тонкина".
С режиссером Ириш Менцелем.



В главных ролях
Зоя Буряк и
Геннадий Назаров



С кабаном Борькой.



Кузьма Зладичев
(Алексей Марков) собирает
казнить корову на
месте преступления.



Премия "Триумф".
 В прежние времена лауреату
 из всех поощрений применялось одно —
 скетче предвзвешенных взысканий.



С другими лауреатами



После премьеры мюзикла Корчмского
театра „Как Ваня Чоккин самолет сторожил“
Автор текста Юлий Ким, композитор Вл. Дашкевич.



Пассажиры рейса Москва - Сочи
не подозревают, как ему подвергается
риск.



1997. Персональная выставка
в Центре либеральной политики.
В центре Центра — Егор Гайдар.



1999. Потсдамская конференция.
Посол ФРГ в России Георг
фон Штудниц, Юрий Любимов.



1998. В гостях у художника
Владимира Любарова,
деревня Перемиллово
во Владимирской области.



2000. Со Львом Николаевичем
собственной работы.



Доктор Антон Павлович



Осень в Бостоне. Из коллекции Любы Горюхиной



Найторфрукт



Цветы в бочке



Автопортрет левой ноги художника



Портрет поэта Наума Кормовича.
Карандаш.



Портрет поэтессы Татьяны Бек
с кошкой. Холст, масло.



Деревянный двор. Карточ. Акрил.



Осень в Бостоне. Анварель.



Первый автопортрет 1995-го года

Ефим пытался бороться. Пытался убедить директора, что в списках его фамилия отсутствует по недоразумению, продолжал напирать на стаж, на количество изданных книг, на свое боевое прошлое, но Андрей Андреевич сложил руки на груди и просто ждал, когда посетитель выговорится и уйдет.

Видя его непрошибаемость, Ефим сделал еще более жалкое лицо, отказался взять заявление и, бормоча ничего не значащие слова, что будет жаловаться, пошел было к дверям, но, взявшись за ручку, кое-что вспомнил и сообразил, что допустил большую оплошность, которую надо немедленно исправить.

Он повернулся и пошел назад, к директорскому столу, на ходу меняя выражение с жалкого на доброе и даже великодушное, но печать жалкости все же никуда не сошла и держалась на лице Ефима, когда он вынимал из портфеля и клал на стол перед директором экземпляр «Лавины» в ледериновом переплете.

— Совсем забыл, — сказал он, улыбаясь и кивая головой, словно кланяясь. — Это вам.

— Что это? — Андрей Андреевич, слегка отстранившись, смотрел на книгу отчужденно и с недоумением, как будто на никогда не виданный прежде предмет.

— Это вам, — еще активней заулыбался Ефим, пододвигая книгу к директору. — Это моя книга.

— Это не надо, — сказал директор и осторожно отодвинул книгу двумя руками, как предмет тяжелый, а может быть, даже и взрывоопасный. — У меня есть свои книги.

— Нет, вы меня не так поняли, — стал объяснять Ефим, словно ребенку. — Дело в том, что это не какая-то книга, это моя книга, это я ее написал.

— Я понимаю, но не надо, — сказал директор.

— Но как же, как же, — разволновался Ефим. — Это знак искреннего уважения и расположения. Тем более я вам все равно подписал, так что этот экземпляр в любом случае уже как бы испорчен.

— Мне, — продолжал упираться директор, — не нужны чужие вещи, ни хорошие, ни испорченные.

— Но это же вовсе даже не вещь! — закричал уже почти что истерически Рахлин. — Это книга, это духовная

ценность. И тем более если с автографом автора. От этого никто не отказывается. Я даже министру одному подарил...

— Меня не интересует, что вы кому дарили, — повысил голос директор. — Он встал и, перегнувшись через стол, сунул книгу в раскрытый портфель Ефима. — Заберите это и не мешайте работать.

Униженный, оскорбленный, оплеванный, Ефим вышел из кабинета.

— Ну как дела? — спросила его Серафима Борисовна.

— Очень хорошо, — жалко улыбаясь, ответил Ефим и вышел на улицу.

Похолодало. Сыпал редкий сухой снег, Ефим шел походкой старого больного человека, перегибаясь под тяжестью портфеля, набитого его собственными никому не нужными книгами о хороших людях.

— Фима! Фима! — услышал он сзади взволнованный голос и обернулся.

В расстегнутой шубе, с шапкой в руках за ним тяжело бежал Мыльников. По лицу его было видно, что он несет важное известие. У Ефима мелькнула глупая, совершенно дикая и нереалистичная мысль, что, может быть, это директор комбината просил догнать, остановить, вернуть...

Что и говорить, предположение было абсурдно. Директор промкомбината, будь он трижды из органов, не мог послать всемирно известного Мыльникова гоняться за малоизвестным писателем Рахлиным, но Ефим остановился и застыл в предвкушении чуда.

— Слушай, — переводя дыхание, махал своей барсучьей шапкой Мыльников, — совсем забыл. Еще в этой... ну как ее... в «Йоркшир пост» была обо мне статья почти что на всю страницу. С портретом... Там было написано, что я современный Кафка.

Вечером у Ефима были гости: два полярника с женами, а потом и Тишка привел свою новую подругу, которая представилась Дашей. Дашин отец работал где-то за границей в представительстве Аэрофлота, что по Дашиным нарядам было очень заметно.

Общение поначалу не клеилось. Полярники вели себя скромно, их смущало писательское звание хозяина. Де-

вица была здесь первый раз и тоже держалась скованно, время от времени бросая быстрый и цепкий взгляд то на Ефима, то на Кукушу (возможно, примеривалась). Впрочем, молодые сидели недолго. После ужина протомились еще с полчаса и церемонно откланялись. Тишка вызвал отца в коридор, стрельнул пятерку на такси и ушел провозжать Дашу, она жила в районе Речного вокзала.

После их ухода полярники, к тому времени уже слегка подвыпив, постепенно расковались и, хохоча и перебивая друг друга, стали рассказывать смешные случаи из их практики. Все истории были похожи одна на другую: один полярник провалился под лед и вместо «спасите» кричал почему-то «полундра», другой ночью украл на кухне банку консервированных кабачков, а потом мучился от поноса. Но самая любимая их байка была о начальнике экспедиции, который вышел утром «до ветру» и, сидя за сугробом, почувствовал, что кто-то лизнул его сзади. Случай этот, если действительно был, превратился в легенду, согласно которой начальник, думая, что это завхоз, спросил: «Это ты, Прохоров?» Оглянувшись, увидел белого медведя и кинулся бежать, потеряв по дороге штаны. Общение мужественных людей обычно к рассказыванию подобных побасенок и сводилось. Ефим знал все эти истории наизусть и сам, желая быть среди мужественных приятелей своим человеком, смеялся обычно громче всех, но сейчас ничто его не смешило, обида, нанесенная в Литфонде, не выходила из головы, и он только из вежливости подхихикивал, как ему самому казалось, фальшиво.

Но после нескольких рюмок армянского коньяка общее настроение передалось и ему, он сел за пианино и аккомпанировал Кукуше, которая спела для гостей несколько матерных частушек. Гости сначала смутились, но потом оказалось, что одна из пар умеет на два голоса исполнять вологодские припевки такой похабности, до какой Кукушиным частушкам было далековато. Короче говоря, вечер прошел хорошо. Гости ушли в первом часу и еще что-то долго кричали с улицы, а Ефим, стоя на заснеженном балконе, тоже кричал и махал руками. Потом он отправил Кукушу спать (ей утром опять на работу), а сам перетаскал на кухню и там долго мыл посуду, ожидая

возвращения Тишки и обдумывая дальнейшие сюжетные ходы «Операции». Ни о шапке, ни об Андрее Андреевиче он ни разу не вспомнил.

Тишка пришел после двух и, отказавшись от чаю, ушел к себе. Без четверти три Ефим залез под одеяло к Кукуше, сладко спавшей лицом к стене. Ефим привалился к ее спине, и у него возникло желание. Несмотря на возраст и гипертонию, Ефим был еще сильный мужчина и терзал Кукушу чаще, чем ей хотелось. Он не решился будить жену слишком грубо и начал ее оглаживать, постепенно продвигаясь от верхних эрогенных зон к нижним, следуя схеме, изученной им по распространяемой в самиздате ксерокопии американского руководства для супружеских пар. (Эту ксерокопию Ефим нашел однажды в нижнем ящике Тишкиного стола, проштудировал со словарем и в закодированном виде переписал себе в блокнот основные принципы.)

Дойдя до источника своего вожделения и употребив строго по инструкции палец, он достиг того, что Кукуша, еще не проснувшись, задышала прерывисто, а когда она со вздохом перевернулась на спину, он тут же овладел положением и принялся за работу, равномерно потряхивая лысой своей головой.

Прожив с Кукушей около трех десятков лет, он все еще любил ее физически. Прежняя страсть прошла, но не бесследно, а заменилась неизменно возникающим и медленно растущим чувством тягучего наслаждения, когда наступает общее обалдение и ощущение, что ты куда-то плывешь. Сейчас Ефиму тоже казалось, что он плывет, что он капитан Коломийцев; широко расставив ноги, стоит он на мостике, старый морской волк с седыми висками и пристальным взглядом серых прищуренных глаз. А вокруг бурное море и пенные буруны, низко летящие рваные облака сбились в кучу, превратились в белых лебедей, замедлили движение, плавно заскользили над головой, и он к ним поднялся и заскользил вместе с ними.

— Так что тебе сказали насчет шапки? — вдруг спросила Кукуша, спросила громко, резко, не к месту, враз разрушив обретенное им ощущение, словно подстрелила его на лету.

— Что? — спросил он, и хотя не прекратил своего дела, но сбился с ритма, затрепыхался, как птица с перебитым крылом.

— Я тебя спрашиваю, — строго повторила Кукуша, — что тебе сказали в комбинате?

Конечно, так разговаривали они не впервые. Именно в такой позиции Кукуше чаще всего приходило на ум обсудить разные бытовые проблемы вроде перестановки мебели, покупки нового холодильника и приобретения абонеента в плавательный бассейн. И всегда это Ефиму не очень-то нравилось, но сейчас резануло особенно, а в затылке появилась неприятная ломота.

— Мне сказали, что о Мыльникове писала лондонская «Таймс», а я ничего, кроме кота пушистого, не заслужил.

— Пушистого кого?

— Кота. Так у них называется домашняя кошка. Они даже Баранову дали кролика, а мне кошку.

Он пытался продолжить начатое, но что-то не ладилось.

— А ты что сделал?

— Я расстроился и ушел, — сказал Ефим.

— И это все?

— И это все.

— Молодец! — Кукуша неожиданно выскользнула из-под него и повернулась к стене.

Она не первый раз таким образом проявляла недовольство, и всегда в подобных случаях он воспринимал это как унижение и оскорбление его мужского достоинства, но при этом не скандалил, а канючил, чтобы она выражала свои настроения как-то иначе и позволила ему доехать до завершения.

На этот раз он канючить не стал, сам отвернулся, но заснуть уже не мог, переживая обиду. Несколько раз он вставал, уходил на кухню, курил, прикладывал к затылку холодную грелку, возвращался, опять ложился спиной к Кукуше.

Утром он накормил Тишку завтраком, сам выпил кофе и ушел к себе в кабинет. Он слышал, как Кукуша встала, ходила по квартире, как, привлекая его внимание, громко хлопала дверьми и что-то роняла. Все же не выдержала и заглянула к нему, уже в шубе.

— В конце концов, дело не в шапке, а в том, что ты вахлак и никогда не можешь за себя постоять. До чего ты низко пал в глазах своего начальства, если даже кролика тебе не дают.

Ефим молча смотрел в окно, за которым видны были только грязное небо, заиндевелые верхушки деревьев и крыша кооперативного дома киношников; там человек, привязанный веревкой к трубе, возился с телевизионной антенной.

— Я бы на твоём месте позвонила Каретникову.

С этим наставлением Кукуша ушла, оставив Ефима в смешанных чувствах. Он сначала решил её совет игнорировать. Но потом мысли его стали развиваться в нужном направлении. Он стал думать, что, может быть, в самом деле живет неправильно, занимает примиренческую позицию, проявляет излишнюю уступчивость и пассивность. И конечно, дело не в шапке, а в том, что он, Рахлин, тихий, робкий, вежливый человек. Рахлина можно ставить всегда на самое последнее, на самое ничтожное место, Рахлин стерпит, Рахлин смолчит.

— Вот вам Рахлин смолчит! — вдруг вскрикнул он и перед чуелом пингвина изобразил весьма неприличный жест. — Нет, — продолжал он самому себе бормотать, — я этого так не оставлю, я позвоню, я пойду к Каретникову, ему ничего не стоит, ему стоит только снять трубку, и вы лично, Андрей Андреевич, несмотря на то, что вы работали в органах... А интересно, кстати, за что вас оттуда поперли?.. Вы лично, и не кота пушистого, и не кролика, а вот ондатру принесете мне лично в зубах. Да, в зубах! — злорадно прокричал он прямо в морду пингвиного чуела.

Пожалуй, возможности своего покровителя Ефим не переоценивал. Василий Степанович Каретников был выдающийся советский писатель, государственный и общественный деятель, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР, член ЦК КПСС, лауреат Ленинской премии, лауреат Государственной премии, лауреат премии имени Горького, член Международного комитета борьбы за мир, вице-президент Общества афро-азиатской дружбы, член совета ветеранов, секретарь Союза писателей СССР и главный редактор толстого

журнала, в котором Ефим иногда печатался. Время от времени, откликаясь на просьбы Ефима, Каретников и в самом деле кому-то звонил или писал письма на своем депутатском бланке, и надо сказать, что отказа на его звонки или письма, как правило, не бывало.

Однако дома Каретникова не оказалось, жена его Лариса Евгеньевна сказала, что тот отправился в поездку по странам Африки, а потом прямо из Африки поедет в Париж на заседание какой-то комиссии ЮНЕСКО. Так что вернется недели через три. Ждать так долго не было смысла, потому что за это время все заказы уже будут приняты и даже всех кроликов уже раскроют.

Но, настроив себя определенным образом, Ефим уже не мог думать ни о чем, кроме как о шапке. И решил сходить к Лукину.

Московское отделение Союза писателей вместе с Центральным Домом литераторов занимали два соединенных вместе здания и имели два выхода — один с улицы Воровского, а другой, главный, с улицы Герцена — с большими двойными дверьми из резного дуба и с толстыми стеклами. Здесь располагались и кабинеты писательских начальников, и залы для публичных выступлений, концертов и киносеансов, ресторан, бильярдная, парикмахерская и еще всякие мелкие заведения для разнообразного обслуживания писателей. Ефим прошел через главный вход и в просторном вестибюле был встречен двумя вечными служительницами Розалией Моисеевной и Екатериной Ивановной.

Здесь он часто бывал, вестибюльным дамам время от времени, а к Женскому дню всегда, дарил духи, шоколад и свои романы, поэтому обе приветствовали его очень радушно:

— Здравствуйте, Ефим Семенович!

— Здравствуйте, Ефим Семенович! Давненько вы у нас не были.

— Да, давненько, давненько, — снимая с Ефима дубленку, отозвался гардеробщик Владимир Ильич.

Принимая от гардеробщика номерок, Ефим увидел сидевших в дальнем углу за шахматным столиком двух дружков — своего нижнего соседа Василия Трешкина и одного из секретарей Союза писателей Виктора Черпако-

ва. Они в шахматы не играли, они о чем-то между собой толковали, тихо и напряженно. Они тоже заметили Ефима и в ответ на его кивок сами кивнули недружелюбно.

Ефим положил номерок в боковой карман пиджака, подхватил портфель и направился к лестнице, ведущей на второй этаж.

— Вот, — сказал Трешкин, проводив Ефима долгим тяжелым взглядом. — У меня кот пропал, а ему шапку дают из кота. Как же это понять?

— Если мы будем ушами хлопать, они и из нас шапок наделают, — сказал Черпаков.

Это было продолжение темы, которую они начали еще в ресторане, а теперь продолжили здесь, в уголке.

Черпаков не только не рассеял опасений Трешкина насчет евреизации, но утверждал, что тот не преувеличивает, а преуменьшает степень повсеместного засилия евреев. По его словам, евреи уже распространились везде, захватили в свои руки командные посты не только в Америке и других западных странах, но фактически управляют в Генеральном штабе, в КГБ и даже в Политбюро.

— Ну, насчет Политбюро ты уж слишком, — усомнился Трешкин. — Там сионистов нет.

— Сионистов нет, а масоны есть. А масоны управляют сионистами.

— Какое же от них спасение? — в ужасе спросил Трешкин.

— Никакого, — ответил Черпаков. — Только что разве травить их по одному.

— По одному всех разве перетравишь! — вздохнул Трешкин.

— Всех не перетравишь, но хотя б некоторых.

— Фимка, скажи честно, неужели ты своей Кукуше ни разу не изменял?

Они сидели в узком коридоре перед обитой темно-зеленым дерматином дверью Лукина. Ефим пришел по своему делу, а поэтесса Наталья Кныш надеялась получить характеристику для поездки в Португалию. Кныш была дамочка пухлая, сексапильная, говорила прокуренным голосом:

— Ты знаешь, что сказал Чехов о Короленко? Он сказал, что Короленко слишком хороший человек, чтобы быть хорошим писателем. Он сказал, что Короленко писал бы намного лучше, если бы хоть раз изменил жене.

Ефим вежливо улыбался, но кокетничать был не настроен. Он думал, с какой стороны лучше подойти к Лукину, на что напирать, как добиться положительного решения дела.

Петр Николаевич Лукин был (и это значилось на вывеске — серебряные буквы на черном фоне) секретарем Московского отделения Союза писателей по организационным вопросам и относился к той породе людей, которая у нас уже вывелась. Где-то она еще существует и у нас тоже когда-нибудь возродится (я в этом, к сожалению, не сомневаюсь), но пока что, слава богу, практически вымерла.

В Союз писателей Петр Николаевич, как Андрей Андреевич Щупов, как многие другие, был передвинут из органов, где прошел путь от рядового надзирателя до генерала. Органы были его семьей, его домом, его школой, религией и идеологией. Всю свою жизнь и все здоровье он отдал органам. Он служил в органах, сажал от их имени, сам был ими посажен и ими же реабилитирован. После чего опять служил им верой и правдой, за что получил орден Дружбы народов, нагрудный знак «Почетный чекист» и звание заслуженный работник культуры, которое остряки, конечно, сократили и превратили в неприличную аббревиатуру ЗАСРАК.

И хотя сейчас он служил как будто по другому ведомству, он знал, что вся его жизнь, каждая клетка его тела, каждая частичка его души принадлежит только органам и еще, пожалуй, партии, впрочем, эти два понятия для него всегда сливались в одно.

Память у него была своеобразной, вернее, в голове его умещались две памяти: одна, полицейская, для текущих дел, а другая, генеральная, для охвата больших периодов и осмысления общего течения жизни. В молодости Петр Николаевич был романтиком, отчасти им и остался, его генеральная память была романтической. В ней сохранилась только смутная общая картина непрерывного и жертвенного служения, а такие детали, как, например,

то, что он сам лично, ради торжества высоких идеалов, выбивал кому-то зубы и даже что ему самому выбивали зубы с той же целью, ушли на задворки сознания и растворились в помутневших красках общего фона. Дело было не в том, кому чего выбивал, а в том, что при всех поворотах судьбы он никогда, ни разу, ни на минуту не усомнился в партии и органах, не усомнился в правоте «нашего общего дела». Теперь, по ночам страдая от мучившей его бессонницы, он вспоминал свою жизнь, все страдания и унижения, падения и возвышения, и со слезами умиления думал о том, что он никогда, никогда...

Партия оценила его преданность, органы тоже о нем пеклись, они устроили его на работу к писателям, и он, трудясь здесь в сложной, несходной с прежним опытом обстановке, рассматривал свою миссию как засылку во вражеский тыл.

Роста он был высокого, худощавый, подслеповатый, с лошадиным лицом и улыбкой, делавшей его похожим на французского актера Фернанделя. Улыбка не сходила с лица, потому что органы, вставляя ему казенные зубы, сделали их чуть длиннее, чем они должны были быть. Волосы у него были светлые с рыжиной, поредевшие, но до лысины не дошло, тронутые (но лишь слегка) сединой.

Отстраненный от оперативной работы, он нашел свое призвание здесь. Оно состояло в составлении казенных бумаг и оформлении их наиболее желательным образом. По существу, в этих бумагах он никогда не писал неправду, но правду искажал до неузнаваемости. Он мог легко истолковать любое высказывание, или действие, или движение души как попытку подорвать основы нашего строя и изобразить это так, что уже можно зачитывать приговор. А в другом случае мог те же самые факты использовать для представления к ордену или записи в жилищный кооператив. Писатели его ценили за то, что он, умея составлять бумаги, сам не лез в писатели, а мог бы, потому что в своем жанре равных себе не знал и вообще был почти что гений.

Сидя перед глухой дверью, Ефим и подумать не мог, что там, внутри, уже идет некая работа, связанная с его появлением. Из железного сейфа вынута толстая папка на букву Р. А из нее извлечена тоненькая папочка с шиф-

ром 14/6. А в этой папочке всего несколько листков, и что ни листок, то — золото. Конечно, Петр Николаевич мог затребовать досье любого писателя в отделе творческих кадров, но ему это было не нужно. У него были свои записи, короткие, деловитые, основанные на доступных данных, донесениях собственных осведомителей и на личных наблюдениях тоже.

Всегда, прежде чем принять человека, Петр Николаевич заглядывал в свои записи и сейчас сделал то же. И вот что прочел:

«Рахлин Ефим Семенович (Шмулевич) 23.7.27, ж. Кукушкина Зин. Иван. (д. пр. Кукуша), с. Тимофей — аспрнт. д. Наталья — Изр. др. № 2/13, е. у. в, 5 мед. Пкн. 2 с. 1 п. мел. пуб. ЛТЦНП. пум. женеув. порнaneул. скрмн. скртн. безврд. Инт. шхмт. пол (пас) СВР (бдв). мстенук. бнвпрст».

Если расшифровать указанные сокращения, то они означали:

ж. «*» жена,
д. пр. — домашнее прозвище,
с. — сын,
аспрнт. — аспирант,
д. — дочь,
Изр. — Израиль,
др. — друг,
№ 2/14 — под этим номером числился у него
в библиотеке Баранов,
е. — еврей,
у. в. — участник войны,
5. мед. 11 кн. 2 с. 1 п. — 5 медалей, 11 книг,
2 сценария, 1 пьеса,
мел. пуб. — мелкие публикации,
ЛТЦНП — литературное творчество ценности
не представляет,
пум. — пьет умеренно,
женеув. — женщинами не увлекается,
порнaneул. — в порочных наклонностях
не уличен,
скрмн. — скромн.,
скртн. — скрытен,
бзврд. — безвреден,

Инт. шхмт. пол (пас) — интересуется шахматами, политикой (пассивно),

СВР (бдв) — слушает враждебное радио (без дальнейших выводов),

мстенук. — может сотрудничать с тенденцией к уклонению,

бнвпрст. — благонадежен в пределах страны (то есть за пределы страны выпускать не следует).

Если же оценить эти данные в соответствии со специфической шкалой человеческих достоинств, принятой у Лукина, то получится примерно вот что:

ж. — фактор положительный, в кризисной ситуации можно действовать через ж.,

д. пр. — говорит о склонности к добропорядочности и стабильной семейной жизни,

с. и д. — хорошо, предохраняет от необдуманных поступков,

аспрн. — то же,

Изр. — почва для потенциальной неблагонадежности,

др. — возможный (в данном случае ненадежный) осведомитель,

е. — смотри Изр.,

у. в. — неплохо,

11 кн. 2 с. 1 п. мел. пуб. — говорят о благополучии и отсутствии причин для неожиданных действий,

ЛТЦНП — в сочетании с предыдущим пунктом факт положительный, не дает повода для излишних амбиций,

пум., женеув., порнaneул. — сочетание негативное, в случае чего не за что ухватиться,

скрмн. — хорошо, скртн. — тоже неплохо, если при этом бзврд.,

Инт. шхмт. пол (пас) — пускай,

СВР (бдв.) — хорошо, при необходимости можно использовать вместо порочных наклонностей,

мстенук. — без крайней нужды вербовать не стоит,

бнвпрст. — говорит само за себя.

Для того чтобы встретить посетителя должным образом, Лукину необходимо было знать, для чего тот пришел, и он почти всегда это знал. Сейчас тоже знал.

У него было сообщение директора производственного комбината, и сосед Рахлина, сказочник Фишкин, тоже сообщил Лукину кое-что.

К достоинствам Петра Николаевича надо прибавить то, что он был большим знатоком человеческих слабостей и талантливым лицедеем. Прежде чем пригласить Ефима, он снял с вешалки свое дорогое пальто с пыжиковым воротником и пыжиковую шапку и унес в примыкающую к его кабинету кладовку. А оттуда вынес и повесил на вешалку плащ с ватинной подкладкой и синий берет с хвостиком.

После этого он выглянул в коридор и, увидев Ефима, изобразил неподдельное удивление и даже радость.

— А, Ефим Семенович! — закричал он как бы возбужденно. — Вы ко мне? Да что же вы тут сидите? Вы бы сразу постучались. Ну, заходите, заходите. Стоп, стоп, только не через порог.

Затащив Ефима в кабинет, он его сердечно обнял и даже похлопал по спине и огорошил вопросами, из которых можно было понять, что он ни о чем, кроме как о Ефиме, не думает:

— Ну как здоровье? Как дела? Как Кукуша? Надеюсь, у Тишки в аспирантуре все в порядке? У меня, между прочим, внук тоже аспирант. В Институте кинематографии. Замечательный парень. Спортсмен, альпинист, комсомольский вожак. Вот говорят, нет в наше время молодежи, преданной идеалам. А я смотрю на Петьку — его, кстати, так в честь меня назвали — и вижу, хорошая у нас молодежь, стоящая. Ну, бывают, конечно, и отклонения. — Генерал снял и протер платочком очки. — А как, к слову сказать, Наташка? Я понимаю, вопрос деликатный, но я не официально, не с агентурной — ха-ха — точки зрения, а как тоже отец и даже как дед... Надеюсь, она как-то устроилась, не бедствует там с семьей, все в порядке?

Он, конечно, знал, что Ефим каждый вторник приходит на Главный почтамт и, натянув шапку на глаза и отворачиваясь (непонятно, на что при этом рассчитывая), протягивает в окошечко свой паспорт с фотографией, на которой его лицо с выпученными еврейскими глазами ничем не прикрыто. Но Ефим, не зная, что Петр Никола-

евич знает, неуверенно сообщил, что ему, собственно говоря, о дочери мало чего известно, он связи с ней не поддерживает.

— Ну и напрасно, — сказал Петр Николаевич. — Сейчас не прежние времена, когда, понимаешь, наличие родственников за границей могло привести к неприятностям. У меня, кстати, когда случилась вся история, оказалась тетка в Аргентине... Да я о существовании ее даже не помнил. А мне записали: скрыл. Но теперь к подобным вещам отношение принципиально переменилось. Теперь каждый понимает, что наши дети, как бы они себя ни вели, есть наши дети, мы все равно о них беспокоимся, устраиваем их в институты, в аспирантуры, достаем им ботинки, джинсы, перчатки, шапки... Да, извини, — перешел он незаметно на «ты», — ты ведь не просто так ко мне пришел. Наверное, какое-то дело.

Ефим замялся, заволновался. Ему показалось вдруг странным, что Петр Николаевич сам упомянул слово «шапки». Помявшись, он все же сказал, что именно о шапке и пойдет речь.

— О шапке? — удивленно поднял свои выцветшие брови Петр Николаевич.

— О шапке, — смущаясь, подтвердил Рахлин и тут же стал сбивчиво и путано объяснять, что он ходил в производственный комбинат, а человек, который там сидит... конечно, Ефим очень его уважает, возможно, он был ценный сотрудник органов, но все-таки работа с людьми творческого труда, как известно, требует некоторой особой деликатности и чуткого отношения, а он...

— Он отказал? — сурово нахмурился Петр Николаевич и схватился за телефонную трубку.

— Подождите, — остановил его Ефим и, еще больше волнуясь, стал объяснять, что тот не то чтобы совсем отказал, но проявил бездушие и непонимание и ему, автору одиннадцати книг, предложил кошку, когда даже Баранов, написавший за всю жизнь одну книгу, и тот получил кролика.

Пока он это говорил, Петр Николаевич стал поглядывать на часы и нажал тайную кнопку, в результате чего явилась секретарша и напомнила, что ему пора ехать на заседание в Моссовет.

Разговор принимал дурацкое направление. Петр Николаевич сказал, что сам он ни в каких шапках не разбирается, и устремил долгий взгляд куда-то мимо Ефима в сторону двери. Невольно скосив глаза в том же направлении, Ефим увидел висевший на вешалке плащ и синий потертый берет с коротким хвостиком посередине. Ему стало немного неловко, что он хлопчет о шапке, в то время когда такой хороший человек и генерал ходит в берете. А тот, не давая опомниться, тут же рассказал эпизод из своего боевого прошлого. Как, выбившись однажды из окружения, Лукин со своим отрядом блуждал по заснеженным Сальским степям, и все с ним были в рваном летнем обмундировании, в сбитой обуви и в хлопчатобумажных пилотках. И хотя Ефиму и самому в жизни приходилось попадать в разные переpleты, он, конечно, не мог не вспомнить, что в настоящее время он по заснеженным степям не блуждает и ночует не под промерзшим стогом, а в теплой кооперативной квартире, и, хотя он сюда явился без шапки, она у него все-таки есть.

И он уже готов был сдаться, но в это время в кабинет с лисьей шапкой в руке заглянул поэт-песенник Самарин, исполняющий обязанности партийного секретаря.

Холодно кивнув Рахлину, он спросил Лукина, пойдет ли тот обедать.

— Нет, — сказал генерал, взглянув на часы. — Меня ждут в Моссовете.

— Ну пока, — сказал Самарин и, выходя, взмахнул шапкой, отчего бумаги на столе Петра Николаевича шевельнулись.

И вид этой шапки поднял боевой дух Ефима, потому что Самарин хотя и парторг, но поэт никудышный, и если уж судить по талантам или значению в литературе, то на лисью шапку никак не тянет.

Осмелев, Ефим напомнил Лукину, что на войне он тоже побывал, а кроме того, ему приходилось участвовать в различных героических экспедициях, а сейчас время мирное, люди должны свои возросшие запросы полностью и по справедливости удовлетворять. А какая может быть справедливость, если тому, кто отирается около начальства, дают превосходную шапку, а тому, кто ведет себя скромно и самоотверженно трудится над созданием

книг о людях героических профессий, не дают ничего, кроме кошки?

— А где же, — сказал Ефим, — где же наше хваленое равенство? У нас же все газеты пишут о равенстве.

— Ну знаете! — Лукин возмущенно вскочил и всплеснул руками. — Ну, Ефим, ну это вы уж слишком. Из-за какой-то, понимаете, шапки, из-за какой-то паршивой кошки вон на какие обобщения замахнулись! При чем тут равенство, при чем тут высшие идеалы? Неужели мы должны бросаться нашими идеалами ради какой-то шапки? Я не знаю, Ефим... Вы моложе меня, вы другое поколение. Но люди моего поколения... И я лично... Вы знаете, на мою долю многое выпало. Но я никогда, никогда не усомнился в главном. Понимаете, никогда, ни на минуту не усомнился.

Лукин весь побледнел, задрожал, трясущимися руками полез в боковой карман, вынул бумажник, достал из него маленькую пожелтевшую фотографию.

— Вот! — сказал он и бросил на стол перед Ефимом свой последний козырь.

— Что это? — Ефим взял карточку и увидел на ней изображение девочки лет восьми с большим белым бантом на голове.

— Это моя дочь! — взволнованно прошептал генерал. — Она была такая, когда меня взяли. Причем, между прочим, — он пожал плечами и улыбнулся смущенно, — я ушел совершенно без шапки. А когда через шесть лет я вернулся, она... я имею в виду, конечно, не шапку, а дочку... она была уже большая. И даже замужем...

Он стер со щеки слезу, махнул рукой и со словами: «Извините, мне пора» — бережно положил карточку в бумажник, бумажник в карман и стал одеваться. Натянул на себя плащ, напялил на голову берет с хвостиком.

Ефим снова смутился. Сам себе он казался мерзким рвачом и сутягой. У него было даже такое чувство, что это из-за его меркантильных устремлений Петра Николаевича в свое время оторвали от маленькой дочки и увели без шапки в промозглую тьму.

Сгорбившись и пробормотав какие-то неопределенные извинения, Ефим прошаркал к выходу.

Только внизу он сообразил, что провел здесь довольно много времени — в Центральном Доме литераторов началась вечерняя жизнь. Открылись бильярдная и ресторан, в большом зале наверху телевизионная бригада представляла аппаратуру для репортажа о встрече писателей с космонавтами, в нижнем малом зале собирались члены клуба рассказчиков, в знаменитой «восьмой» комнате разбиралось персональное дело прозаика Никитина, напечатавшего в заграничном издательстве повесть «Из жизни червей», в виде червей клеветнически изображавшую советский народ. Сам Никитин утверждал, что под червями он имел в виду именно червей, и действительно имел в виду червей, но ему никто, конечно, не верил.

Непрерывно хлопали стеклянные двери, Розалия Моисеевна и Екатерина Ивановна расплывались в лстивых улыбках перед входящими начальниками, вежливо приветствовали знакомых, а у незнакомых требовали предъявления членских и пригласительных билетов.

Возле гардероба, натягивая дубленку, Ефим встретил вошедшего с мороза Баранова, тот был в темном пальто и в коричневой кроличьей шапке.

— Старик, — обрадовался другу Баранов, — смотри, я шапочку уже получил. А кроме того, сотнягу отхватил за внутренние рецензии, пошли в ресторан, угощаю.

— Нет настроения, — сказал Ефим, поднимая с полу портфель. — И повода тоже. Гонорара сегодня я не получал, а шапку мне дают из кота средней пушистости.

— Из чего? — не понял Баранов.

— Из обыкновенной домашней кошки, — объяснил Ефим. — Ты написал одну книгу — тебе дают кролика, а я написал одиннадцать — и мне кошку.

Этот разговор слушал одевавшийся перед зеркалом Василий Трешкин, но ничего нового не узнал.

— Фимка, — сказал Баранов, — а что ты дуешься на меня? Я распределением шапок не занимаюсь. По мне, пусть тебе дадут хоть из соболя, мне не жалко.

Ефим не ответил. Открыв рот, он смотрел на пробежавшего к выходу Лукина, на его пыжиковый воротник, на богатую шапку.

Ефим сперва растерялся, потом выскочил за Лукиным, желая его остановить, но не успел, персональная

«Волга» с сидящим в ней генералом, плюнув вонючим дымом, отчалила от тротуара. Ефим проводил ее отчаянным взглядом, переложил портфель из левой руки в правую и поплелся в сторону площади Восстания. Он шаркал по-стариковски подошвами своих гэдэзровских сапог, оскорбленно всхлипывал и бормотал себе под нос: «Врешь! Все врешь! Сальские степи, дочь — все вранье! Ушел — ей было восемь, пришел через шесть лет — она замужем. Дуры! — прокричал он в пространство. — Сплошная дуры!»

Занятый своими переживаниями, Ефим не видел, что следом за ним идет, не упуская его из виду, поэт Василий Трешкин, решивший изучить и понять загадочное поведение сионистов.

На Садовом кольце все светофоры были переключены на мигающий режим, движением руководили два милиционера в темных полушубках и шапках с опущенными ушами. Они почему-то нервничали, держали на тротуаре скопившихся пешеходов, свистели в свистки и размахивали палками. Не понимая, в чем дело, Ефим пробился вперед, но дальше не пускали, и он остановился прямо под светофором. Светофор равномерно мигал, и лысина Ефима равномерно озарялась желтым ядовитым сиянием.

Толпа у светофора сбилась совсем небольшая, но и в ней Трешкин упустил Ефима. Ему даже показалось (и он бы не удивился), что сионист просто растворился в воздухе. Трешкин занервничал, врубился в толпу, тут же увидел Ефима и обомлел. Он увидел, что сионист Рахлин, стоя у края тротуара, бормочет какие-то заклинания, а его лысина озаряется изнутри и испускает в мировое пространство желтые пульсирующие световые сигналы.

— ...аждане житеьсь ехода! — закричали вдруг потусторонние голоса. — Граждане, воздержитесь от перехода! — прозвучали они яснее.

Милиционер, стоявший недалеко от Ефима, отскочил в сторону, вытянулся неуклюже, поднес руку к виску. Налетели и понеслись мимо черные силуэты, воющие сирены, фыркающие моторы, шуршащие шины и летящий тревожный свет милицейских мигалок.

Ничего вокруг себя не видел Василий Трешкин. Он смотрел только на голову сиониста Рахлина и видел, как она светилась сначала желтым светом, потом вспыхнула синим и красным, и одновременно раздались страшные голоса.

Тут бы, конечно, самое время сиониста зацапать и передать в руки закона, но кому передашь, если проезжавшие правительственные лимузины передавали те же сигналы? Трешкин вдруг испугался, схватился за голову и закрыл глаза. А когда открыл их, обнаружил, что сидит на обледенелом тротуаре, прислонившись спиной к шершавой стене, вокруг негусто толпится народ, а склонившийся милиционер вежливо спрашивает:

— Папаша, а папаша! Вы, папаша, извиняюсь, пьяный или больной?

Стоя под светофором, Ефим слышал, что кому-то в толпе стало нехорошо, достигли его уха голоса, обсуждающие, вызвать ли «скорую помощь» или перевозку из вытрезвителя. В другое время Ефим посмотрел бы, что там случилось, очень он был любопытен до уличных происшествий. Но на этот раз не посмотрел, погруженный в собственные страдания, и побрел дальше, как только освободилась дорога. У метро «Краснопресненская» людской поток подхватил Ефима, втянул в подземелье и, сильно помятого, вынес наружу на станции «Аэропорт».

Тем временем Трешкин двигался к тому же конечному пункту совершенно иным путем. Оставленный милиционерами, он не пошел в сторону Пресни, а направился к Маяковской.

Вечер был холодный, небо чистое, но от городских огней оно казалось блеклым и желтым. Все же какие-то звезды пробивались сквозь желтизну, перемещались в пространстве, перемигивались, намекали на что-то непонятное Трешкину. Катили машины, торопились прохожие, а сколько среди них евреев и сколько жидо-масонов, никому не известно. Так он шел, сосредоточенно думая, и вдруг на углу Малой Бронной и Садовой-Кудринской его осенила гениальная мысль. «А что, — подумал Трешкин, — если они так и так уже все захватили, то, может, лучше сразу, пока не поздно, самому к ним податься?»

Дома Ефим поставил в угол портфель, сменил сапоги на тапочки и прошел в гостиную. Кукуша и Тишка ужинали перед телевизором и смотрели фигурное катание.

Ефим сел на диван и тоже стал смотреть, но ничего не видел, не слышал.

— Лысик, — спросила Кукуша, — ты ужинать будешь? Он ничего не ответил.

— Лысик! — повысила голос Кукуша.

Он не слышал.

— Лысик! — закричала она уже нервно. — Я тебя спрашиваю: тебе пельмени с маслом или со сметаной?

— Одиннадцать, — ответил Ефим.

— Что одиннадцать? — не поняла Кукуша.

— Я восемнадцать лет в Союзе писателей и написал одиннадцать книг, — сообщил Ефим. И, подумав, добавил: — А Баранов написал только одну.

Мать с сыном переглянулись.

— Лысик, — встревожилась Кукуша. — Ты часом не трекнулся?

— Нет, — сказал Ефим, — я этого дела так не оставляю. Сдохну, а шапку свою получу.

Он вдруг вскочил, выскочил в коридор, вернулся со своей волчьей шапкой.

— Тишка, тебе, кажется, нравится моя шапка?

— Нравится. — Тишка проглотил последний пельмень и стал вытирать губы бумажной салфеткой.

— Ну так вот, — щедро сказал Ефим. — Я тебе ее дарю. — Он напялил шапку Тишке на голову. — Смотри, тебе идет.

— А ты будешь носить мою? — спросил Тишка. Он снял шапку, посмотрел на нее и положил на стул рядом с собой.

— Твою? — переспросил Ефим. — Свою ты можешь выбросить, она уже выносилась.

— А ты в чем будешь?

— А я себе получу, — сказал Ефим. — Сдохну, а своего добьюсь.

— Лысик, поешь. — Кукуша поставила на стол тарелку пельменей. — Садись сюда, кушай. И забудь ты про эту шапку. Это я во всем виновата. Я тебя подбила. Но ты забудь это. Бог с ней, с этой шапкой. Я тебе сама куплю

такую, каких у ваших говенных писателей вообще нет ни у кого. Я тебе куплю... ну, хочешь, я тебе из серебристой лисицы куплю?

— Нет! — закричал Ефим. — Не вздумай! Я их заставлю! Вот Каретников придет, я к нему пойду и...

Он махнул рукой и заплакал.

Ефим помешался. Я узнал это сначала по телефону от Баранова, потом от встреченного в Доме литераторов Фишкина. Пока я собирался позвонить Ефиму, ко мне утром, еще не было девяти, явилась Кукуша в блестящей от растаявших снежинок норковой шубе.

— Извини, что я без звонка, — сказала Кукуша. — Но я не хотела, чтобы кто-нибудь знал о нашей встрече.

— Ничего, — сказал я, — это не важно. Извини, что я в пижаме.

— Это как раз не важно. Кстати, очень хорошая пижама. Где достал?

— Сестра привезла из Франции.

— У тебя есть сестра во Франции? — удивилась Кукуша.

— Нет, сестра у меня в Ижевске. А во Францию ездила договариваться о чем-то с заводом Рено. Кофе будешь?

— Нет, нет, я на минутку. — И совсем другим тоном: — Мне нужна твоя помощь, ты должен спасти Ефима.

Я растерялся и спросил, в чем дело, от чего я должен его спасать.

— Трекнулся, — сказала Кукуша. — Не ест, не пьет, не спит, не бреется, зубы не чистит. Он всегда Тишке готовил яичницу, теперь мальчик уходит в институт без завтрака.

— Ну, мальчику, кажется, уже двадцать четыре года, и яичницу он мог бы...

— Дело не в яичнице, — перебила Кукуша, — а в Фимке. Он совсем на этой шапке заклинился. Он уже обошел все начальство в Литфонде, в Союзе писателей, и ему везде отказали. Теперь ходит, все время бормочет: «Я восемнадцать лет в Союзе писателей, у меня одиннадцать книг, имею боевые награды». Я ему говорю: «Лысик, да что с тобой случилось, да забудь ты про эту шапку, да задержись она в доску». А он мне отвечает, что сдохнет, а шапку полу-

чит, и все ждет своего Каретникова. Вот Каретников придет, вот он вам покажет, вот он вас заставит, перед Каретниковым вы все еще попляшете. А этот хренов Каретников, то он в Монголии, то в Португалии, я даже не знаю, когда он бывает здесь. О господи! — Она зашмыгала носом и полезла в карманчик за платком. — Это я, я во всем виновата. Я его толкнула бороться за эту вшивую шапку, а теперь не могу остановить. Я ему говорю: ну, Лысик, ну, дорогой, ну, пожалуйста, я тебе десять таких шапок куплю. Он говорит: «Нет, я восемнадцать лет в Союзе, написал одиннадцать книг, имею боевые награды».

— Может быть, показать его психиатру?

— Может быть, — согласилась Кукуша. — Но, может, лучше и правда дожидаться Каретникова. Если тот поможет... Но пока... Я к тебе для чего пришла... Сходи к Фимке, развлеки его как-нибудь, поговори по-дружески, спроси, что он пишет, когда закончит. Такой интерес на него всегда действует хорошо.

Я посетил Ефима и нашел его точно таким, каким его описала Кукуша. Он меня встретил в мятом спортивном костюме с дырой на колене, худой, всклокоченный, лицо до самых глаз заросло полуседой щетиной.

— Здравствуй, Ефим! — сказал я.

— Здравствуй.

Загородив собою дверь, он смотрел на меня, не выражая ни радости, ни огорчения.

— Ну, может быть, ты меняпустишьвнутри? — сказал я.

Он вошел следом.

— Можно сесть? — спросил я.

— Садись, — пожал он плечами.

Я сел в кресло в углу под оленьими рогами, он остановился передо мной.

— Я приехал в поликлинику, — сказал я, — и вот решил заодно тебя навестить.

Он слушал вежливо, грыз черный ноготь на мизинце, но интереса к общению со мной не проявил. Я рассказал ему массу интересных вещей. Рассказал о хулиганстве детского писателя Филенкина, который в Доме творчества выплеснул свой суп в лицо директора. Ефим вежливо улыбнулся и, покончив с мизинцем, принялся за безымянный палец. Ни расовые волнения в Южной Африке,

ни перестановки в кабинете Маргарет Тэтчер его тоже не заинтересовали.

Я предложил ему перекинуться в шахматы, он согласился, но, уже расставляя фигуры, перепутал местами короля и ферзя, а партию продул в самом дебюте, хотя вообще играл гораздо сильнее меня.

Мы начали новую партию, и я спросил его, как развивается «Операция».

— Я восемнадцать лет член Союза писателей и написал одиннадцать книг, — сообщил Ефим и подставил ферзя.

Возможно, он доложил бы и о своих боевых наградах, но тут зазвонил телефон. Я переставил Ефимова ферзя на другую клетку, а своего, наоборот, подставил под удар.

— Что? — закричал вдруг Ефим. — Приехал? Когда? Хорошо, спасибо, будь здоров, вечером перезвонимся.

Он бросил трубку, повернулся ко мне, и я увидел прежнего Ефима, хотя и небритого.

— Ты слышал, — сказал он мне весьма возбужденно, — Баранов звонил, говорит, приехал Каретников.

Не могу даже описать, что дальше было с Ефимом. Он вскакивал, бегал по комнате, размахивал руками, бормотал что-то вроде того, что кто-то у него теперь попляшет, потом вернулся к шахматам, объявил мне мат в четыре хода и, посмотрев на часы, намекнул, что мне пора к доктору.

Я ушел, радуясь, что Ефим так быстро вышел из своего состояния, хотя моей заслуги в том не было.

Дальнейшее мне приходится описывать отчасти со слов самого Ефима, отчасти, полагаясь на противоречивые свидетельства других участников этой истории.

После моего ухода Ефим умылся, побрился, почистил и поставил на место зубные протезы. В перерывах между этими процедурами звонил и в конце концов дозвонился. Жена Каретникова Лариса Евгеньевна начала было говорить, что Василий Степанович нездоров и никого не принимает, но тут в трубку влез голос мнимого больного.

— Фимка! — загудел он. — Не слушай ее, хватай такси и чтоб через пять минут был здесь. Да рукопись захвати.

Каретников жил в высотном доме на площади Восстания.

Дверь Ефиму открыла Лариса Евгеньевна с жирно намазанным кремом лицом, в халате и в папильотках.

— Ну, заходи, раз пришел, — сказала она не очень приветливо. — Василий Степанович ждет. Во фраке.

Ефим прошел по длинному коридору мимо домработницы Нади, которая, стоя на шаткой стремянке, шваброй сметала обнаруженную под потолком паутину. Надя была в коротком перепоясанном ситцевом халатике.

— Здравствуйте, Наденька, — дружески поздоровался Ефим, но лицо опустил и отворотил в сторону.

Дверь в кабинет Василия Степановича распахнулась, и сам хозяин явился Ефиму в длинных футбольных трусах и в майке, прожженной на большом животе. Он втащил Ефима внутрь, закрыл и прижал плечом дверь.

— Принес? — спросил он громким шепотом.

— Принес, — сказал Ефим и вытащил из портфеля не рукопись, а чекушку.

— И это все?

— Есть и второй том, — улыбнулся Ефим и, приоткрыв портфель, показал — вторая чекушка лежала на дне.

— Вот молодец! — одобрил Василий Степанович, срывая пробку зубами. Жонглерским движением покрутил бутылку, водка запенилась и завинченной струей потекла в раскрытую жадно пасть.

Отпив таким образом примерно треть, хозяин ухнул, крикнул и спрятал бутылку на книжной полке за «Капиталом» Маркса.

— Молодец! — повторил он, отдуваясь. — Вот что значит еврейская голова! Я почему против антисемитизма? Потому что еврей в умеренном количестве полезный элемент общества. Вот, скажем, в моем журнале: я — русский, мой заместитель — русский, это правильно. Но ответственного секретаря я всегда беру еврея. У меня прошлый секретарь был еврей, и теперешний тоже. И когда мне в ЦК пытались подсунуть вместо Рубинштейна Новикова, я им сказал: дудки. Если вы хотите, чтобы я продолжал делать настоящий партийный литературный журнал, вы мне моих евреев не трогайте. Я вот уже тридцать шесть лет редактор, все пережил, но даже во времена космополитизма у меня, где надо, всегда были евреи.

И они всегда знали, что я их в обиду не дам. Но и от них я требую верности. Я Лейкина к себе вызвал, стакан водки ему поставил: «Ну, Немка, говорю, если ты на историческую родину поглядываешь, то от меня мотай по-хорошему не меньше чем за полгода до подачи. Надуешь, ноги вырву, спички вставлю и ходить заставлю».

Большой, грузный, Василий Степанович ходил по комнате, заложив руки за спину, выпятив живот, и говорил заплетающимся языком. Иногда в местах своей речи, казавшихся ему особенно удачными, хлопал себя по ляжкам и взвизгивал. Перескочив с одной темы на другую, спросил Ефима, не видел ли тот его статью.

— Где? — быстро спросил Ефим.

— Ты что же, милый друг, «Правду» не читаешь? — спросил Василий Степанович не без ехидства. — Видишь, как я тебя подловил. Ну-ну-ну, не бойся, не продам. Вот, — схватил он со стола газету и сунул Ефиму. — «Всегда с партией, всегда с народом». Хорош заголовок?

— Мм-м, — замялся Ефим.

— Мму! — передразнил Каретников, замычал по-коровьи. — Не мучайся и не мычи, я и так вижу, что морду воротишь. Название не фонтан, но зато просто и без прикрас. Всегда с партией, всегда с народом. Всегда с тем и с другим. А не то что там... — Не закончив своей мысли, он застонал, подбежал к двери и, схватив самого себя за уши, трижды головой, как посторонним предметом, стукнул в притолоку. — Ненавижу! — прорычал он и закрипел зубами. — Ненавижу, ненавижу и ненавижу! — Набычился злобно на Ефима: — Ты думаешь, кого ненавижу? Знаешь, но боишься подсказать. Власть, нашу, любимую, Советскую... нне-на-вижу. — И опять стукнул лбом об стену.

Размахивая руками, стал ходить вокруг Ефима и бормотать, словно бы про себя:

— Вот она, человеческая неблагодарность. Власть мне все дала, а я ее ненавижу. Без нее я бы кто был? Никто. А с ней я кто? Писатель! Писатель-депутат, писатель-лауреат, писатель-герой, выдающийся писатель Каретников! А из меня, — остановился он напротив Ефима, — такой же писатель, как из говна пуля. Писатель Васька Каретников. А Ваське быть бы по торговой части, как де-

душка Тихон. Тихон Каретников, кожевенные и скобяные товары. Два собственных парохода на Волге имел. А папашку моего Степана Тихоновича за эти-то пароходы и шлепнули. А я в детдоме себе происхождение подправил на крестьянское да в газете «Молотобоец» стал пописывать под псевдонимом Бывалый. Послал Горькому свой рассказ «На переломе», а тот сдуру его в альманах. Ах, суки, загубили вы Ваську Каретникова, сделали из него писателя. Ненавижу! — И хотел еще раз стукнуться головой, но, потрогав лоб, воздержался.

— Василий Степанович! — озабоченно прошептал Ефим и пальцем показал на потолок.

— Думаешь, там микрофоны? — понял Каретников. — Ну, конечно, там они есть. А я на них положил. Потому что то, что я здесь говорю, — не важно. Все знают: Каретников алкаш, чего с него возьмешь. Важно то, что я говорю не здесь, а публично. А здесь что хочу, то говорю. Тем более что обидели, суки. Обещали протолкнуть в академии меня, а протолкнули Шушугина. Академик Шушугин. А академик вместо слова «пиджак» «спенжак» пишет, вот чтоб я с этого места не встал. А его в академии. А я обижен. И все понимают, что я обижен и поэтому могу ляпнуть лишнего. Но только дома, потому что партия от нас требует преданности, а не принципов. Когда можно, я ее ненавижу, а когда нужно, я ее солдат. Ты писатель и должен понимать разницу между словами «можно» и «нужно». Я делаю то, что нужно, и поэтому мне кое-что можно, а ты того, что нужно, не делаешь, значит, тебе можно намного меньше, чем мне. Понял, в чем диалектика? Дай-ка еще глотну!

Василий Степанович сел в кожаное кресло и закрыл глаза. Пока Ефим доставал из-за Маркса бутылку, пока приблизился к Каретникову, тот заснул.

Ефим сел напротив, держа бутылку в руках. Время текло. Часы в деревянном футляре отбили половину двенадцатого. Ефим озирался по сторонам, разглядывая комнату. Стол и кресло старинной работы, современные книжные полки, заставленные собраниями сочинений Маркса, Энгельса, Ленина и генсека. Впрочем, генсек был на первом месте. Когда-то здесь стояли тома Сталина, потом Хрущева. Потом Хрущев исчез, а Сталин

опять появился. А сейчас его опять не было, должно быть, задвинут туда, во второй ряд. А на его месте стоит четырехтомник Густава Гусака. Значит, подумал Ефим, в отношении партии к Сталину ожидаются какие-то перемены.

Наконец Каретников открыл один глаз и недоуменно навел его на Ефима. Затем открыл второй глаз.

— Сколько времени? — спросил он.

— Четверть второго, — ответил Ефим шепотом, как бы все еще боясь его разбудить.

Каретников протянул руку:

— Дай!

Отхлебнул из бутылки, но без прежней жадности, покривился и потряс головой.

— Ну, выкладывай, зачем пришел. Что хочешь: дачу, машину, путевку в Пицунду, подписку на журнал «Америка»?

— Да нет, — улыбнулся Ефим, всем своим видом показывая, что его притязания гораздо скромнее и выглядят, по существу, пустяком, из-за которого, право, даже неловко беспокоить столь крупного человека.

— Говори, говори, — поощрил Василий Степанович.

Наконец Ефим собрался с духом и изложил суть своей просьбы сбивчиво и бестолково. Василий Степанович слушал его внимательно, после чего еще отхлебнул из бутылки и посмотрел на Ефима по-новому.

— Значит, — уточнил он протрезвевшим голосом, — ты дачу не просишь, машину не хочешь, в Дом творчества не собираешься, журнал «Америка» тебе не нужен, тебе нужна всего-навсего только шапка. Причем не какая-нибудь. Из кошки тебя не устроит. Нет? А из кролика тоже нет?

Ефим улыбнулся и скромно потупился.

— Ну да, — повторил Каретников благожелательно. — Всего-навсего шапку. Из кошки не годится, из кролика не идет. Может, тебе боярскую шапку? Может, соболью? Да ты что! — вдруг закричал он, вскочив и хлопнув себя по ляжкам. — Ты кого за дурака держишь, себя или меня? Ты, может быть, думаешь, что ты умная еврейская голова, а я пальцем деланный и щи лаптем хлебавший? Ты думаешь, что дачу попросить — это много, а шапку — ни-

чего. Врешь! — закричал он так громко, что Ефим невольно попятился.

— Василий Степанович, — пробормотал Ефим, испугавшись, — да что это вы... Да как же... Да я просто не понимаю.

— Врешь! — повторил Василий Степанович решительно. — Все врешь и все понимаешь. Ты не хуже меня знаешь, что тебе не шапка нужна, шапку ты у какого-нибудь барыги за сотню-другую можешь купить не хуже. Тебе не это нужно. Тебе нужно другое. Ты хочешь дуриком в другую категорию, в другой класс пролезть. Хочешь, чтобы тебе дали такую же шапку, как мне, и чтобы нас вообще уравнили. Тебя и меня, секретаря Союза писателей, члена ЦК, депутата Верховного Совета, лауреата Ленинской премии, вице-президента Всемирного Совета мира. Так? Та-ак, — с удовольствием ответил сам себе Каретников. — Именно. Умный ты, я вижу, чересчур даже умный. Ты будешь писать о хороших людях, будешь делать вид, что никакой такой советской власти и никаких райкомов-обкомов вовсе не существует, и будешь носить такую же шапку, как я? Дудки, дорогой мой. Если уж ты хочешь, чтобы нас действительно уравнили, то ты и в другом равенства не избегай. Ты, как я, пиши смело, морду не ворота: «Всегда с партией, всегда с народом». Да посиди лет десять — двадцать — тридцать с важной и кислой рожей в президиумах, да произнеси сотню-другую казенных речей, вот после этого и приходи за шапкой. А то ишь чего захотел! Шапку ему дайте получше. А с какой это стати? Ты вот мне небось завидуешь, что за границу езжу и тряпки всякие привожу. Это ты только одну сторону моей жизни видишь. А того еще не видишь, что я помимо тряпок еще там за мир во всем мире, ети его налево, борюсь. Ты вот тоже в турпоездке в Париже был. Тебе там вопросы задавали? Задавали. А ты что отвечал? Ты отвечал, что политикой не интересуешься, географией тоже и, где находится Афганистан, точно не знаешь. А мне так крутиться нельзя. Я не могу сказать, что политикой не интересуюсь. На вопросы должен отвечать прямо, прямо и отвечаю. Что я думаю об Афганистане? Думаю, что этих душманов надо давить. Что думаю о политзаключенных? Думаю, что политзаключен-

ные есть в Южной Африке, в Чили и на Гаити. А у нас есть уголовники и сумасшедшие. Думаешь, мне приятно это говорить? Нет, очень даже пренеприятно. Я тоже хочу улыбаться и чтобы мне улыбались. Также хочу писать о хороших людях. Также хочу делать вид, что в политике и географии не разбираюсь. Ты думаешь, ты против советской власти не пишешь, а мы тебе за это спасибо скажем? Нет, не скажем. Нам мало того, что ты не против, нам надо за. Будешь бороться за мир, будешь, как я, писать о секретарях обкомов-райкомов, тогда все получишь. Простим тебе, что еврей, и дачу дадим, и шапку. Хоть из пыжика, хоть из ондатры. А тому, кто уклоняется и носом воротит, вот на-кося выкуси! — И поднес к носу Ефима огромную фигу. Он сделал этот грубый жест не задумываясь. Даже не предполагая, что из него могут произойти какие-нибудь последствия. Да будь это в другой раз, их бы и не было. Но тут... Ефим потом и сам не мог понять, как это произошло. Увидев перед собой фигу и услышав «на-кося выкуси», Ефим сначала слегка отпрянул, а потом качнулся вперед и, как собака, тяпнул Каретникова за большой палец, прокусивши его до кости.

Это было так неожиданно, что Василий Степанович даже не сразу почувствовал боль. Он отдернул руку, посмотрел на Ефима, посмотрел на палец и вдруг завыл, закружился как полоумный по кабинету, тряся рукой и брызгая кровью на персидский ковер.

На вой прибежала в папильотках Лариса Евгеньевна. С тряпкой в руках появилась домработница Надя.

— Что случилось, Вася? — тонким голосом прокричала Лариса Евгеньевна, кидаясь к Каретникову.

— У-у-у-у! — выл Каретников, как паровоз, и тряс истекающей кровью конечностью.

— Фима! — Лариса Евгеньевна повернулась к Ефиму. — Я не могу понять, что случилось!

Фима, как потом говорили, казался совершенно спокоен. Он взял с полки чекушку, допил остатки, поднял с полу незастегнутый портфель и вышел.

Мне кажется, что этим укусом Ефим сам себе нанес новое и уже непоправимое психическое повреждение. Прямо от Каретникова прикатил он ко мне радостно-возбужденный.

— Знаешь, что случилось? Как? Ничего еще не слышал?

Он мне тут же изобразил все происшедшее словами и в лицах. Как он пришел, в каком виде нашел Каретникова, как тот, держа себя за уши, стучался головой об стенку. Кстати сказать, это стуканье Ефим изобразил так смешно, что я просто валялся от хохота. Он же сдержанно улыбался и, похоже, был очень собою доволен.

— Мне что. — Стоя передо мной в распахнутой настежь дубленке, он взмахивал отяжеленными ею руками и ерничал. — Я человек простой. Мне говорят: на-кося выкуси, я выкусываю. А как же! Если меня очень просят, разве мне жалко? У меня зубы хорошие, фарфоровые, с меня Аркаша Плотов за них четыре сотни содрал. Если надо кому выкусить, пожалуйста, я не против.

Я смотрел на него с любопытством: надо же, всегда был такой запуганный, а тут размахался! Не веря в то, что человек под воздействием внешних обстоятельств может меняться столь кардинально, я думал, что это — временная бравада, которая кончится потом истерикой. Или выплыли наружу какие-то черты характера, которые прежде не проявлялись? Или проявлялись иначе? Ведь бывал же он в рискованных ситуациях со своими мужественными людьми, тонул в полынье, валялся в пропасть, горел на нефтяной скважине!

— Ефим, — сказал я ему, — ты человек взрослый, я не хочу тебя пугать, но ты должен знать, что Каретников — человек очень плохой и очень злопамятный. Если ты сейчас же с ним не помиришься...

— Ни за что! — прокричал Ефим.

— Но ты понимаешь, что он тебе этого никогда не простит?

— А я никакого прощения и не жду. Мне надоели унижения, надоело быть хорошим человеком второго сорта. У меня есть другие планы.

— Другие планы?

— Ну да. — Он с сомнением осмотрел все четыре стены, задержал взгляд на люстре. — Как ты думаешь, у тебя квартира прослушивается?

Я пожал плечами:

— Откуда мне знать, прослушивается она или нет?

Он попросил меня вынести телефон в другую комнату или набрать пару цифр и заклинить диск аппарата карандашом.

Я в такие уловки, правду сказать, не верил и не думал, что подслушивалки обязательно должны быть в телефонах.

— Знаешь что, — сказал я. — Погода хорошая, почему бы нам не пройтись?

Мы спустились вниз. Ефим, зажав между ног портфель, натянул кожаные перчатки, поднял воротник, и его желтая лысина, окаймленная коричневым мехом, стала похожа на тыкву, вылезающую из хозяйственной сумки. Дворами мы прошли к Сытинскому переулку, а оттуда выбрались на Тверской бульвар. День был приятный, солнечный. Накануне выпавший снег мягкой пеной светился на кустах и клумбах. По расчищенной широкой дорожке гуляли голуби, бежали школьники, молодой папаша неспешной рысью тащил салазки с укутанным по глаза ребенком, все скамейки были заняты шахматистами, старухами и приезжими с авоськами и мешками.

Мы медленно двинулись в сторону Никитских ворот и сначала говорили о чем-то, не помню о чем, потом Ефим оглянулся и, дав пройти и отдалиться двум офицерам с портфелями, понизив голос, спросил, нет ли у меня знакомых иностранцев, через которых можно переправить на Запад рукопись.

Иностранцы у меня знакомые были, но я этих связей особо не афишировал, потому что через них сам давно уже пересылал кое-что «за бугор» и печатал под псевдонимом, которого не знал никто, кроме моей жены. Не отвечая ни да, ни нет, я спросил, какую именно рукопись он имеет в виду. Оказывается, ничего готового у него пока нет, но ему надо знать заранее, через кого можно передать и как. Прямо в машинописном виде или переснять на пленку.

— Лучше переснять, — сказал я. — С первого экземпляра и по одной странице на кадр. Иначе у тех, кто возьмется перепечатывать, будут трудности. А все-таки что ты хочешь передать?

— Ты знаешь, что я пишу роман «Операция»? — Он посмотрел на меня и понял. — Ну да, конечно, ты думаешь, что я пишу о хороших людях, которые никому не нужны. Но это не о хороших — это о плохих людях.

И он мне рассказал историю, которая легла в основу его замысла. В подлинном виде она от замысла несколько отличалась. Случай с доктором, делавшим самому себе операцию, действительно имел место. Только случилось это не посреди океана, а вблизи канадского берега. Больного доктора можно было доставить в одну из береговых больниц, но, во-первых, за операцию надо платить огромные деньги в иностранной валюте, а во-вторых, как раз в последнее время доктор проявлял признаки неблагонадежности — рассказывал антисоветские анекдоты, под подушкой у него нашли книгу Авторханова «Технология власти», и вообще не было никакой гарантии, что он не сбежит. Поэтому капитан Колотунцев (прототип Коломийцева) отдал приказ идти не к канадскому берегу, а к Курильским островам. По пути к этим островам доктор в отчаянии и сделал себе операцию, после которой он уже никаких романсов не слушал, поскольку умер.

— Скажи, — торопил меня с ответом Ефим, — им, на Западе, такая история должна же понравиться? Если название скучное, могу придумать что-то другое. Например, «Харакири». А? Здорово? Если нужно, можно разбавить сексом. У нас на корабле, между прочим, была одна повариха, она жила со всем экипажем.

— Повариху не надо, — сказал я, — лучше повара. На Западе любят больше про гомосексуалистов.

— Это правильно, — серьезно сказал Ефим. Он остановился, достал из портфеля большой блокнот и, держа в зубах перчатку, сделал соответствующую запись. — Между прочим, у нас там действительно был один педик, но не повар, а штурман. При чем жил он, не поверишь, с первым помощником.

— А помощник был кто?

— На кораблях первым помощником называется замполит, — объяснил он, не уловив скрытого в моем вопросе ехидства.

— Значит, их было два педика?

— Почему ты так думаешь? — вскинулся он.

— Я ничего не думаю, а слушаю. Ты сам сказал, что штурман был педиком и жил с замполитом. А замполит кто был?

— Вот черт! — ахнул Ефим и дернул портфель. — Надо же! Такая ерунда, а я до нее не додумался. Потому что я, знаешь, старался обращать внимание на другие детали. Постой-ка! — Он опять полез в портфель за блокнотом. — Вот дурак-то! Так все просто, а я не подумал.

То, что он не подумал, меня как раз несколько не удивило. Он всегда был не в ладах с логикой, и его сочинения были полны несуразностей, которые могли пройти только у нас. О чем я Ефиму на этот раз вполне откровенно сказал. А еще сказал так:

— Ну, допустим, ты напишешь такой роман. Во-вторых, когда это еще будет...

— Я пишу быстро, ты это знаешь, — перебил он.

Мы дошли до конца бульвара и, собираясь повернуть, остановились у стенда с областными газетами. Приезжий в длинном полупальто и темных валенках с галошами, упиравшись глазами в «Воронежскую правду», зубами отрывал от длинного батона большие, похожие на вату куски и заглатывал. В другой руке он держал авоську тоже с батонами.

— Допустим, даже напишешь быстро. И его там напечатает. Но еще неизвестно, будет успех или нет, а здесь ты все потеряешь. Конечно, если ты намылился в Израиль...

— Ни в коем случае! — резко возразил он. — Я за эту землю, — сказал он напыщенно, — кровь проливал. Я останусь здесь, я буду бороться, драться, кусаться, но унижать мое человеческое достоинство не позволю. До чего обнаглели, шапку и то не дают. Ты сколько книг написал: две? три? Но ты уже ходишь в шапке, а я одиннадцать, и вот! — Он так хлопнул себя по лысине, что приезжий взглянул, повернулся всем корпусом и стал нас разглядывать с куском батона во рту. — Это я не вам, — сказал ему Ефим и сконфузился.

На обратном пути я объяснил Ефиму, что написал не две и не три книги, а шесть, что для литературоведа немало, а мою козлиную шапку мне никто не давал, я ее сам купил в позапрошлом году на кутаисском базаре.

— А у тебя, — сказал я, — шапка была получше моей, но ты ее отдал Тишке.

— И что же ты мне советуешь? Забрать шапку назад? — Ефим остановился, крутя портфель, смотрел на меня с интересом.

Я ему посоветовал, прежде чем совершать те или иные поступки, подумать о возможных последствиях.

— Спасибо, — поблагодарил он меня иронически и, отвернув рукав дубленки, посмотрел на часы. — Извини, мне пора.

Он холодно протянул мне руку в перчатке и, еще глубже втянув голову в воротник, быстро пошел в сторону Пушкинской площади.

Я вернулся домой в расстроенных чувствах и позвонил Баранову.

— Ваш друг, — сказал я, — по-моему, совсем с панталыку сбился.

— Ну да, — согласился Баранов, — у него депрессия. Я же вам говорил.

Я возразил, что у Ефима не депрессия, а, наоборот, эйфория, которая кончится плохо.

— А в чем дело?

Оказывается, он еще ничего не знал.

Понятно, нашего с Ефимом разговора на Тверском бульваре я по телефону передать не мог, но рассказал об укушенном пальце.

По-моему, Баранов был потрясен:

— Ефим укусил Каретникова? Ни за что не поверю.

Не поверив, он позвонил Ефиму, а потом перезвонил мне.

— Я с вами согласен, дело дрянь, но я Фимку поздравил.

— С чем это?

— Укус Каретникова — это самое талантливое, что он сделал в литературе.

Не успел я положить трубку, раздался новый звонок. На этот раз звонил Ефим.

— События развиваются! — прокричал он торжествующе.

Я поинтересовался, как именно они развиваются. Оказывается, до Ефима уже дошел слух, что Каретников сразу после укуса звонил некоему члену Политбюро, с которым был дружен еще с войны, и тот, выслушав, сказал

будто бы так: «Не беспокойся, Василий Степанович, мы этого дела так не оставим. Мы не позволим инородцам избивать наши национальные кадры».

— Ты представляешь! — кричал Ефим. — «Мы не позволим инородцам». То есть евреям. Значит, если русский укусит Каретникова, это еще ничего, а еврею кусаться нельзя.

Я осторожно заметил Ефиму, что это, может быть, только слухи, член Политбюро вряд ли мог бы себе позволить такое высказывание и вообще по телефону об этом трепаться не стоит.

— А мне все равно, — дерзко сказал Ефим — Я говорю, что думаю, мне скрывать нечего.

Тут уже я разозлился. Всегда он был осторожный, всегда говорил такими намеками, что и понять нельзя. А теперь ему, видите ли, скрывать нечего, а то, что, может быть, другим есть чего скрывать, это его уже не заботит.

Слух о зловещем высказывании члена Политбюро быстро рассыпался по Москве, и отношение к Ефиму людей на глазах менялось. Некоторые его знакомые перестали с ним здороваться и шарахались как от чумы, зато другие, затискивая его куда-нибудь в угол, поздравляли и хвалили за смелость. Сам Ефим тоже переменялся. Я слышал, что в те дни, общаясь с разными людьми, он много говорил о ценности человеческого достоинства и замечал (иногда ни с того ни с сего), что гражданское мужество встречается гораздо реже, чем физическое, и даже приводил примеры из жизни мужественных людей, которые в экстремальных условиях могут проявлять чудеса героизма, а в обычной жизни ведут себя весьма послушно и робко.

Тем временем начал действовать до деталей отработанный, но загадочный механизм отторжения. Сначала в издательстве «Молодая гвардия» Ефиму сказали, что его книга в этом году не выйдет, потому что не хватает бумаги. Со студии «Ленфильм», куда его вызывали для обсуждения сценария, позвонили сообщить, что обсуждение временно отменяется. На радио, где должны были передавать отрывки из «Лавины», передача не состоялась, ее заменили беседой о вреде алкоголизма. А когда даже из «Геологии и минералогии» ему вернули написан-

ную по заказу статью, Ефим понял, что дело серьезно. Однако держался по-прежнему воинственно. Больше того, он сам решил первый перейти в контратаку и однажды вечером взялся за письмо в ЦК КПСС о процветающих в Союзе писателей явлениях коррупции, кумовства и чинопочитания, которые отражаются на тиражах книг, на отзывах прессы, на распределении дач, зарубежных командировок, путевок в Дома творчества и даже на качестве шапок. Письмо как-то не складывалось, получалось длинно, натужно и скучно. Тогда он решил написать фельетон с расчетом послать его в «Правду». Заложил лист бумаги, написал название фельетона — «По Сеньке и шапка».

Начал он как-то по-гоголевски: «Знаете ли вы, что значит «по Сеньке шапка»? Нет, вы не знаете, что значит по Сеньке шапка. Вы думаете, что Сеньке дают шапку в соответствии с размером его головы? Нет, дорогой читатель, Сеньке дают шапку в соответствии с чином. Для того чтобы получить хорошую шапку, Сенька должен быть секретарем Союза писателей или, по крайней мере, членом правления. Сенькины шансы возрастают, если он крутится возле начальства и состоит в партии, Сенькины шансы уменьшаются, если он беспартийный и к тому же еврей...»

Само собой поставилось многоточие, и возникла мысль, что насчет еврейства лучше как-то потоньше, лучше, допустим: «...если он беспартийный и имеет изъян в определенном пункте анкеты...»

Тут зазвонил телефон, и по звонку было ясно — Баранов.

— Привет, старик, — сказал Баранов. — В воздухе неспокойно.

— Что? — не понял Ефим.

— Наблюдается некоторое волнение.

Ефим бросил трубку, включил радио, стал крутить ручку настройки в поисках «Немецкой волны». Нашел, но «Волна», заканчивая передачу, повторила краткое изложение новостей, в которых ничего интересного для Ефима не было. По Би-би-си шел концерт джазовой музыки, а на частоте «Голоса Америки» стоял сплошной вой глушилок. Ефим схватил приемник и стал бегать с ним по ком-

нате, вертя его так и сяк, то прикладывая его к батарее отопления, то переворачивая вниз антенной. Он дважды стукнул приемником о колено, иногда помогало и такое. Сейчас не помогло. Но и время было не совсем удачное — без четверти девять. Ефим выключил приемник, но в девять часов выключил его снова. На этот раз «Голос» звучал почти совсем чисто. Ефим выслушал сообщение о новых американских предложениях по сокращению ракет средней дальности, о напряженности в Персидском заливе, о возросшей активности афганских повстанцев, о необычайных ливнях на Филиппинах и вдруг:

— Западные корреспонденты передают из Москвы, что, по сведениям из достоверных источников, ведущий советский писатель Ефим Рахлин совершил покушение на управляющего Союзом писателей Василия Карелкина. Причина покушения неизвестна, но наблюдатели полагают, что в нем, возможно, отразилось недовольство советских писателей отсутствием в Советском Союзе творческих свобод.

— Кукуша! — крикнул Ефим. — Кукуша! — завопил уже вовсе нетерпеливо.

— Что случилось? — вбежала перепуганная насмерть Кукуша.

— Случилось! Случилось! — Ефим был необычайно возбужден и, указывая на приемник, сообщил короткими фразами: — Они. Только что. Обо мне. Говорили.

— Что говорили? — не уловила Кукуша.

— Они сказали: «...ведущий советский писатель Ефим Рахлин». А еще назвали Каретникова, но даже фамилию его переврали. Ты представляешь, ведущий советский писатель Ефим Рахлин!

Кукуша смотрела на мужа серьезно, его радости не разделяя.

— Лысик, — сказала она тихо, но твердо, — если тебя загонят в Мордовию, помни, я за тобой туда не поеду.

Ефим растерялся. Он никогда не готовился к тому, чтобы быть загнанным в Мордовию, и не собирался тащить туда же Кукушу. Но все же ему хотелось знать, что, если вдруг когда-то такое случится...

Он еще не нашел, что ответить, когда вошел Тишка с волчьей шапкой в руках.

— Папан! Если ты не остановишься, мне придется или от тебя отказаться, или просить у Наташки вызов в Израиль.

Тишка положил шапку на стул и вышел. Ефим опустился на диван и долго сидел, ладонями сжимая виски.

— Ну что ж! — тихо сказал он и улыбнулся. — Сын от меня откажется, жена за мной не поедет, она привыкла жить в столице, она привыкла путаться с маршалами... Проститутка! — вдруг завопил он и, вскочив, сжал кулаки и затопал ногами. — Вон из моего кабинета!

— Фимка! — заволновалась Кукуша. — Одумайся! Ты не смеешь так говорить!

— Вон! — кричал Ефим. — Вон отсюда! Ты не смеешь сюда входить! Здесь живут мои прекрасные герои!

Вечер получился весь всмятку.

Опомнившись, Ефим побежал в спальню, где Кукуша, лежа на животе, давилась в рыданиях. Ефим ее тормозил и просил прощения. Она отталкивала его от себя и выкрикивала что-то бессвязное. Тишка, чтобы не слышать этого, заперся в своей комнате и включил на полную громкость то ли «битлов», то ли что-то в этом духе. Кукуша рыдала. Ефим время от времени покидал ее и в своей комнате снова включал приемник. Все радиостанции говорили о писателе Рахлине, но не попад. Помимо версии о покушении было сказано, что он подвергся преследованиям за свою приверженность иудаизму и за то, что он друг академика Сахарова. Ефиму было лестно, хотя Сахарова он никогда и в глаза не видел.

Беспрерывно трещал телефон. Четыре раза звонил Баранов. Звонили еще какие-то доброжелатели, знакомые и незнакомые. Звонили корреспонденты американского агентства Ассошиэйтед Пресс и немецкого — АДН. Мужской голос сказал: «Вы меня не знаете, но я хочу сказать, что все честные люди мысленно с вами». Другой голос (а может, и тот же самый) весело пообещал: «Мы тебе, жидовская морда, скоро сделаем обрезание головы!»

Кукуша Ефима сперва простила, а потом прибежала и сама стояла перед ним на коленях: «Заклинаю тебя твоими детьми, покаяйся. Пойди к Каретникову, проси прощения, скажи, что ты был в невменяемом состоянии».

Ефим сказал: «Ни за что!» — а когда она стала настаивать, опять ее выгнал. И опять бегал просить прощения. И отвечал на звонки. И слушал радио.

Спать он остался у себя в кабинете, на диванчике. Лег одетый и укрылся шерстяным пледом. А радио поставил рядом и все крутил ручку настройки, перескакивая с волны на волну. Поймал даже недоступную обычно «Свободу». И даже чью-то передачу на английском языке, из которой он понял одну только, важную для себя фразу: «Мистер Рахлын — из ноун эс э вери корейджес персон», то есть «мистер Рахлин известен как очень мужественная личность». Что ему, конечно, польстило.

Ефим долго не спал, чесался и думал о славе, которая свалилась на него ни с того ни с сего. Конечно, положение его стало рискованным, но зато теперь его знает весь мир.

Он поздно заснул и поздно проснулся. Кукуши и Тишки уже не было. Пока он жарил яичницу и варил кофе, ему несколько раз звонили по телефону. Потом принесли телеграмму с текстом: «ТАК ДЕРЖАТЬ ВСКЛ МИТЯ». ВСКЛ означало «восклицательный знак», а вот кто такой Митя, Ефим вспомнить никак не мог. Пока вспоминал и дожевывал яичницу, завалился перепуганный до смерти Фишкин.

— Фима, что вы делаете! — взывал он свистящим шепотом. — Вы понимаете, что у них в партии восемнадцать миллионов человек? Это армия в период всеобщей мобилизации. На кого вы поднимаете руку?

— Соломон Евсеевич, — возражал Ефим. — При чем тут восемнадцать миллионов? Я же не выступаю против них. Я только хочу, чтобы мне дали шапку. Нормальную шапку, но не из кота пушистого, а хотя бы из кролика, как Баранову. Тем более Баранова никто не знает, — он подумал и улыбнулся самодовольно, — а я писатель с мировым именем.

— Вы дурак с мировым именем! — закричал Фишкин. — Вы думаете, если о вас говорил «Голос Америки», это что-то значит? Это ничего не значит! Когда они за вас возьмутся, никакой голос вам не поможет. Они раздавят вас, как клопа.

— Ну вот, — криво улыбался Ефим, — то вы меня сравнивали с гадким утенком, а теперь даже с клопом.

Не успел удалиться сказочник — новый звонок. Ефим, мысленно чертыхаясь, подошел к дверям, открыл и отпрянул. Перед ним кособочился, дергал левой щекой и недобро подмигивал Вася Трешкин, небритый, нечесаный, в засаленной байковой пижаме неопределенного цвета и шлепанцах на босу ногу...

— Вы ко мне? — не поверил Ефим.

Трешкин молча кивнул.

— Проходите, — засуетился Ефим, отступая в сторону. — У меня, к сожалению, там не убрано. Вот на кухню, пожалуйста.

Трешкин прошел по коридору, косясь на развешанные по стене высушенные морские звезды — они, к его удивлению, были пятиконечные.

Ефим усадил соседа на табурет и убрал со стола сковородку.

— Хотите чаю? Кофе? Или чего покрепче? — Ефим подмигнул.

— Нет, — покачал головой Трешкин. — Ничего. Вчера слышал про вас оттуда. — Он показал на потолок. — Стало быть, там вас знают.

— Видно, знают, — сказал Ефим не без гордости.

— Надо же, — покрутил головой Трешкин и понизил голос: — У вас есть лист бумаги?

— Писчей бумаги?

— И... — сказал Трешкин и подергал рукой, изображая процесс писания.

— И? — переспросил Ефим и тут же догадался: — И ручку?

Трешкин поморщился и обеими руками показал на стены и потолок, где располагались возможные микрофоны.

Ефим побежал к себе в кабинет. Он торопился, опасаясь, как бы Трешкин не подсыпал в кофеварку отравы.

Схватил первый попавшийся под руку лист, но не из толки совершенно чистой и нетронутой бумаги, которой он дорожил, а из лежащей на краю стола кипы бумажек, которые были либо измяты, либо содержали мелкие и ненужные записи, но были еще годны для каких-

нибудь пометок, записок внутридомашнего употребления или коротких писем. По дороге на кухню Ефим увидел, что на обратной стороне листа что-то написано. Впрочем, запись была не важная.

— Вот. — Ефим положил бумагу чистой стороной перед Трешкиным и положил ручку. Трешкин опять подозрительно посмотрел на стены и на потолок, задержал взгляд на лампочке, предполагая наличие скрытого объекта, махнул рукой, написал нечто и передвинул бумагу к Ефиму.

Ефим похлопал себя по карманам, сбегал за очками, прочел:

«ПРОШУ ПРИНЯТЬ В ЖИДОМАСОНЫ». Потряс головой, уставился на Трешкина:

— Я вас не понимаю.

Трешкин придвинул бумагу к себе и дописал:

«ОЧЕНЬ ПРОШУ!»

Приложил ладони к груди и покивал головой. Ефим втянул голову в плечи, развел руками, изображая полное непонимание.

«Не доверяет», — подумал Трешкин.

Вдалеке затренькал телефон.

— Извините. — Ефим побежал опять в кабинет. Телефон звонил тихо, вкрадчиво и зловеще.

— Здравствуйте, Ефим, это Лукин.

— Добрый день, — отозвался Ефим настороженно.

— Ефим, — в голосе Лукина звучала фальшивая бодрость, — по-моему, нам пора встретиться.

— Да? — иронически отозвался Ефим Семеныч. — И по какому же делу? Разве что-нибудь случилось?

— Ефим Семеныч, — Лукин начал, кажется, раздражаться, — вы хорошо знаете, что случилось. Случилось очень многое, о чем стоит поговорить.

Тем временем Васька Трешкин, сидя на кухне, обмозговывал, как бы убедить Рахлина, чтобы поверил. «Нет, не поверит», — печально подумал он, взял бумагу, хотел разорвать, но по привычке глянул на просвет и обомлел. Там вроде по-русски, но на еврейский манер справа налево были начертаны какие-то письмена. Возможно, ответ на его просьбу. Он перевернул бумагу и теперь уже слева направо прочел: «Первые пять

букв — крупное музыкальное произведение. Вторые пять букв — переносная радиостанция. Все вместе — хирургическое вмешательство из восьми букв». Трешкин сложил пять и пять, получилось десять. А здесь написано восемь. «Еврейская математика», — подумал Трешкин с восхищением, но без надежды, что отгадает. Тем не менее он понял, что отгадать нужно. Может, только на этом условии в жидомасоны и принимают. В крайнем случае, если не отгадает, спросит Черпакова. Он сложил бумагу вчетверо, спрятал в карман пижамы и пошел к выходу.

— Поймите, Ефим, просто так я бы не стал звонить, но я считаю, что вас надо спасать. Понимаете?

— Не понимаю, — сказал Ефим, — меня спасать не надо, я не тону. Перестаньте меня считать человеком второго сорта, дайте мне приличную шапку, и никаких проблем не будет.

— Ефим, вы не понимаете. Вам сейчас не о шапке, а о том, на чем ее носят, надо подумать. И я вам в этом хочу помочь. Приходите завтра ко мне, обсудим, как дальше быть.

— Хорошо, — сдался Ефим. — Когда?

— Ну, скажем, завтра, часиков эдак в шестнадцать.

Ефим подумал (и сделал пометку в блокноте) о том, как служебное положение неизбежно отражается на языке. Не будь Лукин начальником, он наверняка сказал бы «часа в четыре», а тут «часиков эдак» да еще и в шестнадцать.

Он еще колебался, может, следует Лукина подразнить, завтра, мол, он не может. Может быть, послезавтра, может, на той неделе.

Мимо раскрытой двери на цыпочках тихо прошел Трешкин. Он помахал обеими руками, давая понять, что просит не беспокоиться, он выйдет сам.

— Ладно, — сказал Ефим. — Приду.

В кабинете Лукина кроме самого Лукина Ефим застал секретаря парткома Самарина, членов секретариата Виктора Шубина и Виктора Черпакова, критиков Бромберга и Соленого, Наталью Кныш и незнакомого Ефиму блондина с косым пробором, очень аккуратно зализанным.

Каретникова Ефим увидел не сразу. Тот стоял у окна в темном заграничном костюме со звездой Героя Социалистического Труда, депутатским значком и медалью лауреата. Правая рука его лежала на перекинутой через шею черной шелковой перевязи, а большой палец, умело, но, пожалуй, чрезмерно забинтованный, торчал, как неуклюжий березовый сук.

Увидев столько людей, Ефим слегка растерялся. Из телефонного разговора с Лукиным он понял, что тот приглашает его встретиться с глазу на глаз, а тут вон какая толкучка. Ни на кого не глядя, Ефим направился к столу Лукина, чтобы спросить, стоит ли ему подождать здесь, пока люди разойдутся, или посидеть в коридоре. Но Лукин, видимо опасаясь быть укушенным, замахал руками и торопливо сказал:

— Не подходите. Не надо. Там сядьте. — И указал на стул за маленьким, отдельно поставленным столиком.

Ефим сел. Все молчали. Лукин что-то быстро писал. Каретников левой рукой вынул из кармана пачку «Мальборо», потряс ее, зубами вытащил одну сигарету. Потом достал спички и с ловкостью опытного инвалида, зажав коробку локтем правой руки, добыл огонь. Закурили и Соленый с Бромбергом, а блондин достал расческу и причесался.

Вошла секретарша, положила перед Лукиным какую-то бумагу и что-то шепотом спросила, на что Лукин громко ответил: «Скажите, что сегодня никак не могу, у меня персональное дело». Ефим посмотрел на него с удивлением. О каком персональном деле идет речь? Если назначен разбор персонального дела его, Ефима, то почему Лукин ничего не сказал об этом по телефону? Ефим стал нервно озираться и заметил, что присутствующие предпочитают избегать его взгляда, Бромберг потупился, Наталья Кныш торопливо отвернулась и покраснела, Шубин был занят чисткой ногтей, и только один Черпаков смотрел на Ефима прямо, нагло и весело. Начиналось одно из милых его сердцу действий, когда много людей собираются, чтобы вместе давить одного.

Другие коллеги Черпакова, собравшиеся сейчас в кабинете Лукина, не были столь кровожадны и в иных условиях не стали бы делать того, к чему сейчас приступа-

ли, но Наталья Кныш собиралась съездить за границу, ей нужна была характеристика, которую, отказываясь от участия в общественной жизни, получить невозможно. Соленый, пойманный на многолетнем утаивании партийных взносов и спекуляции иконами, надеялся заслужить реабилитацию, Бромберг прибежал просто из страха. Много лет назад его обвинили в космополитизме, сионизме и мелкобуржуазном национализме, смысл всех его писаний был разобран и извращен до неузнаваемости. Его зловредную деятельность разбирала комиссия под председательством того же Черпакова. Все его попытки оправдаться воспринимались как проявления особой хитрости, лицемерия, двоедушия, попытки уйти от ответственности, он натерпелся такого страха, что теперь сам готов был кого угодно травить, грызть, рвать на части, только чтобы его самого никогда больше не тронули.

Секретарша вышла. Лукин еще долго смотрел в оставленную ему бумагу, потом поднял голову и, глядя на Ефима, спросил:

— Как дела, товарищ Рахлин?

Вчера был Ефим, а сегодня — товарищ Рахлин.

— Никак, — пожал плечами Ефим, начиная сознавать, что генерал заманил его в ловушку.

— Что значит «никак»? На здоровье не жалуетесь?

— Не-ет. — Ефим решил держаться благоразумно.

— У психиатра давно не были? — неожиданно спросил блондин и снова достал расческу.

— А вы кто такой? — спросил Ефим.

— Не важно, — уклонился блондин.

Без скрипа отворилась дверь, и неслышной походкой вошел некто в сером. Он каким-то ловким и неприметным движением кивнул всем сразу и никому в отдельности, проскользнул вдоль стены и сел позади Бромберга. Никто не вскочил, не всполошился, все даже вроде сделали вид, что ничего не произошло, но в то же время возникло едва заметное замешательство, перешедшее в напряженность, все словно почувствовали присутствие потусторонней силы.

Как только этот серый вошел, Каретников загасил сигарету, ткнув ее в горшок с фикусом, Соленый потушил

свою о ножку стула, а Бромберг на цыпочках приблизился к столу Лукина и раздавил свой окурок в мраморной пепельнице перед самым носом генерала. Тот посмотрел на Бромберга удивленно, поморщился, отодвинул пепельницу и, обращаясь ко всем, негромко сказал:

— Товарищи, мы собрались, чтобы разобрать заявление присутствующего здесь Василия Степановича Каретникова, которое я сейчас зачитаю.

Каретников отошел от окна и скромно занял место позади человека в сером, а Лукин снял очки и, заглядывая в бумагу сбоку, стал читать. Ефим немедленно извлек из портфеля блокнот, ручку и, устроив блокнот на колене, стал торопливо конспектировать читаемое. Заявление Каретникова было написано в странном возвышенно-казенном стиле с претензией на художественность. Обращаясь к писательской общественности, заявитель сообщал, как, пользуясь его исключительной доверчивостью и постоянно оказываемым вниманием писателям младшего поколения, литератор Рахлин проник в его квартиру под предлогом ознакомления со своей новой рукописью. Рукописи он, однако, не предъявил, но просил потерпевшего употребить свое влияние для предоставления ему, Рахлину, незаслуженных льгот. Получив решительный отказ, вымогатель перешел от просьб к угрозам, а от угроз к действиям и совершил ничем не спровоцированное бандитское нападение самым безобразным и унижительным способом, в результате чего Каретников вынужден был обратиться к врачам, утратил трудоспособность и не может заниматься исполнением своих повседневных литературных, государственных и общественных обязанностей. «Адресуясь к своим товарищам и коллегам, — заканчивал свое заявление Каретников, — я прошу разобрать поведение Рахлина, вынести ему соответствующую оценку и тем самым защитить честь и достоинство одного из активных членов нашей, в целом сплоченной и дружной, писательской организации».

Заявление было выслушано в скорбном молчании.

— Василий Степанович, — почтительно спросил Лукин, — вы имеете что-нибудь добавить к вашему заявлению?

— Я не знаю, что добавлять, — пожал плечами Каретников. — Палец нарываёт, и меня уже кололи антибиотиками.

— Я бы, в таком случае, прошел курс уколов от бешенства, — бодро пошутил Бромберг, но его не поддержали, потому что шутка, ударяя по Рахлину, одновременно задевала Каретникова и в целом получилась сомнительной.

— Да, вот так, — уточнил Каретников, смущенно улыбаясь. — Теперь я не могу писать, а завтра у меня районная партконференция, встреча с делегацией афро-азиатских писателей, потом секретариат, заседание в Комитете по Ленинским премиям, сессия Верховного Совета. Как я туда пойду? Не могу же я там заседать в таком виде. Я, конечно, не хотел писать это заявление. Жена настаивала, чтобы я прямо звонил Генеральному прокурору. Вероятно, так и следовало бы сделать, но мне, откровенно говоря, не хотелось выносить сор из избы и выставлять в дурном свете перед общественностью наш прекрасный и дорогой моему сердцу союз. Я надеюсь, что секретариат может защитить своего товарища и без вмешательства правоохранительных органов. — Василий Степанович бросил вопросительный взгляд на макушку сидевшего перед ним человека в сером и тихо сел.

— Конечно, можем, — решительно отозвался Лукин и тоже посмотрел на человека в сером. — Но, прежде чем разбираться, я должен дополнить заявление Василия Степановича тем, что эта скандальная история стала достоянием враждебной западной пропаганды. Я думаю, что некоторые из присутствующих слышали, что вчера одна зарубежная антисоветская радиостанция передавала...

— Я лично эти передачи никогда не слушаю, — сочла нужным заметить Наталья Кныш.

— Таковую дрянь ни один порядочный человек не слушает, — от себя мрачно добавил Солёный.

Лукин посмотрел на Ефима:

— Товарищ Рахлин, вы тоже ничего такого не слышали?

— Простите? — Ефим оторвал от бумаги ручку и посмотрел на Лукина.

— Я вас спрашиваю, — повторил Лукин скрипучим голосом, — вы тоже ничего такого не слышали?

— Это ваш вопрос? Правильно? Сейчас, минуточку, я его запишу. — Записал: «Вы тоже ничего такого не слышали?» Поднял глаза на Лукина: — Какого такого?

Лукин, слегка теряясь, посмотрел на человека в сером, перевел взгляд на Ефима.

— Вас спрашивают... — начал Лукин.

— Минуточку. — «Вас спрашивают...» — старательно занес Ефим в блокнот и поднял голову.

— ...вас спрашивают, что вы можете сказать по поводу заявления... Да спрячьте вы свой блокнот! — вышел Лукин из себя. — Мы вас не диктанты писать пригласили.

— «...не диктанты писать пригласили...» — записывая, повторил вслух Ефим.

— Товарищи, да это же хулиганство! — закричал истерически Бромберг. — Отнимите у него этот блокнот, или пусть он его спрячет.

— Ну зачем же, зачем же отнимать? — сказал Черпаков иронически. — Надо оставить, пусть пишет. Пентагону, ЦРУ, «Голосу Америки» нужен же точный отчет.

Ефим слышал, что разговор принимает зловещее направление. Рука его начала дрожать, но он продолжал лихорадочно водить пером по бумаге. Хотя не успевал, потому что выступавшие заговорили одновременно. Кныш упрекала его в неуважении к коллективу. Шубин сказал, что был в Польше и видел следы преступных действий так называемой «Солидарности». Ефим записал это, хотя связи между собой и «Солидарностью» не уловил. Но точнее других был Соленый.

— Товарищи, — встал Соленый. — В повестке дня нашего заседания объявлено, что мы должны осудить хулиганский поступок Рахлина. Но это не хулиганский поступок. Это нечто большее. Ведь вы посмотрите. Василий Степанович Каретников является выдающимся нашим писателем. На его книгах, всегда страстных и пламенных, воспитываются миллионы советских людей в духе патриотизма и любви к своему отечеству. Своим поступком Рахлин вывел из строя руку, которая создает эти произведения. Почему он это сделал? Потому что ему не дали какую-то шапку?

— Чепуха! — отозвался Бромберг.

— Тем более что я никакими шапками не заведу, — с кроткой улыбкой заметил Каретников.

— Совершенно ясно, — закончил свою мысль Соленный, — что Рахлин действовал не сам по себе, а по прямому заданию врагов нашей литературы, врагов нашего строя.

— Правильно! — согласился Черпаков. — Это не хулиганство, а террор. Причем террор политический. За такие вещи у нас раньше расстреливали, и правильно делали.

На этом Ефим записывать прекратил. Он положил блокнот на свободный стул рядом с собой, посмотрел сначала на Черпакова, потом на Лукина, потом на Каретникова, заодно обнаружив, что человек в сером уже исчез, а на его месте сидит блондин и причесывается.

Ведя себя последние дни вызывающе, Ефим готовился к разным неприятностям, но все же не к таким обвинениям. Он вдруг испугался, задрожал и помимо своей воли стал лепетать, что товарищи его не так поняли, что он не действовал по чьему-то заданию, а совершил свой поступок, который признает безобразным, исключительно в состоянии аффекта. Потому что, будучи восемнадцать лет членом Союза писателей и написав одиннадцать книг, причем все одиннадцать о хороших советских людях, о людях мужественных профессий...

— Зачем вы нам все это рассказываете? — проскрипел голос Лукина.

— Виляет! — радостно отметил Черпаков и стал надвигаться на Ефима. — Крутит хвостом, замечает следы. Вот она, сионистская тактика!

— Молчать! — вдруг закричал Ефим и топнул ногой.

— А с чего мне молчать? — Черпаков, надвигаясь, расплывался в наглой улыбке. — Я не для того сюда пришел, чтобы молчать.

— Молчать! — повторил Ефим. Он вдруг весь сжался, задрожал, выпустил вперед руки. — Молчать! — закричал еще раз и кинулся на Черпакова.

И тут произошло невероятное. Черпаков вдруг испугался, побледнел и с криком: «Он меня укусит!» — полез под стол Лукина. Лукин растерялся и, выкрикивая:

«Виктор Петрович, Виктор, ты что, с ума сошел?» — стал отталкивать Черпакова ногами. В это же время Ефим тоже нырнул под стол. В нем проснулся охотничий инстинкт, и он действительно хотел укусить Черпакова, но, когда нагнулся, с ним что-то случилось. Во рту появился сладкий привкус. Затем перед глазами возникла вспышка, какие бывают в процессе электросварки. Одна, другая, третья... Вспышки эти, следуя одна за другой, слились наконец в общее великолепное сияние, а тело стало утрачивать вес. Обратившись в белого лебедя, Ефим выплыл из-под стола и начал набирать высоту, а члены бюро все удалялись и удалялись, задирая головы и глядя на Ефима с широко раскрытыми ртами.

Ефима доставили в реанимационное отделение Боткинской больницы. В диагнозе сомневаться не приходилось — инсульт с потерей речи и частичным параличом правой руки.

— Положение серьезное, — сказал Кукуше молодой врач с рыжими прокуренными усами и сам весь пропахший табачным дымом. Видимо, ему показалось, что она не оценила сказанного, и он, подумав, добавил: — Очень серьезное.

— А что я могу для него сделать? — спросила Кукуша растерянно.

— Вы? — Врач усмехнулся. — Вы можете только стараться его не беспокоить.

— Да-да, — закивала Кукуша, — я понимаю. Ему сейчас нужен полный покой и положительные эмоции.

— Покой — да, — сказал доктор, закуривая дешевую сигарету. — А эмоции... пожалуй, ему сейчас лучше обойтись без всяких эмоций. Без плохих и без хороших.

Кукуша с врачом, однако, не согласилась, в лечебную силу положительных эмоций она верила безгранично.

Когда ее вместе с Тишкой допустили к больному, она его узнала с трудом. Он весь был опутан какими-то трубками и проводами, а голова от макушки до подбородка замотана бинтами, отчего он казался похожим на пришельца из других миров.

Жена и сын — оба в застиранных казенных халатах — сидели у постели больного, безразлично смотревшего в потолок.

— Врач сказал, что ничего страшного, — говорила Ефиму Кукуша. — Все будет хорошо. Тебе, главное, не волноваться. А у нас все в порядке. Между прочим, вчера звонили из «Молодой гвардии» и сказали, что рукопись твою заслали в набор. А еще пришло письмо от директора «Ленфильма», сценарий отдан в режиссерскую разработку. Ну, что еще? Да, белье из прачечной я получила. У Тишки тоже все хорошо. Правда, Тишка?

— Все хорошо, — подтвердил Тишка.

— А что тебе сказали про твой реферат?

— Ничего особенного, — сказал Тишка. — Сказали, что опубликуют в ученых записках.

— Скромничает, — сказала Кукуша. — Академик Трунов сказал, что реферат стоит иных пухлых докторских диссертаций. Так же он сказал, а, Тишка?

— Да, сказал, — кивнул Тишка.

— Так что у нас все хорошо, ты не волнуйся, ты лежи, выздоравливай. Как только тебе можно будет есть, я тебе принесу чего-нибудь вкусного. Хочешь бульон? А может, тебе чего-нибудь сладкого? Или, наоборот, кисленького? Хочешь, я тебе сделаю клюквенный морс? Нет? Ну а чего ты хочешь? Если не можешь говорить, ты мне как-нибудь дай понять, чего ты хочешь.

Ефим поморщился и промычал что-то нечленораздельное.

— Что? — переспросила Кукуша, наклоняясь к нему.

— Саску!

— Что? Что? — Кукуша оглянулась на Тишку, тот молча пожал плечами. — Что ты сказал? Ну, постарайся, ну, попробуй сказать более внятно.

— Фафку, — сказал Ефим.

— Ах, шапку! — догадалась Кукуша. И обрадовалась: — Ты еще хочешь шапку! Значит, у тебя есть желания! Значит, ты еще ничего. Ты выздоровеешь! Ты поправишься. А шапка будет. Обязательно будет. Нет, ты не думай, я не пойду ее покупать. Я их заставлю. Они тебе принесут. Лукин лично принесет, я тебе обещаю.

В палату вошла пожилая медсестра с набором шприцев.

— Ну все, — сказала она тихо. — Прием окончен. У нас с Ефимом Семенычем процедуры.

Я слышал, что Кукуша прямо из больницы поехала к Лукину, который принял ее с большой неохотой. Страстно попрекая генерала, она требовала от секретариата в порядке хотя бы частичного искупления вины все-таки выдать шапку ее больному мужу.

— Он находится в критическом состоянии и нуждается в положительных эмоциях, — сказала Кукуша.

Генерал сидел с каменным лицом, давая понять, что проявлений ложного гуманизма от него ждать не следует.

— Очень сожалею, но сделать ничего не могу. Мы хотели ему помочь, но он вел себя вызывающе и не хотел признать своей вины.

— Да какая вина! При чем тут вина! — закричала Кукуша. — Вы же знаете, что он умирает! Ну да, ну хотел он получить хорошую шапку, ну укусил Каретникова, но он же умирает, умирает, это же получается смертная казнь! Неужели вы считаете, что мой муж заслужил смертной казни?

На это Лукин ничего не ответил. Он смотрел мимо Кукуши, и по лицу его было видно, что ему все равно, заслуживает Ефим смертной казни или не заслуживает, умрет или не умрет.

— Слушайте! — Кукуша покинула стул и приблизилась вплотную к столу Лукина. — Петр Николаевич, скажите мне, ну что же вы за человек? Почему вы такой жестокий? Ведь вы же тоже в свое время пострадали.

Кукуше показалось, что эти слова его как-то прошибли.

— Да, — сказал он и приосанился. — Я пострадал. Но я пострадал за принципы, а не за шапку. А когда пострадал, то ни разу... — он весь затрясся, — ...запомните, ни разу не усомнился в наших идеалах. Вот! Вот! — закричал он, извлекая бумажник.

— «Вот! Вот!» — передразнила, разъярившись, Кукуша. — Девочки, бантики... А человека убить — раз плюнуть. Ты, старый козел! — Она перегнулась через стол и

схватила его за грудки. — Если ты сам лично не прине-
сешь моему мужу шапку, я тебе... Ты даже не знаешь, что
я тебе сделаю!

Генерал растерялся, схватил ее за руки, стал отди-
рать от себя.

— Зинаида Ивановна! Да что это вы делаете! Да как
вы смеете! Я вам не позволю!..

Кукуша опомнилась, разжала пальцы и, обозвав Лу-
кина сволочью, в слезах выскочила из кабинета.

* * *

На площади Восстания она схватила такси, плюхну-
лась на заднее сиденье и плакала всю дорогу. Она не
знала, что делать. Доставать шапку за свои деньги и сде-
лать вид, что ей выдали в Союзе писателей, было бес-
смысленно — Ефим этого трюка не примет.

Такси въехало во двор и остановилось за черной «Вол-
гой». Кукуша расплатилась и пошла к подъезду. Дверца
«Волги» открылась, высокий человек в темном пальто и в
шляпе с короткими полями загородил ей дорогу:

— Зинаида Ивановна, я полковник Колесниченко.

Кукуша вздрогнула:

— Полковник КГБ?

Человек улыбнулся:

— Нет, что вы, я пехотинец. Адъютант маршала По-
братимова. Он приехал и ждет вас в гостинице «Моск-
ва».

Это было не лучшее время для свиданий, но Кукуша
заторопилась:

— Извините, я сейчас. Вы можете меня подождать?

— Так точно.

Она ринулась наверх, расшвыряла белье и через чет-
верть часа вернулась обратно, полая смешанным за-
пахом душа и парфюмерии.

Маршал занимал трехкомнатный «люкс», в прихожей
которого на четырехрогой полированной вешалке висе-
ли две шинели и две папахи. Владельцы папах сидели в
роскошной гостиной за овальным столом, уставленным
закусками человек на двенадцать, и пили французский
коньяк «Курвуазье» из тонких чайных стаканов. Одна

бутылка 0,75 была уже опустошена, а другая почата. Было порядком накурено, сизый дым волнистыми слоями плавал в свете многоярусной хрустальной люстры.

— Зинуля!

Навстречу Кукуше поднялся один из пирующих, крупный бритоголовый человек, похожий на артиста Юла Бриннера.

Побратимов был в зеленой форменной рубашке с маршалским погонами, но без галстука. Его парадный мундир, отягощенный орденами, висел на спинке стула возле беккеровского рояля.

Не стесняясь присутствия Колесниченко и своего собутыльника, маршал обнял Кукушу и крепко поцеловал в губы.

— Ух! — Она невольно отпрянула.

— Видать, от вас, товарищ маршал, довольно сильно разит, — приблизился к Кукуше обладатель второй папки. Это был бывший адъютант Побратимова Иван Федосеевич, теперь генерал-майор. — Здравия желаю, Зиночка. — Он поднес Кукушину руку ко рту и щедро ее облюнявил.

— Должно быть, и правда разит, я и не подумал, — смутился маршал. Он был пьян, но рассудка не терял. — Сейчас тебе тоже коньячку плеснем, будем вместе благоухать.

Налил по полстакана Кукуше, Ивану Федосеевичу, себе и посмотрел на все еще стоящего у входа Колесниченко.

— Товарищ маршал, мне еще надо сестру посетить, — сказал тот. — Разрешите удалиться?

— Удаляйся, — разрешил маршал.

Колесниченко исчез. Маршал поднял стакан:

— Ну, Зинуля, со встречей! А ты что такая смурная?

— Потом. — Кукуша все полстакана выдула залпом. — У меня беда, маршал. Мужика моего кондрашка хва-атила, — сказала она и разревелась.

Ей было налито еще полстакана, потом она была спрошена, в чем дело, и выслушана со всем возможным вниманием.

— И это он, значит, в борьбе за шапку себя до такого довел? — удивился маршал.

— Это бывает, — заметил Иван Федосеевич. — У нас, я помню, один подполковник тоже ожидал полковничьей папахи, а когда не дали, пустил себе пулю в лоб.

— Ну и дурак, — сказал Побратимов.

— Ясное дело, дурак, — согласился Иван Федосеевич. — Тем более что вышла ошибка. Полковника-то ему присвоили, а в список включить забыли. Так что папаху он получил как бы посмертно, ее потом на крышке гроба несли.

— Тем более дурак, — заключил маршал. — Лучше быть живым подполковником, чем мертвым полковником.

После открытия третьей бутылки был выслушан сбивчивый Кукушин рассказ о злодейском поведении и черствости Лукина.

— А кто этот Лукин? — спросил маршал сурово.

— Это этот, что ли, генерал КГБ? — поинтересовался Иван Федосеевич.

— Ты его знаешь? — удивился маршал.

— Так точно, товарищ маршал. Если это он, то очень даже знаю. Он тут ко мне как-то приходил, просил внука освободить от призыва. Внук у него талантливый кинооператор, спортсмен, альпинист и комсомольский вождь.

— Понятно, — сказал маршал. — И ты его освободил?

— Так точно, товарищ маршал. Освободил. Но ошибку можно исправить.

— Дошлый мужик! — сказал маршал Кукуше, кивая на Ивана Федосеевича. — Надо же, какого адъютанта лишился. Вот что, Иван, ты этому сучонку пошли-ка повестку, а когда дедушка прибежит, скажи ему, что внука загоним в Афганистан, а из тебя, скажи, если ты сам лично шапку в больницу не принесешь, маршал Побратимов совет веревку.

— Слушаюсь, товарищ маршал! Слушаюсь! — охотно отозвался Иван Федосеевич. — Прямо не скажу, а намекнуть как-нибудь постараюсь. Вы какую шапочку хотите? — повернулся он к Кукуше. — Из чирика или из пырика?

Результатом этого разговора стала повестка в военкомат, доставленная с нарочным и под расписку одному

молодому кинооператору и аспиранту по имени Петя. Явившись по повестке, Петя, к его удивлению, был принят лично военным комиссаром города Москвы генерал-майором Даниловым.

Генерал был исключительно приветлив. Он вышел из-за стола, поздоровался с Петей за руку, усадил его на диван и сам сел рядышком.

— Значит, вы кинооператор? — спросил генерал, озаряя Петю золотой улыбкой. — Прекрасная профессия. И не такая уж безопасная, как некоторым кажется. Я помню, у нас на фронте был кинооператор. Человек исключительного мужества. Он иногда, чтобы сделать хороший кадр, чуть ли не ложился под вражеские танки, выходил на пулеметы. Замечательный человек был. — Генерал вздохнул. — Погиб, к сожалению.

Продолжая свои расспросы, генерал выяснил, что молодой кинооператор помимо профессиональных обладает многими другими достоинствами: альпинист, катрист, активный общественник и член бюро горкома комсомола.

— Ну, вы как будто специально рождены для нас! — Генерал всплеснул руками совершенно по-штатски. — Мы хотим запечатлеть нелегкий труд наших воинов-интернационалистов, и поэтому нам нужен талантливый оператор. Мы хотим показать жизнь наших воинов в горных условиях, и поэтому ваш альпинистский опыт будет как раз кстати. И наконец, нам нужны люди идейно закаленные, преданные нашим идеалам и готовые отдать за них жизнь.

— Вы собираетесь послать меня в Афганистан? — спросил Петя упавшим голосом.

Улыбка первый раз сползла с лица генерала.

— Молодой человек, — сказал он тихо, — вы знаете, что в армии лишних вопросов не задают.

Все в жизни взаимосвязано. Если бы Кукуша не встретила с Иваном Федосеевичем, внук Лукина не был бы вызван в военкомат. Если бы он не был вызван, то и его дедушке незачем было б ходить туда же. Если бы он туда не ходил, зачем бы Лукин звонил Андрею Андреевичу Щупову? Результатом всех этих встреч и звонков

было срочное изготовление в промкомбинате Литфонда СССР по спецзаказу шапки пыжиковой пятьдесят восьмого размера.

Когда пришла моя очередь посетить Ефима, я уже знал, что шапку он получил. Что Петр Николаевич Лукин лично доставил ему эту шапку в палату, сидел у него, рассказывал ему о своем боевом прошлом. Этим благородным поступком Петр Николаевич утвердил свой авторитет среди писателей. Все-таки хотя и кагэбэшник, а человек неплохой, не то что некоторые. Нет, конечно, если ему прикажут расстрелять, он расстреляет. Но сам, по собственной инициативе вреда не сделает, а если сможет, так сделает что-то хорошее.

Ефим лежал в небольшой двухкоечной палате с выздоравливающим стариком, который при моем появлении вышел. Голова Ефима была забинтована так, что открытыми оставались только глаза, рот и нос с вставленной в него и прикрепленной пластырем пластмассовой трубкой, другая трубка от подвешенного к потолку сосуда была примотана бинтом к запястью правой руки. Я думал, что Ефим полностью парализован, но выяснилось, что левая рука у него все-таки действует, он ею гладил пыжиковую шапку, лежавшую у него на груди.

Не зная, чем его развлечь, я ему для начала рассказал о шахматном турнире, выигранном его любимым гроссмейстером Спасским. Не видя никакого интереса к турниру, переключился на рассказ о нашем управдоме, который за проценты сдавал проституткам свою контору.

Ефим слушал вежливо, но в глазах его я увидел немой укор и смутился. Мне показалось, что взглядом он спрашивал, зачем я рассказываю ему такую мелкую чепуху, не имеющую никакого отношения к тому высокому переходу, к которому он, возможно, готовился.

Устыдившись, я все же никак не мог сойти с колен и рассказал что-то уж совсем глупое, опять какую-то историю про Маргарет Тэтчер и Нила Киннока, причем историю, мною самим тут же и выдуманную. Наконец, почувствовав, что все мои потуги не могут вызвать в больном ничего, кроме желания от них отдохнуть, я решил, что пора и откланяться.

— Ну, — сказал я нестерпимо фальшивым тоном, — хватит, старик, придуливаться. Следующий раз встретимся дома, покурим и перекинемся в шахматешки.

Дотронувшись до его плеча, я пошел к выходу и уже взялся за ручку двери, когда услышал сзади резкое и мучительное мычание. Я встревоженно оглянулся и увидел, что Ефим манит меня пальцем здоровой левой руки.

— Умм! — промычал он и пальцем потыкал в шапку.

— Ты хочешь, чтобы я ее положил на тумбочку? — спросил я.

— Умм! — издал он все тот же звук и качнул рукой отрицательно.

И на мой недоуменный взгляд еще раз потыкал в шапку и показал мне два вяло растопыренных пальца.

— Ты хочешь сказать, что у тебя теперь две шапки?

В ответ он уже не замычал, а завыл, затряс раздраженно рукой. Видно было, что его удручает моя непонятливость, а ему очень нужно донести какую-то важную мысль.

— Умм! Умм! Умм! — исторгался из него беспомощный крик души, и два полусогнутых пальца, как две запяты, качались перед моими глазами.

— А! — сказал я, сам не веря своей догадке. — Ты имеешь в виду, что ты победил!

— Умм! — промычал он удовлетворенно и уронил руку на шапку.

Уходя, я еще раз оглянулся. Закрыв глаза и прижав к груди шапку, Ефим лежал тихий, спокойный и сам себе усмехался довольно.

В ту же ночь он умер.

Хоронили Ефима по самому последнему разряду, без заезда в ЦДЛ и без музыки. Был уже конец марта, светило тусклое солнце, и из-под прибитого к стенам морга темного снега выползали медленные ручейки. Ворота морга были распахнуты настежь, похоронный автобус запаздывал, среди толкущихся вокруг гроба я встретил Баранова, Фишкина, Мыльникову и еще не помню кого. В головах стояли Кукуша в черной шляпе и ниспадающей на глаза черной вуали и Тишка, который в заложенной за спину руке держал (я обратил внима-

ние) не пыжиковую, а подаренную ему отцом волчью шапку. Голова Ефима была аккуратно перебинтована, но все лицо оставалось открытым и выглядело умиротворенным. Я положил к ногам покойника свой скромный букетик, обнял Кукушу и пожал руку Тишке. Здороваясь с другими, я заметил и Трешкина. Он пришел, кажется, позже меня и вел себя страннее обычного. Кособочился, дергался и озирался так, как будто собирался что-то украсть или уже украл. Приблизившись к гробу, он наклонился к покойнику, поцеловал его в забинтованный лоб, а потом долго и пытливо вглядывался в застывшие черты, словно пытался прочесть в них что-то понятное только ему.

Меня кто-то тронул за локоть, я оглянулся — Кукуша.

— Тебе не кажется, что он себя странно ведет? — прошептала она, указав глазами на Трешкина.

— Он вообще странный, — сказал я и увидел, что Трешкин быстро перекрестил Ефима, но не тремя пальцами, как обычно, а кулаком, а потом сунул кулак в гроб, куда-то под шею покойного, и тут же выдернул.

— Ты видел? — шепнула Кукуша. — Он что-то туда положил.

— Сейчас выясним.

Я подошел к гробу и оглянулся на Трешкина. Тот внимательно следил за моими движениями. На его глазах я сунул руку под шею Ефима и сразу же нашел сложенный в несколько раз лист бумаги. Я вынул бумагу и стал разворачивать.

— Стой! Стой! — подлетел Трешкин. — Это не трогай, это не твое. — И протянул руку.

— А что это? — Я убрал руку с бумажкой за спину.

— Не важно, — глядя на меня исподлобья, буркнул Трешкин. — Отдай, это мое.

— Но вы, — приблизилась Кукуша, — не имеете права лезть в чужой гроб без разрешения и класть посторонние предметы.

Она взяла у меня бумажку и развернула. Я заглянул через ее плечо и увидел слово, написанное крупными косыми буквами и с восклицательным знаком в конце: «Операция!»

Трешкин смутился, задергался, не зная, как себя вести.

— Что это значит? — нахмурила брови Кукуша.

— Ну, это значит, он мне загадку загадал. А я разгадал, а он помер. Ну, я думаю, надо все-таки положить, может, там прочтет. Может, знак какой-то подаст. Отдайте! — попросил он страстно. — Я положу обратно. Не мешайте же!

За воротами заурчал только что прибывший автобус.

— Все равно сгорит, — вздохнула Кукуша и, вернув Трешкину записку, пошла к выходу.

Пока автобус разворачивался и сдавал задним ходом, во двор въехала и остановилась в стороне черная «Волга». Из «Волги» вылез Петр Николаевич Лукин, стягивая по дороге синий мятый берет с хвостиком посередине. Приблизившись, он посмотрел на покойника, пошептался о чем-то с Кукушей, затем стал у изголовья гроба и произнес речь, в которой перечислил все заслуги Ефима, не забыв про его фронтовое прошлое, восемнадцать лет в Союзе писателей и одиннадцать напечатанных книг. А еще сказал, что покойник был человеком мужественным и хорошим, сам был хороший и в жизни видел только хорошее. Я думал, что Лукин скажет что-нибудь про людей, которые видят только плохое, потому что сами плохие, и при этом посмотрит на меня, но он этого не сделал и закончил свою речь обещанием, что память о Ефиме Семеновиче Рахлине навсегда останется в наших сердцах.

Потом мы ехали к крематорию на двух автобусах, мне досталось место в том, где стоял гроб.

На Садовом кольце мы попали в «зеленую волну» и двигались почти что без остановок. Ефим лежал передо мной с высоко приподнятой забинтованной головой, с заостренным носом, закрытыми глазами и таким выражением, словно был сосредоточен на какой-то серьезной и важной мысли. Автобус то останавливался, то снова стремился вперед, солнечные пятна врывались внутрь и скользили по успокоенному лицу, словно отблески того, о чем он думал. И в эти отблески напряженно вглядывался сидевший напротив меня Васька Трешкин. Рядом с ним о чем-то неслышно переговаривались Ба-

ранов и Тишка, Фишкин безучастно смотрел в окно, а в мое ухо вливался шепот Мыльников, который, не упуская подробностей, пересказывал мне статью о нем, напечатанную в газете «Нью-Йорк ревью оф букс».



Стихи на полях прозы



25 (2099)

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О лишении гражданства СССР Войновича В. Н.

Учитывая, что Войнович В. Н. систематически занимается враждебной Союзу СССР деятельностью, наносит своим поведением ущерб престижу СССР. Президиум Верховного Совета СССР постановляет: в соответствии со статьями 18 Закона СССР от 1 декабря 1978 года «О гражданстве СССР» за действия, порочащие высокое звание гражданина СССР, лишить гражданства СССР Войновича Владимира Николаевича, уроженца гор. Душанбе, временно проживающего в г. ФРГ.

Президент Президиума Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГВОРДАДЗЕ.

Москва, Кремль. 16 июня 1981
№ 5075-Ж.



УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

818 О лишении гражданства СССР Войновича В.



Учитывая, что Войнович В. Н. систематически занимается подрывной деятельностью, наносит своим поведением ущерб СССР, Президиум Верховного Совета СССР постановляет: отменить статью 18 Закона СССР от 1 декабря 1978 года «О гражданстве СССР» за действия, порочащие высокое звание гражданина СССР Войновича Владимира Н. года рождения, уроженца гор. Душанбе, временно живущего в ФРГ.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДИ

Москва, Кремль. 16 июня 1981
№ 5075—Х.



Стихи я писал в молодости, в порядке литературного

ученичества и приближения к прозе. Писал много, иногда до десяти стихотворений в день. Немедленно после выхода первой повести я значительную часть текстов, написанных в столбик (числом более тысячи), сжег и ничего не рифмовал приблизительно четверть века.

Но на склоне лет я вернулся к тому, с чего начал. И два-три раза в год, а то и реже, сочиняю что-то стихоподобное.

Интересно, что в юные годы меня тянуло писать о старости и смерти, а теперь наоборот — часто о стремлениях, не совпадающих, по общему мнению, с текущим возрастом сочинителя. Почему так, не знаю, да и знать не очень хочу. Так получается. Доброжелатели объясняют это доброжелательно, недоброжелатели истолкуют по-своему. Строгие моралисты могут быть оскорблены натурализмом некоторых деталей, действий и образов в стихах «Чудо» и «Курфюрстендамм». Поэтому к строгим моралистам у меня отдельная просьба: эти стихотворения не читать.

Остальным же объясню, что «Чудо» было написано в 1986 году и явилось своеобразной реакцией автора на процесс, названный «перестройкой», а «Курфюрстендамм» — это... ну, просто человеческая драма, записанная с подробностями, без которых рассказ был бы неполным.

Стихи на полях прозы

* * *

Был вечер, падал мокрый снег,
и воротник намок.
Сутулил плечи человек
и папиросы жег.
Он мне рассказывал о том,
что в жизни не везет.
Мог что угодно взять трудом,
а это не возьмет.
Он долго думал — все равно
не знает, отчего
искусство любит, а оно
не жалуется.
Давно он сам себе сказал:
зачем себе ты врешь?
Пора понять, что Бог не дал
таланта ни на грош.
Пора, пора напрасный труд
забыть, как страшный сон...
Но, просыпаясь поутру,
спешит к тетради он.
И снова мертвые слова —
ни сердцу, ни уму...
За что такая вот судьба,
зачем и почему?
«Ну, мне сюда».
В руке рука.
Сказал вполоусерьез:
«Давай пожму ее,
пока не задираешь нос».
И, чиркнув спичкой, человек
за поворотом сник.
Я шел один, и мокрый снег
летел за воротник.

1957

* * *

Все то, что было молодым,
 Старее. Может статься,
 Умру почтенным и седым
 И поглупевшим старцем.
 Меня на кладбище снесут
 И — все равно не слышу —
 Немало слов произнесут,
 И до небес перевознесут,
 И в классики запишут,
 И назовут за томом том,
 Что написал для вас я...
 Что ж, слава — дым,
 Но дело в том,
 Что к нам она всегда потом...
 Но почему всегда потом
 И никогда авансом?
 Когда умру я в нужный срок,
 Жалеть меня не смейте.
 Я, может, сделал все, что мог,
 За много лет до смерти.
 Но если завтра попаду
 Под колесо машины,
 А то и вовсе упаду
 Без видимой причины, —
 Неужто даже в день такой
 Не пожалеют люди,
 Что не написанное мной
 Написано не будет?

1957

ЗОЛОТЦЕ

Голову уткнув в мою шинель,
авиационного солдата,
девушка из города Кинель
золотцем звала меня когда-то.

Ветер хороводился в трубе,
а она шептала и шептала...
Я и впрямь казался сам себе
слитком благородного металла.

Молодость — не вечное добро.
Время стрелки движет неустанно.
Я уже, наверно, серебро,
скоро стану вовсе оловянным.

Но, увидев где-то у плетня
девушку, обнявшую солдата,
я припомню то, что и меня
называли золотцем когда-то.

1958

БАРАНЫ

Мысль о том, что борьба есть закон,
Человеком усвоена рано.
И в баранину с древних времен
Человек превращает барана.
Но издревле баран, как баран,
Размышлял примитивно и глупо:
«Люди могут забыть ресторан,
Обойтись без овчинных тулупов.
Есть в баране душа, есть и плоть,
Светят всем одинаково звезды.
Может быть, и барана Господь
Для чего-то для высшего создал».
И не знают они, чудаки,
Что, увы, плотьядному люду
Очень нравятся и шашлыки,
И другие скромные блюда.
Что баранина, если сварить,
Хороша и к жаркому и к супу...
И зачем без тулупов ходить,
Если можно ходить и в тулупах?
Человек очень занят. Ему
Дела нету до чьей-то планиды.
И, пожалуй, совсем ни к чему
Разбираться в бараньих обидах.

Он, охотник до умных затей,
Жил, скучал и, возможно, от скуки
Человек на планете своей
Напридумывал разные штуки...
Мчат машины, растут города,
Зажигаются мощные топки...
Скоро жизнь будет впрямь хоть куда.
Нажимай только нужные кнопки.
Только что человек ни найдет, —
Все ему приедается быстро.
И уже в межпланетный полет
Человека влечет любопытство.
Он, презрев и опасность и смерть,
Долетит до Луны и Урана...
Только жаль, никому не суметь
Из баранины сделать барана.

1959

ЭЛЕГИЯ

Домой как-то после получки
Я брел в состоянье хмельном.
Коровы, мечтая о случке,
Вздыхали во мраке ночном.
А если в дороге случались
Собаки, и я различал:
Они меж собою случались, —
Я палкою их разлучал.
На крышах рыдали коты,
И птахи на ветках свистели,
И парень деваху в кусты
Затаскивал с низменной целью.
Был вечер на звезды нанизан,
Я шел в состоянии пьяном,
За чьим-то окном телевизор
Вещал о свершении планов.
О жатве, о нефтедобыче,
О шелесте славных знамен...
Такими вестями обычно
Бываю и я вдохновлен.
Но тут, героической теме
Решив изменить по пути,
Я думал: кого бы на время
Для низменной цели найти?
С надеждой такой неуместной,
С бескрылой такою мечтой
Шагал я по местности местной,
Подвыпивший и молодой,

1964

ЧУДО

Мятежный член художника Да Винчи
летал над потрясенною Европой,
то к звездам поднимался горделиво,
то опускался ниже облаков.
Случилось это вроде в понедельник,
или во вторник, или... врать не буду...
короче, был обычный будний день.
Обычный день, привычная работа,
на рынках шла небойкая торговля,
и в магазинах что-то продавалось,
толпились покупатели у касс.
Ученики за партами сидели,
водители сидели за штурвалом,
в мартенах сталь варили сталевары
и повара в котлах варили суп.
По всем дорогам ехали кареты,
возы с поклажей и автомобили,
шли железнодорожные составы
и по морям спешили корабли.
Цвели цветы, росли хлеба и дыни,
и овощи и фрукты поспевали,
и с криком гомо сапиенс рождался —
другой со стоном тихим отходил.
Обычный день, но вдруг воскликнул кто-то:
«Летит!» И стал указывать на небо,
ему никто сначала не поверил,
но после все увидели: летит!
Повысыпали люди на балконы,
на площади, на улицы, и вскоре
остановилось всякое движение
и наступила дикая жара.
Все головы свои позадирали,
к глазам несли бинокли и лорнеты,

и объективы кинофотокамер
нацелились тотчас же на предмет.
Все астрономы и домохозяйки,
купцы, шоферы, праздные зеваки
в пустое небо пялили глаза.
Два мужика в trattoria открытой
провозглашали тосты за Да Винчи,
за член его и об заклад побились,
мол, упадет он иль не упадет.
Торговки рыбой громко хохотали,
а девушки притупливали глазки,
но все ж порою взглядывали в небо
и прыскали стыдливо в кулачок.
Монахини испуганно крестились
и предрекали светопреставление,
и говорили: это не к добру.
Когда обыкновенная комета
появится на небе, это плохо,
а это не комета... Это, это...
кошмар и ужас, Господи, прости.
И педагоги были в затрудненье,
как детям объяснить явление это,
родители и вовсе растерялись,
вдруг дети разберутся, что к чему.
А дети впрямь все мигом раскусили.
Был мальчик там по имени Джованни,
а может быть, Джузеппе, я не помню,
а помню только, что, взглянув на небо,
у мамы он испуганно спросил:
«Ой, мама, это что еще такое?
Что за предмет такой продолговатый
над головами нашими летит?»
Конечно, мама несколько смутилась,
попробовала даже отшутиться,
потом нашлась: мол, это дирижабль.

Но мальчик был неглупый очень мальчик,
он в тот предмет попристальной вгляделся:
«Да что ты, мама, это же пиписька,
ты посмотри, пиписька, — он сказал. —
Такую же у дяди Леонардо
я видел в бане прошлую субботу,
точь-в-точь такую, правду говорю».
Прохожий посмотрел на мальчугана
и дал ему конфету и мамаше:
«Какой ваш мальчик умница», — сказал.
А член летал над сушей и морями,
пересекал различные границы
и наконец приблизился к границе,
которая обычно на замке.
Его тотчас заметили радары,
была внизу объявлена тревога,
и прозвучали нужные команды,
и поднялось дежурное звено.
Майор Герой Советского Союза
повел звено вперед по восходящей
на встречу с неопознанным предметом,
навстречу неизвестности самой.
Звено неслось, оно сближалось с целью
и посылало радиосигналы:
«Снижайтесь плавно и гасите скорость,
и идентифицируйте себя!»
Но цель на то никак не отвечала,
лишь наслаждалась волей и полетом,
то к звездам поднималась горделиво,
то опускалась ниже облаков.
Тогда Герой Советского Союза
на эту цель ужасно рассердился,
отдал приказ готовиться к атаке,

отдал приказ атаку начинать.
Четыре перехватчика летели, а в них
четыре летчика сидели,
четыре пальца точно по команде
решительно нажали кнопки «ПУСК».
Четыре замечательных ракеты
четыре цели точно поразили,
четыре перехватчика при этом
буквально разломались на куски.
Три летчика немедленно погибли,
и лишь Герой Советского Союза
живым покинул сбитый самолет.
Майор на парашюте опускался,
а рядом член Да Винчи опускался,
кружил вокруг, жужжал и строил рожи
(коли о члене можно так сказать).
Майор Герой Советского Союза
был вне себя и дико матерился
и даже плакал от бессильной злобы,
но что он мог поделать? Ничего.
А враг над ним глумился откровенно,
парил, кружил, снижался, поднимался
и вдруг пропал неведомо куда.
С тех пор его, насколько мне известно,
никто нигде ни разу не встречал.
Идут года, прошли десятилетия,
майор в отставку вышел генералом
и генералом был положен в гроб.
Давно уж нет и тех торговков рыбой,
и девушек смешливых, и монашек,
а мальчик тот Джованни иль Джузеппе,
представьте, жив еще и полон сил.
Он стал вполне солидным человеком,

благополучным, с неплохим доходом,
весьма примерным мужем и отцом.
Он трубку курит, он гуляет с тростью,
он думает о печени и почках,
о пользе равномерного питания
и о вреде безмерного питья.
Пустым мечтаньям он не предается
и в небо глаз не пялит понапрасну,
его теперь ничем не удивишь.
Года идут, и славная легенда
о чуде, как-то явленном народу,
с годами затухает постепенно,
стирается из памяти людской.
Но все же есть, есть люди, для которых
легенда эта вовсе не легенда,
есть чудаки, романтики, безумцы,
которые, рассудку вопреки,
упрямо верят, что наступит время,
могучий член художника Да Винчи
вернется к нам, подымет к зениту,
разгонит облака, развеет мрак.
Все озарится сказочным сияньем,
вся наша жизнь тогда преобразится,
она в чудесный превратится праздник
и никогда не кончится при том.

1986

БАЛЛАДА О ХОЛОДИЛЬНИКЕ

Дружеская пародия на Беллу Ахмадулину,
посвященная ей же

Воспоминаний полая вода
Сошла и ломкий берег полустерла...
Нальем в стаканы виски безо льда,
Ополоснем сухую полость горла.
И обожжем полуоткрытый рот
И помянем, мой друг и собутыльник,
Давнишний год, метро «Аэропорт»,
Шестой этаж и белый холодильник,
Который так заманчиво журчал
И, как Сезам, порою открывался,
И открывал нам то, что заключал
В холодных недрах своего пространства.
Пусть будет он во все века воспет
За то, что в повседневности враждебной
Он был для нас как верный терапевт
С простым запасом жидкости целебной.
Была его сильна над нами власть,
Была его к нам бесконечна милость...
К нему, к нему душа твоя влеклась,
Да и моя к нему же волочилась.
А на дворе стоял глухой застой,
И серый снег топтал топтун ущербный,
А мы с тобой садились за стол —
И холодильник открывался щедрый.

1988

* * *

Жизнь повсюду меня мотала,
Был бродяга я, бич, бездельник.
И всего мне всегда хватало,
Но всегда не хватало денег.
Уж казалось, ну что мне нужно
В череде вечеров и утр...
Ну, немного тепла снаружи
И немного калорий внутрь.
Ну, черняшки краюшку с корюшкой,
С луком репчатым или репою
Да бутылку на пару с корешом —
Я же большего и не требую.
Но, увы, так всегда бывает,
Что чего-то всегда не хватает
Из того, что за деньги дают.
То того, чем себя укрывают
То того, чем нутро заливают,
То того, чем закусывают.

1988

* * *

Облокотясь о пьедестал
 Какого-то поэта,
 Я вынул пачку и достал
 Из пачки сигарету.
 И закурил. И думал так
 Бессвязно и бесстрастно:
 От сигарет бывает рак,
 Туберкулез и астма,
 Гастрит, артрит, инсульт, инфаркт
 И прочие болезни.
 Курить нам вредно — это факт,
 А не курить полезно.
 И думал я еще о том,
 Что, взгляд во тьму вонзая,
 Стоит поэт, а я о нем
 Ну ничего не знаю.
 Не знаю, как он был да жил
 Пред тем, как стать колоссом,
 Чем честь такую заслужил?
 Что пил? курил? кололся?
 Ну что ж, достукался и вот
 Здесь стынет истуканом.
 Не курит, шприц не достает
 И не гремит стаканом.
 А я себя по мере сил
 Гублю напропалую...
 Я сигарету загасил
 И закурил другую.

1990

ФИЛОСОФИЧЕСКОЕ

Живущий только временно живет,
А неживущий не живет не временно.
Освободясь от жизненного бремени,
Он вечности частица и оплот.
Он там, где есть нежизни торжество:
Ни тьмы, ни света, ни зимы, ни лета...
Хорошего там нету ничего,
Но ничего плохого тоже нету.
Там нет дурных вестей, утрат, растрат,
Тюрьмы, суммы и чириев на коже,
Там дрожь не бьет и зубы не болят,
Не жмут ботинки и тоска не гложет.
Там смерть и страх не ведом никому —
Ни храбрым людям, ни трусливым людям.
Пусть даже мир окончится, — ему,
Тому, кто там, конца уже не будет.
Ваш предок тем особо дорожил,
Такую мысль в себе лелеял гордо,
Что с Пушкиным в одну эпоху жил
И с Гоголем в одни и те же годы.
Что ж, за приливом следует отлив,
Не всякий век талантами расцвечен,
А наш и вовсе сир и сиротлив,
Гордиться нечем, кажется, и нечем.
Но жребий исправим, поскольку он
На время жизни выпал, а помрете, —
И с гениями сразу всех времен
В течение нежизни совпадете.
Пока вы там присутствуете, тут
Случится все хорошее, и даже
Враги все ваши старые умрут
И новые отправятся туда же.

Так не тужите, свой всему черед,
Что наша жизнь? Лишь миг на перевале...
Вот минет он, и вечность развернет
Свой бесконечный свиток перед вами.

1992

КУРФЮРСТЕНДАММ

Я как-то по Курфюрстендамм
Слонялся праздно и под вечер
Увидел праздную мадам,
Она слонилась мне навстречу.
Я увидел ее и вот
Стою, забыв все мира виды.
Какая грудь! Какой живот!
А зад, что сад Семирамиды!
Она была лицом бела,
Щеками розова и в целом
Столь соблазнительна была,
Что мое тело захотело
С ее соединиться телом.
Просил я страстно у мадам,
Нажав на все души педали.
Она сказала: вам я дам,
Но ведь не на Курфюрстендамм.
Давайте отойдем подале.
Мы отошли, и не угара
Я жар изведаль, а безумья.
Я низвергался Ниагарой
И извергался, как Везувий.
В один клубок, в тугой комок
Мы с ней себя соединили
И стали словно осьминог,
И щупальцами шевелили.
Лодчонкой утлой в океан
Я, оторвавшись от причала,
Был унесен. Меня качало,
В моих глазах стоял туман
И музыка в ушах звучала.

Скрипела скрипка, и кларнет
С трубой выпиливали вальсы,
И хлюпал внутренний секрет,
Когда наружу выливался.
Тек пот, кипела крови плазма.
Мы тяжко, вроде рыб ли, жаб ли,
Дышали, и в момент оргазма
Взмывали ввысь, как дирижабли.
Так продолжалось много дней,
Ночей, рассветов и закатов.
Увы, пришла печали дата,
Пришла пора проститься с ней.
Проститься, что с небес спуститься.
Я после этого не жил,
А как подстреленная птица
На месте без толку кружил.
Страдал от жара и озноба,
Слоняясь по Курфюрстендамм,
В надежде снова встретить там
Свою неверную зазнобу,
Свою прекрасную мадам.
Я жил как бомж и как бездельник,
Хмельной, несчастный и без денег,
Печаль свою сквозь годы нес.
И вдруг в минувший понедельник
Мы с ней, столкнувшись к носу нос,
В оцепенении застыли.
И, потрясенья не тая,
Я закричал ей: это ты ли?
Она сказала: это я.
Она! Не мешкая нисколько,
Свою добычу я схватил,
И утащил домой и в койку,

И сразу к делу приступил.
Забыв задернуть занавески
И запереть забывши дверь,
Я рвал на ней одежды зверски
И сам при том рычал как зверь.
Любя ее и ненавидя,
Я до конца ее раздел.
Но, Боже, что же я увидел,
Когда добычу разглядел!
Заныло сердце, сбились мысли,
Произошел в душе обвал.
Где то, на что я уповал?
Живот обмяк, и зад увял,
Лицо морщины бороздили,
И сиськи жалкие обвисли,
Как вымпелы при полном штиле.
К тому ж была она хромой,
Кривой, на ухо туговатой,
Трясла в припадке головой
И затыкала туго ватой
Первичный признак половой.
Надежды юношей питают,
Пытают хвори стариков...
Меня в Берлине всякий знает,
Я был из первых ходоков.
Теперь же на Курфюрстендамм
Сижу немых, небрит, нечесан,
На проходящих мимо дам
Смотрю с единственным вопросом.
Нет, не дадут иль не дадут,
А подадут ли... Осень близко,
Течет за ворот дождик склизкий,
И дамы, наклоняясь низко,
Мне в шляпу пфенниги кладут.

1999

* * *

По тропинке, по проселку,
по дороге столбовой
шел я, ростом невысокий,
с непокрытой головой.
Завершался день погожий...
Молодой и полный сил,
я на мир дивился Божий
и на девок глаз косил.
И вниманием ответным
Был отнюдь не обделен,
потому что был заметным
я еще со всех сторон.
Знал в делах своих удачу,
сам любил и был любим
дамой, жившею на даче
за забором голубым.
Судьбы наши там смыкались,
как под током провода...
Я спешил — уже смеркалось,
вышла первая звезда.
И мерцала и светила
мне как будто неспроста...
Как недавно это было!
Лет тому назад с полста.
Был я по уши влюбленным,
вожделением влеком...
Пахло в пункте населенном
шашлыком и молоком.
Яблони цвели и вишни,
пар стелился над рекой,
и из космоса Всевышний
мне помахивал рукой.

Декабрь 1999

КОЕ-ЧТО О РАДОСТЯХ ЛЮДСКИХ

Я был недавно в недальнем Где-то.
Там люди тесно живут, как в гетто.
Суровый климат — зима без лета...
И не хватает тепла и света.
Неотличимы там день от ночи,
и люди бродят во тьме на ощупь.
И хоть друг друга они не видят,
друг друга крепко все ненавидят.
Все злобой, словно мочой, пропахли,
и сами в злобе своей зачахли,
как куст иссохший чертополоха.
Не существуют, а прозябают.
И только радость у них бывает,
когда соседу бывает плохо.
Сломал ли ногу, свернул ли шею,
или украли в метро бумажник,
иль терпит в чем-то ином лишение,
его соседям — и свет и праздник.
Так жизнь проходит во тьме и злобе.
Развлечься нечем душе и телу.
Но если кто-то кого угробил,
тогда, конечно, другое дело.

Январь 2000

БАБУШКИН ОБЕД

Шла бабушка, несла кошелку с овощами.
Спешила накормить свое семейство щами
С картошкой молодой, капустой и морковью
И прочей ерундой полезной для здоровья.
Шла бабушка... Был день воскресный, и погода
Прекрасна, как всегда в такое время года.
Ей встречная толпа улыбки излучала,
Казалось бы, ничто беды не предвещало.
О бабушка, яви немного уважения
Хотя бы не к себе, а к правилам движенья!
Куда там! Подошла она к проезжей части...
Еще мгновенье — и произойдет несчастье.
Стоп, старая! Постой! Не перейди предела!
Неужто тебе жизнь настолько надоела?
Вон слева светофор. Зажжется свет зеленый,
Ступай себе вперед

с неспешностью законной.

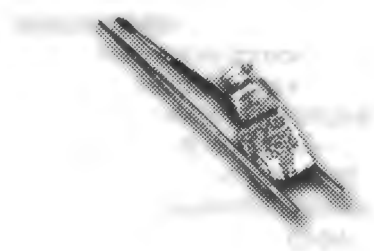
А справа переход подземный, им надежно
В любое время дня воспользоваться можно.
Она не слышит, нет. И напрямик полезла...
Визжали тормоза, корежилось железо...
Был домино эффект вполне наглядно явлен:
Пал велосипедист, «Тойотою» раздавлен...
Сплошной карамбуляж:

«Форд» врезался в «Тойоту»,

А на «Форда» еще залез побитый кто-то.
В автобус грузовик ударился и смялся,
И превратился вмиг автобус в банку с мясом,
При этом въехав в столб,
столб рухнул на троллейбус,

Троллейбус встал как столб и тут же загорелся.
Стелился черный дым, визжали пассажиры
(Не все, а только те, что оказались живы).
Об этом по Тиви в обед нам сообщили,
Когда мы ели щи и бабушку хвалили.

Октябрь 1999



Наталья Иванова, автор вступительной статьи, — литературный критик, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя».

Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина

Книга первая. Лицо неприкосновенное

Книга вторая. Претендент на престол

Впервые роман опубликован в издательстве YMCA-PRESS, Париж, 1975.

Первая публикация в СССР — журнал «Юность», № 12, 1988 (книга первая) и № 6, 7, 8, 1990 (книга вторая).

Роман переведен на английский, французский, немецкий, итальянский, японский, китайский и другие (около трех десятков) языки народов мира. Тираж изданий только на английском языке превышает пятьсот тысяч экземпляров. Тираж отечественных изданий, включая периодические, — более пяти миллионов экземпляров.

Роман «Необыкновенные приключения солдата Ивана Чонкина» включен в серию «Европейские классики» (издательство Northwestern University Press, Evanston, Illinois, 1995).

Роман экранизирован чешским режиссером Иржи Менцелем в 1994 году (студия «Портобелло», Лондон).

Фиктивный брак

Водевиль в одном действии

Эта одноактная пьеса была написана по заказу радиостанции Би-би-си. Премьера радиоспектакля состоялась в декабре 1981 года.

Первая публикация — журнал «Время и мы», № 72, 1983, Нью-Йорк — Иерусалим — Париж.

Впервые в СССР пьеса напечатана в журнале «Октябрь», № 10, 1990.

Шапка

Повесть

Первая публикация повести — журнал «Континент», № 55, 1988, Париж. В том же году повесть «Шапка» вышла в издательстве OPI, Лондон.

Первая публикация в СССР — журнал «Московский вестник», № 1, 1989.

По повести «Шапка» совместно с Григорием Гориным написана пьеса «Кот домашний средней пушистости», которая была поставлена режиссером Игорем Квашой на сцене театра «Современник» в 1989 году.

В 1990 году повесть экранизирована на «Мосфильме» (студия «Жанр», режиссер Константин Воинов).

Стихи на полях прозы

Вступительный текст написан автором для настоящего издания.

Впервые стихи Войновича появились в печати 2 ноября 1956 года в газете «Московский строитель». В последующие годы его стихи публиковались в газетах «Московский комсомолец», «Вечерняя Москва», «Труд», «Литературная газета», в журналах «Юность», «Крестьянка» и других периодических изданиях.

Владимир Войнович был членом знаменитого в 50–60-е годы литературного объединения «Магистраль», которым руководил поэт Григорий Левин.

Стихи, напечатанные в этом томе, — первая книжная публикация.

Стихотворение «Золотце» было напечатано в газете «Московский комсомолец» в 1962 году вместе с другим стихотворением автора — «В сельском клубе разгорались танцы». История, связанная с этой стихотворной подборкой, на наш взгляд, будет небезынтесна читателям, и мы воспроизводим ее в авторском изложении.

Выстрел в спину Советской Армии

После публикации в шестьдесят первом году моей первой повести «Мы здесь живем» я, по выражению одного поэта, стал широко известен в узких кругах. Но некоторые мои стихи были известны гораздо шире. Я имею в виду стихи, которые были положены на музыку и стали песнями. Одну из этих песен — «14 минут до старта» (музыка Оскара Фельцмана) — знали все советские люди от младенческого до преклонного возраста. Ее пели по радио, телевидению, в театрах, ресторанах и даже, как известно, в космосе. А после того как в 1962 году во время встречи космонавтов Николаева и Поповича припев этой песни с трибуны Мавзолея пропел, или, вернее, провыл, сам Хрущев, многие редакции газет и журналов стали обращаться ко мне с просьбой дать им мои стихи. Я сам к стихам своим в то время остыл, печатать их не хотел, но газете «Московский комсомолец» дал два старых стихотворения.

Раньше, когда мне это было очень нужно, их не печатали. Теперь, когда мне это было нужно не очень, их охотно напечатали.

И разразился скандал. Стихи попали на глаза... даже и сейчас страшно сказать... министру обороны СССР, маршалу Советского Союза, лично товарищу Малиновскому, который, по слухам, сам пописывал немножко стишки. То ли в душе его выиграла ревность поэта к поэту, то ли еще чего, но он взбеленился, надел штаны с лампасами, сел в «Чайку» или бронетранспортер, не знаю уж во что именно, поехал в Главное политическое управление Советской Армии и Военно-Морского Флота и всем заседавшим там маршалам и адмиралам прочел мои стихи с выражением. После чего высказался весьма зловеще.

— Эти стихи, — сказал он, — стреляют в спину Советской Армии.

Надо же! Я и сейчас, когда вспоминаю, думаю: неужели у министра обороны Советского Союза не было более важного дела, как выискивать в какой-то захудалой газетенке стишки (хорошие или плохие — не важно) и разбирать их на заседании маршалов и адмиралов?

Министр не успел сказать — в «Красной звезде» появилась реплика. Газета возмущалась, как могла другая газета напечатать такую пошлость. И в качестве примера привела послед-

ную строфу, которая как раз, видимо, больше всего и стреляла в спину Советской Армии. То есть сама «Красная звезда», которую читает вся Советская Армия, выстрелила этими стихами второй раз, уже покрепче.

Ну а после выступления такой важной газеты бывает что? Конечно, оргвыводы. В «Московском комсомольце» кое-кому дали по шалке. Кого уволили, кому выговор по партийной, кому — по служебной линии.

А мне что? А мне ничего. Мое дело — написать и, по возможности, напечатать. А за партийную линию я ответственности не несу, я беспартийный.

Несколько месяцев спустя призвали меня в армию на два месяца, чтобы сделать из бывшего солдата офицера (не знаю, зачем им нужен был такой офицер). Поехал я в прославленный Дальневосточный военный округ, которым наш поэт (я имею в виду товарища Малиновского), до того как стать министром, командовал. Ну, служба была — не бей лежачего. Ездил я по воинским частям, читал солдатам свои старые стихи. И получал даже за это деньги. Рублей семь за вечер.

Надо сказать, командование частей к выступлениям готовилось хорошо. Как же — писатель из Москвы приехал, это у них там не часто случалось. В гарнизонный клуб набивалось солдат — ну так примерно дивизия. А на сцене — трибуна, стол, покрытый красной материей, и графин с водой для докладчика. На трибуне — я, за столом — замполит, полковник, иногда подполковник.

Говорил я примерно так:

— Я, товарищи солдаты, вообще-то говоря, прозаик. Но читать прозу не буду, боюсь, вам покажется скучно. Я вам лучше почитаю свои стихи. Я еще сравнительно недавно был таким же, как вы, солдатом и о своей службе написал стихи. Стихам моим повезло больше, чем моей прозе. Одно из них, которое стало песней, пропел с трибуны Мавзолея Никита Сергеевич Хрущев, а другое отметил в своем выступлении ваш главный начальник, министр обороны маршал Советского Союза товарищ Малиновский.

Как отметил, я, конечно, не говорил.

После такого вступления в зале устанавливалась полная тишина, солдаты открывали рты, а замполит приосанивался: вот, мол, какую птицу удалось ему заманить в этот отдаленный гарнизон.

Я читал стихи разные, но последними, на закуску, как раз те, которые маршал отметил.

В сельском клубе разгорались танцы.
Требовал у входа сторож-дед
Корешки бухгалтерских квитанций
С карандашной надписью «билет».

Не остыв от бешеной кадрили,
Танцевали, утирая пот,
Офицеры нашей эскадрильи
С девушками местными фокстрот.

В клубе поднимались клубы пыли,
Оседая на сырой стене...
Иногда солдаты приходили
И стояли молча в стороне.

На плечах — погоны цвета неба...
Но на приглашения солдат
Говорили девушки: «Не треба.
Бачь, який охочий до дивчат».

Был закон взаимных отношений
В клубе до предела прям и прост:
Относились девушки с презрением
К небесам, которые без звезд.

Ночь, пройдя по всем окрестным селам,
Припадала к потному окну.
Видевшая виды радиола
Выла, как собака на луну.

После танцев лампочки гасились...
Девичьих ладоней не пожав,
Рядовые молча торопились
На поверку, словно на пожар.

Шли с несостоявшихся свиданий,
Зная, что воздастся им сполна,
Что применит к ним за опозданье
Уставные нормы старшина.

Над селом притихшим ночь стояла...
Ничего не зная про устав,

Целовали девушки устало
У плетней женатый комсостав.

Строгие ревнители поэзии найдут (и справедливо) в этом стихотворении массу недостатков. Но солдатам оно нравилось. Солдаты били в ладоши, стучали сапогами в пол и даже кричали «бис». А замполит, которому стихотворение чем-то не нравилось, тоже хлопал — да и как ему было не хлопать, если сам маршал Малиновский отметил. А я, признаюсь, каждый раз удивлялся: неужели никто из этих замполитов, не говоря уж о прочих военнослужащих, не читает «Красную звезду»?

Один осведомленный все же нашелся. Но это было уже в самом конце моей двухмесячной службы. Он тоже сначала хлопал, потом перестал, потом посмотрел на меня с испугом и не очень уверенно сказал:

— Мне кажется, я эти стихи где-то читал.

— Это возможно, — сказал я, — они же опубликованы.

— Да, да, — сказал он и написал в моей лекторской путевке: «Лектор образно и ярко говорил о трудностях и лишениях воинской службы. Лекция прошла успешно».

А потом написал на меня донос в политуправление округа, что лектор в своем выступлении протаскивал чуждые нам идеи.

А я и дальше стрелял в спину Советской Армии — и до поры до времени безнаказанно.

После написания «Чонкина» разговор пошел другой. В местах, где меня прорабатывали, мне часто вменяли в вину, что я написал этот мерзкий роман с целью подорвать мощь Советского Союза и ослабить нашу Советскую Армию. При этом некоторые критики сохраняли оптимизм: нам, мол, не впервой отбиваться от наших врагов — в кровавых боях мы одолели Белую армию, устояли против четырнадцати стран Антанты, наголову разгромили несметные полчища, а уж с этим Чонкиным и его автором тем более справимся.

Ан не тут-то было! В борьбе с Чонкиным и прочими химерами Советский Союз изнемог и развалился, Советская Армия — тоже, но победить Чонкина или отдельно взятый стишок — это даже самым огромным армиям не под силу.

Владимир Войнович

**Самое яркое событие
в литературной жизни
России 2000 года!**

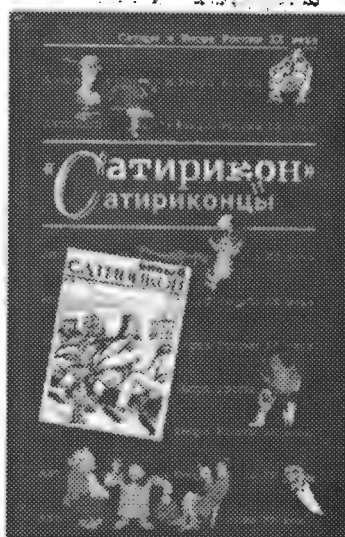
**антология сатиры и юмора
россии XX века
в 50 томах**

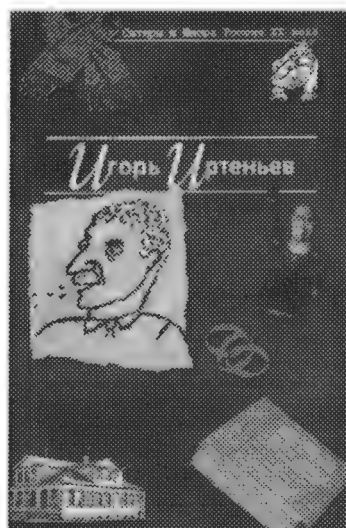
**Вышли в свет
семь томов серии**

- т.1 АРКАДИЙ АРКАНОВ**
- т.2 ВИКТОР ШЕНДЕРОВИЧ**
- т.3 «САТИРИКОН»
И САТИРИКОНЦЫ**
- т.4 ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ**
- т.5 ИГОРЬ ИРТЕНЬЕВ**
- т.6 ГРИГОРИЙ ГОРИН**
- т.7 ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ**



Сатирикон
Сатирикони





**В ближайшее время
увидят свет книги
Антологии**

**МИХАИЛ БУЛГАКОВ
ЛИТЕРАТУРНАЯ
ПАРОДИЯ
«КЛУБ 12 СТУЛЬЕВ»
ДАНИИЛ ХАРМС**

Литературно-художественное издание

Войнович Владимир Николаевич
АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА
Том седьмой

Редактор *Е. Остроумова*
Корректоры *Г. Володина, О. Наренкова*
Компьютерная верстка *А. Филиппов*

Налоговая льгота — общероссийский классификатор
продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры.

Подписано в печать с готовых монтажей 29.09.00.

Формат 84×108 ¹/₃₂. Гарнитура «Букман».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 36,96.

Доп. тираж 5000 экз. Заказ 5266.

ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс»

Изд. лиц. № 065377 от 22.08.97.

125190, Москва, Ленинградский проспект,
д. 80, корп. 16, подъезд 3.

Интернет/Home page — www.eksmo.ru

Электронная почта (E-mail) — info@eksmo.ru

Книга — почтой:

Книжный клуб «ЭКСМО»

101000, Москва, а/я 333. E-mail: bookclub@eksmo.ru

Оптовая торговля:

109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2

Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16

E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля:

Магазин «Академкнига»

117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1

Тел./факс: (095) 932-74-71

ООО «Дакс». Книжная ярмарка «Старый рынок».

г. Люберцы Московской обл., ул. Волковская, д. 67

Тел.: 554-51-51; 554-30-02

ISBN 5-04-005424-6



9 785040 054244 >

АООТ «Тверской полиграфический комбинат»
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.



[illegible]

1. *Agave americana* L.
 2. *Agave americana* L.
 3. *Agave americana* L.
 4. *Agave americana* L.
 5. *Agave americana* L.
 6. *Agave americana* L.
 7. *Agave americana* L.
 8. *Agave americana* L.
 9. *Agave americana* L.
 10. *Agave americana* L.

Температура! На самом деле надо
изобр. нечто, а не изобр.

U. ein. wichtige Person. nach
Besten im Sinne, hat sehr weiches

изъясн. упрощ.

3658

4220

14

92

I once put you
 in a...
 I once put you
 in a...

Hebrew
Nabukchadnezzar
clement &
orah

Benjamin Franklin



reperit



1954-1955

Receives

Forest 1

Large

[Handwritten signature]

Деро ✓

Beinecke

Zwei Freunde

Duckworth

Обучающий Конспект

осенд зиндга и



Лауреат Бюро

Интеллигентный - советский
Земля государства о грядущих поколениях
Земля расцвету науки
и с матерью с любовью

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Владимир Войнович

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Я рассказываю только о том, что сам видел своими глазами. Или слышал своими ушами. Или мне рассказывал кто-то, кому я очень доверяю. Или очень не доверяю. Во всяком случае, то, что я пишу, всегда на чем-то основано. Иногда даже основано совсем ни на чем. Но каждый, кто хотя бы поверхностно знаком с теорией относительности, знает, что ничто есть разновидность нечего, а нечего — это тоже что-то, из чего можно извлечь кое-что.

В. Войнович

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века